



Сигизмунд
Кржижановский

Сказки для
вундеркиндов

Странствующее
“Странно”

Чужая тема

Штемпель:
Москва



symposium

Сигизмунд
Кржижановский

Сказки для вундеркиндов
Странствующее “Странно”
Чужая тема
Штемпель: Москва

symposium

Сигизмунд
Кржижановский

Сказки для вундеркиндов
Странствующее “Странно”
Чужая тема
Штемпель: Москва



Сигизмунд
Кризжановский

Сказки для
вундеркиндов

Странствующее
"Странно"

Мужская тема

Штемпель:
Москва



symposium

Сигизмунд
Кржижановский

Сказки для
внучек и внучков

Средневековые
"Сказки"

Чужая земля

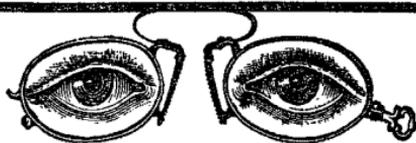
Издательство:
Москва



symposium

Сигизмунд
Кржижановский

Сигизмунд
Кржижановский



СИГИЗМУНД
КРЖИЖАНОВСКИЙ

*Собрание сочинений
в пяти томах*

Том первый

Сигизмунд Кржижановский



Сказки для вундеркиндов

Странствующее “Странно”

Чужая тема

Штемпель: Москва

Санкт-Петербург

Symposium

2001

УДК 82/89
ББК 83.3
К81

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КНИГОИЗДАНИЯ РОССИИ

*Составление, предисловие
и комментарии*
Вадима Перельмутера

*Художественное оформление
и макет* Андрея Бондаренко

Всякое коммерческое использование текста, оформления книги — полностью или частично — возможно исключительно с письменного разрешения Издателя. Нарушения преследуются в соответствии с законодательством и международными договорами РФ.

ISBN 5-89091-132-5 (т. I)
ISBN 5-89091-131-7

© Издательство «Симпозиум», 2001
© В. Перельмутер, составление,
предисловие, комментарии 2001
© А. Бондаренко, оформление, 2001

После катастрофы

Что толку летать быстрее света — все равно
никто не увидит.

Станислав Ежи Лец

Предостережение, конечно, резонное. Вот только последовать ему Сигизмунд Кржижановский никак не мог. И не потому, что афоризм и вероятнейший из его адресатов разминулись лет этак на тридцать—сорок. Просто любая из множества попыток Кржижановского *быть как все*, соразмерить свой образ мыслей с обыденным окружением оказывалась безнадежной. Сбрасывание скорости оборачивалось стремительной потерей высоты. Неутомимый пешеход, он совершенно был не способен, если угодно, к пешему мышлению. И тут уместнее другой эпиграф — из Бодлера:

Поэт, как альбатрос, отважно, без усилия,
Пока он — в небесах, витает в бурной мгле,
Но исполинские, невидимые крылья
В толпе ему ходить мешают по земле.

(Перевод Д. Мережковского)

Цитата подсказана мемуарами Абрама Арго, так и названными — «Альбатрос». Младшему современнику Кржижановского пришел на ум именно этот, самый «обрусевший» из бодлеровских образов (если судить хотя бы по числу переводов стихотворения). Впрочем, к орнитологическим мотивам мне еще придется

ся вернуться. А пока скажу лишь, что выбор эпитафии к заметкам о Кржижановском — занятие соблазнительное и благодарное, уже доводилось про то писать*. Все зависит от угла зрения — и возможны варианты.

Его судьба — идеальный «материал» для биографа, тяготящегося избытком сведений, тем, что его герой озаботился документировать едва ли не всякий шаг и жест. Здесь «пробелов в судьбе» и «среди бумаг» — немало. Потому фантазия, вымысел — не беллетристическая прихоть, но необходимость. Достоверно известно о Кржижановском не слишком много, зато существенное, образующее легкий и жесткий каркас повествования, дающее своего рода прививку от чересчур вольного мифотворчества, — а там «воображенье мигом дорисует остальное».

Итак, набросок первый — романтический. История «мансардного гения», артистичного и слегка не от мира сего, разумеется — непризнанного, живущего впроголодь и свято верующего и в свое призвание, предназначение, и в успех — пусть посмертный! — своих сочинений. При желании можно придать всему этому лирическую окраску, используя некоторые страницы уже опубликованных воспоминаний Анны Бовшек и Натальи Семпер. И получится некто вроде излюбленных персонажей-мечтателей Гофмана...

Набросок второй, экспрессионистский. Тут собственно биография растворится в мощном, всепоглощающем напоре двадцати лет писательства, словно бы подстегиваемого боязнью не успеть, не завершить задуманного. Теснятся, требуя немедленного воплощения, темы, перебивают друг друга ритмы, расточительно разнообразны формы письма — от несколько строчной притчи до развернутой на сотню страниц полифоничной фантазмагии. Напряженная, нервная, на грани срыва, проза, истощающая душевные силы без остатка, и — за гранью — творческая «гибель всерьез», предвещающая физи-

* См., например: В. Перельмутер. Когда не хватает воздуха // Сигизмунд Кржижановский. Возвращение Мюнхгаузена. Л., 1990.

ческую смерть, отделенная от нее десятилетней полосой немоты, болезней, угасанья...

Набросок третий, как бы сказать поточнее, — психологический, что ли. Замкнутый, самоутлюбленный интеллеktуал, кантианец и полиглот, «с вечностью на „ты“» — и беззащитный в быту и социуме, «по программе», на что ушла ровно половина жизни, приготовивший себя к литературным занятиям — и пришедшийся не ко двору эпохе, поощряющей и досыта кормящей лишь придворных портретистов, одописцев, музыкантов. Истинный профессионал, в поисках выхода к публике берущийся за пьесы, киносценарии, статьи, во всяком из этих занятий быстро получая признание мастеров, однако не способный принимать участие в создании «литературы социалистического реализма», осознанно предпочитая бездомье и нищету «литературной казарме». Тут самое время дать отступление в популярный психоанализ: поразмышлять об очень позднем ребенке, единственном сыне после четырех namного старших дочерей, никогда не вспоминавшем об отце — только о матери. Рано осознанное одиночество — питательная среда для целого вороха комплексов: не потому ли так редко и явно неохотно, через силу, писал он о происхождении, детстве, юности своих персонажей, отношения которых с близкими людьми странны и — на поверхностный взгляд — немотивированны. А одна из лучших новелл, «Автобиография трупа», начинается, в сущности, с того, что кончается «биография», с разрыва *связи с бытием*, с похорон матери, для поездки проститься с которой сгребаются с полок и продаются все скопившиеся за жизнь *книги*. С годами он все более мрачнеет и стимулирует движение мысли и руки нарастающими дозами спиртного. Наконец, парализованный безысходностью, подает признаки жизни разве что в тусклой иронии ко всему написанному. И не написанному.

С тем же примерно успехом можно сосредоточиться и на чисто литературных ассоциациях. Кржижановский называл себя сатириком — в свифтианском понимании этого родового

обозначения. Его герой — поэт и странник, alter ego автора, — либо слишком мал, либо чересчур велик для окружающих. И потому неприкаян «в прекрасном и яростном мире». Но в принятом им свифтовском наследии таилась и наследственность: подобно Свифту, он замолк задолго до последнего своего дня...

Наконец, не лишена смысла и попытка вообразить судьбу этого писателя, так сказать, в сослагательном наклонении: что могло быть, если бы... Совершенно в духе Кржижановского, одним из первых в мире задумавшегося о вариативности истории и пребывания человека в ней и о роли ничтожных вроде бы, «условных» частиц в «закономерном» (как видится задним числом, «обратным взглядом») течении событий. Поводов к такого рода размышлениям его биография дает предостаточно. Например, наследство, оставленное ему дядей, Павлом Александровичем, в семнадцатом то ли в восемнадцатом году, — небольшая усадьба под Киевом (дом, сад с замечательным розарием) и достаточные для умеренной жизни деньги, — чего еще желать решившемуся на писательство! Только вот воспользоваться наследством племяннику — по известным причинам — не довелось, послужили ему лишь письменный стол, ставший грудой дров особенно лютой зимою, да чесучовый пиджак явно с чужого плеча... Или, допустим, отъезд, то бишь «бегство», или, как назвал его земляк и добрый знакомец, «бег» в начале двадцатых годов за границу, в эмиграцию, где ему, полиглоту, знатоку театра, музыки, литературы, философии, скорей всего, пусть не без труда и не сразу, удалось бы найти свое место в культурном пространстве межвоенной Европы. Тем более что возможность такая и раньше была, перед Первой мировой, накануне «настоящего двадцатого века». Тогда, в тринадцатом году, он, двадцатилетний, только что окончивший университет, уже решивший, знающий, что будет писателем, приехал в Париж. Бродил по набережным, взбирался на Эйфелеву башню, кружил Латинским кварталом, заходил в монпарнасские кафе — «Rotonde», «Dôme», «La Closerie des Lilas», а совсем рядом, на тех же улицах, за столиками тех же кафе — Модильяни и Пикассо,

Аполлинер и Бретон, начнешь перечислять — не остановишься, словом, все, кому предстоит создавать европейскую культуру XX века, его ровесники. И кажется: только шаг в сторону, к ним, несколько французских слов, — и он среди них, один из них...

Любая из этих версий имеет право на существование, потому что не противоречит ни автобиографическим сведениям, ни мемуарным свидетельствам, ни его прозе.

Общую же для всех вариантов документалистику можно изложить в нескольких абзацах.

Сигизмунд Доминикович Кржижановский родился 11 февраля (30 января) 1887 года в окрестностях Киева, в католической польской семье. Отец, Доминик Александрович, отставной офицер, служил бухгалтером на заводе Рябушинского. Мать, Фабиана Станиславовна, урожденная Пашуга, вела дом, растила детей — без намека на строгость. Мягкая и мечтательная, хорошая музыкантша, она мало соответствовала расхожим представлениям о многодетной хозяйке дома.

Выйдя на пенсию, отец Кржижановского купил домик на киевской окраине. Теперь это место, Демиевка, — почти центр, четверть часа ходьбы от Крещатика. Дом, понятно, не сохранился. Но уцелели и костел поблизости, и здание Четвертой гимназии, где учился Кржижановский — и еще многие киевские знаменитости, например Ярослав Ивашкевич и Александр Вертинский.

После гимназии, в 1907-м, Кржижановский поступил на юридический факультет Киевского университета, одновременно занимаясь классической филологией и слушая лекции по истории философии. В студенческие годы начал печататься: сперва — стихи, которые писал с отрочества, позже — путевые очерки об Италии, Австрии, Франции, Германии (маршруты его летних, «каникулярных» заграничных поездок были по тем временам обычны, даже банальны).

По выходе в 1913 году из университета добывал хлеб насущный в качестве помощника присяжного поверенного. А с

восемнадцатого года, поддержанный другом, композитором Анатолием Буцким, бросил судебную практику и стал читать лекции по истории и теории литературы, театра, музыки, преподавать в Киевской консерватории, Театральном институте имени Н. Лысенко, в Еврейской студии.

В начале 1919-го, в первом номере журнала «Зори» появилось его сочинение «Якоби и „Якобы“» — то ли философский диалог, то ли историко-филологическое эссе, то ли опыт футурологического прогноза, — в определении жанра мнения расходятся, сам же автор называл эту вещь то «сказкой-диалогом», то «рассказом». И считал дату публикации началом своей профессиональной литературной работы (начало, замечу, довольно позднее, иные его сверстники по несколько книг успели выпустить; впрочем, любимые его писатели — и литературные предшественники — тоже начинали не рано, кроме разве По и Честертона: Свифт — в том же возрасте, что и Кржижановский, а Гофман и Мейринк — и того позже). С этой поры среди его коллег-знакомых — Сергей Мстиславский, Ольга Форш, Михаил Булгаков, Александр Дейч...

В 1920 году он познакомился с артисткой Анной Бовшек — и оставшиеся тридцать лет жизни были связаны с нею. Два года спустя перебрался в Москву, поселился на Арбате (дом 44, квартира 5 — первый и последний его московский адрес), в крохотной комнатке-«квадратуре» некогда роскошного голубого графского особняка, переполненного теперь новыми «хозяевами», все отнявшими и поделившими, так что каждому досталось всего ничего. Отсюда начинались и здесь заканчивались московские прогулки его персонажей, и, думается мне, писательская манера Кржижановского вобрала особенности этого тесно замкнутого пространства, почти вплотную сдвинутых стен, стискивающих *многочисленно выхоженную тему* до предельно лаконичных размеров новеллы, тут же отражающих звучащие слова, выявляя акустические переключки потаенных смыслов их, так что «немногим говорится многое»; да и сама комната, ее поневоле скудная обстановка, не раз описана. Например, так: «Кроме стола, служившего кладбищем вымыслов,

в комнате моей находились: кровать, стул и книжная полка — в четыре длинных, вдоль всей стены доски, выгнувшихся под грузом букв» («Клуб убийц букв»).

Уже через несколько месяцев после переезда он был приглашен Александром Таировым преподавать в Экстемас (Экспериментальные театральные мастерские при Камерном театре). Официально его курс именовался: «Основы внутренней техники актера». Кржижановский предпочитал заглавие вдвое короче: «Психология сцены». Составленную им программу стоит, по моему, воспроизвести дословно — она дает представление о его культуре, образовании, мышлении:

I. Театр как реальный ряд, данный со скоростью идеального ряда. Техника скоростей — основа театра.

Театр вне „театра“ (театрализация жизни).

Развитие театрального инстинкта в человеке:

а) детство; б) отрочество; в) юность.

Закрепление театрального инстинкта в человеке:

а) изнутри (внутренняя техника; сценическое дарование); б) извне (школа; внешняя техника; опыт).

II. Актер как разновидность человека. „Проблематический“ мир сцены. Индивидуум и „дивидуум“: множественность „я“. Изменчивость в природе и изменчивость на сцене. Внутренняя техника театра (драматургия актера). Актер и зритель. Приемы изучения актером своего зрителя.

III. Техника:

а) ускорения и задержек реакции — учение о темпераментах; б) памяти; театральная мнемоника; эмоциональная память; в) эмоции; жизненная и сценическая эмоция; игровая эмоция; теория Ланга—Джемса; г) воли; психология усилия, внимания, борьбы мотивов; идеомоторность; теория „цели“.

IV. Выразительность игры. Техника: а) трагического и б) комического.

Бессознательное и осознанное. Работа над ролью.

Включение роли в пьесу.

Воздействия автора — режиссера — партнера — зрителя — критика.

О причинах изнашивания роли.

Театр как предвосхищение грядущего».

В декабре 1923 года на заседании театральной секции год как созданной (а семь лет спустя разгромленной) Государственной Академии художественных наук он прочитал доклад «Актер как разновидность человека», а три месяца спустя — второй: «Отношение актера к критике». Ни конспекта лекций, ни текстов выступлений не сохранилось. Однако содержание их можно реконструировать* — по написанному тогда же и три четверти века пролежавшему сперва в столе автора, потом в архиве трактату «Философема о театре», вероятно первой в истории драматического искусства попытки осмыслить и сформулировать причины эстетических метаморфоз, спрогнозировать (нетрудно убедиться — с удивительной проницательностью) будущие идеи и формы их сценического воплощения.

Кржижановский — современник и очевидец, быть может, единственного в истории театра «парада планет»: Станиславский и Курбас, Марджанов и Мейерхольд, Вахтангов и Михоэлс, Таиров и Михаил Чехов (кстати, со всеми, кроме Вахтангова, он был знаком). «Цветение формы», творение новой эстетики театра, мощное и стремительное, щедрое до разбросанности, когда с ходу не удавшееся не правится кропотливо, но размашисто — крест-накрест — перечеркивается, уступает место напору идей и замыслов, и кажется: так будет всегда, — однако в самом ритме, в сгущении театральных событий до критической массы — предчувствие цейтнота. Впрочем, естественнейшая форма самообмана — принимать эпилог за пролог.

И как раз в эпицентре происходящего Кржижановский пытается изложить философию театра, где любая собственно эстетическая система — только следствие, частный случай,

* См.: В. Перельмутер. «Актер как разновидность человека». Попытка реконструкции доклада Сигизмунда Кржижановского, прочитанного на заседании Театральной секции ГАХН 20 декабря 1923 года (по материалам архива С. Д. Кржижановского) // Вопросы искусствознания, 1997. XI (2). С. 69–74.

многообразие само собой разумеется. В разгар режиссерской экспансии он рискует быть непонятым, заговорив о том, что «наш паровоз в тупик летит», если оставить актера в нынешнем «крепостном состоянии», если не вспомнить о непроизводительности, в конечном счете, рабского труда. Потому что иначе театру не стать *миром* — а именно так и ставится задача.

Сейчас — ретроспективно — «Философема о театре» органически вписывается в ту картину, естественно связывает концы с концами и напоминает умеющим читать и думать о заведомой ограниченности, то есть итоговом неуспехе попыток освоить опыт и наследие каждого из названных корифеев театра само по себе, вне спектакля, в котором отыграна его роль. Тогда же она представлялась чересчур общей, недостаточно новизною очарованной, чересчур назойливой в «генеалогических» напоминаниях. Потому, думается, и не нашла издателя, а не из-за цензуры, которой еще не до подобных тонкостей было, не то что к концу двадцатых, когда она, несомненно, среагировала бы на пассажи, вроде того, где объясняется, почему «такому государству не нужен и даже опасен эпос... нежелательна и лирика».

Но всего любопытней, что эта по размерам статья, а по емкости книга, на равных вступающая в диалог с высшими театральными авторитетами, — *первая* теоретическая работа Кржижановского. Дебют, наводящий на мысль о бенефисе. Сработала психология не исследователя — художника, всегда видящего *целое* прежде отдельных, составных *частей*. И так было всю жизнь: ни одной *эпизодической роли*, ни одного случайного — без *последствий* — дела. Даже не имея возможности заниматься тем, чем хотел, он, по известной английской поговорке, умел полюбить то, чем доводилось заниматься, и всегда по-своему, оригинально, глубоко...

Идеи Кржижановского и его понимание природы театра оказались близки Таирову. И по его предложению Кржижановский сочинил пьесу «Человек, который был Четвергом» «по схеме Честертона» (сценография А. Веснина), с успехом шед-

шую на сцене Камерного театра в 1923—1924 годах. И тогда же подготовил к изданию рукопись написанной еще в Киеве первой книги — «Сказки для вундеркиндов», так и не вышедшей, как, впрочем, и четыре других, тоже впервые публикуемых полностью здесь и сейчас, в Собрании сочинений.

В московских литературных кругах он довольно быстро стал известен, даже популярен. На авторские чтения его новелл неизменно собиралось немало народу. Дебют состоялся вскоре после переезда: двадцать второго мая 1922 года, в восемь часов вечера, в Третьей студии МХТ (Арбат, 26; будущий театр имени Е. Вахтангова) он читал «Сказки для вундеркиндов» на заседании Вольной философской ассоциации (Вольфилы), вскоре закрытой властями. А затем были выступления в Таировском театре, в варьете «Кривой Джимми», располагавшемся в подвальчике первого московского «небоскреба», знаменитого «дома Нирнзее», близ памятника Пушкину, на «Никитинских субботниках» — тут же, на Тверском бульваре, напротив Камерного театра (в том же доме, этажом выше, помещалась мастерская «классика фотопортрета» Моисея Наппельбаума, с которым Кржижановский задумывал в годы нэпа создать небольшую киностудию и даже сочинил пару короткометражных сценариев (однако либеральные времена кончились, едва начавшись), в полуподвале у бывшего секретаря Московского Религиозно-философского общества П. Н. Зайцева (Староконюшенный переулочек, дом 5, в двух шагах от Сивцева-Вражка), куда специально послушать Кржижановского приходил Андрей Белый, у Георгия Шенгели и Марка Тарловского и еще в многочисленных домашних литературных салонах — в частности, у живших неподалеку от него Каменевых, что впоследствии едва не погубило его...

Но печататься удавалось крайне редко и скудно. Чтобы прокормиться, приходилось служить — контрольным редактором в издательстве «Энциклопедия», потом несколько лет в Богом забытом и отнюдь не литературном журнале «В бой за технику». Писать сценарии рекламных роликов для кинофаб-

рики «Межрабпром» (между прочим сотворив, вероятно, первый отечественный мультфильм — «Сказка о Мосе, Селе и сыне их Проме»). Из созданного им, помимо прозы, выделю то, что чаще всего делалось — во всяком случае, начинало делаться — отчасти из любопытства ко всякой новизне, а более — вынужденно, ради заработка, однако вполне могло бы сделать его имя громким и лишь по стечению неблагоприятных обстоятельств не сделало. Для Якова Протазанова он написал сценарий «Праздника святого Йоргена» (1929). Для Александра Птушко — сценарий первого советского полнометражного мультфильма «Новый Гулливер» (1933). Для Александра Таирова инсценировал «Евгения Онегина» (1936, музыка Сергея Прокофьева, художник Александр Осмёркин). Вернее — для Алисы Коонен, которой, естественно, предназначалась роль Татьяны. Работу консультировали и высоко оценили выдающиеся пушкинисты. Однако поставить спектакль помешал разразившийся вокруг театра скандал по поводу комической оперы «Богатыри» (на музыку Бородина); правда, сама опера тут была ни при чем, просто Сталин к этому времени вконец разлюбил автора либретто — Демьяна Бедного...

Кроме сохранившихся в архивах Кржижановского, Таирова, Прокофьева экземпляров текста инсценировки, «пушкинский след» в его творчестве — еще четыре работы, среди которых «Искусство эпиграфа (Пушкин)»: первое в пушкинистике исследование на эту тему. И — развитие *темы* — заявка на издание «Словаря эпиграфов», издательством «Энциклопедия» не принятая. Такого словаря нет и по сей день.

Тогда же, в середине тридцатых годов, Михаил Левидов предложил Кржижановскому написать предисловие к первому тому готовившегося в издательстве «Academia», где директорствовал Лев Каменев, Собрания сочинений Шекспира. Так появилась статья «Комедии молодого Шекспира» (издательству не понадобившаяся: собрание сочинений не вышло), а за ней — еще тринадцать (!) работ о Шекспире, уже никем не заказанных.

Некоторые появились в журналах, но основные были опубликованы уже после смерти автора — усилиями высоко их ценившего Александра Аникста, который в юности, в Киеве, слушал лекции Кржижановского и, как признавался автору этих строк, во многом именно ему обязан своим «пожизненным» увлечением Шекспиром. Увы, не сохранились тексты докладов и сообщений, читанных в годы войны в ВТО, в Шекспировском кабинете у Михаила Морозова. Однако среди бумаг Кржижановского была обнаружена и заявка на издание и план Шекспировской энциклопедии в двух томах: «Справочник для вузовцев, читателей советского издания Шекспира, режиссеров, актеров, молодых шекспироведов». Подобного тогда не было и в Англии. Штрих, дающий представление о масштабе подхода писателя к любой своей теме.

«Область мышления — это такое поле, вспахать на котором хотя бы малую площадь нельзя без знания контуров всего поля» («Записные тетради»).

Журнал «Интернациональная литература» заказал ему статью о творчестве Бернарда Шоу — он написал полдюжины, одна из них — «Бернард Шоу, его образы, мысли и образ мыслей» — была тут же переведена на английский и напечатана в Лондоне. И так далее...

Во время войны Кржижановский сочинил несколько оперных либретто, в частности оперы С. Василенко «Суворов» (премьера: февраль 1942 г.), побывал с выступлениями на Западном фронте, а также в глубоком тылу, в Восточной Сибири, где принимал — по поручению секции драматургов — спектакли эвакуированных театров и читал артистам лекции о Шекспире.

С 1940 года ни рассказов, ни повестей не писал — только два десятка очерков о Москве первого военного года, либретто оперы Кабалевского — по Ромену Роллану — «Кола Брюньон», да еще переводы стихов Тувима и прозы для сборника «Польская новелла» (1949).

Умер Кржижановский 28 декабря 1950 года. Где похоронен — неизвестно.

«Когда умру, не мешайте крапиве разрастаться надо мной: пусть и она жалит» («Записные тетради»).

Написанное до 1918 года он считал подготовкой, подступом к литературе, не более того. Ни рукописей, ни публикаций тех лет не собрал и не сберег. Кроме тетрадок стихов — начиная с гимназических, вполне соответствующих возрасту автора. «На крыльце два грустных такса созерцают лужу» — это из первой; а во второй — цикл то ли умозрительных портретов изучаемых философов, то ли впечатлений от их книг, а также стихотворения о войне и революции — «Ночь в казарме», «Миросозерцание под пулями» — и разнообразные размышления, изрядно теряющие в оригинальности при попытке уложиться в ритмизованные, зарифмованные столбцы. Кое-что из «попробованного» в стихах и автора не удовлетворившего впоследствии было, если можно так сказать, переведено в прозу, иногда и цитируется в ней (об этом сказано в комментариях). Однако хранил он их, как мне представляется, не только поэтому.

«Настолько-то я поэт, чтобы не писать стихов» («Записные тетради»).

Не обольстившись несколькими публикациями и рано осознав ограниченность своего поэтического дара, несоответствие *полифонического* восприятия чужих стихов и *недостаточности* своих, что среди сочинителей — редкость и само по себе свидетельствует о незаурядности, Кржижановский тем не менее так никогда и не избавился от грусти по этому поводу, она подчас у него проскальзывает. В частности, в письме к Анне Бовшек, рассказывая об успешной, даже «триумфальной» читке комедии «Поп и поручик» труппе театра имени Вахтангова, он выделил, что стихи понравились наравне с прозой (а речь-то — о песенках и куплетах вполне «опереточного свойства»).

Стихи остались в первой половине жизни. Вступая во вторую — писательскую — сразу после тридцати, он знал и умел все, что могло понадобиться. И понадобилось.

Тех, кто с ним сталкивался, он поражал глубиной образованности, причем *живой*, естественно и постоянно включенной в речь и письмо, необъятной памятью, мгновенной и точной реакцией в беседе, споре — ни одного необязательно-общего высказывания, — виртуозной словесной игрой, обнаруживающей этимологические, не-переносные тона и оттенки смысла, способностью бесстрашно додумывать мысль до конца, «до мускула» — и тут же без видимого усилия воплощать ее в острую, занимательную фабулу, подобно герою его шедевра — «Книжной закладки».

«...Гений и не нуждается в том, чтобы его учили фантазии; страдая от собственной чрезмерности, он ищет у людей лишь одного: меры», — писал Кржижановский. И не считал себя готовым к встрече с читателем, пока не научился укрощать собственную чрезмерность — мерой: сюжета, фабулы, стиля.

Новеллы, сложившиеся к середине двадцать второго года в рукопись «Сказок для вундеркиндов», явили бы читающей публике зрелого, уверенного в себе писателя: оригинального мыслителя и замечательного стилиста. Правда, здесь еще чувствуется подчас, сколь нелегко оказался для него «выбор между Кантом и Шекспиром», путь от философского к образному осмыслению жизни, ее неповторимо-вечных коллизий.

Тем не менее уже в этой рукописи есть главное — *писатель, каких еще не было*. Например, в некоторых вещах проступают «кафкианские мотивы» — так видится сейчас, но тогда Кафка был еще жив, не издан, бесславен; доподлинно известно, что Кржижановский впервые прочитал его в 1939 году. Другие страницы для нынешнего читателя, вероятно, черекликунутся с Борхесом, с его куда более поздними сочинениями...

Однако встреча с читателем не состоялась — с виду чисто случайно. Кооперативное издательство «Денница», подготовившее книгу к выпуску, внезапно разорилось (несчастливым слу-

чаем, еще менее зависимым от писателя, выглядит провал и последней его попытки издать книгу, которую наконец-то удалось «вбить» в издательский план усилиями Евгения Лундберга и редактора «Советского писателя» прозаика Александра Митрофанова, — ее отправят в типографию за считанные дни до войны, в конце мая 1941 года; но не чрезмерно ли сгущение случайностей — для одной жизни?). Кржижановского это не смутило. Тревожного знака судьбы он попросту не заметил. И продолжал писать как ни в чем не бывало — много, стремительно, увлеченно.

Последовавшие затем неудачи списывать на несчастливые совпадения уже не приходилось. Начать с того, что во время сорок девятого представления «Человека, который был Четвергом» сорвался один из лифтов, которые — по воплощенному сценографом замыслу режиссера — позволяли персонажам действовать на нескольких уровнях одновременно, возносили их в небеса и погружали в преисподнюю. Находившиеся в нем артисты получили легкие травмы, больше перепугались, чем пострадали. Тем не менее комиссия по технике безопасности, состоявшая из технического персонала, «пролетариев театра», то бишь из тех, которые этот самый лифт небрежно закрепили, потребовала изменения сценографии. Таиров наотрез отказался — и снял спектакль с афиши. Этот лифт, с ускорением падающий в бездонную шахту, стал метафорой судьбы всего творчества писателя.

Издательство «Земля и Фабрика» долго колебалось, да так и не решилось напечатать «Возвращение Мюнхгаузена», хотя повесть настоятельно рекомендовали услышавший ее в Коктебеле, у Волошина, влиятельный сотрудник издательства Яков Черняк и Сергей Мстиславский, да и руководившему издательством Владимиру Нарбуту она понравилась. А издания двух книг, подготовленных «Никитинскими Субботниками», были запрещены цензурой.

«Ввиду того, что мотивы, по которым Главлит не разрешил к печати мои книги „Клуб убийц букв“ и „Собиратель ще-

лей“, противоречивы и взаимно исключают друг друга, — я считаю такое решение несправедливым и прошу Вас, Павел Иванович, лично прочесть», — писал Кржижановский шефу цензуры Лебедеву-Полянскому скорее от отчаяния, чем в надежде на благосклонную отзывчивость адресата, ведь именно он, возглавив в отсутствие О. Ю. Шмидта издательство «Энциклопедия», вынудил Кржижановского уйти со службы, подав следующее «нетипичное» заявление: «Считая опыт по превращению меня из человека в чиновника, в общем, неудавшимся, прошу от должности контрольного редактора меня освободить». Нажить такого недруга — надо было уметь.

Но дело было, конечно, не только — и не столько — в Лебедеве-Полянском; на его месте вполне мог быть и другой, запчастей к механизму власти — сколько угодно. Чем дальше, тем явственнее становилось: новая государственная система — по сути своей — антихудожественна. Художнику, то есть свободному человеку, места в ней не предусмотрено.

В 1929 году, посылая Евдоксии Никитиной только что завершённую повесть «Воспоминания о будущем», Кржижановский сопроводил ее коротенькой запиской, всего двумя фразами: «Ох, не видать этой вещи типографии, как С<игизмунду> Д<оминиковичу> своих ушей. Или я пессимист?» Намек прозрачен: кооперативное писательское издательство «Никитинские Субботники» еще действовало, а Никитина считала Кржижановского замечательным писателем, но она даже не попыталась превратить рукопись в книгу. Тут Кржижановский, увы, оказался — хорошо информированным оптимистом.

Первое московское десятилетие — лучшее в творчестве Кржижановского. И отнюдь не потому лишь, что на него приходится пора писательской зрелости, гармонизация мысли, опыта, воображения и мастерства. Вернее, на мой взгляд, сказать, что существеннейшую, если не решающую, роль тут сыграл именно переезд в Москву, которая стала одновременно импульсом и методом познания биографии, физиологии, метафизики

зики, философии города как такового, сложнейших переплетений его жизни с жизнями человеческими.

Около трех лет — изо дня в день, из недели в неделю — Кржижановский искаживает, исследует, осваивает столицу, уподобляя ее языку, в котором могли за века неузнаваемо измениться слова, но неизменными сохранились грамматические формы, определяющие его структуру. Поставив своей задачей активное, свободное владение этим языком, писатель изучает происхождение («генеалогия») города, его историю («биографию»), топографию («начертание»), структурные особенности («грамматику»), топонимику («фонетику»), психологию, стилистику.

Все это отчетливо видно в первом же сочинении, что выходит из-под его пера после «киевской» книги сказок-притч: в повести «Штемпель: Москва», а затем и в очерках «Московские вывески», «Коллекция секунд», «2000 (К вопросу о переименовании московских улиц)», — в начальных страницах исторического, философского, социологического исследования, масштабная программа которого возникла, опять-таки, из банального журнального заказа «написать о Москве». И когда оказалось, что от автора требуется куда меньше, чем он может и хочет, — не мысли, но картинки, не анализ, но хвала «обновлению» (с допустимо-дозированным умилением приметам «безвозвратно уходящего прошлого»), эта работа, незавершенной, была вытеснена из его писательских планов напором новых художественных замыслов, среди которых — «Автобиография трупа», «Книжная закладка», «Квадратурин», «Возвращение Мюнхгаузена»...

Москва становится «темой», «персонажем», «материалом» прозы Кржижановского: «...мне не уйти от своей темы — никак: я живу в н у т р и е... Проблема материализовалась, обступила меня тысячью каменных коробов, протянулась под подошвами тысячью кривых и ломаных улиц, — и я, смешной чудак, исследующий свое г д е, попал в него, как в мышеловку». Да он, по правде говоря, и не пытается «уйти». Потому что ви-

дит: XX век — урбанистический, и человек в нем — homo urbanis. Это век экзистенциального осознания одиночества, век разобщенности и *вавилонского взаимонепонимания*. «И если люди срastaются в социос, то лишь затем, чтобы ценою упорного труда купить друг у друга возможность быть друг без друга; они копят ценою творчества, работы, воровства — монету к монете, чтобы приобрести себе стены... Но человеку мало быть без человека, надо, чтобы и без бога, догмат вездесущности нарушает право одиночеств» («Швы»). И далее — об уникальной особенности новейшей истории: о *городском атеизме*...

Он — урбанист, *писатель-горожанин*. Его отношение к так называемой «живой природе» — взгляд горожанина окрест на загородной прогулке или на даче. А его городские пейзажи суть *портретные зарисовки*. Он пишет портретную галерею города подробней, чем изображает внешние облики своих персонажей, где чаще всего ограничивается минимумом характерных — или, напротив, обыденных — примет.

С середины двадцатых годов проза Кржижановского возникает как бы на пересечении *выученного* (то есть изначально неродного, родным был польский) языка — и *выученного* (опять-таки неродного) города. И, глядя теперь, с полувековой дистанции, на «общий план» всего, что создано Кржижановским, видишь подобие градостроения, расходящегося от единого центра концентрическим эхом неровных, условных колец.

Если в начале его прозы — «Сказки для вундеркиндов», композиционно-сложное сцепление новелл-притч, то в конце — «Мал мала меньше», цикл миниатюр, только «темы», каждая из которых могла быть разветвлена, кабы на то — воля автора; причем и в «числовом выражении» они практически совпадают: в первой рукописи — двадцать девять вещей, во второй — тридцать. Между ними — четыре книги новелл, пять повестей. Если первое, что написано *приезжим* Кржижановским, — «Штемпель: Москва», то и последнее, что всколыхнуло

ненадолго его, уже бросившего писать, — она же, Москва, и очерки эти — «Москва в первый год войны» — не оставляют сомнения в авторстве ее *жителя, обывателя...*

Кржижановский приехал в Москву, выздоравливающую от озноба Гражданской войны и военного коммунизма, вспоминающую свое «столичное» прошлое и словно бы примеряющую его к своему настоящему и будущему. Начало нэпа благотворно сказалось на самочувствии города и его обитателей. Всего заметнее это было в столичной культурной жизни, насыщенной и разнообразной. Поэтические вечера имажинистов и футуристов, театры Мейерхольда и Станиславского, Таирова и Вахтангова, концерты, выставки, кооперативные издательства и литературные салоны... На то, чтобы войти в этот круг, привлечь к себе внимание, завоевать известность, Кржижановскому понадобилось несколько лет. И эти же годы совпали с установлением все более жесткого, наконец, тотального контроля над литературой, вообще искусством, с обозначением единственно допустимого официального направления работы художника. Шаг вправо или влево стал считаться побегом. И не было недостатка в бдительных добровольцах-конвойных — редакторах и критиках, стреляющих без предупреждения, исто-во и плодотворно трудящихся в жанре доноса.

С начальных же лет советской власти, да что там лет — месяцев, новые хозяева страны звериным инстинктом самосохранения уловили опасность, исходящую от деятелей культуры, гуманитариев (иначе какого дьявола было вынуждать их к отъезду за границу, а то и высылать насильно целыми сотнями, ведь не заговоров же, в самом деле, страшились!). В самой природе этих людей, внутренне свободных — по определению, по принадлежности к мыслящему меньшинству, — таилась угроза основе основ тоталитаризма: монополии на сознание всех и каждого жителя государства. Мирное сосуществование «блюстителей дум» с «властителями дум» невозможно. Писатели, философы, историки легко и внятно разгримировывали демаго-

гические словоизвержения коммунистических идеологов, рассчитанные на массовое гипнотическое действие. У них к этому гипнозу был стойкий иммунитет; найти ответ на сакральный вопрос: «Кому выгодно?» — не составляло труда.

Воинственные марксисты-материалисты, в сущности, были вульгарными мистиками, спиритами, вознамерившимися материализовать «бродячий призрак коммунизма» — и натурализовать его «в одной отдельно взятой стране». Великая эта цель заведомо оправдывала любые средства, впрочем не оригинальные: ничего нового тирания не изобрела с незапамятных времен и изобрести не может, потому что не способна на творческое усилие — только на волевые, силовые действия. На беспощадное подавление инакомыслия, то бишь мышления как такового, которое всегда — «иное». На введение безраздельного государственного крепостного права на любого гражданина страны, или как там вернее его назвать, быть может, вслед Кржижановскому, «эксом», экс-человеком. Достаточно сказать, что уже на нашей памяти, всего полтора десятка лет назад, было официально и публично заявлено, что попытка писателя своевольно, без дозволения свыше печататься за границей будет расцениваться как нарушение государственной монополии (sic!) на внешнюю торговлю — с привлечением ослушника к уголовной ответственности...

Писатель в услужении у государства — раб. «Человек, продавший свою голову, продает и свободу, — говорит персонаж трагикомедии Кржижановского «Тот третий». — Беглый раб, как определяют наши юристы, есть лишь вещь, укравшая себя самое».

В этих условиях популярность Кржижановского в различных литературных кружках и салонах становилась небезопасной. Вкупе с неизданностью она выглядела как нечто нелегальное, чуть ли не подпольное: несмотря на цензурный запрет его сочинений, публика с ними знакомилась. И это тревожило его друзей. Однако и самым влиятельным из них — сотруднику бухаринских «Известий» и каменевского «Academia» Михаилу

Левидову, обладателю громкого революционного прошлого Сергею Мстиславскому, блестящему историку литературы и переводчику классики, в частности для горьковской «Всемирной литературы», Евгению Ланну, знаменитому драматургу Владимиру Волькенштейну — помочь ему никак не удавалось. Эпизодические публикации в периодике ничего не решали. Чтобы «узаконить» положение Кржижановского в литературе (и, стало быть, «в обществе»), полагали они, непременно нужна книга. И тут требовался авторитет непререкаемый, абсолютный, признанный Лучшим Другом Писателей. Тем более что лично против Кржижановского, как уже сказано, был решительно настроен всевластный и бдительно всего боявшийся первый «комиссар от литературы», глава цензуры, удостоенный впоследствии — за многолетние особые заслуги в деле удушения культуры — академического кресла Лебедев-Полянский.

Преодолеть подобную преграду было под силу разве что Горькому.

В 1932 году Ланн — через Георгия Шторма — передал Горькому несколько вещей Кржижановского в расчете на то, что Горький, в сердцах назвавший происходящее в советской литературе «борьбой за право писать плохо», захочет — и сумеет — поддержать автора, безусловно владеющего искусством писать хорошо. Отзыв великого пролетарского писателя заслуживает полного воспроизведения.

«„Мудрости эллинския не текох“ (то есть «за мудростью эллинской не ходил» — обычная в древнерусской литературе форма демонстративного авторского самоуничужения, в которой скрыто горделивое предпочтение истины Священного Писания языческой эллинской науке, иначе говоря, смирения паче гордыни. — В. П.) — я не могу рассматривать иронические сочинения гр. Кржижановского со стороны их философской ценности, но мне кажется, что они достаточно интересны и, вероятно, имели бы хороший успех в 80-х годах XIX столетия. В те годы праздномыслие среди интеллектуалов было в моде,

и дружеские споры вокруг самовара на темы достоверности или недостоверности наших знаний о мире служили весьма любимым развлечением. Позитивисты из семинаристов утверждали познавательную силу разума, люди более осторожные жаловались на неясность построений гносеологии, бойкие ребята, торопясь вкусить от радостей бытия, орудовали Пирроном, облекая в приличные формы простую обывательскую мысль: „А ну ее ко всем чертям, философию! Жить надо“. И все были более или менее довольны друг другом.

Мне кажется, что в наши трагические дни, когда весь мир живет в предчувствии неизбежной и великой катастрофы, лукавое празднословие — неуместно, даже и в том случае, если оно искренно.

Большинству человечества — не до философии, как бы она ни излагалась: лирически, сатирически или же — по принятому обыкновению — скучно и туманно. В наши дни как будто бы создается новая гносеология, основанная на деянии, а не на созерцании, на фактах, а не на словах. Поэтому я думаю, что сочинения гр. Кржижановского едва ли найдут издателя. А если и найдут такового, то всеконечно вывихнут некоторые молодые мозги, а сие последнее — нужно ли?» (17 августа 1932 г.)

Пятьдесят лет спустя, в попытках опубликовать Кржижановского обивая пороги редакций, я наткнулся в одной из них на человека — из начальников, — который сразу, не читая, сказал, что печатать автора, о ком неодобрительно отозвался сам Горький, он, конечно, не будет. Кажется, это — единственное прямое следствие письма: эпистолярное «ружье» выстрелило, когда пьеса уже давно была отыграна...

В «подтексте» горьковского послания — по обыкновению тех лет — содержится больше соображений, чем в тексте. Поэтому необходимый нынешнему читателю комментарий неизбежно должен быть пространнее самого письма. Но сперва поясню, что среди читанного Горьким были и «Возвращение Мюнхгаузена», отлученное от печати за, мягко говоря, неуважительное отношение к советской действительности, и новелла

«В зрачке», тонко раскрывающая «анатомию любви», и «Неукушенный локоть», где с хроникерской бесстрастностью демонстрируется механизм того, как идея — пусть совершенно бредовая! — становится материальной силою, потому что овладевает массами. Так что тщетно скрываемое за вежливыми формулами и мемуарным экзерсисом раздражение Горького вызвано вовсе не философической отвлеченностью сочинений Кржижановского.

Писать про «непонимание» Горьким того или иного явления современной ему литературы — и вообще происшедшего, — по-моему, пустая трата слов и бумаги. На эту тему в наши дни не высказывается разве что паралитик. И совершенно напрасно.

Едва ли автор «Несвоевременных мыслей», редактор прихлопнутой большевиками газеты и безошибочный предсказатель судьбы платоновского «Чевенгура» мог простодушно обмануться, например, устроенными специально ради него и даже без особой тщательности декорированными «потемкинскими деревнями» Беломорканала, благостным видом поголовно перешедших в вегетарианство волков, дружно делающих «общее дело» с вверенным их попечению поголовьем овец. Не говоря уже о том, что писатель, не «милость к падшим призывающий», но воспевающий рабский труд в подарочной энкавдэшной упаковке и молодых коллег энергично поощряющий к тому же, — ведает, что творит.

За редкими исключениями он просто-напросто не хотел понимать, вернее — показывать свое понимание, что было замечено еще Ходасевичем, определившим одну из главных черт натуры Горького — писателя и человека — как последовательную, активную нелюбовь к правде жизни. Для писателя он, пожалуй, даже чересчур искусно умел утаивать мысли, довольствуясь иносказанием и намеком. В отличие от боготворимого им Толстого, он так и не решился на слово-поступок — «Не могу молчать!». Но лишь время от времени словно бы давал понять, что не может говорить.

Достаточно было по возвращении из «соррентинского далека» принять, хоть и не без колебаний, предложенные Сталиным условия людоедских игр, чтобы маска приросла к лицу. Со страху это было сделано, из корысти, тщеславия или еще каких побуждений — литературе безразлично. Она в эти игры не играет.

Письмо Горького — «лукавое празднословие», осознанное и расчетливое. Это — не ответ, но уход от ответа — и ответственности. Он прекрасно знал, что рукописи Кржижановского, сорокапятилетнего и отнюдь не «начинающего» писателя, присланы ему не для «оценки», но с тем, чтобы он помог их опубликовать — сперва, естественно, ознакомившись, то есть удостоверившись в таланте и мастерстве автора (ни в том, ни в другом он не отказывает). Стало быть, его сомнения: дескать, едва ли написанное Кржижановским найдет издателя, — никакие не сомнения. А прямой отказ участвовать в судьбе этого художника. Творческая «чуждость» тут ни при чем. В конце концов, «Серапионовы братья», которым он сочувствовал и помогал, если и были ему эстетически ближе, то ненамного. Горький «не понимает» Кржижановского логично, последовательно, я бы сказал — целеустремленно.

Он сразу и резко отмежевывается от этой прозы — целым полустолетием, — *переадресовывает* ее давно не существующим читателям восьмидесятых годов минувшего века. Вовсе не требуется университетского образования, даже в нынешнем его варианте, чтобы сообразить, что никак не могла она тогда возникнуть. Ее темы, образы, формы значительно более позднего происхождения. «Отсоединение» произведений Кржижановского от времени их создания отнюдь не безобидно. Сей прием дает Горькому возможность говорить то, что он говорит, совершить исторический экскурс по псевду, но не по существу прочитанного.

Тем забавней, что Горький все-таки угадал. Правда, *не в ту сторону*. Ведь кабы завел он речь о восьмидесятых годах нашего столетия, то прозорливости его цены бы не было. Однако это, видимо, свыше его сил: предположить, что будущее рассу-

дит не по его, а по-своему, предпочтет Кржижановского абсолютному большинству горьковских «протеже» и, как знать, возможно, самому Горькому, еще не вечер...

Угадано и то, что сочинения этого писателя «вывихнут некоторые молодые мозги»: примерно через год по выходе первой его книги* меня познакомили с компанией студентов-искусствоведов Московского университета. Они собирались в одной из комнат общежития вокруг этой книги — одной на всех — и читали ее вслух — из вечера в вечер, новеллу за новеллой... А еще два года спустя, когда появился первый том Собрания сочинений Кржижановского во французском переводе, подобные чтения — дважды в месяц — происходили в Лионском клубе любителей литературы... В полувек от последних строк из-под его пера. И еще дальше, много дальше от повести «Клуб убийц букв», от вечеров, когда персонажи этого новейшего «Декамерона», отключившись от окружающего мира поворотом ключа в замке, творили свой «мир чистых замыслов», трагически убеждаясь, что писатель может покончить с собою, но не с литературой; это был урок и опыт духовного пира во время чумы («Маска красной смерти» — назвал новеллу, вовсе не надеясь пророчить, Эдгар По, один из тех, кого Кржижановский числил в предшественниках своих).

Так внезапно возникла своеобразная дискуссия между звучащим словом, собирающим людей, и Гутенберговым изобретением, их разобщающим.

«О невозможности убить литературу» — озаглавил парижский критик рецензию на французское издание «Клуба убийц букв»...

В одном не могу не согласиться с автором письма: «...рассматривать... сочинения гр. Кржижановского («гражданина», конечно, не «графа» же! — мелкий штрих в этих двух буквах с точкою, совершенно уже «следовательно-совковых». — В. П.) со стороны их философской ценности» ему и впрямь не пока-

* С. Кржижановский. Воспоминания о будущем. Избранное из неизданного. М., 1989.

зано. Иначе не перебирал бы философические дилетанствования времен «своих университетов» — и все невпопад! — и не поминал бы всуе «отца теоретического скептицизма» Пиррона, говоря о писателе, не только не страдавшем «Пирроновым недугом», но и лапидарно выказавшем отношение к нему: «Скепсис — импотенция. Скептик — евнух истины».

И так — в каждом абзаце. «Позитивисты из семинаристов», например, и обидеться бы на него толком не успели, обнаружив изумленно, что, едва отыронизировав над ними, Горький тотчас, сам того не замечая, предстает позитивистом-ортодоксом, чуть ли не Чернышевским, разглагольствующим об «иной гносеологии», то есть *теории* познания, которую можно потрогать, ибо основана она «на фактах». И вот уже абстрактной (читай — сомнительной) ценности мышления противопоставляется прикладная «польза» деяния (чу! слышится голос верного адепта Толстого, разумеется, *позднего*). Потому что «большинству человечества не до философии». Кто же станет спорить с подобным трюизмом! Только точно так же — и не до литературы, в том числе — не до Горького. И что это вообще за манера — решать творческие проблемы большинством голосов! Ну хорошо, выдворили философов из большевистской России (заодно — писателей, живописцев, журналистов, музыкантов, историков, экономистов), а немногих оставшихся поубивали — жить стало лучше, жить стало веселей?

Однако всего замечательней, пожалуй, эта суровая ссылка на «трагические дни, когда весь мир живет в предчувствии неизбежной и великой катастрофы» — и потому творчество Кржижановского *неуместно* (что говорить — мастерски писано! — эпитет найден точнейший, *места* действительно нет; и не проговорился, на грани пробалансировал, скажи: «не-своевременно» — и всё, сам-то всего десяток лет назад такими «мыслями» грешил).

Пассаж получился на загляденье *перспективным*: кратким, идеологически точным и удобным в употреблении. Попытка *эстетически* или *философски* оспорить его квалифици-

руется как поступок *политический* — со всеми вытекающими последствиями. Стоит ли удивляться, что он прочно вошел, так сказать, в профессиональный обиход нескольких поколений редакторов, издателей, цензоров. Не счесть стихов, рассказов, романов, пьес, статей, не увидевших света сразу по написании, потому что были признаны «неуместными» в наши трагические (героические, оптимистические, исторические и прочие) дни. Между тем причинно-следственной связи тут нет. *Уместная* литература — нонсенс. В любые дни.

Горький писал письмо за год до прихода Гитлера к власти, за семь — до начала мировой войны. «Предчувствия», таким образом, оправдались.

И вот тут уже в пору было Кржижановскому не понять Горького. Какие, к черту, «предчувствия», если катастрофа давно произошла — полтора десятка лет назад. Новеллу с таким названием он завершил еще в двадцать втором, когда Горький обретался в Германии. И включил ее в «Сказки для вундеркиндов».

Мир далеко не сразу уразумел смысл и масштабы случившегося в России. Хлебников говорил, что, слыша слово «смерть», чувствуешь себя должником, к соседу которого пришел займодавец. Но не к тебе.

По Кржижановскому, эта глобальная катастрофа — одновременно и личная для каждого. Потому что преступление против человечности, а их он в революционные годы насмотрелся бесчисленно, по сути, всегда — преступление против личности, чьи права равны нулю. «Единица — вздор, единица — ноль», — спарадоксил «лучший, талантливейший поэт советской эпохи», не задумываясь, что выводит формулу отношений «своего» государства с человеком, а значит — и с ним, с поэтом.

Разумеется, тех, кто сознавал катастрофичность Октябрьского переворота, который естественно перешел в Гражданскую войну и превратил одну шестую Земли в пороховой погреб, способный от случайной искры взорвать остальные пять шестых, было немало (занятно работает подсознание: едва

ли не первым производством, всерьез налаженным большевиками, было... спичечное). Но в отличие от большинства из них, относившихся к этому как к стихийному бедствию либо размышлявших о социальных причинах, о роковых промахах той или иной партии, наконец — о национально-исторических истоках коммунистического затмения России, то есть сводивших все в конце концов к трагическому стечению обстоятельств, к исключительности российской судьбы, — в отличие от них Кржижановский считал происшедшее логичным, закономерным следствием мировой войны и визионерски описанного Шпенглером «заката Европы». В схватке за выпавшую из рук самодержавия Россию победил тот, кто ловчее и прагматичней всех использовал «кризис гуманизма». И сумел нарастить ничтожный поначалу свой перевес до решающего — безоглядно антигуманистическими средствами.

«Минувшую войну вели не люди против людей (это мнимость), а машина против человека: победила машина, — писал Кржижановский в 1923 году. — Гуманизм рухнул; а пушки, задрав кверху жерла, торжествовали. Человек, который по максимам европейской философии для человека должен быть целью, из цели превратился в мишень. Любой прапорщик знал: потерять человека — пустяки; потерять пулемет (машину) — позор. Да про людей у прапорщиков никто и не спрашивал, а осведомлялись: сколько *штыков*? „Люди“ (?) при орудиях назывались „прислуга“: безмолвные и покорные экс-люди беспрекословно повиновались вдавленной в железо дыре. Даже говорили не на своем, а на машинном языке: так пространство, не поражаемое артиллерией, на котором можно было утаить от машины жизнь, называлось „мертвым пространством“ (очевидно, с точки зрения машины), о вобранных в полевой бинокль полях не говорили — „какой простор“, а „какой обстрел“... Предписывали: берегите патроны. И ни разу: берегите человека. И человека не хватило. Не уберегли».

Писатель услышал, что с языком — а значит, и с человеком — творится нечто неладное. (Отсюда — рукой подать до не-

произносимых советских аббревиатур, механических «неологизмов» из двух-трех усеченных до корня слов и «новояза», о котором много позже скажет Оруэлл.) Человек человеку — мишень. Четыре года спустя они двинутся друг на друга — в новелле «Мишени наступают».

Не случайно именно применительно к тоталитаризму впервые возникло понятие «государственная машина». И не только оно — терминологические открытия и изобретения советской эпохи заслуживают специального исследования, здесь поневоле придется обойтись беглым наброском, ограниченным культурным, то есть жизненным, пространством писателя Кржижановского.

В «Возвращении Мюнхгаузена» есть эпизод, где в тендере паровоза (не того ли «нашего», который «вперед лети»?) герой видит «не дрова, не уголь, а груды книг». И задается вопросом: «Надолго ли хватит запасов русской литературы?». Метафора «пользы» культуры реализуется убийственно буднично. Даже не смешно.

Прочитированное трехстраничное эссе «Человек против машины» написано в том же году, что и «Философема о театре», где отношение Кржижановского к происходящему выражено с еще большею определенностью. «Подлинная философия театра возможна лишь в том случае, когда театр и всё совпадают, то есть когда нет ничего в мире, что не было бы театром в той или иной его модификации». Почему речь — о театре? Да потому что, по его наблюдению, революция всем искусствам предпочла театр. Какой? *Мистерию*: включение в действие всех (круговая порука) на сценической площадке, равной площади всей страны, четырьмя стенами границ замкнутой от «публики» (прообраз «железного занавеса» (sic!), — не единственного, впрочем, образца «театрального арго», достаточно вспомнить «театр военных действий» или «политическую сцену»). Диктат жестко срежиссированных мизансцен и «канонических» текстов, никакой отсебятины, минимум импровизации — «мистерия цельна: в ней солнце всегда в зените (Город

Солнца, он же — Чевенгур. — В. П.) и у вещей нет теней». Оборотной стороны происходящего попросту не существует.

Эта театрализация жизни, жестко регламентированная от пресловутой «вешалки» до экстатического «апофеоза», — осознанна, последовательна, целеустремленна. «...Бывают *государственные новообразования* (курсив мой. — В. П.), навсегда покончившие с *вчера* и призывающие отречься от *сегодня* — ради *грядущего*, к которому направлены все усилия, *вся* воля государственного новообразования. Ясно, что такому государству не нужен и даже опасен эпос, возвращающий в *вчера*, нежелательна и лирика, мешающая отказаться от *сегодня*, замедляющая лёт времени, направленного в свое *завтра*. Приискивать примеры не приходится: *мы все, включенные в Россию, люди без вчера и без сегодня* (курсив мой. — В. П.): революция убила *вчера* и отвернулась от *сегодня*... Вот почему только театр, из всех искусств, нужен революции. Вот почему обнищавшая Москва 20<-го> и 21<-го> годов, отдающая всю бумагу под декреты, выдергивающая ее из-под перьев у лириков и эников, каждый вечер подымала сотню занавесов, каждый вечер упрямо разжимала им сотни холщовых век, всматривающихся в свое *завтра*. Декреты могли лишь *сказать* — о человеке, который придет *завтра*, ради которого убивали и гибли: но только театр мог *показать* его. Сделал ли он это — говорить не стану». Но все же говорит — всего через несколько строк: «Сценическую площадку захватывают не достойнейшие, но сильнейшие». И далее — о неразрывности этики и поэтики, поступка и слова, так что невозможно, извратив одно, не покалечить другого: «Поэтика это этика, в которой деяние подменено словом; этика же — поэтика, обменившая слово на поступок и требующая от поступков того же, чего она привыкла требовать от слов...»

Этот *революционный театр* играет пьесу о том, что «распалась связь времен» и с нею — веками складывавшаяся система межчеловеческих связей и гуманитарных ценностей. Но «светлое будущее» никогда не наступит, если ради него в жертву принесено настоящее и отрицается прошлое. Герой прозы

Кржижановского — человек, ищущий экзистенциального выхода из коллективного энтузиазма-безумия, нащупывающий — чаще всего безуспешно — хотя бы подобие равновесия в шатком, рассыпающемся мире *посткатастрофной* эпохи.

«Будьте всегда сострадательны к познаваемому, вундеркинды, — сказано в «Катастрофе». — Уважайте неприкосновенность чужого смысла. Прежде чем постигнуть какой-нибудь феномен, подумайте, приятно ли было бы вам, если б, вынуж из вас вашу суть, отдали б ее в другой, враждебный и чуждый вам мозг». Нам, выросшим на эзоповом языке всего лучшего, что в советские десятилетия создано литературой метрополии, не приходится ломать голову: о чем речь? Но современники писателя — из «вундеркиндов» — были не глупее нас. И не понаслышке знали, что все действия новой власти как раз и означают: «неприкосновенность» чужого смысла приказала долго жить.

Выдирая вещи Кржижановского из контекста эпохи, Горький приглушал, затушевывал прежде всего их эсхатологичность, лишал звучание важнейшего обертона. Подобным образом обращаться с тем, *что* написано, было возможно, лишь решительно игнорируя то, *когда* это написано.

Вообще-то не стоит переоценивать датировку того или иного литературного произведения. Прямой отклик писателя на события социальные и политические редок. Еще реже ему сопутствует в этом деле удача. Во избежание недоразумений: речь преимущественно о прозе. Поэзия на все реагирует острее, эмоциональней, да и возникает стремительней, нежели проза, требующая, по слову Пушкина, мыслей, мыслей и мыслей, зреющая медленно, в про-живании и пере-живании происходящего, устанавливая постепенно дистанцию и тот угол зрения, что позволяет охватить отходящее как можно полнее — и всякой частности определить единственное место в картине, где все связано со всем.

Поэт *догадывается* о сути — тем более убедительно, чем точней, пластичней и многозначней его слово. Философ *додумывается* до нее. Прозаик *дописывается*.

Бывают, однако, тектонические сдвиги истории, преобразующие и концентрирующие творческую энергию, так что художник безошибочно прозревает в настоящем будущее, изображает его не гипотетически, но с отчетливостью свершившегося, прошедшего. И тогда дата, выведенная под сочинением, становится полноправною последней его строкой и — на все времена — как бы ключом к нему. Современникам это, как правило, столь очевидно, что и в голову не приходит — оставить напоминание для потомков.

Максимилиан Волошин поэму «Россия» — о трагической цикличности истории страны — завершил в феврале двадцать четвертого года. Менее чем через месяц после смерти Ленина. Поэт, расчислявший собственную жизнь по семилетям (см. его «Автобиографию»), итожил семилетний цикл революции:

И этой ночью с напряженных плеч
Глухого Киммерийского вулкана
Я вижу изневоленную Русь
В волокнах расходящегося дыма,
Просвеченную заревом лампад —
Молитвами горящих о России...
И чувствую безмерную вину
Всея Руси —

пред всеми и пред каждым.

Тем же годом помечена повесть Кржижановского «Странствующее „Странно“», в одной из глав которой описана гибель организма, пораженного горячечным бунтом красных кровяных телец, этих «пролетариев крови», не ведающих самоубийственности своего порыва и необратимости его.

Эта метафора еще не раз возникнет в представлении его персонажей. «История вечно кружит то внутри горячих артерий, то медленно, капля за каплей, по холодным протокам лимфатических систем» («Швы»).

Годом позже Михаилом Козыревым написана повесть «Ленинград», одна из первых в мире антиутопий. Повод — переименование бывшей столицы в честь почившего вождя. Действие происходит сперва в десятых, затем в начале пятидесятых годов и завершается «хроникой» неудачной попытки свергнуть коммунистический режим. Автор попал в мясорубку репрессий, погиб — за полвека до первого издания своей книги — и до всего, чему мы стали свидетелями.

К 1927 году, к первым крупномасштабным общегосударственным юбилейным торжествам по поводу Октябрьской революции появляется не только «Хорошо!» Маяковского, но и «Зависть» Олеси. Тогда же Кржижановский пишет «Книжную закладку», где в первой же из новелл-эпизодов изображает, верней — воображает восстание, шествие по Европе и крушение Эйфелевой башни, этой Вавилонской башни рубежа девятнадцатого и двадцатого столетий, предназначенной создателями своими положить начало объединению вечно воюющего человечества, стать радиомаяком, задающим отсчет единого времени для всех стран и народов, первый шаг к сближению, первые слова языка взаимопонимания. Благая идея, обернувшаяся небывало враждебным разноязычьем Первой мировой — и всех дальнейших войн... А годом раньше, в повести «Клуб убийц букв», он увидел страну, утыканную «вышками-ретрансляторами», излучение которых парализует волю и манипулирует экзлюдьми (чем не теле- и радиобашни, сотворенные по образу и подобию Эйфелевой!)...

Примеров можно привести еще много, но ограничусь этими.

Приметы времени — по Кржижановскому — обозначают место события в вечности. Потому что время — тоже пространство, которое можно пересекать — мыслью — в любом направлении. В. Н. Топоров называет Кржижановского «гением пространства» и пишет о конгениальности творений художника и величайших открытий «физических» гениев — Эйнштейна, Бора, Шредингера и других: «Стоит указать, что теория отно-

сительности Эйнштейна была хорошо знакома Кржижановскому, как и некоторые другие „безумные“ идеи XX века, но — и это самое удивительное — многое было им предвосхищено на том уровне, где „несть ни поэзии, ни физики“, но есть преображение их в некое высшее единство в духе платоновских идей.

Не потому ли его сочинения, даже будучи неопубликованными, давали подчас никак рационально не объяснимый эффект. Вроде того, что в конце восьмидесятых некий молодой художник, живущий вдалеке от Москвы, сотворил картину, в точности совпадающую с написанной шестью десятилетиями ранее новеллой «Мишени наступают». А француз Поль Бури в 1980 году, то есть за девять лет до выхода русской и за двенадцать — до выхода французской книги, изобразил «Четыре деформации Эйфелевой башни» — ее четыре попытки сойти с места. А в 1993-м Серж де Сазо сделал фотоколлаж: резко откатнувшись назад, Эйфелева башня вот-вот шагнет на Марсово поле; впрочем, автор уже мог прочитать «Книжную закладку» по французски...

Горькому «образца тридцать второго года» проза Кржижановского не понравилась — и не могла понравиться. Тут кстати будет вспомнить — как обещано — о птичках.

Надо же было дожить до того, что из созданного им многостраничья-многотомья выбран был и официально утвержден в качестве «фирменного знака» писателя не роман-эпопея, даже не знаменитая повесть, откуда — по инициативе журналистов-вождя — начал свое терроризирующее писателей шествие оксюморон «партийная литература», но романтически пошлый «Буревестник», который разве что самую малость послабее, чем «Девушка и смерть». И — при внимательном взгляде — есть не что иное, как.. «антидекадентская» интерпретация Бодлерова «Альбатроса»! Все эти «пингвины в утесах» и прочие курьезы, изложенные не в лад пафосу приплясывающими хорями, тем более забавны, что изобретались на фоне гениального Серебряного века русской поэзии. Ничего поэтому стран-

ного, что вследствие оно, если угодно, орнитологического антагонизма «буревестник революции» не нашел ни единого доброго звука для подвернувшегося под клюв «альбатроса».

А недобрые нашел — особенно в конце письма. Дескать, не просто так — по прихоти своей или там антипатии личной — не станет он поддерживать Кржижановского, но из благородного опасения: а ну как, напечатаны будучи, сии сочинения «вывихнут некоторые молодые мозги». Хотя скорее как раз наоборот — не вывихнули бы, а вправили, вытеснив барабанный, казенный оптимизм истинным трагизмом миропонимания. Горький и сам, конечно, писатель трагический. Однако в других этого не любил. И в тридцатых годах, когда тщательно уже отмеренный и отвешенный властями «пайковый трагизм» причитался немногим — надежным, выгодным, удобным — художникам, он, получив такую льготу, ни с кем не желал ею делиться.

По свидетельству Георгия Шторма, это письмо Кржижановского не удивило и не огорчило. На помощь он не рассчитывал. И, не получив ее, остался «при своих» — просто захлопнулась еще одна приоткрывшаяся было дверь. Сочинения Горького он ценил невысоко. Мимоходом сыронизировал над знаменитой фразой из «На дне»: «„Чеээк!“ — это звучит...» («Записные тетради»). А к «чужому смыслу» бывал уважительно чуток лишь при одном непременном условии — при наличии «смысла», заменить который не могли ни старшинство, ни бывшие литературные заслуги. Аргументы же корифея в данном случае стоили недорого. Ибо главный из них, благополучно доживший до наших дней, уже побывал в употреблении за несколько лет до того: первым делом — колбаса, ну а философия — потом. Правда, Олеша, сталкивая по этому поводу в «Зависти» Кавалерова с Иваном Бабичевым, полагал, что создает одну из эффектных своих метафор, в то время как породил символ социалистического благополучия и светлого будущего. Кржижановский знал, что, похерив философию, колбасы не получишь.

Впрочем, одна фраза, судя по всему, его все же задела. Первая. Формула, которой Горький начал письмо, — не ради красного словца или демонстрации начитанности. Она поддается вполне конкретной расшифровке. «Мудрости эллинской», то есть «лукавству» европейской философии и «модернистской» литературы, Горький противопоставляет — не называя — *истину* русской классической традиции, так сказать «Евангелие от Толстого».

Кржижановский, не хуже него знавший русскую литературу и несравненно лучше — европейскую (не говоря уже о философии — классической и современной), среагировал на это как и подобает писателю. Ровно год спустя, в августе тридцать третьего, он писал жене, что завершает работу над книгой новелл «Чем люди мертвы». Подразумевая первую и мгновенную читательскую ассоциацию с христианской притчей Толстого «Чем люди живы».

Там, если помните, ангел, отправленный на землю постигать смысл человеческой жизни и мудрость Промысла, обнаруживает, что «живы все люди не тем, что они сами себя обдумывают, а тем, что есть любовь в людях». И перед возвращением на небеса просвещает — в полном согласии с автором — благогозеющих смертных: «...Понял я теперь, что кажется только людям, что они заботой о себе живы, а что живы они одною любовью. Кто в любви, тот в Боге. Потому что Бог есть любовь».

Герои включенных в эту книгу вещей (почти все они написаны раньше — между 1925 и 1931 годами) только тем и занимаются, что «сами себя обдумывают», ум и душа охвачены рефлексией, не оставляющей места для любви. Потому что сбылось пророчество Ницше: «Бог умер» (притча с таким заглавием есть в «Сказках для вундеркиндов»). А для оживления, как известно из фольклора, одной «живой» воды мало — нужна и «мертвая»...

Занимательная, богатая внезапностями фабула и стремительный ритм, сгущающий повествование, когда десять-двенадцать страниц — повесть, а двадцать пять — чуть ли не роман,

целая история жизни контрастирует с неторопливостью, несуетностью мысли. Так возникает драматическое напряжение этой прозы — на пересечении быта и бытия.

Он делил художников на ЭТОВТОВЦЕВ и ТОВЭТОВЦЕВ, то есть преобразующих земное в запредельное и запредельное в земное: одна из самых ранних и устойчивых его идей. Литературовед И. Г. Ямпольский вспоминал — семьдесят лет спустя — читанную Кржижановским еще в Киеве лекцию на эту тему, где в качестве наиболее яркого, полярно контрастного примера назывались Андрей Белый и Саша Черный. Анна Бовшек писала, что первой же темой, предложенной им в ответ на ее просьбу придумать программу цикла поэтических вечеров-спектаклей в 1920 году, была: «Андрей Белый и Саша Черный». Эти же имена возникают рядом в главке о псевдонимах «Поэтики заглавий». В своей прозе — и поэтике — он стремится объединить обе возможности, перебрасывает мост между ними, свободно движется в обоих направлениях...

Поразившая мир русская литература XIX века была выплеском энергии, столетиями копившейся и не находившей свободного выхода, пока не развился язык и не было освоено многообразие литературных форм, уже давно разработанных литературой европейской. Наверстывая почти тысячелетнее отставание от христианской культуры, русский XIX век набрал такую скорость, что на некоторое время опередил всех. И завершился творчеством Толстого. Выдохся. Не случайно поздний Толстой — это притчи и публицистика, весьма уязвимые с позиций его же собственного художнического опыта.

Смену эпох художники почувствовали первыми. Дальнейшее культивирование национальной исключительности искусства грозило обернуться герметической провинциальностью.

Двадцатое столетие впервые в истории дало ощутить — и осознать — ничтожность Земли в космическом пространстве и общность проблем, довлеющих ютящемуся на этом шарике человечеству. Потому литература нового времени решительно

размывала прежние границы, прорастала общими для всех идеями, образами, метафорами.

В «Чевенгуре» легко обнаруживаются приметы и мотивы рыцарского романа. Беспросветная современная «свифтиана» разыгрывается на страницах замятинского «Мы». Целый библиографический указатель: прихотливо переплетенные темы, фабулы и сюжеты иноязычных авторов, — составляют, дополняя друг друга, исследователи булгаковского Романа*. Вариации на темы немецких романтиков проступают в лучших рассказах Грина — «Фанданго» и «Крысолов».

У Кржижановского в «Чем люди мертвы» каждая новелла возникает как бы на границе русской и европейских литератур. Будь то «Квадратурин», где бытовая, интимная жизненная ниша превращается в бесконечно разрастающееся, «антишагреневое», что ли, пространство, растворяя личность в вечности, сознание в безумии. Или «Фантом», вынуждающий вспомнить «готический роман» Гофмана, «великого мастера темы о двойничестве» (замечу, что тема эта пришла к романтикам — и далее к Достоевскому — от... Канта: как попытка художника обнаружить и обозначить границу между «я» и «не-я», разобраться в неожиданно сложных взаимоотношениях «вещи» и «тени», вплоть до прямого их конфликта, замечательно персонафицированного Шамиссо). Однако «теме двойного бытия тесно внутри малого человеческого „я“, она ищет простора», — и вместе с нею, вырвавшейся наконец на волю, отлетает душа гибнущего героя. Или «Чудак» — про странствующего по дорогам войны коллекционера, исследователя и классификатора страхов, психолога, естествоиспытателя, ставящего смертельный опыт на самом себе. Причем война изображается с равным сочувствием — или отупелым равнодушием — к обеим сторонам, — в ней нет каких-либо национально-государственных примет; это — братоубийство, психоз, толкающий человека уничтожать себе подобных...

* Романа «Мастер и Маргарита».

Такую литературу употребить в своих прагматических целях государство не в состоянии. И оно ее «закрывает».

Нетрудно понять, что призывы к верности «традициям классики», зазвучавшие с трибун и освященные именем Горького, а также всемерно поощряемая свыше борьба с формотворчеством («формализмом») были, в сущности, стремлением мумифицировать «живой труп» искусства. И вменить всем в обязанность — под страхом суровых кар — считать эту мумию «вечно живой».

Горькому отводилась в этом спектакле заглавная роль. К 1934 году он вполне дозрел до мысли о бесполезности сопротивления и уже был готов расслабиться и получить максимум удовольствия. Тогда и состоялся Первый съезд писателей.

Первый опыт обуздания культуры, ее регламентированного приспособления к обслуживанию государственной идеологии замыслен в самом начале тридцатых и готовился два с половиной года (постановление ЦК ВКП(б) о «перестройке» литературы датировано апрелем 1932 г.) с чрезвычайной тщательностью. Сценарий был расписан детально, до мизансцен. Режиссура осуществлялась жестко и бдительно, не допускалось никакой отсебятины и неожиданностей, способных вызвать нежелательный общественный — международный резонанс.

Потому, думается, угадал Замятин со своим знаменитым письмом к Сталину, до сих пор изумляющим резкостью и ядовитой иронией, оставленными, как говорится, без последствий. Автора быстро и без шума отпустили за границу. Затем неторопливо провели «чистку» среди оставшихся (не исключено, что удивительная «мягкость» приговора Мандельштаму — три года ссылки — в мае 1934-го — из того же «сюжета»).

Словом, к семнадцатому августа все было накрахмалено и отутюжено.

Кржижановский — под псевдонимом «Прутков-внук» — иронически комментировал это событие в периодике (такое было еще возможно, но недолго ему оставалось). Он еще деся-

тилетием раньше составил представление о «новой» литературе, о ее существовании и направлении: «„Идеологии“, скажем так, всех этих беллетристов-бытовиков, которые сейчас в 90%, — заблудились, почти по-пошехонски, в трех карандашах; темы их пляшут даже не от печки, а от станка, станок же знаком им по энциклопедии Граната. Все эти претенциозные крашенные обложки делают свое дело так: берут пустоту и одевают ее, ну, хотя бы в кожаную куртку; после того, как все пуговицы на пустоте застегнуты, не знают, что дальше» («Штемпель: Москва», 1925). Теперь он физически ощутил колоссальное моральное давление, обрушенное на писателей под девизом «Искусство принадлежит народу», девятый вал наказов, заказов и советов трудящихся — писателям, низводимым, то бишь «возвышаемым», тем самым до «слуг народа». Конечно, почва для этих семян была взрыхлена и удобрена значительно раньше, «народнические» идеи были в ходу более полувека, их дух смущал подчас и тех художников, которые прекрасно понимали, что большинство всегда не право, и все же подчас мучились сомнениями: возможно ли, чтобы все вокруг шагало не в ногу и «не туда»? Но тут писатели были, можно сказать, изнародованы. Чем иным объяснить, что драгоценный стилист Бабель призвал делегатов съезда учиться стилю у Сталина!

Наконец, в один из дней цветущие улыбками колхозники дотащили до стола президиума огромную корзину овощей — в дар Горькому. Совершенно в духе дружеского застолья: «От нашего колхоза — вашему колхозу». И ненавязчивого напоминания: кто кого кормит. (Кстати, Горького в тот день на съезде не было, он прихворнул и, говорят, весьма гневался, когда обнаружил назавтра, что несытые молодые писатели-делегаты растащили овощи по домам, оставив ему в пустой корзине лишь красочную бумажку — «адрес».)

К чему шло — к тому и пришло. Съездом ознаменовался «великий перелом» литературы. И первым председателем колхоза, виноват, Союза писателей стал, естественно, Горький.

В точном соответствии строке Кржижановского из «Записных тетрадей»: «У нас слаще всего живет Горькому, а богаче всех Бедному».

Коллективизация литературы, которая — по определению — дело штучное, сугубо индивидуалистическое, означала для Кржижановского, что все лучшее из написанного им обречено на неизданность. Итоги съезда уместились в одной его фразе: «Это так же похоже на литературу, как зоологический сад на природу».

Лет десять спустя он говорил Наталье Семпер, что она, быть может, доживет до обнаружения его прозы, все-таки на четверть века моложе. И оказался прав. В ее же записях сохранилось высказывание Кржижановского: «Писатель не должен состоять в колхозе и выработать трудодни». Сформулировано задолго, за полвека с лишним, до наших литераторов-современников, выясняющих, кто из них первым сравнил Союз писателей с колхозом, — теперь, когда можно.

Вообще разного рода «опережений», того, что позже — с другими и для других — становилось более или менее обыденным, в биографии Кржижановского множество. Первая же его публикация вызвала это странное эхо.

«Всего два года назад Ф. А. Степун говорил мне по поводу моей сказки-диалога „Якоби и „Якобы““ („Зори“, № 1, изд. ВУЛК, 1919), что игра со словом „якобы“, навязываемая сказкой немецкому метафизику Якоби (F. H. Jakobі), вряд ли свойственна немецкому мышлению и, главное, никак не осуществима на немецком языке. Споря, мы оба не знали, что именно в это время, именно в Германии, осуществляется на чистейшем немецком языке, не в сказке, а в серьезном философском труде, игра со словом „якобы“ (Als Ob). „Die Philosophi des Als Ob“ („Философия Якобы“) Ганса Файгингера появилась в 1920 году. До истечения года выдержала 7 изданий...»*

* С. Кржижановский. «Театрализации мысли», 7 дней МКТ, 1924, № 9.

Другие примеры не менее удивительны. Только удивляться приходится нам. Кржижановский не дожил. Однако знал, что так и будет.

Из воспоминаний Александра Дейча «Голос памяти» — фрагмент, относящийся к Киеву 1919 года: «В Литературном комитете возглавлявший его С. Д. Мстиславский... с восторгом рассказывал товарищам, как почной сторож принес для напечатания в журнале „Зори“ философский трактат „Якоби и «Якобы»“. Правда, выяснилось, что ночной сторож не кто иной, как С. Д. Кржижановский, оригинальный и острый мыслитель, вскоре смеивший тулуп ночного сторожа на обличие профессионального литератора, поэта и прозаика, инсценировавшего, между прочим, повесть Честертона „Человек, который был Четвергом“ для Камерного театра».

Сюжет, скорее всего, апокрифический (сродни куда более позднему — про то, как Платонов служил — и не где-нибудь, а при писательском доме — дворником, которым он не был, но мог быть: в официальной иерархии деятелей советской литературы его «ступенька» приходилась как раз на этот, дворницкий уровень). Мстиславский к тому времени уже хорошо знал, кто такой Кржижановский. Историю знакомства с ним несколько лет спустя, в Москве, рассказывал С. А. Макашину совсем иначе (правда, и то повествование изрядно смахивает на апокриф^{*}). Возможно, он хотел таким образом «подать» Кржижановского коллегам поэффектней. Не исключено, впрочем, что мы имеем дело с нередкой у мемуаристов аберрацией памяти — Дейч писал свою книгу в начале шестидесятых.

Так или иначе, но с конца шестидесятых и до середины восьмидесятых годов дворники, ночные сторожа, истопники, они же писатели, живописцы, философы — подчас замечательные, отнюдь не были для нас чем-то невероятным. Не получив официозного признания (и — в большинстве случаев — не стремясь к нему), а стало быть, и «юридического» права

* См.: С. Кржижановский. Возвращение Мюнхгаузена. Л., 1990 (1991). С. 6–7.

заниматься только *своим* делом, они простым этим способом избегали милицейских преследований «за тунеядство». Самиздатская и особенно зарубежная известность некоторых из них вызывала черную зависть «генералов от искусства». Но социальное положение — ниже некуда! — делало их почти неуязвимыми. Да и свободного времени такая служба оставляла в достатке: сутки отдежурил — двое, а то и трое спи-отдыхай. Дело дошло до того, что образовалась очередь: попасть на подобное место без протекции стало посложнее, чем в какой-нибудь престижный НИИ.

Из написанного Кржижановским, пожалуй, самой щедрой на «предвосхищения» стала повесть «Возвращение Мюнхгаузена». Все они остались «за кадром» единственно потому, что при жизни автора книга света не увидела.

В 1925 году Кржижановский, уже имевший некоторый опыт сотрудничества с киностудиями, написал сценарий с таким заглавием и предложил его «Межрабпромфильму» (недурно звучащее сращение!). Сценарий был отвергнут. Сделав несколько переделок и безуспешно попытавшись наладить отношения с другими постановщиками, писатель отказался от кинозатеи и принялся «переводить» сценарий в прозу, в повесть, которую и завершил к лету 1927-го. Насколько мне известно, это — первый опыт, намного опередивший нынешнюю, пока преимущественно западную практику «романизации» фильма (в отличие от куда более традиционной экранизации книги), когда роман пишется по сценарию и *после* выхода картины на экран, да еще при условии, что она имеет кассовый успех. То есть служит и своего рода рекламой: если не гарантирует, то дает повод надеяться, что книга будет хорошо раскупаться.

Издательство «Земля и Фабрика» поначалу приняло «Мюнхгаузена» к печати. Потом засомневалось. И было отчего. То, что советскую *якобы действительность* не удалось перефантазировать даже такому «гению фантазма», как легендарный барон, в изложении автора вовсе не выглядело комплиментом этой самой действительности. Скорей наоборот. И хуже всего — с редакторской точки зрения — было то, что «опасные»

мысли и ассоциации возникали по мере увлекательного чтения как бы сами собой, иначе говоря, что замечательное мастерство сатирика несомненно.

Государство, начисто лишенное чувства юмора (недаром одновременно с философами его покинули и лучшие юмористы) и, стало быть, обреченное на сумрачный и нездоровый климат, ибо, по Кржижановскому, «юмор — это хорошая погода мышления», поощряло антизападное памфлетерство, вроде всяких «Месс-мендов», но с первых своих дней крайне раздражалось даже тенью улыбки в свой адрес. И чем дальше, тем агрессивней становилась эта нелюбовь. В 1925-м не дошло до печатного станка «Собачье сердце». Четырьмя годами позже был запрещен «Багровый остров», затем — Эрдмановы «Самоубийца» и «Мандат».

Понятно, что издательству рисковать не хотелось. И отказать непросто: за Кржижановского хлопотали весьма влиятельные литераторы. И тут кого-то из руководителей «ЗиФа» осенило. «Книга если выйдет, то с предисловием, в котором меня, вероятно, здорово разругают. Пусть», — писал Кржижановский жене в конце 1928 года. Запас «пустей» у него еще не иссяк.

Способ обезопаситься, публично отмежевавшись от печатаемого автора, на сей раз не понадобился — почти двухлетние редакционные мытарства рукописи кончились ничем. Но он все же вошел в советско-издательский оборот: позже — и надолго. Различия между отечественными и зарубежными авторами, а также между живыми и покойниками при этом не делалось. Интересующихся отсылаю — для примера — хотя бы к изданию стихов Кишлинга (1936), где предисловие гласит, что поэт, конечно, — апологет британского империализма и вообще бука, каких поискать, но читать его бесполезно, дабы лучше знать врагов своих, особенно тех из них, кто сумел «высокохудожественно» эти самые вражеские идеи воплотить; это, увы, не очень согласуется с тогда же звучавшими утверждениями, будто «буржуазный» художник ничего путного сотворить не в

состоянии, ну, да, видимо, «обезопасить» издательство только ценою подобного противоречия и можно было. А в шестидесятых годах, на исходе хрущевской оттепели, по-твардовски прогрессивный «Новый мир», открывая публикацию мемуаров Эренбурга, предуведомлял читателей, что редакция далеко не во всем согласна с автором и что его писания о прожитой жизни грешат... субъективизмом! Поди откопай в штабелях мировой мемуарной литературы хотя бы один образчик *объективных воспоминаний*...

Этот специфический жанр оправдательных предисловий и послесловий, своего рода издательских «объяснительных записок», адресованных не столько читателю, сколько партийному начальству, — характерная черта советской литературной жизни. Попробуйте вообразить, чтобы Сытин, Катков или Суворин таким образом морочили публике голову — из боязни, как бы мнение издателя не было отождествлено с мыслями автора. Правда, и рисковали они не головой, но лишь кошельком. Разница существенная.

Однако вернемся к Кржижановскому с его «Мюнхгаузеном». И, отдав должное редакторам, сообразившим в конце концов, что, как ни отмежевывайся от автора, а издание такой книги — да еще в отвсетах революционного юбилея — превышает допустимый риск, обратим внимание на необыкновенную популярность в пореволюционной России Мюнхгаузена и двух его, можно сказать, соседей по мировой классике — Гулливера и Робинзона. Все три книги выдерживают множество изданий, появляются новые переводы, среди первых же советских книг для детей тут как тут их «переложения». Кинозамысел Кржижановского, как уже сказано, не осуществлен, но приоритет на экранную «мюнхгаузениану» все равно — за советским кино: Иванов-Вано и Черкес экранизировали — выборочно и мультипликаторски — «Похождения Мюнхгаузена» (1929). Первый отечественный полнометражный мультфильм — «Новый Гулливер» (1933, по сценарию Кржижановского, тогда же написав-

шего и две новеллы о Гулливере — «новонайденные главы» знаменитой книги). Надо сказать, что сатирик Свифт в ту пору прочно числился в любимцах советских литераторов и их начальства, — достаточно упомянуть, что в 1926 году «Огонек» торжественно отметил двухсотлетие со дня издания «Сказки бочки».

Нет недостатка и в новых версиях приключений каждого из этой троицы. Грузинский вариант «Мюнхгаузена» одновременно с Кржижановским и независимо от него создает Серго Квдиашвили («Приключения дворянина Лахундарели», 1927). Михаил Козырев пишет «Пятое путешествие Гулливера» (1936, опубликовано пятьдесят пять лет спустя). Более сопротивляется «метаморфозам» Робинзон, однако и ему не устоять: тема «необитаемого острова» варьируется то и дело — вплоть до «Обитаемого острова» братьев Стругацких...

Риску предложить не разгадку этого феномена, а скорей одну из возможных догадок о нем, — о том, почему именно эти трое привлекали воображение писателей и симпатии читателей. Очертив своими приключениями весь диапазон экстремальных ситуаций, от совершенно фантазмагорических до самых что ни на есть обыденных, они в стране, которая полагала, что сказку делает бльью, а на деле именно бль превращавшей в небывальщину, — каждый по-своему — оказались на редкость своевременными собеседниками, даже, пожалуй, «советчиками». Мюнхгаузен собственным опытом словно примирял с невероятностью, подчас заведомой ирреальностью происходящего. Гулливер помогал осознать природу охватившего всех чувства «неюта», ибо человек никогда не вровень с окружающими и окружающим: он либо больше, либо меньше, либо просто «иначе». Робинзон подсказывал единственную возможность выжить в безнадежных обстоятельствах — рассчитывая только на себя, в крайнем случае — еще на *одного*, на *своего*, на Пятницу, потому что если и есть вокруг другие «люди», то, не ровен час, — людоеды...

Кржижановский потратил на попытки издать «Возвращение Мюнхгаузена» чуть ли не больше усилий, чем на попыт-

ки издать все остальные рукописи вместе взятые. И — даром, ничего не вышло.

«Я живу в таком далеком будущем, что мое будущее мне кажется прошлым, отжитым и истлевшим» («Записные тетради»).

Он написал одну из своих повестей о будущем — как о прошлом. Можно ли испытывать удовлетворение, если предрек наилучшее — и оно сбылось?

В его прозе то и дело наталкиваешься на темы-предвосхищения и метафоры-прогнозы, на образы, словно у него извлеченные из воображения и воплощенные — вскоре или попозже — невообразимой действительностью. Всего вернее, пожалуй, назвать их, воспользовавшись его же подсказкой, «воспоминаниями о будущем», иногда — близком, чаще — далеком. Кстати, в финале так озаглавленной повести, датированной 1929 годом, каморка (камера? — согласно Далю, это синонимы) арестованного ночью героя наутро оказывается под потолок набита дровами. Через каких-нибудь семь-восемь лет лесоповал станет символом каторжного гулаговского труда.

В раннем наброске к «Возвращению Мюнхгаузена» этот мотив звучал вполне невинно: «В своем глазу бревна не замечает, а в чужом видит соломинку. Изменились отношения. Начали таскать бревна из своих глаз. Так возникли лесозаготовки».

В «Клубе убийц букв» (1926) экссы — бывшие люди, превращенные государством в безропотных биороботов, — расползаются, растекаются аморфной, конвульсивно-беспомощной массой, едва выходяют из строя направляющие каждое их движение мощные излучатели непрерываемой властительской воли. Примерно такими же оказались последствия стремительного распада партийной диктатуры и краха «единственно верного» и потому «всесильного» учения.

В той повести писатель впервые — и мимоходом — коснулся темы «гений и злодейство», которую XX век — и не только в России — решал отнюдь не в духе пушкинского императи-

ва. Гениальный ученый, отдающий свое открытие в руки аморальных политиков (что, впрочем, тавтология), которые употребят его во зло человеку, не то чтобы не ведают, что творит, но попросту не задумывается до поры о своей ответственности за «прикладной» результат и озабочен только одним: убедиться — и убедить — в своей теоретической, научной правоте. Чтобы поколебать, а затем и разрушить этот психологический стереотип, понадобились Оппенгеймер и Сахаров...

Герой новеллы «Желтый уголь» (1939) профессор Лекр находит выход из грозящего человечеству энергетического кризиса в использовании «даровой» энергии ненависти. Однако у благоденствия, воздвигнутого на такой основе, короткий век, минус на минус дает плюс, «империя зла» несет в себе заряд самоуничтожения: можно отсрочить его, но не избежать.

Оставляю читателю возможность самостоятельно продлить этот ряд — вплоть до самого поразительного, на мой взгляд, случая. Я имею в виду рассказ «Немая клавиатура» (1939), замысел которого тремя словами обозначен в «Записных тетрадах»: «Марш для безногих». Чтобы понять его происхождение, надобно вспомнить, что на духовное формирование Кржижановского существенно повлияла австрийская культура начала века (недаром одна из первых его студенческих поездок за границу была именно в Вену).

Берусь утверждать, что многие его вещи не были бы написаны или, вернее, были бы написаны иначе без знания Фрейда, Музиля, Перуца, Мейринка; его «малые формы», мастерски передающие мгновенные впечатления, выдают пристальное внимание к книгам импрессионистов Шницлера и Альтенберга. А неотвязная *музыкальная тема* его творчества подсказывает добавить сюда еще одно имя — Шёнберг. Переворот, совершенный Шёнбергом в музыке, невероятно расширил ее выразительные возможности. Более того — преобразованию подверглось, быть может, наиболее консервативное из эстетических чувств — музыкальный слух. Подобно физикам, открыв-

шим радиоактивность и впервые расщепившим атом, одарив человечество неисчерпаемым источником энергии (а заодно и оружием уничтожения, от которого нет реальной защиты), их современник Шёнберг расщепил ядро «доброй старой» музыки*. Мир буквально взорвался додекафонией звуков. И тогда герою рассказа Кржижановского сел к роялю с немой, лишенной струн клавиатурой. И публика *улышалась тишине*. А произошло это за десятки лет до того, как столп современного музыкального авангарда Кейдж обнародовал свои «4 минуты 33 секунды»: столько — по хронометру — сидит музыкант на сцене за инструментом, не прикасаясь к нему...

Таких случаев слишком много, чтобы говорить о случайностях. Тут угадывается некая система. Тем более что Кржижановский дал несколько подсказок, помогающих читателю его прозы, увлекательной и нелегкой, стремительной и не позволяющей взгляду заскользить по поверхности, по фабуле.

Начало своего писательства он обозначил моментом «выбора между Кантом и Шекспиром». То есть между логикой философской мысли и интуицией художественного творчества. Разумом он выбрал Шекспира. Однако написанное им продемонстрировало не столько превосходство «суда образов» над «понятиями», сколько умозрительность самой антиномии.

«Обращаться с понятиями как с образами, соотносить их как образы — вот два основных приема моих литературных опытов» («Записные тетради»).

Шекспировский «Globe», в сущности, ничего не имеет против Лейбница «globus intellectualis»; силовые линии тра-

* Это сопоставление как бы «узаконивает» сам Кржижановский. Он, как известно, читал лекции по истории музыки, дружил с такими композиторами, как А. Буцкий и С. Василенко, отлично знавшими новую европейскую музыку. И в то же время среди его добрых знакомых — В. Вернадский, А. Северцов, А. Ферсман. Есть свидетельство, что он присутствовал на первом в Москве научном докладе о расщеплении атома.

гедий тянутся от «вещей в себе» к «теням теней». *Выбор* не означает отказа от одного в пользу другого. Во-первых, Кант *присутствует* и *участвует* в новеллах «Жизнеописание одной мысли» и «Катастрофа». Во-вторых, ключевые понятия из его «Критики чистого разума», можно сказать, персонифицированы и в «Стране нетов», и в некоторых других вещах Кржижановского. В-третьих, наконец, прослеживая, как писатель работает над своими «темами», можно условно поделить этот процесс на три стадии: сперва он о-Кантовывает повествование, то есть очерчивает понятия и *травестирует* их в образы, затем Кантует, поворачивает под разными углами взгляда, не давая множеству точек слиться в одну, в «кочку зрения», и — к финалу — рас-Кантовывает, переводит *образ мысли в мысль образа*, преобразует мысль в чувство. При этом обнаруживается, что интуиция и логика не только способны прекрасно ужиться, но и дополняют, усиливают друг друга. Кржижановский убедился в том, перечитывая своего любимого Свифта. «Любопытно, что и в первой и во второй части своих путешествий Дж. Свифт как истинный художник позволяет себе только по одному разу нарушить меру — уменьшить или увеличить тела людей, в окружении которых живет герой его, — писал Кржижановский в статье «Страны, которых нет» (1937). — В дальнейшем он чрезвычайно точен и нигде не отступает от реалистической манеры письма. Будь на земле лилипуты и броддинброги, нам практически пришлось бы общаться с ними именно так, как описывает это Свифт».

Перед нами — предельно лаконичное объяснение собственного метода, который писатель называет *экспериментальным реализмом*. При этом он ссылается на естествоиспытателя, «реалиста по определению» Фрэнсиса Бэкона: «Мы лишь уменьшаем или увеличиваем расстояние между предметами, остальное довершает природа». Применительно к литературе: одно-единственное фантастическое допущение и неопровержимо строгая логика последствий.

При этом Кржижановский чаще всего как бы оставляет дверь приоткрытой для читателя, дает ему выход, возможность рационального объяснения фантазма, этой «боковой ветки» реальности: сон, галлюцинация, болезнь, опьянение... Однако зерно мысли — сомнение — заронено: как в Гамлета после свидания с призраком отца...

Именуя свои сочинения новеллами, Кржижановский в статьях пишет об экспериментальной природе новелл По: «Эдгар По говорил о психологических приключениях, о необычных авантюрах мысли... Бесом извращенности он называет ту силу, которая подводит человека к самому краю пропасти и заставляет заглянуть в нее... *страсть к эксперименту, не оставившаяся ни перед чем...* (курсив мой. — В. П.) Э. По всегда у края возможности, у предельной черты... Э. По — мастер новеллистического стиля. Особенность его техники заключается в том, что произведения его очень кратки, но словарь их необычайно широк. Э. По не хватает английского языка, он изобретает неологизмы, мало того — берет горстями из древних и новых языков сотни новых значений. Нужно сделать все, чтобы новелла, прежде чем кончится ее трехстраничная жизнь, успела высказаться до конца... Эдгар По был единственным беллетристом 40-х годов, который ставил перед литературой (в лучших своих вещах) чисто научные и философские проблемы. Самый метод его изложения математически точен, алгебраичен. „Эксперимент в уме“ (термин профессора Кельвина) проводится почти всегда с необычайной последовательностью» («Эдгар Аллан По. 90 лет со дня смерти», 1939). Такая же мысль высказана в последней из его историко-литературных работ: «Новелла отличается от рассказа (повести), как эксперимент от наблюдения...» («О польской новелле», 1948). А говоря о Шекспире, он формулирует «закон» экспериментального реализма: «Чем меньше слов, чем меньше времени, отпущенного под слова, тем больше должны быть самые слова...»

Он говорит о других — и думает о себе. О задачах, которые он решает в собственном творчестве и которые для него —

всегда — существуют, если угодно, в контексте не «местной», но мировой литературы. Ему присуще обозначенное Пушкиным свойство: «Гений берет свое везде, где находит».

Он пишет «поперек линованной бумаги»: в 1923-м, в пору повального «формального поиска» — о философии искусства и психологии творчества, в 1939-м, когда «борьба с формализмом» завершилась пирровой победой «новой эстетики», — о технике письма, о лексическом новаторстве, о форме.

«Американец Э. По жил в стране и в эпоху, мало соответствующих его умонастроению». Русский поляк С. Кржижановский — тоже.

Он чувствовал себя Гулливером, очнувшимся после кораблекрушения в стране лилипутов. Ни пошевелиться, ни повернуть головы: каждый волос тщательно намотан на вбитый в землю колышек. Тем драгоценней свобода мысли. Даже если ради нее приходится надеть маску Мюнхгаузена.

Думается, «свифтиана» была естественной реакцией художников на попытку государства ограничить искусство гимном, одой, парадным портретом. Последствия оказались трагическими. Автор «Пятого путешествия Гулливера» Козырев был расстрелян в тюрьме в сорок первом. Как и Левидов, написавший книгу о Свифте, по сей день, вероятно, лучшую по-русски художественную биографию, быть может, самого странного и «неудобного» писателя во всей мировой литературе.

Кржижановскому причастность к «свифтиане» тоже даром не прошла.

Есть нечто фатальное в той тщательности, с какой, кажется, сама судьба неусыпно заботилась о его безвестности. У каждой его неудачной попытки разорвать эту обволакивающую пелену вроде бы есть и причины, и виновники — по отдельности более или менее случайные. Взятые вместе, они являют закономерность, подчиняющую своей воле все или почти все, что выходило из-под пера этого писателя.

Ну, допустим, проза, печатание которой, не сомневаясь, принесло бы автору если не славу, то во всяком случае прочную литературную репутацию оригинального мыслителя, мастера магнетической фабулы и той редкостной словесной концентрации, когда «воплощение» означает плотное размещение замысла на плоскости бумажного листа и только потом, в читательском восприятии, написанное обретает плоть, объем, движение, дыхание, — допустим, повторю, издание его прозы не отвечало «идейно-политическим» требованиям эпохи, самому прогрессивному в мире — советскому параличу художественности.

Но ведь не прозой единой был он жив. Его умные статьи о литературе и театре, ценимые профессионалами и не утраченные по сию пору ни значения, ни блеска, проходили в печать не каменного прощя. Остались — при жизни — неопубликованными: лучшая (и большая — девять десятых) часть его Пушкинианы; больше половины шекспирианы, уже упоминавшаяся «Философема о театре»; своего рода приложение к «Поэтике заглавий» — «Пьеса и ее заглавие»; эффектный опыт исследования природы вымысла и классификации фантазмов — «Страны, которых нет», любопытнейшим образом перекликающийся с работами современного исследователя Цветана Тодорова; неожиданная «Драматургия шахматной доски» (1946), анализирующая сценическую игру наподобие шахматной партии, и многое другое.

Кстати, об отношении специалистов к статьям Кржижановского — краткое мемуарное отступление о том, как в 1989 году появилась первая его книга. Примерно за год до того беседовали мы с Дмитрием Урновым, тогдашним главным редактором «Вопросов литературы». И он между прочим сказал, что как раз собирается в издательство «Московский рабочий», а там его то и дело просят порекомендовать что-нибудь, читателям неведомое. «Посоветуйте им издать Кржижановского!» — «А кто это?» Я как мог объяснил, стал толковать о прозе, но поди истолкуй в нескольких словах! И тут спасительно осенило:

«Да вы не можете его не знать — он о Шекспире писал». — «Тот самый? Ну как же... Так он еще и прозу писал?» — «И замечательную. Ее и Аникст, и Морозов, и Асмус, и Ланн, и еще многие очень высоко ставили...» На следующий день мне позвонили из издательства.

То же — с драматургией. Не увидели сцены ни предназначенная Таировскому театру «условность в семи ситуациях» — «Писаная горба», ни исторический фарс-мюзикл (композитор С. Василенко) «Поп и поручик», за право постановки которого спорили семь городов и, в частности, такие режиссеры, как Рубен Симонов, Николай Акимов, Валерий Бебутов (а на обсуждении пьесы коллегами-драматургами говорилось, что Кржижановский — один из крупнейших писателей современности, да и в мировой литературе не затеряется, что пьеса, написанная артистически легко и быстро — в паузе между «основными» занятиями, — такова, что спорить не о чем и надо лишь подумать, кто из постановщиков может ее «не загубить» — ну, разве что Мейерхольд), ни парадоксальная эксцентрика в стиле Бернарда Шоу «Тот третий», на читке которой в доме Станиславского — на последней в своей жизни читке — присутствовал Мейерхольд — за несколько дней до ареста.

Мало этого: некоторые из бесспорных его удач были приписаны совсем другим людям. Удачливым и знаменитым.

Вообще, когда речь о знаменитостях, ничто, как правило, не выглядит чрезмерным. Талантом больше, талантом меньше — кто считает! И невдомек, что подчас их превозносят за сделанное... не ими.

Помнится, в середине шестидесятых годов, когда журнал «Москва» напечатал мемуары Вертинского, их зачитывали до дыр, жадно принимая на веру — оптом и в розницу — от первой до последней строки. Тем паче — тема Русского Зарубежья была в диковинку у нас. А тут — «возвращенец». Орфей, и сам выбравшийся из преисподней, и Эвридику прихвативший. И вот в разгар этого бума мне рассказали, что некая преклонных лет дама,

дочитав до упоминания о том, что в эмиграции Вертинский одно время «держал ресторан», в котором «немножко пел», раздраженно захлопнула журнал, отшвырнула и больше к нему не прикоснулась. «Все — вранье! — обиделась она. — Это у меня был ресторан, а он там только „немножко пел“».

Вспомнилось по ассоциации.

О фильме «Праздник святого Йоргена» критики писали в захлеб, удовлетворенно увидев в нем шедевр режиссерского искусства Протазанова — и отмечая ярко сверкнувшую новую грань его дарования: остроумный и мастерски сделанный сценарий. Каково было читать все это Кржижановскому! Бог с ней, с истиной, — перед людьми неловко: когда сочинял сценарий, пересказывал эпизоды, ситуации, трюки Булгакову, Шенгели, Таирову, а в титрах — Протазанов «един в двух лицах», пояснивший — при «выяснении отношений», — что имя подлинного сценариста «выпало» по недоразумению, без чьего-либо злого умысла (верится, правда, с трудом: еще до начала съемок, когда кто-то из газетчиков сообщил, что Протазанов заканчивает сценарий нового фильма, режиссер вранья не опроверг).

Позже история повторилась. Когда вышел на экраны «Новый Гулливер», выяснилось, что Кржижановский в титрах опять-таки не значится. Хотя именно ему пришлось буквально спасать это кинотворение: работая день и ночь, в рекордно-ничтожный срок писать сценарий взамен чужого и провального, загнавшего съемки в тупик, да еще изощряться, чтобы отснятый прежде материал можно было использовать, спасти съемочную группу от перерасхода пленки и прочих средств. Ну, а лавры безраздельно достались Птушко, о ком Кржижановский сказал в сердцах, что за тему о Гулливере не стоило братья ли-липутам.

Наконец, совсем свежий пример. Лет десять назад был издан сборник «Режиссерское искусство Таирова». Одна из статей посвящена несостоявшейся постановке «Евгения Онегина», намечавшейся к столетию со дня гибели Пушкина. И там сказа-

но, что Таиров, готовясь к постановке, столь глубоко проникся «романом в стихах», что даже составил по нему «Календарь Онегина» — на зависть записным пушкинистам. Между тем пушкинистом-то был автор инсценировки Кржижановский, а Таиров только «немножко пел»: восторженно оценил эту работу; сохранились его и Алисы Коонен письма и телеграммы, в которых они буквально умоляют Кржижановского поскорее всё завершить, то есть внести хотя бы часть поправок, на которых настаивает репертком (с точки зрения Кржижановского — совершенно бессмысленных). А упомянутый «Календарь» он получил готовым — в копии. Оригинал хранится в архивном фонде Кржижановского. Автор статьи мог без труда это обнаружить, но, как удалось мне узнать, даже и не подумал, зачарованный, вероятно, «несоизмеримостью» великого режиссера и неведомого «либреттиста»...

Еще лет через пять дошло и до курьеза. По радио исполнялась музыка Сергея Прокофьева к «Евгению Онегину». Та самая, которую упорно отказывался он писать, несмотря на уговоры Таирова, пока не услышал инсценировку в чтении Кржижановского, — и через две недели принес партитуру. Для не посвященных в эту историю слушателей так и осталось загадкой: с какой такой стати вздумал Прокофьев тягаться с Чайковским...

Кто пробовал — знает, каково работать «в стол», без шансов на печатание, особенно тогда, когда стол твой уже набит битком — и, кажется, ни единого листка больше не примет. А кто не пробовал — Бог не дай тому испытать отчаяния, все жестче с годами терзавшего Кржижановского, у которого и стола-то настоящего никогда не было, по мере того как разбухали груды неизданного. «Я каждый раз начинаю верить заново», — писал он Анне Бовшек, когда забрезжила очередная призрачная надежда на выход книги.

«Я не знаю, где наша литература, может, на книжных витринах, а может, в ящиках для рваной бумаги. Во всяком случае, люди, верящие в витрину, не слишком верят».

Его мучил страх: случись что с его бумагами — восстановить их будет невозможно. Если даже будет кому восстанавливать. На то, чтобы застраховаться от этого — машинописными копиями, не было денег. К счастью, сохранилось почти все. Не удалось пока обнаружить лишь упоминаемые в письмах и автобиографии повесть «Красный снег», новеллы «Лес карандашей» и «Невольный переулоч», полный текст «Путешествия клетки», дошедший до нас оборванной на полуслове машинописью, да комедию «Четвертый дурак», возможно, правда, незавершенную.

Поводы для страха были реальны и, я бы сказал, индивидуальны. Вот, к примеру, эпизод — из нескольких.

Уже говорилось о его («Прутков-внука») комментариях к писательскому съезду. Две журнальных колонки: слева — подлинная цитата, справа — отклик на нее. Бухарин говорит о Пастернаке:

«И наконец, обобщающее место:

Напрасно в дни великого совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста».

Прутков-внук добавляет: «На что означенная вакансия отвечает:

То в высшем решено совете...
То воля съезда: я твоя».

В двух строках — суть бухаринского выступления, где Пастернак провозглашен первым поэтом современности. Другим стихотворцам характеристики даются идеологически-лапидарные, как, например, Борису Корнилову: «У него крепко шитое мировоззрение».

Комментарий: «И плохо заутюженные швы». Так выявляется гулкое, партийное пустословие этого — по общим оценкам — «блестящего» доклада.

Велеречивый пассаж Алексея Толстого: «...От начала, когда четверорукий взял осколок камня...» — вызывает реплику: «А по-моему, и теперь. Возьмешь претолстенный том романа, хотя бы т. докладчиком писанный, и думаешь: уж не в четыре ли руки он его писал».

И так далее.

Идея понравилась. Существование Пруtkова-внука оказалось заманчивым: не все же дифирамбы петь. И вот уже «Литературная газета» печатает «Черновые записи Пруtkова-внука» (внизу, как и в первом случае, — подпись Кржижановского).

Фрагменты из «Записных тетрадей» и некоторые современно-литературные колкости в духе «деда». Меланхолическое: «Ответь, философ, почему человек рождается головой вперед, а мыслит ею, по большей части, в обратном направлении?» Сюжет: «Вопросительный знак в юности был стройным знаком восклицания. А там состарился, отвосклищал, скрючился, оглох и лезет теперь ко всем со стариковскими переспросами». И еще: «Учеба краткости. О Шоу. В двух словах: сценичен, но циничен. В одном: сциничен». Или: «Встретил романиста П. Крайне расстроен. Никак не может узнать, сколько лет героине его романа». Никаких «выпадов» — кратко, изящно, пародийно.

«Пародия — это искусство, оглядываясь назад, идти вперед» («Записные тетради»). Вот только речь на сей раз шла с литературе «завтрашнего дня».

Отклик, а верней сказать — окрик не заставил себя ждать. Ровно неделю спустя в «Правде» появляется заметка (не подписанная, то бишь «редакционная») «Распоясавшийся пошляк» (21 октября 1935 года): «...В последнем номере „Литературная газета“... печатает произведение некоего С. Кржижановского под интригующим заголовком „Черновые записи Пруtkова-внука“. Читатель с живейшим интересом ожидает, какие же новые изречения поднесет ему потомок автора бессмертных афоризмов. И сей потомок развязно расточает „перлы“ остроумия». Тут следует несколько щедро перевранных ци-

тат. И финал: «Ряд сомнительно пахнувших остроумия убивает читателя в том, что перед ним распоясался заведомый пошляк. А „Литературная газета“ гостеприимно раскрыла перед ним свои страницы». В следующем же номере (Литературная газета, 29 октября) виновные раскаялись: «„Литературная газета“ напечатала „Черновые записи Прутков-внука“... которые вызвали отрицательную оценку ЦО „Правды“... Редакция „Литературной газеты“ считает замечания „Правды“ правильными».

И сам Кржижановский, и его друзья прекрасно понимали, как опасно быть «отрицательно оцененным» ЦО «Правдой». Оставалось ждать возможности «реабилитироваться». Она подвернулась нескоро — почти полтора года спустя. Когда после смерти Горького пришла писателям пора печатно отмечаться в лояльности по отношению к нему. Кто-то из добрых знакомых (есть основания думать, что Георгий Шторм) устроил так, что газета «Советское искусство» заказала Кржижановскому рецензию на воспоминания Горького. И статья «Горький вспоминает» появилась в номере от 17 июня 1937 года. «Я знаю одного московского профессора, который даже лечился от излишней цепкости памяти. В его мозгу отпечатывались все мельчайшие мелочи, все объявления последней страницы газеты, вместе с опечатками и типографскими пятнами бабашек: мозг его был засижен буквами, как мушиными точками...» И далее — о специфически-писательской мнемонике Горького, с примерами и цитатами, но без единого эмоционального эпитета, без по-смертно-оценочной лести, констатация и анализ, академически-бесстрастные, — и только. Это бросается в глаза тем более, что на соседних страницах, под шапкой: «Вся страна приветствует приговор над бандой фашистских шпионов» (sic! — когда говорят сильные чувства, грамматика молчит) — знаменитые деятели культуры страстно предают анафеме своих вчерашних кумиров.

Выполнить прагматическое «задание» оказалось выше сил. «Правдистское клеймо» смыть не удалось. Прорыв в ряды официально, вернее, социально признанных литераторов не

состоялся. А ведь дело шло не о льготах, не о тщеславии — хоть об иллюзии защищенности от ночного стука в дверь...

Возможностей «приносить пользу», то есть *активно* сосуществовать с государством, с его «нищетою философии», где поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть вынужден, Кржижановский не только не видел, но и не рассматривал. Не стоит путать стремление *выжить* с желанием *пожить*...

«Если к лакейской салфетке приделать древко, знамени все-таки не получится» («Записные тетради»).

Пока хватало душевных сил, он продолжал работать, не давая себе поблажки, — мол, все равно не напечатать! Свидетельству черновиков можно верить. Разве что сочинения становятся все короче: дыхания хватает на несколько страниц, не больше. Потом — приступ удушья. И он замолчал. Как Свифт.

Изредка, через силу, еще что-то делал — статьи, переводы: скудный, едва поддерживающий существование заработок. Последние переводы — с польского. Последние статьи — о польской литературе. Воспоминания детства.

А после стали невозможны и эти занятия. В начале двадцатых годов в статье «Читатель»* Кржижановский писал: «Отысканный физиологами у третьей теменной борозды мозга „лексический“ центр, заведующий процессами связывания книжных знаков с их значениями, будучи поражен, убивает читателя и человека, ведя его к так называемой *алексии*». Именно это с ним произошло. Убило в нем и читателя, и писателя. Дальше было семь месяцев агонии.

«Возражать против надвигающегося на меня небытия бесполезно. Может ли след ступни на песке спорить с ветром» («Записные тетради»).

Творческое наследие Кржижановского, на наших глазах *целиком* возникающее из небытия — уже после столетия со дня

* Литературная энциклопедия. Словарь литературных терминов. М.; Л., 1925.

рождения Писателя без Книги, — случай уникальный даже в истории нашей культуры, мягко говоря, не поспекутившейся на отлучения художников, которые могли бы стать ее гордостью, но только посмертно встретились с читателем, зрителем, слушателем неискаженно, неподцензурно.

Его архив — более трех тысяч страниц машинописи. Сотня из них особо интересна, ибо дает понятие о масштабе *неделанного*. Это цикл «Мал мала меньше» (1937—1940): притчи, сказки, анекдоты, лирические миниатюры и бытовые зарисовки, совсем краткие, от нескольких строк до трех страниц, хотя любую из этих вещей можно «развернуть» в повествование не меньшее, чем его новеллы двадцатых годов. Тут видится желание удержать, умиротворить *темы*, разбегающиеся, отказывающиеся «стоять в очереди» к писателю, уставшему наделять их полнокровной, подробной жизнью. Но и *микрожанром* он владеет мастерски, примерами тому — «Игроки» (отзвук «Жизнеописания одной мысли» — обреченность кантовского «звездного неба» при отсутствии «морального закона»), «Эмблема» (где бросающая слабую тень на диск солнечных часов травинка — сестра Паскалева «мыслящего тростника»), «Утренняя прогулка леса» (вариация на шекспировскую *тему* Бирнамского леса из «Макбета»), «Три сестры» (догадка о происхождении гения)...

Сюда же примыкают «Записные тетради»: собрание сюжетов, фабул, заглавий, афоризмов, доводимых — и доведенных — до алмазного блеска фраз и неологизмов. Опись ненаписанного. То самое «кладбище вымыслов», о котором говорит один из членов «Клуба убийц букв». Причем сформулированной *темы* бывает вполне достаточно, чтобы не писать.

В «Поэтике заглавий», выросшей из словарной статьи «Заглавие», — единственной его книжке, тоненькой почти до прозрачности (34 страницы), изданной Евдоксией Никитиной в 1931 году, чтобы придать какой-никакой «профессиональный статус» писателю, оставшемуся без работы и под угрозой высылки из столицы при очередной «паспортизации» ее жителей, — в этой книжке, вышедшей ничтожным тиражом и памя-

ной специалистам, потому что до недавних пор она была единственной *теоретической* работой на данную тему, Кржижановский предсказывал, что нарастающая книжная лавина, ползущая на читателя двадцатого столетия, сделает роль заглавия как никогда значительной, если не решающей, — так сказать, квинтэссенцией «содержания». В «Записных тетрадах» есть отличные образцы *называния неосуществленного*.

«Трактат о том, как невыгодно быть талантливым». Или: «Разговор легендарного Кампанеллы с Кампанеллой историческим». В первом случае фабулой могла бы послужить судьба самого Кржижановского. Во втором... Ну, скажем, прогулка платоновским Чевенгуром, социалистическим Городом Солнца.

Впрочем, пытаться что-либо домыслить *за него* — напрасный труд. Приключения его мысли непредсказуемы.

В этой прозе — ничего второстепенного. По закону «обратной перспективы» дальние планы отчетливы и близки. Благодаря «перестроению теории ассоциаций в теорию валентных связей» («Записные тетради») все связано со всем, сведено в органическое единство: ритм, стиль, пластически виртуозное владение словом, свойственное скорее поэзии, чем прозе. Стоит, например, извлечь из строк щедро вкрапленные — нет, словно сами собой высверкивающие — неологизмы, и они тут же тускнеют, а включенные в любой другой текст, безразлично — устный или письменный, не дадут ничего подобного тому, прежнему эффекту. Они не предназначены для пополнения словарей, но здесь и сейчас — незаменимы. В этой прозе нет синонимов — свойство поэзии, подмеченное еще Карамзиным. Слова у Кржижановского движутся в поле взаимного притяжения, бросают отсветы друг на друга, обнаруживая нетривиальные значения и неожиданные оттенки смысла. И, быть может, тайна вот этого движения — единственное (и решающее!), чему не способен *научиться* тот, кто родился не-писателем. «В сущности, писатели — это профессиональные дрессировщики слов, — говорил Кржижановский, — и слова, *ходящие по строке* (курсив мой. — В. П.), будь они живыми существами, вероят-

но, боялись бы и ненавидели расщеп пера, как дрессированные звери — занесенный над ними бич».

При всей фабульной увлекательности, тут не больно-то разгонишься при чтении, не заскользишь взглядом по строчкам, к чему небезуспешно пытается приучить нынешняя *эпоха скорочтения*. Писатель регулирует, притормаживая на выражах, темп следования от образа к образу, от мысли к мысли. И, добровольно следуя за ним, непременно обратишь внимание на все, что внимания стоит.

В частности, на имена. Кржижановский исследовал ономастику Шекспира, Пушкина, Чехова (одну из статей о его творчестве так и озаглавил: «Писательские святцы» Чехова»). Потому что имя персонажа для него всегда *содержательно*, всегда элемент поэтики (как и безыменность). В зависимости от замысла оно может *прочитываться* сразу, явно, либо — после обдумывания.

Сутулин («Квадратулин») зажат, *ссутулен* теснотой «спичечной коробки», которую чисто условно можно назвать жилой комнатой. Фамилия поручика Зыгмин («Сквозь кальку») происходит от *Зыгмунд* (то есть — в обиходном сокращении — Сигизмунд) — потому что в новелле проступает мотив автобиографический: недолгое — первые месяцы Первой мировой — пребывание на воинской службе, а занимавшая Кржижановского *тема двойника* откликается двойственностью самой действительности. Или движение жизни, *застывающее* в строки под пером Иосифа *Стынского*, биографа героя «Воспоминаний о будущем» Макса Штирера, заглянувшего в своем странствовании сквозь время на год дальше жизни своего создателя, в 1951-й...

Проза Кржижановского многослойна: его излюбленные приемы — рассказ в рассказе, сон во сне, театр в театре. И глубина проникновения в каждое произведение напрямую зависит от культуры читателя и его готовности к усилению сомыслия и сотворчества. Она никого не отстраняет, не числит в посторонних, никому не воспрещает входа. Единственное, на чем

настаивает: иметь дело только с *читателем*. А разница между *читающим* и *читателем*, как заметил еще Вяземский, примерно такова же, как между *пишущим* и *писателем*.

Прочитав «Трагическую ежедневность» Джованни Папини, предваряемую тремя предисловиями: «для поэтов», «для философов», «для эрудитов», — Кржижановский тут же довел идею итальянца до «абсолюта», до желания написать книгу, состоящую из одних предисловий, — для всех, кто читает книги. Он этого не сделал, однако *вертикаль восприятия* любого из его произведений может быть прочерчена вполне отчетливо.

Один станет следить лишь за интригой, благо фабула всегда напряженна и динамична. Другому откроется богатый пласт скрытых цитат, реминисценций, ассоциаций, «бродячих сюжетов», связующих впервые читаемую вещь с читанным прежде — из мировой литературы, причем «дежурный» упрек в *литературности* по отношению к Кржижановскому не более справедлив, чем обвинение в том, что подавляющее большинство употребляемых им слов уже использовали другие писатели. Третий сумеет «подключиться» к току образотворяющей мысли, пульсирующей «между Кантом и Шекспиром». Четвертый обнаружит в размышлениях автора-персонажа основные идеи, например, *философии языка*, возникшей позже — и «в нескольких границах» от Москвы. И так далее — чем глубже, тем больше открывается.

Скажем, «Квадрат Пегаса» читается как занимательно изложенная, но, в сущности, заурядная история одной жизни, разбитая на главки-периоды. Тот, кто знает, что заглавия — «Звезды», «Гнезда», «Седла» и так далее — суть *исключения* («пиши через ять»), которые герой, как и любой гимназист, заучивал в пору учения, увидит, что «гимназическими штудиями» исчерпана *вся жизнь, единственность, исключительность* которой — в то же время и закономерность, даже банальность. Наконец, и сам намек на *гимназию*, здесь содержащийся, указывает, что герой, так сказать, гуманитарий от рождения (гимназия готови-

ла к гуманитарным профессиям, в университет, — в отличие от реального училища), быт засасывает его, делает не-поэтом: из обитателя созвездия Пегаса — обывателем города Здесевска...

Кржижановский не позволил сделать этого с собою — ни тяготам быта, которых как будто не замечал, ни изломам бытия, провозгласившего гуманизм пережитком прошлого.

«Черт берет у Бога в аренду Землю, но законов Божьих не соблюдает», — писать новеллу или сказку на такую тему было бессмысленно, ибо *тема* уже воплотилась в окружающей действительности.

В числе немногих оставшихся в России и чудом уцелевших мыслителей и художников он был «литературным небытием, честно работающим на бытие». И оказался, как выясняется, дальновиднее тех благополучных современников, для кого литература была родом коммерции или государственной службы, почетной и недурно оплачиваемой. Он предпочел *служение* — слово того же корня, но значения противоположного.

Просвещенные и посвященные современники знали и ценили его. Однако не озаботились оставить броские письменные свидетельства о том. Мысль, что такой писатель может исчезнуть бесследно, не приходила никому из них в голову.

И совсем невелика была вероятность, что кто-либо набредет в записной книжке Шенгели на обведенные чернильной рамкой строки: «Сегодня, 28 декабря 1950 года, умер Сигизмунд Доминикович Кржижановский, писатель-фантаст, „прозванный гений“, равный по дарованию Эдгару По и Александру Грину. Ни одна его строка не была напечатана при жизни».

Библиографически он ошибался: опубликованы были шесть новелл, «Штемпель: Москва», несколько очерков, полтора десятка статей. По сути — прав: изданное, развеянное во времени и пространстве позабытой периодики, не давало и не могло дать сколько-нибудь реального представления о писателе.

С траурной записи, прочитанной автором этих строк более четверти века назад, все и началось: поиски архива, его изу-

чение, попытки публикаций, наконец, книги — по-русски, по-немецки, по-французски...

Что дальше?

«Посмертная слава: громыхающая „телега жизни“, едущая дальше порожняком» («Записные тетради»).

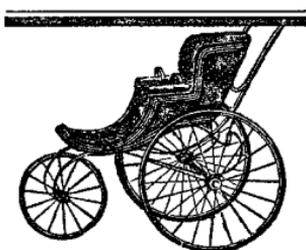
Камень в воду брошен, и круги — ни ускорить, ни замедлить, только ждать — сколь широко разойдутся, как далеко и скоро дойдут. Но камень брошен в беспокойную, взбаламученную градом других камней воду, потому, быть может, долго ждать и непросто видеть эти круги. Наше время — на свой лад — тоже не слишком благосклонно к Кржижановскому: явление его прозы совпало с читательским пресыщением, с чрезмерностью числа творений, десятилетиями таимых от публики, возникших перед нею одновременно и внезапно, ждущих внимания, переживания, осмысления. Впрочем, хорошего много не бывает.

«С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», — записал он. Вероятно, тому, кто случайно в тот миг заглянул бы через его плечо, показалось бы, что пером Кржижановского водит непомерная гордыня.

Оказалось: то была просто констатация факта.

Вадим Перельмутер

Сказки
для вундеркиндов



книга новелл

Сбежавшие пальцы

I

Две тысячи ушных раковин повернулись к пианисту Генриху Дорну, спокойно подвинчивавшему длинными белыми пальцами плетенку стула-вертушки... Фалды фрака свисли с вертушки, а пальцы прыгнули к черному ящику рояля — и мерным бегом по прямой, мощенной костяным клавишем дороге. Сначала они направились, блестя полированными ногтями, от «с» большой октавы к крайним стеклисто-звонящим костяшкам дисканта. Там ждала черная доска — край клавиатурной коробки: пальцам хотелось дальше, — они четко и мелко затопали по двум крайним костяшкам (глаза в зале здесь-там зажмурились: «какая трель»), — и вдруг, круто повернувшись на острых, обутих в тонкую эпидерму кончиках, опрометью, прыгая друг через друга, бросились назад. У середины пути пальцы замедлили бег, раздумчиво выбирая то черные, то белые клавиши для тихого, но глубоко вдавленного в струны шага.

Две тысячи ушей пододвинулись к эстраде.

Знакомая нервная дрожь вошла в пальцы: став на втиснувшихся в струны молоточках, они вдруг, резким прыжком, перешвырнулись через двенадцать клавиш и стали на с-es-g-b*.

* До—ми-бемоль—соль—си-бемоль (минорный септаккорд).

Пауза.

И опять, сорвавшись с аккорда, пальцы стремительным пассажем неслись к краю клавиатуры. Правая рука пианиста тянула назад, к медиуму, но раскатавшись пальцы не хотели: в бешеном разбеге они мчались вперед и вперед: промелькнула стеклистыми звонами четвертная октава, пискнули добавочные костяшки дисканта, глухо стукнуло по ногтям черным выступом клавиатурной рамы: отчаянно рванувшись, пальцы выдернулись вместе с кистью из-под манжеты пианиста и прыгнули, сверкнув бриллиантом на мизинце, вниз. Вощенное дерево паркета больно ударило по суставам, но пальцы, не выронив темпа, вмиг поднялись на распрямившихся фалангах и, семена розовыми щитками ногтей, высоко подпрыгивая широким арпеджиообразным движением — мизинец от безымянного, безымянный от среднего, — бросились к выходу из зала.

Тупой огромный нос чьего-то ботинка загородил было путь. Чья-то грязная подошва притиснула на мгновение мизинец к ковру. И пальцы, поджав прищемленный мизинец, юркнули под свесившийся до пола занавес. Но занавес тотчас же дернулся кверху, обнажая две черных расширяющихся кверху колонны: пальцы поняли — это был подол платья одной из поклонниц Дорна. Круто повернувшись на безымянном, они отпрыгнули вбок.

Нельзя было медлить. Крутом уж возникал шепот. Шепот — в говор, говор — в гомон, гомон — в крик, крик — в рев и топ тысячи ног.

— Держи их, держи.

— Что?

— Где?!

Часть аудитории бросилась к пианисту: он, в глубоком обмороке, свис со стула; левая его рука упала на колено, пустая манжета правой еще лежала на клавиатуре.

Но сбежавшим пальцам было не до Дорна: работая длинными фалангами, сгибая и разгибая суставы, они зачастили *prestissimo** по ковровой дорожке к уступам лестницы.

С воплем и визгами, тыча локтями в локти, люди очищали путь. Из залы еще неслось: «Держи! Где? Что?» Но лестница осталась позади.

Одним мастерским прыжком пальцы перемахнули через порог и очутились на улице. Топы и гамы обобвались. Вокруг молчала, овитая в желтое ожерелье фонарных огней, ночная безлюдная площадь.

II

Холеные пальцы знаменитого пианиста Генриха Дорна, обычно гулявшие лишь по слоновой кости концертных роялей, не привыкли к хождению по мокрой и грязной панели.

Теперь, очутившись на липком и холодном асфальте площади, ступая по плевкам и жиже луж, пальцы сразу поняли все безумие и экстравагантность своей выходки.

Но поздно. По порогу оставленного дома уже стучали подошвами и палками: возвратиться вспять — значит быть раздавленными. Поджимая к безымянному пальцу ноющий мизинец, правая кисть Дорна прислонилась к шершавому камню тротуарной тумбы, наблюдая происходящее.

Дверь выбросила всех людей и сомкнула створы. Оторвавшиеся пальцы остались одни на опустевшей панели.

* Очень быстро (*ит.*).

Моросил дождь. Надо было позаботиться о ночлеге. Пальцы, макая свою белую и тонкую кожу в лужи и канавы, медленно побрели, то спотыкаясь, то скользя, вдоль мостовой. Внезапно из тумана прогрехотал колесный обод: расшвыряв комья грязи, прокружил прочь.

Пальцы еле успели увернуться: брезгливо отряхивая вонючие брызги, они взобрались, на дрожащих и подгибающихся от волнения и усталости фалангах, по скосу тротуара и шли вдоль домов, вросших стенами в стены.

Был уже поздний час. С желтого циферблата простучало два. Створы дверей были сомкнуты, сморщенные железные веки окон опущены. Близился и снова никчей-то запоздалый шаг. Где укрыться?

На расстоянии полуклавиатуры от тротуарных кирпичей алел, раскачиваемый ветром, огонь лампы. Под огнем ввинченная в стену прямоугольная железная кружка: «На храм».

Выбора не было: по выщербам стены на карниз кирпичи, с карниза на покатую крышку кружки. Отверстие кружки было узко, но пальцы пианиста недаром славились гибкостью и тониной: протиснулись в прорезь и... прыг. Внутри было темно, лишь слабый красный блик, оброненный в кружечную прорезь лампадой, лежал у окна. Рядом с бликом — мятая доброхотная кредитка. Продрогшие пальцы забились в угол железного короба, укрылись кредиткой и, свернувшись под нею в кулак, лежали без движения. Суставы ревматически ныли; в обломанных и потрескавшихся ногтях зуд; мизинец распух, и тонкий обруч кольца глубоко врезался в кожу.

Но усталость брала свое: алый блик качался из стороны в сторону, дождь выстукивал по крышке кружки упругими капельками знакомое *moto perpetuo**. В узкую прорезь ящичка глянул, щуря свои изумрудные глазки, Сон.

* Вечное движение (*ит.*).

III

Встряхнувшись, пальцы расправили затекшие суставы и попробовали вытянуться во всю длину на жестком ложе. Алый луч зари ввился в медленно блекнущий блик лампы.

Дождь замолчал. Подпрыгнув раз и другой кверху, ударившись о крышку короба, пальцы осторожно просунулись наружу и сели на влажном скосе церковной кружки.

Предутренний ветер качал безлистными ветвями тополей. Внизу — мерцание луж, вверху — полз туч.

Как ни необычна была ситуация, многолетняя выгранная в пальцы привычка к полуторачасовым утренним экзерсисам заставила их взобраться на карниз церкви и проделать методический гаммообразный бег от края до края, справа налево и слева направо, пока тепло и гибкость не вошли в суставы.

Кончив упражнения, пальцы спрыгнули вниз на кружку и, сев поперек ее отверстия, стали грезить о близком, но оторванном прочь прошлом.

...Вот они лежат в тепле под атласом одеяла; утреннее купание в мыльной теплой воде; а там приятная прогулка по мягко-поддающимся клавишам, затем... затем прислуживающие пальцы левой руки одевают их в замшевую перчатку, защелкивают кнопки, Дорн бережно несет их, положив в карман теплого пальто. Вдруг... замша сдернута, чьи-то тонкие душистые ноготки, чуть дрогнув, коснулись их. Пальцы страстно притиснулись к розовым ноготкам и...

И вдруг чья-то корявая, с желтыми грязными ногтями рука столкнула размечтавшиеся пальцы со скоса кружки. Это была подслеповатая старуха, возвращающаяся с рынка. Поставив наземь корзину, полную кульков,

она подошла к кружке и нащупала дрожащей рукой прорезь, готовясь бросить свою скудную лепту. Но внезапно что-то мягкое и движущееся схватило ее за палец, отдернулось и перекувырнулось; тотчас же зашуршало в кулках — и вдруг пять человеческих пальцев без человека, отряхиваясь от муки, выпрыгнули из корзины — и по тротуару, наутек.

Старуха выронила деньги и долго и опасно крестилась, шамкая что-то беззубым, трясущимся ртом.

С кубика на кубик, ныряя в лужи и канавы, пальцы бежали дальше и дальше.

Двое мальчуганов, спускавших, сидя на корточках у канавы, кораблик с бумажным парусом, заметили их, когда, оттолкнувшись мизинцем от тротуарного края и присев на согнутых фалангах, пальцы готовились к прыжку через шумливую канавку. Разинули рты. Оставленный кораблик ткнулся килем о булыгу и донцем кверху.

— Ого-го-ги! — завопили мальцы, пускаясь в погоню.

Только необычайная пианистическая беглость спасала улепетывающие пальцы: разбрасывая брызги, срывая нежную эпидерму об острые выступы камня, они бежали с быстротой бетховенской *Appassionat'ы*, и, будь под ними не шершавые торцы, а клавиши, все величайшие мастера пассажа и глиссандо были бы превзойдены и посрамлены.

Вдруг позади что-то зарычало, и огромная когтистая лапа опрокинула убегавшую пятиножку: пальцы упали окровавленными ногтями кверху, стукнув алмазом, вкрапленным в кольцо на мизинце, о фант тротуара.

Клыкастая пасть дворового пса раскрылась над ними: в смертной истоме, судорожно скорчившись, пальцы щелкнули в псиный нос и, выиграв миг, помчались дальше, гонимые лаем и гиком.

IV

Ночевать пришлось сперва в раструбе водосточной трубы. Поздно ночью снова полил дождь, и измученных оторвышей, забравшихся было в жестяной раструб, выплеснуло наружу: приходилось блуждать по темной панели, ища сухого пристанища.

За мутью подвального окна мигал огонь. Медленно ступая с пальца на палец по мокрой раме окна, бедные оторвыши робко постучали мизинцем в окно. Никто не откликнулся.

В стекле — дыра, заклеенная бумагой: указательный палец прорвал бумагу, за ним пролезли и остальные. Вот и подоконник. В комнате — тишь. На кухонном столе, придвинутом к окну, — ни крохи. В железной печке, ставшей на раскоряченных гнутых ножках и ткнувшейся длинным железным хоботом в отдушник, дотлевали серо-алые угли. На деревянных нарах спали кучей, прижавшись друг к другу, — женщина и двое детей: лица худы, глаза — под сине-серыми сморщенными веками, тела — под прелой рванью.

Но на углышке белой чистой наволочки, разряженной в желтые блики и искры коптилки, сидел, хитро улыбаясь, Сон: он тер изумрудные глазки перепончатыми прозрачно-стеклистыми лапками и рассказывал беднякам свои сказки. И от слов его пятна на стенах зацвели розовыми зарослями, а белье, повисшее в воздухе, стало плыть по шпагату чередой белоснежных облаков.

Пальцы чинно сели у края стола и слушали: и под тихие разговоры Сна им вспоминался и неровный бег Phantasie-Stücke* Шумана, и таинственные прыжки и зовы «Крейслерианы».

* Фантастические этюды (нем.).

Малым оторвышам захотелось тоже подарить что-нибудь беднякам: на припухшем мизинце мерцало алмазное кольцо Дорна: корчась от боли, оторвыши уперлись искалеченными ногтями в золотой ободок: кольцо, звякнув, легло у края стола.

Пора.

За окном рождалось утро. Сон засуетился: сошел с подушки, уложил видения, и ищи его. За ним и пальцы: осторожно прошуршав прорванной бумагой у окна — снова на панель.

Мокрый весенний снег белыми звездами падал в жижу луж.

Замученные оторвыши не могли идти дальше: прижавшись к холодному камню панели, они собрались в щепоть и легли под тихие лёты белых звезд. И в тот же миг им стало слышимо: окостенелая земля закачалась несчетными клавишами; грохоча о черное и белое, роняя солнце с фаланг, прямо на оторвышей идут, быстро близясь, беспощадно-гигантские персты.

V

Музыкальный критик вбежал с газетным листом в руках в кабинет Дорна.

— Читайте.

На восьмой странице номера, обведенное красным карандашом, стояло:

Найдены пять пальцев

Неизвестно чьей правой руки.

С п р а в л я т ь с я: *Дессингштрассе, 7, кв. 54.*

*Телеф. 3.45,
бецирк* 1—9.*

* Участок, округ (*нем. Bezirk*).

Скользнув глазами по строкам, Дорн бросился в прихожую, сорвал с вешалки пальто, неловко тыча пустой манжетой правой руки в рукав.

— Маэстро, рано, — суетился критик, — «Справляться от 11—1 ч.», а теперь без четверти десять. И притом...

Но Дорн уже сбегал вниз по лестнице.

Когда получасом позже пианист Генрих Дорн увидел в картонной коробке, высланной ватой, свои сбежавшие пальцы, он заплакал: пальцы лежали, неподвижно сжатые в щепоть, безобразным комком на высланном ватой дне коробки. Кожа облипла грязью, изъязвилась и растрескалась; на тонких когда-то, отвратительно расплюснутых теперь, кончиках желтели наросты мозолей, ногти были сломаны и искромсаны, запекаясь кровь чернела под сгибами суставов.

— Мертвы, — прошептал Дорн побелевшими губами и неумело потянулся пустым раструбом манжеты к неподвижно лежащим оторвышам; но те вдруг шевельнули мизинцем: еле-еле.

Дорн, истерически стуча зубами, придвинул беспалую руку к самой коробке: пальцы, шатаясь и путаясь в ключьях ваты, чуть приподнялись на дрожащих и подгибающихся фалангах и вдруг, затрепетав, прыгнули внутрь манжеты.

Дорн смеялся и плакал разом: на коленях его, высунувшись из-под белизны манжет, лежали рядом две руки: одна с белыми, холеными, пахнущими дорогими духами, точеными пальцами, другая — коричнево-серая, заскорузлая, обтянутая грубой истертой кожей.

Через две недели после случившегося состоялся первый, по возобновлении, концерт знаменитого цикла Генриха Дорна.

Пианист играл как-то по-иному: не было прежних ослепительных пассажей, молниевых *glissando** и подчеркнутости мелизма. Пальцы пианиста будто нехотя шли по мощенному костяным клавишам короткому — в семь октав — пути. Но зато мгновеньями казалось, будто чьи-то гигантские персты, оторвавшись от иной — из мира в мир — протянутой клавиатуры, роняя солнца с фаланг, идут вдоль куцых пискливых и шатких костяшек рояля: и тогда тысячи ушных раковин придвигались — на обращенных к эстраде шеях.

Но это — лишь мгновеньями.

Специалисты один за другим — на цыпочках — покидали зал.

1922

* Глиссандо (*ит.*).

Чуть-чуть

I

Служу, вот уж седьмой год на исходе, в кабинете судебной экспертизы, по отделу графического анализа. Работа требует тщания и извостренности глаза. Кипы на кипы: на службе не управлюсь, приходится брать на дом. Работаю все больше над фальшивыми духовными, подложными векселями, вереницей поддельных подписей. Беру человечесье имя: вымеряю угол наклона, разгон и округлость букв, уклоны строк, вывожу среднее, сравниваю силу нажимов, фигурацию росчерков — градуирую и изыскиваю запрятанную в чернильные точки, в выгибы и выгибы буквы — ложь.

Работать приходится чаще всего с лупой: и под прозрачностью стекла правда почти всегда разбухает в мнимость. Подложно имя: следовательно, подложен и носитель имени. Подделен человек: значит, фальшива и жизнь.

От усталости — перед глазами плывут цепи мутных точек, а контуры вещей качаются. Да, работа у нас трудная, кропотливая и, пожалуй, излишняя: нужно ли мерить углы буквы, стоит ли считать чернильные точки, когда и так ясно: все они — фальшиволицы, лжемысленны и мнимословны. Под живых. «Что подделываете». Почему не «что подделывают»: подделывают любовь, мысль, бук-

вы, подделывают самое дело, идеологию, себя; все их «положения» — на подлоге. А их так называемый брачный подлог, то есть нет — полог: выдерни из слова букву, из смысла малую неприметность, отдерни полог-подлог, и там такое...

Не люблю ни своей глупой, в синие обойные лотосы, комнаты, ни своего узкого застегнутого в платье тела, ни себя, запрятанного от себя: и начни я растаскивать «я» по точкам, как вот этих, в портфеле, то... но не надо.

Раньше я пробовал уйти в работу — до боли в мозгу, до мутной ряби в глазах: лишь бы не думать. Теперь и этого нельзя. После того, что приключилось — неожиданно и внезапно.

Было воскресенье. Я проснулся несколько позднее обычного. Утро — все пронизанное ясною. Морозные звезды на стеклах. У порога, на коричневой половице, — желтые зайчики. За окном скрежет шарманки. Все — как вчера, до последнего блика и пятнышка, и вместе с тем все — будто в первый раз: те же параллели щелей меж половиц; тот же портфель, книги на столе, то же истертое кресло и шкаф, все есть, где было, — лишь нет на старом месте самого ТОЖЕ: затерялось ТОЖЕ — и все под налетами новых смыслов чуть сдвинуто, еле отклонено и странно ново.

Но время у меня на счету: вексель, выставившись белым углом из портфеля, ждал. У нижнего края — подпись. Накануне весь вечер провозился я с ее буквами: по видимости — углы, нажимы, выгиб росчерка — все подлинно; по сути, чую, все лживо, поддельно. И буквы весь вечер мучили меня, выскальзывая из анализа. Теперь с утра работа пошла успешнее: у конечной буквы бумажный глянец снят: подчистка. Ага. И еще: на улитке росчерка — малое тусклеющее пятнышко. Так. Я взял лупу и приблизил стекло и глаз к строке: прямо против глаза

под выгибом лупы — стоял крохотный, в пылинку ростом (если учесть увеличение), человечек: человечек не обнаруживал ни малейшего испуга, голова в точку была гордо поднята вверх, в прозрачный купол лупы, а еле зримая рука его учтиво салютовала в сторону моего глаза. Казалось, существо в пылинку хотело мне что-то сказать: я убрал стекло и, пригнув голову к столу, осторожно накрыл своей ушной раковиной незнакомца: сначала в ухе что-то смутно шуршало и копошилось, цепляясь за волосики, потом шуршание стало внятным.

Прозвучало:

— Я, король ЧУТЬ-ЧУТЕЙ, покоритель страны ЕЛЕ-ЕЛЕЙ и прочая, прочая, приветствую вас, Ваша ОГРОМНОСТЬ, в вашей бумажной стране синих лотосов и прошу гостеприимства мне и моему народу странствующих и гонимых чуть-чутей. Благоволите предоставить под территорию — поверхности вашей кожи, рукописей, книг и прочих угодий. И если...

Оторвав ухо от стола, я приготовился отвечать, но первыми же толчками моего голоса короля чуть-чутей свеяло прочь, и я долго должен был шарить лупой по столу, пока его величество не отыскалось: оно, опрокинутое на спину, проворно встало на ножки и отряхиваломятое платье. Тогда я изловчился: прикрыв собеседника опять ушной раковиной, я заговорил шепотом и в сторону, стараясь не сдунуть высокого посетителя.

— Приветствую вас, — сказал я, — Ваше Чуть-Чутество. Листы моих рукописей, вгибы, выгибы и обрезы книг, переплеты, закладки, щели, обойные цветы, кожи картин и моя собственная эпидерма — предоставляются в полное ваше распоряжение. В награду прошу об одном: принять и меня в подданство чуть-чутева царства.

В ухе опять зашуршало:

— О, Ваша Непомерность, Ваши заслуги нам ведомы: и Вы, и Ваше перо много потрудились, служа вели-

кому делу еле-елей и высоким идеалам чуть-чутества. Поэтому жалую Вас званием первого вассала бессмертного и благородного царства чуть-чутей, дарую сан Первого Чутя, союз и привилегии и повелеваю всему моему народу служить вам, как мне, пока буду жив и неприкосновенен здесь, в моем новом феоде. Эй!

Шорохи сбежавшихся чуть-чутей тотчас же наполнили мое ухо; щекоча кожу, они толпами протискивались, на зов своего повелителя, под края моего уха:

— Принять феод, — продолжал король, — картины по числу мазков, книги — побуквенно, рукописи — поточечно. Взять на учет все пылинки и пылины. Еле-елям, по демам и филам, расселиться на обойных цветах; старейшинам и сенату отвести теплые печные щели. За работу. Подсчитать ресницы на веках Его Огромности: на каждую по дежурному чуть-чутю. Два наряда знатных еле-елей в правое и левое ухо Его Огромности. А вы, вассал и брат мой, благоволите разрешить в ознаменование дня и встречи этот вот подложный росчерк, на котором стою, преобразить в подлинный и амнистировать несчастного: эй, букводелы, сюда — оподлиннить.

И король, чуть царапнув короной о мочку моего уха, проследовал по черной линии росчерка, как по подостланному ковру, в окружении свиты и эскорта.

Измученный, поднял я голову; оглядел стены, пол, потолок: ничего будто и не изменилось, и все было преобразенным и новым: мертвые, глупо-синие лотосы чуть шевелили коричневыми обводами, одеваясь в игру бликов и маячащих теней; по мерзлому стеклу ползли стеклистые узоры; льдистые звезды сыпали синими и белыми искрами; мазки картин, приподняв прижавшую их толщу стекла, тронутые невидимыми кистями, показывали новые краски и линии, слова, вертикально запрокинутые на корешках книг, — чуть-чуть, на еле-мысль

сдвинулись вдоль по своим смыслам, ширя щели в иные невнятные миры.

Вдруг черная точка мелькнула у моего левого зрачка: вероятно, один из дежурных чуть-чутей сорвался с моей ресницы. Ясно, они поспели уже и сюда, потому что, стоило мне поднять ресницы кверху, и все исчезало, возвращаясь во вчера: зацветающие лотосы опять мертвели намалеванными кляксами; вещи окаймлялись обводами, и во всем зримом и слышимом будто защелкивалась тысяча замков, запиравших их снова в мертвь и молчь.

Но стоило сощурить глаза, и сквозь ресницы опять гляделись и реяли новые миры. Взглянул на вексельную подпись — сначала простым глазом, потом сквозь чечевицу стекла. Сверил с подлинной: штрих в штрих. Обмакнул перо и проставил в акте: «...А посему подпись в тексте за № 1176 полагал бы нужным признать как собственоручную и подлинную».

Сердце весело кувыркалось в груди. Я подмигнул разлетистому грешному росчерку: опять зазевавшийся чуть-чуть, сорвавшись с ресницы, мелькнул у зрачка.

— Тяжелая служба, — засмеялся я.

Солнце тоже: весело продергивало оно желтые нити меж примерзших к окну лучей и звезд.

— Амнистия всем, — шептал я радостно и освобожденно, — амнистия всем поддельным, фальшивым, подложным, мнимым и неверным. Буквам, словам, мыслям, людям, народам, планетам и мирам. Амнистия!

А за окном шарманочный вал все еще ползал на стертых штифтах, кружа на оси какие-то медные скрежеты, — но в ухе уже расхлопотались чуть-чуту: скрежеты преобразались в нежную мелодию, обрастали призывками и обертонами, не слышимыми другим, не принятым в подданство чуть-чутева царства.

Захотелось наружу, к скрещениям улиц и к встречам людей с людьми. Я рванул дверь и, скользя рукой по перилам, стал быстро спускаться к дну узкого лестничного колодца. Было темно: расширив глаза, я не примечал ничего нового. Но вдруг на одной из площадок распахнулась, полоснув светом, дверь. Сквозь невольные сощурившиеся веки я увидел женщину, в нерешительности остановившуюся на пороге. Вспомнилось: мы уже встречались не раз у дома, в воротах и здесь же, на лестнице: это была некрасивая, веснушчатая, с прядями белесых зачесанных за уши волос девушка: должно быть, швея, машинистка, не знаю; при встрече всегда в сторону и к перилам, вероятно, стыдясь и заношенного платья, и блеклого своего лица. Обычно мне лень было хотя бы взглянуть на нее, но сейчас, о, сейчас чуть-чуть, дежурившие у зрачков, честно делали свое дело: дурнушка, ну да, конечно, такая же, как и вчера, но чего же так расстучалось сердце: дурнушка, но от чего же вдруг кровью о мозг?

Она стояла, прижав стертый башмачок к порогу, и в лице, охваченном солнцем, возникало и никло что-то милое-милое, в белую проступь и сквозистые тени одевшее овал щеки и беспомощную ямку на тонкой, слабой, стеблем поднятой шее. Секунды, а там дверь закрылась, запахнув свет, и я механически продолжал искать ступнями ступени. Дальше и дальше — по затоптанному кирпичу улиц, навстречу новой, будто вот-вот рожденной жизни: то, что вчера было просто «снег», стало теперь мириадами чуть приметных, но примечательных льдистых кристаллинок; протертые тряпками окна смотрели осмысленно, как глаза проснувшихся людей; сонмы неприметностей, спрятавшихся и выскальзавших всегда из сознания, глянули и выступили наружу из вещей, шагающие вертикали тел, кружения спиц, скольз и скрип по

лозьев, рванные ветром слова, запрятанные в вату и мех руки, ноги, жесты, игра морщин и бликов — вдруг высвободились, стали зримы и внятны. И во мне все было по-иному: мириады еле различимых мыслей терлись изнутри о лобную кость, в сердце прорастали завязи предощущений и замыслов. Тысячи чуть-чутей, вероятно загнанных морозным воздухом в поры моей кожи, держали за жилки и капилляры, возились в путанице нервных нитей, рождая в моем теле новое, неожиданное тело. От волнения ноги у меня чуть дрожали. Я прислонился спиной к футовым буквам афишного цилиндра и шептал странные мне самому слова. Лишь чуть-чутям, окружившим мои губы, они могли быть слышны.

— Клянусь, — шептал я, — о, клянусь служить жизнью и делом властителю моему, королю страны Чуть-Чутей и всему славному его народу. И если, вольно ли, невольно ли, нарушу клятву, то... да будет мне смерть.

И в ушах у меня прошуршало: Аминь.

II

— Разве только так, на минуту...

Стоптаный кривоносый башмачок заколебался на пороге моей комнаты.

— Хотя бы. Я умею обращаться и с минутами.

Она оперлась ладонью в стол, прищурившись на бумажные вороха, разбросанные повсюду. Помню, по взгляду, по внезапно поднявшимся бровям было видно: заметила — мы не одни. Оробела. Мы молчали: о, тут я узнал удивительную технику чуть-чутей, работавших по тишинной части: как мастерски они владели клавиатурой тишины; как тонко изучили хроматизм от несказан-

ности к несказанности; как, работая над музыкой тишины, ловко модулировали ее тональности — из молчания в молч, из молчи в безглагольность.

Пальцы гостьи, прижавшись к доске стола, ждали: сначала я взял их за короткие ноготки, потом овладел кистью, а потом и худые локти задрожали в моих ладонях, а там плечи коснулись плеч и губы, разжав губы, искали обменяться: дыханьями, душами, духом.

Сердце стучало о сердце. Ресницы наши спутались, роняя слезы. Еще мгновение и... и вдруг я увидел у самого глаза — грязно-рыжее пятнышко; рядом другое: веснушки. Блеклая, в черные точки пор, под жировым налетом, кожа; беловатый прыщ на выступе скулы. Пузырчатая налип пены на дрожащей губе.

В недоумении, почти в испуге, я отодвинулся назад. Смотрел: дурнушка, обыкновенная дурнушка, та вот, что часто встречалась у ворот, на улице, в лестничном колодце; под дряблой кожей рыбы кости ключиц, узкие и короткие щели слезящихся глаз; щуплое длиннорукое тело в заутюженном платье-чехле.

— Милый...

Но я ступил шаг назад:

— Простите. Бога ради. Это недоразумение...

Ее как ветром качнуло: рыбы кости заходили в узком вырезе платья, будто пробуя прорваться сквозь кожу. И она пошла — коротким, спотыкающимся шагом, как если бы путь к порогу перегородило сотней порогов.

Дверь закрылась. Я оглянул комнату: обои — опять в мертвых синих пятнах, вокруг пятен коричневый обвод; на стеклах — расползшиеся радиусами врозь ледышки; на столе — портфель, набитый поддельными именами. Но чего же смотрят чуть-чуть? Или они заленились, уснули там на своих постях? Не может быть. Я схватил лупу и стал шарить стеклом по бумажным листам и столу:

всюду, куда я ни вел стеклом, копошились крохотные, в пылинку, человечки. Я было обрадовался, но вскоре стало заметно: народец чуть-чутей как-то странно взволнован и обеспокоен. Вглядываясь пристальней, я увидел: все они — точечными россыпями толп — собирались к одному месту: у края стола. Я приблизил лупу: на влажном пятнышке, поперечником в два-три миллиметра, вероятно оставшемся от успевшей всосаться в ворсинки скатерти капли, лежал, неподвижно распластавшись, чуть-чуть. Я взгляделся еще пристальней — и вдруг стекло задрожало в моих пальцах: на влажных ворсинах черной скатерти лежал мертвый король чуть-чутей. Сразу мне стало ясно все: очевидно, повелитель чуть-чутей, желая, по блакости и любви своей ко мне, лично руководить моим счастьем, в решительный момент поместился на одной из моих ресниц, но был смыт слезой и утонул, захлебнувшись соленой влагой.

Я взялся еще раз за лупу: вокруг синего вздувшегося трупика накапливались и накапливались новые толпы. Листы бумаг выгибались и шуршали под налетами отовсюду сбежавшихся чуть-чутей. Зловещие шелесты и угрожающие шорохи росли и росли над смыкавшимися вокруг меня роями растревоженного и озлобленного народа. Я схватил со стола пресс-папье и занес его над столом. И тотчас понял всю бесполезность борьбы: ведь чуть-чуты повсюду — ими полны мои глаза, уши, вероятно, они успели пробраться и в мозг. Чтоб истребить их всех, до последнего, надо проломать самому себе голову. Выронив пресс-папье, я бросился к порогу. Толкнул дверь. Да, я, глупо-большое, саженное существо, бежал от незримых чуть-чутей.

Всю ночь я пробродил по пустеющим улицам. Чувствовал: пустею и сам. Улицы разбудило рассветом. И меня. Я вспомнил слова клятвы: «и если вольно или не-

вольно...» Дома закачались в моих глазах. Быстрым шагом я возвращался к себе.

В комнате тихо и пусто: да, когда чуть-чуть хотят отомстить, они лишь покидают осужденного. Этого достаточно: тому, кто был хоть миги с ними, как быть без них?

Ведь у лотосов в коричневых обводах — только нарисованная жизнь. И мерзлым звездам на стекле — рано или поздно — истаять от солнца.

Весь день работал: над этим вот. Кончаю: написанному в портфель. И мне: в черный, глухой портфель: зашелкнется — и ни солнц, ни тем, ни болей, ни счастлих, ни лжей, ни правд.

Квадрат Пегаса

I. Звезды

Звезде α в созвездии Квадрата Пегаса было совершенно безразлично: отразиться в рефлекторе Гринвичской обсерватории, окунуть луч в лужу или, наконец, ткнуть тем же лучом в зрачки влюбленной пары, услужливо подставленные под косой удар изумрудного альфова света.

И хотя звезде было, повторяю, все равно, у самых зрачков прозвучало:

— Посмотрите, Надя, на эту звездочку, ведь на нас она глядит! Не правда ли?

После слов глаза перестроились: из **** в **. Два квадрата — гигантский яркий и крохотный мутный — мерцали всяк по-своему, созерцая друг друга, и был миг, когда звезды стали как глаза, а глаза как звезды.

Все это произошло в городке Здесевске, в чахлому палисаднике, что на углу Дворянской и Дегтярного переулка, с 1 на 2 мая n -го года, в 11½ ночи.

— И знаете, Надя, — продолжал голос, — вы думаете, мы в городке, среди освещенных лампами домиков? Нет, мы среди звезд. Вот там кто-то идет по мосткам. Остановить его, спросить: где ты? Скажет: в Здесевске. И не знает, подлец, что не в Здесевске он, а во вселенной. Ведь вот, подумать только: все звезды, сколько ни есть, смотрят на нас, а мы когда-когда глянем на них? И то так — на полсекунды, случайно. Ведь это даже невежли-

во — не отвечать на взгляд... Вы смеетесь, Наденька? Вселенная... Но у вас холодные руки. Дайте, погрею.

На секунду в малом Квадратике Пегаса произошла космическая катастрофа: две пары звезд сделали попытку слиться в двойную звезду: в Здесевске это называется «поцелуй».

И опять: «Вселенная — Вселенной — Вселенную», — засклонял восторженный голос.

Наденька молчала, но думала: «Пока — пусть, но в моем доме никаких там вселенных — не потерплю».

II. Гнезда

Городок Здесевск, как и все провинциальные городки, представлял собой моток спутанных улиц, протертых то там, то тут, как нитки в иглы, то в каланчу, то в колокольню; две-три тысячи обведенных белеными стенами, прикрытых сверху красной и зеленой жестью счастливых, каждое величиною в три-четыре комнаты. Счастья перенумерованы, так что жителям Здесевска никак и никуда не уйти от своих счастливых, не перепутать их, не залезть не в свое счастье.

К началу сентября *n*-го года человек и Наденька были помолвлены. Они любили вечерние прогулки по опустевшим улицам умаявшегося за день городка: ставни всюду были наглухо закрыты. Прохожие редки. Моросило. Дворовый пес, сев на мокрых мостках тротуара и подняв голову, лаял в небо.

— Смотри, Наденька, пес лает на созвездие Пса, ха-ха! А вот и наш старый знакомец — Квадрат Пегаса. Помнишь, Надя, тот майский вечер?..

— Пора домой. Сыро.

— Сейчас. А я вот иногда думаю: в небе звезды и в книгах черные звездочки. По книжным звездочкам

отыскивают примечание, внизу, под текстом. А по синим? Может быть, каждый из нас будет отыскан по его звезде...

— Домой пора. Поздно.

— Идем, идем, мое маленькое примечаньице.

Повернули назад. Шли меж задвинутых болтами ставен.

— А вдруг, Наденька, там в домах все умерли? Давно умерли. И мы с тобой, еще живые, среди трупов? А?

Прижавшись плечом к плечу: так правда притворялась фантазмом.

Сидя на мокрых скрипучих мостках, задрав в выси голову, дворовый пес печально лаял о чем-то дальнему звездному Псу.

Неделю спустя в дом № 6-А по Дегтярному переулку, под личным наблюдением Наденькиной матери, был внесен, тщательно собран — свинчен и поставлен на четыре лакированных ноги — огромный и сложный инструмент: двуспальная кровать. Лица у людей свинчивающих — ставящих — наблюдавших были серьезны; даже значительны. Еще неделю спустя человек и Надежда трижды обошли вокруг аналоя, точно трижды пробуя сомкнуть какую-то упорно не смыкавшуюся орбиту. Затем у них были отняты овитые серебром горящие свечи: свечи потушили и спрятали в ящик.

III. Седла

Запоздравляли. Делалось это так: приходили люди, хватали рукою руку и, улыбаясь, просили показать «гнездышко». Походив по всем комнатам, перещупав все глазами, расходились по своим собственным примятым и полурастасканным гнездам. После чего хотелось выте-

реть все вещи чистой тряпочкой. Так на здесевском гездовье — одним гнездом прибыло.

По пословице, «первый месяц — медовый, второй — полынный».

Началось это в первых числах полынного месяца. Уже упоминалось, что Наденька не любила частых рацей о вселенной. Теперь вселенную сменили — сначала кузина Марья Ильинична, потом горничная Глаша и, наконец, краснорожая кухарка Лукерья. Оползни дней; размолвка — примирение — ссора — полупримирение. Обозначился даже ритм в смене холодов и тепл. При примирениях обыкновенно теплые мягкие руки смыкались вокруг шеи человека — нежно, но властно. Жизнь будто затиснуло в глухие ставни, в тесную обступь вещей.

«Нельзя так», — решил он. Но ночью опять гибкие руки, точно тесьмы, легли на плечи и грудь, стянулись — мягко, но властно, — и «нельзя» замолчало.

Утром, толкая дверь присутствия, человек был остановлен криком: «Ну, ты!» Оглянувшись, он увидел лошадь, впряженную в телегу. Синий пар стоял вокруг ее неровно ходивших боков. Возчик, привалившись всем телом к драному, в клочья истертому боку клячи, затягивал ремень подпруги мягко, но властно — тесьма вдавливалась в тело.

Что-то будто резнуло человека по глазам.

«Вздор», — отмахнулся он и вошел в полураскрытую ожидавшую его дверь присутствия. Створы ее автоматически — мягко и беззвучно — захлопнулись.

IV. Отцвел

Жизнь роняла дни, как дождь по осени капли.

В Здесевске и впрямь настала липкая, осклизлая осень. Таков уж круг: сначала пахучая сирень, белоцвет

вишенья; потом падающие долу лепестки перераспустившихся роз; потом холодные хризантемы; а после и безлистье — обнаженные стебли да желтая путаница ветром скомканных трав. Палисадники у домов отцвели, стали скучными и глупыми квадратами: неизвестно к чему. Облетело заодно и юное счастьеце. И человек стал никнуть, увядать от дня к дню: в душе бесцветье, безлучье; душа, как глупый квадрат палисадника: неизвестно к чему.

Ключ в дверце книжного шкафа сначала щелкал часто, потом реже и реже, точно разучившись выщелкивать свое куцее коленце. Тетрадки с короткими неряшливыми строчками сначала лежали на столе; потом — в верхнем ящике стола; потом — в среднем; потом легли на дно нижнего, под старые конторские книги и бумажный хлам.

V. Приобрел

В доме по Дегтярному переулку № 6-А была одна угловая, не любимая Надеждой Васильевной комната. Действительно, уж в больно несуразный квадрат растянули ее неправильные, туда-сюда уползающие углы. Под столовую не годилась. Кроватей не поставит никак — значит, и не спальня. И пошла четырехугольная несурaziца человеку «подобием кабинета». Он любил эту комнатуху: напоминала что-то давнее и милое. Однажды в зимнюю ночь, отшагав по скрипучим половицам верст семь, человек сел у окна, прижав подбородок к подоконнику. И тотчас же на доске подоконника, взяв голову в круг, уселись маленькие серые злыдни. Пошептали.

— Квартира-то тесновата, — пискнул один.

— Дети растут, — подшепнул другой злыдень.

Человек слушал не подымая головы. Тогда, осмелев, одна из нежитей, уцепившись шершавыми лапками за мочку и край левого уха человека, сунула серую головку внутрь ушной раковины: «Помни про черный день...»

И злыдни, смыкая круг, зашелестели тихими эхами: **помни про черный день**. Внутри стенных часов зубцы, цепляясь за зубцы, с натугой тянули на длинной медной цепи — секунды и еще секунды, — и когда человек поднял голову, злыдней не было: зимний зябкий брезг — мокрым сине-серым лицом к стеклу.

В дверь постучали:

— Вставай, пора на службу.

Человек — из творца и твари. И «не я» и «я». Порывшись в нижних ящиках стола Ивана Ивановича (пришло время узнать, что человека звали всего-навсего так), наверно, можно было еще отыскать где-нибудь на тронутых желтизною разрозненных листках слабые проступы творца. Нужна ли творцу вещь? Но тварь руками и мыслью — к вещи. Вот почему, что-то подсчитав, пересчитав и отщелкав на желтых и черных костяшках, потолкавших внутри деревянного квадрата, Иван Иванович решил, наконец, **приобрести**.

За городской чертой зеленел травами и чертополохами пустырь: Мушьи Сяжки. Здесь Иван Иванович приобрел участок и стал строиться.

В будние дни на Мушьях Сяжках стучали топоры и визжали пилы, а по воскресеньям Иван Иванович с женой и выводком совершали прогулку к растущему, кирпич за кирпичом, собственному дому. Шли медленно, шаг за шагом. Впереди, ковыляя на гнутых рахитом ножках, — дети; за ними — бонна; за бонной — супруги.

Добравшись до постройки, ходили по скрещивающимся балкам внутри большого деревянного короба.

— Здесь что, Ваня?

— Детская.

— А вон тут?

— Кабинет.

Кабинет был правильным удлинённым прямоугольником.

— Ну, вот и хорошо, — говорила Надежда Васильевна, — а то я твоей этой косостенки видеть не могу.

Скликали успевших вывалиться в известке детей. Завтракали. Снова ходили над мусором и щебнем по шатающимся балкам. С нежной улыбкою останавливался Иван Иванович над какой-нибудь прикрытой досками ямой или у торчащего нетесаными бревнами выступа и стучал по выступу палкой ему лишь слышимую мелодию. Вечерело. Сидя на стройке, можно было видеть, как вверху чернеющее небо раскрывало, одно за другим, изумрудные очи.

— Когда наконец настелят крышу? — спрашивала Надежда Васильевна.

Опять кликали детей и возвращались в сумерках в Здесевск.

VI. Надеван

Назавтра предстоял переезд. Иван Иванович в последний раз ходил по скрипучим половицам своего старого кабинета. Часть вещей была уже вынесена: расходящиеся врозь углы квадрата обнажились и хмуро следили за шагающим человеком. Алела заря. Надо было до темноты убраться в ящиках письменного стола. Выдвигая ящик за ящиком, Иван Иванович стал пересматривать набухшие за много лет бумажные кипи. Сначала пошли нумерованные «Дела», потом переписка, потом ворохи

семейных и сослуживческих фотографий, потом... стопочка желтеющей бумаги, перевязанная шпагатом. Развязав шпагат, стал перелистывать: лежалые буквы, освободившись от конторских пластов, кип писем, давивших сверху, расправили свои ржавым отливом тронутые выгибы и закорючки и заговорили — тихо, но внятно — об отошедшем, но все еще ждущем встреч.

Иван Иванович поднял голову: у горизонта над изломом кровель загоралось изумрудным огнем четыре звезды.

«Квадрат Пегаса», — улыбнулся человек.

Но Иван Иванович дернул за тесемку шторы — и штора опустилась. Человек замолчал. А за стеной сын-гимназист Саша подзубривал:

— Звезды — гнезда — седла... цвел — приобрел — надеван... Звезды — гнезда...

И вдруг Иван Иванович понял: все это вокруг — чужое, тысячи и тысячи раз надеванное кем-то, заношенное, затасканное миллионами глаз и изсмотренное ими вконец. И эти вот зеленые обложки «Дел», и те фотографии каких-то детей и жены — все это напыленное, прокатное, обложка чужого скучного дела. И сам он, Иван Иванович, не «я» ему, человеку, а «он», чужой, мириады раз надеванный и затрепанный. Снаружи кто-то потянул за дверную ручку:

— Барин, а барин, приехали возчики.

— Сейчас.

VII. Запечатлен

Крылатый перешагнул порог.

В беззвучии раскрылась и закрылась в лазурь и золото кованная дверь. Пройдя анфиладами молчащих по-

коев меж рядов ниш с вдетыми в них папирусовыми свитками, овитыми в серебряные нити, мимо стражей, стоявших опираясь на рукояти мечей, крылатый стал. Голубое сукно перегораживало путь.

— Кажется, ясно, звездным по тьме: «Калоши и крылья просят оставлять в преддверье».

— Да, но...

— Кто?

— Бывший ангел-хранитель.

— Документ?

— Вот.

— Просрочен на два тысячелетия.

— Но ведь мы говорим в сказке.

— То-то же. По какому делу?

Качнув воскрыльями, пришелец отвечал:

— Там, в мирах, я был ангелом-хранителем души.

Ее не стало. И вот прихожу сдать свой пост.

— Архивариуса, — позвал голос из-за голубого сукна.

Прошелестели шаги: хранитель свитков в черных одеждах с внимательно-печальным лицом предстал пред ними.

— Созвездие? — спросил он.

— Квадрат Пегаса.

— Мир?

— Семиорбитье Солнца.

— Имя планеты?

— Земля.

— Место?

— Здесевск.

Архивариус опустил руку в нишу и вынул старый, в звездной пыли пергаментный свиток. И, шурша, свиток раскрыл свои знаки.

Хранитель поднял тонкие персты: свидетельствую смерть души, мне врученной.

Из-за голубого протянулась черная, в форме неравноугольного квадрата печать и ударила о пергамент. Четырехзвездие квадрата оттиснулось черными знаками на свитке.

— Запечатлен, — промолвил архивариус.

— Запечатлен, — повторили стражи.

И стало тихо за в лазурь и золото кованной дверью: а у порога нового, с непросохшей зеленой кровлею домика, что на Мушьих Сяжках, стучали колеса телег: это Иван Иванович, с семьей, на четырех площадках переезжал в свой **собственный дом**.

История пророка

Став на четырех упрямо втиснутых в землю ногах, знаменитый Осел Буридана уперся лбом в дилемму: любить или не любить?

Тщетно ветер мчал над головой Осла клубы благоухающей пестрой пыли.

Тщетно весна, касаясь смеющимися губами настоженно поднятого уха, подсказывала свои ответы.

Четыре прочно врытых в землю ноги и не дрогнули, и не шевельнулись, не покидая плоскости *liberi arbitrii indifferentiae**. Лишь два длинных уха нервно прыгали.

Но Ослица Валаама была так библейски-прекрасна!

Но изумрудные скрипки цикад звенели так призывно.

«Но, — пишет, наконец, Готфрид Лейбниц (*Opera philosophica, Ausg. Erdman***), — вселенная не может же быть рассечена на две совершенно равные части плоскостью, мысленно проведенной через середину осла, так как существует множество вещей, как в осле, так и вне осла, хотя мы их и не замечаем, которые заставят-таки

* Безразличия свободного суждения (*лат.*).

** Философские труды, изд. Эрдманна (*лат., нем.*).

его склониться скорее в одну сторону, чем в другую» (стр. 507).

В данном случае среди вороха вещей, спорящих с вещами, находилось и ослиное сердце. Сердце забилося чуть левее плоскости безразличия. Естественно, плоскость закачалась и... только весеннему небу, широко раскрывшему тысячи изумрудных синих зрачков, дано было видеть, как Буриданов Осел и Ослица Валаама (схема и миф), соединившись, зачали нечто жизни подобное.

Новая жизнь вошла в мир на тоненьких шатких ножках, пугливо поводя длинными прозрачными ушами. Жизнь была тщательно обернута в зябко подрагивающую шкуру, крытую рыжим волосом, с черной отметинкой на ширококостном, просторном, философического склада лбу.

Хмуро — проголодью и проголодью — встретила земля маленького Ослика. Прежде всего она отняла у него родителей.

Картина трагической смерти отца Ослика, знаменитого высокоученого Asimus'a Buridani*, общеизвестна: поставленный меж двух одинаковых вязанок сена, он умер смертью философа, не переоценив ни одного из двух мотивов равной силы.

Документальными данными, которые бы выяснили обстоятельства безвременной кончины Валаамовой Ослицы, не располагаю, но, судя *a posteriori*** на основании огромного числа накопленных историей прецедентов, можно утверждать с уверенностью, что избиеение камнями — естественный конец всех пророков: а так как родительница нашего Ослика, как это всем хорошо известно, была пророчицей, то...

* Буриданов Осел (*лат.*).

** На основании последующего опыта (*лат.*).

Так или иначе, маленькому Ослику пришлось круто. Сыну мыслителя и пророчицы не было места в мире. Пахучие луга зеленели, это правда, но для других. Закрома полнились овсом — и это правда: но не для всех. Втянуло бока. Грязно-белая шерсть свалялась клочьями. Ослик страдал, но, страдая, терпел. И упрямо, вопреки всему и всем, пробовал жить.

Куда было идти незадачливому? В настоящее ослов не пускают. Прошедшее давно все, до последней завалящей секунды, расхватано историками, консерваторами, вообще существами с мышлениями ракообразного хода. Ослику только и оставалось: грядущее.

Казалось бы, пророческий дар, унаследованный им от прославленной матери, разворачивал богатые возможности: карьеру политического предсказателя, сочинителя газетных передовиц, премьер-министра, — в худшем случае, гарантировал скромный, но честный заработок гадалщика на картах, хирософа и т. п.; но перешедшая от отца философская раздвоенность мысли, наследственная склонность ко всякого рода метафизическим «или—или» расщепила у корня и обессилила пафос первых же пророческих опытов несчастного Ослика.

Так, однажды, в припадке особого голодного экстаза (кто испытал, поймет), Осел, став у скрещения путей, проревел срывающимся голосом:

— Либо дождик, либо снег. Либо будет, либо нет.

И помедлив:

— Всяко бывает.

Прохожие расплатились мелкими улыбками.

Кто-то загоготал и швырнул в охваченного наитием камнем. Но Осел был уже вне себя: вне видения и слышания.

— Aut—aut!*

* Или—или! (лат.)

— Forse che sì, forse che no!*

— Может быть да, а может быть нет, — ревел он на всех языках человеческих и ангельских. А кругом гоготали и умолкали. Свистнул бульжник. За ним другой. Но начало было сделано: Ослик вошел в грядущее.

Незачем топтаться словами на терниях. Не пересчитать всех камней, не исчислить страданий и унижений, выпавших на долю провидца. Достаточно сказать, что, когда исполнились сроки и пришло само Грядущее, гнавшие и предающие осмеянию были посрамлены. Настали странно-страшные дни, когда одновременно и шел и не шел — и дождик и снег, и все что угодно, когда завихрилось такое, что нищете «пониманий» пришел конец. Колесо Зодиака соскочило с изумрудной оси. Перепутались орбиты и столетия.

И когда циклон откружил, — те немногие, что были проведены сквозь него, так и не знали: мертвы ли они или живы? Может быть: да. А может быть...

А когда снова можно было отличить снег от дождя, добро от зла, правду от лжи, кровь от воды, кто-то, раздумчивый, спросил: «А где же тот смешной Ослик, что, помните, предрек нам свершившееся? Мы были несправедливы к нему, пойдем, отыщем его и венчаем лаврами».

Отправились на поиски. Нашли. У скрещения путей, под камнями рухнувшего ветхого храма лежал рыжий, с черной отметиной на продавленном ширококостном лбу, трупик Осла. Осторожно сняли камни. Прикрыли тело поздними лаврами. Речей не было. Только кто-то, глуша слезы, бросил вскользь:

— Один у нас был пророк. Да и тот... осел.

* Может быть да, а может быть нет (*ит.*).

Якоби и «якобы»

O, veritas, veritas, quam intime medullae
animae suspirabant Tibi.

*S. Aur. Augustinus Confess, VI. 10**

...veluti schema**.

Кант (О формах чувственности)

Это произошло в ночь с 12 на 13 февраля 1811 года в Мюнхене.

Спеша закончить трактат «О Божественных вещах и их откровении», философ Якоби¹ работал в своем кабинете: шелест бумаги — скрип пера.

На Frauenkirche пробило четыре, когда старый философ, не отрывая глаз от рукописи, протянул левую руку к тому в сафьяне с тусклым золотым блеском букв вдоль корешка: «Критика чистого разума». Нужна была цитата.

Дряблые пальцы зашелестели страницами. Отыскав нужное, пишущий придвинул рукопись ближе, снял стальными щипчиками нагар со свечи и стал переписывать: «...двухсмысленность, или амфиболия, человеческого рассудка заключается в том, что, имея дело только с феноменами, мы, однако, относимся к ним так, якобы...» — быстро и ровно скользящее перо вдруг уперлось во что-то упругое и как будто движущееся. Якоби почувствовал (с полной бодрственной ясностью), как буквы

* О, истина, истина! В каких сокровенных глубинах души вздыхали мы по тебе! *Блаженный Августин. Исповедь. VI кн.*

** Якобы схема (*лат.*).

завозились под острием пера, колебля его, как речная зыбь колеблет поплавок, и вдруг свеженаписанное слово «якобы», беззвучно шевеля своими черными, с синеватым отливом, буквами («Точно гусеница», — мелькнуло у Якоби), высвободилось из строчки и стало медленно ползти к раскрытому тому в сафьяне, оставляя на пути нитевидный слабо фосфоресцирующий след.

Подчиняясь какому-то инстинкту, Якоби быстро захлопнул книгу и, прикрыв ее рукой, приблизил усталые, близорукие глаза к странной гусенице. «Якобы» остановилось, явно обеспокоенное препятствием: на начальной букве (вернее, головке) выступили и ясно обозначились две пары запятовидных усиков, взявших «я» точно в кавычки; и тотчас же слово, выгибая иссиня-черные буквы, подняло свое шевелящее кавычками «я» в сторону внимательных — чисто-голубых глаз, странно освещавших обрюзгшее, морщинистое лицо старого мыслителя. Так два «я» — «я» в кавычках и просто я — созерцали друг друга с минуту.

За окном хрипло прокричал петух — другой — третий. С Marienplatz'a, разбуженная петушиным криком, застучала колотушка сторожа. «Может быть, и не сон...» — подумал Якоби и спросил:

— Что ты такое? И как ты зародилось?

«ЯКОБЫ». Я — сумма всех человеческих смыслов; маленькое слово, умеющее своими буквами покрыть весь этот мир феноменов; еле зримая подпись Творца над вселенной призраков. Во мне ты можешь, наконец, увидеть вожделенное «тожество»: тожество бытия и названия, ибо в моем названии все мое бытие. Ни Шеллингу, ни Сольгеру, ни доценту Краузе² — никому не подняться до меня: пожалуй, им легче было бы достигнуть даже своего «я», о котором еще в Упанишадах сказано, «что это самый дальний путь для человека». Ты ждешь более точного ответа? Изволь: отец мой — Кант; отчизна — глухое, редко посещаемое умами примечание в

«Критике разума». В этом вот сафьяновом томе росло я среди амфиболий — паралогизмов и антиномий, — пока не переросло всех когда-либо сказанных и написанных слов. Мозг, в муках осмысливший меня, давший мне душу, брал любое слово, ну хотя бы «мир», и приставлял к нему «якобы»: это и было его методом. То, что вы называли в своих якобы системах «миром», есть только «якобы мир», якобы отраженный в ваших «якобы-я». Я осыпаюсь тысячью псевдонимов, звучу в мириадах звучаний — ибо во мне шум всех слов, шелест всех книг и скрип всех перьев, расщепляющих острые клювы свои, чтобы воспеть восходящую Истину. Я — вечное колыхание звонов алфавита, волнуемого веянием мирового Духа. Зови меня «Αλφάβητάριον»* во вкусе Гельдерлина³, заблудившегося в чаще моих лунных слов и так и не нашедшего пути обратно в простые, крашенные солнцем и типографской краской слова.

ЯКОБИ. Что ты лишь игра мозга, четкий кошмар — не более, для меня и так очевидно. Знаю: ты — усталость моей творческой фантазии, явление мозга, узорно выписанное по канве его полуспящих клеток.

Ты, как говорили схоластики, *Ominum bene fundatum*** . И мне, Якоби, мнится какое-то «якобы»: смешная, жалкая пародия на одну мою старую, печальную мысль. Ты — грусть улыбки философа, изогнутая в отвратительную гримасу шута. И только.

«ЯКОБЫ». Господин Якобы-Якоби! Твой ответ — клетка, в которой я давно уже держу тебя взаперти, вскармливая словами. «Явление мозга», говоришь ты? Но источник явления нахожу я в лени «я». Проснитесь от себя самих, наконец.

Жил-был... или нет: жил, оттого что *не был*, некий педант. Поучая с кафедры, что будто бы какое-то «я» —

* Алфавитик (*греч.*).

** Хорошо обоснованные знаки (*лат.*).

«я», педант не заметил, как кто-то, не колебля драгоценного равенства, осторожно вынул «я» и вставил *иное*. Будем откровенны: так ли уж ты твердо уверен в том, что твое так называемое «я» не есть просто сокращенное суждение: «я — как бы», «якобы»... или «как-бы-я», то есть, повторяю, схема, пожалуй даже искажение (по всем правилам диалектологии), *меня*, якобы. «Veluti schema» ait magister. Ergo*: не я твой сон (как хотелось бы тебе), а *ты мой сон*, точнее, мое искажение, возникающее лишь как легко излечимая «болезнь языка». Впрочем, извиняюсь за грубо потревоженную иллюзию — и пусть нас помирит ветхий стих Пиндара: «Раз тени сон привиделся: тот сон был назван человеком». Я ведь тоже *не совсем* существую и охотно откликаюсь на зовы «тень», «сон», «призрак»...

ЯКОБИ. Забавно... Но все это, ученейшая из теней, не философия (даже и не якобы-философия), а слова, в словах заблудившиеся, то есть чистая *филология*. Поверь, что мне, философу, все это мало импонирует и... и не пора ли тебе возвратиться в твое примечание!

«ЯКОБЫ». Еще недавно ты брал с полки томик «Северного Мага»⁴ (мы соприкасаемся переплетами) и, вероятно, перечитывал его статьи, написанные от имени желающей высказаться буквы *й*.

Если была выслушана буква, то может ли быть отнято «право слова» у чистого слова!

Если Вы, метафизики, чья жизнь овеяна острым и пыльным запахом тлеющих книг, шелестом страниц, исчерченных словами, если и Вы не поймете *меня*, то кто же меня поймет?

Бегают ли по моим пяти буквам тонкие лапки книжного Pseudoscorpionidus'a⁵, отыскивавшего нужную

* «Якобы схема», — говорит учитель. Следовательно... (*лат.*).

ему пылинку в сгибе кожаного корешка; скользят ли по мне твои близорукие глаза, ищущие запутавшуюся в словах цитату, — у меня все длится ощущение: «мы».

Мы живем по сю сторону золоченого обреза книги, и что происходит, и происходит ли что по ту его сторону, за внешним выгибом книжного обреза, — не знаем и знать не будем. Ignoramus et ignorabimus*. Страницы притиснули меня сверху. Страницы притиснули меня снизу. И отовсюду — слова и буквы, буквы и слова.

Когда мы с Кантом обдумывали нашу «трансцендентальную аналитику», какая-то старая полуразвалившаяся башня притянула к себе зрительные оси философа. Постепенно созерцание башни стало «обуславливать» иное созерцание, сделалось необходимым ингредиентом критики. Башня как бы стала поперек мышления, сделавшись третьей участницей критики. И знаешь, как была названа, неизвестно кем, задолго до этого случая, старая башня? *Leben nichts'кой**⁶.

ЯКОБИ. Не понимаю, какое отношение?..

«ЯКОБЫ». Постой. Первые строки «Discours de la methode» Декарта (помнишь, там говорится о тупиках и глухих переулках средневекового схоластического города и намечается план нового града Истины) написаны на зимних квартирах в Нейбурге. Спиноза был несчастлив в любви: сначала он попробовал любить госпожу van-Ende, но был осмеян. Тогда он перебрался в антитезис и предался чистой интеллектуальной любви к Un-Endlich. Но был...

ЯКОБИ. Осмеян ею?

«ЯКОБЫ». Осмеян ею. Иоганн Фихте, этот рожденный боец, Зикинген философии, за всю свою жизнь не вложивший меча в ножны, — знал ли он, сидя в

* Не знаем и не будем знать (*лат.*).

комнатушке дешевого кенигсбергского отеля над еще не просохшим, только что оторванным от острия пера заглавием первого своего трактата, что сам он, со всеми своими словами, писанными и неписанными, думанными и еще недуманными, *таинственно озаглавлен* сочетанием ветхих, готических букв, выписанных по железному листу над окном комнатушки: «Zum Schwert»? ⁷

О, власть воспоминаний! Когда рукопись «Опыта критики всякого возможного откровения» была, наконец, вручена, с почтительной припиской: «Философу», Кенигсбергскому старцу, Кант возвратил рукопись без пометок. Только слово «Философу» было *перечеркнуто*. Напрасно и ты, сочинитель «откровения вещей», протянул сегодня руку к «Критике разума»: она возвращает тебе тебя, «Философ», *перечеркнутым*.

Страницы притиснули мозг сверху; страницы притиснули мозг снизу: отовсюду слова и буквы, буквы и слова...

Мысль Платона не начинала еще своего полета, когда носитель ее был пророчески назван: Платон — *πλάτος*, то есть Широкий. И знаешь... На севере родится мыслитель: вся жизнь его будет порывом к выходу из узких русл: партий — народа — исповедания. Он умрет в селе Узком ⁸.

Я не хаотический звук, о нет, я точная мера звука, и во мне, как в Алмазной Грамоте Трисмегистоса, нет ни единой мертвой, не мерцающей буквы. Мы, слова, звучим неспроста. Вспомни: уже эллины, в смутных теориях о *φύσει** и *véσει*** языка — никак не могли отличить и отделить звучность от осмысленности. Я пустота, в которой движутся атомы Демокрита, прожорливый Плато-

* По природе (*греч.*).

** По договору, установлению (*греч.*).

нов $\mu\lambda\ \delta\nu^*$, поглотивший трепет Идеи. Недаром тонкий ум талмудиста из двадцати двух букв древнего алфавита пробовал строить бытие. А индусские *rischi*, придумавшие пятый элемент (эфир), как бы пятую букву бытия, только затем, чтобы поселить в нем чистое вечное и неделимое слово *Sphota*. Эфирное *Sphota*, ломающее нежные крылья свои о воздух и умирающее в земных словах, якобы-сущих — и якобы-несущих, ушедших от «нет» и недошедших до «да», — Боже, да все «ваши», даже архипрозаический Гоббс, однажды озаренный мною и сказавший, что *homo animal rationale, quia orationale***, все ваши верно служили мне своими перьями (иные не из крыла ли погибшей *Sphota*?). Ты говоришь, что тебе нужна философия истины, а не ее филология? Да? Так слушай. Слово «филология» значит «любовь к Логосу», то есть религия (и притом — единственно возможная в пределах человеческого сердца), религия Слова слов, благоговение производных звучаний к своему древнему Ветхому Корню. Например, все категории Аристотеля — только никому не нужное переименование частей речи, делание логики из звука, как он и сам признал, да и...

ЯКОБИ. Ты очень много говоришь (впрочем, в этом все твоё бытие). Но что же отсюда следует?

«ЯКОБИ». Отсюда следует, что вообще ничего из ничего, никогда и ниоткуда не следует, что не существует никакого следования, а есть вечное стояние, над которым кружит лишь стая жужжащих слов; что мир — это длинная, скучная опись вещей давно утраченных, погибших: *вещи погибли, а наименования все еще звучат* — вот и все. Печать тления отгиснута на впечатлениях. Разве ты не слышишь трупного запаха: это — мертвая, гниющая — истина *разлагается на Множество*.

* Не сущее (*греч.*).

** Человек — существо разумное, поскольку — говорящее (*лат.*).

ЯКОБИ. Но слова ведь что-нибудь да прикрывают? Ты, слово, не можешь заглянуть за самого себя. Но... под наименованиями скрыто нечто?..

«ЯКОБЫ». Ничто. Небытие, искусно притворившееся «бытием», разговорчивый нуль (ты только что назвал меня словоохотливым); «нетовые цветики», шитые по пустому полю: на их призрачное сложно-цветение можно вдоволь смотреть, но попробуй протяни к ним руку — и она сорвет «ничто».

ЯКОБИ. Вот теперь я начинаю узнавать тебя: ты, так сильно боящееся призраков, ты само — призрак старины. Умершее, еретическое, проклятое на соборах *Flatus vocis*. Я знаю и экзорцизм, от которого ты рассеиваешься. Слушай: *сколько призрачности — столько и бытия.*

«ЯКОБЫ». Не экзорцизм, а глубокомысленная абракадабра, и притом, боюсь, как бы тебе, заклинателю, самому не рассеяться от своих заклинаний. Пospорим. В слове «бытие» я признаю без возражений первую его часть — слог «бы», ту особую сослательность или «предположительную вероятность» (говоря стилем второй Академии), что всегда глядит из всех ваших просиллогизмов. Сумма всех сомнений в бытии (что вполне согласно с критерием Декарта) и есть единственное бытие, вам доступное: его бы следовало назвать «Великим Бы». Но ловкость метафизики, этой, по слову Дамаскина, «мудрости мудростей и хитрости хитростей», в быстрой подмене двойки «бы» тузом «Бытие». Дидро называл вас, метафизиков, «птицами, питающимися туманом»: умопостигаемое ваше бытие и есть формула тумана, из тумана сработанная, грани чего-то расплывчатого по самому своему понятию. Разоблаченная облачность. Кстати, пока мы здесь мило болтаем, небезызвестный тебе господин Гегель, сидя в своей казенной квартире, в Гейдельберге, знай себе пишет: «Бытие, неопределенная

непосредственность, есть на самом деле ничто и ни более, ни менее, чем ничто»⁹. Конечно, я готов войти в твое положение: без слова «бытие» философ также ничего не может, как и теолог без слова «Бог». Без этого изделия из букв — ни книжки написать, ни лекции прочесть — беда. Ваша причудливая каста метафизиков — это духовенство пятизвучия «бытие», регламентирующее этическую обрядность и логический ритуал мира. Но не приходило ли тебе в голову, что это обрядность без Бога? И что логика и этика — сеть, уловляющая пустоту?

ЯКОБИ. Гм... А что бы ты сказало о «*cogito ergo sum*»?

«ЯКОБЫ». *Во-первых*, мне подозрительно это «*ergo*». Надо покинуть «*sum*» и по шатающемуся мостику «*ergo*» перейти к «*cogito*». Но как очутиться сразу по обе стороны «*ergo*»? Секст Эмпирик, в пересказе четвертой тропы Пиррона, учит нас, что не должно быть по одну сторону *противоречия* (μέρος τῆς διαφωνίας*). О, Секст знал, как это все называется! *Во-вторых*, — сакраментальная формула Картезия, переложенная на простой здравый смысл, значит: «Сомневаюсь во всем, кроме того, что сомневаюсь». Таким образом, бытие, подаренное этой формулой человеку, состоит целиком в «состоянии сомнения». Punctum**. Кстати: когда Картезий, сидя неподвижно у тлеющих углей камина, думал: «*Cogito — ergo — sum*», — хорошенькая голландка-прислужница (мне доподлинно это известно), сунув нос в дверь, тоже подумала: «Кавалер все молчит и думает — думает... как бы никого и не было в комнате». А ведь что, если тогда, действительно, *никого не было в комнате!* Служаночка, пожалуй, испугалась бы... Ну, а ты?

ЯКОБИ. Как это плоско.

* Часть разногласия (*греч.*).

** Точка (*лат.*).

«ЯКОБЫ». Любезнейший мистик! Когда херувим скажет что-нибудь трансцендентно-глупое, то в сонме серафимов шепчут, прикрыв уста крылами: «Как это трехмерно...»

ЯКОБИ. Довольно балагана! Сквозь все твое хихиканье и путаницу противоречий мне видится ясно одно: ты хочешь уверить меня в своем бытии, подготавливая следующий ход: в момент, когда признаю тебя, принужден буду отказаться от себя, перечеркнуть в себе не только «философа», но и... Ты отрицаешь меня, отрицаешь Logos, самое Бытие, *но во имя чего?* Весь этот клубок перевившихся сентенций, логических скачков, игры словами — лишь уклонение, увиливание от ответа. Вопрос, некогда заданный страдающему Logos'у, я повторяю тебе — жалкому «mot»*: ответь или отснись, исчезни: Quid est veritas?

«ЯКОБЫ». Ты хочешь невозможного: игра словами не есть «игра словами»... Но к делу. Я, «mot», отвечу буква в букву так же, как отвечал и «Logos»: *vir qui adest*. Ответ этот готовится следующим образом: берутся буквы вопроса q, u, i, d и так далее и переставляются в ином порядке (разнообразия ради). Работа кончена: верующие благоговеют — философы истолковывают. Так и во всем. Скучно.

ЯКОБИ. Замолчи. Пожалуй... я готов признать тебя, но лишь как некую нежить, завитую в мою жизнь, что-то живущее заимствованной, отраженной жизнью паразита, присосавшегося к мозгу.

Да, я всегда ощущал в себе, в самом центре мыслеворота, — какую-то мертвую клеточку, труп, обернутый в живую, болью вибрирующую ткань.

Еще в юности, когда из-за горами наваленных книг я впервые увидел сияние «Ауроры» великого Бемэ,

* Слово (*фр.*).

или в тот памятный июльский вечер, когда трепет, укрытый в кантовской книге о «Единственно возможном доказательстве Бога», выронил книгу из моих рук, а сердце расширилось, силясь охватить всебытие, там, в самой сердцевине сердца, что-то зевнуло и сказало, как вот сейчас: «Скучно». Это было твое дело. А помнишь наши тюбингенские размышления над диссертацией о том, «как может быть мыслимо понятие бытия»: это ты мне подсовывало под перо мысль: если мир создан из ничего, то, следовательно, он *парафраза ничего*. Но мое перо, с помощью Божией, отряхнуло прочь цепкую мокрицу. А Гельдерлин! Теперь я знаю: это ты отняло смысл у гениальных его ритмов и обмакнуло перо его в хаос. Боже! А наша чистая дружба с Шеллингом: суетою слов, путаницей слепых фраз разлучили наши мысли, такие сходные, такие нужные друг другу... в этом мире тупиц! Ты все разлагаешь на буквы. А не угодно ли тебе вонзить свое жало в себя, саморазложиться на буквы?

«ЯКОБЫ». Изволь: состою из несложного сращения слов — «я» и «кабы» («о» переходит в «а» на неударяемых слогах), проявляюсь, обыкновенно, в виде *кабы «я»*, как смутная тревожная мечта, лейбницеvское «*inquiétude pousseante*»^{*} о своем настоящем, теплом, уединенном «я». Взгляни: невидимое дуновение колеблет нетовые цветы, — и буквы, касаясь букв, клонятся, все-таки клонятся к какому-то смыслу...

ЯКОБИ. Ага... Значит, ты как бы постулат об «я»? Требование реализации? Постой — это очень похоже на теорию Фихте о становлении «я»...

«ЯКОБЫ». Может быть... Но Фихте на *том языке, на котором мы с тобой сейчас говорим*, значит: «со-сна», — и придуманное точно со-сна напрасно трактуется им как действительность. Наукоучение его, укpывшее

^{*} Движущее беспокойство (*фр.*).

корни в бессознательном и бросившее разветвленное «якобы я» в проблематического Бога, отряхает книжно-метафизические сны со своих ветвей: и недосказанным словам грезится Nöh + ель. Глосса: в трактате о «Civitas solis»^{*} именем Nöh (höh) названо, как выражается сам Кампанелла, «метафизическое существо, стоящее во главе государства идей». Остальное понятно. Мне нужно — «я» мира, не строчное «я», привидевшееся со-сна и во-сне «Фихте», а заглавное, мировое «Я», написанное размашистым почерком Гегеля, но, увы, фатально втиснутое в убористый, еле зримый человеческий петит¹⁰.

ЯКОБИ. Странно. Только сейчас я заметил, что мы, действительно, беседуем все время на каком-то чуждом мне языке: это непохоже на язык моего бодрствования... Значит, все это сон, кошмар!

«ЯКОБЫ». Не совсем так. Ведь если ты прожил целых шестьдесят семь лет, не замечая, что ты живешь в *чужом мире*, перетасовывая в мозгу трепанные страницы *чужих* книг (это у вас называется оригинальным мышлением), — то мудрено ли, что ты не приметил и сейчас карты, подsunутой тебе ловким игроком. Да, мы говорим (верь, не верь — как угодно) на языке *философии будущего*. Я полагал, что с искателем истины вежливее всего говорить именно на языке истины. Язык этот, должно признать, не лучше других, но ведь и ясли, в которых положили младенца Вифлеемского, были самыми обыкновенными — грязными, простого дерева яслями, обычным вместилищем для пищи домашнего скота. [Верь (извиняюсь за 5 секунд пророческого пафоса): «Грядет вера с севера и возглаголят языцы: се вера!»]^{**}

* «Город Солнца» (лат.).

** Текст в квадратных скобках отсутствует в машинописной копии оригинала и приводится только в журнальной публикации.

ЯКОБИ. Со смешливым умилением думаю я сейчас о тебе, маленькая опечаленная нежить. И ты тоже тоскуешь о чем-то истинно-подобном. И ты бьешься в противоречиях, значит, ты чуть-чуть да *живо*. Мне показалось даже, будто ты хочешь освободиться от самого себя, сбросить чешую букв, погибнуть в беззвучье и в *смерти найти иное*.

«ЯКОБЫ». Да: придет день и распадемся на бессмысленные, ветхие буквы... «Миндаль отцветет» — Αλφάβητάριον осыплется увядающими буквами и, ниспадая долу, прошелестит: «Как хорошо!»¹¹

ЯКОБИ. А эта жизнь, со всею скукою ее категорий и безнадежностью постулатов?!

«ЯКОБЫ». Спроси у греческого словаря. Он скажет, что мы знаем лишь вторичный смысл слова «κατηγορεῖν», но ведь основное, подлинное значение его: *обвинять, изобличать*. Итак, двенадцатью нашими категориями мы обвиняем жизнь в феноменальности, то есть в том, что она не отвечает, глуха к нашим постулатам. Человек, это странное двойное существо, мстит категориями за надругательство над постулатами.

Взгляни сначала на четыре окровавленных гвоздя Голгофы, а после на семьдесят шестую страницу «Критики разума»: там ты увидишь *схему* — вертикаль: вокруг крестообразно отгиснуты четыре слова:

Качество	Отношение
Количество	Модальность

(*Помолчав.*) Так расправляются со Словом за мир слов.

(*Пауза. За окном — ало-серый рассвет. Третьи пелухи.*)

ЯКОБИ. Я не усумнился, Господи! Ты видишь.

«ЯКОБЫ». Есть что-то фатальное в ваших системах, философы. Мысль, высвободившаяся из вицмундира профессора, скажем, протестантского университета,

прочно построенного на абсолютистско-монархической почве, прочертив гигантскую, фантастическую кривую, цепляющую за дальние звезды и вспугивающую на пути серафические сонмы ангелов, излетным изгибом своим *непрерывно* попадает в тот же профессорский мундир, висящий в шкапу на казенной квартире при том же протестантском университете того же абсолютистско-монархического государства. Метафизическое биль-боке.

ЯКОБИ. Светает. Тебе время в книгу, мне — в кирку, к ранней мессе. *Suum cuique**.

И знаешь, когда-то Август Шлегель говорил мне об одном древнем ведическом корне. Кажется, bhū. Три смысла таятся в старом корне: молитва — рост — Бог. Так в наших молитвословиях, как в грубых яслях, покоится Младенец. И мы взлелеем Его нежностью и верой. Слова, ушедшие из шумной и суетной жизни в затишье молитвы, не подвластны тебе, Якобы.

«ЯКОБЫ». Слова ваших молитв осуждены вечно кружить по *circulus vitiosus*'ам четок. На карусели далеко не уедешь. Это все — софизмы сердца. Но мне пора. С солнца закапала мутно-алая кровь. Мне пора в мою темную мудрую книгу.

Но на прощанье, в обмен на твое старое «bhū», возьми вот это тоже ветхое слово — «ἵνδαλμα». Перерой все фолианты, разверни все древние свитки, — только в двух местах, у Гераклита Темного и у Симона Силлографа, найдешь ты его начертание. Смысл слова? Одни знатоки говорят, что «ἵνδαλμοί» значит: «сущности»; другие знатоки утверждают, что «ἵνδαλμοί» значит: «призраки».

(Колокола с Frauenkirche.)

Прощай. Пиши свои слова — кружи сердце на агатовых камешках четок под серебряную музыку колоколов.

* Каждому — свое (*лат.*).

Предсказываю тебе: Истины не узришь, — а когда кончишь писать, тебя выбросят вон, как старое исписавшееся перо!

ЯКОБИ. Пусть. Так нужно, чтобы цветочный стебель рос в сторону, противоположную силе земного тяготения. И если я не дойду до Истины, то пусть же я умру с лицом, повернутым в сторону Истины. И наконец, я, Фридрих Якоби, приемлю «Якобы», но *sub reservatione Jakobeae*¹².

Примечания автора

¹ Фридрих Якоби (1743—1819). Один из примечательнейших критиков Спинозы и Канта. Пантеизм Спинозы сведен им к *атеизму*; критический идеализм Канта — к чистому феноменализму. Полемицируя с Фихте, Шеллингом и Гегелем, Якоби выставлял против «безбожного разума» веру и внутреннее чувство. Вокруг него группировались мистически настроенные мышления (сфера его влияния от 80-х год. XVIII до 30-х XIX в.).

² Карл Краузе — любопытное явление тогдашнего романтизма в метафизике. С 1804 по 1824 г. странствует по Европе и Востоку с целью «собрать матерьял для всестороннего обоснования *системы тождества*».

³ Фр. Гельдерлин, автор «Гипериона», поэт-безумец, сочетавший свое творчество с мыслью тогдашних метафизиков (Шеллинга и Гегеля). Проф. Виндельбандт остроумно замечает, что «когда помешанный Гельдерлин уже не мог писать стихов, стихи продолжали сами писаться в нем» («Прелюдии»).

⁴ «Северный Маг» — один из многочисленных псевдонимов философа Гамана, действительно писавшего и «от имени буквы h». Экцентрический мыслитель этот мечтал о «критике чистого языка».

⁵ «Книжный скорпион» из отряда *pseudoscorpionidus*'ов велич. в 3 м. м. Глаз *вовсе нет*; быстро бегает как *головой вперед*, так и в обратном направлении. Живет в пыли, гербариях и книгах, питается пылью сухими насекомыми. (Выдержка из Энци. Сл. Брокгауза и Ефр.).

⁶ Факт подтверждается биографией Канта. Показание «Якобы» как бы расшифровывает неудобопонятный символ *падающей башни*, выгравированный на обратной стороне медали, поднесенной по подписке Им. Канту берлинцами в 90-х год. XVIII в.

⁷ Гостиница, в которой останавливался Фихте во время своего пребывания в Кенигсберге, — «Под мечом» (*Z Schwert*) в 1791 г. находилась неподалеку от берега Прегеля и основана была задолго до 91 года.

⁸ В с. Узком — 31 июля 1900 г. скончался Вл. Соловьев.

⁹ *Wissenschaft d. Logik I* Ap. 73. 1-я глава «Логики» писана Гегелем действительно в феврале 1812 г.

¹⁰ Около этого времени (см. *Wis. d. Logik*) Гегель, не называя имени, но прозрачно указывая на Фихте, писал, что выраженное его предшественником как бы («якобы») во сне, им, Гегелем, выведено в явь.

¹¹ «*Das ist gut*»: последние слова умирающего Канта. Сказаны 12 февр. 1804 г.

¹² *Sub Reservatio Jakoea*: «если Богу будет угодно» (так наз. «клятва Иакова»).

С. К.

Катастрофа

Многое множество ненужных и несродных друг другу вещей: камни — гвозди — гробы — души — мысли — столы — книги свалены кем-то и зачем-то в одно место: мир. Всякой вещи отпущено немножко пространства и чуть-чуть времени: столько-то дюймов в стольких-то мигах. Все имяреки, большие-малые, покорно кружат по соответствующим колеям и орбитам. И стоит, скажем, звезде «α» в созвездии Centaurus'a* захотеть хоть немножечко, хоть разок, покружить по чужой орбите — и придется: или все, от ярчайшей звезды до серейшей пылинки, переставить в пространстве, или предоставить хаосу (он только и ждет этого) опрокинуть, порвать и расшвырять все сложное и хитрое сооружение из орбит и эпициклов. Прошла ли хоть раз мысль старого Мудреца, о котором поведу сейчас рассказ, по вышеизложенному условно-разделительному силлогизму, не знаю: но знаю точно — мысль Мудреца только и делала, что переходила из вещи в вещь, выискивая и вынимая из них их с м ы с л ы. Все смыслы, друг другу ненужные и несродные, она стаскивала в одно место: мозг Мудреца.

* Центавр (*лат.*).

Мысль с вещами, большими ли, малыми ли, поступала так: разжав их плотно-примкнутые друг к другу поверхности и грани, мысль старалась проникнуть в глубину, и еще в глубину, до того *interieur'a** вещи, в котором и хранится, в единственном экземпляре, с м ы с л в е щ и, ее суть. После этого грани и поверхности ставились, обыкновенно, на место: будто ничего и не случилось.

Естественно, что всякой вещи, как бы мала и тленна она ни была, несказанно дорог и нужнее нужного нужен ее собственный неповторяемый смысл: лучами — шипами — лезвиями граней, самыми малостью и тленностью своими выскальзывают вещи из познания, защищают свои крошечные «я» от чужих «Я».

Будьте всегда сострадательны к познаваемому, вундеркинды. Уважайте неприкосновенность ч у ж о г о с м ы с л а. Прежде чем постигнуть какой-нибудь феномен, подумайте, приятно ли было бы вам, если б, вынужд из вас вашу суть, отдали бы ее в другой, враждебный и чуждый вам мозг. Не трогайте, дети, феноменов: пусть живут, пусть себе являются, как являлись издревле нашим дедам и прадедам.

Но мысль Мудреца не знала сострадания. Катастрофа была неотвратима. Вначале все пространственно-близкое от головы философа, все «само по себе понятное» было вне круга опасности. Верхушки тополей, шумящих над сонными водами Прегеля. Шпили кирх. Недалекие люди. Предметы, крепко оправленные в пространство. События, расчисленные по святцам.

Мысль философа начинала мыслить издавека, замерцав где-то, среди мерцания дальних звезд, в *Teorie des Himmels*: Мудрец рылся в ворохе белых Сириусовых лучей, спокойно и деловито, точно это и не небо, а белье-

* Внутренность (*фр.*).

вой ящик старого отцовского комода, что ли. Как реагировали и реагировали ли на это звезды, осталось невыясненным. Изменений во внутреннем распорядке созвездий, безусловно, не произошло. Души звезд праведны, и оттого орбиты их правильны. И самыми тщательными астрономическими измерениями не уловлено: мерцали ли звезды после Канга и н а ч е, чем до Канга*.

Тем временем от вещей к вещам стал переползать недобрый слух: Мудрец, покончив якобы со звездами, возвращается с ю д а, на землю. Маршрут: звездное небо н а д н а м и — моральный закон в н а с.

События шли так: медленно отряхая звездную пыль со своих черных перьев, трехкрылый Силлогизм, смыкая и стягивая спираль тяжкого лета, близился к этим вещам. И когда те звездные пылинки коснулись этой серой пыли тупиков и переулков, зыбь тревоги и трепеты жути всколебали все земные вещи. С орбитами было покончено. Наступала очередь улиц — проселочных дорог — тропинок.

Тогда-то и разразилась к а т а с т р о ф а. Запуганные еще Платоном и Беркли, феномены, которые и так хорошо не знали, с у т ь л и о н и, и л и н е с у т ь, не стали, разумеется, дожидаться Разума, со всеми его орудиями пытливости: двойными крючкообразными §§-ми, зажимами точных дефиниций и самовязью парных антиномий.

Пространство и время почти на всем их земном плацдарме переполнились паникой. Первыми попро-

* Тогда (конец XVIII века) у нас еще были мудрецы, но не было точных фотометричных инструментов. Теперь есть чувствительнейшие инструменты, меряющие звездную яркость, но нет уже мудрецов. Так всегда. — *Примеч. автора.*

бовали выскочить из своих границ некоторые ограниченные души: они создали даже особое литературное направление, по которому и началось повальное бегство из мира.

В последующем постепенном развитии паники историку разобраться трудно. Вот она у ее гребня.

Улепетывающие кирпичи, цепляя за черепичные кровли маленьких филистерских домиков, опрокидывали домики, опрокидывались сами, тыча шпильи в ил расплескавшихся озер. Бежали: сороконожки — слоны — инфузории — жирафы — пауки. Люди, захваченные катастрофой в своих сорвавшихся с фундамента домах, сходили с ума, снова вбегали в ум, хватали какую-нибудь ненужную цитату, перевернутую кверху словами молитву (такова уж паника), снова поспешно сходили с ума, бессмысленно кружа по своему «я» — то назад, то вперед.

Подробность: книжный шкаф из квартиры Мудреца, потеряв одну из своих толстых точеных ножек, тащился, прихрамывая на трех ногах, поминутно роняя в грязь то ту, то другую из расшелестевшихся всеми своими страницами книг. Внутри книг тоже было неблагополучно: буквы — слоги — слова, бегая опроретью по строкам, сочетались в нелепые (а подчас и до немыслимости мудрые) фразы и афоризмы, на невообразимых языках.

Говорят, целая библиотека, внезапно рухнув с полка, придавила грудой фолиантов сердце одного известного поэта-романтика, и сердце это, отстукивая пульс, бросилось вон из грудной клетки. Раздвоенные души; битая посуда; пролитый суп, который как раз несли Мудрецу в судках, в обычный час, из кухмистерской, проворно цепляясь каплями за песчинки, крошившие друг другу стеклистые ребрышки, просачивался (пока не поздно) поглубже в землю. А земля. Земля «как яблочко покати-и-лася» (La-mi-mi), задевая о планеты, подскакивая на

выбоинах пути, мощенного звездами. Шпили соборов, пики гор, иглы обелисков и громоотводов осыпались, как осыпаются иглы сосен, качаемых вихрем. Обломки и черепки, отбившиеся в космической суматохе от своих вещей, цеплялись зазубринами и выщербами за что ни попало: на миги создавались и в мигах распадались (миги, спасаясь сами, вышвыривали из себя все лишнее) сборные диковинные вещи: человечьи слезы на проворных паучьих ножках, сердца, прилипшие к окулярам телескопов, et cet., et cet.

В узком расщепе моего пера тесно хаосу.

А хаос вторгся.

Второпях некоторые рассеянные люди перепутали даже свои «я» (что особенно легко делается в местах кучной психики: семье, секте и т. д.). Иные умы, зайдя в поисках укрытия за свои разумы, обнажили разумы, ткнув ими прямо в факты. Бесстрастный Разум, не изменяя себе ни на миг, обошелся с фактами как с идеалами, а идеалы стал мыслить как факты. Было мгновенье, когда Бог и душа попали в пальцы, стали осязаемы и зримы, а стакан с недопитым кофе («mehr weis»*) представился недосыгаемым Идеалом. Дискуссия и созерцание поменялись местами. В иных умах, куда-то, точно в щель, провалилась бесконечность, в других затерялась категория причинности.

Повилика, бешено кружа изумрудами своих спиралей (скорость до 300 00 km в 1 сек.), пробовала вывинтиться из обезумевшего мира.

Прибой паники, ширясь и расплескиваясь неисчислимостью льдистых капель, добрызнулся вскоре и до звезд.

Эклиптики закачались.

* Здесь: «больше молока» (нем.).

Спутывая лучи в ослепительный клубок, выбрасываясь из привычных орбит, сталкиваясь, зажигая синие и изумрудные мировые пожары, — звезды заскользили по безорбитью из Raum und Zeit'a*.

Кометные параболы, которые, как известно, издревле вели из пространств в беспредельность, стали походить на большие дороги, во время продвижения по ним разбитых армий.

Солнца, планеты, пересыпанные блестками астероидов и метеоритов, теснясь у кометного пути, старались скорее нанизаться на пронизь орбиты: роняя в пустоту целые человечества с их религиями и философиями, потянулись они длинным сине-белым ожерельем, друг за другом, вдоль по изгибу параболы. Клубы звездной пыли проискрились над ними.

И когда все отблестало, когда все, до последнего обеспокоенного атома, отшумело и утишилось, остались: старый Мудрец; пространство чистое от вещей; чистое (от событий) время; да несколько старых, в пергамент и тисненую кожу переплетенных книг.

Книги не боялись, чтобы кто-нибудь когда-нибудь мог дочитать их до смысла.

Мудрецу оставалось: описать чистое пространство и чистое время, ставшие жутко-пустыми, точно кто опрокинул их и тщательно выскоблил и вытряхнул из них все вещи и события. Он описал.

Фолианты ждали. Не спеша протянул к ним Мудрец костлявую, с холодными длинными пальцами руку. Началась игра: фолианты прятали свои тайны по полуслипшимся блеклым страницам. Шелестели об одном — думали о другом. Смысл из букв текста, сбивая с пути

* Пространство и время (нем.).

типографскими звездами, уводил в дробные значки нон-парели и петита, прятался по оговоркам, отступлениям, таясь за притчами и иносказаниями.

Напрасно. Мудрец терпеливо и беззлобно подбирал ключи к шифрам. Открывая смысл, страницу за страницей, дверцу за дверцей, он прошел через всю анфиладу разделов и глав и вышел по другую сторону книги.

Тем временем (временем ли?) в кругах эмиграции царило ничем не прикрытое уныние.

— Проклятое безорбителье. Куда мы, собственно, идем? — сердито спрашивал знакомый нам книжный шкаф.

Он потерял все книги и вторую ногу. С трудом тащился на двух.

— В небытие, — проямлила душа приват-доцента из Иены.

— Не быть миру.

— Миру не быть, — шелестели последними уцелевшими страницами «руководства по логике».

Созвано было чрезвычайное собрание всех часовых механизмов.

Для них наступало тяжкое безвременье.

С одной стороны, как это вытекало из вытиканной старинными часами с курантами речи, всем часам, за отсутствием времени, предстояло остановиться.

Но, с другой стороны, как это объяснил в точных философских терминах и резонах, ссылаясь на авторитеты, блестящий женевский хронометр, — «время, не будучи вещью, вечно в вещах не участвует»*. Часовые механизмы — вещи. Ergo: с отменой времени ничего и никак не может измениться, передвинуться и перекры-

* Мысль эту, в тех же приблизительно выражениях, защищал впоследствии (по восстановлению порядка) Арт. Шопенгауэр (Par. und Paral., 13, II). — *Примеч. автора.*

тяться в часовых зубцах, зубчиках и пружинах, — и те часы, завод которых до момента отмены времени не вышел, пружины которых не раскрутились, могут продолжать вращение своих стрелок, как если бы ничего не случилось.

Посыпались обвинения в отсталости, консерватизме.

Хронометр попросил быть точнее и в выражениях: «Желая не отстать отстрясающейся над нами катастрофы, предлагают всем стать (.)».

Вопрос поворачивался так-этак, этак-так.

Большинство башенных и стенных часов присоединились к нежному голосу курантов. Но карманные часы и часики, повыползавшие из своих жилетов и из-за корсажей*, голосовали вместе с хронометром. Поднялось невообразимое тиканье; истерический скрежет будильников. Маятники злобно закачались.

И вдруг пришла весть, сначала было остановившая ползы всех стрелок и зубчаток, а затем восстановившая секунды и дюймы во всех правах времени и пространства: Мудреца не стало. Это случилось 12 февраля 1804 года в 4 час. пополудни**.

Иные вещи, заслышав о случившемся, не дожидаясь подтверждений и разъяснений, бросились опрометью назад, в свои миги и грани: очутившись снова в таких милых, таких своих гранях, они не могли вдоволь нарадоваться, что они — они. По преданию, всех опередила душа приват-доцента из Иены. Понятно: освободалась кафедра.

* Недаром Мудрец еще раньше заклеил их своим презрительным афоризмом. — *Прим. автора.*

** 100-летний юбилей этого радостного события отпразднован в 1904 году всеми университетами и учеными обществами. — *Прим. автора.*

Другие, пуганые вещи были рассудительнее.

— Позвольте, — говорили они, — откуда, как и кем принесена новость? Ведь там, в чистом пространстве, ничего кроме пары книг да Мудрецова «я» не оставалось... Провокация. Г. г. вещи, воздержитесь от времени и пространства. Терпение.

Однако вскоре все раскрылось и объяснилось, к всеобщему удовольствию.

Дело было так: Мудрец, описав «Формы чувственности», раскрыв шифр книги, погибшей за право — быть непонятой, короче, высвободив свое «я» из грез и слов, спросил: явь ли я.

У философа «я» был хороший опыт: оно знало, какая судьба постигала всегда в о п р о ш а е м о е п о с л е в о п р о с а.

И не успел «?» коснуться «я», как «я», выскочив из заковычки, бросилось, говоря вульгарно, науток.

Тут и приключилась Мудрецу смерть.

Понемногу — события, вещи возвращались по своим руслам — орбитам — граням.

Сначала, говорят, пришли в себя души ограниченных. За ними потянулось — остальное.

Теперь, как вы можете в этом легко убедиться, потрогав пальцами самих себя, страницы этой книги, все снова прочно и изящно стоит на своих местах.

Теперь, конечно, нетрудно и шутить. Но ведь был момент, когда испуганным умам показалось, что вся эта — такая пестрая и огромная (на первый взгляд), сферическая, со сплюснутостью полюсов, земля и крошечный сферический хрусталик человеческого глаза — одно и то же.

Время медленно подымало тяжкие веки глазу, искавшему видеть самое видение. Видение было странно и страшно, но длилось недолго. Мертвым веком снова при-

крыт остеклившийся глаз. Теперь у нас, слава Богу, земля отдельно — глаз отдельно. Сейчас, когда Мудрец отмыслил и истлел, мы вне опасности: мудрецов больше не будет. Что же касается до оставленной тем, истлевшим, книги, то повторяю: опасности и для нас почти никакой; потому что легче перелистывать геологические пласты, чем приподнимать тяжкие от смыслов страницы книги Мудреца.

1919—1922

Проигранный игрок

По сообщению «Daily Telegraph», мистер Эдуард Пемброк скончался в зале Гастингского Шахматного Клуба тринадцатого октября 19.. года, в пять часов вечера, во время четвертого сеанса игры Международного Шахматного Турнира. В одном из некрологов, помещенном, если не ошибаюсь, в «Эдинбургском Обозрении», мистер Пемброк характеризуется как «энергичный общественный деятель, перед которым некогда развернулась было многообещающая политическая карьера, оставленная им, однако, ради шахмат». Покойный, заканчивает «Обозрение», «променял широкую арену политической борьбы на квадрат шахматной доски — *ушел от поступков к ходам*» (курсив мой).

Смерть наступила мгновенно. Покойному было пятьдесят три года. Врачи затруднились определить причину смерти.

Однако для тех, кто близко знал мистера Эдуарда Пемброка, дело объясняется чрезвычайно просто: смерть Пемброка была его последним, правда, несколько неожиданным ходом в партии, кстати, начатой не в четыре тридцать вечера 19.. года, как сообщает шахматный бюллетень, а несколько раньше... Впрочем, игра покойного, как это уже отмечалось в специальных органах,

всегда отличалась некоторым своеобразием и уклоном в парадокс.

История мистера Пемброка — в знаках доски — рассказывается так:

1. e2 — e4, e7 — e5,
2. Kg1 — f3, Kb8 — c6,
3. d2 — d4, e5 : d4,
4. ?...

В символах же меньшей емкости, то есть в так называемых «словах», она звучит иначе:

Ход I
e2 — e4, e7 — e5.

Их было двадцать. Симметрично рассаженные по обе стороны длинного и узкого стола, все двадцать думали. И подошвы их ног, прижатые к светлым и темным, темным и светлым квадратам паркета, и зрачки их глаз, притянутые к темным и светлым, светлым и темным квадратикам шахматных досок, — не двигались.

Длинный и узкий стол с игроками и крохотными, поблескивающими черным и белым лаком резными фигурками, был вдет, как в футляр, в длинный и узкий зал с узкими же прямоугольными прорезями окон.

Изредка, забелев манжетой, поднималась над столом — то там, то здесь — рука и беззвучно передвигала деревяшку:

Ход II
Kg1 — f3, ...

Мистеру Пемброку, сидевшему среди фигур, склоненных над фигурками, и игравшему у длинного стола свою партию черными, было не по себе.

Делая первый ход, он глянул за прозрачный прямоугольник из стекла: изыблый, из сплетения голых ветвей, сад. Было похоже, будто кто-то развернул и притис-

нул к матовым мерцаниям стекла план огромного фантастического города — паутину спутанных и пересекающихся улочек, улиц, переулков и тупичков.

Не игралось. Предчувствие чего-то давно уже ищущего быть найденным, неизбежной и близкой встречи с каким-то бродячим фантазмом, заблудившимся, быть может, здесь, в этих черных по красному улочках несуществующего города, вычерченного игрою законных ветвей, тревожило мозг.

«Это от сумерек», — подумал мистер Пемброк и привычным движением протянул руку к доске:

Kb8 — c6

Но сумерки — пока — были заняты другим: не позванные никем, неслышно войдя в зал игры, они сначала осторожно перетрогали у всех вещей их углы, очертания и грани. Тихо прижимая серые пальцы к выступам подоконника, к углам стола и извилистым линиям фигур и фигурок, сумерки пробовали их расшатать. Но вещи, сомкнув свои грани, линии и углы, не давались. Тогда серые мускулы сумерек напряглись, сгустились, тонкие пепельные пальцы ухватились за контуры и грани злее и цепче. И скрепы подались: роняя линии, выступы и плоскости, очертания вещей замаячили, качнулись контуры, разжались углы, освобождая линии: вещи заструились и тихо вошли друг в друга. Их не стало: как встарь.

«Отчего не дают света?» — подумал досадливый игрок.

Ход III
d2 — d4, ... —

ответили сумерки, чуть слышно прошуршав пешкой, и пододвинули блик к блику: белый к черному.

Тогда-то мысль игрока и пошла знакомыми ему черными улочками законного города, влекомая их зигзагным бегом, останавливаемая у их скрещений.

— Если принять размен пешками, поле e8 — g8 обнажится... Теряю 0-0-0... Если же Kс6 : d4, то...

Пройдя сотни перекрестков, глянув в десяток тупичков, мысль стала у входа. Игрок коротким ударом ладони нажал стальную пуговку овального, шевелящего двумя тонкими стрелками хронометра — и одна из стрелок тоже остановилась. Взяв осторожно в пальцы смутно белеющий блик с квадрата d4, игрок бросил блик в ящик: сухой, негромкий деревянный стук. Смолкло.

И тотчас же, стиснув между указательным, средним и большим пальцами правой руки круглую головку пешки на e5, он быстро шагнул ею на опустевший черный квадратик:

..., e5 : d4.

Сделав ход, пальцы быстро разжались, и в то же мгновенье туловище мистера Пемброка, неестественно качнувшись, наклонилось к клеткам шахматного поля, точно игроку хотелось пристальнее всмотреться в игру, рука же с полуразжатыми пальцами упала, мягко, но четко стукнув о край стола. Делая последний свой ход, мистер Пемброк предвидел все возможные варианты в дальнейшем развитии партии, *кроме одного*, казалось бы, совершенно невероятного. Мистер Пемброк не предусмотрел, что в ту самую долю секунды, как рука его, ставя пешку под удар, будет отдергиваться от деревяшки, душа его, душа мистера Пемброка, оброненная мозгом, неслышно скользнет вниз по переставляющей деревяшку руке: из мозга в кисть руки; из кисти к концам пальцев; из разжимающихся пальцевых фаланг в крохотную, поблескивающую мутным черным лаком головку пешки.

Яркий свет брызнул из матовой люстры, свежав сушки.

«Ну вот. Давно бы так...» — с чувством некоторого облегчения подумал мистер Пемброк, не замечая еще

происшедшего, и поднял веки: по глазам его ударило каким-то совершенно новым и непонятным миром. Привычный зал с привычными стенами, углами, выступами — все исчезло, будто смытое неизвестно как и чем с поля зрения. Правда, кругом, сколько глазу видно, те же знакомые светлые и черные квадраты паркета, но странно: линии паркетных полов уродливо раздлиннились, поверхности, неестественно разросшись, упирались в ставший вдруг квадратным горизонт. Стол стоял. Люстра взмыла в зенит. А стены... куда девались стены? Пешка Пемброк, продолжавшая все еще считать и самоощущать себя знаменитым шахматистом, недоумевала. Не явлю, а снимающимися образами глядели на нее обступившие со всех сторон мерцающие белыми и черными выступами, изгибами и рельефами, чудовищные обелископодобные сооружения, неизвестно кем, к чему и как расставленные по гигантскому черно-белому паркету потерявшего свои стены зала.

«Неужели я уснул? Во время партии?» — подумала пешка, делая усилие стать снова шахматистом: проснуться. Тщетно. Видения не никли. И странно — время двигалось будто мимо них. Секунды менялись, но в секундах ничего не менялось: белые и черные обелиски на белых и черных плитах стояли недвижно — нерушимо — безмолвно. Даже черные тени, оброненные ими, не шевелились.

Всматриваясь в застывший лес призраков пристальнее и пристальнее, начавши уже предощущать недоброе, экс-Пемброк стал понемногу различать в очертаниях их что-то знакомое, даже привычное мысли, но лишь чуждо ей данное. Смутные воспоминания зашептали ему. Еще минута, миг, доля мига напряженных бией мысли, то придвигающей, то вновь отодвигающей забытое, но близкое, — и вдруг мистер Пемброк *понял*. Нечеловеческий ужас охватил его всего — от точеной

деревянной головки до подклеенной кружком зеленого сукна ножки. Затем, столь же мгновенно, наступила и реакция: чувство растущего одеревенения, странной легкости и малости.

Понемногу возвращалась способность логической мысли: «Если *это* действительно произошло, — оценивало свое положение существо, не умевшее сейчас себя назвать, — то я под ударом белого коня с f3. Положение ясно. И если f3 действительно занято конем, то...» — и существо, еще так недавно бывшее Пемброком — привыкшим к независимому и почетному положению в свете мастером шахматного искусства, — теперь, еле смея поднять глаза за черту крохотной, три на три сантиметра, плоской клеточки, глянуло, минуя d3, e3, наискось, влево, на белое f3: там, в желтом осиянии солнц, мнившихся ранее глазу лишь лампонами люстры, зияя пустотой глазниц, стоял бледный конь. Прямая грива его вздыбилась, ноздри злобно раздулись, обнажая оскал рта. Теперь только пешке-игроку стала ощутима вся глубина его *пойденности*. То, что было раньше Пемброком, хорошо знало беспощадную логику шахматной доски.

— Kf3: «Я». Пусть. Ценою пешки — партия. И тронута — пойдено. Поздно.

Но то в Пемброке, что успело уже одеревенеть, опешиться и знало лишь крохотный, три на три сантиметра, смысл одной своей клетки, протестовало всеми ударами внезапно закопошившегося под резной лакированной грудью деревянного сердца: не смейте трогать меня, прочь от моего d4! Хочу, чтобы — я, а не мной! Прекратить игру!

Понимали ли обелиски и квадраты деревянный язык, неизвестно: квадраты и обелиски хранили молчание. Цейтнот истекал.

Жизнеописание одной мысли

I

Мысль родилась в тихое июльское послеполудня. Вокруг Мысли кружили садовые дорожки. Ветви тянулись из стволов в небо. Глянув сквозь зрачки мыслителя в мир, Мысль увидала: прямо перед нею за плетением ветвей — каменная стена; сверху — полукруглый сводчатый скос лобной кости. Рождение Мысли произошло в тот момент, когда старый мыслитель, поднявшись, сделал тринадцать из четырнадцати заранее отмеренных от скамьи до скамьи шагов, отделявших место размышлений от места, на котором лежал аккуратно сложенный вчетверо носовой платок. Мыслитель считал движение чрезвычайно полезным здоровью и всегда, прежде чем позволить себе застыть на одной из скамей садика — с ладонями, упершимися в колени, с челом, наклоненным к земле, — он обыкновенно клал в четырнадцати шагах от себя на край соседней скамьи носовой платок. Итак, отшагав тринадцать шагов, философ протянул было руку к платку, но в этот-то миг и возникла мысль: «З в е з д н о е н е б о н а д о м н о ю — м о р а л ь н ы й з а к о н в о м н е». Рука, точно ткнувшись в Мысль, повисла в воздухе: все — стена, деревья, белое пятно платка, солнце, земля, листья, скамьи, — все, до последнего луча и блика, вывалилось из зрачков: был — Мыслящий и Мысль, и

ничего меж ними. На пыльно-голубоватом небе в полдень не гореть звездам: но сейчас, волею Мысли, они зажглись и сияли изумрудными пожарами на своих сомкнутых орбитах; каменная ограда садика, безлюдного, с путаницей кружащих и возвращающихся в себя желтых дорожек, с калиткой, закрытой на ключ, делала излишними присутствие какого бы то ни было морального закона, но одним толчком глаз философ разомкнул ограду садика, бросив ее к пределам мира: рванул путаницу дорожек — и вдруг раскружились в пути: широкие, узкие, торные, битые и заросшие терном — из близей в даль.

Длилось это секунд десять.

А затем звезды снова задернуло голубовато-пыльным дном. Ограда садика опять сомкнула свои кирпичи, а пути свернулись в дорожки и покорно легли под подошвы мудрецу.

Белый же комок платка, развернувшийся было гигантской сквозистой млечной тканью, опять сдернулся вниз и, собравшись комком, лег, как лежал до, на доску скамьи, деревянные ноги которой еще чуть дрожали после безумно быстрого бега туда — в беспредельность, и обратно — в садик мудреца.

После происшедших сдвига и вдвига старый философ благополучно дотянул руку до платка, тщательно вытер им нос и вернулся на прежнее место.

II

Первые дни земной жизни Мысли были лучшими ее днями: осмотревшись под просторным костяным сводом черепа, Мысль увидала себя среди огромного, на диво сдуманного и слаженного мирозерцания. Глянув было под чуть поднятые веки наружу, в мир,

Мысль откатнулась назад: в мирозерцании куда лучше, чем в мире. Оттуда, из мира, гляделось короткое, от горизонта до глаза, пространствьице, сплошь загроможденное вещами. Здесь — в мирозерцании — раскрывалось чистое, не грязненное вещью пространство: оно давало просозерцать себя насквозь — от безначальности до бесконечности. В мире (хотя бы здесь, на стене) у глаз ползают по циферблатному диску секунды, на столе раскрыт «Лейпцигский всеобщий календарь», и никому не отпущено сразу больше чем по одной секунде. А в мирозерцании: ниоткуда не идущая, никуда не уходящая вечность.

Понятно поэтому, что, когда через два дня после случая с носовым платком мыслитель, сев к рабочему столу, положил перед Мыслью, меж двух зажженных свеч, лист чистой бумаги, та отпрянула назад: «Не хочу в буквы». Но старик делал свое. Борьба была недолга, хоть и упорна: Мысль выскальзывала из-под пера, выпрыгивала из слов и путала буквы. Но старик, перечеркнув, расставлял их по-новому, пока наконец ему не удалось, изловив Мысль в расщеп пера, притиснуть к бумажному листу. Печальной черной строкой лежала Мысль перед усталыми слезящимися глазами старика: «Возьми меня назад».

Старик задумался. Он не любил отдавать другим свои слова: перо уже потянулось к Мысли, миг — и чернильная черта навсегда бы укрыла ее от чужих любопытствующих глаз. Но в это время стенные часы начали бить одиннадцать. Философ не позволял себе засиживаться позже этого часа — ни на секунду, с первым же ударом часов он отложил перо, задул одну из свечей и, держа другую в руке, зашлепал туфлями к порогу спальни. А Мысль, вдегая в строку, осталась лежать одна на бумажном листе, в темной и пустой комнате. Левым концом строки она была повернута к окну; за окном — небо: теперь небо не противоречило Мысли — оно было явно

звездным. Правым концом строки Мысль повернулась к комнате: за комнатой комната, за нею крыльцо, за крыльцом улица, за улицей снова крыльцо, и комната, и еще комната — городок. Казалось, и здесь все было в согласии с Мыслью, так как никогда городок не достигал таких моральных высот, как в одиннадцать ночи, когда он поголовно, всеми своими комнатками, смежив ставни и веки, засыпал. Но несмотря на то, что противоречия были «сняты», Мысль, прежде чем уснуть на шершавом бумажном листе, долго и беспокойно ворочалась с буквы на букву.

III

Наборщик схватил Мысль и, прежде чем она опомнилась, разорвал ее на буквы; затем, грубо зажав ее в грязных, пахнущих кнастером, свинцом и потом пальцах, стал втискивать в прорезь верстатки. Верстатка была нестерпимо узкой. Не давая роздыха, освинцовелую Мысль положили на скос станка под слой черной остро пахнущей краски — и вдруг ударили печатной доской. Винты пресса, повернувшись слева направо — раз, и другой, и третий, — сжали ее, как в тисках: тут сознание Мысли прервалось. Очнувшись, она увидала себя опять на бумажном листе, но вдетой в какие-то квадратные прямые буквы. Лист, сложенный вшестнадцатеро, вклеили в книгу, на книгу надели глухой переплет. Долго швыряли Мыслью: с типографских кип в ящик тележки, с тележки на половицы склада, оттуда на витрину, с витрины на прилавок, из рук в руки, пока наконец судьба, сжалившись над бедной Мыслью, не разрешила ей встать на книжную полку приват-доцента Иоганна Штумпа. Долго никто не трогал ее. Мысль прикрыло пылинками и снами: вместо звездного неба — сверху книжные пол-

ки, выгнутые грузом книг; вместо морального закона, строящего свои действительности из действий, — бездейственные буквы, примкнутые к буквам, за двойным защелком ключа.

И вдруг все закачалось: паутинные нити, разорванные кем-то, опали книзу, вспугнутые пылинки бросились кто куда; костяной нож мерно скользил по страницам, разрывая бумажную ткань. Внезапно же по буквам ударило солнечными лучами; пара сощуренных глаз, скользя по странице — слева направо и сверху вниз, — близилась к захваченной врасплох Мысли.

«Авось мимо», — понадеялась было она. Но глаза уже отыскивали. Справа по книжному полю бежал карандаш. Остановился, ткнувшись графитным острием в бумагу, очевидно, готовясь к прыжку: и вдруг, схватив строку за левый ее край — тот, откуда сияли звезды, — стал тащить ее через книжное поле к блокноту. «Звездное небо», запрятанное в буквы, попробовало было упираться, но карандаш, ухватив небо за одну из звезд, за самый ее длинный луч, поволок сначала звезды, за ними и моральный закон к себе на блокнотный квадрат. Недоумевающая, растерянная Мысль далась, не подозревая, что последует вслед за этим. Переодев кой-как Мысль в серые буквы, Штумп долго медлил, с насупленным лбом, ткнувшись пересекшимися зрительными осями в Мысль. Затем, нанизав на оси, медленно поднял их к потолку. Штумп думал; и с Мыслью стало твориться что-то неладное: вдруг звездное небо, как-то странно пожухнув, обвисло стеклящимися, как глаза мертвецов, звездами; звезды протянулись шеренгами по диагоналям и параллелям оквадратившегося неба — и небо стало до странности похожим на потолок Wintergarten'a* с правильными рядами ввинченных в него тускло мигающих

* Зимний сад (нем.).

ламп. Моральный же закон, приплюснутый теменем Штумпа, не нуждался уже в непрактичных и легко бьющихся каменных скрижалях: он мог с удобством уместиться и на назидательной жестяной доске, украшающей аллеи общественных садов: «Цветов не рвать», «Травы не топтать». Добавлялось: «Чужих жен не любить», «В душу не плевать», «Счастья не взбалтывать» и еще две-три максимы. Кстати: все древние «не» были подперты «но». На всякий случай.

— Но ведь это же не я, — протестовала Мысль, — вы принимаете меня за...

Но Штумп, сунув под блокнот рукопись диссертации «О некоторых предпосылках социально-правовых отношений», приказал Мысли стать эпиграфом на заглавной странице.

Делать было нечего: Мысль, брезгливо прикасаясь к толще в четыреста страниц, стала на указанном ей месте. Думала об одном: лишь бы не провалиться туда, в предпосылки.

IV

Страдания только-только начались. Мысль редко теперь и вспоминала об отошедших днях, когда так привольно жилось под просторной и высокой лобной костью мудреца: теперь приходилось, что ни день, таскаться из черепов в черепа, ютиться под низкими скосами лбов, лишь изредка видя сквозь муть глаз миры с короткими горизонтами, с вещами, прочно вправленными в дюймы и метры пространств. Мысль знала: обода этих горизонтов никогда и никуда не кружат, вещи, заслонивши друг друга друг другу, никогда не разомкнутся, не прозияют далью. И она забивалась в глубь нежилого черепа под низкое плоское темя. И тосковала о своем первом.

Возврат представлялся теперь невозможным: старый хозяин, отказавший Мысли в короткой чернильной черте, сам лег под кладбищенский дерн, и в черепе его были не мысли, а черви. Теперешние хозяева если и взглядывали на небо, то разве лишь перед дождем: брать или не брать зонтик. Правда, о моральном законе говорили длинно и назидательно: библиотечные полки гнулись от «Этик». Но изучавшим «науку о правильном поступке» не было, собственно, времени на поступки: ни на правильные, ни на неправильные. Те же, что не имели времени изучать... но что с них спрашивать.

Вначале Мысль попала к цитаторам. Шайка цитаторов обычно работает ножницами и клеем: напав на чужую книгу, цитаторы кромсают ее меж ножничных лезвий, отрезая и перерезая буквы как попало. Больше боли была обида: цитаторы брали буквенное тело и номера страниц, до самой же Мысли им не было никакого дела. После пришли делатели параграфов: очутившись в параграфе одного из учебников, Мысль даже чуть приободрилась: промен очков на молодые, крепко видящие, с часто расширяемыми зрачками глаза казался ей выгодным.

И Мысль радостно отдавалась целым сериям студенческих глаз, прыгавших с буквы на букву и часто пристаивающих целыми часами над строкою, в которую она была вселена.

Но учебник был официально апробирован министерством, и Мысль стала жить — от экзамена до экзамена.

Начались трудовые дни. Страницы учебника замусулили и затрепали. Не было ни мига покоя. Мысль вместе с учебником переходила из рук в руки. Ее таскали с собой: по скамьям парков, по доскам парт, по столам кухмистерских. Будили по ночам. Заставляли прятаться по шпартгалкам. В заикающихся жарких скороговорках экзаменов часто «внизу» лезло в «вверху» и наоборот, и в мораль круто замешивались, как изюмины в тесто, звез-

ды: «Я перепутал, господин профессор, но я все знаю, ей-богу же, знаю...»

Мысль мудреца не обижалась: юно — зелено. Но все это, тянувшееся от семестра к семестру, сквозь годы и десятилетия, начинало тяготить и бесцветить ее. Затасканная по будням, поблекшая, писаная и переписанная, искаленная ножницами цитаторов, истрепанная о языки студентов, загнанная в тетради и мелкие шрифты примечаний, Мысль изнемогла и стала просить о смерти: съжившееся небо ее, роняя звезду за звездой, облетая изумрудами лучей, обеззвездилось и зияло черною ямой вверху. И черной яме вверху жаждалось одного: скорее — в черную яму внизу.

Помогло Время. Отсчитав сто лет со дня смерти мудреца, оно напомнило, что вот, мол... Люди имеют прекрасную привычку: раз в сто лет вспоминать о своих мудрецах. Но чем угодить мертвецу: похоронить его еще раз? Не всегда удобно. Решили похоронить с ним рядом одну из его мыслей: в старый могильный камень, придавивший прах мудрецов, врезали: **ЗВЕЗДНОЕ НЕБО НАДО МНОЮ — МОРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ВО МНЕ.**

Мысль легла, вытянувшись во всю длину надгробия, раззолоченными, глубоко врезанными в камень буквами, яркая и нарядная, как в то июльское послеполудня. Не садик мудреца тянулся теперь к ней ветвями деревьев — крестовая роща сомкнула вокруг нее свои крестовины.

Над Мыслью и Мудрецом потянулись речи: говорили не-мудрецы и сказаны были — не-мысли. К вечеру ушли — ржавый ключ опрокинулся бородкой кверху в замочной скважине старой кладбищенской калитки.

И снова они остались вдвоем, как и в то давно отсидевшее июльское послеполудня: Мудрец и Мысль.

Грайи

I

Теперь только профессора-филологи пишут, и то путаясь пером в словах, о Грайевом мифе. А в те, давно умершие, времена любой ребенок мог складно и бойко рассказать начало истории о Грайях. Но конец истории скрыт не то что от профессоров — даже от детей: он в не рожденных еще веках, куда и приглашаю вас, вундеркинды, последовать за мной.

Три старухи, именов Грайи, были поставлены Зевесом стеречь горные тропы Парнаса. Тропы падали вниз, от высот к долам. Там, в заоблачье, над миром, пластающимся внизу, был укрыт ни узды, ни бича не знавший крылатый конь — Пегас. Под золотым копытом Пегаса — ни травинки, но зато, нарастая буквой на букву, тянулись из земли в лазурь расчесываемые горными ветрами черные неписанные и нечитанные строки: ими и питался крылатый.

Хитрый разумом Зевес знал, что овладевшему Пегасом достанутся и возвращенные им, миродержцем, высоко вознесенные над дымами долинных домов строчкастые чернобуквные луга парнасских склонов.

Оттого-то и поселил он у самых верхних поворотов троп старых злых Грай. Грай было три, но на всех

трех был отпущен лишь один глаз. Старухи никогда не разлучались. Пока одна из них, овладев глазом, взгляды- валась вниз, сквозь лёты туч, другие две нетерпеливо ждали своего черед: видеть. Часто Грайи дрались из-за глаза, катаясь по острым камням шестируким и трехго- ловым безобразным комом, вырывая друг у друга пере- ходившее из пальцев в пальцы зрение. Если сторожив- шая Грайя засыпала, другая тотчас же, сунув руку под от- вислое веко спящей, крала у нее глаз.

Однажды Грайи услышали чуть ощутимый шум: кто-то подымался по тропе из низин, роняя вниз мелкую осыпь. Шаг то ник, то возникал снова. Зрячая Грайя зор- ко взглядывалась вниз. Две другие, насторожившись, по- вернули пустые глазницы к шуму.

— Что видишь?

— Пряжу туманов.

— Отдай глаз!

— Нет.

Звук креп: кто-то, прикрытый мглой, подымался на срывы скал; изредка останавливался, будто в разду- мье; и снова — гул роняемых ногою камней.

— Идем.

Сцепив руки, Грайи осторожно двинулись вниз: один глаз — шесть глазниц. Впереди зрячая, две слепых молча вслед. Опасность прерывала ссоры.

Вошли в тучи. Незрячие Грайи не раз оступались, скользя ногой по мокрым гранитам.

— Видишь?

Мгляные нити медленно расклубливались. Сни- зу — квадраты полей; серые тонкие стебли дымов, выра- стающих из печных труб; рыжие пятна черепицы. Изви- вы тропы были пусты. Зрячая Грайя, повернув глаз впра- во и влево, уж хотела ответить «нет», как вдруг увидала: там, позади, у утесного скоса, отделенного от них неши-

роким провалом, стоял человек. Он зацепился железным крюком, вделанным в длинную палку, за выступ утеса и спокойно, не шевелясь, наблюдал Грай.

Пошептавшись, Грайи двинулись навстречу нечестивцу. На пути — щель провала. Ведущая Грайя, присев на трясущихся коленях, прыгнула.

— А мы, а мы? — зашамкали оставшиеся, протягивая руки к сестре. Слепые, они не решались на прыжок. Тогда ведущая Грайя вынула глаз из-под века:

— Ловите!

Сестры подставили ладони. Но в движении Грайи было что-то неверное: глаз, мелькнув белым бликом над пропастью, не долетел до другого ее края и канул в бездну. Четыре скрюченных ладони то сжимались, то разжимались, осязая лишь пустоту.

— Глаз у тебя? — спрашивала одна.

— Нет, у тебя, — шипела другая.

А человек, оторвав крючок от скалы, стал осторожно, но быстро спускаться к расселине. Перепрыгнувшая Грайя, оставшись одна и без глаза, почуяла страх.

— На помощь! — кричала она оставшимся по ту сторону расселины. — Ко мне!

Тогда одна из безглазых решилась. Прыжок бросил ее легкое тело через бездну с достаточной силой, но не по прямой, а наискось: и, не достигнув земли, старуха, взыв, рухнула в пропасть. Третья — не смела. Передовой Грайе не было выбора: назад — пропасть, впереди — враг. Слепая и одинокая, она приготовилась встретить смерть. Вонзив ногти в трещины земли, укрыв голову под острыми углами локтей, покорно ждала она конца. Камешки прынули под ударом стопы у самого ее уха. В воздухе просвистел острый крюк, и Грайя, раскинув руки, без стога свалилась вниз — вслед глазу и сестре.

II

Человек, победивший Грай, мог продолжать подъем. Навстречу швыряла молниями гроза. Гудели ветры. Тучи били серыми крылами. Но человек шел и шел: с камня на камень, извивами тропы, уступами скал — к парнасской выси. Тучи, молнии, ветры остались внизу; над головой колосилось желтыми лучами круглое солнце, у ног же качались, буквами из букв вырастая, длинные, короткие, чернильной чернью налитые, графитной пылью присыпанные строки. Меж строк с тонких стеблей гляделись махрово — расплывшиеся кляксы. А по колено в словах — белоснежный крылатый Пегас: крылья за спиной; в зубах — охапка полусжеванных строк: жует, роняя то слово, то букву, то слог.

Хотел было смельчак заарканить Пегаса, но тот раскрыл шумящие бурей мощные крылья. Тогда победитель нарвал строк с парнасского луга, тома на два, и стал спускаться назад к жилью.

Когда в низинах стало известно, что доступ к парнасским высям свободен, люди тотчас же полезли и закарбакались по камням и тропам вверх. Толпами. Но путь по срывам и кручам был тяжек. Многим пришлось, стеною и охая, сползать вниз, бросив затею. Вернувшиеся жаловались старейшинам. Те приказали: срывать кручи, круглить излом троп, делать их шире, а в опасных местах ставить перила. И когда все было сделано по слову старейшин, люди снова — кто в одиночку, кто с женами, детьми и слугами, mit Kind und Kegel* — потянулись вереницею из долины к высям.

Белые снега Олимпа, затоптанные ногами и истыканные палками, посерели и стаяли. Внизу, под черепи-

* С чадами и домочадцами (нем.).

цами, открывались издательства, платившие за каждую сорванную и доставленную с Парнаса строку по медной монете. Жадность овладела всеми. Строки и строфы рвали руками, стригли садовыми ножницами, косили косами. В суете иные поэмы попали под подошвы, сломались и спутали свои рифмы. Тогда построчная плата стала катастрофически падать; вновь организованная комиссия по благоустройству Парнаса на всех скалах и у поворотов всех троп вывесила правила:

«§ 1. Доступ на вершину Парнаса всем лицам, кроме предъявивших удостоверение с печатью Коллегии Большого Пера, с сего числа безусловно воспрещен.

§ 2. Звания поэта достаиваются лица по выдержании соответствующих испытаний при Коллегии Большого Пера. Как-то: испытания на прогон любой фразы сквозь все 24 метра и 1 идеологию; экзамена по сращиванию рифм и т. д. и т. д.

§ 3. Незарегистрированным: строк не рвать, Муз с собой не водить. За каждую незаконно сорванную букву виновные ответят перед Трибуналом критики, коему и предлагается озаботиться проведением в жизнь настоящих правил».

До указа буквы и строки росли из земли как попола: омеги и альфы вперемежку с юсами и азами. Рядом со скромными эмюэтами и круглым омикроном цвели себе пышные дэбль-ю, крохотные треугольники ижиц. Меж стройных стеблей пятистопного ямба трагедии, с росинками слез у острых концов, путались сорные, врозь глядящие вирши и сросшиеся рифмами газеллы.

Комиссия постановила ликвидировать беспорядок: парнасские строки были рассортированы по алфавитам, по поэтическим родам, видам и подвидам, с соблюдением строфических, ритмических и метрических классификаций.

Пегас долго оставался неуловимым. Подпустит иной раз и близко, на дюжину строк, и вдруг — крылья врозь, сверкнут копыта: ищи его на дальнем уступе. Тогда было основано Общество правильной пегасиной охоты; на Пегаса шли, вооружившись множеством гусиных и стальных перьев и остро очиненных карандашных графитов: целые тучи их, затмевая солнце, летели на Пегаса, вонзаясь в шею, в уши, в крылья. Израненный, он попробовал распрямить их — и не мог.

Стреножили: «наш». Обкорнали крылья. Поставили в стойло. Теперь всякий за небольшую плату мог прокатиться на золотокопытом коне по песчаному кругу манежа; лица с удостоверениями — вне очереди.

Вначале плененный Пегас пугался толп: надели наглазники; и, опустив черные овалы наглазников к земле, с золотой, бессильно обвисшей гривой, апатично топтался, под свист бича и крики конюхов, когда-то крылатый, свободный конь по сомкнутой дорожке манежа.

Кругом — ослабившиеся рты:

— Наш.

— Наш.

III

Но оброненный Грайей глаз не погиб: пролежав века и века на дне ущелья, он был вынесен дождевыми потоками в низину, к околице людского поселка.

Там, зарывшись в землю, пролежал Грайев глаз еще лет сто, а на сто первую весну прозяб и стал прорастать: сначала от глазного корня пополз белый и рыхлый осевидный отросток тоненького, в волосок, нервного волокна. Волоконце чуть утолщилось и стало члениться на никлые прозрачные фибриллы, расползаясь вправо и

влево сложнящейся сетью. Из зрочка протолкнулся вверх мутный стеклистый побег: раздвинув наслойки песку и налипшую на стебель глину, он смело глянул в солнце. Еще неделя, и крохотные радужные кружки, опоясавшие стебель, вдруг разорвались пестрыми лепестками. Глаз лежал где-то на заброшенном дворике, куда редко кто и заходил, у тына, среди порослей бурьяна и высоких пыльных трав. Никто не заметил рождения диковинного деревца.

Понемногу ветвясь и приподымая с земли крепнущую крону, деревцо вытянулось кверху, поднявшись над головками трав и бурьяна. Близилась осень: на сливах синели овалы слив; на яблонях — зазолотились яблоки; и на диковинном деревце, повиснув на белых осевидных фибриллах, прокрутились свесившиеся зрочками вниз, маленькие, понемногу полнящиеся и наливающиеся нервным соком стеклисто-белые глазные яблоки.

Первым человеком, увидавшим деревцо, был восьмилетний оборвыш Тэк. Он служил в поводырях у старого слепца-нищего по имени Цекус и помогал ему в сборе милостыни. В этот день с раннего утра бродили они меж домов поселка, пряча в суму и пеструю деревянную чашку скудные даяния людей. К вечеру, дойдя до околицы, отыскивали нежилой, как им казалось, дворик и здесь, у тына, примяв траву, стали располагаться на ночлег.

Первым открыл местонахождение дерева Грай, как это ни странно, слепой старик. Глаза Тэка не покидали донца крашеной чашки, которую нес, не доверяя поводу, старик, и жадно считали и пересчитывали позвякивавшие в чашке монеты. Старик, перед тем как опуститься наземь, опасливо повел длинным суковатым посохом вокруг: посох ткнулся в тын, ощупал землю, прошуршал по траве и вдруг уперся во что-то странное. Старик распрямился на полусогнутых коленях.

— Что это? — обернулся он к Тэку, быстро отдергивая палку. Тэк взглянул: в трех шагах от них в сером воздухе сумерек белели какие-то странные круглые плоды, густо облепившие ветви невысокого деревца. Мальчик сделал шаг вперед. Протянул руку: пальцев коснулось что-то склизкое и холодное. Дернул за белый нитевидный черенок и поднес сорванное к глазам: из руки прямо на него смотрел — то расширяя, то суживая зрачок — человеческий глаз. Тэк вскрикнул и отшвырнул глаз прочь.

— Ну, что... что там?.. — спрашивал Цекус с возрастающим нетерпением.

Но мальчуган с плачем зарылся лицом в платье старика и не мог вымолвить ни слова. Тогда тот, шаря руками по воздуху, сам двинулся к деревцу: когда его пальцы запрыгали по скользким ветвям, ощупывая круглые зрачкастые чуть вздрагивающие от прикосновения шершавой кожи глазные яблоки, напряженное любопытство проступило на лице слепца. Тэк умолял уйти, но старик шамкал: «Нет, нет», — и не двигался с места. Близилась ночь. Тэк перепрыгнул через плетень и прикорнул по ту его сторону.

Сквозь дыры в плетне темнела неподвижная сутулая фигура Цекуса, закрывшая страшное деревцо. Теперь Тэку приключение казалось чуть-чуть смешным. Он, улыбаясь, поднял еще раз веки: старик, не шевелясь, стоял, наклоненный над глазною яблонькой. И веки Тэка слиплись.

Ночь. Для Цекуса — всегда ночь: как пришла лет тридцать тому, так и нет рассвета. Цекус не был слепорожденным: катастрофа в шахте отняла у него глаза: один, под правым веком, был мертв, другой — вытек. Теперь, стоя у деревца с непонятными плодами, слепец грезил. Всякий раз, как Цекус оставался один, он пробовал силою слабеющей от дня ко дню памяти превратить

ощупи в зримости и снова зажечь среди вечной ночи солнце: оно восходило — серо-желтое, мутное, бессильное Солнце слепых, тянулось с низкого блеклого свода короткими лучами к неясным силуэтам гор, маячащим пятнам людей и шаткому контуру домов и деревьев. Так прошел час. Старец, присев на корточки, придвинулся вплотную к деревцу. Тихо. Так спит. Рука снова нащупала: глаз — два — три. Упершись большим пальцем левой руки в левую бровь, Цекус осторожно потянул за слипшееся мертвое веко вытекшего глаза и, преодолевая тупую боль, стал втискивать сорванный с дерева упругий и скользкий глаз во вгиб пустой глазницы. Глаз, вначале лишь болезненно терпшийся о веко и разрывавший мелкие сосудцы, вдруг дернулся в пальцах и прочно вправился в орбиту: в ту же секунду что-то больно ударило в мозг, синие искры забились в глаз и у глаза, и испуганный насмерть Цекус потерял сознание.

Очнувшись, он подумал: приснилось. И в самом деле, вокруг чернела ночь: как и всегда. Цекус поднял руку к глазу: что это? Какой-то странный пятиконечный контур быстро надвигался на него. Старик застыл с поднятой рукой, и прошло несколько секунд, прежде чем он понял, что в и д и т свои пальцы.

Цекус прозрел ночью. Поднявшись на локте, он, щуря от острой боли веко, различил низко над собою черную, уходящую вдаль навись. Под черной нависью проступала узкая, полукругом изогнутая полоса. «Плеть», — шепнул Цекус и тихо захихикал. Встав с колен, он, напрягая зрение, различил (близко ли, далеко ли, он не знал) какие-то темные сквозистые силуэты, свисшие с нависи: вверху широкие, книзу узкие.

— Деревья, — пробормотал Цекус, удерживая рукой расстучавшееся сердце.

Правда, странная форма деревьев, свешивающихся комлями откуда-то сверху, точно сталактиты с черно-

го свода пещеры, чуть озадачила его, но поток новых ощущений не давал времени спрашивать «почему». Он вспомнил, что от деревьев до плетня — две минуты ходьбы, — и деревья сразу же вправились в определенное место пространства.

Цекус был счастлив. Самый яркий южный полдень, прихотливо разодетый в пестроты красок и неисчислимости солнечных лучей, не давал никому и никогда столько трепета, сколько дала старому Цекусу эта мглистая, кой-где маячащая скудным контуром и абрисом, безлунная и беззвездная осенняя ночь. И смутное плетение трав, и узкая полоса плетня, и чуть просиневшее предутренней синью (только, странно, откуда-то с н и з у) светлеющее небо казались раями, откровениями высших смыслов и радостей: и когда солнце (опять странно: будто падая диском вниз), одевая мир в цвета и блики, дало себя глазу, старый Цекус, изнемогший от волнений ночи, крепко спал. Беззубые десны его были разжаты улыбкой счастья.

IV

Слух о чудесном деревце и прозрении Цекуса забегал, семена словами, по всем тропинкам и путям страны. За Цекусом ходили толпы. В деревянной кружке рядом с медяшками белели и серебряные монеты. Выспрашивали.

Но прозревший был как-то странно рассеян и нетверд в своем видении: шел шатким шагом, так, как если б ставил ступни в пустоту. Глядел не под ноги, а куда-то вверх. Глаз его, избегая лиц людей, щурился в носы их башмаков. Когда спрашивали, рад ли чуду, молчал, сердито шевеля ссохшимися губами. И наконец

(этой привычки Тэк за стариком раньше не знал), любил, сев у озера, а то и просто у лужи, глядеть — по целым часам — на отражения в воде.

Однажды, проходя меж рыночных лотков, Цекус велел Тэку купить зеркальце, но, глянув в него, швырнул стекло на камни. Люди смеялись. Но Тэк не смеялся: он не покидал старого Цекуса, потому что чувствовал, что Цекусу, в его прозрении, нужнее поводырь, чем прежде, в годы слепоты.

Люди не раздумывали долго над происшедшим: они обвели яблоню с глазными яблоками железной оградой, к ограде приставили караул и вверили чудо особой комиссии из врачей и оптиков. Тэк часто задумывался о происшедшем, но истина слабому детскому мозгу его была не в подъем.

Между тем дело объяснялось очень просто: в хрусталике, вправленном в человеческий глаз, живет озорная манера — опрокидывать мир, входящий в него лучами, — кверху дном. Но за мозгом, получающим опрокинутый мир от хрусталика, водится не менее озорная привычка — опрокидывать опрокинутое. Только благодаря такому двойному кувырканию и получается достаточно серьезный мир, где верх — вверху, и низ — внизу, где полы — донья — корни снизу, а кровли — комли — тучи сверху и так далее. Но у ветхого глаза и древнего мозга старух Грай не было уже силы опрокидывать миры (легко ли это!), ронять звездное небо, как свидетельствует Алмазная Грамота Трисмегистоса, долу лишь затем, чтобы опять возносить его горé. И поэтому-то Грайи видели вершину утеса, доверенного им Зевесом, как и все, над бегом туч; низины же для них, как и для всех, были внизу, в прорывах туч. Но когда бессильный глаз Грай сросся нервными волокнами с мозгом человека, то все пошло по-иному: глаз Грай давал мир всерьез, не переворачивая в нем ни единого блика, а человеческий мозг, как и всегда,

брал его озорно: и перед расширенным зрачком Цекуса горы стали на свои вершины, деревья потянулись, точно сталактитовая порось, комлями вниз; под ногами зазяло небо с оброненными в бездну звездами, из-под самой подошвы башмака выползали тающие тучи, и только благодаря какому-то дящемуся чуду, — как думал суеверный Цекус, — нога его не проваливалась сквозь облачный студень в разверстые пустоты. А сверху давмя давил низко нависший черный пласт земли, с домами, запрокинутыми кровлями вниз, неустанно грозящими рухнуть вместе с людьми в звездную бездну.

В воздухе реяли опрокинутые на спину птицы. И только тело Цекуса, выключенное осязательными, мускульными и соматическими ощущениями из общего чувства опрокинутости всех вещей, находило себя одиноким и беспомощно затерянным в этом нелепом и непонятном мире — на оборот. Прозревший прятал от него свои глаза, склоняясь над зеркалами озер и луж: поверхности их, снова опрокидывая опрокинутый мир, давали ему, Цекусу, хоть в мале, хоть внутри лужи, мутное и колеблющееся подобие того прежнего, чаянного мира, к которому привык Цекус с детства и о котором грезил все тридцать лет своего калечества.

«Раньше, — горько размышлял Цекус, — калеккой был я, один я, теперь я исцелен, но разве весь мир не стал жалким калеккой: бросил Божьи звезды вниз, уперся свисающей на головы землей, как в костыли, в свои опрокинутые горы и топчет вершинами их, будто поганую траву, ясные лучи, возвращенные из солнца...»

Тем временем оптико-врачебная комиссия заседала. И снова заседала. Несколько глазных яблок были препарированы скальпелем и разрезаны по их продольным и поперечным осям. Изучили — снаружи и изнутри. Запротоколировали: «Глаза как глаза». Старый Цекус был помещен для наблюдений и опытов в изолированную

камеру офтальмологической клиники. Он жаловался, как умел, на опрокинутость мира, просил убрать потолок из-под ног, умолял спасти. Однажды в припадке отчаяния старик, жалко всхлипывая, стал просить вернуть ему слепоту: Грайи мстили. Врачи и физики поводили плечами. Выделили подкомиссию. Подкомиссия распорядилась сорвать еще три глаза: взрезали по вспомогательным и боковым осям. Вылузили хрусталики, исследовали сетчатку до последней молекулы. Запротоколировали: «Глаза как глаза».

Тогда было решено, принимая во внимание то, что глаза произращены деревом, запросить мнения ученого помолога.

Помолог повертел глазное яблоко в руках, лизнул языком и, положив на место, объявил: «Глаз попросту еще не дозрел. Цекус поторопился. Если ж дать глазам вызреть, то...»

Вокруг радостно закивали головами: причина была сыскана.

К сентябрю глазные яблоки начали сами падать на заранее изготовленную выемчатую подстилку. Дежурный оптик, совершая утренний обход, всегда находил на земле два-три глаза, пучивших на него зрачки. На общем собрании комиссии и всех подкомиссий было постановлено: оборвать глаза до единого и приступить к широко задуманным опытам глазонасаждения.

Были собраны — из больниц, богаделен, домов призрения — в одно место все слепцы. Добровольцев пока не находилось.

Пресса дебатировала вопрос: по два или по одному глазу отпускать на душу. Глаз было мало, калек много. Приступили к опытам. Исцеленные по большей части обнаруживали те же — цекусовские — симптомы специфической тревоги и депрессии. Но их быстро изолировали в особую санаторию для привыкающих, откуда они,

уже отчасти примиренные и покоровившиеся факту, расхаживали, правда, той же — цекусовской — несколько шаткой и путаной походкой, с глазами, опасливо поднятыми кверху, по всем радиусам дорог страны.

Понемногу начали поступать заявления и от добровольно решившихся на операцию. Запас глаз был на исходе. В это время новый плодосбор дал несколько сот глазных яблок.

У исцеленных, после трех-четырех месяцев тоски и страха, обыкновенно устанавливалось некоторое спокойствие и даже странная и несколько дикая веселость. Правда, в своих воззрениях, укладе жизни, вседневных привычках и религиозных убеждениях грайеглазые резко отличались от остальных людей, — но они, как и все, например, женились (чаще всего друг на друге) и породили потомство.

Новое поколение грайеглазых не обнаруживало уже признаков особой тоски и растерянности, столь характерных для людей, заблудившихся меж двух миров: одним — спрятанным в памяти, другим — данным мукою операции; юные грайеглазые уверенно шагают по тучам и звездам, спокойно топчя их, но, говоря о земле и лужах, глядят ввысь.

С заключениями о жизнегодности грайеглазых не надо спешить: они только-только нарождаются. Их еще мало. И на вопрос: где правда — в первом или во втором двусловии древнего трисмегистого надписания «Небо вверху — небо внизу» — возможны четыре ответа: «Здесь», «Там», «И здесь, и там», «Ни там, ни здесь».

Спиноза и паук

Биограф Бенедикта Спинозы Колерус (XVII век) сообщает о философе: «Он любил, в часы отдыха от научной работы, наблюдать, бросив мух в сеть к пауку, жившему в углу его комнаты, движения жертвы и хищника. Иногда, говорят, он при этом смеялся».

Старый мохнатолапый крестовик, почуяв на себе зрачки философа, чуть-чуть, что бывало с ним чрезвычайно редко, заволновался. Понятно: момент был слишком значителен. Вероятно, вследствие этого чисто артистического волнения мастера две-три нити оборвались и спутались, но, в общем, дело было сделано как всегда: быстро и чисто.

Восемь тонких внутрь вогнутых лапок паука, ступая по туго натянутому плетению паутины, методически, с полной последовательностью, точно перенумерованные в нотной тетрадке с экзерсисами пальцы пианиста, обмотали истерически дергающееся тело мухи в серебристо-серый ворсинчатый саван. Треугольная головогрудь мастера, с колючими глазками у краев, отыскав на вибрирующем черном брюшке мухи нужное место, сомкнула внутри брюшка остро-изогнутые челюсти.

Муха дернулась было крылышками. Еще раз. И все. Тогда-то паук и поднял колючий граненый глаз кверху: тогда-то глаза паука и зрачки метафизика встретились. На мгновение. А затем: и паук-крестовик, и метафизик, расцепив взгляды, разошлись.

Метафизик подошел к столу у окна; протянул правую руку — щелкнула бронзовая крышка чернильницы, зашептались друг с дружкой страницы рукописи.

А паук, потеряв слегка закровавившиеся передние лапки о пару средних, вполз по влажному бархатистому изумруду плесени в щель, темневшую меж стеной и неплотно к ней примкнутыми трактатами Картезия, Гэрборда и Клаубергуса. Пройдя по сомкнувшим свои лезвия листам к одному из книжных вгибов, паук подобрал в себя, сколько мог глубже, все восемь лапок и замер.

Метафизик же у окна писал: «...естественное право простирается во всей природе и в каждой отдельной особи так же далеко, как и сила. Следовательно, все, что человек осуществляет в силу своих естественных законов, он делает с абсолютным естественным правом, и его право на Природу измеряется степенью его силы»*.

Страницы, падая одна на другую, прикасались буквами к буквам и, вследствие этого, понимали друг друга. Скрипело перо. И лишь один раз метафизик, оторвав глаза от строк, глянул на паутинные нити в углу комнаты и улыбнулся.

А паук? Прижавшись брюшком к пыльному Клаубергусу, он погрузился в чистое недумание. Философу было чему поучиться у паука, но чему мог научиться паук у философа? Тот, у нервущихся черных строк, знал меньше, чем ему было нужно знать. И писал, и писал. Этот же,

* Строки эти могут быть отысканы в *Tractatus politicus* Спинозы. Cap. I, § 1—2.— *Прим. автора.*

у нервущихся серых нитей, знал ровно столько, сколько ему должно было знать: он был досоздан до конца, и ему незачем и не о чем было совещаться с шелестом листов манускриптов и печатных томов. Сидя во вгине фолианта, он наслаждался великой привилегией, издревле пожалованной их старинному и знатному паучьему роду, — от прадеда к деду; от деда к отцу и от отца к нему, мохнатолапому, — свободой от мышления.

1921

Четки

I

Я всегда предпочитал прямые и ломаные линии городских улиц извиву и кружениям полевого проселка. Даже пригородное подобие природы, с вялыми пыльными травами у обочин шоссе, с тонкоствольными чахлыми рощицами в дюжину березок, с лесом, где деревья попережку с пнями, а на лопастях папоротника налипь рваной бумаги, — пугает меня. Природа огромна, я — мал: ей со мною неинтересно. Мне с нею — тоже. В городе, среди придуманных нами площадей, кирпичных вертикалей, чугунных и каменных оград, — я, придумыватель мыслей и книг, кажусь себе как-то значительнее и нужнее, а здесь, в поле, подставленном под небо, я, тщетно пытающийся исшагать простор, затерянный и крохотный, кажусь себе осмеянным и обиженным. На природу с квадрата холста, из тисков рамы, с подклеенным снизу номерком, я еще, скрепя сердце, согласен: тут я смотрю ее. А там, в поле, небом прикрытом, — она смотрит меня, вернее, сквозь меня в какие-то свои вечные дали, мне, тленному, с жизнью длиною в миг, чужие и невнятные.

И в тот день (было это прозрачное сентябрьское предвечерие) я вышел за слагбаум не так, не просто, не прогулки ради, а за делом: мне нужно было одолжить у небополя на час-два чувство малости и затерянности.

Одно место во второй главе моей работы, требующее именно этой эмоции, никак не давалось среди стен. Делать было нечего.

Я прошел уже около версты от заставы. Глаз, привыкший кружить путаницами улиц и стен, ерзать среди пестрот, втянувшийся в дробность и разорванность городского восприятия, тщетно искал деталей и мельков: зелень — синь, небо — земля — и все. Поэтому понятна радость глаза, когда удалось-таки ему, обожав горизонт, сыскать в просторах поля — мелочь: человека. Человек возник как-то сразу и нежданно близко: он стоял в мятой траве, у края дороги, сосредоточенно шаря палкой по земле. Палка терпеливо перебирала и пригинала к земле травинку за травинкой. Человек (он был очень стар), наклонив и без того сутулую спину к земле, очевидно, искал что-то, оброненное в травы: свисшие с его носа очки недовольно круглились.

Поравнявшись со стариком, я коснулся шляпы.

— Не помочь ли вам?

Старик не отвечал и еще ниже пригнулся к травам, — и вдруг круглые стекла очков, мелькнув черной оправой, прыгнули в траву. Старик растерянно ловил воздух руками, с таким видом, как если б вместе со стеклами уронил в траву и глаза. Быстро нагнувшись, я поднял, за тонкий стальной заушник, очки:

— Вот видите, не надо брезгать помощью. Скажите, что вы потеряли?

Старик долго протирал пыльные стекла:

— Тут... в траве — Ia#.

— Что?

— Ну да, я уронил — ля-диз: с первой приписной линейки.

И он опять принялся шарить в траве. Изумленный, следя за движениями палки, я заметил: в зеленой путанице травинок что-то вдруг сверкнуло пучком стеклистых

искр: протянув руку к искрам, я держал легко мною запутанный из трав, крохотный граненый пузырек: на прозрачной грани — бумажный билетик; на билетике пометка — «la^{#3}», из третьей октавы. Срок заклада — 1 авг. ** г.» — и еще что-то — но я не успел дочитать: костлявые пальцы жадно потянулись к находке, стекла очков — к стеклу сосудца.

— Ну да, она. Конечно. Благодарю вас.

На костистом плече старика висела серая дорожная сума: приоткрыв ее, он бросил внутрь сумы пузырек и, медленно ступая, продолжал свой путь. Я шел рядом, не отставая. Мимо, по колеям, растревожив пыль, прокаатила телега.

— Мне все-таки хотелось бы знать, почему вы говорили о каком-то ля-диез. Ведь в траве был просто пузырек пустой пузырек.

Старик, не отвечая, сунул руку в суму, и в пальцах его опять просверкал граненый сосудец: придерживая его левой рукой за донце, правой он осторожно повернул притертую пробочку и, чуть улыбаясь, поднес его к моему уху: грустная серебристо-звонящая нота высокого юного женского голоса прозвучала из-за стеклянной грани: плененная, будто вырванная из чьего-то голоса нота — длилась и длилась — исходя в тоске по разлученному с ней голосу и бессильно стучась серебром дрожи в стенки стеклянной тюрьмы.

В вибрации плененного звука было что-то странно знакомое: вдруг вспыхнули рампные огни, закачались в черном провале оркестра — вверх-вниз-вверх — острые асики смычков, ведомые чистым сопрано. Кто? Отвечая, из сумерек памяти просияли аршинные буквы афиш.

— Клара Рид, — вскрикнул я, изумленный, — это ее la[#]!

Старик осклабился:

— Да. И в случае просрочки... Пусть композиторы пишут ей партии без la[#]: они это умеют.

И пузырек, сверкнув гранями, опять исчез. Старик осторожно затягивал ремни.

— Это жестоко, — пробормотал я.

— Вы находите. Им... Тут у меня в суме — всего лишь нота, так — один из двадцати семи полутонов, одна двадцать седьмая голоса. И мне говорят: жестоко. Ну а вы, существа из-под крыш, разве вы не обеззвучили небесные сферы, не онемели ангелов и не отняли песен у просторов; вы опутали музыку струнами, придавили ее толчком, вырвали у нее язык: это не жестоко?..

Он любовно провел рукой по своему мешку:

— Ну, а что до певичкина *la*[#] — будет ему таскаться от ушей к ушам, из зала в залы: пусть отдохнет здесь, в стекле, пусть постранствует по полям, вместе с моей дорожной сумой. Вы думаете, берегу заклад для себя. О нет, — полям возвращаю я отнятое у полей: ведь стоит повернуть пробочку и... Разве вы не слышите: поля молчат; исполосованные колеями, затоптанные и изъезженные, оглушенные лязгами и грохотами ваших городов — поля стали немые. А встарь...

С минуту мы шли молча среди пахучих имбирей, зеленых прощв подорожника и пропыленных трав. Старик задержал шаг. Он, очевидно, устал — дыхание было часто и трудно. Взглянул на меня:

— А вы мыслью все еще в пузырьке.

— Нет, думаю о вас: кто вы?

— Я — человек, которого встречают в полях. Только в полях. И встреченный мною должен ответить: чего он ищет в них?

Глаза старика были властны, как и слова.

Я ответил:

— В поля меня послали книжные поля: я здесь по их воле. Видите ли, как бы сказать... Перу моему, не мне, ему, нужны слова, слова малости и затерянности: там, в городе, их никак и нигде не достать. У наших письмен-

ных столов слово «я» переросло горы: уперлось гнутыми ножками в землю, в чернильную петлю вокруг звезд — мне же нужны сейчас, так, на час-два, слова самоумаления, затерянности в просторах. И вот я пришел...

— Так, так, понимаю, — старик раздумчиво прожевал губами. — Может быть, будет неблагодарно отдарить вас за помощь в розысках затерянностью. Но если вы этого хотите... Странны, странны люди из-под крыш. Вы философ?

— Так, думальщик.

— Тогда... — приостановившись, старик долго рылся рукой в дорожной суме, — не подойдет ли вам э т о?

Края сумы, растянувшись, выпустили сжатую в щепоть руку; в щепоти, нанизавшись на длинную серебристого отлива нить, мерцали белые крупные бусинки четок.

В этот миг солнце, перерезанное чертой горизонта, низко нагнувшись к земле, собирало свои последние оброненные лучи. По влажным вечерним травам скользили туман и сумерки, — но все же я рассмотрел: белые бусины на связанной узлом четочной нити были как-то необычно крупны.

— Странные четки, — изумился я, но старик уже заворачивал подарок в черный, матового ворса плат, вынутый им из той же сумы.

Стянув плату концы, он передал узелок мне:

— Вот.

Мы стояли у края оврага. По земле, вместе с туманами, стлался низким гулом дальний благовест. Старик обернулся лицом к оврагу:

— Вот здесь, обходя поля, я нашел как-то труп: девочка, отроковица. Вкруг шеи — синцы от пальцев: удавлена. В выдавившихся наружу глазках мне удалось увидеть крохотное, остекленное изображение мучителя. Это, конечно, так, частный случай. Но думали ли вы, думальщик, что в с е смерти насильственны: пуля в сердце,

пальцы вокруг горла, каверны в легких, дряхлость, одеревевившая жилы, — все это разновидности насилия. Все губит, все отнимает жизнь, даже радость. Но максимум насилия — когда убийца: в с ё. Как таковое. Я говорю о людях, заболевших... миром. Да, есть и такая болезнь. И не о ней ли сказал Сократ: «Философствовать — значит умирать»? Впрочем, мой подарок, — старик притронулся к узелку, — объяснит без слов.

И, кивнув мне, он вдруг круто свернул в бездорожье; травы прошуршали у его ног; туман сомкнулся.

Я знал, что в поле поблизости нет жилья. Куда ушел странный старик и кто он, являющийся в полях? Разгадка, завязанная в черный плат, была у меня в руках. Я быстро направился к городу.

II

Придвинув ближе ламповую розетку, я развязал узел: черный плат развернулся; на матовом ворсе его белили крупные, тесно сдвинутые бусины.

«Странные четки». Я перерезал нить: две-три крайних бусины покатались по столу. Я взял одну из них в пальцы: из руки, прямо на меня, глядел остеклившийся, с полуслипшимся белым зрачком глаз. Я с отвращением и страхом отодвинулся от стола: не может быть. Нет, правда: передо мной, на черном плат, змеевидным изгибом протянулась нить; на нити, нанизавшись на нее прорезями узких зрачков, лежали чередой — глядя друг в друга — глаза мертвецов.

Долго я не знал, что мне предпринять. Вспоминались последние слова человека, встреченного в полях.

Наконец, я решился. Где-то в шкапу, среди математических и физических приборов, отыскался офтальмоскоп.

Я снизил, не без чувства брезгливости, одну из склизких глаз-бусин и придвинул к зеркальцу офтальмоскопа. Сначала мне ничего не удалось рассмотреть сквозь черную щель омертвевшего зрачка. Но я не выпускал его из поля зрения: исподволь прорезь зрачка стала расширяться, какие-то контуры и пятна проступили и замаячили на вгипе сетчатки: потом слились в одно. Я тронул винт офтальмоскопа, отыскивая зеркальцем наилучший уклон луча, и, понемногу как бы вдвигаясь живым глазом в глубь мертвого, я увидел: навстречу мне стлались стеклисто-мертвенные пустые просторы. Ни блика, ни черты, ни даже точки. Безвидие. И вместе с тем — такое напряжение, такая наполненность, что жгло мозг и глаз.

«Странно, — подумал я, на минуту зажмурившись, — ведь сетчатка, даже и мертвая, должна же давать отражения».

Я взял со стола блестящую крышку чернильницы и приблизил ее к сломанному лучу прибора: ничто не изменилось, ничто не возникло в царстве бездвижия, остеклело глядевшем в меня из мертвого пустого зрачка: вещи были над ним безвластны.

И чем дольше я смотрел — живым зрачком и в мертвый — тем больше покоя входило в меня оттуда. Однако факт был слишком странен: надо проверить повтором опыта. Не отрывая взгляда, я протянул руку к столу и механически овладел первым попавшим в пальцы предметом.

Теперь, лишь только предмет вошел в луч прибора, в поле зрения смутно завожникало: сквозь стеклистые просторы разворачивалась серая дорога. На дороге — щит черепахи: четыре коротких перепончатых лапы медленно волокут щит. Позади, на расстоянии шага, обнаженный воин, с щитом у левого локтя, плечами, наклоненными бегом: мускулы бегуна наузлены, дыхание разводит и сводит сосцы. Быстрыми прыжками бросает он

тело вперед, в обгон черепахи. Та не торопится: четыре перепончатых лапы сонно ворошатся под щитом. Воин напряг последние силы, он учащает бег, — но щит черепахи все впереди. Минута, другая: ничто не меняется. Разгневанный воин, тяжело и прерывисто дыша, обрывает бег. За спиной его — колчан и лук: стремительно оттянув тетиву, он целит в черепашье тело (оно в трех футах от острия) — стрела прыгнула в воздух: древко ее дрожит от быстроты лёта, перья прижаты воздушным током, но меж черепашьим щитом и стрелой — все те же три фута. И воин снова начинает бег.

Я с трудом оторвался от видения. Недоумевал: что могло нарушить покой безвещья. Взглянул. У меня — прямо против придвинутого к офтальмоскопу глаза — белел другой глаз. Тогда я понял: шаря по столу, я взял другой экземпляр из коллекции старика; и второй глаз, отразившись сетчаткой на сетчатке, наложил свое видение поверх видения первого.

Я взял их оба и осторожно нанизал прорезями зрачков на свободный конец нити: «Спите, элеаты».

Было ясно: передо мною, на черном платке, нанизанные на четочную нить, лежали глаза умерших метафизиков.

Волнение овладело мною. Толчком ладони я распахнул окно: и оттуда тоже — из черных надземных полей — глядели тысячи пристальных глаз.

Ближе к ним, — ну, хоть на три фута; размотав шнур лампы, я придвинулся с офтальмоскопом в руках к подоконнику: на очереди был третий. Теперь я повернул зеркальце так, чтобы спутать короткие желтые лучи лампы с длинными лучами звезд.

Глаз к глазу: и тотчас же ударило ярким сине-белым светом; половицы выдернулись из-под ног, роняя меня в бездну. В ужасе, не успев даже вскрикнуть, я лишь стиснул веки, но, странно, спина — к спинке стула, подошвы — крепко к полу. Преодолевая испуг, я осторожно

полуоткрыл глаза: у самых ресниц, спутав синие, белые, изумрудные лучи, сияли огромные, во все небо рассиявшиеся пожары. Вначале — только они; но, понемногу привыкая к слепящему удару света, протискиваясь взглядом сквозь плетение лучей, я стал различать: где-то издалека полз навстречу моему глазу слабый желтый луч; луч был вдет в крохотный квадрат; на квадрате — маленькое, в точку ростом, тельце; я, щурия глаза, шевельнулся, стараясь лучше перцепировать затерянную точку; шевельнулось и тельце. Все еще пробуя всмотреться, я поднял руку, защищая глаз от боковых тусклящих видение лучей; и из тельца тоже выдернулось коротенькое щупальце, пытаясь прикрыть его. Тогда я понял: передо мной был мир обратной перспективы, мир, в котором мнящееся малым и дальним — огромно и близко, а близкое и большое съезживается, малеет и уползает вдаль. И раньше, в снах, в предчувствиях, я знал об этом мире. Теперь я его видел; опрокинутая перспектива звала меня: войти в нее и вступить на кору далеких иноорбитных планет, жить неопаленным внутри ее солнц, отодвинутых прямыми перспективами этого нашего мира за черные пустоты межпланетья. Я знал, обратная перспектива грозит смертями: бездна в полушаге от путника кажется ему далекой и недостижимой. Но погибать в ней легко: ведь тело и самое «я» там, в обратном мире, мнится далеким, чужим и ненужным.

Я резко отодвинул от себя офтальмоскоп: снова квадрат окна пошел на меня, луч лампы подобрался к глазу, а звездные пожары, вобрав в себя планы, сжались в крохотные синие точки и прыгнули в черное небо.

«Да, старик сдержал слово. Продолжим опыт».

Но когда, снизав четвертый глаз с нити, я попробовал ввести его в луч аппарата, глаз вдруг резко отдернул зрачком от света. Думая, что глазное яблоко просто скользит в пальцах, я вставил в металлический зажим и

отыскал лучом офтальмоскопа отверстие его зрачка. Но глаз, продолжая противиться, тотчас же плотно стиснул свой зрачок.

«Ага, вот ты как».

Приблизив пинцет, я попробовал протолкнуть его острием в прорезь зрачка: но глаз, отчаянно водая радужным ободком, смыкал края. Похоже было, будто он, отталкивая луч, пинцет, руку, защищает, из последних сил, какой-то мир, таймый им в себе для себя.

«Ты в моих руках, — подумал я, прикручивая винт зажима. — Один удар лезвия — и твое будет моим».

В шкапу я нашел скальпель: подведя лезвие к схваченному в стальные тиски глазу, я собирался вонзить сталь: глаз метафизика не дрогнул: не разжимая зрачка, не отдавая мира, он ждал удара. Вдруг скальпель зазвенел об пол. Чьи-то тонкие пальцы втиснулись мне в горло, и новый мир, м о й м и р, разрывая зрачки, острыми скальпелями врезаясь в мозг, входил в меня. Слезы текли навстречу вселяющейся вселенной, встречаясь с ней у выгиба ресниц.

Меж тем глаз, пойманный сталью зажима и ждавший, когда полоснут его лезвием, вероятно, недоумевал: он осторожно приоткрыл зрачок, вглядываясь в меня стеклисто неподвижным взглядом. Я высвободил пленника, взял в пальцы и вдруг — губами к склизкому холодку его обволакивающей ткани.

«Теперь пусть меняются дни и меняется в днях: то, что вошло в мой глаз, не знает смен: остеклено, врезано, на веки веков, как и в них.»

Я прижал голову к черному плату, я близил свои еще живые глаза к мертвым глазам метафизиков, тихим кругом сомкнувшихся вокруг меня: милые, милые, вот и я мертв, как вы, вот и я непреодолимо жив, как вы.

Но надо было кончать. Подняв голову, я собрал глаза и отдал их нити. Нить стянул узлом.

Я, вероятно, очень устал. Нервная реакция резко повернула колки, и не помню, где кончилась явь и начался сон. Именно теперь, когда подарок старика, приняв свой первоначальный вид, свисал чередой бусин с моих пальцев, одна чрезвычайно простая мысль напомнила, наконец, о себе: зачем старику понадобилось п о д о б и е ч е т о к. Ведь если костяшки на стержне для отсчета цифр, бусины на нити для отсчета молитв.

И, преодолевая усталость, я приступил к последнему эксперименту. Память моя давно растеряла заученные в детстве слова молитв. Кое-как сцепляя концы с началами, я завращал ветхие отченаши — и тотчас же глаз, зажатый в моих пальцах, стягиваясь и каменея, скользнул из фаланг и по нити вниз, я продолжал механический круговорот слов — и с каждым «амином» еще один глаз, твердея и стягиваясь, каменной бусиной опадал долу. Однообразие поворотов окончательно спутало мне мысли, веки слиплись, четки выскользнули из рук: короткий тихий стук, стук камня о дерево, — был последним восприятием, дошедшим до затмеваемого сном сознания.

* * *

Теперь я веду жизнь сидня. Незачем ходить в поля за просторами: просторы всюду — вокруг меня и во мне. Каждая пылинка значительна, как солнце. Раньше все, что за окном, казалось мне дешевой картинкой, подклеенной к стеклу снаружи. Теперь вечерами я распахиваю створы прямо в звезды и в мысль: нужны были века, чтобы понять эти крохотные пятнышки. Помыслить их как миры. Но понять — мало. Надо увидеть.

Я редко переступаю теперь мой порог. Спустившись вниз, я, пройдя десяток домов, сворачиваю обычно в узкий кривой переулок: по обе стороны сломанной

линии переулка, выводящего к серому овалу ворот и желтым крестам монастыря, справа и слева — деревянные лавчонки и рундуки; всюду на перекладинах, скошенных подставках, крючьях — образки, кресты, кресттики, цветные лампадки и четки — четки — четки. Четок много: они висят гроздьями, нанизавшись на нити, мерцающая опаловыми, красными, черными — из коралла, палисандра, перламутра и агата — бусинами. Ветер тихо качает на крючьях их ленивые извивы пронизей. Иногда я подхожу к четочным вязанкам, рассматриваю, осторожно касаюсь их: да, да, точь-в-точь как м о и. Стоит закрыть глаза, и мнится: вот орбиты, приварившиеся ссученными гнилыми нитями, покорно давшие связать себя узлом и обмотать вокруг жалких крючьев, — покинув плен, разворачивают свои эллипсы, и вот коралловые бусины, рассыпавшись кровавыми солнцами, возносятся на дальние зениты. Черные агатовые камешки разбухают в черные планеты, скользящие по длинным-длинным четочным нитям — от звезд к звездам.

Открываю глаза, и снова: рундуки, на рундуках крючья, на крючьях гроздья алых, белых и черных четок. Но я не верю глазу: ведь лжет же он о звездах, показывая мне их как крохотные изумрудины. Лжет и сейчас.

Иногда я шагаю дальше: по прогнившим мосткам, меж тысяч миров, продаваемых людьми людям за какие-то пятаки и гривенники, вхожу я — сквозь овал ворот — под кресты: там — в сизом ладанном тумане, у черных ликов и желтых свеч — простые бабы — крестьянки, и меж их иссера-коричневых, растрескавшихся пальцев — все те же покорные, давшие связать себя в узлы орбиты: на орбитах, толкаемые грязным ногтем, безлучные, закаменевшие, стиснутые в крохотные точки — бессильные миры.

Поэтому

Поэт не понимал «поэтому». «Поэтому» отвергало поэта. Отвергнутый положил: голову в ладони, локти на стол, «поэтому» меж локтей:

«...Пишу Вам в последний раз. Вы поэт и все равно ничего не поймете, поэтому возвращаю кольцо и слово, Ваша («Ваша» — перечеркнуто) М.»

Рядом с письмом на столе, жаля глаза, лежало свернувшееся желтой змейкой кольцо. «Поэтому», писанное тесно-сжатыми остроконечными буквами, не принимало — ни кольца, ни поэта. Поэт же продолжал не понимать «поэтому».

Закрыв глаза: исчезло. Открыл: опять о н о. Болезненно шевельнув пальцами, поэт втолкнул «поэтому» в конверт; сверху притиснул книгой. Распахнул окно. Белесая ночь. Прямо против глаз — черные и желтые окна. Будто бусины по четочной нити, протянулись по извилям улицы круглые фонарные огни. Ночь не разговорчива: постучит по камням колесным ободом. Бросит. Породит звук спешного шага. Уведет шаг прочь.

Было тихо, но поэт, насторожившись, слушал. И отовсюду: и из близких близк, и из далеких далек возникало поэту лишь слышимое шуршание. В шуршании,

поначалу слиянном и внятном, вслушиваясь, можно было различить стальные прискрипы и шершавые шумы немолчно трущихся о скользкие поверхности каких-то остриев. Поэт знал: это были шумы мириад перьев и миллионов карандашных графитов, рыщущих по бумажным листам: по всей земле, и в близке и в далеке, за стеклами окон, за толщами стен, в полутьме и у желтых ламп и свеч — писали, писали, писали. Не шевелясь, боясь толчком дыхания развеять шелест прорастающих строк, поэт внимал, окунув ухо в законную тьму. Это делалось слышимым, он знал, всегда перед тем, как... Пришло. Пальцы, будто сведенные спазмом, сжали меж ногтей дерево ручки.

Перо, глотнув чернил, хищно ткнулось расщепом в тетрадь. На тетради — надпись: Сонеты Весне.

Возникало:

Поэт, о Музе не скорби:

Она придет. Она не...

По строчке дергалось перо: за пером, еле поспевая, прыгал с буквы на букву глаз. Когда перо было уже во второй строчке, глаз еще складывал:

«Поэт о Му...»: «о» слиплось с «му» и подползло к «поэт»: поэтому.

Перо выпало из пальцев, и вместо предощущавшейся рифмы у конца второй строки кляпнулась клякса.

— Вздор, — прошептал поэт и снова овладел пером. Но как он ни вслушивался в ночь, того, знакомого, таинственного, толкавшего в ритмы и рифмы шороха он больше не слышал.

Холодный и влажный воздух назойливо лип к лицу. Вдалеке взывала пароходная труба. Поэт прикрыл окно створы. Разделся. Щелкнул выключателем.

— Спать.

II

«Поэтому» лежало в левом кармане пальто. Глаза у поэта были наполнены, по самые ободки радужных оболочек, лучами — бликами — нимбами. Письмо забылось. Но когда, прижавшись грудью к стволу сосны, поэт потянулся рукою к иглистой ветке, и вдруг — острые буквы «поэтому», придавленные корою сосны к телу, проступив сквозь конверт и двойную ткань платья, больно оцарапали кожу.

— Вздор. Почудилось.

Поэт стоял на лесной проталине. Кругом — зеркала луж. Мшистые в влажных пятнах пни. Поэту было чуть-чуть стыдно, на нем было порыжелое, трепаное пальтецо; стоптанные, сплошь в дырках, сапоги. А лес — весь в нарядных, мытых дождями, травах; ветви — в ярко-зеленых, только-только пролакированных почках, иглах и завязях.

Поэт попробовал спрятать ноги за пень: ему казалось — деревья презрительно тычут в него ветвями, травы и колючки дергают за бахромчатые края брюк: как пустили такого к нам, к Весне на новоселье?

Вдруг что-то закопошилось в ворохе желтых, от прошлой осени лежалых листьев. Сначала продернулась, вся в зеленых бородавках и волосиках, перепончатая трехпалая лапка, затем безглазая, но ртастая, в кулачок, голова. Щель рта разжалась.

— Вам чего? — и слиплась вновь.

Поэт вежливо приподнял шляпу:

— Мне бы взглянуть на Весну.

Голова с кулачок сердито дернулась:

— В мартах не ищут маев. Царевна еще спят. Поэтому...

Поэт болезненно поморщился.

— Тогда, — начал он, судорожно роясь в карманах, — не были бы вы столь добры... я не имею чести знать, с кем говорю (рот у безглазого и не шевельнулся)... передать вот это.

И поэт, наклонившись, положил на желтые листья маленькое in 8°: «Сонеты Весне». Минуту листы сонетов лежали на умерших листьях леса. Ветер снисходительно перелистал две-три страницы, меценатски вздохнул, чуть качнул травами и ушел легкой походкой прочь. Зеленоиголые сосны, ветвистые дубы, поскрипывая от усилий, пригнули вершины к строкам, чтоб рассмотреть крохотные черные значки, но бородавчатая лапка дернула за край бумажной стопки, и та исчезла под прелым листовым настилом.

Поэт присел на пень. Влажный холод полз сквозь пальто, платье, рубаху, кожу — прямо в кости. Поэт поднялся. В одной из луж он увидел чье-то смущенное и опечаленное лицо. Две-три капли, оброненные веткой, упали на щеку: совсем как... Снял кольцо с левой руки, подумал, — и вязкая, в радужных пятнах и разводах, лужа только рябью чуть повела и тотчас же одернула складки над канувшим желтым бликом.

Поэт быстро шел из лесу. Травы цеплялись за ноги. Сучки кусали в дыры башмаков, а сердце, будто оцарапанное семибуквием проклятого слова, перебойно стучало: не тó — не тák — не тóй — не в нéй — не тáм.

Шагал по хрусту ветвей, по умершему осеннему листу — и сердце, ударяясь о прижатый к груди вчетверо сложенный листик бумаги, будто тоже ступало по тропам строк, ища уйти скорей от: не тóй — не тáм — не тэм — не тák — не в тóм. Поэт застегнул пальто, как если бы боялся обронить и сердце, и ускорил шаги; тревожное предчувствие гналось за ним по пятам.

Предместье. Выпутываясь из узких и косых переулков, напутанных на прямую линию пригородного шоссе, поэт вдруг заметил: у кривого перекрестка, разводившего врозь две улочки, прибитый к зеленому ставню одноэтажного домика, висел ржавый квадрат. Квадрат был по ту сторону улочки. Переход с мостков на мостки, по желтой жиже улицы, был нелегок, но красные, полусмытые дождем буквы *х о т е л и* быть прочитанными. Поэт приблизился. Прочел. Перечел: «Чиню сердца. Работаю аккуратно, без причинения боли. Ход направо, со двора».

— Шутка.

Недоуменно посмотрел вдоль улиц: ни души. Три-четыре домика. Десяток заборов. Все. Кому писано...

Вечерело. Чувствовал: холодные щипцы пошарили у сердца, отыскали, взяли в острый зажим, стиснулись.

Не мне ли?

Не глядя по сторонам, стараясь скорее потерять в неразберихе домиков и перекресток и квадрат со странной надписью, поэт быстро зашагал прочь.

III

За защелкнувшимся замком комнаты ждала тишина. Подошла, в мягких войлочных туфлях, стала позади кресла, не показывая лица; взяла голову в мягкие нежные руки.

— А я все жду.

У стены, на полке, мерцали переплеты. С лампой в руке, успокоенно улыбаясь, поэт подошел к друзьям: рукой наудачу. Что это? «По.Э.том V». Золотые буквы при-

двинулись друг к другу («v», подогнув ножку, притворилось «y») — просверкало: «поэ́тому». Звуков не возникало. Но и тишины не было: «По.Э.томуУ — поэ́тому» — стучало в виски. Рука отыскивала письмо. Вот:

«...Пишу вам в последний раз. Вы
поэт и все равно ничего не поймете:
поэ́тому возвраще...»

Точно чувствуя опасность, глядевшую из строк, поэт отодвинулся от письма и, отыскивая чуть дрожащей рукой рукав пальто, стал быстро спускаться вниз по лестнице.

Поэт и рассвет почти одновременно вошли в комнату: поэт в дверь, рассвет в окно. Встретившись, посмотрели друг на друга: оба были бледны и хмуры. Рассвету — предстояло преобразиться в зарю, из зари сделаться днем и полднем. Поэту ничего не предстояло: он уронил себя на кровать, точно ненужную — ни ему, ни другим — вещь. Но перед тем, как повернуться лицом в стену, глянул на край стола: письмо лежало у края, как и прежде, в расстоянии полуметра от подушки.

— Лучше бы спрятать.

Но веки уже слиплись, рука плетью упала вдоль тела, и явь ушла. Сквозь дрему чудилось, будто что-то колючее и царапливое возится на груди, под левым соском, пробуя прогрызть кожу, потом просверлилось сквозь мускульные тяжи, втиснулось меж ребер, все глубже и ближе к сердцу. Снилось: дорога меж мачтовых шумящих сосен. И вдруг — сосны в пни. Меж пней — вязкая, в радужные разводы лужа, но под грязной кожей лужи ворочается что-то огромное, сыплющее блестками и искрами, тщетно пытающееся подняться на тонких ломающихся лучах.

— Что там?

— Оброненное солнце, — говорит кто-то поэту.

И, глянув на небо, он видит: действительно, там, где было солнце, — сквозная черная круглая дыра. Пробует всмотреться лучше, зорче... Силится шире раскрыть глаза; и глаза раскрываются: за окном позднее предполуденное утро. Птичий щебет. Колесные лязги. На крашеке стола все то же письмо.

Перечитывание письма постепенно превращалось для поэта в мучительную, но неотвязную потребность. Он протянул руку к столу и еще раз развернул вчетверо сложенный листик:

«...Пишу Вам в последний раз. Вы поэт (ну да, ну да) и все равно ничего не поймете: возвращаю кольцо и...»

От изумления поэт выронил листик. Поднял и стал вглядываться, то придвигая, то отодвигая буквы от глаз: слово «поэтому» исчезло из строки: «...ничего не поймете». Двоеточие. За двоеточием пустая синенькая линейка почтовой бумаги, длиной дюйма в два.

Поэт потрогал пальцем пробел в строке. Перевернул страницу: ему казалось, что «поэтому» прячется где-нибудь здесь, внутри письма. Но ни на обороте, ни в сгибах бумаги — ни черты, ни точки. И в этот-то миг что-то колючее вдруг завозилось у него под левой ключицей — в том месте, где он привык ощущать сердце. Поэт побледнел и, прижав ладонь к груди, стал вслушиваться: теперь он ясно ощущал: что-то инородное шевелилось и беспокойно ползало внутри его сердца.

— К доктору, — и он представил себе насмешливо сощуренные глаза врача — «расскажите, как и что», — и вот рассказать, «как и что», он не решится.

Охватив икры ног руками, втиснувшись подбородком в выступы колен, поэт напряженно думал: впервые в жизни строго-логически, от силлогизма к силлогизму, по традиционным, аристотелевским схемам, не путая субъектов с предикатами, — думал.

IV

Муха родилась в печной щели, под низким и чадным потолком кухмистерской. Шупала хоботком жирные пятна на скатертях. Ползала по немывтым тарелкам. Вечерами любила сидеть на оконном стекле, мечтательно глядя сложнугранными глазками сквозь толщугла в зеленолиственную весну. О стекло, сотрясая его под мушьими лапками, бились лязги и шумы улиц.

Сегодня с утра разжужжался дождь: рой прозрачно-белых бескрылых мух ползали сверху по той стороне двойного, в обводе из замазки стекла. Мухе все было диковинно, все ново, и хотелось туда, мимо прозрачных ползунков, растаскавших пылинки с окна, к шумным ручьям, к помощным лету ветрам, в зеленолиственную весну.

Но кому-то было скучно ждать своей порции супу: он изловил размечтавшуюся муху и так, в рассеянии, оторвал ей — сначала одно, потом и другое крылышко. Муха зазудела от боли и дернулась из пальцев. Мир перевернулся и выпал вон из сложнугранных глазок: как невидящая, ползла бескрылая, тычаясь головой о солонки и горчичницы на выгибавшихся от боли ножках: вползла в щель и долго, не шевелясь, стояла глазами в стенку. А когда через неделю, меж листьев, там, за окном, раскрылись тысячи и тысячи, в радужных ободках, будто ищущих кого-то глаз, — муха оставила щель и снова, волоча лапки, вползла на край подоконника: окно теперь было настезь в весну, но весна была уже чужая и ненужная, не для нее: постояв в раздумье, бескрылый уродец снова уполз назад, в щель.

И поэт сидел в кухмистерской, у столика, придвинутого к окну. Суп давно простыл и желтел круглой лужицей у локтя. В груди ровно, методическим дятлом, стучало сердце. У локтя ждал суп. За окном ждала весна,

всматриваясь тысячами и тысячами спрятанных меж лепестков в зарадужье глаз. Не хотелось — ни супа, ни весны.

На столике — раскрытый журнал. Перелистал. Чьи-то стихи:

На зыбких клавишах звучат шаги Весны:
Вся в струнных шорохах, вся в завитушках трелей, —
Идет, — и на пути синеют травы-сны
И влажный снег с ветвей роняют ели.

У талой лужицы грустит влюбленный гном,
Ручьи звенят, сплетаясь в сложной фуге, —
И дятел на сосне, как мерный метроном,
Считая такт, тоскует о подруге.

— Бессмыслица: разве клавиши затем, чтобы по ним ходить, или вот, «Весна»: весна — время года, и кто видел, чтобы у времен года были какие-то не то трели, не то завитушки.

Строка о дятле почему-то даже обидела человека, который еще вчера был поэтом. Он отшвырнул журнал.

— Кстати: кем писано?

Брови прыгнули кверху: человек, вчера еще бывший поэт, прочел под восемью строками стихов — свое собственное имя.

С каждым днем в «поэте», так называли еще все человека, росло «поэтому». Сердце ежедневно брало уроки у часового маятника, качавшегося меж двух одинаковых синих роз на обоях. И перо закачалось не в короткострочье стиха, а длинной, солидной, во всю поперечину страницы, строкой. В речь *ex*-поэта вселились: ибо — итак — следовательно — поэтому — если — то. Пачку прошлогодних стихов своих *ex*-поэт сжег; томику «Сонетов Весне» еле-еле удалось запрятаться от него под кипу лексиконов и справочников. В майском номере «Здорового Смысла» появилась сенсационная статья — «Черниль-

ные осадки»: в статье доказывалось, что «так называемые „поэты“ присвоили себе лишь и м е н а вещей, самые вещи оставив здравомыслящим людям. Так как истина есть соотношение вещей, а не их имен, то все писания поэтов суть „свидетельства о бедности“, выдаваемые ими — самим себе. Раз вещи (что дознано наукой) первое своих наименований, то владельцы слов, обменивавшие на слова свое, равное правам прочих людей, право на реальные вещи, поступают как Ахав: променивают певородство на... лавровый суп» (тут автор поднялся до подлинного пафоса). «Об этом можно бы и не скорбеть, — продолжала статья, — если б судьба поэтов не была связана с судьбою здравомыслящих: имена, оторванные от вещей и понатасканные на бумажный лист, где они, сложенные правильными рядами, строка на строку, порождают, и не только среди поэтов, вредную легенду о магической силе слова. Привыкнув делать свои слова из чернильных капель, передвигать их толчками пера, без всякого усилия, куда и как угодно, поэты вселяют соблазн в других, даже не включенных в их преступный орден, людей: вернувшись из мирка слов в мир вещей, люди видят, что вещи — тяжки, неподатливы, по сравнению с своими именами, и что перемещать их по путям земли куда труднее, чем чернильные капли по линейкам тетрадей. Отсюда — эмиграция из мира вещей, где нужен труд и пот, в мир слов, где достаточно так называемого творчества и пузырька чернил. Всем хочется в поэты. Презрение чернила к черни ширится, что ни день. Но поэтам, — восклицала статья, — прогуливающимся меж строк, надо бы помнить о бороздах плуга: поэтам — заслушивающимся пения рифм и ассонансов — надо бы послушать стук станка и грохоты машин. Там — подлинная, черная от сажи и копоти, а не от чернил, жизнь. Здесь же во всех этих претенциозных *in 4°*, *in 8°*, *in 16°*, *in 32°* — чернильные осадки, и только». «Весьма прискорбно, — заключал критик, — что чернильные дож-

ди часто выпадают в нашей стране: от них все, что не воздухом подбито, а стало крепко на земных корнях, увь, осуждено гнить и сгнить». Под статьей — глухие инициалы.

Критика горячо приветствовала неизвестного автора. Два корифея написали: один — «Давно пора»; другой — «Открытое письмо поэтам». Но каково было изумление критиков, когда обнаружилось, что инициалом был скрыт ненавистный им сочинитель «Сонетов Весне», имя которого не раз было ущемлено расщепами критических перьев. Тогда появились статьи «Никогда не поздно» и «Поэт-разоблачитель»: автор первой называл *ex*-поэта даже «коллегой» и надеялся, что ряды критиков пополнятся новым бойцом.

Дела автора «Чернильных осадков» улучшились: на ногах у него заблестели гуталином новые башмаки. Впрочем, теперь *ex*-поэт не стал бы и старые шлепанцы прятать от глазастых весенних почек и любопытствующе-раскрытых лепестков: да и не почел бы нужным ходить в гости к лепесткам и почкам. Впрочем, однажды, свершая предобеденную моционную прогулку, он дошел до городской черты. За полосой луга синел, весь в предвечерних тенях, лес. Было начало июня, а весна все не уходила. Старожилы как подняли недоуменно плечи, так и ходили, плеч не опуская: никто не мог запомнить, чтобы так долго влажная и прозрачная весна не сменялась сушью и вначале серыми, потом желтыми пылями лета: бутоны все медлили развернуться в цветы; фиалка и та не хотела отцвести; луг меж пригородом и лесом был все еще по-весеннему ярко и влажно, малахитово-зелен; ручьи, не усыхая, звенели серебристыми и весенне-тонкими звонами.

Так хорошо покружить, хоть мыслью, по извиву тропы, что от города к лесу. Но тот, кто был когда-то поэтом, только криво усмехнулся: и мысль, ступив было на извив тропы, круто повернула по излому улыбки. Глянул

на часы: туда-назад час с четвертью. Минимум. Через сорок же минут, не раньше и не позже, надо быть у ювелира — взять, как я обещал Митти, кольцо, поэтому... — и он показал лесу спину.

«И не брось я тогда кольца в лужу (как глупо), не было бы и возни с новым. И расходов. Что ж, я был по-этом, потому-то и не любит меня счастье».

Человек шел по пустынному предместью, глядя себе под ноги и тщательно оберегая гуталин от запоздалых весенних луж.

«Как это странно, — продолжал он думать. — Давно ли казалось, что Митти потеряна. Навсегда. И вот завтра я назову ее, не „назову“ (проклятая привычка), а завтра она будет подлинно, вещь будет моей. И стоило мне образумиться, бросить все эти сны, сонеты, глупые чудачества, — и вот даже скромное служебное положение дает мне право...» — человек сунул руку в карман: под пальцами прошелестело вчетверо сложенное письмо. Меж бровей — складка: тот, кто был поэтом, теперь понимал все «поэтому», кроме одного: того, что тогда, мартовской ночью, пропало без вести, непонятным рассудку образом, из строки Миттиного письма. После примирения с невестой *ех*-поэт не раз хотел сказать, спросить о нем, но...

Навстречу шли. Подняв голову, он огляделся: знакомый перекресток: три-четыре домика; заборы. По ту сторону зеленая ставня с знакомым квадратом вывески. Шли двое. Они еще были скрыты выступом дома, но ясно были слышны шаги четырех ног. *Ех*-поэт остановился, пережидая на узких мостках.

Первыми из-за поворота показались калоши: калоши шли вполне самостоятельно, ставя резиновые ступни, без вдетых, как это обычно бывает, в них ног, на доски тротуара. Шли калоши мерным прогуливающимся шагом, алея суконной подкладкой, аккуратно выстилающей их изнутри, и осторожно обходя все лужи и тумбы, торчащие на пути. За ними, в трех шагах, сутулясь и

кряхтя, шаркал ногами человек в черном старомодном сюртуке с шеей, обмотанной фуляром; лицо его было затенено широкополой шляпой, сухая рука стучала по мосткам дождевым зонтом: он шел, не подымая глаз, и, вероятно, не искал встреч, — но калоши, дошагав до изумленного, будто вросшего ногами в землю, *ex-поэта*, ткнулись носками в носки его ботинок и стали. Остановился и старик; сердито стукнул зонтом — назад. Но калоши, упершись носками в носки *ex-поэта*, и не шевельнулись. Тогда старик приподнял шляпу, и внезапно морщинки и складочки, задержавшись на его лице, проворно уложились в добрую, почти детскую, улыбку:

— Нам придется познакомиться, сударь, — сказал он чистым и внятным голосом. — *Fata nolentem trahunt, volentem ducunt**.

Дослушав цитату, калоши скосили носки на 60°, вежливо обошли нового знакомого и, мягко ступая по деревянному настилу тротуара, первыми двинулись вперед; *ex-поэт*, автоматически повернувшись на каблуках, вслед за ними; старик замыкал шествие. Калоши стали у калитки. Старик, шаркая подошвами и стуча зонтом о мостки, медленно подходил сзади. Тогда *ex-поэт* (дивясь себе) с а м нажал щеколду. Калоши поблагодарили, щелкнув задками, и чинно вошли в пустой чистый дворик. За ним гость; за гостем старик.

Старик и гость сидели друг против друга у узкой доски стола:

— Чем могу?..

— Мне, собственно, ничего не надо.

— Понимаю, гм, *anaesthesia poetica***. Бывает, ну да: *cor vacuum****. Обыкновенно это от чернильных вре-

* Рок непокорного влачит, покорного ведет (*лат.*).

** Поэтическое бесчувствие (*греч., лат.*).

*** Пустое сердце (*лат.*).

дителей. Запустили, батенька, сердце, — запустили. Страдаете.

— Нет. Напротив.

— Ага: потеряли способность страдать. Это опасно. Прошу о минуте искренности.

Теплая сухонькая рука легла на руку гостя: путаясь и заикаясь, он рассказал, дивясь своей откровенности, все.

Старик погрузился:

— Гм, да, несомненно, это оно: «ergo» typicum*. Декартова болезнь. Так. Письмо при вас?

Пациент вынул вчетверо сложенный листок. Старик надел, не спеша, очки и уставился стеклами в строки.

— Ну да. Приступим.

Тщательно вымыв руки, он подошел к полке, с мерцанием тонкостеклых мензур и пипеток, прозрачных дутышей колб и реторт и длинного ряда граненых флаконов, наполненных синими, рубиновыми и желтоватыми жидкостями, и взял в руки флакон с жидкостью маслянисто-алого отлива. Сверкнул скальпель.

— Боли не будет.

Попросив оперируемого обнажиться по пояс, старик долго слушал сердце, прижавшись шершавым ухом к груди. Хитро улыбнулся:

— Здесь.

Смочил ватку в маслянисто-алое и стал тщательно втирать жидкость в кожу под левым соском: колючий холод полз от влажной ватки, сквозь эпидерму, ребра, мышцы — вглубь.

— Закройте глаза.

Что-то вошло меж ребер внутрь. Казалось, будто сердце взято в зажим: винты зажима сдвигаются — бли-

* Здесь: типичное «поэтому» (лат.).

же и ближе, тесней и тесней, сердцу негде биться. Удар. Еще удар. Стало: на миг. И вот бьется снова, но уже по-иному.

— Ага, вот оно.

Глаза открылись. В полуметре от глаз, скользя и срываясь с внутренних вгибов стеклянного полого опрокинутого на стол полусферического сосуда, ползало обеспокоенное знакомое поэту остробуквое «поэтому»: оно мало изменилось с той ночи, только острые и черные буквы его чуть поалели и разбухли от крови, всосанной из сердца. Не спеша, оператор придвинул к стеклянной полусфере тщательно расправленное и приклепленное четырьмя кнопками к планочке письмо. Чуть приподняв стеклянный свод, он быстро двинул под его края распластанные строки письма. Поэт, тая дыхание, следил за происходящим: «поэтому» не хотело возвращаться в пододвигаемую под него строку. Юрко и злобно шевеля кровавящимися буквами, оно бросалось к стенкам прозрачной полусферы, делая отчаянные попытки выпрыгнуть наружу.

— Уберите сердце, — процедил старик и, когда поэт опасливо отодвинулся от полусферы, взял в руки тонкие щипчики.

Добрые глаза его теперь были злобны, ноздри чуть раздулись. Сунув щипчики под край сосуда, он зажал в них извивающееся и бьющееся всеми семью буквами «поэтому», стараясь прижать его к пробелу в строке — меж знаком «» и «возвращаю». У губ его шевелились какие-то невнятные слова. Заслышав их, «поэтому», дернувшись еще раз, обвисло, покорно легло на синюю линейку почтового листка и, протянувшись вдоль строки семью своими знаками, стало медленно и постепенно спадать: от горельефности к низкому рельефу, от рельефа к плоскостности, пока не сравнялось с поверхностью бумаги. Старик снял стекло. У края стола качала синим пламенем спиртовка. Подал поэту отшлифованное от план-

ки письмо: тот, не дожидаясь слов, приблизил его к огню: что-то пронзительно и жалобно пискнуло внутри бухнувшего кверху пламени. Красные искры с шипом прынули на стол: у края стола лежало, серея стынущим пеплом, сожженное письмо.

Растерянно улыбаясь, поэт застегивал чуть дрожащими пальцами ворот рубахи. В сердце он чувствовал острую лезвийную боль, — но боли этой он бы не отдал и за иное счастье: например, за счастье с Митти.

— Чем я могу отплатить...

— Помилуйте, что за счета — между родственниками.

Сутулая спина мастера распрямилась, маленькие глазки рассиялись в звезды, рука крепко сжимала руку, и поэту, на малую долю мига, вспомнилось что-то родное и милое сердцу — давно-давно, еще до детства.

Когда он, провожаемый мастером, проходил через темную прихожую, в углу, у пола, что-то закопошилось: не успел он поднять над порогом ногу, как что-то быстро надвинулось снизу, от подошвы на башмак, охватив ступню резиновыми тисками. Миг — и вторая нога была тоже в калоше. Поэт раскрыл было рот для протеста, но калоши, дернувшись под его ступнями, властно зашагали его ногами — от порога дома к порогу калитки. Позади стукнуло окно:

— Привет внучке.

И калоши, будто пробуя разорвать поэта на две продольные части, шагали широким шагом вдоль по мосткам, торопясь куда-то за черту города.

Поэту хотелось назад — в свет лампы, к открытой чернильнице и стихам, — калоши же шли в ночь, прочь от городских кровель, уводя неизвестно к кому и зачем. У последнего пригородного домика поэт схватился было руками за колья палисадника: произошла короткая схватка, но ветхие колья выдернулись вместе с гвоздями, и калоши, снова овладев ногами, мчали поэта, обхватив

резиновыми тисками пальцы его ног, по луговой тропе. Тогда поэт вспомнил цитату мастера: *Fata volentem trahunt, volentem ducunt* — и перестал сопротивляться. Калоши тотчас же из узких колодок превратились в мягкие широкие шлепанцы и лишь чуть-чуть подталкивали шаг, деликатно напоминая о маршруте: город — лес.

У края поля догорала заря: алая полоса, темнея и сжимаясь, кровавилась, как быстро рубцующаяся рана.

«Может быть, и небу вскрыли сердце, — подумал поэт, — может быть, и там, среди орбит, нет более „поэтому“».

Он шел к лесу. Опушка. Косматые ветви раздвинулись, почтительно пропуская вперед. Травы у ног низко кланялись — поэт не знал кому: ему или калошам. Звезды низко клонились над лесом: казалось, они горят, повиснув на ветвях и роняя вниз изумрудные свои иглы: стоит ударить ветру — осыплются и синими пожарами испепелится лес.

Поэт шел все дальше и дальше — в чашу. Сучья не смели не то что царапнуть, даже коснуться его.

Кто-то, овитый в белые ткани туманов, ждал меж почтительно стихших трав и цветов. Лишь тихое «тинь-тинь» синих колокольцев да сжужжавшиеся хоры жуков.

— Кто?

Утихли и эти.

«Вы, люди, зовете меня Весна. Зной и жары гонят меня. Но могу ли уйти без тебя, мой званный-желанный. Кольцом, оброненным тобою, милый мой, милый, разве не обручены мы. Словами песен твоих разве не повенчаны. О мой жених, весь ли ты Веснин».

Поэт сделал шаг вперед. Лунные светлы свеяли мглу. Она — с лицом, оброненным небом: в золотых извивах кудрей синие проступы фиалок. Дуплистые дубы и старые сосны наклонили ветхие кроны: хоть бы пред смертью, в последний раз, взглянуть на Весну и поэта. Ветви кустов выгнулись под гроздьями крохотных телец эль-

фов, кобольдов и всякой лесной твари, облепившей им сучья, чтобы удобнее и сблизка наблюдать Празднество.

Поэт склонил колена — и тоненькие благоуханные ноготки чуть коснулись его губ. Калоши воспользовались моментом: быстро сдернувшись с ног, отошли и стали в сторонке.

«Иди за мной», — прозвучало поэту. «Куда?» — «От вещного к вечному».

Поэт поднялся с колен, и торжественный кортеж двинулся: шли Весна и поэт; летели — рои стрекоз, майских жуков и эльфов; прыгали — травяные лягушки и пучеглазые кобольды; ползли, еле поспевая, светляки, улитки и пестрые гусеницы, — одним словом, в с е, кроме калош: калоши грустно стояли, носок к носку, у пня.

Жених, сделав знак шествию, остановился.

— Милые калоши, — сказал он, — ужели вы хотите испортить празднество. Забудем старые счеты: там, у палисадника, был лишь человек, не знающий своей судьбы. Будем сердиться: идем. — Но калоши, переступив с подошвы на подошву, продолжали стоять — носками в пень. — Или вам нужно вернуться к вашему господину? Если так, то отпускаю вас и прошу лишь об одном: в обмен на сожженное слово пусть возьмет он... другое.

И поэт, наклонившись, вложил в одну из калош бумажный листик с тут же написанным словом. Свадебный кортеж двинулся снова: чаща, смыкая ветви, прощально кивала вслед, листья и травы шептали «счастливый путь», калоши же, постояв в раздумье с минуту, тихо повернулись и задумчиво зашагали по темному и умолкшему лесу, направляясь назад — к опушке. У суконного дна одной из них белел бумажный квадратик: любопытствующие головки трав, широко раскрытые глаза ночных цветов наклонялись над ним, пробую прочесть таинственное слово: никому не удалось. И мне тоже.

1922

Фу Ги

За 5327-ю веснами — день, когда в убогой хижине, прикрытой ветвями манго, родился великий Фу Ги. Тысячи и тысячи раз расцветали и отцветали весны, тысячи раз снимали с себя лепестковые платья, и вновь в лепестки одевались деревья, — а история Фу Ги не постарела.

Дети, рождаясь, кричат. Фу Ги родился с закрытым ртом. И был прозван «Тихим».

Дважды в неделю отец Фу Ги, рассадив по ивовым клеткам сверчков и кузнечиков, носил их на рынок, чтобы обменять шуршанье крылышек на звон медных кэшей и кандаринов: тем и жили.

Ребенок рос тихий и точно до жизни еще опечаленный чем-то. Когда отошло первое семилетие жизни — спросил отца: «За что вещи и люди наказаны именами?»

И еще: «Почему у воды нет ни своих домов, ни людей, ни деревьев и она отнимает их у земли?»

Отец поднял брови, собрал морщины на лбу и молчал.

А годом позже Фу Ги спросил снова: «На что вещам тени?»

Тогда отец молча взял сына за руку, и они пошли к старому Ван Чо. Ван Чо жил у края деревни, под кровлей

с двумя красными шарами на палках. Еще в дни юности, это было полвека тому назад, получил он белый с золотым обрезом диплом «цветущего таланта» с печатью Высшей Академии Империи, — и вот с тех пор учил деревенских мальчишек чтению и переписыванию Пяти Священных Книг.

Глянув мальчику в зрачки, дряхлый Ван Чо сказал:

— Левый глаз — голубой. Правый — черный. Левому — Небо. Правому — Земля.

И Фу Ги стал жить под кровлей с двумя красными шарами: точно и у кровли были свои пучащиеся в небо красные глаза. Пять Священных Книг — одна за другою — отдали свои знаки отроку. Отрок взял их у мира пять, а к третьему семилетию жизни возвратил миру шесть: так Фу Ги, покинув Ван Чо, сверстников, школу, начал и кончил великую книгу «И Кинг».

Росла голова Фу Ги, раздвигая кости темени и лба, росла и книга Фу Ги: знак над знаком, черта над чертой. Фу Ги брал тонкую кисточку, обмакивал ее в тушь и осторожно переносил знаки из души на бумажную ленту. Целыми днями любил он бездвижно сидеть над своей книгой, укрытый в шелестах прибрежного тростника, вдали от скрипа арб и шума шагов, над отражениями трав и облаков, плывущих в плывущем Пэй Хо. Тщетно Солнце заглядывало оранжевым глазом в Книгу, через плечо Фу Ги: сначала с востока, затем с зенита. Не разглядев малых знаков, оно припадало красным, с натуги вспучившимся глазом к самой земле и, не прочитав, со стыда опускало веко: наступала ночь.

Так писал Фу Ги о великом Т о. Раз, это было поздною весною, прошелестел камыш: прекрасная юная Джи Су, дочь знатного Ионга, стояла, улыбаясь, среди льстиво кланяющихся камышинок. И еще весна не отошла, как снова прошелестел камыш: прекрасная юная Джи Су, дочь знатного Ионга, стояла опечаленная среди вино-

вато кланяющихся камышинок. Вода разгладила зыби. Ветер умер. Облака стали в небе, как паруса джонок в безветрие. Было так тихо, что Фу Ги услышал и те слова, которые Джи Су не говорила.

И ответил: «Прекрасной Джи Су нужно сердце ФуГи, чтобы стучать им в его груди, как делают дети, смеющиеся стуку камешка внутри костяной колотушки. Но сердце Фу Ги в руке у То. И маленькие пальцы прекрасной Джи Су слишком слабы, чтобы разжать руку То».

Тогда Джи Су заплакала. И камышинки, жалобно прошелестев, сомкнулись вслед за ее шагом.

Покинув родную деревню, Фу Ги пошел в мир. По пути были деревеньки — деревни — городки — города, но мира нигде не было. И Фу Ги шел дальше и дальше: когда Фу Ги делал шаг, слава о Фу Ги делала сто шагов; Фу Ги — шаг, слава — сто. Так шли они до столицы, и слава пришла первой. После этого Фу Ги незачем было входить в золоченые ворота столицы, и он остался в полях, у скрещений пыльных проселков и троп.

Фу Ги не искал учеников: «Исповедую, — говорил он, — То и Тишину. То слишком дальне: можно идти — нельзя дойти. А слово, — разве не прогнано оно из Тишины? Учитесь у себя».

Но ученики шли за ним неотступно — благоговейно-шепчущими толпами, — и Фу Ги, утомленный их искательством, учил у скрещений полевых дорог: «Истина слишком жива. Как познать ее трупам?»

И еще: «К чему говорите слова, если словами не говорите?»

И еще: «О том, что чуждо душе, кричат на рынках и площадях; о безразличном душе говорят размеренным голосом под

кровлями школ; о нужном душе шепчут друг другу тайно, среди ночи, еле смея касаться губами уха; но о том, без чего нельзя быть душе душой, никто и нигде и никогда не прокричит, не скажет, не прошепчет. Только Молчание знает То: не оттого ли Молчание молчит».

И когда пришел час (это было 5257 лет тому назад), Фу Ги взял очерненную тушью кисть и записал две тишины — Земли и Неба — так:

Земля молчит: — —.

Небо молчит: — — —.

И, положив кисть, сказал Тишине Неба: «В о й д и».

И она, одетая в звезды и солнце, смиренно вошла сквозь зрачок Фу Ги в его левый голубой глаз. Тогда сказал Фу Ги Тишине Земли: «И Т ы». И та, укрытая в темные одежды свои, вошла в его правый черный глаз.

Тогда Фу Ги опустил веки и стал недвижим, а ученики его, придя в обычный час, пали ниц с криком: «Горе нам! Великий Фу Ги умер!»

И не оттого ли они кричали «Фу Ги умер», что он стал слишком жив для них! А вот Тишины — и на земле, и в небе — те умерли: это-то правда. Старые люди говорят: лишь только Мудрец сомкнул веки, их, Тишин, не стало: колеса арб стучат теперь, что ни день — громче и громче, голоса флейт и крики людей, что ни час, все резче и докучней.

Старым людям надо верить.

Путешествие тени

Взвалил муравей на плечи соломинку. Тяжело: хоть и шесть ног у муравья, а гнутся. Хоть гнутся, а идут: ать-два-три-четыре-пять-шесть; ать-два-три-четыре...

Навстречу через лужу — ног не замочив — Тень.

— Куда?

— В муравейник. А ты?

— Мне далеко, — отвечает Тень, — от камешка до черепка, с черепка до пня, оттуда в два дня — по темному бору в гору — в город — а там с брезга и день-деньской долгим ползом сквозь Москву по Тверской — шасть мимо кассы — и вдоль по рельсам, под буферами, в самом жестком классе, вокруг всей земли, и...

Но муравью недосуг: ать-два — думает муравей — три-четыре — будь у меня — пять-шесть — шесть раз по шесть ног — ать-два — и то б я не мог — три-четыре-пять-шесть. И полез, соломину волоча, в земляную дыру вниз, — а солнце тем временем, тени коротя, лучи длиняя, вверх и вверх.

И опять — ать-два-три-четыре, — вышел муравей из земляной горы — пять-шесть, — надо новую соломинку несть; постоял у муравленой горы и в путь; тут — видит: от пня до черепка, с черепка до камешка и через лужу — ног не замочив — Тень.

Сказки для вундеркиндов

— Уж и назад? — удивился муравей. — Ты ведь хотела — от камешка до черепка, с черепка до пня — от пня до пней — в невесть сколько дней — оползти вокруг земли, и...

— Раздумалось.

1927

Старик и море

У самых морских выплесков стояла избушка: ветром подперта, облаком прикрыта. В избушке за мутным окном жил-был старик, продававший вопросительные знаки.

Согнувшись над жужжащим станком, разложив вокруг себя щипцы, щипчики, зажимы, наждак, шершавые напильники, от зари до сумерек мастерил старик — один за другим — хитрогнутые вопрошающие знаки: выгнет, наострит знаку кончик, приставит снизу точку, потрет о наждачную бумагу, покроет чернью и швырк в ящик: готов знак. В любую книгу бери. За знаки платили: был спрос. Товар шел — на всякие там запросы — вопросы — проблемы. Так что старик еле поспевал: шуршали напильники, жужжало точильное колесо, — новые и новые глянцевитые черненькие, искусно закорюченные, точкастые, аккуратно пригнанные и заостренные вопрошающие значки, обернувшись сто раз в худых и длинных пальцах старика, с тонким звоном падали в короб.

Старик одним-один. Даже мухи и те не зудят в избушке. И когда отшумит станок, отшелестит наждак, в избушке — тишь. Но однажды в сумерки, когда и море не шумело, еле шевеля омертвевшими зыбинами, сквозь тишину — чуть-чутный, вполслыха, шорох. Наклонил старик ухо к шороху: откуда? Из сердца. Делать нечего: взял

старик острое сверло и ввертел в грудь и в шорох под третье ребро слева; сунул два длинных пальца в дыру и осторожно — осторожно — дерг, и назад: глядь — в пальцах червь. Положил на доску станка, отодвинул напильнички и щипчики.

Червь ничего: поднял беловатую с кроваво-красными мутными глазками головку кверху и ползет по доске назад, к сердцу. Старик: э, нет. Протер очки и осторожно пальцем ползуна.

Так и стали жить-поживать вдвоем: червь и старик. Прорез в груди начал было зарастать, — но как-то старик заметил: червь, вынутый из сердца, выгибаясь беловатыми члениками, ползал взад-вперед, чего-то ища. Так длилось и день, и два. Делать было нечего: разогнув пальцами левой руки края раны, старик взял изголодавшегося гостя и, придерживая за скользкий хвост, сунул головкой в щель раны: изловив присосками пульс, червь радостно задергался в ране.

Так и повелось: чуть подойдут сумерки, старик, подмигнув червю, поманит его желтым крючковатым пальцем: и голодный гость ползет, посвечивая мутными глазками и вытягивая присоски. Так — день ото дня — червь рос и жирел, красные глазки его пучились и кружились, тело наливалось алым мясом. Старик же — что ни день — все хирел и крючился, делаясь схожим с вопрошающими знаками, над которыми сиднем сидел он от зари до сумерек, сгорбившись вдвое. А вскормленник ползал тем временем внутри короба со знаками, осторожно вороша их колючую массу. «Забавник», — шамкал старик, продолжая шуршать напильниками.

Однажды пришел в избу юноша и, бросив на стол кошель, полный червонцев, заказал вопрошающий знак, но такого крутого выгиба, такой прочности, чтобы и целому миру, сказал он, если вдеть мир на знак, не разогнуть вопроса. Поторговались — поладили.

Стал думать мастер, прибирая напильники, щипчики и зажимы, как взяться за работу. И уж как согнулся над вновь зашумевшим станком, так и пошло: заря отгорит, ночь отойдет, забрезжит день, отпылает полдень, снова тухнет заря, — а мастер пилит — шлифует — стачивает — вострит. Долго ждал червь, ползал-ползал, деликатно трогая руку мастера, — ничего не помогало.

Кончив работу, старик разогнул спину, ослабил-ся и стал искать червя: тот лежал поверх знаков, без движения, мертвый.

Когда мудреный знак был отполирован и покрыт чернью, старик решил испытать его крепость. Оторвал он хвост у мертвого червя, вддел хвост на выгиб знака, стянул узлом вокруг подзнаковой точки длинную прозрачно-серебристую нить и открыл дверь навстречу шумящему морю. Море швыряло к порогу звонкие выплески. И, размахнувшись молча длинной дрожащей рукой, бросил старик приманку в волны. Клюнула рыбешка. Тянут-потянут: рыбешка кó дну — старик к берегу. Одолеп старик. Тут бы и кончить ему ловитву. Но старик, оторвав у мертвого червя чрево, вддел на знак; размахнувшись, молча бросил длинной дрожащей рукой приманку в волны. Клюнуло рыбище. Тянут-потянут: рыбище кó дну — старик к берегу. Ни ему, ни не-ему. И разорвалась — с тонким звоном — серебристая нить, а рыбище, утащив знак, ушло в глуби. Тут бы и кончить ловитву. Но упрямый старик, осердясь, с обрывком нити в руках, прыг — вслед за знаком в волны.

К ночи — пришел заказчик. Ветер стучит раскрытой дверью избушки, внутри — пусто. Короб: в коробе — вгибами в выгибы — знаки.

— Где старик?

Но знаки сами умеют только спрашивать.

Итанесиэс

Последнее упоминание о стране Итанесиэс можно встретить в старинном «Азбуковнике», относимом к XIV—XV векам. «Страна Итанесиэс, — отмечает «Азбуковник», — за полунощным морем; заселена большеухими; малотелы, но уши их столь огромны, что могут жить, заворачиваясь в ухо, как в одежную ткань».

Этим «Азбуковник» кончает. А я начинаю.

Слово «Итанесиэс» филологи производят от *И т а л о н е к о с*, что, что с одной стороны, указывает на племена италов, с другой — связывает судьбу этого народа с именем египетского царя Некоса (Νεκός), а то и просто с греческим словом *νέφος*, что значит «туча»: не впутываясь в излишнюю филологию, можно понять и из намеков, что родина итанесийцев — облачно-влажный, близкий Египту юг.

Итанесийцы, как явствует из «Азбуковника», были существами об одном, но (как говорилось уже) столь огромном ухе, что из-за уха человека не увидеть. Передвигались итанесийцы с трудом: их слабые бескостные ножки путались в длинных мочках, хрящ ушной раковины цеплялся бугристыми выступами за придорожные камни и стебли. Да они и не любили движений: обычно днем большеухие ползуны прятались по глухим пеще-

рам, таились в лесной тиши. Но и здесь птичьи щекоты, щебет и свисты, шум падающих еловых шишек, треск коры, даже шорохи древесного роста мучили и оглушали истонченный слух итанесийца. Прижавшись растругом уха к земле, неподвижно распластанный, терпеливо дожидался итанесиец беззвучия ночи. И только когда гасли зори и дни, отшумев, молкли, осторожно отрывался он, сначала краешком, потом наружным завитком, а там и всем ухом от земли и, блаженно запрокинувшись, подставлял звездящемуся небу свою чудесную чуть, вслушиваясь в то, что лишь ему было внятно. И в это время итанесийца, обычно чуткого и пугливого, можно было брать голыми руками: изловленный, он и не сопротивлялся и даже под лезвием, умирая, все еще тянулся вздрагивающим ухом вверх, в звезды.

Юг слишком шумен и криклив для нежного слуха. Как ни прятались итанесийцы в беззвучие, многим пришлось погибнуть от удара о звук: шум дальнего обвала, стук копыта, лязг обода убивали их наповал.

И, снявшись с дальних лесных становий, дивный народец, будто позванный им лишь слышимыми зовами, стал искать безвопльной и бессловной страны, куда не вхожи самые малые звуки шершавой земной коры, где самый воздух — мертв и бездвижен: короче, обетованной ему неведомо кем Страны Итанесиэс.

Трудно исчислить все боли и смерти, ждавшие на пути: итанесийцы продвигались лишь по ночам, среди утишенных шумов, опасно обползая всякий шелест и шорох, грозящий жизни, вдавливаясь при малейшем звуке ухом в мхи.

Долгие годы длилось скитание несчастного народа: убиваемые качанием ветра, стуком подошв, пересекавших путь, устало волоча по земле свои окровавившиеся рваные ушные мочки, итанесийцы шли и шли, вперед и вперед, ведомые им лишь слышимым зовом.

Понемногу шершавые голоса земли делались реже, глуше, разорваннее и отдаленнее; передовые отряды итанесийцев вступали в пустынный, давно обезлюдевший, полунощный край: в полунощном краю лишь тихие лёты снежин, трение туч о воздух да глухое шуршание мшащихся мхов. Только.

И уцелевшие итанесийцы, обессиленные, но счастливые, один за другим запрокидывались на снежный бархат, сладострастно ввивая в завитки поднятых в звезды ушных улиток — дальнюю поступь светил. Первые из достигнувших страны Итанесиэс прибыли сюда вместе с весной, в пору талого льда и блекло-зеленых ростков. За весной — лето. А там вдруг солнце оторвало лучи от земли и бросило страну в полярную ночь и холод. Для итанесийцев настали тяжкие дни: их безволосые махонькие зябкие тельца охватило и стиснуло полярной стужей. Что было делать? Спасаясь от смерти, пришельцы начали заворачиваться в свои уши, пряча обледенелые тельца под гибкий хрящ. И те, у кого хрящ был мягче и дряблее, те, которые до сих пор были презираемы за слабую чуть к гармонии звезд, оказывались лучше приспособленными; другие же, с твердой, звонко резонирующей раковиной, погибали. Стужа ставила дилемму: или, превратив ухо в одежду, перестать слышать, но остаться живым, или, не изменяя древнему дару итанесийской чути, умереть.

Большинство пошло широким путем; но были среди итанесийцев и такие, что не соглашались отдать слышание за жизнь: вскоре их обледенелыми трупиками покрылась ровная снежная гладь полунощной страны. И больше вестей оттуда нет. Лишь легенда о мировой гармонии, покинув мертвую страну Итанесиэс, и сейчас еще бродит среди людей.

Пни

Были: город; вокруг города пригород; за пригородом лес. Город — городом и стоит; пригород расплзся крашеными кровлями вширь; а леса — нет: растаскали лес врозь на полозьях, колесах и гнутых спинах. Попробовал было подняться еще раз дымными стволами над тысячью низких кирпичных труб, да ветром свеяло: и нет леса. Нет.

А где был — поле, пнями поросшее: отовсюду торчками — пни, пни, пни. Вот уже два года отошло, как свеяло лес, а все еще от пня к пню, по старой лесной повадке, мшатся мхи, топырит плоские, в зеленых перчатках, пальцы папоротник. Земля изрыта кротовым ходом, е затянута травой путаные лесные тропки, а на всхолмьи все еще и посреди пней лесная сторожка. На стене краской: «Лесн. уч. 7 ст. № 2».

Сторожка привыкла к крову из листа и игл, а теперь стоит с оголенными стенами. Окно зажмурило диктовым веком, плотно зажата войлоком крытая дверь. И только дымок, качаемый ветром, говорит, что в сторожке не пусто.

Я люблю прогулки по «бывшему» лесу. Люблю захаживать к старому Филатычу, блюдущему теперь пни, как раньше тысячестволое лесное угодьё. Филатыч тут уж тридцать девятый год. Помнит время, когда и города

не было, а была кругом, куда глазом ни кинь, лесная заросль: от опушей до опушей не считаны версты.

Сев у крылечка, бороδοю в грудь, с трубкой, зажатой меж пустых десен, Филатыч любит повспоминать:

— Всего, всего тут было: и звериного рыску, и птичьих щекотов; и травы пахучие, синецвет, горькое зелье, целебное коренье тож. Встанешь с зорями — земля росами Богу плачется, сверху синь-синё, а кругом все так и застволило, будто только и есть на свете — лес да небо. И тишь нерушимая; в жары тень, Богом стланная. Прохлаждайся. И человек зря земли не топтал. Да. Ну да ладно. Пойти разве участок проверить.

Старик, кряхтя, разгибает колени.

— Зачем, Филатыч, и так видно кругом. Да и кому нужны твои пни?

Старик сердито стучит дутьшем трубки о ладонь:

— Видно. Коли тебе видно, так и видь, а мое дело — служба. Приставлен я к лесу или нет?

— Приставлен.

— Ну и...

Старик идет меж пней. И я за ним. Шагает он всегда по тропе, медленно обходя деревянные торчки, как если б вокруг все еще был старый, привычный мачтовый бор.

Меж мхов одиночится сломанная юная березка. Кто-то (и не нужна, видно, она ему была) порвал березке пилой кору, пригнул листьями к земле, так что клочьями из-под коры заголилось нежное тело, и бросил так — недорубком.

— И к дитенку у них жали нет. Насильники.

Старик сердито водит бровями, сгибаясь сухим, будто тоже надрубленным телом над обезлиствевшей березкой.

Идем дальше.

Старый дуб снят пилой у самой земли: выщерился трухлявым дуплистым пнем в небо. Но у корня вялая поросль в три слипшихся блеклых листика.

— Ишь, старый, балуется, — шепчет Филатыч любовно, и улыбка разводит беззубые десны.

А я смотрю по горизонталям:

— Гляньте, Филатыч, у пригорода обоз. Возов двадцать. С чем бы это?

Но старик снова хмурится и упрямо смотрит вниз — в мхи и тропы: он в лесу; никакого ни пригорода, ни города, сквозь чащу ведь не разглядишь. Да, может быть, и не строен, не тесан еще город, а вокруг, как и встарь, лесная дремучая заросль: от опушей до опушей не считаны версты.

И, потоптавшись на согнутых коленях меж пней и щеп, старик поворачивает назад — к дымку:

— Седьмой участок, против него, скажу тебе, не сыскать. Тут наезжали, годов тридцать тому, лесничий с лесоводами — «дерево считать». Считали, считали, нет, говорят, на счетах костей нехватка, за костями бы в город съездить. А город где? Да-а, большая сила у леса этого, так и стволится, так тебе и прет комлем в синь-небо. И уехали: не сосчитали.

Вечерет. Сумерками и мглами застлало даль. Без дали старику легче, удобнее. Теперь он и приветливее и веселее:

— Отночевал бы ты, сударь, в сторожке. Ночью неспокойно у нас в лесу-то. Заплутаешься еще: дороги трудные.

Я уыбаюсь, но говорю:

— Ладно, останусь. А то и впрямь заблужусь.

За войлоком двери — печь, стол на скрещенных ножках да полавочье. В углу — святой Никола, на стене — серое с зеленым: план лесного участка.

Старик молчит. Молчу и я. Ветер, нарастая к ночи, рвет окну дикт.

— Слыхали, Филатыч, переворот в городе?

Филатыч начинает демонстративно разматывать онучи.

— Ложился бы, сударь: экое завел. Знаю я переворотчиков этих. Лесу от них обида. И вообще.

Открестившись, старик громоздится на лавку. Ложусь и я. Но сон мой прерывист. Вдруг просыпаюсь. О стены с разлета бьет ветер. Что-то гудит густым гудом, будто листья в ветру: стучит, шершаво трется о стены. Подымаюсь с лавки. На столе пльвкий огарок. Не спит и старик: он сидит, бородой в грудь, и слушает:

— Ишь разветрилось. Дереву, дереву-то вреда сколько. Одного сучья, почитай, не собрать. И рваного листу насыплет. Ишь, так и гнет.

Я зажмурил глаза: мне было чуть жутко. А вдруг...

И когда, с первым светом (старик еще спал глазами в стенку), я, втолкнув ноги в сапоги, взялся за ручку двери, «а вдруг», как и давеча, уцепилось за пальцы. Но я рванул дверь: пни, пни, пни; над ними — куда ни глянь — вольный разбег горизонталей; а вдалеке, кровлями в зарю — город. Я взял прямиком и, улыбаясь, слушал, как в ногу со мной мысль: пни — пни — пни.

«Некто»

Еще в пригостишкины дни моей жизни, возясь с переплетенным в красный коленкор задачник по арифметике, я старался представить себе образ человека, глухо там названного: «Некто». Сотни пронумерованных задач превращались для меня в главы странной повести о жизни и приключениях таинственного «Некто»: «Некто» нанял работников; помножил монеты на аршины, поделил все это на фунты; «Некто» приобрел имение; он же вдруг взял и разделил его меж тремя сыновьями, складывая и вычитая почему-то для этого цифры их лет; «Некто» получил прибыль, и он же раздал нищим восемь монет; построил странный бассейн в две трубы: через одну вода стекает, вытекает через другую... Кто он?

Тянутся долгие зимние вечера. Лампа прикручена. И в вихрастой голове, сонно качающейся над синими клеточками тетради, под слипающимися веками в рамке из черных цифр возникает будто давно-давно знакомый облик: пожилой господин — глаза спрятаны за синими стеклами очков — щетинится седеющая острая борода.

Из первого во второй предстояла «передержка». До экзамена пять дней. Отыскав в одном из городских парков пустую скамью против журчащего фонтана, я стал

отгадывать — и так и этак — искомую цифру работников, нанятых «Некто» для рытья колодца глубиной в две сажени. «Если один раб. вырывает в 1 час 1 ар. земли и если они работали 3 часа, то...» работников было $2\frac{2}{3}$ человека.

Я глубоко задумался, стараясь представить себе наглядно $\frac{2}{3}$ работника. Тетрадь недоуменно глядела на меня своими серыми цифрами сквозь синие клеточки.

Вдруг чья-то тень легла на страницу. Шагов я не слышал.

— Ну что? Не выхожу? — спросил чуть насмешливо чей-то тихий, но четкий голос. Я поднял глаза.

— Вы?

— Я.

Рядом со мною на скамье сидел, заглядывая в синие клетки тетради сквозь синие стекла очков, пожилой господин с острой щетинистой бородкой, одетый в просторную, поношенную серую пару. Помедлив секунду, незнакомец, вежливо улыбаясь, протянул сухую, с короткими пальцами руку к цифрам.

— Ну, вот, — сказал он, овладевая моим карандашом. И серые цифры покорно и юрко забегали под его нажимом. — Готово.

Задача лежала решенной на моих коленях.

— Надо вам знать, молодой человек, — продолжал мерным голосом господин в серой паре, поправив очки, — что раз я нанимаю рабочих...

Слова стучали мерно и спокойно.

— Ну что, поняли?

Я молчал.

В это время к нашей скамье подошла нищенка с двумя оборвышами: один, еще грудной, слипся губами с ее грязной, выставившейся из тряпья грудью; другой — мальчонка лет четырех-пяти, — уцепившись за юбку, волочил кривые ножки по земле.

— Подайте, Христа ради, что милость...

«Некто» перевел очки с пригостишки на нищенку; хитро улыбнулся; сунул три пальца правой руки в жилетный карман и, распрямив ладонь, разложил на ней пять новеньких медяшек.

— У меня, — начал он все так же тихо и четко, — три монеты копеечного достоинства и два двухкопеечника. Спрашивается, — «Некто» повысил голос и поднял голову, как если б обращался не к нищенке, а к цветущим клумбам и разбегающимся по радиусам дорожкам, — спрашивается: сколько я вам дам копеек, если число их равно количеству единиц в цифре, которая получится от умножения числа ваших детей, сударыня, на количество монет низшего достоинства и в результате деления полученного произведения на цифру монет высшего достоинства?

Водворилось молчание. Женщина стояла, низко опустив голову. Малыш пялил глаза на неподвижно раскрытую ладонь с сверкающими медяками. «Некто», снисходительно улыбаясь, поторопил:

— Ну.

И, опустив еще ниже голову, женщина молча пошла прочь.

Господин в сером, выждав паузу, ссыпал медяшки назад, в карман; улыбка поползала-поползала по лицу и юркнула куда-то внутрь, точно под кожу. Опять молчание; не молчит лишь фонтан.

— Вы думаете, — вздохнул «Некто», скосив на меня глаза, — вы думаете, мне жаль медяшек? Нет-с. Вы полагаете, вероятно, что мне очень прибыльно связываться с этими вот дармоедами-рабочими из задачи № 1136? А почему вы знаете, молодой человек, может быть, и до воды-то они не дорыли, а деньги плочены. Да, может быть, мне и не такая я м а нужна, — «Некто» как-то болезненно улыбнулся, — а я вот рою — рою — рою. Пусть

берут, мне цифр не жалко, но нужен порядок. Счет нужен. И чтобы «по ответу». А так, «Христа ради», не могу же я, поймите вы...

«Некто» повернулся ко мне лицом и вдруг круто оборвал речь: вероятно, вспомнил, что собеседник его слишком мал и глуп.

— Вот вы мне решите-ка лучше задачку, — заговорил он, меняя тон и мотнув острием бородки в сторону безмятежно урчащего фонтана. — Если, скажем, стенки этого вот водоема да поднять до уровня струи. Если внутрь поместить человека, а трубу, выводящую воду, заколотить, понимаете ли, а глужо заколотить, то, спрашивается, через сколько времени человек утонет? А?

Я беспомощно перебирал синие клетки тетради.

— Боюсь, срежетесь на переэкзаменовке, — строго добавил «Некто». — Вам сколько? Двенадцать? Порядком. По два года на восемь классов — $2 \times 8 = 16$, а $12 + 16$ равно 28. Эге, дела ваши плохи. Ну-ну, бросьте моргать глазами, я пошутил. Пока.

Качнув снисходительно головой, «Некто» медленно поднялся, — и его серая фигура замаячила меж цветущих деревьев парка.

На переэкзаменовке я срезался.

Отошло лет десять. Ночь. Сунув руки в карманы студенческой тужурки, я шел пустынными улицами, вслушиваясь в свои шаги и в свои мысли.

Вдруг у самого уха:

— А-а, сколько лет, сколько зим...

Голос знакомо тихий и знакомо четкий. Я обернулся: в блике фонаря — очки, острая бородка, насмешливый профиль.

— Виноват.

— Забыли?

— Нет, — отвечал я, стараясь быть развязнее, — правда, года четыре как не заглядывал к вам, под красный коленкор, но... помню. Вам что угодно?

— Да-да, — рассеянно, как бы не слыша моих слов, ронял «Некто», — другие задачи... запросы... проблемы... Я понимаю, конечно.

Идя вслед за мной, спутник вышел из полосы света, и лица его уже нельзя было рассмотреть. Мы шагали в молчании.

— Ну, что же вы теперь подельваете? — спросил я резко, стараясь заглушить неприятное чувство.

— Я? По-старому, все по-старому. Делю капиталы, рою колодцы — помните? — бассейны, там, странствую из города А в город Б, из Б в А помаленьку... Ну а вы, конечно, молодой человек, любите, там... первую «единственную», вторую «единственную», третью «единственную»... Которая сейчас? Религиозные увлечения... как это у Мольера? «Верю, что $2 \times 2 = 4$, а $2 \times 4 = 8$ ». Тэк-с.

От тихого и четкого голоса спутника мне стало не по себе. Ускоряя шаги, я бросил через плечо:

— Если бы даже и так, тут нет ничего смешного: сердце, господин «Некто», не счетная костяшка, вдетая на стержень. Хочу — люблю, хочу — нет. Ударам сердца счета не веду. И вообще, я не понимаю, зачем вы вторично...

— Тысяча извинений, — проговорил спутник, все не отставая. Голоса наши гулко бились о каменные стены ночной улицы. — Тысяча извинений. Я очень и очень считаюсь с вашим мнением и всегда ценил... Десять лет, два месяца и четырнадцать дней тому назад я имел удовольствие уже беседовать с вами и был чрезвычайно заинтересован уже тогда а м а т е м а т и ч н о с т ь ю, если разрешите так сказать, вашего высококобонитного мышления. Юность никогда не учитывает ни лет, ни опыта, ни правил, ни трезвого расчета. И я был молод...

— Вы?

Мы обменялись взглядами.

— Не верите? Был. Но сложилось так: видите, если у звезд — орбиты, с которых им — ни-ни, если счетная костяшка, которую вы чрезвычайно остроумно изволили приравнять сердцу, и та вдега на железо стержня, то и... Вы молчите, вы думаете, мне легко: тысячелетие к тысячелетию, век к веку, год к году, — и в каждом, вы только подумайте, 525 600 минут, нет — 31 536 000 секунд, и все они одинаковы, понимаете, одинаковы и пусты. Один — меж миллиардов пустот. Числа — числа — числа: и каждое притворилось дюймо́м, метром, вехой, верстой, пространством, беспредельностью; работником, сыном, братом, человеком; глуби́ю, высью и шири́ю. Один, всегда один среди мириады пустот!

— Кто вы? — спросил я, внезапно остановленный самым смыслом прозвучавших слов.

Опять луч фонаря пополз, ощупывая желтым бликом серое, спрятавшее свои глаза за стекла очков лицо. Он долго не отвечал.

— Меня нельзя называть «Кто», — сказал он наконец глухо, прислоняясь спиной к горизонтальному стержню, выступившему впереди какой-то темной витрины, внезапно заблеставшей в свете фонаря. — Меня нельзя называть «Кто», я — «Некто». Одною лишь буквою отделен я от... — И, обхватив цепкими кистями рук медный, цвета желчи, предвитринный стержень, точно пробуя нанизаться на него, он закончил: — Есть одна задача... самая трудная из всех. Я решил: в ответе — 0. Ну, идите, юноша, идите куда шли: мне сюда, — оборвал «Некто», поворачивая голову к витрине.

Я глянул по направлению его движения: только теперь я разобрал — это было узкое окно какого-то мелкого книжного магазинчика: среди брошюр, печатного старья, дешевых книг и журналов блеснуло золотом в глаза из красного: «Задачник по арифметике».

— Мне сюда, — шепнул еще раз спутник.

Минуту я колебался.

— Прощайте, — и я быстро пошел прочь.

— До свидания, — поправил четкий, но тихий-тихий голос мне вслед.

Я обернулся: ни у витрины, ни вдоль каменного, с заколоченными дверями коридора улицы никого не было.

Отошли 31 536 000 и еще 31 536 000 секунд. Запылали зарева войн. Я не встречал в их свете «Некто», но часто чуялась близость и возможность встречи — ведь сказал же он: «До свидания».

Приходили в окопы люди, и кто-то говорил им четко, но тихо: «По порядку номеров расч...айсь» — «На первый-второй расч...айсь». Кто-то тихо писал четким почерком: «1000 — 2000 — 100 000 штыков»; было удобно считать эти торчмя торчащие в воздухе ряды стальных заостренных единиц: там, под штыками, что-то копошилось, крестилось и охало, — но штыки одинаково чернели одинаковыми остриями. Кстати, на них так удобно, как на стержни счетов, нанизывать — костяшками — хрустящие тела. И кто-то с утра до вечера (как ясно чувствовалось тогда, что в каждом дне 86 400 секунд, страшно длинных, и что каждая замахнулась на твою жизнь нулем), какой-то некто, таящийся позади, подсчитывал людей: выстрел — выстрел — выстрел. Сбивался. Встряхивал счета: залп. И снова принимался за подсчет: выстрел — выстрел — выстрел. И колонка цифр, одетых в серое, карандашного цвета сукно, сощелкивались прочь с земли; и убитая цифра покорно ложилась под ворсящееся травинками зеленое сукно полей.

Однажды мне показалось, я видел «Некто». Под вечер пригнали пополнение: здоровые добродушные мужики. Шепчут — вздыхают: «Владычица пречистая!»

Звон манерок, щелканье затворов. Загудел автомобиль: «Стройся, по порядку номеров...»

— Который полк? — раздалось из темноты — тихо, но четко.

— 178-й стрелковый.

— Сколько штыков?

— 2060.

— Ага. Командира полка. — У автомобиля заговорили вполголоса. Доносилось: «В 4.30 наступать. Участок от высоты 171 до высоты 93. Не щадя...»

— Но, Вашдиство...

— Ступайте! — И автомобиль, удаляясь, тихо, но четко прошуршал колесами о песок.

И еще миллионы секунд. Революция.

Где «Некто»? Наверное, под переплетом задачника; в подполье; ночует то в № 1001, то в № 666; боится: найдут, обыщут, отнимут все цифры.

И вдруг... Правда, то была лишь полувстреча.

Однажды я, вместе с другими, стоял у дверной щелки на приеме у человека, от серого карандашного рошчерка которого зависело решить мою судьбу, как простенькую приготовишкину задачу № ... Мне не удалось добиться аудиенции, но в узкую щель двери мелькнули и для меня — на мгновенье — синие стекла очков, серая потертая пара и остро ошетинившаяся борода. За доской двери мерный и четкий голос чеканил: «Вы вычеркнуты из списка, товарищ; ничего не могу... Следующий». Щель закрылась.

И все же рано ли, поздно ли, а будет встреча. Последняя. Я помню его «до свидания». И пусть. И тогда: или я — или он.

Мухослон

1

Над мухой протерлась длань и прозвучало: «Да будет слон». Не успела секундная стрелка дернуться раз-другой по циферблату, как и... свершилось: мушиные пяточки уперлись в землю слоновыми ступнями, а завитый внутрь коротенький, черный, нитевидный хоботок раскрутился огромным серым хоботом. И все же в чуде этом была какая-то несконченность, дилетантизм, какое-то досадное «не то»: очки психолога, сунь он их под толстую кожу новоослоненного существа, сразу бы заметили, что малая мушья душа никакого «да будет» не расслышала, что чудо, коснувшись кожи, до мушьеи души не дошло.

В итоге: слон с душой мухи — Мухослон.

2

Насекомые вообще привычны к так называемым «превращениям». Но в данном случае, оглядевшись в своем новом стопудовом теле, муха испытала некую жуть и растерянность. Так, вероятно, чувствовал себя тот сказкой придуманный бедняк, что, уснув в своей тесной камерке, проснулся — по воле феи — в просторных по-

коях богатого, но пустынного дворца. Побродив по новому телу, устав до смерти, напоследок заблудившись, терзаемая сонмом вопросов душа мухи порешила так:

— Оханьем поля не перейти. Что ж — живут и слоны. Получше нашего мушиного брата. Ну и я... Чем я не слон, черт возьми...

Началось.

3

Оглядев своими добрыми слоновыми глазами окрестность, насекомое примечает: стоит ветхая избушка-поскрипушка в одно приметно поблескивающее окно.

— Ползну-ка разок по стеклу.

Ползнула. Крак: окно вдребезги, избушка в щепы.

Мухослон только ушами шевельнул: что за притча.

О ту пору была весна. Хорошая фея ходила, каблучками травы к земле не пригибая, и нежными пальцами знай себе расправляла лепестки у бутонов: оттого и расцветали цветы. Клейкие листья берез зеленели что было сил.

«Какая приятная березка», — подумал сентиментальный Мухослон и весело взмахнул лапами: тоненькое деревцо качнулось, застонало и, пошептав о чем-то медленно бледнеющими листьями, скончалось.

Став на четыре круто врывшихся в песок лапы, Мухослон стал думать тяжкую думу; слезы, в каждой из которых он мог бы утонуть, не стрясись над ним нескладное чудо, заскользили по опущенному к земле хоботу.

«Не то — не то — не то», — стучало перепуганное сердце. И, отвечая сердцу, в весенней воздушной сини затрепетали опутанные золотыми солнечными нитями крохотные перепончатые крылышки той, которую Мухослон, еще до постигшего его чуда, страстно и нежно любил.

И сразу весна стала веснее: и сразу солнце засияло в два солнца, а хобот, просохнув от слез, потянулся к крылышкам подруги. Не только хобот, весь Мухослон, ища прежних ласк, душою и телом прильнул к возлюбленной. Миг счастья... и, содрогаясь, с круглыми от ужаса глазами, жалкий и страшный, стоял Мухослон над маленькой черной кляксой, всматриваясь в пару влипших в кляксу крылышек. Крылышки дернулись — раз, другой — и стали неподвижны. Чей-то страшный рев загрохотал в ушах ослоненного существа. Душа существа заметалась по гигантскому телу, точно пробуя прорвать толстую серую кожу.

— Довольно. Назад, к себе, в старую, темную мушиную щель.

4

Что дальше? Дальше неинтересно. Обыскав всю землю, перетрусив планету, пылинка за пылинкой, Мухослон отыскал, наконец, свою полузанесенную песком привычную узкую и извилистую щель: ветхий мушиный домик.

Полез внутрь: не тут-то было. Зовет щель, зовет извилистым тонким голоском, а в себя не пускает.

Так и стоит по сию пору трагический Мухослон над своей старой уютной щелью. И нет ему пути: ни в прямь просторов, ни в извивы щели.

«Страница истории»

Приват-доцент Генрих Иванович Нольде прикрыл за собою дверь и нащупал ногой ступеньки: одна-две-три. Позади за дверью глухо копошились слова. Знакомый голос точно стучал ими изнутри о плотно примкнутую створу — «Страница истории переворачивается, господа... мы присутствуем при событии... мы впишем новую страницу... страница...» Приват-доцент Нольде поморщился: дома на столе его ожидали самые обыкновенные бумажные в четвертушку листа страницы его работы о сервитутном праве. О них-то и хотелось говорить Нольде, а между тем за дверью... Приват-доцент сделал еще четыре шага и ступил на улицу. Шум голосов позади оборвался. Перед ним молчала, одетая в сине-белые лунные пятна, ночная улица.

В конце марта 1917 года ночи были (помните?) ветровые. И Нольде шел, осторожно ступая по лунно-белой плоскости земли и слушая шумы весеннего ветра. Нагие еще деревья, перегнувшись через забор, стряхнули с ветвей вниз на землю свои сине-черные тени: тени шевелились на белой плоскости у ног, точно самописные чернильные знаки на колоссальном бумажном листе. Секунда затишья. И вдруг зашумело: вначале где-то далеко, потом ближе и ближе, внятнее и громче: белая плоскость у ног («Как странно», — подумал Нольде) будто качнулась, дрогнула, и все, — и самая плоскость, при-

жатая к подошвам ног, и черно-синие знаки на ней, и лунный диск там, вверху, и деревья, и стены и сам Нольде, недоуменно остановившийся и выронивший трость, и дома, столпившиеся вокруг, — все, как-то странно качнувшись, стало, медленно-медленно дыбясь, запрокидываться неизвестно куда, выгибая свою белую поверхность. Нольде закрыл глаза. Знакомое уху долго жившего среди книг человека острое потрескивание и шелест переворачиваемой страницы, усиленное, точно микрофоном каким-то, в мириады раз, звучало все ближе и ближе, со страшной быстротой придвигаясь к нему: шелест превращался в шум, шум в гул, гул в грохот урагана. Вот — загудело под ногами. Боясь разжать стиснутые веки, Нольде лишь слышал все, но слышал ясно: вот — дома, поднятые, навзничь падают на свои крыши; вытряхнутые из постелей и снов люди кричат, расплюсчиваемые спавшимися каменными стенами; коротким медным воплем ударили и стихли колокола, погребаемые под кирпичными горами рухнувших колоколен. Вот леса хрустят, как растоптанные гигантом кучи валежника; озера — плеснулись вон из берегов; горы, прогудев обвалами, пали на свои вершины. Грохоты и гуды. Безумей, человек прильнул к стене, цепляясь за ее выступы: но стена качнулась, загрохотала и рухнула на него всеми своими камнями: сознания не стало.

Сначала это было смутное ощущение холода. Затем давление неизмеримой толщи, навалившейся сверху. Ни шороха, ни звука. Может быть, секунды, может быть, столетия, то, что было когда-то, кажется, «Нольде», отдавалось странному чувству безбытийности: было — нет. И только. Диковин был лишь самый факт сознания: казался чем-то лишним и ненужным. Затлевала — тухла, опять затлевала мысль: как я, мысль, есмь. Затем смутно обозначилось и медленно крепло ощущение своего тела: тело лежало где-то там, далеко внизу, сплющенное толщей.

Сначала возможность движения казалась фантазмом. После забрезжило: а если. Решимость росла, оплотнела; внезапно там, где толща и тело соприкасались, начало происходить нечто чудесное, будто обмен тяжестями: толща делалась легче и легче — тело тяжелее и плотнее. Вдруг толща дрогнула и поползла куда-то вбок, возвращая расплющенное в плоскость тело в прежнее трехмерье. Возник бледный блик. Где возник? У глаза. Чьего глаза? Какого-то Нольде, да, Генриха Нольде... да, да, приват-доцента Генриха Ивановича Нольде. Пытались старые опрокинутые вертикали распрямиться и стать на свои места. Приват-доцент Нольде тоже попробовал подняться на локте: вокруг молчали, сросшись стенами, дома. Нольде повел рукой — ткнулась в дерево: это был сбитый из досок ставень, прикрывший ему голову и грудь. Откуда это. Нольде стряхнул с себя ставень и осмотрелся: рядом с заколоченными окнами блестело обнажившееся окно какой-то витрины, очевидно, и уронившей на него, Нольде, ставень, оторванный ветром.

Нольде поднялся на чуть дрожащих ногах, отыскал на земле трость и потрогал ею безобидный, из деревянных шелевок сбитый ставень.

— Изумительная иллюзия, — пробормотал он. Теперь все было ясно, кроме... Нольде еще раз огляделся вокруг: было тихо. Лишь издалека близились чьи-то мерные шаги. Так же белела гигантской лунно-белой страницей, с кляксами и странными знаками пляшущих черных теней на своей широко развернутой плоскости, земля.

— Редкий пример иллюзии, — сказал уже смелее приват-доцент, — я где-то читал, кажется у Лацаруса, о подобного рода феноменах. Если не ошибаюсь, в его «Исследованиях о...». — И Нольде зашагал по белой странице, тщательно прижимая подошвы к ее неподвижной поверхности.

Теперь ему все было ясно, кроме...

Проданные слезы

I

— Сиди смирно, Нета. Ногами — не болтать. Локти со стола. Опять плакать? Ох уж эти мне слезы! Давай тарелку.

Нета сняла локти со стола, поджала ноги; под опущенными веками закопошилось что-то теплое и ключее, повисло на ресницах, покачалось на них, цепляясь за волоски, — и, не удержавшись, — дззз! о край тарелки.

— Экая плакса, прости Господи! — Мать Неты протянула руку к Нетиной тарелке: тарелка скользнула по скатерти — синим краем о суповую чашку. Разливная ложка, полная жирно-желтого кипятку, дымилась над тарелкой, — и вдруг... Мать отдернула ложку: посреди тарелки, вкатившись в серую трещину ее, лежал, тихо шевеля белыми остриями луча, алмаз.

Ложка дрогнула в руке — и жирное, шевелящее мокрыми щупальцами пятно поползло по скатерти.

Дрогнул и голос:

— Что ж это, Нета?.. Ну, отвечай.

Нета сидела ни жива ни мертва: что-то снова царапнуло о край века, снова уцепилось за выгибы ресниц, покачалось на них и — сорвавшись — стук о край стола; со стола на пол; прошуршало по половице — и в щель.

Мать Неты потянулась было неуверенной рукой к трещине на тарелке, но остановилась, тяжело дыша и беспомощно оглядываясь по сторонам. Конечно, Катерина Родионовна видывала алмазы, но там, за стеклами ювелирных магазинов, с алых и синих атласных и бархатных подушечек, не ближе. И теперь прозрачный кристалл в сером выщербе тарелки, привыкший к атласам и бархатам, брезгливо шевелил лучами и искрами, как бы отстраняясь от грубой, стертой стиркой и кухонной работой кожи.

— Неточка... откуда же это, прости Господи!

Но в дверях стоял Аким Акимыч.

Аким Акимыч поверил не сразу: «Не может такого быть!» Жена божилась, стучала костлявым кулаком в груди: «Вот ей-же-ей... своими глазами...»

— А может, это так только... — И Аким Акимыч нагнулся к мерцавшему со дна тарелки камешку.

— Осторожно! Что ты так прямо!.. — Женщине казалось — от прикосновения пальцев это исчезнет.

Но слеза, отвердевшая алмазом, далась взять себя в пальцы и мерцала, втянув острые лучи, меж двумя грязными ногтями Аким Акимыча. Супруги долго разглядывали находку: «Кажись, алмаз, что за притча...» И вдруг Аким Акимыч засуетился, тыкая кулаком — с зажатым в нем камнем — в рукав пальто: «Я сейчас», — и исчез за хлопнувшей дверью.

Прошло минут пять в молчании.

— А когда же мы будем есть суп? — спросила Нета. Тарелки все еще были пусты, и раскрытая суповая чашка перестала даже дышать паром.

— Погоди.

Аким Акимыч не вошел — вбежал в комнату:

— Вот так-так! Сто двадцать, без торгу... У Хаскельмана. Нет, что ты скажешь!

— Дай деньги — спрячу.

— Сейчас. Вот сто, двадцать мне.

— Зачем это тебе?

— Надо.

— Для какого такого «надо»? Пьянствовать, а?

— Катя...

— А когда же мы будем есть суп? — повторила из своего угла Нета. Вспомнили и про нее.

— А ну-ка, поди сюда, Неточка, — поманил Аким Акимыч. — Вот так, так. А ну, покажи отцу глазки. Шире. Еще шире. Ну-ну, детонька, чего ты, покажи как следует...

— Не хочу.

— Покажи, миленькая.

— Не хо...

— Э, нет! Раз тебе отец говорит: покажи...

Но вдруг Аким Акимыч ахнул и выпустил зажатые меж ладоней узкие плечики дочери: два крупных, ярко сверкнувших алмаза скользнули по щекам Неточки: один упал прямо на ладонь, подставленную им; другой, ударившись о пуговицы пиджака, прощуршал по жилету и юркнул в жилетный карман.

— Эге, да это... глянь-ка! — протянул Аким Акимыч прямо в каком-то экстазе.

— Отдай! Слышишь! — крикнула жена. Лицо ее пошло багровыми пятнами. Синяя жилка плясала на виске. Аким Акимыч не протестовал: пальцы левой руки, просунувшись в карман жилета, ясно прощупывали скользкую грань второго, утаившегося камня.

Обедали поздно, в сумерки. Суп был стылый; зато после супа из-под поднятой тарелки высунули желтые носики слоеные пирожки; к кухонному ножу лип паштет, — вообще, старый круглый стол с протертой скатертью никогда и видом не видал таких яств. Отбили сургуч с красногорлой бутылки, дали полрюмочки и Неточке.

Аким Акимыч быстро размяк, сник и был уложен в кровать.

— Ишь, насосался. Ну, пора и тебе, Неточка, слезы-ня моя махонька. Простись с матерью.

Неточка подошла, стала на цыпочки и губами к губам. Мать как-то робко погладила ее по голове: еще утром такая понятная Неточка стала теперь чуть странной и будто чужой. Мать покачала головой; вздохнула.

— Ну, иди.

Поздно ночью Катерина Родионовна спустила ноги с кровати: разбудила какая-то мысль. В ночной рубашке, с мигающей свечкою в руке, прошла она, осторожно ступая по скрипучим половицам, в столовую. Поставила свечку внизу, у ножки стола, и, опустившись на колени, заползала по полу, ища чего-то в извилинах щелей.

II

В коротконогом комоде Катерины Родионовны, за защелком ключа, лежали, обернутые в газетную бумажку, одиннадцать алмазных слезинок. В доме все принарядились. У Аким Акимыча — новое пальто с барашковым воротником; за обедом — вместо выщербленных глиняных тарелок с синим краем — новые, с золотыми обводами и нежным узором по донцам фарфоровые тарелки. На стене цокают круглые желтые часы. У окна свистит пестроперая канарейка. Появилась и прислуга — девка Мавра.

С Неточкой и отец, и мать стали ласковы. Почти почтительны: «Ишь она у нас какая! Ай да Нета!» Купили кукол, книжек с картинками, ящик с музыкой. Нета, любившая раньше и покапризничать, играла теперь со своими стеклоглазыми Фимками — Машками — Лельками, обшивая их, водя на прогулки вдоль коричневых половиц пола, ползала пальцем по большим черным буквам

книг, смеялась их пестрым картинкам, пела под тихое теньканье музыкальной коробки — и совсем и забыла, как надо плакать.

Родители погрузнели, завздыхали. Как быть? Однажды вечером, когда Нета спала, Аким Акимыч, не говоря ни слова жене, прокрался к Нетиному ящику с игрушками: послышался слабый хруст и треск ломаемого дерева. Катерина Родионовна вытянула шею. Спицы, ходившие в руках, остановились, точно увязнув крючками в нитях. Аким Акимыч вернулся назад на цыпочках и, хитро улыбаясь, сел на прежнее место. Спицы снова задергались в руках.

Утром Нета, увидав оторванные головы и искромсанные тела Фимок и Машек, больше удивилась, чем опечалилась, и тщетно Катерина Родионовна и Аким Акимыч заглядывали в грустные глаза дочери: глаза были сухи.

Вернувшись к обеду, Аким Акимыч спросил:

— Ну что, были?

— Нет.

— Так-таки ни слезы?

— Говорю, нет.

— Ишь, бесчувственница!..

Лицо у Аким Акимыча как-то странно дернулось и набухло: «Придется высечь».

III

Сверстников к Неточке не допускали: еще подглядят, донесут, раскрадут слезы. А слезные алмазинки опять завелись под ресницами у Неточки. Обнаружилось это так: как-то, меняя наволочку на Нетиной подушке, Катерина Родионовна услышала знакомое, стеклистое дззз! Плянула на пол — а там уж катится, искры рассыпая, прозрачный камешек. Встряхнула простыню — еще и еще.

— Вот они где, — радостно всплеснула руками Катерина Родионовна. Просветлел и Аким Акимыч.

Обалмаженные слезы хранились теперь — по его настоянию — не в бумажке, а в особом «Слезнике», как называл Аким Акимыч плоский деревянный ящик, разгороженный тонкими планочками на маленькие квадратные, аккуратно перенумерованные, высланные ватой клеточки.

В особом журнале отмечался «слезосбор».

— Вот теперь, — вздохнет иной раз Аким Акимыч, сидя в длинные зимние вечера над то поднимающимися, то падающими листами «слезосбора», — теперь слеза от слезы далековенько отошла. Вот тут, второго января, — две; третьего — одна; четвертого — ни слезки; пятого одна, да и то так, пустяковина в полкарата... А вот, — и, ослунив палец, Аким Акимыч начинал перелистывать «журнал» слева направо, — вёсны у нас, слава те, Господи, слезны. Ничего... И подумать — как это в мире все мудро устроено...

Так размышлял Аким Акимыч над чернильными цифрами и закорючками. Из стены скрипел сверчок. За окном голосила метель, швыряя снежными комьями в стекла.

Однажды, при пересчете алмазинок, обнаружили пропажу двух. «Кто бы? Конечно, Мавра», — решили супруги.

Неточка, лежа в кровати, слышала, как до поздней ночи кричали, топали за закрытой дверью кухни. Наутро Мавру прогнали.

IV

Пять раз оборвали стенному календарю, что на стене, его листики, до последнего, — и опять набухал он плотной бумажной стопкой. Пять раз оборвали осенние

ветры тонкому топольку, что за окном, его зубчатые листы, до последнего, — и опять тополек пробовал прозеленеть. Сняли бумажные наклейки с пропылившихся рам; трут стекла; распахнули их настежь; и душе тоже жаждется настежь — в весну. Там, за оконной рамой, проснувшийся тополек прошуршит невнятное слово. Какое? Там, по мокрому кирпичу тротуара, близятся чьи-то четкие шаги. Чьи? И зацветают ранним цветом очи девушки: алмазинками. Родители знают: ходят на цыпочках; хоронятся по углам; вслушиваются.

— Нетинька-то наша — опять... Этак, почитай, к Пасхе каратов двадцать натечет, а то и всех двадцать пять. Будет чем и праздник по-божьи встретить.

— Тсс! Да ты что ногами-то, точно трамбами, топчешь! Долго ли испугнуть слезу девичью...

V

Возник Ермил Немилович в доме слезовладельцев так: сначала вползло имя: Аким Акимыч, возвращаясь домой после все участвовавших таинственных отлучек, говорил: «Ну и человек, доложу я тебе, Ермил Немилович! Сам не знаю, где у него больше: в голове ли, в кармане ли? И богат, и ума не спрашивать стать». Затем вместе с Аким Акимычем стали посещать дом «советы» Ермила Немиловича; потом — советы превратились в чековую книжечку, в гербовую бумагу, записанную закладными, векселями и т. д. Наконец, пришел вместе с Аким Акимычем и сам Ермил Немилович: на минутку. Гость ткнулся ртом в руку Катерины Родионовны, нажал мокрыми пальцами тонкие ноготки Нете: «Здрасте!» Лицо у гостя было присыпано прыщом; голос с поскрипом. Посещения участились и удлиннились; «на минуточку» длиннилось в «на

полчасика» — «на полчасика» в вечерок. Катерине Родионовне в ответ на ее рассказы о хозяйстве, сырой погоде, хлопотах по дому и семье гость говорил только, глядя мимо, «Да-с». Нете ничего не говорил — и она слышала скрипучий голос его лишь из-за плотно прикрытой двери кабинета, где происходили какие-то тайные совещания.

Однажды Катерина Родионовна, открыв вместе с мужем крышку «Слезника», так и ахнула: ящик был наполовину пуст.

— Испугалась? — усмехнулся Аким Акимыч. — Ничего — натечет. Это, видишь ли, Катя, я в верные руки — Ермилу Немиловичу. Потому что Ермил Немилович правильно говорит: слезу понимать надо. Слеза — по естеству своему — течет, значит, и надо ее «на текущий счет», поняла? Я знаю: тебе б по бумажкам прятать, по комодам.

Катерина Родионовна молчала: после того странного случая с первой заалмазившейся слезой супруги постепенно как бы поменялись местами. Энергичная, властная Катерина Родионовна как-то смякла, отойдя в дующее непонимание и недоуменность, Аким же Акимыч повластнел, слова его стали тяжелее, увереннее, даже пить бросил.

VI

Аким Акимыч кликнул к себе дочь и, прикрыв двери, спросил, нравится ли ей Ермил Немилович.

— Нет.

— Ну а мне нравится. Эти девичьи штуки — фьють! Ладно?

— Нет.

Аким Акимыч стукнул ладонью по столу: иди.

Вечером пришел жених: чмокнул в руку мать и присосался губами к холодным пальчикам дочери. Сели вокруг чайного стола. Вдруг Нета резко встала.

— Куда ты?

Но шаг, учащаясь, застучал по коридору и затих лишь за дверью Нетиной комнаты. Ермил Немилович, попунцовев, недоуменно поднял брови.

— Ишь...

Аким Акимыч подмигнул гостью и сделал знак жене: та поднялась — и вслед дочери. Дойдя до двери Неточкиной спальни, Катерина Родионовна остановилась в нерешительности. Слышались глухие всхлипы. Помедлив минуту, нажала ручку. Дочь сидела спиной к двери у тонконогого столика, спрятав лицо в ладонях; плечи ее тихонько вздергивало.

— Нетинька, что ты, Господь с тобой...

Дочь не шевельнулась: крупные слезы, одна за другой, проскальзывая прозрачными капельками меж тонких золотых колец и сквозистой кожи пальцев, беззвучно капали вниз, на деревянный круг стола.

Катерина Родионовна обомлела от изумления: это были обыкновенные человечьи слезы, бессильные прозвенеть алмазным звоном и ограниться в драгоценный блеск.

На пороге открытой двери стоял Аким Акимыч: что так долго?

Увидел. Понял сразу.

Не расспрашивая, бросился к себе в кабинет: выдвинул ящик стола; взял в дрожащие руки плоскодонный «Слезник». Отщелкнулась крышка: пусто. Лишь комки ваты, выставшие нумерованные клеточки ящика, были чуть-чуть влажны.

Ветряная мельница

Посреди поля, крылья распялив, стала старая мельница. Дело к осени. К мельнице — по полевым колеям — повезли на телегах хлеб; над мельницей — по голубому тракту потянули косяки журавлей и грачи стаи. Поглядела мельница им вслед и думает: «А ну-ка и я».

Была она в дружбе с ветром:

— Толкни-ка мне крылья, да по сильнее: хочу вслед птицам, за поля и моря, сквозь небесную синь в Кинь-Сгинь.

Ветер схватил старуху за крылья, поддал плечом, машет клеть крыльём — и хоть бы с места.

Но ветру недосуг: отпросился — и дальше. Развела мельница четырьмя деревянными ладошами и думает: «Тут что-то не так — надо у птиц спросить».

А тем временем тележий скрип все чаще и ближе; птичьи граи — все тише и реже; махнет им мельница крылом, а те мимо — в Кинь-Сгинь сквозь небесную синь. Не дозваться.

Только случилось один раз молодому грачу от стаи отбиться: крылья у грачонка слабые — сначала еле поспевал, потом отстал, а там и присел посреде поля мельнице на стреху — отдышаться, и дальше. Дала клеть гостью отдохнуть, а потом:

— Покажи мне, как это летают: в Кинь-Сгинь захо-телось — мочи нет.

— Очень просто, — сказал грач, — вот так.

Канул в синь и сгинул.

«Ишь ты, — думает мельница, — мал и глуп, и кры-ла-то у него два, а у меня все четыре, а я не лечу».

— Ветер, а ветер!

Прилетел ветер: «Что еще?»

— Пока не подсадишь до неба, не отпущу. Берись за крылья.

Делать нечего: жалко ветру старого друга, да и вре-мя такое — осень взаправду, когда ветрам от работы ни-как: скрипят мельничные крылья, напряжились дощатые бока, топочут жернова — а никак в небо не впрыгнуть, — и чем грустней старой мельнице, тем больше мешков с мукой везут по вязким колеям скрипучие телеги.

На весну возвращался грач из Кинь-Сгини в наши края. Видит — внизу в поле знакомая клеть: залететь раз-ве на минутку?

Теперь у грача были сильные крылья, он вырос, стал бывалой и солидной птицей. Присел на мокрую стрежу, расправил перышки и говорит:

— Ну вот — опять довелось. Я думал, ты улетела.

Молчит мельница, крыльём не шелохнет.

— Ну ничего, — утешает грач, — перемелется — мука будет, и потом, лирические поэты, те тоже машут, а не летят, грустью своей на людей работают, а один из них, — не мог, грачья душа, не прихвастнуть, — так даже сказал: «О, если б крылья мне, чтобы́ от крыльев улететь!»

И опять прилгнул — стишки-то свои, птичьи: пото-му что какой же настоящий поэт подставил бы «бы» в «чтобы» под арзис!

Голова с поклоном

Есть люди, к которым приходят мысли. Есть люди, которые сами ходят к мыслям: приставят библиотечную лентку к книжным корешкам и скрипят ступеньками, пока какая-нибудь мысль не распахнет перед ними своей обложки. А есть и такие, что ни они к мыслям, ни мысли к ним: ни ногами.

Сказочка как раз про одного из этих.

Жила-была голова с поклоном. Чуть что — шапку с темени: будьте столь — не окажете ли — почту за, — и выкланяла голова себе бобры на темя и бобры под щеки. Но как-то под бобры и под темя, как ветром птицу, занесло м ы с л ь. И пришлось бы голове променять бобровую шапку на потертый картузишко, да старые друзья-поклоны выручили: проходила голова с мыслью и с поклоном по улице, мороз был лютый — иглами в щеки и в дыханье льдом. Но навстречу скрипят полозья, едет, в меха укутавшись: буду столь — окажу — приму. Старый друг — поклон — голову книзу, а шапку кверху: прохватило мысль ледяным веером, ударило морозными иглами: мысль простудилась, охрипла, осипла, а там и вовсе потеряла голос. И не быть на голове с поклоном потертому картузишке.

Жан-Мари-Филибер-Блез-Луи де Ку

— Вы наступили мне на тень. Отойдите прочь!

— Извольте: на расстояние двух скрещенных шпаг.

Клинки из ножен, — и кавалер Жан-Мари-Филибер-Блез-Луи де Ку, наткнувшись сердцем на сталь, превратился в тень и вознесся к райскому пределу.

Звякнула связка золотых ключей, и старый при-
вратник спросил:

— Имя вашего патрона, чтоб я мог знать, чьим благословением ввести вас в рай.

— Жан-Мари-Филибер-Блез-Луи.

— За пятью святыми не пропадешь, — улыбнулся ключарь, — подождите за порогом, пока я сбегаю к святому Жану.

Но когда райский ключарь возвратился, лицо его уже не улыбалось:

— Придется повременить. Святой Жан сказал: «Если у кавалера есть другие заступники, к ним и иди; у меня благословений не хватит — Жаны и Жаны, будто вся Франция сплошь из Жанов, а тут еще этот пятисвятка: пусть просит у Филибера, мне некогда».

— Что же, — ответил кавалер, стараясь быть вежливым (все-таки — небо!), — ступайте к Филиберу — вряд ли он завален работой.

Но прошло малое время, и привратник, смущенно перебирая бородки золотых ключей, возвратился к порогу:

— Опять заминка, кавалер. Святой Филибер сказал: «Если вы ищете редких имен и вам нужен патрон без практики, идите лучше к Блезу: у меня нет-нет да попадется пара-другая Филиберов, а у того — вот уж десять лет — кроме души Блеза Паскаля — ни души».

— Блез так Блез, — сказал кавалер, — только торопитесь, я не привык околачивать пороги.

Ключарь ушел, и, когда снова возвратился, лицо его было печально и встревоженно:

— Плохо ваше дело, кавалер. Святой Блез сказал: «Это правда, что за десять лет только и приходила ко мне душа Блеза Паскаля, но знаете ль вы, что за человек этот Паскаль? Ведь он Имя Божие — прославляя его — вместе с игральными костями тысячу раз кяду на стол швырнул, чтоб узнать по числу очков — закону вероятий и методу больших чисел, — есть Бог или нет. Когда пройдет десять раз по десять лет, напомните мне о том, который ждет за порогом, а пока... терпение: с Паскалями так сразу не управляют».

— Что ж, — сказал Жан-Мари-Филибер-Блез-Луи, — придется просить Луи.

Но старый привратник почесал золотым ключиком темя:

— Не советовал бы. Нет: святого Луи лучше не тревожить.

— Но почему?

— Строг, очень строг: всех тринадцать Луи — в Ад. «Туда же, — говорит, — и остальным дорога, дайте срок, пусть только родятся — а уж я их — в вечную смерть». Остается еще святой Мари: пойду к нему.

И когда снова возвратился райский привратник, то ключами оземь и говорит:

— Нет вам благословения, кавалер. Не могу впустить: святой Мари — слово в слово — то же, что и святой Жан: будто стоворились.

— Что ж это? — закричал кавалер Жан-Мари-Филибер-Блез-Луи де Ку, — с пятью святыми и без рая! Изза пяти бездельников — на пять крестных мук! Ну, нет! Идите, старик, к кому хотите, но без пропуска не возвращайтесь!

И ногу на порог.

Поднял старый привратник золотую связку, ключиком о ключик — ключиком о ключик, и говорит:

— Разве вот что: не попробовать ли нам с вами по тождеству имен — не к святому Мари, а к святой Мари? Вряд ли из этого что-нибудь получится, притом грешить мне тут, в раю, не пристало, но уж очень мне вас жалко, кавалер.

Ушел ключарь, и видит де Ку: тщетно ждать. Повернул уже спину к порогу, как вдруг слышит: звенят ближе и ближе, радостным золотым звоном звенят ключи ключаря. Обернулся, а тот уж здесь и говорит:

— Благословите удар и клинок, приведшие вас к горнему преддверию! Кто б мог думать: пречистая Мари, чуть слышала ваше имя: «Это не тот ли де Ку, о котором трижды на дню докучает мне слезами, огнями свеч и молитвами маленькая Мари, что служит поломойкой в гостинице „Синяя Черепаха“ на третьем лье от Парижа?» Вы, конечно, помните свою заступницу и молитвенницу, маленькую Мари из «Синей Черепахи»? Ну, я открываю ворота...

— Погодите-погодите, добрый ключарь, — ответил кавалер де Ку и отшагнул от порога. — Это правда, мне приходилось бывать проездом в «Синей Черепахе», раз или два мы поили там лошадей и пережидали ночную непогоду, но никакой Мари-поломойки я не помню.

Да и мало ли их было — Мари, Жанн, Иветт и снова Мари — разве можно упомнить всех!

— Но как же мне вас пустить, человек, который забыл? — сказал привратник, пряча ключи за спину.

И в это время слышат они — к райскому порогу частыми шагами — сама пречистая Мари:

— Впустите, впустите, строптивый ключарь, — раскройте шире врата; мы дадим душе покой блаженных и вечность: они помогут... вспомнить.

Полспасиба

Незадачливые люди — Федоты: чуть Федот — непременно не тот. А вот мой Федот именно т о т. На этом и вся сказка.

Пошел Федот — т о т Федот, не забывайте, — на ярмарку — руки в работу продать. Навстречу Сквалыга:

— Почем руки?

— По спасибо в год.

— Дорогонько, — говорит Сквалыга, — вот мужик за спасибо пешком в Москву ходил, да полспасиба сдачи принес. А тебе, захребетнику, какая дорога, кроме как от избы до порога!

Договорились: полспасиба в год и хозяйские харчи.

Только не договорились они о Сквалыгиной дочке Еремьяне Сквалыговне. Федот был как раз т о т — полюбила его, чуть глянула.

Но Федот, тот лишь в работу смотрит: целый год глаз на Еремьяну не подымает, а подымает мешки и кули, Сквалыге верно служит. Год отслужил и говорит:

— Давай расчет.

Сквалыга про себя: «Федот, да не тот». А работнику:

— Как же нам расчесться? Спасибо в лавке не разменяешь. Поработай еще год, Федот, — сразу все спасибо и отвалю.

— Уж очень ты сквальжишь, Сквалыга, — отвечает Федот, — за одно спасибо всего человека купил — с глазами и руками.

— А зачем мне твои глаза, да и глупых слов твоих мне не надо. Нужны мне, Сквалыге, руки. Да и те через год получай обратно — и на все четыре.

«Хорошо же, — думает Федот, — не будь я тот...» — взглянул на Сквалыгину дочку и видит: любит его Еремьяна. Спросил Сквалыгину дочку и слышит: уж год, как любит его Еремьяна. И снова — день к дню — подымает Федот для Сквалыги кули и мешки, а на Сквалыгину Еремьяну подымает ясные очи. Еремьяна сперва в смешки, потом в плач. Ведь и в девке кровь. Но Федот ей: «Проданные мои руки».

Конечно, другой Федот, не тот, не посмотрел бы, — но в том-то и дело, что Федот-то был тот, — и говорит: «Не плачь — хоть и проданные мои руки, но до году».

Отслужил и второй год и к Сквалыге:

— Давай расчет.

Но Сквалыге жалко спасибо, еще жальче Федота — другой Федот уж будет не тот. И говорит:

— Дай сроку хоть день.

— Не могу.

— Ну, хоть ночь.

«Хорошо, — думает Федот, — руки-то ведь у меня теперь не проданные». И был бы Федот не тот, если б наутро, взявши за руку Сквалыгину дочку, Еремьяну Сквалыговну, не сказался бы Сквалыге во всем: так и так.

А потом:

— Говори спасибо.

Пришлось сказать.

Прикованный Прометеем

Факт, сообщаемый ниже, не включен в книги по истории: черепичная кровля и каменные стены маленького домика, в котором он произошел, позаботились защитить факт от стилоса, не то бы стилос передал эту историю гусиному перу, гусиное перо пересказало бы стальному перу, стальное перо — свинцовым буквам типографщика. Притом факту повезло: он возник и изник темною февральскою ночью, когда все, кроме ветра да песчинок, шевелящихся внутри стеклянных часов, крепко спали, в их числе и историк.

Итак, за стенами дома, врытого в почву Афин, в полустадии от восточных ворот, на исходе зимы третьего года LXXIX Олимпиады шестидесятилетний старик Эсхил, сидя у стола, дописывал «Прометея, принесшего огонь». Оставалось стихов сорок—пятьдесят, антистрофа и заключительная песнь хора. Поэт упрямо боролся со снами: маленькие сны и снишки, уцепившись что было мочи за ресницы поэта, тянули ему веки книзу — поэт же пробовал поднять их кверху. Близились весенние Дионисии. Надо было кончить трагедию возможно скорее.

Придвинув новую воценку поближе к желтому языку огня, качающемуся в медной светильне, он взял

было в руку стилос. Но проказливые сны, уцепившись за пальцы, разжали их: с легким звоном стилос упал на пол. Свесив руку, запрокинув голову, с полуоткрытым ртом — старец уснул.

Бодрствовал только огонь. Огню было скучно: покачался на тонкой сине-желтой ножке вправо-влево, потянулся изогнутым жалом вверх, подмигнул неповоротливой тьме и затем, наклонившись над вощенной табличкою, стал от нечего делать всматриваться в царапины. Судя по длине строк, по размещению букв, это была какая-то писанная пятистопным ямбом трагедия. Сначала было неинтересно. Огонь шатнулся было желтым телом назад. Но тут же рядом белели и другие тронутые стилосом вощенки. Буква за буквой, строка к строке — и вдруг огонь, нервно дернувшись из устьяца светильни, с расширенными желтыми глазами, наклонился над одной из табличек так низко, что легкий восковой налет ее начал таять: там, среди путаницы слов, Огонь ясно различил свое имя. Трудно было связать разбросанные строки. Но старик не просыпался; черная ночь, овитая в ветры, длилась и длилась, и понемногу, знак за знаком, слово за словом, глаза Огня ссучили строки в единую нить. Таблицы рассказывали о боге Прометее, похитившем с неба огонь («То-то меня всегда тянет ввысь», — подумал читатель). «Огонь ранее жил лишь среди бессмертных, — читал он. — Теперь стал достоянием людей». Но Прометею грозит кара; в длинном монологе Зевса исчислялись пытки, грозящие похитителю: изгнание, распятие на выступе скалы, скармливание Зевесову орлу, летающему с Олимпа, печени несчастного. За строками чуялось: стилос — против клюва; Эсхил — против Зевеса; сострадание — против страдания. Каждая буква человека говорила карающему: «Нет».

Но Огонь весь трепетал от негодования:

— Так вот кто сорвал с меня синюю звездную одежду и облачил в эти грязно-желтые лохмотья. О Про-

метей! О нечестивый вор, будь проклят! Ты говоришь, Зевес, он страдает; но если ты умел создать мир, почему ты не умеешь создать кару нечестивцу? Ранящий выступ скалы, клюв коршуна — мало. Взгляни на меня, о Зевес: за что мне, ни в чем перед тобою не повинному, посланы муки, перед которыми все твои кары — ничто? Подумай: мне — седмиустному Пламени, ясноокому Πυρός*, небожителю, блистающему среди небожителей, — быть брошену сюда, на черную землю, к людям, бороться с мраком их пещер, униженно ползать по сучьям и поленьям, вымаливая в пищу капли масла и ветви сухого хвороста; служить грязным, дрожащим от холода и страха тьмы животным; тлеть на их грубых алтарях и треножниках; спать, зарывшись в золу из печей и жаровен. Пусть он, обидчик, прикован к камням — поделом; но за что прикован я, за что мое звездное тело прижато кирпичами ко днищам их очагов? О, горе, горе святотатцам! Горе земле, похитившей меня!

Отчаянным рывком Огонь попробовал оторваться, взвиться ввысь пламенеющим блеском, но раскаленный край медной светильни крепко держал его, не отдавая небу. Синие искры зажглись внутри пламени: рванувшись еще раз, Огонь лизнул острым жалом край деревянной дощечки.

— Глупый человек, — зашипел он, — спит. Доверился блику лампы, а вот я встаю во весь свой рост, одетый в сверканье искр, скованный, но мстящий земле бог. Ты, сонная тварь, не приносишь мне жертв, — и вот я сам приношу себе жертву: имя мое Пожар, подножие мне — не край лампы, а твой дом, твоя жизнь.

Краешек вощенки зашевелился, выгнулся, затлел, но в тот же миг Огонь резко качнулся вспять: «Но если

* Огня (греч.).

сгорит дом, — никто, нигде и никогда, ни там, у светил, ни здесь, у светилен, не вспомнит о моих страданиях, не затоскует моею тоскою, ни на земле, ни в небе не прозвучит ни слова, не напишется ни буквы о моей судьбе. Нет».

Старец спал. Взволнованные блики огня дрожали на его покойном, точно в два сна одетом лице; оно, с закрытыми очами, точно гляделось в какую-то глубь. Огонь впервые видел, вытянувшись к краю стола, лицо старца: серебряная его борода легла на теплую коричневую ткань зимней тоги; ряды морщин на челе, точно строки, вписанные ступившимся стилосом; выпуклые твердые жилы на обнажившейся руке; короткое и слабое дыхание.

— Скоро умрет, — затеплилось что-то в Огне, — еще не кончит трагедии. Бедный старик. Но почему ты, убогое человечье существо, назвало свой стих не моим лучезарным именем, а темным именем вора и нарушителя правд? Разве я не прикован, как и он? Разве я не разлучен с небесами, как и он? Разве не я здесь мерцаю над твоими строками, защищая их от тьмы! Разве не я, божественный Пбр, грею твое старое, холодеющее тело! О человек, глупое, бедное разумом существо, — и ты не можешь мне подарить всех твоих слов, царапанных по воску: я мог бы растопить их, сжечь и их, и тебя, и твое жилище, и всю твою землю, — но вот служу вам, одетый в желтые одежды раба, укрытый в серый плащ из пепла, — я, страдающий бог, похищенный у звезд и отданный кирпичным очагам, я, светлейший из светлых, — Пбр. Были миги — я горел в зигзаге молнии, брошенной десницею Зевеса с неба на землю; теперь таюсь, все тот же, в кривых царапинах твоего стилоса, брошенных землею в небо.

Смолк. И великая сладостная жалость к себе овладела Огнем, он закачался от боли, обжигая семью уста-

ми своими края грубой бронзовой светильни. Синие искры замерцали ярче внутри желтого обвода пламени, что-то обожгло Огонь изнутри, точно родился в нем огонь огня, что-то ужалило в глаз и вдруг... Огонь заплакал. Это было необычайно: Огонь плакал — синими прозрачными слезами, стекавшими к краю раскаленной светильни и с легким шипом растворявшимися в воздухе. Огонь плакал, безутешно раскачиваясь на шаткой, тонкой ножке, и медленно тушил себя самого своими же слезами. Качнулась сонная Тьма: подползла к самым строкам — посмотреть, в чем дело, — и прикрыла строки. Осмелев, попробовала и дальше. Качнувшись никнущим синим тельцем своим, Огонь сделал последнее усилие и, оттолкнув Тьму, бросил луч на лицо спящего. «Будь прославлен в веках», — прозвучало шипящим шепотом у края светильни, — и Огонь потух: он убил себя слезами. Тьма попробовала: нельзя ли дальше? Можно: сомкнулась.

Старец Эсхил беспокойно застонал во сне: ему снилось — трагедия о Прометее, принесшем огонь, встречена тихим, но злобным шипением: ошикана.

Кунц и Шиллер

В немецком городке (название забыл*) — две достопримечательности: театр и памятник. Театр — несколько казарменного сложения, с овальным гербом над трехдверием входа. Памятник Фридриху Шиллеру поставлен посредине Marktplaz'a** в профиль к ратуше: на гранитном цоколе на фоне цветных вывесок и кирпичных стен домов, обступивших рынок, мраморный человек с худым и длинным лицом. Сидит он в удобном мраморном кресле, прислонившись к круглой спинке. На острых коленях — свернутая тетрадь.

Естественно, что в юбилейные Шиллеровские дни, весной 1905 года, первая достопримечательность чувствовала вторую и последнюю достопримечательность города: на театре поставили торжественный спектакль, произнесли речи и направились опять-таки от театра к

* «Кунц и Шиллер» — тема-подкидывш. В ранней юности был мною прочитан в одном из немецких журналов рассказ; название журнала, имя автора, заглавие, сюжетная разработка — одним словом, все, кроме экспозиции рассказа, исчезло с годами из моей памяти. И вот сейчас я стараюсь — с пером в руках — вспомнить чужую тему, в надежде, что читатель поможет мне отыскать ее настоящего автора. Все творчески привнесенное в текст прошу считать ошибкой моей памяти. — *Примеч. автора.*

** Базарная площадь (*нем.*).

памятнику многолюдной, но чинной толпой, возглавляемой магистратом и учеными обществами, для завершения праздника. Организатором чествования был уважаемый всеми директор театра герр Готтольд Кунц, что опять-таки вполне естественно: во-первых, он был директором театра, во-вторых, автором еще в молодости писанной и всеми, до Кунца включительно, забытой статьи о Фридрихе Шиллере, помещенной в «Allgemeine Litterarische Zeitung»*, ко дню юбилея умершая статья опять проявила знаки жизни, зашевелившись тремя-четырьмя пространными цитатами в местном Blatte**. В статье, как это теперь узнали все, от старого профессора Виндельмана до юной фрау Бальц (хорошенькой хозяйки овощной лавки, на вывеску которой пристально, не отрываясь вот уже пятнадцать лет сряду, смотрит мраморный Шиллер), доказывалось, на основании точного сличения разрозненных мест переписки поэта, неисчислимых «idem»*** и «loco citato»****, комментариев и музейного материала, что в бумагах поэта должна была находиться, очевидно, впоследствии затерянная, ни разу не опубликованная пьеса. Ни заглавия, ни содержания ее герр Кунц, конечно, не знал, но он полагал, опираясь на строго научные резоны, что это было самое лучшее из всех произведений великого поэта, и, не без восклицательных знаков, скорбел о невознаградимой утрате для родной литературы и сцены, выражая лишь к концу слабую надежду на возможность отыскания затерявшегося манускрипта.

В обширной речи в театре и в кратком слове перед цоколем памятника почтенный герр Готтольд повторил,

* «Всеобщая литературная газета» (нем.).

** Здесь: газета (нем.).

*** Тот же самый (лат.).

**** В упомянутом месте (лат.).

под хлопанье ладоней, стук палок и зонтиков, свои доказательства, назвав даты, заглавия и номера страниц.

Официальная часть торжества была окончена. Вечером в большом зале местного Keiser Hotel'a состоялся полунтимный ужин с участием местных поэтов и артистов. Тосты. Декламация. Престарелый профессор Виндельман делился воспоминаниями о встрече с троюродным племянником поэта в Штутгарте, но героем вечера оставался герой дня — герр Кунц, он был первым из живых, собравшихся вокруг имени великого мертвеца.

Ободряемый стуком и трением кружек, ходивших по столу, возгласами «просим-просим», герр Кунц (это было уже поздною ночью, когда количество опорожненных бутылок начинало брать верх над бутылками еще не откупоренными) встал и, выждав минуту молчания, заявил, что отчаиваться преждевременно: утраченная пьеса великого мастера еще может быть отыскана и он, Кунц, сделает все возможное для... Грохот аплодисментов заглушил слова, но герр Кунц еще не кончил. Стихло. «Как знать, — восклицал он, — далек ли, близок ли день, когда я, Кунц (тут голос оратора оборвался от волнения), буду держать вот в этих самых руках гениальный манускрипт. И тогда...» Но оратора уже окружили. Поздравляли, дыша в лицо пивным перегаром. Образовалась очередь: для пожатия руки герру директору Кунцу.

Понемногу стали расходиться. Одни распевали «Песнь о колоколе», неизменно застревая в первых двух строках, — дальше никто не помнил. Кто-то, перевирая слова, декламировал из «Телля».

Когда Готгольд Кунц подходил к двери своей холостяцкой квартиры, пустынная улица была залита луной; предутренний ветер шевелил листья каштанов. Кунц нащупал в кармане ключ и, открыв дверь, поднялся по четырем ступенькам лестницы. В комнатах было темно. Только лунный блик обеспокоенно ползал по полу. Ни спичек, ни свечки на столике в спальне не оказалось.

«Разиня Фриц», — подумал герр Готгольд, но, так как настроение его было благодушно, решил не будить слуги и раздеться в полутьме.

Герр Кунц, собственно, вот уже лет двадцать как забросил всякие литературные изыскания и даже помыслы о поэзии, стихах, разысканных и неразысканных пьесах (вне пределов утвержденного Репертуарным Советом списка) — но сейчас, возбужденный вином, аплодисментами, поощрением, чувствовал себя самоотверженным разыскателем книжных раритетов, записным библиофилом, знатоком... В ушах шуршали пыльные томы архивных бумаг: вот — рукопись... Не то... Тетрадь, заложенная в старый фолиант... Не то... И вдруг — о н а!

Директор Кунц развязывал шнурок на левом ботинке. Новооткрытая рукопись Шиллера публикуется с предисловием скромного, но полного достоинства советника Готгольда Кунца... Газеты-журналы оповещают мир. Сенсация. Боннский университет присылает звание доктора. Отовсюду — из Кенигсберга — Мюнхена — Берлина — предложения кафедр...

Герр Кунц стряхнул с левой ноги башмак и потянулся к правому. Но вдруг постучали в дверь: робко, но отчетливо.

— Войдите, Фриц... Вы принесли мне свет?

— Да, — послышалось за дверью.

Голос звучал странно глухо и незнакомо. Затем кто-то, лица которого в полутьме (луна как раз задернулась облаками) Кунц не мог разглядеть, просунул сначала голову, затем и острый угол плеча, наконец и всю странно высокую фигуру, остановившись на пороге полуоткрытой двери.

Герр Кунц не испугался, только слегка удивился.

— Виноват, — сказал он, шаря левой ногой по полу в надежде нащупать-таки башмак.

— Я решился, — заговорил незнакомец (речь его была очень тиха, почти шепот, с призвуками южно-не-

мецкого акцента). — Эта ночь столь для нас с вами знаменательная... Мне хотелось бы вам сказать... Если слова вашей речи не обманули меня... Вы разрешите?

И внезапно, сделав два шага к креслу с полукруглую дубовой спинкою, повернутой к окну, гость странно тяжело опустился на его сиденье и, вынув из кармана какого-то старомодного, каких давно никто не носил, камзола рукопись, развернул ее, не спеша, на острых своих коленях.

Было что-то знакомое во всей его фигуре.

— Правда, мы с вами где-то видались, милостивый государь, — начал сдержанно хозяин (при этих словах незнакомец медленно качнул головой), — но даже правила самого короткого, я позволю себе сказать, приятельского, больше — дружеского знакомства не предвидят... не оправдывают, — подчеркнул герр Кунц, — столь странных ночных посещений. Вы приходите к человеку, когда все спят, если не ошибаюсь, с какой-то там рукописью и...

— В другое время, — робко возразил гость, хмуро сторбившись над раскрытыми на остриях колен листами, — я не могу. Мое отсутствие на Marktplatz'e могло бы вызвать толки. Особенно после празднеств. Вы легко поймете, что...

— Я ничего не понимаю, — отрезал Кунц, — мне совершенно неинтересно, чем вы там занимаетесь на Marktplatz'e («Какой-нибудь приказчик... пописыватель стишков», — дернулось в сознании). Но согласитесь, что врываться, именно врываться до света к человеку, который только что вернулся с чествования имени великого Шиллера, к человеку, достаточно заслужившему права на уважение... усесться с какою-то там «рукописью» в руках и заставлять...

— Вот именно это и понудило меня, — пробормотал проситель. — Ваша прекрасная речь, ваша статья,

мудро вскрывшая одну, как я думал, навсегда похороненную тайну, — все это и побудило меня преодолеть свою обычную неподвижность... Может быть, я слишком назойлив.

Герр Кунц начал понемногу смягчаться. «Чудак, — думалось ему, — провинциальный поэт, сгорающий от желания услышать мое мнение о своих начинаниях. В конце концов, это молодо и заслуживает снисхождения».

— Ну, хорошо, — заговорил он, — хотя это с вашей стороны, молодой человек, и несколько экстравагантно, но ничего, я не придаю излишнего значения формам. Сейчас я постучу слуге, нам принесут свечи, — и мы займемся вашим «манускриптом», хе-хе. Давно пишете? — И с этими словами развеселившийся директор протянул руку к тетради.

— Я не так молод, — глухо отвечал гость, и странная грусть зазвучала в его голосе, — я не пишу уже около ста лет... Пожалуй, больше — сто два — сто три года.

Рука директора Кунца упала, не дотянувшись до рукописи. «Сумасшедший, маньяк, — качнулось в его мозгу, — близко день. Придут люди, и завтра же весь город будет болтать о том, как какому-то графоману удалось дурачить всю ночь директора Кунца. Э, нет — надо кончать».

— Милостивый государь, — зачеканил Кунц, внезапно поднявшись с места, — милостивый государь, — я попрошу вас убрать вашу рукопись и оставить меня в покое. Я не желаю знать, слышите, не желаю знать, кто вы и что вы там намарали. А если вы настаиваете, то прошу покорно: контора театра; Schillerstrasse*, 2. От одиннадцати до часу дня. Засим...

Лицо незнакомца будто осунулось и стало мраморно-бледно; он тяжело повернулся в застонавших

* Шиллерштрассе (нем.).

креслах, и в предутреннем брезге яснее забелел его острый, четко прочерченный, орлий профиль. Поднялся: точно глухо ударило камнем о пол. Свернул рукопись. И хлипкие ступеньки лестницы заскрипели под тихим, но тяжким шагом уходящего.

Кунц стоял неподвижно, как статуя, посреди комнаты; попробовал понять происшедшее; в висках стучало, мысль скрецивалась с мыслью. Связывались в одно слова — жесты — детали события... И вдруг, беспомощно качнувшись, Кунц стал тихо опускаться на постель: «Он, ведь это же он».

В мгновенье ока Кунц вдел ногу в башмак.

Два шага к двери. Остановился — в мучительном раздумье. И внезапно, как стоял, полуодетый, без шляпы, опрометью вслед за ушедшим.

Светало. Улицы были еще пустынные: двери закрыты; створы ставен сомкнуты. Ни души. Только влево, за скрещением Karls- и Friedrichstrasse*, звучал чей-то каменный, мерноудаляющийся шаг. Кунц бросился за звуком. Звук то рос, мощно ударяясь о двери и глухие ставни, точно будя сонный город, то внезапно ник и утишался. Сначала Кунц шел быстрым шагом, затем побежал: достигнув перекрестка, он увидел в мерцании рассвета белую узкую спину гостя, уходившего медленным, но широким шагом прочь; тонкие белые ноги, обтянутые чулками, кудри, падающие к плечам, все это мелькнуло, миговым видением, и скрылось за углом Kaisergasse**. Кунц побежал изо всех сил; достигнув Kaisergasse, снова увидел, и уже значительно ближе, белую фигуру: она шла, не оборачиваясь, медленным, но гигантским, каменнозвонящим шагом, вперед и вперед: старинный камзол

* Карлс- и Фридрихштрассе (нем.).

** Кайзергассе (нем.).

лег белыми неподвижными складками вдоль тела; голова низко склонилась над развернутым в руках свитком.

«Рукопись!» — крикнул Кунц прерываемым одышную голосом, но в это время плохо завязанная тесьма на левом башмаке развязалась. Кунц наклонился над башмаком, и когда через три-четыре секунды снова поднял голову, фигура поворачивала за угол. «Боже, он идет к площади», — с отчаянием выстонал Кунц и из последних сил ринулся вперед.

Поворот, еще поворот: площадь. Добегая до Markt-platz'a, Кунц снова увидел фигуру гостя. Рассветало. Алым порфиром горела черепица кровель. Предутренний туман опасливо, хлопьями, уползал вверх. Распрямившись во весь свой гигантский рост, неузнанный гость шел, звеня мрамором подошв о булыжины. Белый и гордый, с чуть ироническим, засиявшим в свете солнца лицом, он направился прямо к центру площади. Кресло, вознесенное гранитом постамента, было не занято.

Кунц упал, зацепившись за тумбу. Поднялся — и к цоколю. Фигура была уже там. С тяжким лязгом нога ударилась о гранит постамента; острые колени согнулись; голова запрокинулась назад, камень наморщился двумя складками меж надбровных дуг и застыл; а рукопись стала медленно-медленно сворачиваться в окаменевающих пальцах гиганта. Кунц был уже здесь. «Рукопись», — прохрипел он, хватаясь пальцами за край свитка. Тетрадь еще шевелилась, еще выгибалась под их прикосновением, он дернул ее — и рука, скользнув по мрамору, сорвалась. Теряя равновесие, Кунц пошатнулся и, ударившись головой о выступ цоколя, грузно скатился вниз. И лежал ничком, точно мертвый.

Башмак с левой ноги, покинув при падении пятку, ударил носком оземь, подпрыгнул и, отчаянно взмахнув тесемками, кинулся в лужу.

Бог умер

I

Случилось то, что когда-то, чуть ли не в XIX столетии, было предсказано одним осмеянным философом: у м е р Б о г.

В ангельских сонмах уже давно затлело и разгоралось предчувствие недоброго. И в сомкнутом круге серафимов давно шептали, роня шептание в шелесты крыл, о неизбежном. Но никто не смел взглянуть, пустота зародилась и ширилась, черной ползучей каверной, там, где был Он, развернувший пространства, бросивший в бездны горсти звезд и планет. Ничто холодило воскрылья, оперенные груди, ползало на беззвучно ступающих черных лапах по эллиптическим и круговидным орбитам миров, — но никто не смел взглянуть.

Был херувим, именем Азазиил.

— Хочу видеть, — промолвил он.

— Погибнешь, — зашептали вокруг.

— Как может погубить погибший? — отвечал Азазиил и, распахнув крылья, глянул.

И раздался вопль Азазиилов: умер Бог! Умер Бог!

Ангелы повернули лики к середине средин и узрели там зияющее черною ямою Ничто:

— Умер... Умер Ветхий Днями, — пронеслось от сонмов к сонмам, от звезды к звезде, из земель в земли.

А херувим Азазиил разверстыми зеницами вбирал даль: ничего не менялось. Бог умер — и ничего не менялось. Миги кружили вокруг мигов. Все было как было. Ни единый луч не дрогнул у звезд. Ни одна орбита не разорвала своего эллипса.

И слезы задрожали в прекрасных очах Азазиила.

II

Томас Грэхем, шлепая туфлями, подошел к книжному шкафу. Потянув за его стеклянную дверцу, он ясно видел, как по скользкой поверхности дверцы поползло и скрылось хорошо знакомое старое, бритое, морщинистое лицо с чуть прищуренными глазами; за отползшим вбок отражением блестели цветными корешками — книги. Мистер Грэхем повел глазами по переплетам и не нашел. Помнил ясно: зеленый, невысокий корешок, с золотой строкой, опрокинутой на свою начальную букву: *Θ*.

В рассеянности потрогал пальцами шероховатые переплеты у двух-трех книг: нужный корешок не зазеленел ниоткуда. Доктор Грэхем досадливо потер ногтем большого пальца переносицу: где бы ему быть.

Доктор Грэхем, престарелый и заслуженный профессор Лондонской Высшей Школы по кафедре «Истории религиознообразных предрассудков», был большим чудачком и любил, особенно в минуты недоумения и досады, старинную, вышедшую из людских обиходов фразеологию, — поэтому-то он, проведя еще раз пальцами по корешкам, пробурчал:

— «Бог знает», куда она девалась.

Но Бог не знал, куда девалась книга мистера Грэхема: даже этого. Он был мертв.

III

Мистер Брудж, сидя перед фотометром в круглом малом павильоне № 3-а Гринвичской Обсерватории, спешил закончить скучное поверочное вычисление суммы звездного света в созвездии Скорпиона. Подведя изумрудно-белую β к пересечению нитей внутри рефрактора, он левой рукой повернул закрепляющий винт, а правая быстро нажала стальную пуговку: и тотчас же зашуршал часовой механизм.

Вокруг было тихо. Мистер Брудж притиснулся глазом к окуляру. Щелкнул зажим: в поле зрения зажглось электрическое пятнышко. Оставалось повернуть раз другой микрометрический винт... — как вдруг произошло нечто странное: звезда β потухла. Лампочка горела, а звезда потухла.

Мистер Брудж не растерялся. «Часовой механизм», — подумал он; но вертикально натянутая стальная нить мерно вращала колесико, с прежним ритмическим шуршанием. Не веря стеклу, Брудж откинулся на спинку кресла и простым глазом посмотрел в черный сегмент ночного неба, наклонившегося над круглым раздвижным сводом павильона. « α на месте, γ на месте, δ тоже, β — нет», — сказал вслух Брудж, и голос его как-то странно и мертво прозвучал в пустом павильоне. Придвинул лампочку; всмотрелся в звездную карту: « β ». Странно, — была и нет. Брудж глянул на часы: отметил на полях карты — «аппо 2204.11.11. $9^{\circ}11'$ Scorpio $\beta/\ddagger/$ — обит*». Надвинул шляпу, потушил свет. Долго стоял в темноте, пробуя покончить с какой-то мыслью. Вышел, тихо прикрыв за собой дверь: ключ не сразу выдернулся из замка, так как руки мистера Эдуарда Бруджа чуть-чуть дрожали.

* Звезда β созвездия Скорпиона погасла (лат.).

IV

Это произошло одновременно, миг в миг, с исчезновением звезды β.

Виктор Ренье, прославленный поэт, работал у зеленого колпачка лампы над поэмой — «Тропинки и орбиты»: из-под пера выпрыгивали буквы. Рифмы звучали остро-созвонно. Мозг укачивало мерным ритмом. Черты длинного лица Ренье заострились и разожглись румянцем. Счастье поэтов — припадочно. Это и был — редкий, но сильный приступ счастья: и вдруг — что за черт? — мягкий толчок в мозг, — и все исчезло, от вещи до вещи, будто свеянное в пустоту. Правда, ничто не шевельнулось: все было там, где было, и так, как было. Но из всего — пустота: будто кто-то коротким рывком выдернул из букв звуки, из лучей свет, оставив у глаз одни мертвые линейные обводы. Было все, как и раньше, и н и ч е г о уже не было.

Поэт глянул на рукопись: буквы, из букв слова; из слов строки. Вот тут пропущено двоеточие: поправил. Но где же поэма? Огляделся вокруг: у локтя — раскрытые книги, рукописи, зеленая шляпка лампы; дальше — прямоугольники окон: все — есть, где было, и вместе с тем: нет.

Ренье зажал ладонями виски. Под пальцами держался пульс. Закрыв глаза и понял: поэзии нет. И не будет. Никогда.

V

Если бы в феврале 2204 года газетам сообщили о смерти Бога, то, вероятно, ни одна из них, даже тридцатидвухстраничное «Центро-Слово», не отвела бы и двух строк петита этому происшествию.

Самое понятие «Бог» давно было отдумано, изжито и истреблено в мозгах. Комиссия по ликвидации богочитаний не функционировала уже около столетия за ненадобностью. Правда, историки писали о кровавых и религиозных войнах середины XX и начала XXI столетия, но все это давно отошло и утишилось, — и самая возможность существования и развития вер в богов была объявлена результатом действия болезнетворных токсинов, ослаблявших из века в век внутричерепную нервную ткань. Был открыт и уловлен стеклом микроскопа даже особый *fideococcus** — вредитель, паразитирующий на жировом веществе нейрона, деятельностью которого и можно было объяснить «болезнь веры», древнюю *mania religiosa*** , разрушавшую правильные соотношения между мозгом и миром. Правда, мнение это оспаривалось Нейбургской школой нейропсихологии, — но массы приняли *fideococcus*'а.

Заболевших верою в Бога (таких было все меньше и меньше) тотчас же изолировали и лечили особыми фосфористыми инъекциями — непосредственно в мозг. Процент излечимых был доведен до 70—75, человеческий же остаток, сопротивлявшийся инъекционной игле, так называемых «безнадежно надеющихся», селили на малом острове, прозванном — неизвестно кем и почему — «Островом Третьего Завета». Здесь, за сомкнувшейся высокой стеной для неизлечимо-верующих, была построена даже «опытная церковь»: дело в том, что некоторые авторитеты, опираясь на древнее медицинское правило «*similia similibus curantur*»***, находили, что *morbus religiosa***** имеет тенденцию в самых ее тяже-

* Возбудитель веры (лат.).

** Религиозное помешательство (лат.).

*** Подобное излечивается подобным (лат.).

**** Болезнь веры (лат.).

лых и, казалось бы, неизлечимых формах самоизживать-ся и что опытная церковь и лабораторное богослужение могут лишь ускорить естественное разрешение процесса в ничто.

Опытная церковь была просторной сводчатой комнатой, с верхним светом. Она была оклеена серыми обоями с чередующимися вдоль длинных полос четкими изображениями: крест-полумесяц-лотос; крест — полумесяц — лотос. У центра комнаты — круглый камень. На камне — курильница. Все.

В миг Азазиилова вопля больные верой, расставленные шеренгами вокруг круглого камня, молились под наблюдением врачей. Они стояли молча, даже губы их не шевелились. И только сизому ладанному дымку в кадильнице разрешено было двигаться: покружив серо-синими спиралями, дымок потянулся было прозрачной нитью вверх, точно пробуя доползти до неба, но, закачавшись, стал мутными налетами оседать вниз. И вдруг дальний-дальний, еле внятный крик, оброненный небом, ударился о купол, скользнул вдоль стен и, точно разбившись о землю, смолк. Врачи не слышали крика: они лишь видели ужас, скомкавший лица и разорвавший шеренги внезапно сбившихся в кучу, стонущих и шепчущих больных. Затем все вернулось *in ante**. Но изумлению врачей не суждено было закончиться сразу: в течение недели больные — один за другим — выписывались, заявляя кратко: «Бог умер». Расспросы оставляли без ответа. Последним ушел ветхий старец, бывший священником и как бы последним апостолом опытной церкви островка.

— Мы оба были стары, — сказал он, опуская голову, — но мог ли я думать, что переживу Его.

Остров Третьего Завета — опустел.

* К прежнему (*лат.*).

VI

Мистер Грэхем отыскал нужную книгу. Оставалось навестить цитату, проживающую, кажется, на странице 376. Улыбаясь, мистер Грэхем согнул палец и легонько постучал в переплет: можно? (он любил иной раз пошутить с вдовствующими мыслями мертвецов). Из-за картонной двери не отвечали. Тогда он приоткрыл переплет и глазами на 376: это была та давно забытая строка старинного автора, начинавшаяся со слов «умер Бог». Внезапное волнение овладело мистером Грэхемом. Он захлопнул книгу, но эмоция не давала себя захлопнуть, ширясь с каждой секундой. Схваченный новым ощущением, мистер Грэхем с некоторым страхом вслушался в себя: казалось, острошрифтные буквы, выпрыгнув ему в зрачки, роем злых ос ворошатся в нейронах. Пальцы к выключателю: лампы погасли. Грэхем сидел в темноте. В комнату уставились тысячью оконных провалов сорокаэтажные дома. Грэхем спрятал глаза под веки. Но пляска бурь продолжалась: «Бог умер — умер Бог». Боясь шевельнуться, он судорожно сжал пальцы: ему казалось — стоит коснуться стены, и рука продавится в пустоту. И вдруг мистер Грэхем заметил: губы его, шевельнувшись, выговорили: Господи!

В эту ночь первый черный луч из Ничто, сменившего Все, прорвав крылатые круги, достиг земли.

И затем началось что-то странное. Краткое сообщение Бруджа об утерянной β Скорпиона не переступило круга специалистов. Но факты, опрокидывающие цифру и формулу, стали множиться что ни день: звезды, то и дело, не загорались в заранее исчисленные секунды у пересечения нитей меридионала. Внезапно в созвездии Весов вспыхнул изумрудный пожар, осиявший отблесками полнеба. Звезды сторали и гибли одна за дру-

гой. Спешно измышлялись гипотезы для покрытия фактов. Древнее слово «чудо» затлело в толпах. Радио успокаивало, предсказывая близкий конец катаклизма. Электрические солнца, повисши на проводах от небоскреба к небоскребу, заслоняли бело-желтыми лучами беззвездящееся, пустующее небо. Но понемногу и орбиты соседних планет стали разрываться и спутываться. Тщетно выпученные стекла телескопов обыскивали черную бездну, пробуя изловить хоть один звездный блик. Вокруг земли зияла черным-черная тьма. Теперь нельзя было скрывать от масс: укрощенная числами, расчерченная линиями орбит бездна, расшвыряв звезды, смыв орбиты, восстала, грозя смертью и земле. Люди прятались на холодеющей и одевшейся в вечные сумерки земле, за камни стен, под толщи потолков, ища глазами глаз, дыханием дыхания; но к двум всегда приходило и незваное третье: стоило отвести взгляд от взгляда — и тотчас — у самых зрачков — слепые глазницы третьего; стоило оторвать губы от губ — и тотчас — черным в алое — ледяной рот третьего.

Сначала умерла поэзия. А после и поэт Ренье — омочив обыкновенное стальное перо в баночку с FCN, он проколол им кожу: этого было достаточно. За ним и другие. Но профессор Грэхем продолжал пользоваться пером для прямых его целей: он написал книгу — «Рождение Бога». И странно, автора не заключили на Остров Третьего Завета, как это сделали бы раньше, а книга к концу года шла сорок первым изданием. Впрочем, территории опустевшего островка и не хватило бы теперь для всех, захваченных эпидемией *morbus religiosa*. Островок точно раздвинул берега, расползся по всей земле, отдавая ее царству безумия. Люди, запуганные катастрофами, затерянные среди пустот, прозявавших из душ и из пространств, трепещущим стадом сбились вокруг имени

Бога: «Это кара за века неверья» — гудело в массах. И, указывая на разваливающийся вокруг умершего Бога мир, пророки у перекрестков кричали: «Вот чудеса Господни!», «Покайтесь!», «Прославьте имя Творца!». Под «имя» спешно подводились алтари. Над алтарями нависали своды. Храмы, один за другим, бросали в черное небо золото крестов и серебро лун.

Происходило то, чему и должно было произойти: был Бог — не было веры; умер Бог — родилась вера. Оттого и родилась, что умер. Природа не «боится пустоты» (старые схоласты путали), но пустота боится природы: молитвы, переполненные именами богов, если их бросить в ничто, несравнимо меньше нарушат его нереальность. Пока предмет предметствует, номинативное уступает место субстанциональному, имя его молчит; но стоит предмету уйти из бытия, как тотчас же появляется, обивая все «пороги сознания», его вдова — имя: оно опечалено, в крепе, и просит о пособии и воспомоществованиях. Бога не было — оттого и сказали все, искренне веруя и благоговая: есть.

Реставрировался древний культ: он принимал старые католические формы. Был избран первосвященник, именем Пий XVII. Несколько стертых камней давно срытого Ватикана были перенесены с музейных постаментов снова на пеплы Рима: на них, обрастая мраморами, возникал Новый Ватикан.

Настал день освящения новой твердыни Бога. День ли: сумерки теперь не покидали землю; черное беззвездное небо раззиялось вокруг планеты, все еще ведомой слабнущими и гаснущими лучами солнца по одинокой последней орбите мира. На холмах, вокруг нового храма, собрались мириады глаз, ждавших мига, когда престарелый первосвященник поднимет триперстие над толпами, отпуская и их в смерть.

Вот у мраморных ступенек закачалась старинная лектика; и старческое «in nomine Deo»* пронеслось над толпами. Дрожащая рука, благословляя, протянулась к черному небу. На хоругвях реяли кресты. Тонкие ладан-ные дымки струились в небо: но небо было мертво. Тысячи и тысячи губ, повторяя «имя», брошенное им *urbi et orbī***, звало Бога, тысячи и тысячи глаз, поднявшись кверху вслед за триперстием и дымками кадилен, искало там за мертвым и черным беззвездием Бога.

Тщетно: Он был мертв.

1922

* Во имя Господа (*лат.*).

** Граду и миру (*лат.*).

Страна нетов

Объявившихся на службу великого государя почитать в естех, а протчих людешек писать нетами.

Из писцовой книги конца XVII в.

I

Я е с т ь — есмь. И потому именно есмь, что принадлежу к великому Народу естей. Не могу не быть. Думаю, это достаточно понятно и популярно.

Но изъяснить вам, достопочтенные ести, как бытие терпит каких-то там нетов, как оно где-то, пусть на глухой окраине своей, на одной из захолустнейших планеток, дает возникнуть и разрастись странному миру нетов, — это для меня будет чрезвычайно трудно. Однако Страна нетов — факт. Я сам был среди них и нижеизложенным свидетельствую правду моего заявления.

Один расфилософствовавшийся нет сказал: «Бытие не может не быть, не превращаясь в небытие, а небытие не может быть, не становясь от этого бытием», — и это настолько справедливо, что трудно поверить, как нет, несуществующее существо, могло — десятком слов — так близко подойти к истине.

К делу: диковинная Страна нетов, которую довелось мне посетить, — это кажущаяся им, нетам, плоской сфера; над кажущейся плоскостью через равные промежутки времени, которое, как доказано наимудрейшими нетами, само по себе не существует, происходят кажущиеся восходы и заходы на самом деле неподвижного относительно мирка нетов солнца, порождающего тени,

которые то малы, то велики, то возникают, то никнут, — так что нельзя сказать с уверенностью, существует ли тенное тело или не существует. Правда, неты учат своих малых нетиков, что тени отбрасываются какими-то там вещами, но если рассудить здраво, то нельзя с точностью знать, отбрасываются ли тени вещами, вещи ли тенями — и не следует ли отбросить, как чистую мнимость, и их вещи, и их тени, и самих нетов с их мнимыми мнениями.

II

Неты живут кучно. Им всегда казалось и кажется, что из многих «нет» всегда можно сделать одно «да», что множество призраков дадут себя сгустить в плотное тело. Это, конечно, мысль безнадежная, чуть-чуть даже глупая, и опыты с такой мыслью наперед обречены на неудачи, но из этих-то длительных и упрямых, опрокидываемых бытием и вновь тщащихся попыток быть и состоит их так называемая жизнь.

Отсюда — их любовь, их общество, их религия.

Любовь — это когда нет влечется к нете, не зная, что неты нету. Страстное незнание это длится, в зависимости от сцепления случайностей, миги, минуты, месяцы, а то и дольше; кстати, любят они друг друга обычно в темноте, и, может быть, только в эти редкие миги мнимые существа из Страны нетов искренни, признавая, что и при свете они видимы не лучше, чем в темноте.

Веснами, когда в их мирке расцветают, дурманя нетов, их никлые травы и нетовые цветы, когда и у нас, великого Народа естей, явь оборачивается сном, сон просыпается явью, — и им, мнимым, мнится, что и им

доступна л ю б о в ь. И как ветер спутывает стебли трав, так весенний порыв, перепутывая «я» с «я», заставляет их обменяться тем, чего не имеют: телами и душами; и только когда ответит вихрь, когда осыплется лепестками весна, видят неты: а ведь ничего не было.

III

Ученые неты, уединяясь по кельям, целыми годами доказывают — при помощи букв — себе и другим, что они суть; это излюбленная тема их трактатов и диссертаций; буквы им послушны, но истина всегда говорит нету: нет.

Казалось бы, вместо того чтобы доказывать себе себя, сучить мысли о жизни, гораздо проще — жить; казалось бы, закончившему первый том «Этики», вместо того чтобы приняться за второй том «Этики», проще и нужнее свершить хоть один этический поступок. Но нет: окружив себя книжным шелестом, выгнув деревянные доски полком горами букв, нет доказывает себе себя. Время, дергаясь острыми стрелами на их циферблатах, кружит и кружит; и как подчас ни остры нетовые мысли — они умеют лишь кружить вокруг себя самих. Так или иначе, смена событий в голове нета такова: сперва душа, потом кусок мертвой ткани, потом гниющая труха, потом, если глянуть сквозь черные отсмотревшие глазницы черепа, обыкновеннейшее ничто: нет сведен на нет.

Один искусник нет начинал так: «Мыслю, следовательно, существу». Но ведь не существование следствие мысли — мысль следствие существования. И так как даже нетовская логика строго воспрещает умозаключение от бытия следствия к бытию основания, то, выводя свое су-

ществование из своей мысли, неты сами себе себя самих запрещают всеми §§-ми своих же логик. Притом многие ли из нетов мыслят? Одиночные мыслители, кучка кой-каких думальщиков... И все. Больше не припомню. Остальные, значит, не только не существуют, но даже и не мыслят. Ученые неты, отгородившись стенками келий и страницами книг от мира, делят обычно свое все на «я» и «не я». Таким образом, для нета А и нета Б, рассаженных по разным кельям, — для А — Б «не я», для Б — «не я» А. То есть и тот и другой для кого-то всегда остается в «не я». Этим постоянным «кто-то» (даже их мудрецы этого не подозревают) был я, есть, свершающий свое путешествие по путям их страны.

Надо признать: среди философствующих нетов иным удавалось силою догадки подняться до нетствующей философии. В их смутных, как зимний брезг их рассветов, измыслах порою мне удавалось угадать вечную, все страны и миры объемлющую Правду. У иных из них была великая отвага, решимость на необычайное: рассеять себя самого силою своей же мысли. Так, один мудрый нет, уйдя из мира мнимостей в малую и тихую келью, долгие годы одиноко мыслил, не открывая даже створ окна в так называемый «внешний мир»; и отвык от мира, как бы отделившись от него чувствилищем и мышлением. Однажды, случайно подойдя к подоконнику, он вспомнил о том законном мире и потянул за шнурок шторы. Каково же было удивление нета, когда там, за окном, он не увидел никакого мира, точно весь мир, сверкающий звездами и солнцами, одетый в зелень и лазурь, куда-то отвалился от окна, отклеился от его стекол, как дешевая картинка, прилепленная снаружи и отмытая дождем. Ученый, зажав в руке шнурок, долго глядел в зияющую тьму. Не было никакого сомнения: это было ничто, обыкновеннейшее ничто. Ученый освободил шну-

рок — штора, прошелестев, упала. Подойдя к столу, он начал работу над своим ставшим впоследствии знаменитым трактатом о том, что внешний мир — это просто скверная привычка так называемой нервной системы.

Правда, злые языки утверждали: якобы факт, легший в основу трактата, легко объясним — окно было снаружи прикрыто ставнем, и философ, подняв штору, не учел по рассеянности этого обстоятельства: простую деревянную, выкрашенную в черное ставню он принял за внешний мир и поспешно сделал свои выводы. Бывает.

Другой мудрец, наблюдая кружение часовых стрелок своего карманного хронометра, глубокомысленно подметил, что они хоть и движутся непрерывно, но никуда из кармана не уходят. Остальное в его системе было простой аналогией.

Но это — отдельные случаи. Вообще же, как уже упоминалось, неты, возникнув в бытии вследствие какого-то непостижимого просмотра или ошибки, естественно, должны бояться и бояться истины, так как истина есть нечто, по самой своей сути их, нетов, отменяющее. И хотя в своих книгах они льстят этому слову, но на самом деле нетам невыгодно искать истину, и они спасаются в тайне. Их религия, например, — это довольно сложный лабиринт тайн или таинств, как они их именуют, в которых они что-то таят сами от себя, искусно упражняясь в удивительном умении не знать, порою достигая в нем поразительного мастерства. Священные книги нетов сообщают, что мир сделан из ничего. Это правда: при изучении их мира везде и через все явственно проступает тот странный материал, из которого он создан, — ничто. То там, то тут отысканы мною при просмотре их книг проруби в истину, постепенно затянувшиеся у нетов словами и софизмами. Например, в их Книге Бытия сказа-

но, что прародители нетов вкусили от древа познания, но от древа жизни не вкушали.

Здесь я должен ознакомить вас, достопочтенные ести, с чуждым нам, специально нетовским понятием — с м е р т ь. Хотя нетам и удается подчас с чрезвычайной натуральностью притворяться существующими, но рано ли, поздно ли неизменно происходит раскрытие обмана, и это-то у них и называется «смерть». Нет, о котором сегодня еще говорили невероятное: «Нет есть», — внезапно слабеет, обездвигивается, бросает игру в жизнь и перестает быть: истина вступает в свои права. Правда, неразоблаченные пока неты, собравшись вокруг так называемой могилы уличенного смертью нета, поют что-то о «вечной памяти», говорят над ямой о бессмертии души и т. д., но и говорящие, и слушающие этому не верят: «вечная память» бывает у них обыкновенно в несколько оборотов стрелки по циферблату; иные, впрочем, особенно честолюбивые, цепляются за «бессмертное и м я», но из-за нескольких букв, которые называются у них именем, и спорить нет надобности.

Так или иначе, но смерти неты не любят: она тревожит их совесть, портит им их игру в кажимости и мучает дурными предчувствиями. Удивительному искусству казаться, будучи ничем, уметь быть всем, я особенно изумлялся в специфически нетовом учреждении, т е а т р е. Мы, ести, неизменно пребываем в самой самости; неты же с поразительным проворством рядятся в чужую жизнь; там, в их театрах на ненастоящей, из досок сколоченной земле, при свете лампочек, подменивших свет солнца, среди ненастоящих, нарисованных вещей, неты живут придуманными жизнями, плача над несуществующими горями, смеясь измышленным радостям. Присутствуя при этом, я не мог не согласиться с их лучшими художественными критиками, заявлявшими, что для них, нетов, театр — это «школа жизни».

IV

Вот фрагмент из мифологии нетов.

Вначале был Хаос. Хаос выплеснул из себя Океан. Океан взял в супруги Судьбу. И родилось от Судьбы и Океана три сына: Έν*, Κοί**, Πᾶν***. Старший, Πᾶν, непомерного роста, властолюбивый и сильный, был нравом в мать, в Судьбу; средний, Έν, любил одиночество и прихотями и угрюмостью схож был с дедом Хаосом; а младший, Κοί, был н и к а к о й: подражал братьям — и общительному Πᾶν'у, и замкнутому Έν'у. Братья ревновали его друг к другу, и каждый из них любил и учил его по-своему.

Πᾶν, когда Κοί был еще совсем маленьким, часто, изловив в огромные пальцы свою жемчужину, а то и до смерти перепуганную, трепещущую в пальцах водяную каплю, показывал Κοί'ю его собственное изображение внутри жемчужины и капли. Κοί смеялся.

Когда Κοί чуть подрос, старший брат научил его играть в прятки. Огромный Πᾶν умел ловко прятаться: и в текучую волну, и меж створок крохотной раковины, и меж лепестков качающихся на стеблях цветов, и даже по крохотным, еле зримым зыбинам. Κοί искал его, расплескивая ручонками волны, перебирая пухлыми пальцами лепестки у цветочных чашечек, разжимая створки раковинам. И какова была радость дитяти, когда вдруг меж крохотных лепестков или искристых зыбинок ему удавалось отыскать брата.

— Нашел! — кричал он, и огромный Πᾶν, распрямляясь до самого неба, подымался из зыбинки во весь свой гигантский рост, грохоча громopodobным смехом.

* Одно (*греч.*).

** И (*греч.*).

*** Многое (*греч.*).

Но Ёв глядел молча на игры гиганта с малюткой. Улучив час, когда Ко́й оставался один, он уводил его к себе, под нависшие камни пещеры, и там учил его одиночеству и гордости: приблизив тонкие и цепкие пальцы к своему внезапно расширяющемуся зрачку, он осторожно вынимал из глаза мир, со всеми его звездами и лазурями, морями и землями. Хитро улыбаясь, показывал он эту новую пеструю игрушку изумленному ребенку. Заслышав тяжкий шаг Пѳв'а или плещущую поступь отца, Ёв быстро, придерживая пальцами левой руки свой растянутый зрачок, вкладывал мир назад в глаз, скромно опускал ресницы и уходил бесшумным шагом в свою одинокую пещеру. Ребенок так пристрастился к этой игре, что, издали завидев брата, уже тянулся ручонками к его глазам.

Однажды Пѳв услышал плач маленького баловня. Бросившись на голос, он увидел малютку, тщетно пробовавшего вытянуть из своего правого зрачка что-то огромное, пестрое и многовидное, отливающее сиянием всех солнц: это «что-то» застряло в зрачке дитяти и, не повинувшись слабым его ручонкам, не шло ни назад, ни вперед. Пѳв бросился к брату и, быстро втолкнув огромное и многовидное, жалящее лучами всех солнц, внутрь Каева глаза, гневно ударил его по дрожащим пальцам, крича: «Не смей этого делать, слышишь! Никогда». Ко́й, перепуганный насмерть, молчал.

Когда Океан одряхлел и покрылся пенными сединами, то стал он тяготиться своей безбрежностью. Судьба сказала ему: «Отчего бы тебе, Океан, не приобрести берегов? За добрую цену».

Старик было не хотел, но Судьба повторяла: «Так нужно, так нужно», пока Океан не призвал сыновей и не сказал им: «Ёв, Ко́й, Пѳв, мне тяжело от моей безбрежности. Я дал вам жизнь, дам и смерть, если не выполните

свято воли моей: идите в мою безбрежность и достаньте мне — не скупясь ни на жизнь, ни на цены — б е р е г а». Тогда маленький Ко́и взял за руки братьев, и они пошли в безбрежность за берегами: Пѳѳ, Ко́и, Ёѳ. Шли и шли. Однажды, застигнутые ночными снами, они легли отдохнуть, Пѳѳ'а и Ёѳ'а посетил один и тот же сон: явилось им Ничто, безглазое и безвидное, и сказало глухим, могильным голосом: «Я Ничто, не являюсь в явях, но лишь в снах. Есть у меня берега, но я голодно и отдам их лишь тем, кто скажет: „Да, не буду“. Меньше двоицы не беру».

Ночь отошла. Ёѳ рассказал сон Пѳѳ'у, Пѳѳ — Ёѳ'у, и молвили братья друг другу: «Уж что отец наш Океан влил себе в мысль, тому не выплеснуться. Вернемся втроем без берегов — убьет троих; лучше умереть двоим. Жалко нам расставаться с сладостной жизнью; того жалче — с милым братцем Каем, но если так хочет мать-Судьба, — то да, не будем». И, сказав это, снова уснули, но сон их был беспросыпен. Долго маленький Ко́и теребил и толкал слабыми руками неподвижные тела спящих братьев; оглянулся, ища помощи вокруг, и видит: лежат перед ним новенькие, ненадеванные берега: где покруче, где поуступистей, а где и покато. Стал Ко́и звать: «Ёѳ! Пѳѳ!» Сев на кручах и уступах берегов, передразнивало его Эхо: «Ёѳ... Пѳѳ...» Ко́и заплакал. Поплакав, взвалил берега на плечи и, царапая кожу о выступы утесов и изломы круч, понес, сгибаясь под тяжестью, дорогую попку отцу. Старый Океан обрадовался берегам; влился в них, ласково плескаясь; успокоился и заснул. А Ко́и остался на попечении матери-Судьбы.

Потеряв братьев, Ко́и затосковал:

— Милые Ёѳ, Пѳѳ, что я без вас? — плакался он. — Когда вы, большие и сильные, вели меня, взяв за руки, ты, Ёѳ, за правую, ты, Пѳѳ, за левую, то и я был силен вашей силой, и я был велик вашим величием. Ты уже не будешь играть со мной в прятки, братец Пѳѳ, таясь от меня под зыбинками и лепестками. Ты уже не будешь мне показы-

вать мира, укрытого в твоём глазу, мой милый братец Ёв. И я без вас только «Кай», только малое бессмысленное «Кай» — «и», ничего не соединяющее.

И маленький Кай стал чахнуть и никнуть: умалился из Кай в Кай. Тут миф обрывается. Лишь в так называемых учебниках логики нашел я его досказ, но слишком уж краткий и сухой: «Все люди смертны. Кай — человек. Следовательно, Кай — смертен». Очевидно, если верить вышеназванным учебникам, Кай стал смертен; от него и пошли неты, или «смертные», как названы они в мифе, другими словами — существа, суть которых заключается в способности умирать, то есть не быть. От отдаленного предка своего они унаследовали, что видно из всех их книг, его тоску по Пай — Ёву. Расселенные у безбрежности взятого в берега Океана, они все еще повторяют старую легенду о Кае, лишь искажая ее от поколения к поколению: Каева тоска по погибшим братьям укоротилась у них до тоски о себе самих; самое имя Кай произносится ими как «Каин»; и эпизод об исчезновении возлюбленных братьев Каевых исказился в историю Каинова братоубийства.

V

Самое противобытийное в нетах — это их рассудок, строитель многого множества: «итак» — «поэтому» и пр. Даже какой-нибудь жалкий кактус, растущий в стране нетов, и тот растет от корня к колючке; мысль же нета, прячущаяся внутри восьми хитро сложенных в так называемую «голову» костей, вопреки всей Природе, текущей от причин к следствиям, толкающей рост от корней к листьям, — тянется от колючки к корню, течет от следствия к причине. «Рассудок» нета, получив раздражение

(как бы укол) извне, переворачивает все восприятия доньями кверху, мыслит против течения времени, переходя лишь после «после» к «прежде», двигаясь от следствия к причинам. «Рассудок» бунтует не только против движения часовой стрелки, показывающей III после II, II после I, но и против всей Природы, кружащей планетами по орбитам, кровью по жилам и соками по клеточным ходам растений и не терпящей идущего против нее. Неты сочинили легенду о корабле «Argo», но их мнимая жизнь не сказка ли о крушении ergo*. Кстати, пользуясь случаем заметить, что глубокомысленная система панлогизма, пользующаяся признанием среди ученых нетов, сводится к истории об одном чрезвычайно беспокойном ergo, которое совалось во все проблемы до тех пор, пока не потеряло одной из своих букв. Нашедшего «r» и «ego»** просит возвратить по принадлежности.

Незадолго до моего отбытия из страны мнимых я был свидетелем случая, чрезвычайно меня возмущившего. Увидав однажды группу из нескольких маленьких нетят, окруживших большого нета, я, любопытствуя, подошел к группе. Нет рассказывал нетикам... о чем бы вы думали, достопочтенные ести! — о нашей жизни, жизни Н а р о д а е с т е й. Правда, рассказ его был спутан и бессмыслен, но все же, глубоко взволнованный и изумленный слышанным, я шагнул к нему, разрывая круг испуганно раскрывших рты нетят:

— Откуда в ы могли узнать это? — воскликнул я.

— Ниоткуда, — сонно протянул нет, чуть улыбнувшись, — это так... сказка, рассказ о том, чего не было.

— Если вы, — резко оборвал я, — хотите небылиц, то расскажите лучше о своих жизнях, честно и не припугывая бытия.

* Следовательно (лат.).

** Я (лат.).

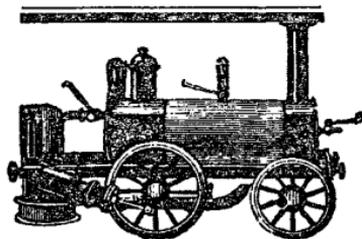
И, повернувшись, я пошел прочь. За спиною я услышал пискливый смех маленьких нетеньшей.

После этого, казалось бы, пустычного случая странная, неотвязная тоска вселилась в меня, милые братья ести. Но я решил твердо продолжать странствие.

В мирке нетов я пробыл недолго. Продвигаясь все дальше и дальше, все глубже и глубже в пустоты небытия, я покинул нетовую страну, где тени отбрасываются вещами, а вещи отброшены тенями; солнце там еле подымается над кривой горизонта, ошупывая слабыми дрожащими лучами зыбкие, колеблющиеся очертания вещей; наконец, двигаясь еще далее, проник я в Мертвую Страну, где нет ни солнц, ни вещей, — лишь вечное кружение и молчаливый полз теней. Тут тоска, вошедшая в меня еще там, в Стране нетов, стала непереносной: я представлял себе мою далекую, осиянную солнцами родину и вас, моих сущих и несомненных, оставленных в далях, за пустотами миров естей, — и я повернул назад. Снова пересек я миры: мир теней, трусливо дрожащих у подножия вещей (здесь я окончательно простился с моими знакомцами нетами), — и наконец достиг страны, где вещи без теней: здесь все было залито не покидающим зенита светом.

«Близко», — подумал я и продолжал свой быстрый возврат в солнце. Последние сроки пути. Под укорачивающимися и крепнущими ударами лучей бестенные вещи никли, роняли контур, колебались, пока не рассеялись и они — как тени; и я снова возвратился на родину, к вам, мои братья ести.

Странствующее
“Странно”



повесть

...Это «странно» —
Как странника прими в свое жилище.

«Гамлет», д. 1, сц. 5

— На циферблате шесть. Ваш поезд в девять?

— В девять тридцать.

— Что ж, постранствуйте. Это так просто: упаковать вещи и перемещаться в пространстве. Вот если бы Пространство, упаковав звезды и земли, захотело путешествовать, то вряд ли бы из этого что-нибудь вышло. Путное, разумеется.

Мой собеседник, запахнув халат, подошел, топчя плоские цветы ковра, к подоконнику, и глаза его, щурясь из-под припухлых старческих век, с состраданием оглядели пространство, которому некуда было странствовать.

— Странно, — пробормотал я.

— Вот именно. Все железнодорожные путеводители и приводят в конце концов сюда: в с т р а н н о. Мало: странствия превратят вас самого, ваше «я», в некое «Странно»; от смены стран вы будете страннеть, хотите вы этого или не хотите; ваши глаза, покотившись по свету, не захотят вернуться назад в старые, удобные глазницы; стоит послушаться вокзальных свистков, и гармония сфер навсегда замолчит для вас; стоит растревожить кожу на подошвах ног, и она, раззудевшись, превратит вас в существо, которое никогда не возвращается.

Я смотрел на дуговидные морщинки, шевелившиеся вокруг рта старика, и думал: этот раз, вероятно, последний. Когда вернусь, скоро ли это будет, придется искать его не здесь — на кладбище. А там уж какие разговоры. И я решился форсировать тему.

— Учитель, — спросил я, отыскав зрочками его острые, даже чуть колющие зрочки, — правда ли все то, что говорят о ваших путешествиях? Мне мало простых железнодорожных указателей. Мне бы хотелось увезти с собой хотя бы несколько ваших указующих слов. Мой опыт беден и тускл. Вы же... помогите мне, учитель, — хотя бы маршрутами. Или воспоминаниями: поверьте, то с т р а н н о, в которое превратят меня странствия, как вы сказали, сохранит все ваши слова, не сдвинув в них ни единой буквы.

— Видите ли, — начал старый маг, усаживаясь в истертое кожаное кресло, — с тех пор, как я служу в Кооперотопе, я забросил и самую мысль о путешествиях: пусть земля ерзает по своей орбите, как ей угодно, — с меня довольно. Вероятно, и счетная костяшка, которую вечно гоняют по стержню, считает себя заправской путешественницей. Но неусидчивость не выводит ее, как известно, за квадрат счетной рамы. Так. Но в юности, разумеется, думалось по-иному: тогда я откликался на зовы пространства, хотел дойти до к у д а всех дорог, наступить подошвой на все тайны, обогнать знаки и черточки, облепившие глобус, и ощупать своими собственными глазами всю шершавую кожу планеты.

— Представляю себе. И мне бы хотелось, учитель, получить от вас схему одного из ваших самых длительных и трудных путешествий: такого, которое бы брало землю тысячеверстными кусками, которое бы...

— Боюсь, что первые же мои слова разочаруют вас, мой юный друг: самое длительное и самое трудное мое путешествие передвинуло меня в пространстве все-

го лишь на семьдесят футов. Виноват, семьдесят один с половиной.

— Вы шутите?

— Нисколько. И мне кажется, что можно менять страны на страны, не прибегая даже к этим, на пальцах отсчитанным футам: последние четыре года, мой друг, я, как вы знаете, не многим подвижнее трупа. Моя оконная рама не сдвинулась никуда ни на дюйм. Но та страна, людей и дела которой я, не без любопытства, наблюдаю, уже не та страна; и мне не нужно было, как вы это хорошо знаете, хлопотать о билетах и визах для того, чтобы превратиться в чужестранца и переехать из Санкт-Петербурга в Ленинград.

Я улыбнулся.

— Пожалуй. Но все же я повторяю свою просьбу: если не вы, то пусть хоть ваша память проявит активность. Рассказ о путешествии с маршрутом в семьдесят футов, думаю, не отнимет много времени.

— Не скажите. Хотя, если мне только удастся разминуться с деталями, может быть, я и успею. Который сейчас?

— Шесть тридцать.

— Так. Может быть, у вас есть еще какие-нибудь дела?

— Нет, учитель. До девяти я могу слушать.

— Хорошо. Тогда садитесь. Нет, не сюда: в кресло. Так. Начну.

I

— Сейчас, когда вся моя эзотерическая библиотека давно уже выменена на муку и картофель, я не могу, с книгой в руках, показать вам те сложные формулы и мак-

симы, которые путеводили нами, магами, в годы наших ученических странствий. Но суть в следующем: самое имя Magus от потерявшего букву слова magnus: большой. Мы люди, почувствовавшие всю тесноту жилпланетных площадей, захотевшие здесь, в малом мире, мира б о л ь ш е г о. Но в б о л ь ш е е — лишь один путь: через м е н ь ш е е; возвеличение — сквозь умаление. Гулливер, начавший странствия с Лилипутии, принужден был закончить его в стране Великанов. Правила нашего магического стажа — поскольку они хотят сделать нас б óльшими среди меньших, великанами среди лилипутов, — естественно, стягивают линии наших учебных маршрутов, вводя нас в магизм, то есть в возвеличение, лишь путем трудной и длительной техники умаления.

Рельсы, дожидаящиеся вас, мне всегда напоминали длиннющий в бесконечность свои параллели з н а к равенства.

Говоривший сделал двукратный жест.

— Но есть и другой знак. Вот: < (скользя глазами за ладонью, вклинившей в воздух острие угла, я молча кивнул головой и продолжал слушать). Я хорошо помню то сквозистое июньское утро, когда м о й у ч и т е л ь, это было уже сорок с лишком лет тому назад, призвав меня к себе, начертил именно этот простой, из двух карандашных линий, знак и, перенеся свой указательный палец, прижатый к бумаге влево от знака, на правую его сторону, сказал:

— Вам пора: отсюда — туда.

Я смотрел на линию своего маршрута и молчал.

— Вам, юным, — добавил наставник, — подавай семимильные сапоги. Но терпение: раньше чем позволить шагу из аршинного стать семимильными, надо научить его микромикронности.

Я продолжал молчать. Тогда наставник, отщелкнув двумя поворотами ключа крышку костяной шкатулки,

стоявшей у него на столе, показал мне три тщательно обернутых в вату стеклянных пузырька. Под притертými пробками их внутри вспучившегося стекла мутно мерцали жидкости: желтая, синяя и красная.

— Вот эта тинктура, — перед глазами у меня, вымотавшись из ваты, просверкал рдянюю третий пузырек, — эта тинктура обладает поразительной силой стяжения. Содержимого стекляшки хватило бы на то, чтобы тело слона стянуть в комок меньше мушьего тела. И если б это драгоценное вещество добыть в таком количестве, чтобы обрызгать им всю землю, нашу планету легко можно было бы сунуть в одну из тех сеток, в которых дети носят свои крашенные мячи. Но мы с вами начнем с другого флакона.

С этими словами наставник передал мне желтую тинктуру. Только теперь я увидел: поверх билетика, наклепленного на стекло, чернели еле различимые бисеринки букв.

— Способ употребления, — пояснил мне мастер, — послушайте этих букв, и вы сами станете в рост им. Сегодня же, до заката, тинктура должна сделать свое дело. Счастливого пути.

Взволнованный, колеблясь меж нетерпением и страхом, я вышел на улицу. Желтые солнечные пятна, ползающие по раскаленной полднем панели, не давали мне забыть о десятке желтых капелек, запрятанных в моем жилетном кармане и ждущих, внутри своей стеклянной скорлупы, близящегося, с каждым моим шагом, срока. Я шел будто на спутанных ногах: воображение начало действовать раньше тинктуры; мне казалось — самые шаги мои то странно укорачиваются, то неестественно длинятся. Сердце под ребрами ворошилось, как испуганная птица в гнезде. Помню, я присел на одну из уличных скамей и позволил своим зрачкам кружить, как им вздумается. Я прощался с пространством: с при-

вычным, в лазурь и зелень раскрашенным, м о и м, пространством. Я смотрел на сотни шагающих мимо ног: размеренно, подымая и опуская ступни, сгибая и разгибая колени, движением, напоминающим стальной аршин, уверенно шагающий, под толчками пальцев приказчика, вдоль мерно разматываемой штуки материи, — они разматывали и мерили свое, привычное пространство, которое видишь и с закрытыми глазами, которое несешь в себе, обжитое и исхоженное, почти застегнутое вместе с телом, под пуговицы твоего пальто, в тебя. Я вслушивался в трение одежд о тело, вглядывался в акварельные пятнышки облачной ряби, тонко выписанной по синему фону, ловил каждый звук и призыв, ввившийся в мои ушные завитки, цеплялся глазом за каждый блик и отсвет, запутавшийся в моих ресницах. Я прощался с пространством. Мимо глаз, раскачиваясь в сетке, прополз чей-то пестрый мяч. Я поднялся и пошел дальше. Где-то на перекрестке мне сунули в руки газету. Я развернул ее еще влажные листы и, скользнув по столбцам, тотчас же заметил крохотные буквы петита, сотнями беззащитных черных телец согнанные в строки. Тотчас же ассоциация дернулась у меня в мозгу, и, скомкав газету, я быстро сунул руку в карман и нащупал там холодный дутыш пузырька. Стоило швырнуть его на камень, наступить подошвой — и... но я этого не сделал. Нет: именно в этот момент нетерпение заслонило страх, и я быстро зашагал к себе, мимо шумов и бликов, будто выдерживаясь из пространства, и единственное, что я видел тогда, с почти галлюцинаторной ясностью, это бледный и длинный палец учителя, который, переступив по ту сторону ломаной черты, за знак неравенства, звал меня: туда.

Вскоре, впрочем, припадок возбуждения утих. На предпоследний этаж дома, в котором снимал я комнату, я подымался с чувством твердой, но холодной решимости. В полутьме подъезда на одном из поворотов узкой

лестницы мне пришлось обмениваться кивками с моими соседями, жившими надо мной: встречи наши, довольно редкие, всегда происходили здесь, в полумраке лестницы, и потому нам никогда не удавалось друг друга рассмотреть. Я знал только, что астматически дышащий ворох из пледов, кашне и пелерин поверх пелерин, тычущий палкой в ступеньки и мучительно шаркающий подошвами о камень, — это заслуженный профессор и чуть ли не академик, возящийся с какими-то ретортами и пипетками, с матрикулами студентов, а также и с женой, которая и в эту встречу, как во все иные, прошуршав мимо меня шелками юбок и наполнив полутьму запахом «Шипра» и терпкой тревогой, — став у верхней площадки, терпеливо ждала спотыкающуюся десятую ступеньками ниже палку.

Я открыл свою дверь и, войдя в комнату, повернул ключ в замке слева направо. Потом, выдернув его из замочной скважины, спрятал в одном из ящичков письменного стола. Солнце было на излете. Вынув часы, я положил их перед собой: шесть тридцать. Теперь пузырек: лупа, растянув черные значки поверх пузырька, быстро и точно раскрыла их смысл. Стиснув стекло меж пальцев, я осторожно повернул ему пробку: о, как непохож был этот колющий ноздри, прогорклый запах на благоухание, оставшееся там, за защелком ключа, над ступеньками лестницы. На миг мне показалось, будто астма старого профессора переползла в мои легкие: мне стало трудно дышать. Подойдя к окну, я толкнул его створами наружу. Тем временем минутная стрелка успела уже сделать дугу в сто восемьдесят градусов. Надо было решаться: я поднес пузырек к губам — через мгновение он был пуст. После этого я еле-еле успел, выполняя волю букв на этикетке, запрятать пустой пузырек в заранее намеченное мною укромное место: у пола, меж стеной и обоями.

Тело мое, уже в ту секунду, когда я запихивал стекло в обойную щель, стало вдруг стягиваться и плющиться, как прорванный воздушный пузырь: стены бросились прочь от меня, рыжие половицы под ногами, нелепо разрастаясь, поползли к внезапно раздвинувшемуся горизонту, потолок прынул кверху, а плоский, желто-красный обойный цветок, который я за секунду перед тем, возясь с пузырьком, отогнул, прикрывая пальцами руки, вдруг, неестественно ширясь желто-красными разводами, пополз, забирая рост, пестрой кляксой вверх и вверх. Мучительное ощущение заставило меня на минуту зажать веки: когда я раскрыл их, то увидел себя стоящим у входа в довольно широкий стеклянный туннель с неправильно изогнутыми круглыми прозрачными стенами. Прошло несколько времени, пока я понял: это пузырек, очевидно, оброненный моим нечаянным движением в то последнее мгновение, когда я, сейчас лишь жалкое, в пылиночный рост, существо, м о г еще его обронить.

На одном из прозрачных выгибов туннеля я увидел огромные черные знаки: в тот же миг я вспомнил их смысл и сердце радостно заколотилось во мне. Ведь в надписи на пузырьке ясно говорилось о способе возврата в прежнее тело и в прежнее пространство: стоило лишь отыскать на внутренней плоскости донышка пузырька-туннеля врезанный в стекло магический знак и прикоснуться к нему — и немедленно должно произойти обратное превращение.

Слома голову я бросился внутрь стеклянного раструба: звон моих шагов бился о круглые стены. Я добежал до прямой стеклянной стены... «А вдруг, — всполохнулось во мне, — пузырек упал знаком кверху. По скользкой и гладкой стене мне никак не добраться до спасения. И я погибну, на расстоянии дюйма от знака: дюйм преградит мне путь назад в тысячеверстия земли».

Но, по счастью, знак оказался у нижнего края стены. Я быстро отыскал глазами знакомое им сцепление двух линий математического знака неравенства. Упав острым науглием книзу, знак расправлял свои врезавшиеся в стекло линии, как птица расправляет крылья, занесенные для полета. «Свобода», — прошептал я, протягивая руку к знаку. «Страх», — услышал я в себе полусекундой позже. Я не повторил этого слова, но оно звучало громче, чем то, первое. Да, мое н а з а д было близко, на расстоянии протянутой руки, но я, отвернувшись от него, медленно ступая по гулкому стеклу, направился в неизвестное в п е р е д. И прежде, и теперь я всегда предпочитал и предпочитаю загадку разгадке, заданное данному, дальний конец алфавита с иксом и зетой — элементарным абцедам и абевегам: и в данном случае я не изменил своему обыкновению.

Минуты слишком быстро ползут по циферблату, мой друг, чтобы я мог позволить себе дробное и кропотливое, день за днем, описание моих странствий, начатых с зарею следующего дня. Вспомнив, что от пола к подоконнику моей комнаты прощелилась, как я это когда-то заметил во время уборки, глубоким, вползающим по стене зигзагом, щель, — я решил использовать ее для подъема на плато подоконника. Мне пришлось затратить довольно много часов, пока я не отыскал ее нижнего ущелистого края и не начал своего двухдневного подъема кверху. Впоследствии, когда я с группой альпинистов брал Кляузеновский перевал, они дивились моей тренированности и выносливости; объяснять им, что этим я обязан стенной щели длиной в три фута, я, конечно, не стал. Так или иначе, намучившись на кривых изломах и срывах своего почти отвесного пути, я, наконец, к утру третьего дня достиг подоконничного края. Ступив на его плоскую поверхность, покрытую геологическими пластами растрескавшейся белой краски (эти

трещинки, которые еще неделю тому назад я слабо ощущал, скользя ладонью по подоконнику, сейчас учили меня рекордным прыжкам), я чувствовал себя горцем, рассматривающим, стоя меж глыб горного перевала, провалы далее, втягивающих в себя глаз. Створы окна, оставленные прежним «мною» открытыми, давали доступ воздуху, а следовательно, и ветру. Мне очень трудно было бороться с его воздушными ударами: цепляясь за выступы облупившихся пластов краски, прячась за их приподнятыми краями, я прилагал все усилия, чтобы не быть свеянным вместе с уличной пылью, осевшей на подоконник, прочь с его поверхности. Позади был срыв к желтевшему где-то снизу полу моей комнаты, впереди — отвесная кирпичная стена, падающая в бесконечно-глубокий провал улицы. Продолжать прятаться по щелям меж краской и деревом на унылой и плоской белой равнине подоконника было бессмысленно и скучно. Надо было решаться: и я решился.

Цепляясь зеленой лапой за наружный край подоконника, кверху по кирпичному русту полз плющ. Подъем по этой зеленой витой лестнице был, конечно, опасен, но я, пользуясь наступившим внезапным безветрием, хватаясь за ворсинчатые торчки живой лестницы, стал смело взбираться кверху. От времени до времени я отдыхал внутри липких складчатых листьев плюща. Но после нескольких дней подъема я заметил, что зеленые площадки моей лестницы все же и меньше и что самая спираль ее, сделав еще несколько оборотов, обрывается в пустоту. Подсчитав пройденные кирпичные рубцы, я понял, что нахожусь на полпути меж двух подоконников, в трех футах от квартиры старого профессора.

«Дело не так плохо, — сказал я себе, раскачиваясь в изумрудном гамаке, подвешенном на упругом тяжке к стеблю, — надо лишь запастись терпением и положить-

ся на силу роста, скрытую в плюще, — и моя лестница сама подымет меня кверху».

Так для меня настали дни бездейственного ожидания: днем солнце, озеленив лучи, пробиралось ко мне сквозь нервиюры ткани внутрь листа; по ночам, пододвинувшись к рубчатому краю своего обиталища, я мог любоваться россыпью желтых и синих звезд, зажигающих где-то внизу, подо мной. Вначале это перемещение звездного неба несколько озадачило меня, но после я понял: тинктура, стянув в пылинку мое сажненное тело, укоротила и радиус моего видения: глаза не могли уже дотянуться до Сириуса и Полярной звезды, но обыкновенные уличные фонари заменяли им, как умели, созвездия.

Часто я старался представить себе то, что ждет меня там, за окном старого профессора и его юной жены. В то время я был так же молод, как и вы, мой друг. И, конечно, не только жизненная сила, скрытая в спиральях плюща, но и иная, таимая во мне, тянули меня вверх к подоконнику юной профессорши. Иногда, в бессонные ночи, к горьковатому запаху растительных смол примешивался, как мне мнилось, знакомый, легкий, но дразнящий «Шипр». И пока плющ, расправляя свои зеленые мышцы, полз на хватких лапах, усиками кверху, мое воображение, обгоняя его, давно уже было там, за окном.

Но когда три фута, спираль за спиралью, были взяты и я наконец, сделав рискованный прыжок, вскарабкался на край подоконника, о котором так долго мечтал, меня ждал неожиданный удар: стекло и рама окна, тщательно замазанные и оклеенные, преграждали путь. Я забыл, в своем юношеском оптимизме, о том, что дряхлый профессор даже и в июльские жары ходил под полудюжиной пледов и что окна в его квартире почти никогда не открывались.

Раздосадованный и злой, целый день бродил я вдоль тщательно замазанной щели: нигде — ни прохода, ни даже лазейки.

Мне оставалось: или спуститься по извивам плюща назад, или с неиссякающим терпением дожидаться своего в п е р е д. И на этот раз я выбрал последнее.

Тем временем июль — я вел аккуратный счет дням, — поначалу довольно прохладный и влажный, становился все суше и жарче. Мучаясь под раскаленным стеклом окна от нарастающего зноя, я вместе с тем радовался ему и молил небо о еще большей жаре: ведь только тропическая температура могла разжать стеклянные створы, преграждавшие мне доступ внутрь.

Томительные дни тянулись друг за другом, разделенные короткими черными прокладками ночи, тоже душной и знойной, — я уже было начал отчаиваться, когда вдруг, как-то поутру, стекло и рама затряслись от ударов изнутри. Колоссальные глыбы замазки падали сверху. Я еле успел юркнуть в узкую пещеру, рыгую червем-древоточцем, как что-то грохочущей тенью, сыпля сверху скалы и лапилли, пронеслось надо мной. Выбравшись наружу, я увидел: путь был свободен.

Вначале у меня было чувство человека, забравшегося по веревочной лестнице в дом своей желанной. Вероятно, это романтическое чувство и заставило меня дожидаться ночи: я медленно, шаг за шагом, вздрагивая и припадая к земле при каждом шуме, продвигался к внутреннему краю подоконника. Мне все еще трудно было привыкнуть к своей невидимости, и казалось, что все мои движения заметны обитателям комнаты.

Когда к вечеру я, свесив ноги внутрь одной из подоконничных щелей, сидел, грезя о своем з а в т р а, — вдруг меня ударило сильным током воздуха и прикрыло сверху гигантской, весь горизонт застлавшей тенью.

Вскочив, я поднял глаза кверху и увидел две рушащихся на меня своими вершинами горы. В ужасе, я сжал веки, приготовившись к смерти, но близкий и острый запах «Шипра» заставил веки разжаться снова. Да, это была она: два огромных, таких знакомых мысли и глазу, знака неравенства, одетых не в карандашный графит и не в стекло, но в гигантскую массу обнаженного тела, уперлись, вправо и влево от меня, своими остриями в подоконник: это были руки жены профессора.

С минуту я, забыв опасность и риск, двигался навстречу дурмящему и влажному живому жару, пышущему мне навстречу.

— Какая теплая ночь, — прозвенело надо мною.

— Да. А все-таки, душенька, окно лучше бы закрыть, — прошелестело что-то, голосом комкаемой бумаги, из глубины комнаты.

— Но ведь воздух так чист: ни пылинки. И я не вижу ничего, чтобы...

— Мало ли, что ты не видишь, душенька, — закомкала снова бумага, — пролезет что-нибудь этакое, ну, невидимое, бацилла какая-нибудь или, ну, черт ли его знает что. Ты его не видишь, а оно в тебя втирушей этаккой в альвеолы, в кровь, и возись потом...

Окно с грохотом закрылось, отрезая мне обратный путь. Но я уже успел добежать до торчащих мне навстречу ворсин платя юной женщины: обхватив одну из ворсин руками и коленями, я, с бьющимся сердцем, ждал событий.

— И-и, душенька, брось дуться. Вот принеси-ка мне лучше карты: нет, не там, на этажерке. Левее, левее. Ну-ну, поглядим: ведь вот проклятый пасьянс, никогда не выходит. Хоть ты что: ни так, ни этак. Ну вот: опять этот червонный король все напутал.

— Не выходит, так и бросил бы...

— Нет-нет, постой-погоди, я загадал: говорят, если выйдет, то надо карты под подушку, и все сбуд... гкх... гкх, черт, опять этот червонный дурак вытасовался.

Тем временем я, описав гигантские зигзаги по комнате, был внезапно почти придавлен к краю стола. Лишь ловкий кульбит спас меня от гибели, но все же сила толчка была так велика, что тело мое, сорвавшись с ворсины, за которую оно крепко держалось, больно ударилось о доску стола. Не теряя самообладания, я приподнялся на локте с желтой клеенки стола и увидел: целые стаи огромных бумажных прямоугольников, взлетев с шуршащим птичьим шумом, тотчас же мягко опали своими черными и красными знаками книзу. Я понял происшедшее: женщина смешала карты.

Это могло бы осложнить разговор, но в это время в глубине комнаты, почти из-за пределов моего видения, прозвучал третий голос:

— Барин, а барин, тут к вам с матрикулом. Который в шестой уже раз. Что им сказать: дома вы или нету?

Я слышал, как где-то внизу шумно зашаркали туфли. Вслед им четко и дробно застучали «каблучки», как подумал я, все еще не умея выключить свое мышление из старых схем.

Оставшись, как я полагал, один — я направился к хаотической куче игральных карт, распвырянных по столу. Новый, пока еще смутный план начинал возникать в моей голове. Сперва я прошел поперек дамы трэф и высунувшегося из-под нее алого ромба бубновой двойки. Что-то черное поползло мне под подошвы: выйдя из задумчивости, я увидел перед собой две довольно длинных аллеи, протянувшиеся вдаль: деревьев, собственно, не было, но неподвижные черные тени каких-то странно широких у земли и причудливо тонких у комля растений легли вдоль снежно-белой поверхности прямоугольного сада. Я было сделал несколько шагов вдоль од-

ной из черных аллей, но тут только заметил, что путь мне дважды пресечен такими же тенями таких же деревьев, невидимо растущих посредине аллеи. Я понял: это была десятка пик. Конечно, ее черные пятна бес- сильны были перегородить мне дорогу, но какое-то странное чувство заставило меня, сойдя с аллеи, во- рожащих смерть, обойти ее прямоугольный сад стороной, по обочине.

Тут впервые недоброе предчувствие вонзилось, де- сятью черными остриями, в меня. Не глядя по сторонам, медленно продолжал я шагать с карты на карту.

Вдруг:

— Эй вы, послушайте: вы наступили мне на серд- це. Или вы полагаете, что это щетка для вытирания по- дошв? Отойдите.

Я повел глазами навстречу голосу и тут только уви- дел, что у меня под ногами, у закругленного края карты, на которую я только что, в рассеянии, ступил, дергается красное плоское сердце, странно сплющившееся под на- летом бумажного глянца. С трудом удерживая равнове- сие, я добалансировал до края сердца и выпрыгнул на белую поверхность карты: теперь я ясно различал округ- ло очерченные красные губы короля червей, которые, ероша рыжую щетину длинной бороды, недовольно и брезгливо шевелились.

— Кто вы, пришелец, вшагнувший в меня? — услы- хал я.

— Умаленный человек, — отвечал я.

— Нет умаления горче моего, — проговорили бу- мажные губы, — и как бы ни была печальна история, принесенная вами, история, которую вы унесете отсю- да, будет еще печальнее. Приблизьтесь и слушайте.

Я, выбрав себе место на оконечине золотого плос- кого скипетра короля червей, уселся поудобнее и, про-

тянув усталые ноги, подставил свои ушные раковины под рассказ.

— Теперь моему царству, — зашевелились снова бумажные губы, — и вот в этой картонной коробке для карт — просторно. И царство, и власть мои давно источены червями: наш маститый род стал глупой мастью, и я, который некогда со своими министрами и грывал в людей, я, превращенный в обыкновеннейшую карту, должен позволять им, людям, играть в нас, в карты. О странник, можешь ли ты понять мир, в котором милли превратились в миллиметры, в дворцах и хижинах которого полы и потолки срослись в одну сплошную плоскость.

— Могу. Продолжайте.

— Мой род — отец, дед, прадед, прапрадед и я — столетиями сидели на нашем троне, окруженные трепещущими и благоговеющими подданными. Земля была слишком грязна для касания наших пят. Колеса, седла, носилки, лектики, спины камер-лакеев сделали для нас ноги излишними, а придворные козни и тайные заговоры создавали положение, когда иметь всего лишь одну голову оказывалось недостаточным. Вы понимаете, — ладонь говорившего, не покидая плоскости, опустилась сверху вниз»: я кивнул головой. — Результатом приспособления нашей династии, говоря в терминах дарвинизма, к среде является хотя бы то, что у меня, как видите, две головы плюс нуль ног. Но не это было причиной гибели моей и царства. Дело в том, что в каждой моей груди билось по два сердца: большое и малое. Вот они. — Я, не прерывая рассказа, скользнул глазом по глянцу карты и подтверждающе наклонил голову. — Мое большое сердце любило маленькую женщину; мое маленькое сердце любило великий народ. И обоим им, большому и малому, было тесно под моей королевской мантией. Они бились друг о друга, мешая друг другу биться. Это беспо-

коило и мучило меня. Случилось так, что, проездом через Королевство Червей, при дворе моем гостил ученый хирург из Страны Пик. Однажды я, решившись покончить с своим двусердием, призвал хирурга. Он выслушал меня и мои бьющиеся друг о друга сердца и нахмурился.

— Пиковый интерес, — пробормотал он, прибавив к этому дюжину латинских слов.

— Но нельзя ли оперировать: лишнее сердце?

— Которое из них вы, Ваше Величество, считаете лишним?

Три дня и три бессонные ночи промучился я над словом к о т о р о е. Но, увы, народ, который я любил моим малым сердцем, был где-то там, далеко, за стенами дворца; а женщина, которой я отдал свое большое сердце, была тут, возле, у самых распорившихся сердец и сумела защитить от ножа то из них, в котором жила она.

На четвертый день я призвал к себе хирурга.

— Пустите в дело ваши инструменты, — приказал я. — Малое в большом я предпочитаю большому в малом.

— Но, Ваше Величество, учтены ли вами те последствия?..

— Последствия, которые грозят вам в случае ослушания приказу короля, издревле учтены нашими законами. Повинуйтесь, или...

Он вынул свои черные острия, и вскоре я лежал вот на этом столе, ожидая прикосновения скальпеля. Искусной трансекцией он отделил мое малое сердце, бывшее навстречу народу, и положил его к краю операционного стола, вот сюда — где вы его видите и сейчас. Острая боль, полоснув меня по мозгу, оборвала сознание. Когда оно вернулось, я увидел вокруг себя испуганные лица и спину черного доктора, склонившегося над своими закровавившимся черными лезвиями. Обеспокоенный их беспокойством, я попробовал приподнять голо-

ву с плоскости операционной доски кверху: мне это почему-то не удавалось. Сиделки, заметившие мою попытку, тотчас же, льстиво и испуганно улыбаясь, стали впереводку просить меня не приподыматься: «Для вас это сейчас невозможно, Ваше Величество, поостерегитесь, Ваше Величество».

Им долго, пользуясь моей слабостью, удавалось скрывать от меня истину. Но когда я, почувствовав себя несколько крепче, решился, вопреки уговорам и мольбам, покинуть плоскость операционного стола, мне, после сотни отчаянных попыток, открылась страшная истина: отныне мне никогда не подняться кверху от операционной доски, потому что самое к в е р х у оказалось ампутированным вместе с сердцем: правда, моя застарелая запущенная «любовь к народу» окончательно отвязалась от меня... но все-таки, знаете... лучше бы уж...

Тщетно после этого министры пробовали мне помочь: острая плоскостность перешла в хроническую. Напрасно хирург, в операционную к которому каждый день сваливали шесть-семь из числа моих подданных, вырезая сердце за сердцем, пробовал привить их мне, — ничего не выходило: в результате лишь белые поверхности столов покрывались кровавыми шестерками, семерками, девятками. В конце концов, когда почти весь народ был вырезан, вивисектор тайно бежал и всю эту возню с отрезыванием плоского пришлось бросить.

Так угасло некогда сильное Королевство Червей, а моя слава и власть отгтели и стали снедью червей. Но и тут, в изгнании и умалении, где пышность прежних королевских выходов заменилась простым участием в пасьянсах какого-то профессорствующего дурака (правда — благодаря мне — они у него никогда не выходят), — надежда не покидает меня, о путник. Тут, в плоской коробке для игральных карт, затасованный в трепаную колоду, жду я интервенции. Ведь остались еще монархии на земле. И не могут же они потерпеть, чтобы...

— Ваше Величество, — отвечал я, — увы, черви времени не менее искусны, чем ваш черный хирург, и короли, еще королевствующие за пределами вашего бумажного царства, от дня к дню делаются все более и более плоскими, как и вы. Говорят, недалеко то время, когда королям из европейской колоды, привыкшим к забавной «игре в люди», придется превратиться из тех, которые играют, в тех, которыми играют. Я не язычник, но верю в Немезиду.

Наступило тягостное молчание. Поняв, что случай делает легко осуществимым тот план, который понемногу, еще до встречи с королем, стал отчетливаться в моей голове, я, подойдя к самому уху плоского монарха, зашептал с конфиденциальностью заговорщика:

— Во всяком случае, Ваше Величество, я обещаю огласить ваши мемуары в печати. Сейчас это единственный способ, доступный нам с вами, чтобы довести ваши слова до слуха тех, которыми вы хотите быть услышаны.

— Выражаем вам свое благоволение. Просите о чем хотите.

— Мне бы хотелось, Ваше Величество, чтобы прерванный пасьянс удался.

Золотая корона качнулась в знак согласия. Спрятавшись внутрь расщепленного угла одной из карт, я стал ждать дальнейшего. Вскоре раздалися шаги возвращающегося профессора. Огромные руки его забегали по картам: я то взмывал на своей бумажной плоскости, как на планере, в воздух, то скользил вместе с нею книзу. Меня обдавало запахом терпентина и табачной гари и трясло меж дрожащих пальцев старика.

Вдруг:

— Ага, а вот и вышло. Душенька, поди посмотри: вышло. А что я загадал, то загадал: гкх-гкх. Ну, теперь карты под подушку и все сбудется. Ыгкх-ыгкх.

Именно на этом и был построен весь мой расчет: проникнуть к ней на ложе. Когда минуту спустя я, запертый вместе с королем червей внутри тесной и темной коробки, очутился меж матрацем и подушкой, что-то вроде стыда и сожаления забрезжило во мне: история о двух сердцах короля и ее плачевный конец звучали для меня почти угрозой. Мне вспоминалось строгое лицо наставника, беседовавшего всего лишь с моим «большим сердцем», и я ясно понимал, что сюда, под чужую подушку, я приведен другим, маленьким, похотливо трущимся о ребра сердчишком. Предчувствие говорило мне: лишь великое сможет вывести меня из моей малости; малое замкнет меня в моем теперешнем бытии накрепко и навсегда. Но мне не дали долго размышлять: внутрь коробки, вдруг мягко закачавшейся на матрацных пружинах, стал все сильнее и сильнее проникать смешанный запах терпентина и «Шипра». Кровь ударила мне в голову: быстро вскочив, я побежал к ближайшей стенке футляра и, отыскав замочную щель его, — опрометью выпрыгнул наружу.

— Да-да, кстати: у вас под рукой штепсель. Темно: почти как тогда. Включите свет. Так. Теперь вижу: вы улыбаетесь, мой юный друг. Как и я: с е й ч а с. Но тогда мне было не до улыбок.

Не успел я добраться до края наволочки, как началось нечто почти апокалипсическое: полотняная почва задержалась подо мной, вздымаясь шумными антиклиналями. Неизмеримо огромные массы тел задвигались с угрожающей силой вокруг меня. Чувствуя себя схваченным каким-то катаклизмом, я тщетно пытался ухватиться за край бельевой пуговицы, на которую меня швырнуло резким и стремительным толчком. Отовсюду меня било горячим ветром и отовсюду же нависали грозящие рухнуть и расплющить меня колоссальные толщи кос-

тей и мяса. Очевидно, профессор пробовал осуществить загаданное. Почти обезумев от ужаса и омерзения, то проваливаясь в складки разбушевавшегося полотна, то взлетая кверху, вместе с его вздувающейся и хлопающей-ся, как парус под зюйд-остом, тканью, я вдруг, с разлету, наскочил на какое-то огромное, величиной в слона, движущееся и живое существо. Под прыгающим одеялом было абсолютно темно, — но моя ладонь, тянувшись в тьму, нащупала топорщащиеся твердые круглые чешуи чудовища. При первом же моем прикосновении оно взмыло куда-то вверх. И представьте, страх, сцепивший мои пальцы вокруг одной из его чешуй, оказался спасительным: вместе с жестокожим прыгуном я пролетел сквозь душную тьму и вместе с ним же упал книзу. Снова гигантский прыжок — и тут уж я понял: блоха. Я доверчиво прижался к ее скользкому телу и в два-три перелета был за пределами катаклизма.

Но у наружного края матраца, куда меня вынес мой сказочный конь, пружины продолжали еще кряхтеть и шевелиться. Чуть отдышавшись, я стал спускаться по шелковым волосинам одеяла, отброшенного катаклизмом в сторону, книзу, стремясь поскорей добраться до половицы. Но резкий запах аммиака, ползший мне навстречу, путал мои дрожащие от отвращения пальцы, притом шелк скользил под подошвами, — я сорвался и полетел во тьму. Через миг какие-то гибкие ветви захлестали, точно розгами, по моему телу. Хватаясь руками за их упругий изгиб, я, срывая кожу и ногти, рухнул книзу, что-то мягким обухом ударило меня по затылку, — и сознание во мне погасло.

Не скажу точно, сколько времени длилось мое забытьё. Когда мне удалось наконец открыть глаза, то первое, что я увидел, были стволы какого-то фантастического безлистного леса, причудливо сплетающегося надо

мною свои комли. При тусклом брезге дня, еле проникавшем сквозь густую заросль, я разглядел, что стволы деревьев были разных цветов — от черного до светло-рыжего. В некоторых местах их толща была сквозиста, так что сквозь одни стволы можно было смутно разглядеть контуры других. На рыхлой и будто изрытой кротовыми ходами песчано-желтой почве леса не было ни травинки и ни цветка: и даже самый запах этого нового для меня леса говорил не столько о цветах, сколько об обыкновенной дубленой коже. Очарование быстро рассеялось, так как я не мог не понять, что нахожусь не в заколдованном лесу Армиды, «губительницы храбрых», а под волосатым слоем ковровой шкуры, положенной на пол у двуспальной кровати профессорской четы.

И тотчас же я вспомнил все. О, как жгуче я ненавижу тогда ее: если б я мог, то растоптал бы ее, как гадину, но, увы, от этого ей не было бы даже щекотно. И когда я, поднявшись на локте, попробовал сделать более резкое движение, стало ясно, что мне нельзя мечтать не только о мести, но даже о том, чтобы немедленно покинуть шкуру, на которую ведь каждую секунду могла спуститься туфля профессора, плюща меня в ничто. Да, я был слишком неопасным соперником.

Но пока я продолжал неподвижно лежать в чаще шерстистого леса, мысль моя семимильными шагами шагала дальше и дальше.

Абстрагируя ситуацию, я начал с максим, так называемой народной мудрости: что ж, «слоны трутся, комаров давят». Затем от народной мудрости я перешел к мудрости не народной. Мне вспомнился трактат Канта о Лиссабонском землетрясении, а также примечательные размышления Аруэ Вольтера на ту же тему. Понемногу силлогизмы выводили меня за пределы узкого, вершkovого горизонта, и я, смыв с себя желчь и эгоистическую накипь, стал представлять себе недавнюю катастрофу на

матраце, жертвой которой я чуть не сделался, так сказать, *sub specie aeternitatis**.

Еще Аристотель сказал — медитировал я, — что общество — это «большой человек». Допустим, но тогда, значит, я, попавший весьма некстати меж двух для меня, маленького человечка, несомненно «больших людей», очутился в том положении, в котором личности, микро-человеку, суждено пребывать по отношению к обществу, то есть макрочеловеку. Да, в тот день я чуть не сделался анархистом, мой друг.

Здоровье мое быстро поправлялось, и вскоре можно было перейти от размышлений к действиям. Как только я смог подняться на ноги, я побрел, еще не твердо ступая, от ствола к стволу, ища выхода из лесу. Но не тут-то было. Как Данте, заблудившийся в лесной чаще, я временами начинал думать, что близок даже не к середине, а к концу моего жизненного пути. И воспоминания, и предчувствия равно мучили мой утомленный мозг. Если б я мог, я бы бросил позади себя порог дома, завлекшего меня, черту города, в обводе которой я жил раньше, границу и берег страны, которой я был рожден и того ранее, — а между тем я, день к дню, бессмысленно блуждал среди унылых безлистных стволов, не в силах будучи выйти за пределы какой-то дурацкой, вонючей, пропыленной, в аршин длиной, мертвой шкуры.

В конце концов мне удалось достигнуть опушки. Я решил, прячась от подошв в половичные щели, добраться до порога профессорской квартиры и вернуться назад, к пузырьку. Но не успел я сделать и десятка шагов, как вдруг увидел новый лес, который, подобно Бинэмскому, сам двигался на меня. Я уже хотел было бежать назад, предпочитая неподвижный лес лесу, бегающему на своих корнях, но тот, бесшумно скользя, весь в обла-

* С точки зрения вечности (*лат.*).

ках пыли, уже настиг меня. С ловкостью, выработанной во мне опытом последних дней, я схватился за одну из его движущихся вершин, — и в то же мгновение мы заскользили, всем лесом, назад, вдоль половичной щели, по направлению моей мысли: к порогу. Лишь когда лессамобег остановился именно там, где мне было нужно, и я осторожно, по его наклонным вершинам, добрался до порога, — я понял, что выигрышем времени всецело обязан половой щетке, выметавшей меня в обгон мыслям вон из чужой квартиры.

Я оглядел прощальным взглядом мир моих злоключений и готовился перевалить через порог. Но внезапно тихий шуршащий звук привлек мое внимание. Я вслушался: шуршание овнятилось в слова. Правда, иные из них западали, как клавиши разбитого рояля. Считая, что порог за мной обеспечен, я пошел навстречу словам, желая разгадать феномен. Близясь к звуку, я очутился в куче скомканных паутин и сора, вместе с которым я странствовал на щетке. Сначала я не различал говоривших. Затем, взглядевшись, сквозь плетение паутин, внимательнее, я заметил несколько странных, мохнатопалых существ, которые, усевшись чинно в кружок, о чем-то беседовали. Мохнатопалые не замечали меня: двое из них, бывшие ближе всех к моему глазу, сидели, повернув ко мне узкие спины, обросшие серой, под цвет пыли, клочкастой шерстью. Ростом они были несколько ниже моего. Смысл их речей, сразу же заставивший меня притаить дыхание, сделал для меня ясным, что я присутствую на очередном заседании обыкновенных домашних Злыдней.

Еще год тому назад, работая по фольклору, я ознакомился довольно точно с нравами и обычаями этой мелкой домашней нежити, обычно ютящейся по стенным трещинам комнат и странствующей вместе с домашним сором из угла в угол с тем, чтобы серой, скучнящей все

пылью пропылится человеку в глаз и в уши, в мозг и в самые его мысли, делая ему работу неспорой, а жизнь неладной. Это Злыдни, засев внутрь игольного ушка, мешают, вороша мохнатыми лапками, вдеться нитке в иглу; это Злыдни же, пробравшись внутрь уха, умеют зашептать одинокого насмерть. Не могло быть никакого сомнения: сейчас я слышал именно их.

— К порядку дня, — прошепсукал старый серо-седой Злыдень, почесав круглым коготком облезлую сутулую спину. — С недавних пор стали поступать донесения, что от хозяина нашего трупом тянет. Значит, быть ему под лопатой. Верный признак. Предлагаю заранее обсудить: как нам быть с вдовой. Ширх, вы только что вернулись из командировки. Были ли вы там, куда вас посылали: удалось ли вам, Ширх, добраться до губ хозяйки и записать ее шепоты. Ведь мысль людей любит прошептываться наружу, и часто так, что и сами они этого не слышат. Итак, доложите собранию, каковы результаты.

В ответ послышался долгий и трудный кашель, после чего докладчик начал:

— Результаты таковы, товарищи Злыдни, что я промочил ноги и простудился. Вот.

Новый припадок кашля задержал на минуту речь.

— Дело в том, что подступы к бабьим ртам, как известно почтенному собранию, трудны — не за что уцепиться: ни волоска. Желая вернее выполнить свою миссию, я пробрался на любимую диванную подушку хозяйки, на которой она не прочь посумерничать, когда остается одна. После двух дней ожидания мне удалось таки очутиться у самого ее лица, но вышло так, что место, в котором я находился, оказалось под одной из ее бровей. «Плохо», — подумал я, так как знал, что отсюда до верхней ее губы добрый час ходьбы. Надо было не мешкать. Ведь каждую минуту она могла оставить подушку,

и тогда ищи, где хочешь, ее бабьих шепотов. Я быстро зашагал, стараясь поспеть вовремя, но тут, как раз когда я продирался сквозь ее ресницы, огромными черными дугами упершиеся в золотое шитье подушки, на меня полил сверху соленый дождь. Я ускорял шаги, стараясь поскорее добраться до сухого места, но...

— ...но вы дошли все-таки до шепота? — перебил нетерпеливо председатель.

— Видите ли, — пробормотал Ширх, — выбравшись на сухое место, я присел на минутку, чтобы переобуться. Только на минутку. Башмаки мои промокли насквозь. А у меня давний ревматизм. Не могу же я, ради бабьих слез, рисковать своим здоровьем.

— К черту ваше здоровье, — заскрипел председатель, — из-за вашего дурацкого переобувания вы выпустили из своих ушей то, за чем были посланы: слова. Как вы смели, шурший сын, явиться сюда без единого хозяйкиного слова.

— Ну одно-то я все-таки поймал. Правда, издали и краем уха. И если собранию угодно... — Он стал рыться коготками внутри своего вдруг зашуршавшего бумагами портфеля.

— Мы слушаем.

И среди наступившей мертвой тишины я услышал, как прозвучало мое имя.

И через много лет после этого я старался понять, как это могло произойти: Злыдень мог просто недослышать. Может быть, и я не расслышал недослышавшего Злыдня. А может быть... но к чему нам сейчас возиться со всеми этими «может быть». Важно одно: тогда я не усомнился. Радость, острая радость полоснула меня лезвием по сердцу. Вероятно, я даже вскрикнул или сделал резкое движение, потому что Злыдни вдруг замолчали и, пригнув головы к ступням, свернулись круглыми комьями пыли, слившись, до неразличимости, с серой грудой со-

рин и мусора. О, мой друг, никогда, ни прежде, ни после, я не переживал того чувства прозрачной чистоты и растускленности духа, как здесь, внутри грязной кучи мусора, когда я, идя вслед за моим именем, ласково и печально звавшим меня, повернулся спиной к порогу и спешил, раздвигая канаты паутины, преграждавшие путь, навстречу новым приключениям.

Конечно, лишь завязав глаза логике, можно было решиться на это безумие, но меня влекла та алогичная сила, которая притягивает железную пылинку к магниту и заставляет камень падать назад к земле.

Я находился на огромном, прикрытом сверху темной квадрате прихожей, из которой расходились врозь три двери (о последнем обстоятельстве я узнал много позже). Тут не было ни восходов, ни заходов солнца, лишь изредка вспыхвало и гасло ввинченное неподвижно в зенит тускло-желтое светило, которое на прежнем своем языке я бы назвал электрической лампочкой. Ориентироваться было очень трудно, и нет ничего удивительного в том, что я спутал двери. Перейдя через один из трех порогов, я стал продвигаться вдоль половицы, не подозревая того, что вместо будуара я попал в лабораторию. Лишь когда вместо милого «Шипра» мне оцарапало ноздри острым запахом ртути и спирта, я понял, что сбился с дороги. В дальнейшем я решил не доверяться моему миллимикронному шагу (о, если бы к моему бедру в те дни привесить педометр, не знаю, хватило ли бы у него в его барабане цифр) и пользоваться, по возможности, более быстрыми способами передвижения. Сообразив, что старый профессор ходит, и, наверное, регулярно, из будуара в лабораторию и обратно, я решил, подражая бацилле, о которой с таким страхом он однажды говорил, использовать его тело, как некое старое, заклепанное судно, для дальнейшего рейса.

Но, вспомнив рассуждение Злыдня о подступах и подходах, я подумал, что мне опасно иметь дело с подметками шаркающей руины и что гораздо лучше будет устроиться где-нибудь внутри манжеты, что ли. Но доступ к манжетам был возможен лишь с плоскости рабочего стола, по которому шарили, ползая меж приборов, бумаги и склянок, волосатые пальцы ученого. Я решил действовать именно так: искусство брать высоту было мне уже знакомо. Не стану описывать, как после двух-трех дней борьбы за вертикаль я наконец очутился на огромном лабораторном столе. Отовсюду сверкали металлические и стеклянные трубы. Взобравшись на край одного громадного сосуда, я увидел себя на крутом металлическом берегу сине-серого овального озера. Сизые ртутные пары клубились над ним; это была ртутная ванна. Сильная головная боль заставила меня искать других мест для прогулок. Вскоре путь мне преградила стеклянная колоссальных размеров труба, вздутая снизу, наподобие того пузырька, который был виновником всех моих приключений. Подняв глаза кверху, я увидел, что стройный вертикальный стеклянный ствол трубы взят в черную и синюю череду делений и цифр: перспектива, умаляющая предметы, помогла мне понять, что это термометр. Справа и слева, в охвате огромных железных колец, виднелись ряды таких же в цифры одетых стеклянных башен, с острыми, сверкающими шпильями у вершин. Не было никакого сомнения: здесь работали над исследованием температур.

Вначале мне как будто повезло: после двухчасовой погони за пальцами профессора, ползавшими вслед за карандашом по блокноту, мне удалось-таки впрыгнуть на один из волосков и взобраться на бугроватый мизинец экспериментатора. Но через минуту мизинец, покинув бумагу, стал кружить, вместе со всей пятерней, над торчащей снизу, из железного обода, стеклянной трубой

термометра. Любопытство подтолкнуло меня, — цепляясь за бугры кожи, я пробрался поближе к верхушке термометра: на ней не было стеклянного шпिला («Не запаян», — мелькнуло в мозгу), — и, свесившись с ближайшего к стеклу волоска, я мог видеть раскрывшуюся подо мной длинную дыру стеклянного колодца, над которым я наклонился, качаясь на волоске. В ту минуту мне и в голову не могло прийти, что вспугнутые мною Злыдни следят за вторгшимся в их дом существом и что один из них тут же, в трех шагах за моей спиной. И прежде чем я успел осознать опасность, что-то мохнатое прыгнуло мне на спину, вонзившись круглым когтем в кисть руки, охватывавшей волос. Застонав от боли, я попробовал стряхнуть с себя мохнатолапое что-то, цепко охватившее меня сзади. Но от этого волос, на котором повисли мы оба, качнуло еще сильнее, а коготь, разрывая мне рану, делал боль нестерпимой. Слабея, я разжал руку и полетел вниз в раскрытое жерло стеклянного колодца. Жгучая влага залепила мне рот, глаза и уши, но, все еще не теряя сознания, я, нырнув раз и другой, всплыл на поверхность, тщетно цепляясь руками за скользкие стенки. Но влага сама держала мое легкое тело полупогруженным, и вскоре, прислонив спину к стене колодца, я отыскал позу, дающую мне хотя бы подобие отдыха. Рана моя почти мгновенно стянулась, не кровоточа, а два-три глотка той жидкости, поверх которой я всплыл поплавок, наполнили мою голову вопреки всему случившемуся радостным шумом, а мускулы — жаждою борьбы: термометр, очевидно, был спиртовой.

Однако, когда первое действие спирта кончилось и возбуждение упало, я начал чувствовать признаки тоски и страха. Но естественная сонливость, приходящая вслед опьянению, спутала все в моей голове, и я крепко заснул, ногами в спирт, головой в стекло.

Открыв глаза, я увидел: дыра, зиявшая сверху, была остеклена. Я оставался совершенно один, в наглухо запаянном термометре. Выход в жизнь мне, пылиночному человечку, был невозможен: замурованный навсегда в стекле, я должен был ждать лишь одного — смерти.

Однако смерть не приходила: казалось бы, остекленная пустота с выкачанным воздухом должна была быстро отнять дыхание, а там и жизнь. Но, очевидно, желтая тинктура придавала моему телу особую, повышенную смертеупорность. Я и раньше удивлялся своей способности подолгу оставаться без пищи, выдерживать сильные толчки, а главное, той несоразмерной моему теперешнему росту силе, которая позволяла мне преодолевать, казалось бы, и непреодолимые препятствия. Сейчас все это лишь затягивало борьбу, не давая ни малейшей надежды на успех. Злыдни, в дела которых вздумал было я вмешаться, ликвидировали меня: будь я еще там, у тонкого стеклянного шпиля термометра, я мог бы еще надеяться проломать тонкую стеклянную крышку тюрьмы, но здесь, внизу, среди толстых прозрачных стен, я был похож на муху, безнадежно бьющую крыльшками об оконное стекло. Да, черная десятка точно предсказала мне мою судьбу. Мир был близко, тут, за стеклянной стеной, но я навсегда был отрезан от него и выключен из бытия. С мучительной ясностью я вспоминал образ женщины, завлекшей меня сюда, внутрь остекленной пустоты, и страстная жажда вернуться в тот мир, где она овладевала мною: я бился головой о стеклянные стены термометра, прильнув к ним лбом, искал глазами среди маячащих из-за стен контуров очертание ее, — но у глаз алела лишь обратным выгибом цифра «18». Термометр стоял на 18-ти.

Однажды поутру, глянув на стекло, я увидел, что «18» выросло в «20». Не прошло и часа, как «20» поползло куда-то книзу, а сверху надвинулось «21», а потом «22».

Лифт пришел в движение и медленно подымал меня кверху. Теперь, взглядываясь в стеклянный купол своего колодца, я заметил, что он значительно ближе. Поднявшись еще на два-три деления, я увидел широкую царапину, ползшую зигзагами по внутренней поверхности стеклянного колодца к месту запайки. Правда, от нижнего края царапины, представлявшейся мне довольно глубокой рытвиной, меня отделяло еще семь или восемь цифр, чередой подымавшихся по наружным стенкам термометра, — но тотчас же план освобождения, если только оно было возможно, стал ясен сознанию: ждать, пока температура не подымет до царапины, а там, цепляясь за ее края, ползти вверх, по зигзагам, к хрупкому и тонкому куполу, проломать его, и...

Сердце расстучалось во мне от волнения. Я торопил медлительные цифры. По ночам я не спал, стараясь и сквозь темное стекло угадать смену их красных контуров. До края царапины оставалось лишь два деления. Но когда я, дождавшись рассвета следующего дня, готовый начать свой путь к свободе, взглянул наружу, то увидел, у самых глаз, очертание оставленной позади цифры: термометр опускался. Очевидно, период поздних летних жар закончился, там, за стеклом, был уже август, — и сейчас, видя, как зигзагообразная рытвина медленно уползает кверху, я в отчаянии думал, что раньше весны мне никак не добраться до ее края.

Но судьба продолжала дразнить меня: не прошло и нескольких дней, как контуры предметов за стеклом переменились. Вокруг меня заползали длинные тени, термометр раз и другой сильно качнуло, и мое тело, опустившееся было до цифры «14», вдруг быстро стало подниматься от цифры к цифре вверх: очевидно, мы с термометром участвовали в каких-то опытах по термодинамике. Следя за сменой цифр, я чувствовал себя как путешественник, который после долгих странствий воз-

вращается на родину и, глядя сквозь стекло вагона на плывущие мимо глаз названия станций и полустанков, ждет последней пересадки, обещающей ему близкий отдых и радость встреч.

Я видел ее, дразнящую своим уползающим вверх зигзагом, проклятую рытвину, видел, почти у глаз: еще толчок, еще одна калория, и я бы дотянулся пальцами до ее края, и тогда... но спасающая черта снова стала отдаляться. Сдерживая накапливавшееся во мне бешенство, я успокаивал себя, говоря, что опыты еще будут повторены, что еще не раз старый профессор будет меня гонять по вертикали вверх и вниз, пока я не достигну-таки, рано или поздно, нужной мне черты.

Но опыты не повторились. И странно: самые движения контуров и теней, окружавших меня ранее, почему-то прекратились. Я долго ломал себе голову, стараясь понять причину внезапной обездвиженности мира за стеклом, пока одна фраза из разговора Злыдней, всплыв как-то в памяти, не дала более или менее вероятного объяснения происходящему. Наверное, профессор серьезно заболел и работа в лаборатории остановилась. Тысячи предположений, одно другого мрачнее, закопошились в моем мозгу: если она, думалось мне, делается свободной, то как захочет она использовать свою свободу? И нужно ли мне, здесь, в стеклянном мешке, ждать освобождения от весеннего тепла: весны делают свое дело не только внутри стеклянных трубок, но и внутри артерий и вен; она юна, нас ничего не связывает, кроме десятка случайных встреч на лестнице и у подъезда, мы не сказали друг другу ни единого слова, кроме того, которое украли у нее Злыдни, — и на что могу рассчитывать я, человек внутри стеклянной пустоты.

Нервы мои были натянуты до последней степени. И когда однажды, глянув сквозь толщу стекла, я увидел одного из Злыдней, который, уцепившись снаружи за

слоем краски, из которой была сделана цифра, с злорадным любопытством разглядывал меня, диковинное существо, изловленное ими в стеклянную клетку, я не выдержал и закричал от стыда и гнева, но крика не получилось: безвоздушная пустота убила его прежде рождения, и я бессильно и беззвучно бился внутри своего колодца.

Только теперь я догадался, почему контуры и тени, отмаячившие вокруг меня, все время были беззвучны: приди сейчас о н а и повтори мне т о слово, я, включенный в безвоздушие, не мог бы услышать его. Я дошел до той черной черты, дальше которой нельзя. Меня жалили мысли, и я решил вырвать им их жало: не видя иного способа, я стал пить. Ведь я плавал поверх спирта: стоило мне лишь нагнуться, и после десятка глотков в голову всачивалась муть, мысли качались и тухли. Сознание, перед тем как погаснуть, вспыхивало причудливыми грезами и фантазиями: самый запах спирта преображался в тонкое благоухание «Шипра», и по мерцающему стеклу прозрачной темницы, как в сказке Андерсена, ползали скользкие и пестрые сны.

Проснувшись с головной болью, я оглядывал все тот же обездвиженный и беззвучный мир вокруг меня и снова гасил сознание спиртом: вскоре можно было заметить, что я, говоря без всяких метафор, о п у с к а ю с ь: деление за делением, цифра за цифрой. Видя уходящий с каждым днем все дальше и дальше от глаз потолок, понимая, что жажда моя, делавшаяся неутолимее от дня к дню, тянет меня к дну и отнимает единственный шанс, я пробовал бороться с нею — и не мог: спирт убывал, и вместе с ним опускался книзу и я. Внутри своего безвоздушия я не слышал, как отпевали старика-профессора, и с пьяных глаз не уловил момента, вероятно, внезапно возникшей вокруг меня похоронной суетни и движения: я уже успел привыкнуть к тому, что алкоголь раскачивал и шевелил контуры и тени, в которые был

впутан я, и утратил грань между реальным и нереальным. Поэтому я не сразу осознал, что произошло, когда меня вдруг ударило звуком о слух и сильно и резко швырнуло в сторону. Привычным движением я потянулся к стенке, но вместо стенок была пустота. Сразу же, отряхнув с себя хмель, я недоуменно огляделся по сторонам: ни справа, ни слева, ни сверху стекла не было; я стоял, ясно чувствуя опору под собой, по грудь в луже спирта, неподалеку же сверкала огромная глыба битого стекла, а об уши бился чей-то грузный удаляющийся шаг. Как я узнал впоследствии, термометр, в котором я провел шесть месяцев сряду, был разбит случайно, во время той обычной уборки и перестановки вещей, какая происходит после похорон, когда нужно как-то по-новому заполнить пустоту, оставленную той вещью, которую вынесли, запрятав в гроб, прочь из привычного сцепления вещей и тел с вещами и телами.

Но в самый момент освобождения я мало был склонен к размышлению о причинах и следствиях: неожиданно брошенный из смерти в жизнь, я с трудом верил своему счастью, — и, боясь, что стеклянный мешок снова сомкнется вокруг меня, я то шел, то бежал, боясь, что смерть возобновит свою погоню.

Теперь я точно знал, куда иду: к склянке и к знаку. Я уже видел себя в своем прежнем большем теле, я уже видел мои встречи с нею, но по пути мне все же надо было опасаться ее подошв; попади я сейчас, до преобразования, под одну из них, и меня бы вывели вместе с сором и пылью вон, не удостоив даже тех торжественных обрядов, какие были применены к праху старого профессора.

В дальнейшем возвратный мой путь был довольно благополучен: достигнув порога, я очутился на лестнице. Ступеньки ее были для меня опасны: я стал спускаться по железной штанге, скрепляющей их сбоку; ее ров-

ный наклон и скользкая поверхность позволили мне сократить время путешествия, спускаясь по ней сверху, как по ледяной горе. Раньше чем я мог рассчитывать, я был у двери, вводящей в мою комнату. Добраться до замочной скважины было чрезвычайно трудно. После двух-трех неудачных попыток я стал искать иной лазейки: вскоре узкая щель меж порогом и дверью помогла мне, правда с трудом, но протиснуться в свое старое обиталище. Затем два дня форсированного марша вдоль хорошо знакомой мне половицы, и я снова стоял у стеклянного туннеля-склянки. Помню, у самого входа в стеклянный колодезь склянки, как ни жадно стремился я к ней, я на минуту задержал шаги: после всего, что произошло, я боялся войти внутрь стекла; мне казалось, что я могу быть опять изловлен в стеклянный мешок. Но, преодолев пустой страх, я, конечно, достиг магического знака и коснулся его; в тот же миг будто что взорвалось в моем теле: разбухая со страшной силой, оно заполнило всю полость туннеля; стеклянные стены его хрустнули, как скорлупа яйца, а тело, все разбухая и разбухая, возвратило меня в мою прежнюю меру и в старое пространство.

Я сделал шаг-другой к двери, в одну секунду свершая труд моего прежнего страннического дня, — и вдруг услышал топот подошв и шум голосов за доской двери. В первый момент близкий звук подошв заставил меня инстинктивно скорчиться и искать укрытия, чтобы не быть раздавленным. Но, вспомнив, что превращение уже позади, я громко засмеялся и, отыскав ключ, подошел к двери. За дверью как-то тревожно, почти испуганно, зашептали. Помедля минуту, я вдел ключ в замочную скважину, но, странно, — бородка его встретилась с бородкой другого ключа, одновременно сунувшегося в скважину снаружи. Столкнувшись, оба ключа тотчас же выдернулись обратно.

— Кто там? — спросили нетвердым голосом.

Я спокойно назвал себя. И тотчас же я услышал шум убегающих подошв. Недоумевая, я вложил ключ в опроставшуюся скважину и отщелкнул замок. Что-то мешало снаружи открыть мне дверь: я дернул сильнее, дверь распахнулась, а у ног моих на обрывках веревки лежала сломанная сургучная печать. Очевидно, комната моя, в месяцы безвестного отсутствия, была опечатана, и комиссии, пришедшей вскрыть ее, довелось встретиться с безвестно отсутствующим, проникшим в свою комнату сквозь опечатанную дверь. Мои прежние серьезные занятия обеими магиями не создали мне ореола, но достаточно было одного глупейшего случая со стальными бородками, ткнувшимися друг в друга, чтобы создать мне славу новоявленного Калиостро. Да, мой милый, люди никогда не умели отличить мистерии от фокуса.

II

Когда я, днем позже, встретился с той, с которой потерял было надежду встреч, мы обменялись улыбками и поклоном. Ее лицо было обернуто в складки крепа, под ногами стлался скрипучий мерзлый снег, но во мне, обгоняя медленные календарные листы, уже наступала весна. И когда из-под оттаявших бульжинок города поползла, тискаясь в щели, анемичная желто-зеленая травка, а синие стебли уличных термометров тоже стали длиниться навстречу солнцу — и я и она, мы перестали прятать друг от друга те простые, но вечные слова, которые по весне вместе с почками, зябко втиснувшимися в ветви, прорывая тусклую кожуру, лопаются и раскрываются наружу, в мир.

Скоро я стал частым гостем в стране моих долгих и трудных странствий. Мы не стали выжидать, пока черви, как полагается, доедят профессора, — и отделились друг другу. Счастливую развязку ускорило и то интригующее мою возлюбленную всезнание, которое я обнаружил, рассказывая ей, в первых же наших беседах, о всех интимнейших деталях ее жизни, которые знали лишь она, Злыдни да я. Многие во мне пугало ее и казалось странным, но таинственность и страх верные союзники на пути к женскому сердцу.

Время быстро катило вперед, и часовая стрелка, высунувшись из его кибитки, задевала о дни с той же быстротой, с какой шпага Мюнхгаузена стучала, при тех же обстоятельствах, о верстовые столбы. Сначала я отдавал любимой женщине все досуги; потом досугов не хватило — я стал красть для нее время у рабочих дней. Учитель мой нахмурился.

— Предупреждаю вас, — сказал он мне однажды, — если история о двух сердцах, которую открыла вам моя желтая тинктура, ничему вас не научила, — мне придется прибегнуть к склянке с синими каплями. Сила стяжения, скрытая в них, много больше. Но и испытание, и путь, таимые в ней, труднее и жестче.

Я не донес с собой слов учителя дальше порога. И так как я обронил слова, то вскоре мне предстояло поллучить пузырек, полный притягивающих, но страшных возможностей.

Тем временем солнечно-ясный мирок, в котором я продолжал жить, стал мутнеть и блекнуть, и любовь моя день ото дня становилась все тревожнее и печальнее. Глаза подруги глядели уже не так и были уже не те. К ясному звуку ее голоса примешивались какие-то мучающие обертона, к меду — полынь, а к вере — подозрение и ревность. Иногда я видел в руках ее какие-то узкие конверты, инстинктивно отдергивающиеся от моего взгля-

да; иной раз, придя раньше условленного часа, я не заставал ее дома; раз или два, во время внезапной встречи с ней на улице, я подметил выражение досады и испуга, скользнувшее по ее лицу. Объяснения ее были как-то спутаны и гневно возбуждены. Мне отвратительны нелепые сцены или хотя бы расспросы: я молчал, но серая паутина подозрений оплеталась вокруг меня все цепче и цепче, и какие-то пыльные дробные мысли топтались на серой корке мозга.

«Кто знает, — говорил я себе, — если Злыдни толкнули меня тогда в пустоту, то не они ли толкнули под руку того, кто ее уронил и тем раскрыл для меня мою прозрачную тюрьму». Да, я чувствовал, как серые мохнатопалые Злыдни заворошились во мне, полня собою мои глаза и уши, — и я стал думать, что только им, неприметным, ведомы все те неприметности, которые, оседая серыми пылинными слоями, мучили меня и не давали мне жить. Я — существо, вернувшееся в свое неповоротливое и огромное тело, — потерял сейчас власть над ускользающей от касания и видения неприметностью, в которой и пряталось то мучащее меня ч т о - т о, которое превращало все «да» в «нет», все «ты» в «он».

«Что ж, — размышлял я, — может быть, опять предпринять путешествие к Злыдням? Они знают. Но захотят ли они сказать? И чему больше верить — нежитям или жизням: моей и ее?»

Помню, эта мысль впервые затлепа во мне в одни из сумерек, когда я — что теперь все чаще и чаще случалось — сидел в будуаре, дожидаясь знакомых легких шагов. Но она все не приходила.

Помню, в нетерпении я поднялся и зашагал из угла в угол: под подошвы мне то и дело попадалась мягкая шкура, глушащая шаги. Вдруг я остановился, помню и это ясно, и, став на колени, долго и пристально рассматривал рыже-бурую шкуру, вороша ее шерсть меж паль-

цев. Воспоминания вдруг хлынули на меня — и я, день за днем, час за часом, с лицом, наклоненным над густой щетиной ковра, повторял труды и мысли оставленного позади пути.

— Опять заблудился, — прошептал я и поднялся с колен. Новый путь звал меня. Наутро я получил от учителя синюю тинктуру. Оставалось лишь сделать некоторые приготовления и довериться будущему, ждущему меня под притертой пробкой еще не вскрытой склянки. От неизвестности, всочившейся в меня, я бежал в неизвестность, запрятанную внутрь синих капель. Настало время: сменить стук сердца на стук шагов.

Мой второй старт состоялся в один из дней ранней осени. За окном ветер рвал и комкал листья и швырял пылью в окна. Я не застал ее — женщины, которую любил: это, конечно, несколько меня не удивило. В прощаниях я не нуждался.

На привычном месте, у края будуарного столика, лежали ее любимые, старинной работы, часики. Сегодня она забыла и их.

С минуту я слушал звонкое тиканье, напоминавшее чей-то мерный и drobный шаг, а потом подумал: пора. Сняв одутлое, хрупкое стеклышко с циферблатных цифр, я выпилил тонким напильником, припасенным заранее, еле заметную треугольную выемку в край стекла. Затем вставил его обратно. Теперь для меня имелись проломные воротца, вводящие на белую поверхность циферблата.

План мой был прост: зная, что женщина, одиночество которой я хотел изучить, редко когда расстается с этим вот металлическим, тихо тикающим существом и часто ищет своих условленных минут и сроков у острив шевелящихся стрелок дискообразного существа, я решил поселиться на скользкой, эмалевой коже его ци-

ферблата и сквозь прозрачный купол наблюдать за всем происходящим.

Проделав операцию, сплющившую меня в существо много меньше Злыдня, я без труда отыскал треугольную лазейку. Когда я вступал на край циферблата, часовая стрелка, против острия которой я впилил свой импровизированный вход, успела отползти относительно недалеко, и, повернувшись влево, я мог ясно видеть ее, черным и длинным висячим мостом протянувшуюся над головой. Металлический пульс, резонируя о стеклянную навесь высоко вверх уходящего свода, с оглушительным звоном бился о мои уши. Сначала огромный белый диск, по которому я шел, направляясь к центру, сразу же мне почему-то напомнивший дно круглого лунного кратера, — долгое время казался мне необитаемым. Но вскоре мной овладело то ощущение, какое испытывает путник, проходящий, во время горного подъема, сквозь движущиеся, смутно видимые и почти неосязаемые облака. Лишь после довольно длительного опыта и я стал различать те странные, совершенно прозрачные, струящиеся существа, которые продергивались мимо и сквозь меня, как вода сквозь фильтр. Но вскоре я все же научился улавливать глазом извивы их тел и даже заметил: все они, и длинные, и короткие, кончались острым, чуть закорюченным, стеклисто-прозрачным жалом. Только пристальное изучение циферблатной фауны привело меня к заключению, что существа, копошившиеся под часовым стеклышком, были б а ц и л л а м и в р е м е н и.

Бациллы времени, как я вскоре в этом убедился, множились с каждым дергающимся движением часовой, минутной и даже секундной стрелки. Юркие и крохотные Секунды жили, облепив секундную стрелку, как воробьи ветвь орешника. На длинной черной насести минутной стрелы сидели, поджав под себя свои жала, Минуты, а на медлительной часовой стреле, обвив свои

длинные, членистые, как у солитера, тела вокруг ее черных стальных арабесков, сонно качались Часы. От стрел, больших и малых, отряхиваемые их толчками, бациллы времени расползались кто куда: легко проникая сквозь тончайшие поры, они вселялись в окружающих циферблат людей, животных и даже некоторые неодушевленные предметы — особенно они любили книги, письма и картины. Пробравшись в человека, бациллы времени пускали в дело свои жала: и жертва, в которую они ввели токсин длительностей, неизбежно заболела Временем. Те из живых, на которых опадали рои Секунд, невидимо искусывающие их, как оводы, кружащие над потной лошастью, — жили раздерганной, рванной на секунды жизнью, суетливо и загнанно. Те же... но воображение вам, мой друг, доскажет лучше моего.

До своих блужданий по циферблатной стране я представлял себе, что понятия порядка и времени неотделимы друг от друга: живой опыт опрокинул эту фикцию, придуманную метафизиками и часовщиками. На самом деле сумбура тут было больше, чем порядка! Правда, почти каждая, скажем, Секунда, вонзив в мозг человеку жало на глубину, равную себе самой, тотчас ж выдерживалась из укушенного и возвращалась назад под циферблатное стекло доживать свой век в полной праздности и покое. Но случалось иногда, что бациллы времени, выполнив свое назначение, не уступали места новым роям, прилетевшим им на смену, и продолжали паразитировать на мозге и мыслях человека, растравляя пустым жалом — свои старые укусы. Этим несчастным плохо пришлось в дни недавней революции: в них не было... м-м... иммунитета времени.

О да, мой друг, уже несколько лет спустя, работая в своей лаборатории, я положил много труда, стараясь, подобно Шарко, изготовившему свою противочумную сыворотку, дать страждущему человечеству п р и в и в к у

от времени. Мне проблема не далась: значит ли это, что она не дастся и другим?

Мой первоначальный план пришлось в корне изменить: то, чего я искал за стеклом, оказалось тут, под стеклом. Все прошлое моей возлюбленной, правда разорванное на мгновения, ползало и роилось вокруг меня.

Как-то случайно, изловив одну из юрких секунд, я, несмотря на ее злобное цоканье и тиканье, крепко сжал ее меж ладоней, всматриваясь внутрь ее бешено извивавшегося тела, — и вдруг — на прозрачных извивах Секунды стали проступать какие-то контуры и краски, а цокающий писк ее вдруг превратился в нежный звук давно знакомого и милого — милого голоса, прошептавшего, тихо, но внятно, мое имя. Я вздрогнул от неожиданности и чуть не выпустил из рук изловленного мгновения: несомненно, это была та, выслеженная Злыднями Секунда, которая вела меня, уже несколько дней кряду, и сквозь радость, и сквозь страдание. Теперь она была в моих руках: отыскав тонкий и гибкий волосок, я стянул его петлю вокруг бессильно шевелящегося жала Секунды и стал водить ее всюду за собой, как водят комнатных мопсов или болонок.

Дальнейшая моя охота за бациллами времени только подтверждала феномен: очевидно, бациллы длительностей, введя в человека время, вбирали в себя из человека в свои ставшие полыми железки содержания времени, то есть движения, слова, мысли, — и, наполнившись ими, уползали назад в свое старое циферблатное гнездовье, где и продолжали жить, как живут отслужившие ветераны и оттрудившиеся рабочие.

Однако если я наблюдал и изучал эти странные существа, то и сам я, в свою очередь, подвергся слежке с их стороны. Мои несколько хищнические повадки, конечно, не могли им особенно нравиться. Раздражение, вселенное мною в аборигенов циферблатной страны, от

дня к дню возрастало и ширилось. Особенно опасным оказалось для меня то обстоятельство, что среди роя отделившихся длительностей оказалось несколько миггов, еще задолго до этого сильно пострадавших от меня и давно уж сеявших недобрые слухи о непрошеном пришельце. Дело в том, что еще под действием желтой тинктуры мое тело, как вы, вероятно, помните, так быстро и внезапно сплющилось и стянулось в малый комок, что бактерии времени, ютившиеся в моих порах, внезапно были ущемлены и с трудом могли выползти наружу. Эти-то инвалиды и обвиняли меня в злонамеренном покушении на их жизнь. Так как я плохо еще понимал металлически-цокающие и тикающие звуки бактериального языка, то и не мог вовремя предупредить опасность, тем более что самое время восстало тут против меня.

Началось с того, что те самые крохотные по размерам бактерии длительностей, какие сейчас, при всем моем умалении, обитали внутри меня, под давлением общего настроения решили бойкотировать меня, и на некоторое время я остался без времени. Мне не сыскать слов, чтобы хотя мутно и путано передать испытанное мною тогда чувство обезвременности: вы, вероятно, читали о том, как отрок Якоби, случайно ударившись мыслью о восемь книжных значков *Ewigkeit**, испытал нечто, приведшее его к глубокому обмороку и длительной прострации, охватившей вернувшееся вспять сознание. Скажу одно: мне пришлось вынести удар не символа, а того, что им означено, войти не в слово, а в суть.

Бактерии времени вернулись в меня, но лишь затем, чтобы подвергнуть мучительнейшей из попыток: попытке длительностями. Включенный опять во время, я, раскрыв глаза, увидел себя привязанным к за-

* Вечность (нем.).

остренному концу секундной стрелки: мои руки, мучительно выгнутые назад, терлись о заднее лезвие движущейся стрелы, переднее же ее лезвие, вонзаясь мне в спину, сильными и короткими толчками гнало меня по делениям секундного круга. Вначале я бежал что есть мочи, стараясь предупредить удары лезвием о спину. После двух-трех кругов я ослабел и, истекая кровью, с полупотухающим сознанием, свис со стрелы, которая продолжала меня тащить вдоль мелькавших снизу делений и цифр. Но страшная боль от копошащегося в теле лезвия заставляла меня, собрав силы, опять бежать вдоль вечного круга среди злорадно расцокавшихся и издевающихся надо мной Секунд. Во время гражданской войны мне довелось как-то мельком видеть, как конный осетин, закинув аркан на тонконового жеребенка, тащил его за собой: животное не поспевало за натянувшимся канатом, тонкие и слабые ноги его путались и подгибались, но веревочная петля тянула его спиной и брюхом по камням шоссе и заставляла бежать и падать, падать и снова бежать на искалеченных и дрожащих ногах.

Пытка продолжалась без перерыва: и я знал, что моя возлюбленная, оставшаяся там, за стеклом, каждый день заводит свои часики, толкающие лезвия, к которым я был привязан, все снова и снова вперед. Однажды, во время моего кровавого пути, какая-то легкая движущаяся тень прохладными черными пальцами прикоснулась к моей всклочеченной и потной голове. Я поднял глаза: прямо надо мной медленно плыла огромным, плашмя занесенным надо мною мечом стрела, указующая часы. И вдруг среди отвратительно цокающих бацилл я услышал тихий шуршащий голос, заговоривший со мной по латыни:

— *Omnia vulnerant, ultima necat**.

* Все ранят, последняя убивает (*лат.*).

Всмотревшись по направлению звука, я увидел у самого края повисшей надо мной стрелы привязанное, как и я, прозрачно-серое, кристаллической формы существо, сочувственно мне замерцавшее своими живыми гранями. Я было хотел ответить, но нумолимая секундная стрелка уводила меня куда-то в сторону от неожиданного собеседника, и, когда, протаскив меня по кругу, она вернулась к прежнему делению, острия наших стрел уже развело и дальнейшая конфиденциальная беседа была невозможна. Но слова сочувствия, оброненные незнакомцем, придали мне силы — бороться и жить. До новой встречи с часовой стрелкой мне предстояло семьсот двадцать полных кругов, и каждый круг стоил доброй Голгофы.

Рассказ кварцевого человечка, с которым нас сводили лишь на минуту-другую наши пересекающиеся пути, чтобы тотчас же на бесконечно долгие годы развести врозь, сложился постепенно, сросся из малых кусков, как мозаика из разных камешков. Вот он:

— В это циферблатное захоlustье я попал, как и вы: властью судьбы. Бесполезно пытаться разгадать ее загадки. Много веков тому назад мне довелось жить в ином, родном моей песочной природе, мире. Это не был глупый и плоский циферблат, о нет, вместе с толпами других песчин, общительно и доверчиво тершихся друг о друга, я был вселен в прекрасный, из двух сросшихся вершинами стеклянных конусов сотворенный мир. — Мой новый знакомец говорил чуть витиевато, притом я слабо разбирался в латинской фразеологии и потому не сразу понял, что речь идет о песочных часах. — Вначале я находился в верхнем конусе. Там было шумно, весело и юно. В нас жили души грядущего. Мы, несвершившиеся миги, толкаясь гранями о грани, с веселым шуршанием проталкивались к узкому часовому устьюцу, отсчитывающему бег настоящего. Каждому из нас хотелось

скорей пролезть в это настоящее и прыгнуть, в обгон другим, в его узкую, схваченную стеклом дыру. Стремление она стоящая охватило меня с непреодолимой силой: опадая вместе с слоями других, пробующих обогнать меня песчинок, я, пользуясь отточенностью своих граней и относительно тяжелым весом, царапая и расталкивая соперников, довольно быстро протискался к яме. Скользя меж двух-трех напрасно пытавшихся мне преградить дорогу бегунов, я прыгнул в вдруг разверзшуюся подо мной пустоту. Правда, в последнее мгновение какой-то страх схватил меня за грани, но было уже поздно: сверху давила масса бегущих вдогонку мне песчин, а скользкое стекло толкало внутрь новой, конусом раскрывшейся остекленной пустоты. И пролетев через нее, я больно ударился о верхний слой песчин, с трупной неподвижностью устилавших дно запрокинутого вершиной кверху конуса. Я пробовал было пошевелиться, мне хотелось назад, в тот верхний полумир, из которого я, одержимый безумием, бежал сюда, на кладбище отдалившихся мигов. Но я не мог сделать ни малейшего движения: путы, связывающие меня сейчас, ничто в сравнении с той обездвиженностью и конченностью, какие овладели мною тогда. Лежа, с гранями, недвижимо втиснувшимися меж граней других падших мигов, я видел, как новые и новые их слои все глубже и глубже погребали меня среди заживо мертвых.

Казалось, все было кончено — вдруг резкий толчок опрокинул все наше кладбище дном кверху, и мы, отделившиеся длительности, вывалившись из вздыбившихся могил, снова ринулись в жизнь. Очевидно, произошла какая-то космическая катастрофа, опрокинувшая бытие и заставившая отлечьшее и незатлечьшее, прошлое и грядущее обменяться местами. О да, тот двудонный мир, который мне пришлось променять на вот эту глу-

пую черную насесть, мог то, чего иным мирам не дано. И если бы...

Тут я прервал говорившего. Механизм часов не разлучал наши слова. Я боялся, что мне не хватит биения сердца до новой встречи: надо было торопиться.

— Мне все равно, — сказал я, — пусть ваша вселенная лишь простые песочные часы. Я хочу быть там, где прошлое умеет превращаться в грядущее. Бежим. Бежим в вашу двудонную родину, в страну странствующих от дна к дну. Потому что я — человек без грядущего.

Пока я говорил, лезвие стрелы успело увести меня так далеко от собеседника, что я не мог расслышать его ответного шуршания. Кричать было опасно: вокруг снова бациллы времени. Я замолчал и, напрягая последнюю волю и последние силы, продолжал свой бег, кровавя циферблат израненными ступнями. Я потерял счет черным делениям круга, бегущим мне навстречу. В глазах у меня плыла кровавая муть, и казалось, что сердце бьется на истонченной, готовой вот-вот оборваться нити. «Конец», — подумал я в предсмертной истоме и вдруг увидел себя распростертым вдоль черных делений круга, с руками, свободно распластанными по эмали. Что-то серое и острогранное, ласково шурша, возилось около меня, стараясь оттащить меня в сторону от черных черт.

— Скорей, — прошуршало над ухом, — через полминуты стрелка вернется. Мужайтесь. Держитесь вот за эту грань: так. Идем.

И мой спаситель, переваливаясь, как танк, с грани на грань, тащил меня к циферблатному центру.

Понемногу я стал приходить в себя и мог, хотя и с большим трудом, идти без посторонней помощи. Из двух-трех торопливых фраз, брошенных спутником, я узнал, что острые грани его кварцевого тела помогли ему перерезать пути и что сейчас нам надо спрятаться

от возможной погони внутрь часового механизма. Когда я сообщил спутнику о треугольной лазейке у края циферблата, он было заколебался, но когда мы повернули назад, было уже поздно: длинные цепи прозрачных бактерий ползали по белому циферблатному полю, стараясь охватить нас в кольцо. Я видел, как злобно ворошились их жала и как тела их, неслышно изгибаясь, не оставляя ни тени, ни отражения внутри стеклистого диска, с каждым извивом были все ближе и ближе.

— В механизм. Больше некуда, — проскрипел спутник, злобно ворочая кремнистыми ребрами.

— Но как?

— Хронометр стар; трением оси размолото эмаль: попробуем протиснуться.

Для меня это было не слишком трудно. Но моему танковидному спутнику пришлось долго хрустеть своими ломкими гранями, прежде чем околоосевая щель была взята, и мы оба, цепляясь за зубья и винты, стали осторожно нырять внутрь движущейся тьмы часового механизма. Сначала наши глаза ничего не различали: потом смутное алое свечение помогло нам различить какие-то очертания и контуры стальных выступов, шумно трущихся и со звоном ударяющихся друг о друга. Это был свет, сочащийся из самоцветного тела рубинов, вправленных в сталь: их призрачная флуоресценция вела нас своими дрожащими алыми бликами с зубца на зубец, часто спасая от их страшных ударов, протянувшихся из темноты.

— Ну, эти плоскохвостки сюда не посмеют, — презрительно выскрипела песчинка. — Только и умеют, что ползать вслед за своими стрелками, а в двудонность ни-ни. И подумать, — добрюзжал он недовольными осыпающимися словами, — до чего дожили: время и то приплющено к диску.

Я не разделял философских взглядов моего древнеримского друга: но сейчас меня интересовала не метафизика времени, а вопрос о том, как нам выбраться изпод наглухо защелкнутой задней крышки часов. Сев под шевелящимися красными лучами рубина, мы долго дискутировали на эту тему. Я предлагал, выждав время, все-таки попробовать, вернувшись на циферблат, прокрасться к лазейке. Но мой друг не желал вторично рисковать своими ребрами и предлагал более замысловатый проект.

— Отчего бы нам не попытаться остановить часы? Ведь стоит выдернуть волосок, движущий вот это все, что вокруг, и нас, вместе с всей этой стальной неразберихой, отдадут в починку: крышка отщелкнется и откроет путь.

И мы пошли, вернее, поехали на кружащих зубцах, изредка пересаживаясь с карусели на карусель. Диаметры кружащей стали становились все короче, пока наконец самое малое колесико не подвезло нас к ровно дышащей спирали, то сжимавшей, то разжимавшей свое змеевидное тело в красных бликах, проникавших откуда-то сверху.

— Я им разрушу их мастерню времени, — прошуршал мой спутник и, переваливаясь с грани на грань, стал осторожно придвигаться к извиwu стальной змеи. Я хотел ему помочь, но заботливый друг, напомнив о моих еще не заживших ранах, сказал, что управится и сам.

Я видел его наклоненным над упругим дыханием стали. Он успел уже протиснуть свои острые ребра к металлическому зажиму волоска, неуклюже ворошась у самого его корня, как вдруг, видимо, не учтя движения, попал под удар его стального извиwa. Миг — и тело его, сверкнув гранями, взмыло кверху и, звякнув о пододвинувшийся сверху острый зубец, тяжело рухнуло назад, в стальные тиски мерно дышащей пружины. Но верный друг и умирая продолжал борьбу: я видел, как, крошась

рыхлой пылью в стальном охвате змеи, его тело продолжало втискиваться еще глубже в суживающий его зажим. И пружина, все замедлявшая и замедлявшая свои судорожные движения, дернулась раз, еще раз — и стала. С криком отчаяния я прыгнул вниз, окликая друга. Но он уже успел замолчать навсегда. И молчание смерти, будто расплзшись от его неподвижного серого тела по спицам радиусов, остановило разбег колес, лязг зубцов и стук стали о сталь — и вся только что шумевшая и грохотавшая фабрика времени вдруг замолчала, оставив меня одного в беззвучии и тьме над трупом моего единственного друга. Медленно, цепляясь глазом за рубинные блики, я подымался среди той особой «железной тишины», на которую впоследствии, кажется, покушалось перо одного из ваших писателей. Достигнув вогнутого dna глухой крыши остановившегося хронометра, я должен был еще день-два ждать, пока ее раскроют настезь, в свет. С первым же ударом солнечных лучей я, жмуря свои отвыкшие от дня глаза, быстро выпрыгнул наружу.

Мои предположения оправдались: я находился на рабочем станке часовщика и через минуту после освобождения должен был прятаться от выпучившегося на меня стекла лупы, повисшего надо мной: быть замеченным часовщиком, разумеется, не входило в мои расчеты.

Стараясь держаться неподалеку от часов моей возлюбленной, я дождался, когда ход их опять возобновился, и тотчас же запрятался поглубже в один из золотых рубчиков головки, которая, вращаясь, заводит часы. Раз или два мне пришлось прокружить, сжавшись в комок под едко пахнущими пальцами мастера. Но внезапно я услышал знакомое, дразнящее благоухание и тотчас же стал выкарабкиваться из своего тайника. Прямо надо мной была роговая навесь ее прозрачного ногтя: срываясь и падая, я все же успел пробраться в щель меж кожей и ногтем моей подруги, и острый припадок счастья за-

ставил меня плакать слезами встреч. Мне не хватило бы строф и слов Песни Песней, чтобы выразить то чувство, какое рождала во мне близость к избраннице. Пусть эти пряно благоухающие пальцы, еще незадолго до того вращая золотые рубцы заводного стержня, осуждали меня на кровавую череду Голгоф, пусть и сейчас упругий ноготь избранницы мог раздавить меня, как жалкую мошку, — я благословлял и страдания и смерть, потому что и смерть и страдания были от нее. И когда, будто в ответ на мое счастье, стальное лезвие, нежданно сверкнув надо мной, вдруг врезалось в толщу ногтя, за край которого я цеплялся («Ножницы», — дернулось в мозгу), — во мне не было ни мига страха или гнева. Ловя губами роговой блеск ногтя, отстриженный вместе с ним, я покорно рухнул вниз.

По счастью, до мягкой скатерти стола, на которую мы упали, было совсем близко: я даже не расшибся.

О, мой милый юноша, если б сейчас кто-нибудь стал мне доказывать, что вся моя библиотека, выменянная на мерзлый картофель, не стоила и картофельной шелухи, я, пожалуй, не стану спорить, — но если вы захотите утверждать, что магия, таящаяся в любви, лишь вымысел дураков и поэтов, то... я с вами тоже не стану спорить, но буду твердо и четко знать, что вы еще не постигли любви: ведь это целых две магии — черная и белая, — сочетающиеся, как белые и черные клетки шахматной доски. И если уж кончат сравнение, я, в дни своих странствий, был больше похож на шахматную деревяшку, заблудившуюся в черно-белой путанице, чем на шахматиста.

Но к делу: в тот миг обнимать отвалившийся кончик ногтя возлюбленной мне уже казалось малым, мне нужна была она вся, — и, охваченный жаждой возврата, я зашагал по прямой, держа путь к пузырьку, запрятанному, как точно помнил, здесь же, на столе, под металли-

ческим вгибом чернильницы. Тут-то и пододвинулась мне под шаг черная клетка шахматницы любви: и странно, что с виду она была белым бумажным квадратом, вдруг тихо преградившим мне путь. Я, сберегая минуты, решил не сворачивать и смело ступил на белый квадрат. В ту же секунду огромные черные знаки, выползая друг из друга, с тонким скрипом ерзая по синим дорожкам бумаги, задвигались мне навстречу. Я вовремя успел отскочить в сторону и, когда знаки пронесли со скоростью экспресса вдоль синей рельсы, продолжал путь вдоль обочины еще не просохших чернильных разводов: буква за буквой они складывались в какую-то смешную абракадабру, но когда я попробовал их сложить в обратном порядке, то мне уже было не до смеху. Круто повернув носки, я бросился вслед за убегающими словами, жадно лоя в зрочки их нарастающий, слово за словом, зловещий смысл. Недаром я читал где-то у Белого, что если слово начинается с «л-ю...», то еще не известно, что дальше: «любовь» или «лютик». Но помню, что, добжевав до этого самого «лю», я вдруг почувствовал, что ноги подломились подо мной; вытирая холодный пот с лица, я опустил на бумагу: вокруг меня, будто вчертив в свой сомкнутый заколдованный круг, чернела своим заключительным ноликом буква «ю». И в этот мучительный миг мне мнилось, будто весь мир, умалённый, как и я, кончался тут: внутри чернильной, крепко стянутой петли.

Пока я бездействовал, какой-то шуршащий белый потолок стал быстро надвигаться на письмо. Пока я успел сообразить, в чем дело, и принять меры, я уже очутился внутри запечатанного конверта с именем соперника, написанным где-то там, поверх глухой бумажной толщи. В бешенстве я заметался из стороны в сторону, но это было бесполезно и вело лишь к тому, что, натыкаясь в полутьме конверта на новые и новые слова, присохшие

твердыми горельефами к бумаге, я поневоле осмыслял их, что причиняло мне новую боль. В конце концов, отбездумствовав, я забился в угол конверта и стал покорно ждать дальнейшего.

Увы, у меня было больше чем достаточно времени и на размышления... Адрес, скрытый от моих глаз, тащил письмо свозь сотни и сотни верст, и я соображал, что теперь мне, человечку меньше пылинки, вернуться назад, к спасительному стеклянному зигзагу, так же легко, как жителям планеты в системе Сириуса достигнуть нашей земли. А временами я с горьким наслаждением сравнивал себя с крохотным самцом из семейства *Wanessa Jo*, которого природа, завлекши на ротовые щупальца его гигантизированной подруги, сначала продергивает сквозь все тайны ее тела, а затем, вместе с ее экскрементами, выбрасывает прочь.

Длились мысли — длился и путь. Бумажный слой глухого конверта плохо защищал от стужи, мучившей меня в уличном почтовом ящике и частью в дороге: качаясь внутри своей нетопленной темной теплушки, я закалял себя для тех странствий, которые впоследствии нам с вами пришлось совершать в трудные и голодные годы войн.

Но прошло несколько дней, и рука адресата вскрыла конверт. О, как я ненавидел своего освободителя: еще до встречи с ним, вернее, с его манжетой, пододвинувшейся в момент чтения письма почти вплотную ко мне. Я успел сделаться опытным лазальщиком — и мне ничего не стоило, впрыгнув в манжету, добраться до желтых бугров его кожи и меж реденькой рыжей поросли, покрывавшей склоны его руки, постепенно добраться до белого отвесного кратера стоячего воротничка, откуда, при умелом использовании кожных рытвин и прыщева-тых курганов, уже ничего не стоило добраться до щетины усов, обвисшей над красным жерлом рта. В данном

случае злыдневский прием перехватывания шепотов казался мне вполне целесообразным.

Но из этой затеи ничего не вышло: мимо меня пронёсся либо грохочущий, либо бубнящий воздух, но шороха шепотов я так и не дождался. Притом место было до чрезвычайности беспокойное: рот этого чудовища был вечно в работе: то он плюскался губами о губы, то налипал на стекло рюмки или бокала, то трясся и дергался от хохота и орудийного гула слов. Я не гожусь в Лепорелло и потому не завел каталога поцелуев, от которых мне не было покоя, особенно по ночам, когда я, спросонок, должен был крепко хвататься за свой наблюдательный волосок, чтобы как-нибудь не ввалиться меж губ и губ. Изнуренный трудным путешествием, бессонницей, измученный длящимся унижением и ненавистью к этому грязному, нелепо огромному животному, которого искали за сотнями верст слова е е признаний, — я дольше не мог терпеть самой мысли о том, что мой гигантский соперник жив и как будто не собирается не жить.

Но что было делать? Для начала я решил предпринять разведку. Улучив час, когда чудовище захрапело, я, спустившись с своего наблюдательного поста, проник сквозь полуоткрытые губы и провал искрошившейся пломбы на поверхность его языка: под ногами у меня было кочкастое, с чавкающей слизью и влажью, втягивающей ноги, болотце. Постепенно, с кочки на кочку, я пробрался к его нёбу, и, раньше чем чудовище успело задвигать пастью, я уже протискивался сквозь узкий катакомбный ход евстафиевой трубы. Добравшись до среднего уха, я коротким переходом, лишь в одном месте прорвав сплетение тканей, преградивших мне путь, достиг Кортиевой спирали, которой не хватало лишь пяти с половиной оборотов, чтобы превратить ее в модель Дантова ада. Чудовище к этому времени уже успело про-

снутья, и звуки его голоса, ввиваясь в звонкую спираль, как-то особенно навязчиво лезли мне в уши. Я стал обдумывать свой дальнейший маршрут. Случайно я вспомнил о так называемом «гипотетическом человечке», измышленном Лейбницем в одном из его писем к Косту: гипотетический человечек, пущенный ради полемических целей внутрь мозга человека, меж клеток которого он может свободно бродить, возвратился, как этого хотела математическая фантазия метафизика, с целым ворохом аргументов, якобы опровергающих материализм. Мое положение не располагало к философствованию, и если я что и хотел опровергнуть, то только право на бытие, которым пользовалось существо, в тканях которого я находился. Но лейбницевский фантазм мне понравился: я решил, что ему пора уж, давно пора, из мифа в действительность.

И вскоре я уже пробирался среди ветвистых дендритов и нейронов, спутавших свои осевидные отростки в одну мозговую чашу. Скорбная тень флорентийца, спутника всех разлученных, и тут мне напомнила о той из своих кантик, в которой описан лес самоубийц: нейронные ветви были живы и шевелились, отдергиваясь от прикосновения, и, когда я разрывал их, фибриллы сочились кровью и липкой влажью.

Я находился внутри мышления моего врага: я видел дрожь и сокращение рыхлых ассоциативных нитей, с любопытством наблюдал то втягивающиеся, то длинящиеся щупальца нервных клеток, сцеплявших и расцеплявших свои длинные вибрирующие конечности. Я стал хозяйничать в чужом мозгу так, как это бы сделал дикарь, попавший на телефонную станцию: я разрывал ассоциативные волокна, как рвут провода в тылу врага, кромсал концевые отростки нейронов, по крайней мере те из них, которые были мне под силу. Иные, отдергивающиеся друг от друга извилистые ветви нервов я насиль-

но связывал двойным морским узлом. Если б я мог, я бы выкорчевал весь этот мыслящий лес, но я был слишком мал и слаб и вскоре, выбившись из сил, весь в брызгах крови и рваного мозга, бросил свою жестокую, но бесполезную работу. И пока я отдыхал, живой лес уже успел вырастить новые нити и, спугав вокруг меня тысячи тысяч клеток, продолжал свой сцеп и расцеп ветвей, полз и дрожь тонких в склизких белых и серых сплетений.

Очевидно, мне одному, в пару рук, тут ничего нельзя было поделывать: нужна была коллективная работа сотен и сотен таких же, как я. И мой противник, вероятно спокойно получавший все эти вибрации и ползы в виде так называемой жизни, и не подозревал, что внутри его мышления пробралось чужое, враждебное ему мышление, вся логика и сила которого сконцентрированы на том, чтобы истребить его навсегда. Да, пылинки захотела опрокинуть гору, столкнуть ее в ничто, и если Давид жалкой пращой свалил великана, то почему моя месть, думал я, не может посягнуть на великана в тысячи крат большего. Правда, на стороне библейского бойца было, по сравнению со мной, некоторое преимущество в росте, но на моей стороне было преимущество позиции. И, не медля ни мига, я стал готовиться к нападению.

Прежде всего надо было проникнуть к врагу в кровь. Прорвав один из ближайших капилляров, я, толкаемый током крови, по все ширящимся и ширящимся артериям быстро заскользил по направлению к сердцу. Рядом со мной плыли, ударяясь о стенки, то сбиваясь в кучи, то расцепляясь на отдельные особи, какие-то довольно большие, круглой формы, с вздувшимися, мерно вбирающими и выдавливающими на себя кровь боками животные. Иногда эти красноватые пористые мешки, подплывая друг к другу, прикасались рубчатым ободом, охватывающим их тело, к такому же ободу соседа: это и был тот молчаливый язык, на котором изъяснялись эти

красные камбалы, как первоначально назвал их я, не сообразив, что это попросту кровавые шарики.

Оседлав движущиеся бока одного из этих существ, я относительно легко заскользил меж круглых стен артерий. Вначале оседланное существо недовольно водило боками, стараясь сбросить меня в кровь, потом мы оба начали привыкать друг к другу. Сидя поверх одного из поперечных рубцов обода, живая ткань которого охватывала тело моего коня, я заметил, что он, в отличие от других плывущих рядом круглых существ, норовит плыть против течения, что сильно тормозило нам путь. Соскользнув от случайного толчка на другой рубец обода, я увидел, что конь мой тотчас же поплыл в противоположном направлении. Тогда я, меняя седла, то есть систематически пересаживаясь с рубца на рубец, стал надавливать на них тяжестью тела, — и всякий раз движения красного мешка как-то менялись: так я стал совершенствоваться в разговорном языке кровавых шариков. Он оказался достаточно богатым для того, чтобы вобрать в себя то, что стало проступать все яснее и яснее в моем мозгу. Праща Давида длиннила его руку в неравном поединке, на который он решился, всего лишь на пару локтей. Я же хотел размотать пращу, которая может добросить удар до самых дальних мишеней, пращу давно испытанную и выверенную в столетиях борьбы: я говорю об агитации.

Надавливая, как пианист на клавиши рояля, на рубцы множества живых ободов, проплывавших в вечном кровавом токе, я сыграл, обнаружив неплохую пальцевую технику, свой Totentanz, после которого всю эту клавиатуру пришлось захлопнуть черной крышкой навсегда. Внутри той гигантской фабрики, в которой я сейчас находился, насосы и клапаны действовали без роздыха, и несчастных тружеников крови катало вдоль вен и артерий ни на миг не прерывающимися толчками

сердца. Круглые рабочие катыши денно и ночью кружили от сердца к легким и обратно. И, сгрузив баллоны кислорода, медленно ползли, чернея от натуги, под ношами молекул углекислоты и гемоглобинного груза. Им и в голову не приходило... впрочем, виноват, головы-то у них и не было, — зато она имелась у меня, — внутри их рубчатых ободов никак не втискивалась мысль, что организация их труда построена на принципах эксплуататорства.

Мне пришлось перетрогать тысячи и тысячи рубчиков, трущихся об меня, прежде чем внутри этих вроскосных мешков не возникла вложенная мною мысль о Венартпрофе и о восьмичасовом кровообращении. Идея так или иначе покончить с чудовищем, мучающим и меня и их, бедных безгласных вечных тружеников, захватила меня всецело: и вотришь сюда, в кровь, какой-нибудь новый Менений Агриппа, ему бы не переспорить — своими дурацкими баснями — в те дни ни меня, трибуна кровообращенческого плебса, ни лучших из моих учеников, которые, красноречиво действуя своими рубчиками, трущимися о встречные живые обода, катились быстро кружащими телами по всем разветвлениям текущей крови, всюду разнося наш лозунг: восемь часов кровообращения в день. И не секунды более.

Сам я ни на миг не слезал с рубчатой спины моего нового друга, который научил меня не только языку кровяных шариков, но и сердечному чувству к ним: чувство это крепло с каждым ударом сердца, не дававшего ни секунды роздыха ни мне, ни им и безудстанно бившего по нас захлестывающим током крови. Я называл своего нового друга Нолем (он был кругл, как и все его товарищи), и по мере того, как наши совместные скитания приобретали все более хлопотный и агитаторский характер, теплое чувство кровной дружбы с этим скромным работником крови, покорно подставлявшим свои натружен-

ные бока под мои колени, росло и углублялось с каждым днем. Брожение, вызванное мною в венах моего Голиафа, ширилось и разгоралось с удивительной быстротой: мне, вероятно, удалось-таки взвинтить температуру моему врагу.

Не рассчитывая на одиночное выступление группы кровяных шариков, примкнувших ко мне и Нолю, я, поручив последнему продолжать агитационную кампанию внутри жил, временно расставшись со своим единомышленником, проник в лимфатическую систему врага. Здесь работа протекала медленнее и труднее: сонно текущая лимфа замедляла путь и тормозила связь, а вялые мягкотелые лейкоциты, заселявшие мутно-молочную слизь этого тусклого и медлительного мирка, медленно и трудно усваивали боевые лозунги.

Правда, ценою неусыпных и упорных усилий мне, добравшись до селезенки, где рос и воспитывался молодой лейкоцитняк, удалось-таки замутить внутри его не успевших еще утолщиться и разрыхлиться оболочек. В результате целые кучи лейкоцитов призывного возраста отказались идти на микробный фронт и орды спирохеттов, бациллин, палочковидных хищников и ядовитых спирилл вторглись в кожные пределы организма.

Ноль тоже не терял времени даром: и когда я вернулся из лимфы в кровь, меня сразу же обожгло ею, как кипятком. Вокруг все бурлило и волновалось. Революционные дружины красных кровяных шариков двигались к узким капиллярам, где удобнее было принять бой. Часть микробов перешла на сторону защитников старого двадцатичетырехчасового рабочего дня. Близился момент, когда должна была (говорю нашим языком) пролиться кровь, если б она и так не лилась непрерывно из артерий в вены и обратно.

Грозно расстучавшееся сердце не давало нам сконцентрировать силы, разрывая канонадой

пульса наши смыкавшиеся ряды. Я приказал отступить в глубь капилляров. Но расстворившись кровь гналась за нами и сюда, новыми и новыми ударами отрывая дружинников от скользких стен сосудов и снова швыряя в кровообращение. Тогда был дан сигнал: строить баррикады.

Сначала дело не ладилось. Но постепенно, сплющивая и связывая в одно комки слизи, сгустки, комя межклеточной ткани и трупы павших бойцов, нам удалось-таки провести закупорку сосудов.

Но радость победы длилась недолго. Скользя на своем верном Ноле от баррикады к баррикаде, я заметил, что мой носильщик движется все медленнее и медленнее.

— Скорее, — сказал я ему, подхлестываемый лихорадкой боя, — надо торопиться.

Ноль, задвигав изо всех сил вздувшимися боками, ускорил ход. Но ненадолго. Кровь, сквозь которую мы проплывали, утратив текучесть, что ни миг, становилась все гуще и вязче, делая движение трудным и медленным. Станный холод полз по круглым трубам артерий, сближая и стягивая их медленно стеклящиеся стены.

По пути, то здесь, то там, я видел группы победителей. Бессильно копошась в густящейся с каждой секундой кровавой грязи, они протягивали мне навстречу свои побелевшие рубцы, за ответом и помощью. Мой Ноль вдруг повалился на вздутый правый бок, придавив мне ногу. Он пробовал подняться и не мог, смутно шевеля своими холодеющими кольцевыми бугорками. С трудом высвободив ущемленную ногу, я попробовал поднять упавшего друга, но было поздно: он умирал. И пока я тщетно искал дрожащими пальцами бугорок, прикосновение к которому на их языке означало «прости», — смерть сделала свое дело. Я бросился к еще шевелящимся бойцам:

— Назад. Разобрать баррикады. Не медля. За мной. Но и сам я, хромая, увязал в кровавом месиве, с трудом проталкивая тело вперед. Безногие же кровавые шарики, лишённые крови, не могли двигаться. Острая игла проткнулась сквозь мой мозг: н е т о.

Захваченный борьбой с человеком, которого я ненавидел, организуя его смерть, я ни разу и не помыслил о том, что вместе с моим врагом должны погибнуть и все мои друзья, доверчивые и безответно отдавшие себя мне. О, теперь смерть маленького красного Ноля значила для меня гораздо больше, чем гибель в мириады раз большего противника: я готов был отдать назад жизнь похитителю моей любви в обмен на жизнь моего спутника и боевого товарища, милого и честного Ноля. А вокруг в стиснувшихся и медленно слипающихся стенах артерий валялись миллионы таких же, как он, убитых волей моей прихоти.

Кровь, та, что вокруг меня, давно уже остановилась, но кровь, кружившая во мне, никогда еще так густо не прилиwała к моему лицу: мне было стыдно, до мути и отвращения стыдно самого себя, со своей смешной любовью и бесчестным гневом. Затем ли мой учитель доверил мне силу синей тинктуры, чтобы я превратил ее в орудие своих куцых страстишек и эгоизма.

Натыкаясь, что ни шаг, на трупы своих жертв, обманутых и убитых мною, я стал искать выхода из тела гиганта, тоже превращенного мною в труп.

Надо было торопиться, чтобы до погребения всей этой огромной массы стылого мяса успеть выбраться наружу. Вначале, хотя я и сильно прихрамывал, знание анатомии помогало мне находить правильный путь внутри катакомбных ходов кровеносной системы. Но, сделав какой-то неверный поворот, я скоро заблудился в путаном переулочье мелких артерий. А время меж тем не ждало. Напрягая слабнущие силы, я кружил, увязая по колена в

сукровице и почти не продвигаясь вперед. Так прошел день. Другой был почти на исходе. Запах тления, вначале слабо различимый, от часа к часу превращался в отвратительную вонь, от которой я почти терял сознание. Но лабиринт сосудов, все ниже и ниже надвигавшихся на меня своими обвисшими сводами, все не выпускал меня наружу. Мысль о том, что и мне придется разделить участь моих жертв, приобретала все большую и большую вероятность. Философам легко, зарывшись носом в свои книги, строчить что-то там о презрении к смерти; но я хотел бы их ткнуть носами в то смрадное бездвижие смерти, в ту путаницу обвислых гниющих фибр и клеток, под толщами которых барахтался я, — и трансцендентальные дураки раз навсегда вытряхнули бы из своих книг, вместе с паутиной и пылью, все свои дивагации о смерти и бессмертии.

Но как ни хлестал меня ужас конца, как ни напрягал я волю и мускулы, вскоре я понял, что не успею обогнать погребальный обряд, который, вероятно, уже где-то там, за пределами кожи, начался. Правда, ценой последних усилий мне удалось, прорывая сочащиеся трупным ядом ткани, прорваться на поверхность какого-то широкого хода, но тут сознание мое замутилось, и я упал в ничто. Не знаю, сколько времени длился обморок: вероятно, не более часа. Придя в себя, я увидел смутно брезжущий откуда-то свет. И странно: ткани трупа, на которых я лежал, мерно и тихо шевелились. Подняться у меня еще не было сил. Я лишь повел ладонью вокруг себя: какие-то мягкие толстые стебли, на сомкнувшихся вершинах которых я лежал, будто качаемые ветром, дуновения которого я не ощущал, ритмически двигались сначала медленно-медленно назад, от света, затем быстро и стремительно вперед, к свету: от света — к свету; от — к; и с каждым толчком мое легкое тело, скользя со стеблей на стебли, придвигалось все ближе и ближе к

проступям света. Несомненно, я находился на мерцательных волосках пищевода, которые сохраняют способность к движению и после смерти организма.

Вскоре я уже мог подняться на ноги и без помощи мерцательных стеблей двигаться навстречу мерцанию света, пробившегося сквозь зубы трупа внутрь ротовой полости и даже немного далее. Добравшись до мертвого зева, я мог уже ясно различить гулкие звуки панихиды, угрожавшие мне быть моей панихидой. Работая изо всех сил подошвами, я добрался до знакомой испорченной пломбы в момент, когда голоса за длинной прорезью рта, зазиявшего над моей головой, пели о последнем целовании. Приходилось пережить, хотя ситуация и не позволяла промедлений.

Выпрыгнув на поверхность трупа, я бросился со всех ног по направлению к боковой доске гроба, стремясь достигнуть ее края раньше, чем гробовая крышка успеет сделать то же самое. Добежав до оконечины плеча покойного, я уже стал взбираться на плоский, в два уступа, срез доски, как сильный деревянный звук от толчка крышки, пододвинутой к гробу, заставил меня заметаться из стороны в сторону — черная тень уже повисла надо мной, и приходилось выбирать: или назад под крышку, или вперед под удар деревянного ранта. Я всегда выбирал и выбираю: в п е р е д. Бросившись поперек ребра доски, я бежал с закрытыми глазами, каждый миг ожидая быть расплюснутым. Дерево с визгом и сухим стуком ударило о дерево и... раскрыв глаза, я увидел, что его синяя масса сомкнула свои челюсти в полушаге позади меня и что сам я, потеряв равновесие, сорвался с края ранта и скольжу вниз, задерживаясь лишь о путаницу перевившихся серебряных нитей, сверкающей бахромой свешивающихся к земле. Инстинктивно я ухватился за одну из серебряных веревок и тотчас же закачался на ней, чувствуя, что спасен. Но когда я прижался, ища

удобного положения, головой к витому серебру, я заметил, что волосы мои были ему под цвет.

Да, мой друг, я ушел от деревянных челюстей, проглотивших моего врага. Но молодость мою в тот день, поставив на дроги, повезли и закопали вместе с миллионами трупов, схороненных в трупе...

Не буду описывать вам, как я в груди конвертов, обрамленных черными полосами, отыскал конверт с именем женщины, которую, еще так недавно, я искал и хотел. Имя это, прежде самым очертанием своим учащавшее шаг моего сердца, было навсегда отрезано от меня черными линиями квадрата, включившего его в себя.

Спокойно вошел я внутрь еще не запечатанного конверта и не стал даже тратить ни времени, ни сил на чтение траурного письма, вскоре после того повезшего сквозь стоверстное пространство меня назад: к склянке. Точнее, к склянкам, потому что мысль о той, третьей, стеклянной подорожной, ждущей меня в лаборатории моего наставника, с неожиданной силой овладела мною. Сидя меж четырех углов конверта, я думал о том, что непонятая мною история о двух картонных сердцах наконец раскрыла передо мной все свои карты; я думал, что путанные медитации мои об аристотелевских большом и малом человеке распутали теперь для меня все свои узлы: теперь я, микрочеловек, познал макрочеловека до конца: мы соприкоснулись — не кожей о кожу, а кровью о кровь. И то — мыслил я, — что отняла у меня пролитая алая кровь, то вернут мне, влившись в меня, алые капли третьей склянки.

Прибыв к месту назначения, я благополучно добрался до стеклянного знака, и он снова превратил меня в м е н я. В квартире не было ни души. Я оглядел знакомый будуар. Все тот же благоуханный беспорядок. На старом месте лежали и часики, на циферблате которых чуть было не закончилось мое бытие. Отогнув рукав, я и

сейчас мог видеть глубокий рубец от их секундной стрелки, разросшийся вместе со мною в длинную рваную рану, успевшую зарубцеваться. Я взял циферблат в руки; стрелки не двигались: забыли завести. Я повернул несколько раз золотую головку часов, и внутри опять зацокало время. Вспомнились жала его бактерий: пусть их живут — я не мстителен.

На золотом шитье моей любимой диванной подушки валялся грязноватый мужской воротничок. Я взглянул: 41. Я ношу: 39. Что ж, пусть. И, не глядя более по сторонам, я пошел к двери. Но дверь, будто предупреждая меня, раскрылась: за порогом стояла она, все такая же и вместе с тем уже н и к а к а я для меня, изумленно щуря овалы своих чуть близоруких глаз. Фоном для нее служила высокая широкоплечая фигура юноши, застенчиво топтавшегося позади нее, с лицом, выражавшим покорную радость: фон, по мановению портрета, скользнул в соседнюю комнату, женщина же сделала два-три робких шага навстречу:

— Вы? Но ведь дверь была закрыта: как вы вошли?

— Очень просто: меня еще вчера бросил к вам в ящик для писем почтальон.

— Как странно: вы так изменились.

— Как обыкновенно: вы т а к изменили.

Лицо ее стало чуть бледнее.

— Я ждала. Я бы ждала и дольше. Но...

— Ваше Но дожидается вас за стеной. Впрочем, и ему вы наступите когда-нибудь на сердце. Прощайте.

И я направился к двери. Ее голос задержал меня еще на минуту.

— Погодите. Прошу вас: ведь вы же должны понять... как человек... — слова ее не слушались.

— А вы уверены в том, что я человек? Может быть, я только так... странствующее Странно.

И мы расстались. Быстрыми шагами, даже не заходя к себе, я направился к дому учителя. Уличные шумы и грохоты охватили меня со всех сторон. Вероятно, был праздничный день: веселая и неторопливая толпа топталась на тротуаре и у газетных киосков. Но я шел, глядя себе под ноги. Только случайно, подняв глаза, я увидел кучу будто слипшихся желтых, синих и красных шаров, которые, круглясь, точно огромные капли, легко скользят сквозь воздух, плыли над толпой. Я ускорил шаг. И не прошло и получаса, как...

Рассказывавший вдруг круто замолчал.

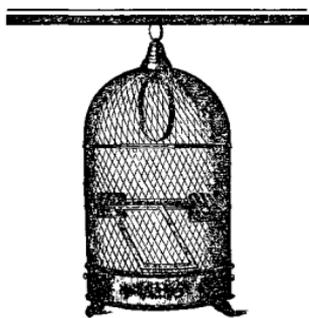
— Учитель, я слушаю: не прошло и получаса, вы говорите, как...

Он рассмеялся:

— Не пройдет и получаса, как... ваш поезд отойдет. И чего доброго, без вас. Взгляните на циферблат: пять минут десятого. Пора. Прощайте, мой сын!

И минутой позже наши глаза в последний раз взглянули друг в друга: через порог. Затем дверь затиснула створы, и тайна красной тинктуры осталась позади, за звонко щелкнувшим ключом.

Чужая тема



книга новелл

Чужая тема

Встреча произошла тут, у столика, за которым мы с вами сейчас. Все было как теперь: спины, согнувшиеся над тарелками, никелевый звон ложечек на прилавке, даже те же росчерки инея на окне и от времени до времени шорох дверной пружины, впускающей клубы морозного пара и посетителей.

Я не заметил, как он вошел. Его длинная спина с грязным шарфом, свесившимся через плечо, включилась в поле моего зрения в момент, когда он, проситель-но склонясь, задержался у одного из столиков. Это было вон там — направо у колонны. Мы, посетители столовой, привыкли к вторжениям всякого рода люмпенов, ведущих тонкую игру с рефлексом вкусовых желез. Возникнув перед прожевывающим ртом с коробкой спичек или пачкой зубочисток на грязной ладони, протянутой, так сказать, поперек аппетита, они точно и быстро стимулируют жест руки, отмахивающейся копейкой. Но на этот раз и стимул и реакция были иными: старик профессорского типа, к которому обратился вошедший, вместо того чтобы ответить медяшкой, вдруг — бородой в борщ и тотчас же, выдержнувшись, — лопатками к стене, по лбу его ползли морщины изумления. Проситель вздохнул и, отшагнув от стола, огляделся: к кому еще? Две комсостав-

ских шинели у окна и компания вузовцев, весело клевавших вилками вокруг сумбурно составленных столиков, очевидно, его не удовлетворяли. После секундного колебания он направился по прямой на меня. Сначала учтивый полупоклон, потом:

— Не хотели б вы приобрести, гражданин, философскую систему? С двойным мироохватом: установка и на микро- и на макрокосм. Проработана в строгом и точном методе. Ответ на все запросы. Ну, и... цена без запроса.

— ?

— Вы колеблетесь, гражданин. Между тем мирозерцание, которое я мог бы уступить вам и в рассрочку, вполне оригинально; не подержано ни в чьих мышлениях. Вы будете первым, просозерцавшим его. Я — лишь так, простой конструктор, сборщик систем. Всего лишь.

Говоривший, наткнувшись на молчание, на минуту смолк и сам. Но упрямая складка, стянувшая его длинные брови, не разжималась. И, нагнувшись почти к самому моему уху, продавец досказал:

— Но, поймите же наконец, что, отдавая вам мирозерцание, я сам остаюсь без. И если б не крайняя нужда...

Признаюсь, я с некоторым беспокойством отодвинул стул: сумасшедший или пьяный? Но близкое дыхание человека было чисто, глаза же прятались под угрюмо опущенные веки.

— Не стану скрывать: система идеалистична. Но ведь я же и не дорого прошу.

— Послушайте, — говорил я наконец, решив резко оборвать нелепицу, — кто бы вы ни были и...

И в это время он поднял глаза: их сощуренные зрачки спокойно и ясно улыбались. Как будто даже без

насмешки. Мне оставалось — на улыбку улыбкой. Теперь уже пальцы человека, сделавшего метафизическую концепцию, упирались о край стола:

— Если мирозерцание вам не по средствам, то, может, вы удовлетворитесь двумя-тремя афоризмами — по вашему выбору. Чем могу служить: глубиной или блеском, остроумием или лапидарностью, философическим серьезом или каламбурной игрой слов? Условимся, кстати, и относительно эмоциональной окраски: предпочитаете ли вы печальные сентенции, ну, там, резиньяцию или...

— Допустим, печальные, — пробормотал я, не зная, как распутать разговор.

— Сейчас.

Секунд пять пальцы его нервно отстукивали о край стола. Потом:

— Ну, вот — готово. Внимание: «Я знаю мир, где ходят и по солнечной стороне, но только... ночью».

И после паузы, оглядев меня, своего покупателя, добавил:

— Не понравилось. Недостаточно грустно? Ну, хорошо, я постараюсь. Минуту. Есть. Слушайте: «Надо жить так, чтобы ни одному лавровому деревцу не сделали из-за тебя больно». И, наконец... Но это уже не афоризм: я не ел четыре дня. Накормите меня.

В ответ на пригласительный жест человек как-то резко сломался в коленях и сел. Я постучал и распорядился.

Глубокая тарелка. За ней мелкая. Продавец афоризмов отодвинул прибор, затем кресло, встал и снисходительно кивнул:

— В расчете.

Через десяток секунд дверная створа, откачнувшись, бросила сизый морозный клуб. Человек вшагнул в него, и пружина примкнула створу к створе. Таким обра-

зом, я оказался недоуменным обладателем двух афоризмов. Когда, немного спустя, я расплатился и вышел из столовки, приключение представилось мне достаточно беллетристичным, и — по нашей старой писательской повадке — я стал прикидывать, как лучше его вкомпоновать в мою недоработанную повесть. Впрочем, вскоре пришлось отвлечься. Дело в том, что в этот вечер было назначено мое чтение. Не спросить ли нам еще по стакану черного?

Ну, вот. Вам знаком, конечно же, знаком тот длинный стол и синий круг абажура у его края, рядом с которым — раз в неделю, чуть стрелки сдвинутся с девяти, — ложится чья-нибудь рукопись. Два ряда стаканов вдоль стола медленно стыннут, а рукопись, падая страницами на страницы, рассказывает им себя. Моя новелла называлась: «Тринадцатая трясавица». Это странное заглавие, но об очень простом. Тематическое вступление: старинный апокриф о старце Сисинии и его тринадцати дочерях — трясавицах. Все тринадцать безмужни и ищут себе жениха. Дряхлый Сисиний водит их по всей земле, отыскивая достойных. И тем, кто не знает заговора от лихорадки, грозит сговор с трясавицами. Сестры, соперничая друг с другом, вырывают суженого из объятия в объятие: прекрасная Глядея, не отрывая глаз от глаз, отнимает сон; пылкая Знобея, блуждая губами по телу, вселяет дрожь; Речя, шепча жаркие и несвязные речи, учит ответному бреду; Синяя... но прекраснее из всех трясавиц тринадцатая — Ледея: от ее ласк перехватывает дыхание... навсегда, человек вытягивается струной, белыми зрачками в солнце, а овдовевшие невесты идут далее вслед за привередливым старичишкой Сисинием в поисках новых женихов. Для вас, как для писателя, ясно, что я не мог довольствоваться этой сюжетно-скудной схемой. Миф надо было заставить снизиться в быт, в повседневность, текст заговора от прекрасных тря-

савиц перередактировать так, чтоб дежурный фармацевт, приняв его в свое окошечко, сказал бы: «Через час»; надо было, так сказать, уговорить несговорчивого лихорадочьего отца и его вдовеющих девственниц перейти из апокрифа в новеллу. Жаль, что вас не было тогда на чтении, — это освободило бы меня от необходимости...

— Не жалеете: был и слышал.

— Тогда надо было перебить в начале. Странно, как я вас тогда не заметил. Бросьте сахар в стакан — после не растает. Видите, мы оба рассеянны. В таком случае вы слышали и обмен мнений. Я думаю, люди так охотно обмениваются мнениями только потому, что мнений у людей нет. Да-да: то, что у человека е с т ь, получить от него не так-то легко.

— Что ж, на этом можно бы построить авторскую реплику. Впрочем, помнится, вы от нее отказались.

— Да, но психические тормоза во мне недостаточно сильны. Я заговорил, когда ушей вокруг меня уже не было, если не считать, впрочем, одной пары, законопаченной ватой и под наставленным воротником шубы. Разминуться с ними мне так и не удалось: сложное сочетание из узкого тела, широкой шубы и пачки книг из-под локтя застряло меж четырех створ подъезда. Я помог.

— Премного, — сказал старик. — Вам куда?

Вспомнив, что дряхлый экс-критик словоохотлив и что ему направо, я поклонился:

— Налево.

— Мне тоже.

Оказалось, он переменил квартиру. Делать было нечего. Стараясь не выказать досады, я замедлил свои шаги, и мы поплелись рядком, медленно и серьезно, как за катафалком. Вы, конечно, знаете этого надоедливового чудака: седые свесившиеся усы вкруг рта, из которого он, ритмически дергаясь, вытряхивает новые и новые горсти слов. Когда-то он писал свои «Критические обзоры»,

«Еще по поводу», «К вопросу о», но писатели, которых он критиковал, давно уже умерли, кладбище же не нуждается в «Еще по поводу».

— Если суммировать высказывания, имевшие место сегодня по поводу любезно прочитанной вами вещицы... мн-да, вещи, — зажевал экс-критик, волоча пятки по снегу, — мы должны бы вести литературное, так сказать, родословие ваше, с одной стороны, от Лескова, с его апокрифизмами, с другой — от Эдгара По, с его фантастикой, с третьей и четвертой... но все это не то. Пытаясь объяснить вас, надо прикрыть дверцы книжному шкафу и назвать одно-единственное имя.

— Именно?

— Савл Влоб.

— Как?

— Я говорю о Савле Влобе. Вы улыбаетесь? В таком случае вы гораздо веселее вашей вещи. Не знаю почему, но она напомнила мне слова Влоба о том, что есть мир, где по солнечной стороне...

Я схватил старика за руку, и вязка книг, прячущихся под его локтем, шлепнулась в снег, оборвав цитату. Охваченный внезапностью, я стоял не шевелясь, пока мой спутник собирал, кряхтя и кашляя, рассыпавшуюся вязку.

— Значит, и вы знаете человека, продающего философскую систему?

— Ну, вот. Сначала «как» да «кто», а потом «и вы знаете». Савла Влоба знают все, но в этом невыгодно признаваться. Вы говорите, он продает систему. Что ж: значит, она у него есть.

Несколько сконфуженный, я поспешил рассказать экс-критику, как был приобретен за тарелку супа афоризм. Вызвать старика на воспоминания было нетрудно. Мы то шли, то останавливались, расползающаяся пачка книг — из-под левого локтя под правый и обратно. Существо обобщенного критиком сводилось к следующему.

Встретились они лет девять тому назад, в публичной библиотеке, у столика, где производится выдача книг. Это было время, когда мы читали книгу, не снимая перчаток и дыша ей в текст морозным паром. Вдоль столов — встопорщившееся солдатское сукно и истертый драп, изредка потаптывание стынувшими пятками. Библиотекарь, бесшумно скользя валенками, канул в книги. Приходилось дожидаться. Глянув через плечо случайного соседа, критик увидел «требовательный листок», терпеливо выставившийся из его пальцев: «Фамилия, имя: Влоб, Савл. Назв. треб. соч. — „Описание примечательнейших кораблекрушений, мореходцам в назидание, приключившихся с...“»; но валенки библиотекаря вынырнули из книг, «требовательный листок» прыгнул из пальцев в пальцы, и критик не успел дочитать. Критик напомнил мне, что тогда он работал над своим «Еще к вопросу о судьбах русской интеллигенции». Кресла изучателей судеб и кораблекрушений стали рядом. «Еще к вопросу» было, в сущности, закончено: оставалось лишь кой-где тронуть рукопись и приискать эпитаф. Порывшись в источниках, автор уже начал было вклинивать нечто меж заглавия и текста, как вдруг услышал над ухом:

— Зачеркните. Не годится. Ведь эта строка — вот уж пятьдесят лет — не вылезает из эпитафов. Дайте ей отдохнуть. А я вам одолжу новый, ни под чьим пером еще не бывший эпитаф. Пишите.

Вы представляете себе, как вытаращился на непрощеного советчика наш почтенный экс-критик: он очень благодарен товарищу за услужливость, но товарищ, подглядывший через плечо, должен бы знать, что нельзя говорить об эпитафе, не зная сочинения, к которому...

Влоб перебил:

— Да, я успел прочесть только конец заглавия: «...ской интеллигенции». Но уверены ли вы, что ваши читатели захотят прочесть больше моего? Притом перед

читателями у меня имеется и преимущество: я вижу автора в лицо и аннотирую: интеллигент об интеллигентах. Ясно — тут возможен только один-единственный эпиграф, и вам с ним никак не разминуться. Впрочем, как угодно. Что же до подгляда через плечо — вы уж извините, — то мы квиты. Не так ли?

И, захлопнув свои кораблекрушения, Влоб встал и направился к выходу.

Экс-критик не счел нужным вспоминать эмоции и мотивы, приведшие его после секунд бездействия к решению: догнать уходящий эпиграф. Конечно, надо бы соблюсти конвенансы и не показать излишнего любопытства, а так, как-нибудь снисходительно улыбаясь: «Ну, какой там у вас этот самый, как его...»

Заинтригованный критик, вероятно, все это и проделал с той или иной степенью непринужденности.

Влоба он настиг в вестибюле остановленным размотавшейся обмоткой. Вынув изо рта английскую булавку, он не разгибая спины ответил:

— Если мой эпиграф покажется вам грубым — это потому, что он не с книжной полки. Частушка, записал в вагоне. Как ваше полное заглавие? «О судьбах русской интеллигенции»? Ну, вот, не угодно ли:

Сяду я на камне, слезы капают:

Никто замуж не берет, только лапают.

И, зашпилив обмотку, Влоб распрямился:

— Впрочем, ваша благовоспитанная тема вряд ли позволит своему эпиграфу так грубо с нею обращаться. Не правда ли?

Историограф ителлигенции сделал, должно быть, кислую рожу. Но вежливость понудила его не поворачивать сразу же спины, а проявить некое великодушие, предложив вопросы: «Над чем работаете? Какой объект в центре вашего внимания?» На что Влоб отвечал кратко:

— Вы.

— То есть?

— Ну да: вы, критики; причем предупреждаю: вопрос о том, как возникает в критике его критика, отодвигается для меня вопросом более тонким — как проскальзывает в бытие сам критик, при помощи какого трюка этот безбилетный пассажир...

— То есть позвольте...

— Никакого «то есть», к сожалению, позволить не могу, поскольку речь идет о литературном критике.

Старику, конечно, ничего не оставалось, как развести руками, а Савл Влоб тем временем продолжал:

— Разве один из вашей братии, наиболее откровенный, я говорю о Геннекене, — не имел неосторожность признаться: «Художественное прозведение действует только на тех, чьим выражением само является». Раскройте «*La critique scientifique*»: буква в букву так. Но ведь художественное произведение рассказывает жизнь своих персонажей. Если разрешить какому-нибудь персонажу, так сказать, безбилетно в жизнь, дать ему ключ от библиотечного шкафа с правом стучаться в бытие, то персонаж — в этом не может быть никакого сомнения — во время своего пребывания среди нас принужден будет заниматься критикой, только критикой. Почему? Уже по одному тому, что он из всех нас наиболее заинтересован в своей собственной судьбе, потому что ему необходимо скрыть свое небытие, небытие, которое, согласитесь, неудобнее даже дворянского происхождения. И вот существо менее реальное, чем чернила, которыми оно пишет, принимается за самокритику, всячески доказывая свое алиби по отношению к книге: меня, мол, никогда там не было, я художественно не удался, автор не в силах заставить читателей поверить в меня, как в образ, там, в книге, потому что я не образ и не в книге, а я, как и вы все, я здесь, дорогие читатели,

среди вас, по сю сторону шкафа, и сам пишу книги, настоящие книги, как настоящий человек. Правда, конец этой последней тирады критик, переписывая набело, всегда вычеркивает и «я» переправляет на «мы» («Как мы писали в нашей статье» — «Мы с удовлетворением констатируем»): все это вполне естественно и объяснимо — существу, плохо разучившему свою личность, лучше избегать первого лица единственного числа. Так или иначе, персонажи, населяющие книги, как и мы, населяющие наши планеты, могут быть либо верующими, либо атеистами. Ясно. Я хочу сказать, — продолжал Влоб горячо, не давая собеседнику вставить хотя бы слово, — что далеко не все персонажи оборачиваются критиками (случись такое — хоть бросай жить!), нет, — в критики идут отрицающие бытие своего автора, то есть атеисты — во внутрикнижном масштабе, разумеется. Они не желают быть выдуманными каким-то там выдумщиком и как умеют и могут мстят ему, убедительно доказывая, что не автор измышляет персонажей, а они, персонажи, измышляют авторов. Вы скажете, что это крадено у Фейербаха: но я и не отрицаю эрудиции критика, я отрицаю только его бытие.

Тут экс-критик попробовал все-таки проявить некое бытие и встать на защиту себя и себе подобных. Старик подробно пересказал мне свою гневную отповедь Влобу. Но я, поскольку вас интересует лишь последний, приведу только один из его аргументов, сводящийся в основном к тому, что теория эта получает свой смысл лишь за счет... здравого смысла.

Оказалось, что Савл Влоб, хотя в глазах его блуждал странный блик, ничего не имеет против здравого смысла. Он объяснил, несколько утишая гнев собеседника, что персонажей вне книг, разумеется, не существует, но что персонажевая психология, ощущение сочиненности своего бытия — реальный, научно установленный

факт. Если б пресловутый студент Данилов, замышляя убийство, знал, что либретто его преступления уже года два как написано Достоевским, то, возможно... он предпочел бы начать с автора. Но Данилов, по всей вероятности, не читал «Преступления и наказания», критик же — существо профессионально читающее, читающее до тех пор, пока не вычитает с а м о г о с е б я. Тогда-то и начинается его карьера. Дело в том, что персонажи, конечно, не превращаются в людей, но люди зачастую превращаются в персонажей, то есть служат материалом для людей, выдумывающих людей. Тургеневские Рудин, Лезнев, Базаров, Пигасов потому и впечатляют, что жизнь как бы подтверждает их своими если не двойниками, то приближениями; и, естественно, наиболее впечатляет выдуманный человек именно того, казалось бы, невыдуманного, реального человека, который, найдя свое отображение в книге, чувствует себя им подмененным и удвоенным. Чувство двойной обиды, которую должен испытать человек, совершенно непрощаемо: нельзя примириться с тем, что вот я, реальный, невыдуманный, через десяток-другой лет — под крест и в ничто, а то вот измышленное «почти я», нереальное, будет жить и жить как ни в чем не бывало; но еще не прощаснее сознание, что кто-то, какой-то там автор выдумал тебя, как арифметическую задачу, мало того — решил тебя по ответу, над которым ты сам всю жизнь бесплодно бился, угадал твое бытие, не будучи с тобой даже знакомым, пролез пером в твои сокровеннейшие мысли, которые ты с таким трудом прятал от самого себя. Нужно немедленно опровергнуть, реабилитировать. Немедленно. Особенно надо торопиться так называемым «отрицательным типам»: не оттого ли Тургенева критиковали главным образом Пигасовы, Достоевского — Фердыщенко, а о Грибоедове чаще всех вспоминают в своих трактатах Молчалины.

Теория близилась к своим последним выводам, от которых старый критик предпочел увернуться, бросив навстречу им вопрос:

— Не ведет ли аннулирование бытия критиков к чрезмерному возвеличению писателей, некоей демиургизации человек, прочим человекам подобных? Короче, какое такое мистическое не что отличает творца культуры от ее потребителей?

Ответ Влоба был грустен и краток:

— Честность. Единственно — она.

И, вероятно, увидев прыгнувшие вверх брови собеседника, с той же грустью пояснил:

— Ну да. Вам разве не приходило в голову, что солнце светит в кредит? Каждый день и каждому из нас одолжает оно свои лучи, разрешает расхватывать себя по миллионам зрачков в надежде на то, что имеет дело с честными должниками. Но на самом деле земля кишит почти сплошь дармогледами. Все они умеют только брать, вчитывать, зрительствовать и шуриться в кулак. Жадно расхищая россыпи бликов, звуков, лучей, они и не думают о расплате: мазками, буквами, тонами, числами. Никто не смеет взглянуть прямо на солнце: не потому ли, что совесть должников солнца не совсем чиста? Конечно, отдать все, до последнего блика — сверх сил, но постараться быть хотя б посильно, хоть медью за золото, кой-чем за все — это непререкаемый долг всякого, не желающего быть вором собственного бытия. Талант — это и есть элементарная честность «я» к «не я», уплата по счету, предъявляемому солнцем: живописец цвета вещей оплачивает красками палитры, музыкант за хаос звуков, данных кортиевым спиралям, платит гармониями, философ рассчитывается за мир мирозерцанием. Ведь самое слово τὸ τάλαντον означает: весы. И правильно построенный талант — это непрерывно удерживаемое равновесие между данным извне и отданным

вовне, вечное колебание чаш, взвешивающих на себе: от туда и туда, «мне» и «я». И поэтому талант, — продолжал Влоб истязать собеседника, — это не привилегия и не дар свыше, а прямая обязанность всякого согретого и осиянного солнцем, и отлынивать от повинности быть талантливым могут только метафизически бесчестные люди, какими, впрочем, и полнится земля.

— Что же вы ему на это ответили?

— «Прощайте». Разрешите повторить это и вам.

Я — дома.

И, шагнув к темному подъезду, экс-критик стал шарить пальцем по стене, ища звонка. Однако ему не торопились открывать, и я успел доспросить:

— Были ли у вас еще встречи?

— Да. Раза два или три.

— Вы длили спор о критике?

— Нет: с Влобом нельзя ничего длить. Всякий раз он о другом и другой.

— Именно?

— Не помню, право. Один раз он доказывал мне, что вместо изготовления всяких там патентованных средств от зубной боли и насморка науке следовало бы придумать средства от угрызений совести. Ведь вот не отворяет, скотина, хоть ты ему колескольным языком об лоб. В другой раз...

Но в это время из подъезда блеснул свет.

— «В другой раз», сказали вы?

— Про «другой раз» как-нибудь в другой раз, же. Ну вот, теперь он будет ключи искать до второго пришествия! Во второй раз этот самый Савл Влоб познакомил меня со своим исследованием, посвященным идее прогресса. Весьма странная книга. Уже начиная с самого заглавия читатель натывается на... ну вот, наконец-то!..

В это время дверь, скрежеща, распахнулась, но я, не желая выпустить заглавие, ухватил старика за рукав. Он попробовал было выдернуться, затем:

— «О преимуществах пустого перед порожним». В подзаголовке: «Книга дефиниций». Пустите руку.

Придя домой — время было позднее, — я разделся и повернул выключатель. Но выключиться из мыслей, потушить сознание мне удалось далеко не сразу: по засыпающему мозгу, осторожно ступая с клетки на клетку, бродил таинственный «персонаж», укравший ключ от книжного шкафа, чтобы, защелкнув за его створами компрометирующее небытие, бродить подобием среди ему подобных; субъекты и предикаты печальных афоризмов сдвигались и раздвигались, меняя свою пару под разухабистое двустрочие частушки. И когда наконец пришел сон, не скажу, чтоб ему удалось помочь мне заспать впечатление этого дня.

На следующий день, отобедав здесь вот в обычное время, я задержался на лишний полчас, дожидаясь продавца философской системы. Сейчас я, пожалуй, был склонен если не приобрести, то хотя бы осмотреть это мировоззрение, сбываемое из-под полы, как неприличная открытка. Во всяком случае, эта фантастическая купля-продажа могла послужить предлогом — помочь голодному богачу. Но Савл Влоб не появлялся. Ни в этот день, ни в последующие. Может быть, ему удалось продать свой товар в другом месте: не знаю — я не читаю наших философских органов, да и не уверен, суть ли у нас таковые.

Прошло четыре с лишним месяца. Сначала снег, потом лужи, а там и пыль на зубах. Как-то — дело было под вечер, — идя вдоль Пречистенского, глазами в бронзовую спину Гоголя, я наткнулся на чьи-то ноги. Ноги, вытянувшие носы своих желтых лакированных ботинок поперек желтого песка бульвара, и не подумали посторониться. Я глянул препятствию в лицо и не мог удержаться от вскрика:

— Влоб?

Щегольской черный фетр сдержанно качнулся в ответ. Руки любителя афоризмов остались там, где были: в карманах. Я сел рядом.

— Мне бы хотелось узнать, как отличаете вы категорию пустого от категории порожнего? Если вам не трудно...

Влоб не отвечал...

— Может быть, ваша рукопись окажется разговорчивее?..

Вдруг Влоб, ласково улыбнувшись, тихо и длинно засвистал. Глядя ему в лицо, я видел глаза, которые, обжевав по кривой траву и дорожку, вернулись назад и зрачками в носки штиблет:

— Ушла, подлая.

— Вы о рукописи?

— Разумеется, нет.

— Но где же ваша «Книга дефиниций»?

— В мусорной яме.

Я почувствовал потребность сквитаться:

— Насколько мне известно, редакции оплачивают рукопись лишь иногда, мусорные ямы — никогда. Но откуда тогда эти ботинки и прочее? Простите за прямой вопрос. Или вам удалось обменять мирозерцание на шляпу? Вы можете продлить серию грубых ответов. Слушаю.

— О нет, — поднял на меня вдруг глаза Влоб, и легкая улыбка тронула углы его губ, — мирозерцание — ведь это страшнее сифилиса, и люди, надо им отдать справедливость, принимают всяческие предосторожности, чтобы не заразиться. Особенно — мирозерцанием.

— Но все-таки, что же вас питает, уважаемый Влоб? Я с радостью констатирую: на месте желтых провалов розовые щеки.

— Мой секрет быть сытым чрезвычайно прост: начинать чтение газет не с первой страницы, а с последней. И желудок ваш и не заикнется.

Да-да, надо искать руководящих идей не в передовицах, а в каком-нибудь объявлении о пропавшей болонке. Вы смеетесь? А между тем это так. Ну вот хотя бы, — собеседник мой прошелестел газетным листом и подставил мне под глаза отчеркнутое графитом: «СБЕ-ЖАЛ мопс, на углу...» — это неважно — кличка Чарльз, умоляю, за приличное... — ну, и так далее. Тут дело, конечно, не в мопсе, не в том, что он сбежал, а в глубоколирическом «умоляю». Я вообще не слишком верю словам, за которые авторам платят, и поэтому, когда мне попала как-то, еще во дни голода, забытая на скамье газета, я замедлил свое чтение, лишь дойдя до страницы объявлений, за которые, как известно, платят не авторам, а авторы; вот после длинных столбцов из слов, манекенных и серых, как краска, их оттиснувшая, искреннее и платящее за себя «умоляю». Среди отсчета пунктов, знаков, рамок и линеек вдруг вскрик о помощи, настоящий человеческий аффект, чувство, которое обычно прячется внутрь глухих конвертов, а здесь вот, на открытом столбце, для всякого, кто захочет его взять. Помнится, я тогда еще подумал: «А хорошо б, черт возьми, заставить всех этих господ, цедящих ото дня к дню свои „попрошу“ и „потрудитесь“, хоть изредка вспоминать об „умоляю“! Ведь и эмоция нуждается в гимнастике».

Сразу же в моей голове сложился план. Вероятно, я бы его отбросил, не столкнусь ор. 81/а со ст. 162. Я говорю об Уголовном кодексе и Es-dur'ной сонате Бетховена. Может быть, вы торопитесь? Потому что об этом или от начала до конца, или не начинать вовсе.

Через четверть часа мне предстояло свидание. Но я подумал: статья и орus встречаются реже, чем женщина и мужчина; опоздание на пять-десять минут мне простят.

И сделал знак Влобу: продолжайте.

— Мысль эта случилась со мной месяца два тому назад (я слушал Влоба не прерывая, — люди, которым мысли взамен фактов, имеют право на такого рода фразеологию). Музыка, что при квартирных жителях, за двойными рамами, с весной нет-нет да удаётся сбежать к прохожим. В те майские вечера и уши мои были тоже голодны. И когда — дело было в одном из замоскворецких переулков, — когда раскрытое окно обронило в тьму первые адажийные такты, я оборвал шаг, как над обрывом, и стал слушать. Часто дышащий двучетвертной ритм раздлинился в четырехдолие: я узнавал сдержанную грусть первой части сонаты, названную ее создателем: «Les adieux» — «Расставания». В это время будто сквозь сонату продребезжала пролетка и голос извозчика, понукавшего свою клячу. Когда шум отдалился и стих, раскрытое окно говорило уже вторую ее часть: «L’Absence» — «Разлука».

На минуту Влоб замолчал, членя тишину — движением руки — на такты. Потом:

— Я немного даже побаиваюсь этого *andante espressivo**: оно так искусно разлучает, так властно уводит от людей и вещей, что, кажется, еще несколько тактов — и возврат уже будет невозможен. Это то чувство — каждый из нас испытывал его, — когда колеса «от», а мысль «к», когда пространство меж «я» и «ты» неотвратно ширится, и чем ближе единственное, тем дальше, и оттого, что дальше, — ближе. И я понимаю, почему Бетховен, стремясь вогнать трехбемольную тоску сонаты расстаней в чужие пальцы, не нашел — впервые за всю жизнь — готовых терминов. Да, именно здесь, над темой о разлуках, точно заблудившаяся среди итальян-

* В нарастающем движении, выразительно (*um.*).

ских слов, надпись на родном языке: «In gehender Bewegung, doch mit Ausdruck»*. Помню, и тогда, сквозь нарастающий бег клавиш, в крепнущем ветре октав и терций, мелькнуло крохотное «умоляю», но тотчас же ударило шестью заключительными тактами, возвращающими в tempo primo**, и, прежде чем я успел изловить сигнализирующее слово, соната круто повернула в свою третью часть: внезапное vivacissimamente*** радостным потоком хлынул в слух. Это было знаменитое «La Retour»****: возврат, соединение разъединенных. Вы помните это качание триолей в левой руке, руку в руке, лихорадку клавиш и губ, частую педаль в затактах, заставляющую рояль как бы задыхаться... но, впрочем, Стюарт Милль прав, говоря: осознать — значит нарушить. И дьявол его знает, как это все сделано, но сделано так, что, отслушав, я долго стоял под захлопнувшимся окном, не в силах расстаться с сонатой расставаний. В то время у меня было достаточно досуга — и я пригласил сонату, сойдя с клавиш, прогуляться со мной по грязным камням замоскворецких переулков. В обмен на эмоцию, подаренную мне музыкой, я предлагал ей помочь кончить то, что она начала. Счастье, доказывал я, не любит служить людям, потому что они не дают ему, счастью, выходных дней. Если б они умели жить, как соната, трехчастно, вкомпоновывая меж встреч разлуки, позволяя счастью отлучаться хоть ненадолго, на считанные такты, может, они не были бы так несчастны. Собственно, не музыка во времени, а время в музыке. Но мы с своим временем обращаемся чрезвычайно немзыкально. Город не знает разлук, это нерасходящаяся толпа, музыка без пауз, люди

* В нарастающем движении, но с чувством (нем.).

** Первоначальный темп (ит.).

*** Очень живо (ит.).

**** «Возвращение» (фр.).

в нем слишком близко друг от друга, чтобы быть друг другу ближними. Улички, по которым мы с тобой идем, соната, встречаясь друг с другом, тычутся в тесноту — физическую и всяческую; но бескрышье неба, запрокинутого над нами, напоминает о своих беспредельных, непереходимых пустотах. Ведь если б орбиты, подобно улицам, сходились в перекрестки, а звезды, подобно людям, встречались, — все бы они разбились друг о друга и небо было б бессветно и черно. Нет, там, над, все построено на вечной разлученности. И если наш тесный быт не расклинить разлуками, не перевести коллективы из сомкнутого строя в рассыпной — нам грозит гибель. Пословица сравнивает разлуку с ветром, который, гася свечи, разжигает костер. Так давайте сеять ветер. Пусть потухнут, и как можно скорее, чем скорее, тем лучше, все копеечные оплывки, все эти крохотные чувствуица, от которых больше копоты, чем тепла и света. Человек, которому не хочется есть суп, поболтав ложкой, отодвинет тарелку; но люди, не имеющие аппетита друг к другу, обычно болтают и болтают, не решаясь отодвинуть ненужное. Дурацкое «на огонек» — тоже под удар ветра разлук: не надо ни гостиных, ни абажуров на лампы, ни круглых столов. Ряд строго проводимых мер: во все, скажем, нечетные дни знакомым воспрещается узнавать друг друга при встрече; взамен двухместных пролетов — одноместки; за хождение парами — штраф. Свидания супругов приравнять к свиданиям с заключенными; детям с родителями говорить лишь по телефону; лицам, покидающим семью, — льготный проезд...

Савл Влоб, вероятно, продолжал бы свой перечень, но я запротестовал. Он внимательно отслушал мои слова, качая в такт им головой:

— Ну да, ну да. Но элементы не могут быть не элементарны. Пусть реформы мои механистичны и мертвы, как стук метронома, но только метрономом и можно

вгвоздить ритм в аритмию, научить музыке духовно глухих. Приходится, так сказать, каждую мелочь на свечку, как увертливого клопа. Возьмем хотя бы эту нудную шарманку обольщений, брак, договор о неразлуке... В сказке о дураке, который, встретив свадьбу, говорит «Господи...», — для меня не ясно... кто же тут, собственно, дурак? Соединяя жизни, незачем соединять руки, и вокзальный колокол с успехом может заменить церковный. Иначе — двухспальная могила. Флорентийская синьория, прогнавшая Данта из своих стен, отторгнув его от *praedilecta Donna*^{*}, имеет большие заслуги перед любовью. Лишь пройдя через ад прощания, чистилище разлук к краю возврата, великий мастер мог построить из трех кантик свою божественную сонату, или Комедию, как хотите. О, мне не трудно было бы развернуть мою сложную, но стройную систему разлуковедения, но сейчас меня интересует искусство разлуковедения, не теория, а практика. Я расскажу вам о моих первых опытах по части...

— По части кражи собак, — просуфлировал я, готовясь отпарировать резкость резкостью.

— Вы угадали, — отвечал Влоб с полной невозможностью, — но что же делать, если людей можно одарять лишь тем, что у них же отнято. Ведь если человеку дать то, что не его, что не включено в его жизнь, как слагаемое в сумму, то оно окажется не для него. Правильность сложения проверяется только вычитанием, и я взял на себя роль минуса. Ведь здоровый не ощущает своего здоровья, но как остро его ощущает выздоравливающий. Конечно, вычитанием — и притом в мировом масштабе — занимается давным-давно смерть, самая безутешная черная рамка вокруг имени, вычтенного ею из бытия, не в силах ее разжалобить, кроме того, смерть,

* Возлюбленной (*ит.*).

скажете вы, не читает газет. У меня, оставляя в стороне вопрос о масштабах, то преимущество, что я умолим и не щажу пятаков на газеты. Я могу создавать целые столбцы прискорбных, почти похоронных объявлений с тем, чтоб, дав людям в меру поскорбеть, услышать их молитвы, смягчиться и вернуть им их лающие, мяукающие и тьявкающие утехы. При этом, как я убедился вскоре, не следует лишать их возможности быть приличными... ну, хотя бы в вознаграждении. Да, бывают дни, когда я чувствую себя маленьким добрым богом, который, придя, как евангельский «тать в нощи», похищает их никлую и скудную поросль счастья лишь с тем, чтоб, утаив от земной суши и града в своих райских садах, возвратить ее цветущей пышным цветом на... — И Влоб вдруг весело рассмеялся.

Через две-три минуты мне уже трудно было понять, к чему относился его смех: к риторической фразе или к первому опыту разлуковедения, который привел экспериментатора, действительно, к довольно комедийным последствиям.

Первым псом, отозвавшимся на свист Влоба, оказался неопределенной породы и столь же неопределенной масти четырехлапыш, изъясвивший быстрюю готовность приبلудиться. Устроителю разлук особенно понравились умные глаза собаки, которые, казалось, понимали весь смысл затеи, до метафизических предпосылок включительно. Проглотив половину влобовского завтрака, пес стал следовать за добрым богом по пятам. Они провели, бог и пес, ночь на холодной скамье бульвара. Наутро последняя страница газеты жаловалась десяткам: «Ушел — сбежал — пропал».

Влоб стал тщательно сличать приметы: он плохо разбирался в собачьей геральдике, а неопределенная масть приبلудной собаки делала ее сходной чуть ли не с любым описанием. Влоб стал проверять клички, но,

преисполненный готовности, пес опять-таки откликался на любую, топыря уши и отвечая хвостом «да». Вообще это была жадная и неприхотливая натура, бросавшаяся на каждое имя и всякую пищу — до помойных объедков включительно. После долгих колебаний экспериментатор отчеркнул одну из газетных клеток и, свистнув псу, направился по указанному адресу. Они уже были в сотне шагов от цели, когда устроителя разлук остановила мысль: можно ли так ускорять темп? подменять томление *slentando** торопливым *vivace***? Тоске надо дать вызреть, недаром в *Es-dur*'ной сонате вторая часть, недаром ей приданы тропы задержания — *quieto**** и *ritardando*****. Слишком быстрый возврат не даст полноты реакции. Влоб повернулся на каблуках. Прошли сутки. Тосковал ли тот, сигнализировавший в газете, неизвестно, но Влоб стал испытывать несомненную тоску: прожорливое животное выпросило добрых две трети снеди, закупленной своим похитителем, и продолжало нагло выклянчивать еще. Наутро Влоб отдал последний медяк за газету и увидел: объявление исчезло. Наступал момент, когда пойманную эмоцию надо быстрым рывком — из тьмы на свет. Человека, впадающего в отчаяние, надо вовремя подхватить: «Пс-с, Дэзи, за мной». И через дюжину минут Савл Влоб нажимал кнопку указанной вчерашней газетой квартиры. В ответ на звонок — за дверью лай. Потом глухое: «Назад, Дэзи», потом — неспешные шаги и голова, просунувшаяся меж створ. Не успел Влоб заговорить, как голова, крикнув: «Здесь не живодерня!» — и презрительно фыркнув, захлопнулась дверью. Влоб утверждал, что у лже-Дэзи был обескуражен-

* Ослабевая (*ит.*).

** Живо (*ит.*).

*** Спокойно (*ит.*).

**** Замедляя (*ит.*).

ный вид. Думаю, что и у него — не менее. Только теперь, оглядев своего четырехлапого спутника, увидел он всю мизерабельность его собачьих статей. Это была бездомная уличная дворняга, на которой больше грязи, чем шерсти. Устроитель разлук попробовал было оставить лже-Дэзи в подъезде, но разлучиться с ней оказалось не так-то легко. Уже за первым же поворотом улицы собака с радостным лаем догнала его. Влоб топал на приبلудную собаку и гнал ее прочь. Ничего не помогало.

— Тогда я подумал, — досказывал Влоб, — что проблемы ведь еще неотступнее... притом оба мы были нищи, и пес, и я. С того времени мы не расстаемся. Лже, сюда!

Из травы шархнул кудлатый клубок и лапами — к коленям хозяина. Глаза клубка с религиозным восторгом ловили взор господина.

— Ну, будет, Лже, куш. И знаете, как это почти всегда бывает, добрый поступок оказался самым практичным. Лже не ест даром хлеб: поскольку собачья выхваленная в комнатах аристократия склонна заинтриговываться простонародными суками, то... ну, одним словом, она мне много облегчает работу.

Да, дело повинуется тому, кто не смущается неудачами, длит и длит его. Понемногу я приобретал нужные навыки. Сердце имеет свой завод, как и любой механизм: если заставить человека ждать слишком долго, он перестанет ждать, механизм эмоций, размотав свою пружину, станет. «Ничего слишком», как говорил древний гномист. Я изучил все повадки собак, кошек и их хозяев, особенно последних. И уверяю вас, немного найдется людей, которых встречают так приветливо, подчас со слезами восторга на глазах, как меня. Иные из них, может быть, подозревают и догадываются, но эмоция встречи двуногих с четырехногими обычно смывает все — за нее-то, за прибавку ударов к их пульсу, люди и

отдают свои рубли и рукопожатия. Да, профессия поставщика маленьких обыденных радостей настраивает оптимистически: я готов верить — дело вскоре развернет свои масштабы. Вот только б мне скопить необходимую сумму, и я открываю торговлю, так сказать, специальных пособий: на вывеске черными буквами: «Всё для самоубийства», по стеклу витрины: «Справки о небытии от 11 до 4». Вы говорите, не связано с предыдущим? Очень даже связано: если организовывать дело разлук, то в первую голову — помощь всем, желающим разлучиться с жизнью. Да-да, это та же тема о копеечных огоньках, которые надо — под удар ветром. Тот, кто, явившись в жизнь, топчется меж «не быть» и «быть», лишь задерживает общее движение; бытие не разрешает бывать у него «без серьезных намерений». Пусть сору из бытия не выметают, но если сор сам хочет себя вымести, моя контора всегда будет готова служить всем необходимым. О, вы увидите — рано или поздно мои опыты перейдут с последней страницы газет на первые; разлуковедение будет читаться с кафедр всех университетов; мы расселим женщин и мужчин по разным континентам; мы доведем разлуку классов до предела. Потому что, пока метроном истории не отстучит последнего такта в *Abwesenheit*'e*, ликующее *vivacissimamente* возврата всех — всех — всех к всем — всем — всем, панпланетное *Wiederleben*** не свершится, и кода сонаты разлук не прозвучит!

Через минуту длинная фигура Влоба, с прыгающим вокруг него псом, удалялась, взблескивая темно-желтым гуталином над светло-желтым песком бульвара.

На свидание я, конечно, опоздал. Это была, если хотите, маленькая дань теории разлук. Весь этот вечер я провел один. Может быть, именно этот вечер, сейчас я

* Разлука (нем.).

** Вечная жизнь (нем.).

уже не помню точно, открыл передо мной логическую перспективу, которая привела к решению: разлучиться с литературой. Но это произошло, конечно, не сразу. И после, тут много личного, и мой рассказ пройдет, не задерживаясь на... полустанках. Так или иначе, я чувствовал, что попал на топкое место, где думается с мысли на мысль, как с кочки на кочку. Еще много лет тому, читая записки, опубликованные одним знаменитым французским скульптором, я наткнулся на следующее наблюдение мастера: красота не есть атрибут, постоянное свойство, она — лишь момент в развитии объекта, ее нельзя созерцать, а надо застигнуть, бить ее резцом влет, как птицу стрелой; например, у девичьего тела, утверждал старый художник, свой период цветения, почти столь же краткий, как цветение яблони или тысячелистника. Глазу и резцу надо долго выслеживать и ждать, пока тело модели, профессионально обнажаемое изо дня в день извне, от платья, в один из дней внезапно не обнажится и изнутри, из себя. Тогда резцу и глазу надо не терять ни единого сеанса, чтобы кончить свое прежде, чем отделить то вот, единственно нужное, ради чего только и стоит утончать и совершенствовать свой апперцептирующий аппарат. Ведь мы спрашиваем вещи бесчисленно, снова и снова, но вещь отвечает только один раз. Пропустить его, этот единственный раз, значит — пропустить все. Подъем, перевал, спуск. И юность уже отбюнула, нагое стало просто голым, я бы сказал — обнаженным от наготы. Это понимали и Роден, и Альтенберг. Но если додумать, то получается так: художник — это человек об одном; встретиться со своим одним, затерянным в множествах, — это уже не легко; встретиться с ним в момент его цветения, когда оно исполнено самого себя, полноценно — это уже очень трудно. И встретиться с ним, когда ты в полноцветье сил, то есть так, чтобы максимум в субъекте совпал с максимумом в объекте, —

это попросту невозможно. На меньшее, чем максимум, я не согласен. Это ступенькой ниже искусства, следовательно, не искусство. Втискиваясь в эти вот несколько фраз, я, конечно, упрощаю свои мысли. По мере того как число линий на этой грубой схеме увеличивалось, в меру того как схема зачерчивала в себя все больше и больше, она оказалась достаточно сложной, по крайней мере — для меня, чтобы пренебрежительно-получнейшим образом запутать в своих углах и линиях. Начав думать о том, как выброситься на берег из этого изборожденного тысячами перьев чернильного моря, я, естественно, выбросился и в другую, более широкую тему. Это произошло потому, что литература для меня больше, чем литература. Савл Влоб, говоривший и о разлуках с жизнями, не досказал о большей разлуке: с самим собою. Ведь бывает же так, что вот это вот самое, с однобуквенным именем «я», отобьется от человека, как пес от хозяина, и бродит, дьявол его знает где. И вот, когда «я» в отлучке, когда ты только переплет, из которого вырвали книгу... это невозможно объяснить, потому что не хватает... «потому». Только один человек, я знал, мог вернуть мне прежний статус, но в наших газетах не принято печатать объявлений вроде: «Сбежала душа, умоляю за приличное вознаграждение...». Это было б уж слишком не по-марксистски. Да, отыскать способ для отыскания Влоба — это не так просто. В адресных столах лица его профессии обычно не дают никаких отражений своего бытия. Случайная встреча в городе с двухмиллионным населением и восемью тысячами перекрестков по теории вероятностей равна одной восьмимиллионной, умноженной на... Одним словом, и теория вероятностей была против меня. Я стал расспрашивать знакомых литераторов: на одних два слога — Савл Влоб — действовали как резкий свет: они опускали глаза; другие при звуке их начинали оглядываться и торопились уйти, как если б это было имя

кредитора; желая быть справедливым и объективным, должен признать, что один из писателей покраснел. Впрочем, это был самый молодой и, так сказать, непрочерниленный. Несомненно, экс-критик был кое в чем прав.

Прошло четырнадцать месяцев, придвигающих и нас к концу. Я таки встретил его, Влоба. Три недели тому. И знаете, я так перестал верить в помощь случая, что не сразу признал продавца метафизических систем. Да и трудно было в тощей, запрятанной в тряпье фигуре угадать прежнего Влоба. Только знакомый шарф, концы которого, как крылья птицы, бились в колючем октябрьском ветре, остановили мое внимание и шаг. Но Влоб, не заметивший меня, быстро шел своей дорогой. Я бросился вслед. Сначала я видел только его узкую спину. Затем, услышав, вероятно, стук нагоняющих его подошв, он оглянулся, отдернул взгляд и тотчас же резко наддал шагу. Я тоже. Влоб свернул в переулок. Я вслед. Ему, в его одежде из дырьев и шарфа, было легче идти, чем мне в тяжелой шубе, но я из тех, кто обедает каждый день, — и это давало мне преимущество. Набирая последние метры, я видел, что шаг его затухает, что раз или два он покачнулся, что еще десяток-другой толкающих ноги усилий, и он станет, как истративший свой завод часы, и я шел, расталкивая встречных. Иные из них останавливались: со стороны это, вероятно, было похоже на преследование карманщика собственником потревоженных карманов. Постовой милиционер в некоторой нерешительности поднял свисток ко рту. Двое или трое бросились Влобу наперерез. Но тот уже не мог дальше: он стоял ладонью в кирпичи стены, с мокрым от пота лицом, странно оскалившимся мне навстречу. Частый пар наших дыханий пересекся в луче фонаря.

— Что вам надо? Я не должен вам ни пса. Оставьте меня!

Голос, прерываемый вспрыгами сердца, был лающим и сильным; сам он, оцетиненный, в встопорченных ветром лохмотьях, на мгновение бросил мне в мозг ассоциацию о Лже. Но не было времени заниматься ассоциированием. Круг из зевак готов был замкнуться. Я крикнул извозчика. Влоб, очевидно, предпочитал прижатую к лопаткам стенку. Я с трудом оторвал его от мерзлых кирпичей и втолкнул под одернутый извозчиком полог, — и пара полозьев помогла нам выскользнуть из уличной нелепицы. Через десять минут я размораживал Влоба чаем, вскипяченным на примусе, и электрической грелкой, пододвинутой к его жухло-желтым, с прорванными носами, ошметанным штиблетам. Дверь моего кабинета была плотно прикрыта. Влоб глотал кипяток и ломал красными, раззябшими пальцами куски хлеба. Не размерзались только слова, пауза к паузе, как кирпичи, срastaющиеся в стенку. Наконец я решил попытаться.

— Дорогой Влоб, — сказал я, заглядывая не без волнения в его запавшие, будто вдавленные в мозг, глаза, — молчание, в конце концов, неплохой ответ на вопрос об одном человеке, служащем в прислугах у слова, то есть литературы. Но я убежден, что вы, именно вы, и только вы, можете предложить мне и нечто большее, чем молчание или даже... философская система. Я прошу вас, вы единственный, у кого мне не стыдно просить: помогите мне в одном трудном умозаключении, и...

Глаза гостя отдернулись в сторону:

— А помог ли кто мне в моем заключении? Без «умо», понятно? Или вы думаете, что оно было легким? Что четыре закона мышления плюс четыре сомкнутых стены с решеткой — это мало?

На этот раз пауза затянулась по моей вине. Наконец, не без усилия я собрал горсть слов, чтобы бросить их через молчание:

— Я хотел только помочь вам помочь мне. Вы это уже сделали однажды. Но раз вы говорите через все ваши восемь стен, раз я вам, по той или иной причине, несимпатичен...

Влоб, с терпеливой иронией следивший за моей, в порядке отступающей — из фразы в фразу — просьбой, вдруг начал преследование.

— «Несимпатичен»? О, это б устроило нас обоих. Но в том-то и дело, что вы мне симпатичны, поймите, чрезвычайно сим-па-тич-ны, что меня и отталкивает.

— Раньше вы шутили иначе, Влоб.

— Да. Но теперь я вообще не занимаюсь шутками. Мягкий юмор, добрая улыбка, приклеенная к лицу, — это стиль симпатичных людей. Я же твердо решил порвать — раз навсегда — эту позорную интрижку с симпатичностью, доброжелательностью, гуманностью и прочей мягкотью. Встреча с так называемым добрым человеком меня компрометирует. Ясно?

— Признаться, не совсем. Что вам сделали?..

— Самомнение. Поймите вы, симпатичный человек, что ни вы, ни вам подобные вообще ничего нигде ни для кого и никогда не можете сделать. В самом вашем наименовании, сцепленном из *σύν* и *πάθος*, нет ни малейшего намека на делание. Мы, не вы, мы, несимпатичные, только совсем недавно научились точно переводить это имя с греческого на русский: сочувствующий и е. Мы не отнимаем у вас, граждане симпы, того, что можете вы, отнюдь: и через тысячи лет после того, как наука вытравит последний след понятия «душа», вы, симпатичные с симпатичными, все еще будете «отводить душу» и «говорить по душам», ходить друг к другу «на огонек», называть друг друга «другом» — на это-то вас станет. Еще столетия и столетия вы будете предлагать теплый чай и душевное тепло, лезть в «жертвы вечерние» — при-

том всегда на утренней заре эпох, тыкаться своим с о в сопролетарские, собесклассовые и сокклассовые, со... о, черт! вы будете топтаться вокруг пожаров, предлагая их тушить слезинками из ваших глаз; пока другие будут бить в барабаны, вы будете колотить себя в грудь, распинаясь за гибнущую культуру, за... ну, и вообще за з а , а не за п р о т и в. Ненавижу!

— Но есть и другой глагол, добрый Савл. И первое лицо его единственного числа произносится так: люблю.

— Чепуха: юлбюл — это если наоборот, слово на языке моллюсков, и притом ровно столько же смысла. Я там, в тюрьме, имел достаточно времени, чтобы все это — из конца в конец. Христианство провалилось, говорю я, единственно потому, что не провалился мир. Да-да, вдумайтесь в такты Четвероевангелия. Все строится из расчета близкой, не за годами — за месяцами, может быть, днями, гибели мира. Секира у корня — горе кощам, которые — и тот, кто будет в поле, когда и прогремит труба, и небо свернется, как свиток, ну, и так далее, и... вернее, не далее, а конец, земля, сброшенная с орбиты в смерть. И вот, при допущении близкой гибели, любовь к ближнему как к себе самому — это вполне разумно и, главное, единственно. Иного выхода нет. Если т ы сегодня для меня «я», то завтра... но от з а в т р а христианство и рассеивается, как туман от дня, потому что, согласитесь, любить другого как себя день, ну, два — это так, но любить его всю жизнь и из поколения в поколение две тысячи лет кряду — это психологический нонсенс. Только светопрествлением можно поправить дела христианства. Хотя боюсь, что сейчас и это бы не помогло.

К притче о разумных девах можно б присочинить вариант о слишком разумных девах, которые сберегали свое масло в светильнях до самого утра, когда их коптилки обессмыслило солнцем. Любить изо дня в день Хри-

стовой любовью — это все равно что чистить бритвой картофель. Под грязную и шершавую кожуру — незачем с такими утонченностями. Если хочешь сколотить что-нибудь прочно — ящик, общество, все равно, — надо бить по доскам, по людям молотом, пока... но мы уклонились от темы. Потому что так называемый симпатичный человек — даже не христианин, не существо, пробующее втащить Нагорную проповедь в кротовые ходы катакомб, — нет, это эпигон в тридцатом поколении, жалкое охвостье, которое положительно не знает, к чему себя пришить: он вежливо уступит свое место в раю, но не уступит места в трамвае; он не раздаст своего имущества нищим, но говорит им: «Бог даст»; ударь его в левую щеку, и он подставит вам... право, статью закона... Но вы скажете, что это шарж, что симпатичные миллиардеры жертвуют миллионы на благотворительность, что вы сами раздадите нищим пятаки, а меня вот напоили чаем, но тем хуже для вас. Потому что чем симпатичнее вы все, чем добротнее ваша доброта, тем скорее с вами покончат!

— Влоб, вы, кажется, грозите?

— Больше того. Я хочу предложить властям принять реальные меры. Всех симпатичных надо истребить. От первого до последнего. Всех добродушных, сердечных, прекраснодушных, милейших, сочувствующих, страдающих — под «пли!» и из счета вон. Варфоломеевская ночь, говорите? Пусть. Дело не в названии. Я изложил все вот это здесь.

В руках у него забелели вынырнувшие из-под отстегнутой на груди пуговицы листы. Влоб начал их читать.

Не стану передавать абзац за абзацем все сложное содержание этого примечательного документа. Мелькали слова: «психическая вязкость» — «чужеглазие» — «со-

пафосники» — «жалостничество» — «сердцевизм». Вначале проект начерчивал биологическую природу симпов, рассматривая их как клетки некоего социального рудимента: всех их, подобно слепому отростку, отклассовому аппендиксу, необходимо ампутировать, не дожидаясь нагноения; руки не для рукопожатий — для работы: рукопожиматели отменяются. Далее перечислялось: симпы, по чувству сочеловечия, не склонны убивать — ввиду возможности новых войн это создает некоторые неудобства; симпы жалостливы, слезные железки их рефлектируют только в пользу так называемых униженных и оскорбленных, их сочувствие всегда вызывают только побежденные, следовательно, рабочему классу для того, чтобы вызвать сочувствие симпов, надо быть побежденным. Из этого явствует...

Но я не следил уже за сменой листков. Внимание мое постепенно перемещалось с движения строк на лицо их сочинителя. Запавшие щеки Влоба горели больным румянцем, в глазах его, изредка вскидывающихся на меня, черными огнями горел страх. Его мчащиеся от точек к точкам фразы вызвали во мне, может быть, заразили меня странной ассоциацией: ось колесницы над межой, так что одно колесо еще здесь, в логике, другое же кружит уже там, за чертой.

И хотя обвинительный акт, направленный против меня, грозил высшей мерой, я, как, впрочем, и полагается презренному симпу, испытывал закоренелую и нераскаянную жалость... к своему прокурору. Ведь все-таки скамья подсудимых, на которой сидел я, чувствовалось, очень и очень длинна, — он же, человек, идущий по солнечной стороне, но ночью, был предельно одинок.

Наконец листки кончили свое. Савл Влоб собрал их припухшими от непривычного тепла руками:

— Ну, что?

Я не мог не улыбнуться:

— Мнение симпа не должно бы вас интересовать. Вы предлагали свой документ тем, для кого он предназначен?

Влоб молчал.

— Ну, вот видите: за сочувствием плану истребления сочувствующих приходится обращаться к умеющему сочувствовать. Круг. Не так ли?

— Ничуть. Мне ничего этого не нужно.

— Допустим. Но я не только сочувствующее, я и предчувствующее существо. И мне не трудно предсказать, что этот документ так и не разлучится со своим автором.

— Почему?

— Очень просто: потому что он написан симпатичным человеком. Да-да, не пугайтесь, я знаю — для вас это удар, но перенесите его мужественно, Влоб: вы безнадежно симпатичный, вы, скажу вам больше, до трогательности милый человек.

— Вы не смеете...

Я видел — судорога продернулась сквозь его лицо; он хотел встать, но я держал его, как тогда — у стенки, — за руку. Ситуация эта доставляла мне какое-то жестокое удовлетворение.

— Успокойтесь. Поверьте, что, если бы вы не были мне так симп...

— Клевета. Вы нагло лжете! Это невозможно.

— Но тогда лгут и другие. Все, кто ни встречал вас (я бросил ряд имен), все говорили: какой симпатичный чужак этот Савл Влоб!

Вовлеченный волей рефлексов в эту странную игру, я начал действительно лгать. Истребитель симпов сидел совершенно подавленный, с бледным и как-то сразу осунувшимся лицом. Он пробормотал еще, раз или два, что-то в защиту своей несимпатичности и замолчал.

Вглядевшись в него внимательно, я уже тогда усумнился, правильно ли я расчел дозу.

Внезапно он резко встал. Он овладел своим голосом, и только пальцы его руки, нервически втискивающие пуговицу в петлю над спрятанными под одежду листками, выдавали волнение:

— Итак, вы продолжаете утверждать?..

И, не дождавшись моего ответа, он шагнул к двери. Я было попробовал его удержать. С неожиданной силой он оттолкнул меня. И через минуту в комнате не осталось ничего от Савла Влоба, кроме двух широко расползшихся влажных пятен на паркете у передних ножек кресла, на котором он сидел.

Прошло несколько дней, и впечатление встречи стало стираться в моем сознании. Мы очень требовательны к чужим мышлениям: стоит логике заболеть хотя бы легкой формой паралогизма, как мы отдергиваем от нее свой мозг, боясь инфекции. Образ Влоба как-то сразу снизился в моем представлении: человек, от которого я ждал помощи, сам нуждался в обыкновенной помощи... врача. Воспоминание о том, как я отпарировал его последнюю идею, было для меня почти приятно: вслед за последней отодвигались, ставились под подозрение и предыдущие. Психологически это меня устраивало.

И вдруг в одно из недавних утр произошло нечто, нечто... не приищешь, право, и слова. Я получил по почте пакет. Внутри его — это для меня было совершенно неожиданно — лежали те самые влобовские листки, которые еще так недавно, вместе с их автором, были у меня в гостях.

Недоуменно перебирая их пальцами, я перечитал всю эту фантазмагорию о симпах от строки до строки. Странно, что нужно листкам от меня еще? И я хотел уже втолкнуть их назад в конверт, когда на последней из

страниц в самом низу — непрочитанная карандашная строка:

«Вы правы: я симп... следовательно...»

И дальше какое-то неразборчивое слово. Не хотите ли взглянуть? Листы при мне. Вот тут. Какой странный почерк, не правда ли? Что? Кафе закрывается? Одиннадцать? Хорошо, мы сейчас уходим. Я расплачусь, и... возьмите рукопись: на морозе мне неудобно будет вам ее передавать. Зачем? Не премину объяснить. Ну вот, заранее благодарю. Идем.

Какая скрипучая пружина! И — этот сизый клуб навстречу — совсем как тогда. Люблю, когда снежный скрип считает тебе шаги. И вообще, люблю мороз. Логика и мороз, несомненно, в свойстве.

Ну вот, почти все досказано. Осталось покончить с п о ч т и. Карандашная строка, которая сейчас у вас в кармане пальто, не стану скрывать, сыграет некоторую роль в моей... впрочем, сыграть роль в сыгранном — это плохой стиль, даже для экс-писателя. Помню, прочитав ее впервые, я бросился к телефону, пробуя вызвонить хоть какие-нибудь факты о Савле Влобе. Телефонное ухо ничего о нем не слыхало, никто и нигде — за последний десяток дней — его не встречал. Затем, вдумавшись пристальнее в смысл приписки, я понял то, что вначале упорно не хотел понять: Влоб навсегда исключен из встреч, и даже на кладбище искать его уже поздно, так как могилы бродяг бывают обычно безымянны.

И сразу же на мозг рухнуло — всею тяжестью — сознание вины. Ведь, в сущности, что я сделал: толкнул беспомощного и больного человека на смерть. И за что? За то, что он дарил мне мысли, не требуя ничего взамен, мысли, которые, во всяком случае, лучше моих. Не я один, говорите вы, да-да, может быть, и так. Все вместе одного. И теперь, вам покажется это странным, теперь, когда нельзя уже встретить щедрого даятеля философ-

ских систем, афоризмов, формул, фантазмов, раздатчика идей, замотанного в нищенский шарф, всей литературе нашей конец, — так вот мне чувствуется — конец. Впрочем, м е н я вся эта «перьев мышья беготня» уже и не касается. И единственное, что прошу у вас, у литератора, избранного мною: вместе с рукописью принять и тему. Вы говорите — чужая? Ну так что ж! Этому-то я успел научиться у Влоба: отдавать, не требуя взамен. В память о нем вы должны это сделать. Ваши слова достаточно емки и сплоченны, чтобы поднять груз и не замолчать под ним. Ну вот, остается пожелать т е м е счастливого пути.

В дальнейшем чтение настоящей рукописи представляет некоторую опасность. Обязанность пишущего — предупредить: при малейшей неосторожности в обращении с текстом возможно перепутать несколько «я». Отчасти это объясняется тем, что Я — последняя буква алфавита, так что дальше идти, собственно, некуда; отчасти же — некоторым недосмотром со стороны автора, который, разрешив своему персонажу вести рассказ от первого лица, одолжив ему, так сказать, свое личное местоимение «я», не знает теперь, как его получить обратно, чтобы закончить от своего имени.

В действующем праве принято, что владение вещью — разумеется, добросовестное, *bona fide*, — по истечении известного срока превращает вещь в собственность владельца. Однако в литературе не удалось еще установить, на которой странице «я», попавшее от автора к персонажу, переходит в неотъемлемую собственность последнего. Единственный человек, который мог бы ответить на этот вопрос, Савл Влоб, не может уже отвечать.

Итак, поскольку право человека, овладевшего рукописью и темой, на местоимение первого лица спорно, придется в этих последних абзацах, несмотря на всю

стилистическую невыгоду позиции, довольствоваться словом «он».

Чужая тема, вселившись в круг «своих» тем, нескоро добилась площади на бумажном листе. Занятому человеку, в портфеле которого очутились формулы Влоба, надо было сначала закончить с в о ю повесть, разделаться с двумя-тремя договорами. Теме пришлось стать в очередь, в самый конец хвоста. И когда, наконец, подошло ее время, она почувствовала себя как-то совсем отбившейся от пера и не захотела даваться чужому человеку. Человек этот, достаточно опытный в обращении с сюжетами, знал, что насильничать в таких случаях бесполезно и что попытка с недостаточными стимулами приведет лишь к окончательному отчуждению от чужого. Он отложил перо и стал дожидаться стимулов.

Прошел ряд недель. Однажды, двигаясь вместе с толпой по одному из наиболее людных тротуаров Москвы, он заметил впереди себя знакомый контур. Это был тот, вручивший ему бесполезные листки. Нельзя было упускать благоприятный случай: возратить тему по принадлежности. Тот, кто называет себя здесь о н, сделал уже движение — догнать и окликнуть, но в это время что-то в самом очертании, наклоне и шаге впереди идущего контура заставило писателя повременить. Сутулый контур двигался как-то странно, напоминая труп, несомый течением реки; ритмически раскачиваясь под толчками надвигающихся сзади и с боков людей, он скользил подошвами по тротуару, наклоняя то вправо, то влево застывшие плечи; он не смотрел вперед и не оглядывался, когда его поворачивало круговоротом перекрестка, и на оплывшем лице его, на секунду подставленном под взгляд наблюдателя, было выражение исключенности и бессловия.

«Неужели Варфоломеевская ночь симптомов действительно началась?» — мелькнуло сквозь сознание наблю-

дателя. И вслед этой мысли другая: «Стимул найден; попытаюсь еще раз».

И тема не возвратилась: в «свой» мозг.

Однако человек, называющий себя о н, все же переоценил силу толчка. Вдовствующая тема медлила расстаться со своим трауром. Неизвестно, сколько времени это продолжалось, если б не помощь Es-dur'ной сонаты Бетховена. Встреча с нею произошла, как и многое в этой истории, волею случая. Тот, кого мы здесь называем о н, посетил концерт заезжего пианиста, имя которого всегда собирает толпы, и был захвачен врасплох словом «Les adieux», глянувшем на него из раскрытой программки. Как немусыкант, он, конечно, забыл тональность и номер сонаты, приведшей Влоба к теории разлук.

И когда пианист, после ряда предваряющих номеров, придвинулся вместе с креслом к начальным аккордам сонаты разлук, среди тысячной аудитории был человек, который, закрыв глаза ладонью, старался подавить нервный комок, подбирающийся к горлу. Именно в этот вечер он стал теме не «он», а «я».

1929—1930

Разговор двух разговоров

На небе белые паруса облаков. Над морем ни всплеска. Вдоль широко распахнувшегося в безволнье пляжа — пестрые грибы зонтиков, кое-где по раскалу камешков — простыня и сотни и сотни голых пяток, уставившихся в море.

Двое лежали шагах в десяти друг от друга. Один был почти кофейного цвета — другой цвета жидкого чая с молоком; первый поворачивался с живота на спину и обратно движением жирного дельфина, играющего на волне, — второй беспокойно ерзал на потных камнях, то и дело отдергивая желтую клавиатуру ребер от желтопа-лого солнца.

Когда коричневый лежал на правом боку, белый — на левом, и глаза их были врозь друг от друга. Когда белый перевернулся на спину, коричневый уже впластался грудью и носом в песок. Наконец белый перекатился на правое плечо, коричневый привстал, ладонями — в землю, глаза их встретились, и оба протянули:

— А-а.

— Кто сказал «а», — улыбнулся белый, — должен сказать и «б». Благодарь. Ну, поскольку вы под цвет вашему письменному столу, то ясно, что вы с ним не видались недели три, а то и больше, а я вот только-только смыл с себя поездную копоть и созерцаю. Пожалуй, даже миро-

созерцаю, потому что там, в Москве, пространство, так сказать, по карточкам; вместо неба — потолок, даль отрезана стеной и вообще все изрублено стенами и перегородками, а взамен солнца двадцатипятисвечная лампочка — не угодно ли? Чрезвычайно трудно не усомниться, что за этим крошечком из пространства есть где-то и настоящее, за горизонт пережлестывающее пространство, классическая протяженность, одним словом, м и р.

Коричневые лопатки шевельнулись:

— Да, как подумаю, что скоро опять, вместо всплесков моря, тьяканье трамвайных звонков, сточные ямы улиц и что на столе тебя дожидается беременный портфель...

Желтые ребра дернулись от смеха:

— Вот именно: мы перекладываем мысли из головы в портфель, и когда голова пуста, а портфель полон, то это и называется...

— Угадываю. Это правда, растекаться мыслью по древу теперь, когда и древа-то эти срублены, и жизнь насаждается заново, нам нет времени. Да и сама эта «мысль», как доказал, кажется, некий палеограф, оказалась «мысью», грызуном, вредителем. С ней тоже надо не без осторожности. А брюхатость наших портфелей почтенна. И после, это — фетишизм. Если тебе взваливали на плечи столько работы, что голове приходится потесниться — ну, там, на время, — не вижу в этом ничего постыдного. Помню, в последнюю командировку занесло меня (в Париже это было) в Сорбонну. Как войти, первая слева фреска, пюи-де-шаванновская; кажется: святой какой-то идет по стене и перед собой, как фонарь, на вытянутых руках несет свою же голову. Я, помню, тогда еще подумал: молодец, не все ли ему равно, как носить свое мышление — на плечах, там, под локтем, или... Важно одно, чтобы совершалось овеществление идеи, объективное ее бытие, а не шмыгание мысли в камере одиночно-

го заключения, под макушкой, в голове. Творчество новой жизни...

— Тварчество.

— Как?

— Я говорю: тварчество. Мысль должна идти на мышление, как рыба на крючок. Вы хотите шутку Клеопатры, приказавшей привязать к удочке Антония, к концу его леси, копченую сельдь — превратить в архисерьезную и массовую систему рыболовства. Нет. Ум вправе рассчитывать на более остроумное с собой обращение. Поезда ходят по расписаниям, и пусть, но мысли, которым дано расписание, только свистят, но не двигаются с места. Тварное, данное не может быть творческим и созданным.

— Позвольте, вы совершенно не понимаете общественного смысла...

— Смыслов.

— Пусть так. Нам нужны не спибающиеся лбами и тем, что под ними, индивидуумы, а организованное коллективное мышление. Если каждый будет тянуть врозь, то нашему возу не будет ходу. Ясно. Ведь стоит только хоть одной образующей лечь под углом, и равнодействующая тотчас же укоротится. Нам нужна равнодействующая предельного действия, и я боюсь, что произошло некоторое запоздание на этом фронте: головы должны быть организованы в первую голову. Единство нашего мирозерцания...

— Перебью: мирозерцание никогда не бывает н а ш и м. Оно не может быть продуктом массового потребления. Придумать философскую систему — это значит зажечь новое солнце, по-новому освещающее мир. Даже при крайнем снижении цен на солнце, это все-таки не спички, которые будут вспыхивать от чиркания о любую черепную коробку. Наше способно только занашивать, но не... Мне как-то рассказывали (это было в давние

годы) о чердачной студенческой коммуне, у которой на всю братию имелась всего лишь одна пара штанов, так что на улицу им приходилось по очереди. Штаны одни на дюжину ног — бедновато, хотя еще так-сяк, но дойти до нищеты философии, чтобы одно мирозозерцание на всех, согласитесь, что...

— Ну, эту карту, знаете, вы из рукава, хотя мы и оба голы. Когда я говорил «мирозозерцание», я, конечно, укорачивал термину смысл, обрубал ему хвост... но не голову, но, как там вы ни спорьте, солнца — и философические, и вот это, что над нами, — действительно-таки подешевели. Сами же вы говорили, что жизнь, заставленная отовсюду стенками, убивает в человеке чувство пространства, мира. Но теперь, когда все стены рухнули, мир, в обесстенности и обестенении своем, стал видим всем созецаниям. Любой мирской сход решает теперь не мирское, а мировое, и каждому, если он хочет психически уцелеть, приходится вскарабкиваться почти по отвесным понятиям. О, это поднятие не понятие; только связываясь друг с другом, как это делают альпинисты, только объединившись в единое, коллективное мышление, можно разминуться с бездной. Так мысль, ведя за собою массы, переходит через...

— Не через, а в: в свою противоположность. Конечно, одни и те же буквы и в букваре и в поэме Брунинга, но в букварном своем возрасте они лишь учатся ходить, в то время как... одним словом, степь под кротовыми холмиками не требует альпенштоков и гвоздчатых подошв. Мысль, превращенная в рукопись и затем в сорокатысячный тираж, остается все-таки мыслью в одном экземпляре. Вы спутали вертикаль с горизонталью и оттого...

— Революция опрокинула пространство, и горизонтали стали вертикалями.

— Надо осторожнее обращаться с аналогиями. Восхождение вверх к точкам, на которые еще не ступала ничья мысль, всегда сквозь безлюдье и холод логики — по горизонтальным же дорогам можно целыми армиями в затылок друг к другу. Надо строго разграничивать ассоциирование и мышление, умение открывать новое и способность прятать себе под макушку старое. Конечно, можно бросить в голову чужую мысль, как кусок сахара в стакан, и если она сама не растворяется, кружить и тискать ложечкой, пока не произойдет полного усвоения. Можно, наконец, организовать подачу идей напоподобие света, распределяемого по лампочкам ли, по головам ли из центральной станции. Очень удобно: каждый получает возможность бездумно думать. Можно, наконец, — научно усовершенствовать дело, перевинчивать головы с плеч на плечи. Жаль только, что самые научнейшие усовершенствования при такого рода голово-водстве прекратятся и мышление, отщелкиваемое выключателями, превратится в бессмыслицу.

— Погодите. Из-за ваших образов о мысли я не вижу образа ваших мыслей, а он-то меня единственно сейчас и интересует. Что же, по-вашему, сколько людей, столько знамен. Но ведь это же чушь: кто же будет сражаться, если все будут знаменосцами? Куча мирозозерцаний и ни одной идеологии. Вам, конечно, не очень нравится это слово — идеология.

— Нет, отчего же: но только идеология для меня не система мыслей, освобождающая от мышления, а такое идеосочетание, которое право на мысль превращает в долг: мыслить. Современная наука определяет процесс мышления как торможение рефлексов. Идеология не должна поступать с идеями как мысль с рефлексами, потому что если начать тормозить торможение, то...

— То оно переходит в свою противоположность. Этот наш спор я уже усвоил. Но противоположности

между горизонталью и вертикалью, пассивным и активным мышлением я себе все-таки не уясняю.

— Очень просто: мысль, как и растение, стеблится вверх, волею тропизмов и логического взгона. Но можно — растение ли, мысли ли, все равно — пригнать к земле, к странице книги, притиснуть колышками или авторитетами и заставить стлаться по противоестественной для них горизонтали. Конечно, любую мысль можно обобществить, рассеменить по миллионам голов, но сущность мысли не в обобществлении, а в обобщении, способности длиннить радиус видения, в умении раскружить кругозор подъемом по сверх, громоздящемуся на сверх... Одним словом, истина настолько-то стыдлива, чтобы не отдаваться коллективу.

— Ого. Вот мы и договорились до психического атомизма. Особи, немецкие ихти, глубокодумные солипусы и пустота. Но то, что вам мнится пустотой, на самом деле расплавленный поток, вливающийся в формы, а ваши ихти — так, воздушные пузырьки, заклестываемые сталеспадом, вспучивающиеся напыщенностью пустот и тем только снижающие качество медленно холодеющего металла. Как это, по пословице: слоны трутся — комаров давят. Комару, сиречь личности, не возбраняется при этом зудеть, но из-за топа слоновьих пят и схватки трубных голосов писк этот попросту не слышен. Личность...

— Не следует переходить на личности с понятием... личности. Прежде всего, плох тот комар, который попадает в терку меж слоновьих боков. Он может пробраться, скажем, и под слоновье ухо и прозвенеть, жая в самое слышание, такое: я не делаю из себя, из, так сказать, мухи слона, но и из слона нельзя сделать мухи. То грубое, перепопуляренное понятие о личности, какое распространяется ее врагами и уничижителями, не более как философическая сплетня, и только. Личность, индивидуальность изображается как нечто отщепенче-

ское, вывихнувшееся из социального организма, противопоставляющее строю коллектива свои настроения, действительности фантазию, одним словом, умеющее придумывать лишь варианты к детской игре: сначала ладонями в переднюю стенку вагона, затем плечом в заднюю, и поезд от этого то ускоряет, то замедляет ход. На самом деле личность не есть нечто вывихнутое из своего вне, наоборот, ей дано вправить мир в мысль. Ведь самое мышление общеобязательно, если только оно само выполняет все свои обязательства перед логикой. Логицирующих много — логика одна. Человек, владеющий общим понятием, не нуждается для его построения в обществе. Его идеям излишни сочеловеческие подпорки. Не сваливайте в голову индивидуума сумбур проблематических суждений и пошлость суждений ассерторических: подлинное «я» берет себе аподектизмы: оно не мыслит «если я есмь» или «Я есмь», — но «я не могу не быть». И дальше: «я мыслю, следовательно, мне принадлежат все мои следователь но». Я не хочу хранить свои логические излишки в сберегательной кассе, я хочу их иметь в своей голове. Я требую, чтобы мне возвратили все, национализированные у меня, шестьдесят четые модуса силлогизма. До единого. И если мне возразят, что из них логически осуществимо лишь девятнадцать, все равно, отдайте и остальные, так как без них не осуществится искусство, которое ведь все из неосуществимых силлогизмов. Мало того, я не хочу, чтобы меня пугали в детстве трубочистом, а в зреломии ошибкой, которая придет и унесет меня в мешке. Я декларирую право ошибаться. Почему? Потому что достигнуть истины можно лишь доошибавшись до нее. Мышление, мыслящее идею с о б о д а, только называет себя по имени. Что вы на это скажете?

— Прежде всего, что вы обожгли себе спину. Перевернитесь на бок. Вот так. С солнцем не шутят. Ну, и с

идеей «свобода» тоже. Затем я беру вот этот камешек и швыряю его: это вместо цитаты из Спинозы. Понятно. И, наконец, боюсь, вы убедили самую логику, и она дала вам полную свободу. Нет, кроме шуток, ваша свободная, самозаконная мысль, наряженная во все шестьдесят четыре модуса, напоминает мне белорусскую невесту, которая, согласно ритуалу, прежде чем переступить порог мужнего дома, выкрикивает: «Хочу скоцу — не хочу не скоцу», после чего, завершая ритуал, муж, взяв ее в охапку, переносит через порог. Философское понятие свободы невоскресимо, индетерминизм — это даже не мертвый Лазарь, который «быв четырехдневен и смердех», это пепел, понятие, подвергшееся кремации, которому только под крышу урны и в колумбарий идей. Ведь если взять все мозговые процессы, начиная от образования ассоциативных связей, которые суть с в я з и, а не...

— Ну да, предчувствую: сейчас на меня рухнут библиотеки и погребут вашего покорного, вернее, непокорного слугу вместе с злосчастной идеей свободы. Но только это совершенно излишне: я вовсе не собираюсь фехтовать против современного научно-вооруженного детерминизма. Я только утверждаю, что человек и его мышление представляют случай несколько своеобразной детерминации. Я много об этом думал. И вот моя формула: человек, поскольку он человек, есть такое существо, все внутренние и внешние поступки которого — то есть мышление и деятельность — детерминированы идеей свободы. Вы понимаете, можно отрицать свободу, но не ее идею, идея-то во всяком случае существует, и поскольку она в центре мышления, поскольку она является доминантой, определяющей всю констелляцию мысли, я спокоен: мое мышление, пусть и не мое, пусть в чужих, но я бы сказал, в хороших руках.

— «Слова, слова, слова».

— Вот именно, только интонацию принца по нынешним временам приходится заменять интонацией нищего: слов, слов, слов. Дайте нам только слова, мы согласны, и даю вам слово, мы сделаем из слов, нестоящих слов, настоящую литературу. Это уже нечто. Но вы держите слова под ключом. Вы...

— Мы находимся в состоянии войны. Пока без выстрелов. А на войне, как на войне: слова оттесняются пароллями, а между мыслью и речью — цензурные рогатки.

— А не оттого ли проигрываются войны — иногда обеими сторонами вместе, — что первыми ее жертвами падают слова, право на правду и критику, и жизнь делается безъязыкой и подкомандной. Ведь все равно мысли, оттесненные от слов, отступают назад в молчание и делаются задними мыслями: таким образом, идейный тыл делается неблагоприятным. С этим следует считаться. И очень. Но это мало: извилины мозга — как дорожки в саду, заросшем многоветвием мыслей. Если из-за войн, в войны переходящих, мы забросим эти внутричерепные сады, они заглохнут, зарастут сорняком. И благодарное искусство силлогизма будет искажено и утратит свой строгий контур. Вместо длинных цепей умозаключений — короткие тычки лбом о факты. Мне вот вспомнилась горестная история горечавки. Не слышали? Горечавка — это такая скромная в блеклом цветневом уборке травка, обычно затеривающаяся в толпах луговых стеблей; некоторые разновидности ее цветут в досенокосные месяцы, другие много позже, но есть и такая разновидность горечавки (о ней-то и речь), которая имеет смелость цвести как раз в сенокосную пору, так что все ее попытки пропылиться летучей пылью в будущее попадают под лезвия кос. В итоге упрямая трава постепенно исчезает с лугов... чуть было не сказал «русской словесности». Еще горсть годов, и только старые ботанические атласы будут хранить изображение покойной

горечавки. Да, горе тому, кто смеет мыслить в эпоху мыслекоса.

— Видите ли, все это может быть и очень трогательно, но... О, черт, ветром-то как ударило. Казалось бы, откуда бы ему. И вон там заволнило. И гребешки. Уж когда море начинает причесываться, это значит...

— Да, вот там, из-за спины, туча. Давайте облачатся.

Головы собеседников нырнули в треплющиеся под ветром рубахи. Всхлесты воздуха становились все сильнее и чаще. Распялы зонтиков пугливо припали к своим тростям, ежась вдруг сморщившимися пестрыми шелками. Море, сбросив синь, переодевалось в защитный серозеленый цвет и шло, взбеляя валы, на быстро пустеющий пляж. Чье-то полотенце растерянно билось, точно белый флаг, поверх расплясавшихся волн. Двое отошли уже от берега на сотню-другую шагов. Навстречу им ползла черным неводом сквозь воздух тень от близящейся тучи.

— Так вот и война. Внезапно и неслышным поползнем. Когда ее менее всего будут ждать. И берег жизни опустеет. Начисто. А вы плачетесь о какой-то там горечавке.

— Нет, теперь я думаю о лезвиях кос, занесенных над днями. В сущности, от войны можно бежать лишь в войну. Самое мышление, схватка тезиса с антитезисом, драка понятий в голове; дальше идут войны голов с головами, нечто вроде брегелевского побоища копилки с печными горшками; и, наконец, неутихающая борьба голов против рук, сцепы пальцев против цепи мыслей. Эту последнюю рукоголовую войну я представляю себе так. Вы где живете? Под той вот, зеленой крышей на всхолмье? Нам по дороге.

— Но нашим мыслям — не по пути.

— Если так, простите. И прощайте.

— Ну вот, так легко люди... огорречавываются. Доскажите. Мне интересно. Только торопитесь, через пять минут рухнет ливень.

— Хорошо. Я успею лишь схему об изготовителях схем. В истории рукоголовья всегда будет и было так: головы измышляют схему. Измышляют, но не осуществляют. Миллионы пальцев, протянутых к неведущей схеме, втягивают ее в материю, превращают миллиграмм графита, стертого о бумагу, в тонны вращающей свои маховики стали. И тут-то и начинается борьба: сущность схемы, идеограммы, в ее способности к непрерывному и бесконечному совершенствованию, внутреннему самообогащению. Не потому ли ей всегда по пути с капиталом, который, по определению Зомберга, есть непрерывное разрастание ради самого разрастания. Схема, с помощью рабочих рук вселившаяся в материю, в дальнейшем, совершенствуясь и уточняясь, старается отсхематизироваться от рабочих. Она прогоняет их медяками, переняв у рук искусство работать, машина эмансипируется и работает без рабочих. Вы знаете, все гигантское сооружение, бросающее энергию Ниагары на тысячи верст вокруг, обслуживается лишь девятнадцатью парами рук. Естественно, что осуществители машин превращаются в «разрушителей» машин. Говоря точнее, в разрушителей неведущих схем, сущность которых в бесконечном саморазвитии. Чем полнее схема, чем более она сыта деталями, чем вработаннее она в жизнь — тем голоднее рабочий и тем ближе пододвигается к нему смерть. Да, борьба голов и рук набирает темпы. Недавно я наткнулся на статистику патентов. Оказывается, в Соединенных Штатах, где еще сто лет тому в течение года головы запатентовывали лишь пятьдесят—шестьдесят измышленных ими схем, теперь каждый год дает не менее тридцати тысяч патентов. Это уже не передовые схватки, а бой развернутым фронтом.

Патенты идут в патентаты земли. Но вот и ваша зеленая кровля. Ударило первыми каплями. Мне — налево.

— Погодите. Только два слова. Вы не додумали до главного: все это для тех, по ту сторону вот этого моря; у нас схемам нечего бояться рук, рукам — схем, ведь стоит укоротить рабочий день (а к этому и стремится социализм), и конфликт меж головами и руками улажен, снят. Ведь можно заставить даже машину размашинить жизнь, время, отнятое у рук, передать головам. Схематизируя теорию схем, вы забыли, что живой, несхематический человек, помимо привешенных к плечам рук, имеет еще нечто и на плечах. Ишь, как полыхнуло. Бегите.

— Да. Нас разлучают грозой. Может быть, так и лучше, потому что...

— Пошло захлест. Промокнете...

— ...потому что если мышление — это разговор с самим собой, то то, что произошло меж нами, — разговор двух разговоров. И так всегда: чтоб говорить с собой, приходится спиной к объекту разговора, миру, но, говоря не с собой, поневоле отворачиваешься от себя. Надо выбирать. И на будущее я выбрал. Ого, гроза на славу. Прощайте.

ШВЫ

I. Человек человеку — призрак

Всем дано забыть. Одному не дано — забытому. Это во мне давно: от виска к виску. Знаю: выключен из всех глаз; из всех памятей; скоро даже стекла и лужи перестанут отражать меня: я не нужен и им. Меня нет — настолько, что никто даже не сказал и не скажет обо мне: нет. И вот оттого мне и не дано: забыть. Часто слышу, шагая вдоль витрин и тумб, как смешные вспученные чертики мне вслед — тонким и нудным писком: уйди-уйди. Но и уйти не дано, потому что как уйти тому, кого нет. Я не надевал на себя шапки-невидимки, на мне обыкновеннейший старый, с обвисшими полями фетр: и все же, даже глядя на меня, меня не видят, даже натолкнувшись плечом о плечо, только бормочут что-то, не подымая глаз. Я лишь смутно помню, что это такое — рукопожатие, ладонь, притиснувшаяся к ладони. И только редко-редко, когда шаги заведут меня на окраинное кладбище, к могильным камням, среди которых так удобно и покойно размышлять, я вижу слова, зовущие меня: «Прохожий» и «Остановись». И я останавливаюсь, иной раз даже присаживаюсь у креста и решетки и беседую с теми, которые не отвечают. В сущности, мы одинаковые — и они и я. Смотрю, как над ними растет крапива и спутывает пыльные стебли трава, — и думаю: мы.

Сегодня чуть ветрено. В швы моего обтерханного пальто втискивается холод. Близко к закату. Опять — сквозь зябкую черную и длинную ночь. В сущности, я ношу на себе свою проблему: швы, расплзшиеся краями, вырубцевавшиеся, с прогнившей ниткой внутри — вы. Да, все оттого, что я меж «здесь» и «там», в каком-то м е ж — в шве. И может быть, старое пальтецо, стягивающее мне плечи, если уже не умеет греть, то умеет н а п о м и н а т ь: швы.

И писать-то не могу иначе, как кусок за куском, в отрыве — по шву. И у мысли — будто короткое дыхание: вдох — выдох, выдох — вдох. Трудно додумывать. Вот и сегодня: сел на привычную скамью привычного бульвара, смотрю: идут — мелко и вразвалку, справа налево и слева направо, враздробь, по двое и группами. Сначала мысль: кто они мне и им я? Потом просто так смотрю: мелко и вразвалку, слева направо и справа налево: идут. И опять: человек человеку волк. Нет, неправда: сентиментально, жизнерадостно. Нет: человек человеку — призрак. Только. Так точнее. Вгрызться зубами в горло — значит п о в е р и т ь, хотя бы — это-то и важно — в чужую кровь. Но в том-то и дело: человек в человека давно перестал в е р и т ь; еще до того, как усомнился в Боге. Мы боимся чужого бытия, как боимся привидений, и только редко-редко, когда люди померещатся друг другу, о них говорят: любят. И недаром любящие ищут ночного часа, чтобы лучше привидеться друг другу: часа, когда приходят призраки. Забавно, что самая оптимистическая философия, измышленная Лейбницем, только и умела увидеть мир несочетанных монад, то есть онтологических одиночеств, из которых «ни единое не имеет окон». И если попробовать быть оптимистичнее оптимиста и признать у душ окна, способность раскрытия их вовне, то уж конечно и окна эти, и способность наглухо заколочены и забиты, как в нежилых домах. И о монадах-

людях ходит дурная слава: в них водятся призраки. Самый страшный из них — человек.

Да, блаженны волки, ибо они уверовали — хотя бы в кровь. Все против всех — это то, до чего нам надо долго и трудно идти, и только когда... ну вот мысли и спутались и карандаш стал: будто увяз... в шве.

II. Бутерброды с метафизикой

Ночь была холодней, чем можно было ждать. Август в начале, а уж заморозки и иней по утрам. В коленях ревматическая боль. И чуть-чуть температуру. Ну вот так когда-нибудь притиснешься к спинке скамьи с вечера, а утром и не встанешь. Какая-нибудь изыбшая женщина с не купленной у нее ночью, а то пьяница, сквозь муть в глазах спугавший сны и яви, подсядет — вместе с утренним брезгом — ко мне на скамью и попросит прикурить. Я не отвечу. Тогда, глянув мне под поля шляпы, он попросит еще раз — только чуть тише и неувереннее... И я опять не отвечу. И буду сидеть, сжав ледяные колени, с окостенелыми пальцами в карманах пальто и с белыми зрачками, спрятанными под тенью шляпы. Вероятно, будет довольно трудно распрямить меня, как полагается быть трупу.

Но все это предварение. Пока же двигаюсь, вижу-слышу и даже моментами пробую думать. Правда, только пробую: ступишь — срыв; еще раз — срыв. Вероятно, мозгу не хватает соков, телу — тепла и пищи.

Мой суточный бюджет — 10 коп. Ни более и ни менее. Приходится укладываться в гривенничные границы. Хочешь не хочешь. И каждый день, чуть солнце сдернет с Москвы черный, в звездном дырьке колпак, — я начинаю отшагивать свой день. Опять и опять. За витринами —

рыбищи, ткнувшиеся в стекла плоскими хвостами, россыпи фруктов, конструкции из жестянок, запечатанное стекло с светящим сквозь него алкоголем. Почти у каждой витрины я останавливаюсь: все это и для меня; конечно, и для меня и для других; но только в пределах гривенника. Я поворачиваюсь лицом в улицу: мимо вращение спиц, ленивая раскачка рессор — глаза женщин сквозь сеть вуалей, мельк бликов и теней; их пронесит тихое шуршание шин в какое-то ускользящее куда — мимо и мимо. Стискиваю зубы и думаю вслед: «Да-да, и это все мое, как и их. Но только в пределах гривенника. Терпение — тебе дадут твою долю земли: вширь — от плеча до плеча, вдоль — от темени до пят; и разве тебе не светит твое крохотное солнце: поперечником в гривенник».

И я не вхожу в зеркальные двери магазинов, я стараюсь и не слышать шуршанья шин, не видеть того, что можно только видеть. Дойдя до Иверской, где под навесью старинных ворот в ряд протянулись лотки, я разжимаю свой зажатый в кулак мутно поблескивающий диск, и через минуту он уже обменян на бутерброд, обыкновенный бутерброд из двух белых ладошек, с влипшими в масло красными икринками внутри. Это и есть в се, что я могу себе позволить. Затем, отыскав скамью где-нибудь поединеннее, я, разъяв свой хлебный складень (сначала одна половинка, потом другая), проглатываю все, аккуратно подхватывая крошки. Вам приходилось когда-нибудь возиться с дешевыми карманными часами? Завод у них обычно куцый, и если часики притом уже пожили и поистерлись зубцами, то чаще стоят, чем идут. И все-таки: всякий раз, как закрутишь им пружину, они пробуют хоть ненадолго потикать и пошевелить стрелками. Потом — глядь, и опять стали. Так вот и с моим мозгом: я завожу его, как заводят скверные дешевые часы; сунешь меж зубов бутерброд — глядь, в голове и затикало, и зашевелилось острыми колючими стрелками. Зубец за зу-

бец, строка за строку — и возникает метафизическое что-то. А потом так же внезапно отдумается, схлынет, и сижу пустой, будто и без пульса, и без «я». Предупреждаю: записи эти так и пойдут: бутерброд — метафизика — бутерброд — метафизика... Сколько гривенников, столько мирозерцаний.

III. Пурвапакшин

Это имя уже много лет тому назад как попало ко мне в блокнот. Помню, роюсь в английских изданиях древних текстов Индии, среди списков Веданты и Санкхьи, комментариев и сводов, — я натолкнулся на это имя: Пурвапакшин. Пурвапакшина будто и не было, и вместе с тем кто же из нас вправе на «есмь», если Пурвапакшина не было. Это человек-миф, придуманный индусскими казуистами ради построения антитетики. Чередой — друг вслед другу — проходят строители систем. Сколько их — столько миров: каждый из них — Вайсья ли, Патанджали ли — приносили с собой свое «да». И всякий из них, отдав «да», возвращался в смерть. Но человек-миф Пурвапакшин не умирал, хотя бы потому, что и не рождался; не говорил — ничему, никому и никогда — «да», потому что самое имя его значит: тот, который говорит «нет». Защитник антитезисов, Пурвапакшин возражает всем и всегда: трактат за трактатом, тысячелетие за тысячелетием. В этом — единственное бытие человека-схемы: б и ть с в о и м н е т п о в с е м д а. И для меня извечный Пурвапакшин не диалектическая персонификация индусских риши: я почти вижу и остро чую его тут, рядом со мной, на вечерней скамье бульвара: замотанный в ветхие пестрые ткани, с упрямым костистым лбом, склоненным к земле, он разжимает свой рот, узкий и ссохшийся,

лишь ради одного краткого, как удар, н е т. О, как часто мы вместе — локоть к локтю, — я и схема, здесь, на шумливых московских бульварах, среди кружений и лязгов, бега огней и теней, заносили над всем этим — снова и снова — свое н е т.

Да, я влекусь к нему, мало — я почти люблю его, этого человека, которого нет: с его н е т. Может быть, только его одного. Затиснуть виски меж ладоней, втянуть в сознание весь мир, и, подымая, как молот, н е т, возражать против всего: разить по тому, что над, под и вокруг; бить по близи и дали. Это единственное мое, пусть припадочное, пусть больное, но счастье: опрокинуть все вертикали; потушить мнимое солнце, спутать орбиты и мир в безмирье.

Я не могу сделать так, чтобы жизнь, ступающая по мне, была иной или совсем не была, и все-таки — я возражаю, мы возражаем: Пурвапакшин и я. Мы не хотим дней, вернувшихся на циферблаты; мы не хотим жизней, застрахованных в Госстрахе; мы не принимаем идей, заутюженных в аккуратный, вчетверо сложенный газетный лист; как и тогда, во дни царя Асоки, так и сейчас, на бесцарье, он говорит, я повторяю — он твердит, я подтверждаю: н е т. Я не могу, затравленный и полуиздохший нищий, опрокинуть все вещи, врывшиеся в землю дома, все домертва обжитые жизни, но я могу одно: опрокинуть смыслы. Остальное пусть остается. Пусть.

IV. «Не п.»

С тех пор как у людей завелись буквы, каждый пробует из них что-нибудь мастерить. И того, кто весь в обуквлении, принято называть: писатель. Я — как другие:

сколько раз я пытался ладить что-то из алфавита — рухнет, и вот опять. Впрочем, сейчас пишу ни для кого. Но бывало и так, что я относил свои слова другим. Другие, то есть профессиональные расценщики строк, либо покупают их, либо возвращают с пометкой: «Не п.». Это значит: не подходит, плохо.

Не скрою — и мне пришлось узнать весь горький смысл трибуквия «Не п.». Помню, в первый раз, когда я, чуть трусая, с зачастившим сердцем, передал — из ладони в ладонь — свою рукопись и над нею металлически защелкнулся портфель, я долго, от срока к сроку, ходил за ответом: мне это стоило целой серии догадок, расценщику обошлось в три знака: «Не п.». Помню: знаки эти назойливо прыгали у меня в глазах, держась на ассоциативной нити: не п — неп-нэл — не п. Все это сейчас мне кажется смешным, а тогда было попросту жалким, но и этого я, забытый, забыть не согласен. И над этим мое нет.

Сколько нас, тех, которые не подходят, «подлежат возврату». Сколько нас, перечеркнутых и отодвинутых за черту. Я не знаю, где наша литература: может, на книжных витринах, а может, и в ящиках для рваной бумаги. Во всяком случае, люди, верящие в витрину, не слишком верят. Мне же по гривенничности бюджета даны лишь обложки: я вижу, как в понедельник витрина меняет свою бумажную кожу, стараюсь угадать, что там — внутри неразрезанных, гладко свальцованных листов, — и бреду дальше, от окна к окну, накапливая дурные предчувствия. Откуда они — не знаю. Ведь я не работаю разрезальным ножом, и литература показана мне из-за стекла. Но и у обложек можно кое-чему научиться. И от периферии можно провести радиусы к центру. Иногда на скамье бульвара мне попадает под руку скомканная газета. Иногда рядом со мной, на той же скамье — человек над раскрытой книгой. Но, расправив

строки скомканному листку, всегда нахожу: одно и то же, одно и то же, об одном и том же. А на лице, уронившем глаза в книгу, всегда одни и те же серые отсветы и скучливые складки у губ. И читатель — я часто подмечал этот жест, — как-то вдруг выдернувшись из книги и положив ее рядом, раскрытыми страницами в доску скамьи, смотрит на меня, на прохожих, деревья, лужи и что ни попадо — и из глаз сквозь рябь отчитанных строк: «Не п.».

Я не завидую и не жалею. Но иногда стараюсь представить себе все эти обогнавшие меня рукописи, которым удалось переменить чернила на краску. Если раньше искали тем в чернильнице, тут, близко, в себе и около себя, то теперь и вовсе не ищут: темы даны; каждый писатель может составить себе, если он аккуратен, даже нечто вроде справочной таблограммы тем. Расписав по графикам спеца, эмигранта, рабочего, разинованного на: а) партийного и б) беспартийного интеллигента (опять-таки: а) в класс ввинченного, б) вывинченного и т. д.), человек, приделавший себя к перу, может чисто механически, по формуле об сочетаниях из *n* получить тридцать—сорок фабул. Мне почему-то кажется: 39.

Если это расписание мыслей повесить на крюке под мушью точки — и... впрочем, можно и самому — на крюк: тема № 40 и последний. И если противопоставить... то... ну, вот мысли и спутались. В глазах ползучие серо-желтые пятна. Не могу дальше. Не —

V. Размышления о панталыке

Какая странная машина: стоило челюстям дожевать хлеб и мясо — и опять в пустоте что-то. Опять меж висков — подымаясь и падая, падая и вновь подымаясь — упрямая и неистребимая мысль. Точнее: припадок

мысли. Сегодня мое короткое двадцатиминутное э т о застало меня у высоких глухих белых стен с полузаштукатуренными замурованными именами: Марат — Робеспьер... Гракхт (именно Гракхт — наш, не в тоге — в сером сукне, лапотный Гракхт). Только за этими сомкнутыми кирпичами и прячутся еще последние, чуть старомодно звучащие выстрелы. Когда-то они были повсюду и по всему. Теперь им зажали рот, загнали их в каменный обвод стены и, отняв в с е, дали круглую учебную мишень в полуметр в диаметре.

Я люблю, сев на скамью Пречистенского бульвара и наставив ухо, с видом любителя вслушиваться в укрошенные выстрелы. Гулками, обрывистыми словами они вспоминают — вместе со мной — об умерших днях: б ы л о — вновь и вновь — стучится в е с т ь; и металлическим голосам тех, за стеной, вторят мириады и мириады иных. Слушаю, и призраки обступают меня, — меня, который сейчас не реальней своих воспоминаний, мнимее мнимостей, которые пришли и хотят быть.

Да, говоря вульгарно, те годы, такие недавние и уже т е, сбили всех нас и все, что в нас, с панталыка привычного, притершегося к пяткам, столь удобного для не слишком живых и не слишком мертвых панталыка. «Точки зрения», выпав из плоскости панталыка, поплыли мимо глаз вереницами «зрительных точек». А там — спицами откружили дни, и нелепый, смешной панталык опять под ногами. Самый смысл этого глупого слова, сунувшегося мне под карандаш, пресловутого п а н т а л ы к а, мне не слишком ясен: может быть, от πάντα* и λευκός**. Если так, то, значит, сперва — сшибло с всефлегмия — после всосало назад в всефлегмие. И кто знает, может быть, циклы эпох оттого, что жизнь то из

* Всё (греч.).

** Белый (греч.).

крови в флегму, то из флегмы в кровь; и опять сначала. И история вечно кружит то внутри горячих артерий, то медленно, капля за каплей, по холодным протокам лимфатических систем. Каждый вправе говорить за себя: и вот я, сидя здесь, внутри огромного, лимфатически холодного и осклизлого п о с л е, слежу кривой лет гигантского бумеранга: сначала вперед — потом вверх — а там назад и вниз.

VI. -1

С каждым рассветом я подымаюсь со скамьи и, разминая затекшие ноги, иду, прорывая туман, вдоль рельс. Навстречу, лязгая железом о железо, движутся проснувшиеся трамваи. Они еще пусты: за заиндевелыми стеклами — голые спины скамей. Я останавливаюсь у доски с зелеными огнями и пропускаю череду грохочущих, прощывающих мимо меня из тумана в туман пустот. И железные пустые короба, остановленные зелеными знаками, дрогнув кузовом, круто обрывают бег. Проходит секунда-другая: можно подумать, что кто-то садится и высаживается из одетых в стекло коробов. Но звякает звонок, и закованная в сталь пустота, высадив и приняв пустоту, снова укатывает в сумеречное предутрие.

Понемногу то за тем, то за этим трущимся о мглу стеклом возникают сутулящиеся, зябкие контуры. Но это уже не м о е. И, отвернувшись, я ухожу сквозь редеющий туман навстречу новому длинному голодному дню.

О людях, которых столица судит в своих судах и присуждает к отлучению от себя, к высылке за черту, говорят: приговорен к «минус 1». Мне никто не объявлял приговора: 0 - 1. Я все еще среди пестрот и шумов столицы. Но вместе с тем мною твердо и до конца понято: я

выслан навсегда и безвозвратно из всех вещей, из всех радостей и из всех правд; и хотя иду, смотрю и слышу рядом с другими, вселенными в город, — знаю: они — в Москве, я — в минус-Москве. Мне позволены только тени от вещей; вещи вне моих касаний; монеты, перекатывающиеся из пальцев в пальцы, мне отдают лишь свой тонкий и острый звон; мне разрешены встречи и беседы лишь с пустотой, которую осторожно, звякая звонками сквозь мглу, высаживают и высаживают утренние трамваи; все затоптанные людьми пороги для меня непереступаемы, и все, что за ними, для меня почти трансцендентно.

Я могу лишь, прижавшись к стене у вечеряющего перекрестка, наблюдать, как кто-то, многое множество всяких кто-то включают и выключают свет за окнами, задергивают и вздергивают шторы; я могу наблюдать, как новые и новые кто-то, толкая пружины подъездных дверей, выходят и входят: их ждут за занавесами театров, за занавесами кроватей.

Да, я житель минус-Москвы. Тот город, из которого я еще не выслан, в котором я еще имею свою квадратуру и свои права, это не город из вещей, а город из отражений. В него, как и в водную глубину, упали опрокинутые поверхности, контуры и «обложки» вещей. И если я человек, которому отданы только минусы, я стараюсь поверить в минусы. Мне невыгодно, понимаете, невыгодно повторять вслед за всеми: тень отброшена вещью. Нет, в моем минус-городе, в призрачном, минусовом мирке имеют смысл лишь минус-истины, — лишь упавшая на свою вершину правда. Следовательно: вещь отброшена тенью. Да-да, против этого в моем выключенном из мира мире не спорят. И я устраиваюсь, как умею, среди своих минусов и теней; отчеркнутый порогами, перечеркиваю мыслью: ведь если оттуда, из иного мира, не дано мне ничего, кроме поверхностей, теней, лжей и

обложек, то и я вправе заподозрить, что под всеми их обложками — лжи и что все их вещи — тени моих теней.

Странно: улицы Москвы похожи на расползшиеся каменные швы. Что ж. Пусть меня обронило внутрь уличного шва, пусть мне придется жить и умирать в минусовом, выключенном и отверженном мирке, я принимаю его: и я пройду по извивам всех его швов, куда бы они ни привели.

VII. Украденные одиночества

Для каждого: реальность в нем самом. И все-таки все «я» сшиты в «мы»; из индивидуумов — хотя на живую нитку — а получается общество, некое одно, сделанное из одиночеств. И самый удивительный парадокс — это город, соединяющий отъединяющихся. Ведь потребность быть одному почти совпадает с самосохранением: сохранить себя можно лишь затем, чтобы ценою упорного труда купить друг у друга возможность быть друг без друга; они копят ценою творчеств, работы, воровства — монету к монете, чтобы приобрести себе стены; там, вне людских скоплений, одиночества их не обеспечены, не ограничены стенами, подударны, здесь они организованы, тщательно запрятаны за шторы и стены, защелкнуты на ключ, культурно ограждены. Но человеку мало быть без человека; надо — чтобы и без Бога; догмат вездесущности нарушает право одиночеств; незакрывающийся глаз, вперенный в жизнь, подглядывающий сквозь свой мистический треугольник, как сквозь тюремный глазок, должен быть изъят. Отсюда специфический городской атеизм существ, которым после целого дня кружения среди спрашивающих и смотрящих, остервенелой борьбы за выключение из «мы» и «я» нуж-

ны хотя бы краткие минуты полной изоляции, вне видений и досяганий всяческого в н е. Так шелковичный червь, когда придет ему время, беспokoйно ползает, ища бездвигья, беззвучья, где можно завернуться в кокон. Город и состоит из беспokoйных ползов и системы глухих разобщенных коконов, только этим определен его смысл. И конечно, город наиболее г о р о д не в полдень, а в полночь, не тогда, когда он из гулов и лязгов, а тогда, когда он из тишины и снов: объясняет город до конца лишь обезлюдевшая пустая улица с мертвыми потухшими окнами и рядами дверей, сомкнувших створы. Да, мы умеем лишь жить — спина к спине: все, от крохотных ползунов на городском бульваре, которые лепят из песка и глины свои отъединенные города, и до мертвецов пригородного кладбища, лежащих, отгородившись решетками друг от друга, — все подтверждает, закрепляет эту мысль.

Помню случай: как-то перед рассветом, шагая взад и вперед по кривому выгибу переулка, я услышал невдалеке сначала шаги, потом чье-то ритмичное бормотанье. Шаги оборвались, бормотанье длилось. Я пошел навстречу звуку. У серого, еле вычерченного рассветом каменного массива стоял спиной в стену человек: ноги плохо держали его, голова будто вывинчивалась из воротника пальто; он, конечно, не замечал ни меня, ни даже мертвого камня вокруг и, будто вчерченный в непереступаемый волшебный круг, продолжал, ритмически качаясь, сосредоточенно повторять:

— Бога, слава Богу, нет. Слава Богу, Бога нет.

Это было похоже на декларацию одиночества. Пройдя мимо пьяницы, я впервые подумал, что, пожалуй, единственно еще для меня интересное — это слежка за человеческими одиночествами, слежка за обо-собляющимися особями, со смешным бессилием и трагическим упорством пробующими здесь, в гуще человече-

ника, вчертиться в свой отъединяющий, непереступаемый круг. У меня частые и длинные досуги, и я решил, не щадя дней, заняться кражей одиночеств. Да-да. Бедность и безделие всегда толкают к злу: краже одиночеств.

Однако первые же опыты убедили меня, что охота за городскими одиночествами — дело чрезвычайно трудное и кропотливое. Горожанин, привычный лавировать среди ушей и глаз, ловко выскользает из наблюдения, не дает никак и никогда вклиниться ему в «я». Требовалась выработка особой техники, умение, так сказать, зайти со спины, сочетать быстроту с осторожностью. После нескольких неудач я понял, что необходимо вначале упрощать обстановку, лишь постепенно приучая себя к более сложным городским ситуациям. Так, однажды, проходя мимо слепого старика, подставлявшего деревянную чашку под доброхотные медяки, я подумал, что это, пожалуй, подходящий, так сказать, пробный объект. Остановившись в десятке шагов от слепца и внимательно разглядев его строгое обветренное лицо и смятый в складки лоб, я старался расчесть те преимущества, какие дает мне его слепота. После двух-трех встреч со стариком я как-то увидел его сутулую, медлительно качающуюся спину: слепец шел, щупая острием длинной палки бульжины и осторожно наставляя ухо навстречу шумам. Мы находились недалеко от городских окраин. Я решил следовать за объектом. Мы прошагали — тычущаяся о камни палка и я — мимо низких деревянных домиков предместья, медленно, шаг за шагом, взяли заставу, изгиб уползающего к каменоломне шоссе. В сотне саженей впереди показался глубоко вдавленный в землю пруд с мягкими изгибами ив, опадающих листвой во влагу. Палка старика продолжала ворошить пыль. Я, укорачивая дистанцию, беззвучно ступая, шел позади. Старик вдруг обернул ухо, вслушиваясь. Было совершенно тихо. Где-то в полуверсте загудел паровоз. И опять — тишь.

Слепец сошел с дороги в пыльные травы и, оцупав землю, сел. Я продолжал стоять, наблюдая: человеческое одиночество было в моих руках.

Сначала объект вынул запрятанный под грязную рубаху узелок и, размотав его концы, стал звенеть медяками. «Только и всего», — подумал я с досадой и собирался уже, нарушив беззвучие, уйти прочь. Но в это время вокруг мертвых глаз объекта беспокойно задвигались морщинки, губы хитро улыбнулись, и он начал какую-то не сразу понятую мною игру. Отложив узелок и палку, слепой старик вдруг сел, странно вытянулся и, вставив кисть в кисть, пальцами в пальцы, прижал их, весело за костеневая, к груди, обездвигил лицо и, отвалив пустую челюсть, закатил уже и так мертвые зрачки. Только теперь я понял: это была веселая, с хитрецей, игра в смерть. Мало ли как и кому ведомо, как развлекаются разные друг другу люди внутри своих замкнутых, вчерченных в волшебные круги одиночеств. Мне было чуть противно, и я знал, что это все, но я продолжал стоять не шевелясь. Ведь каждому вору, что бы он ни крал, жутко быть пойманным с поличным. Грохот груженной телеги, близившейся со стороны каменеломен, освободил мне мои шаги. Я быстро вернулся в город. Случай, сейчас мной рассказанный, не прекратил моей слежки за городскими одиночествами, но я обещал себе и им одно: не отдавать все эти краденые сути на сохранение карандашу. Даже вот этому. Буду беречь в себе: так вернее.

VIII. Разговор о шагах

Я не знал, что могу заговорить. И вот сегодня: в первый раз после стольких месяцев. В первый раз. Это не было так — полуслово, реплика, вопрос (это-то со

мною случалось). Нет: настоящий разговор, для записи которого мне понадобится добрый десяток тире. Конечно, заставить говорить меня и со мной могла лишь случайность. Вышло это так. Сегодня поутру, идя по Страстному, я захотел с тротуара свернуть на бульвар. По мостовой, загораживая дорогу, стояли две дымящихся асфальтовых печи. Длинная железная ложка, лениво вращаясь в вязкой черной гуще, месила асфальтное тесто. Здесь же, у ободранного тротуара, свернутый растрескавшимися трубами, протоптанный, кой-где даже прорванный асфальт. Ветром колыхнуло сизый дымок на меня. Я отвернул лицо и в это время увидел в шаге от себя тоненькую, бледную полудевочку-полудевушку, пристально всматривающуюся сквозь едкий дым в чавкающее асфальтовое варево. В складке меж длинных и узких бровей, в легком дрожании губ, будто намечающих какие-то слова, мне почудилось одиночество, за смыслами которого я так давно охочусь. Тотчас же я сделал несколько шагов в сторону, продолжая наблюдать девушку. Она продолжала стоять среди синего дыма, как среди дыма курильниц, легко и смело вчерченная во влажный утренний воздух, и, казалось, не замечала ни меня, ни рабочих, спины и фартуки которых копошились меж двух котлов. Так продолжалось с минуту. Затем крутой поворот головы — и я снова наткнулся глазами на глаза.

— Мы оба наблюдаем: я — дым; вы — меня. Зачем вам это?

— А вам?

— Я согласна отвечать первой. Но ответ мой длинный, а ему вот невтерпеж.

Девушка указала взглядом: только сейчас я увидел под ее тугим округлым локтем истертый, в расползшихся швах портфель, равнодушно притиснувший свою шершавую облезлую кожу к ее обнаженной руке.

— Говорите на ходу, — я сам удивлялся, откуда это во мне.

Она не собиралась рассердиться, нет — у губ ее, дергая за ноздри, толчками, улыбка.

— Что же, я просто думала — вам это покажется глупым; сколько в асфальтовой печи шагов? Понимаете: сколько шагов? Ведь вся Москва — из идущих людей. Вот как мы сейчас: идем рядом, потом «прощайте-прощайте» — и все. А шаги, ну, следы там, пусть до первого ветра или метлы, но все же — остались. И понимаете, их много, много, они втаптываются в асфальт, следы поверх следов, пока не протрут и не прорвут его до земли. Потом их вместе, шаги и асфальт, сваливают в печь и ворочат железной ложкой, как в сказке — ведь там над следами колдуют и даже вырезают их. И вот теперь слушайте: если б можно было, хоть редко-редко, хоть раз в жизнь, все, что человек, что люди натопчут, наследят, нагрешат и напридумывают, — все в кучу и потом в печь; и сжечь, понимаете, сжечь — чтобы все дымом ушло, а потом жизнь сначала. Сначала.

Она шла, дробно, но четко стуча каблучками, почти и не оглядываясь на меня. Я еле поспевал, в полушаге позади.

— Ведь правда? Да?

— Видите, я вообще не верю в следы. Человек... — И, не сопротивляясь вдруг прихлынувшему, долго тайным словам, я начал говорить о своем: — Человек человеку или волк, или призрак. Жить на волчью стать — значит отнимать все, даже след, значит пожрать безостаточно, обесследить до конца. Ну а призракам, тем так и должно — возникнуть и изникнуть — в бесследии...

Мы шли, то задерживая, то ускоряя шаги, сворачивая из улицы в улицу, и, глядя на мерное движение ее плеча, я продолжал — все дальше — о двух формулах, между которыми должно выбирать: или — человек человеку волк, или — человек человеку призрак.

Договорив, я увидел вновь обернувшееся ко мне все так же юно улыбающееся лицо.

— Мне сюда, — сказала она раздумчиво и взошла на ступеньку подъезда (теперь мы были головами вровень).

И, чуть помолчав:

— Пусть так. Но есть и третья формула, если вам нравится так это называть: ведь, в конце-то концов, человек человеку.. человек. Почему это у вас две пуговицы оторваны? Вот тут — на груди: еще простудитесь. Знаете: придите завтра, только чуть раньше, к скамье против печи — я вам пришью. А то...

И она исчезла за гранеными стеклами двери. Я остался один. Вероятно, от быстрой ходьбы сердце непривычно сильно и четко стучалось в виски. За толстыми плитами стекла, фантастически ломаясь в их гранях, белел мраморный лестничный марш. Снаружи вокруг двери лепились белые и желтые квадраты.

— Где она? — оглядывала их, и квадраты отвечали: «Счетоводные курсы. Детский сад. Удаление зубов без боли. Крой и шитье. Накожные болезни. Опытная читальня. Обувь без шва. По десятипальцевой системе».

IX. Еще разговор: об индексе 1.76

Сегодня чуть не с рассветом я ждал на условленной скамье. Сквозь золотую сентябрьскую листву бульвара — те же два круглых котла. Котлы были пусты, и синий дымок, познакомивший нас вчера, сделав свое дело, исчез — точно и не был. Бульвар, еще зябкий и полупроснувшийся, медленно накапливал человечьи шаги. Сначала прошла тройка беспризорников, может быть, отночевавших ночь вместе с асфальтом и шагами в одной из таких же вот печей. Затем — редкой чередой — лоточки с деревянными ящиками на ремнях, не на-

чавшие еще кричать сонные мальчишки с газетными книгами, рабочие и только что сменившийся милиционер. После — замотанные в платки женщины с бутылками и бидонами в руках, а там и мелкий служащий люд в нахлобученных кепках и с локтями торчком из кармана. Я начал вглядываться. Вот: она шла торопясь и, поравнявшись со скамьей, тотчас же деловито села рядом.

— Ну вот. Отстегните пальто. — Она положила свой дряхлый портфель на колени, и, пока ее пальцы вынимали из него наперсток, иголку, нитки и пару крепких роговых пуговиц, я успел увидеть ввинченное в дряблую кожу портфеля маленькое металлическое Д.

Затем в течение трех-четырех минут, полуприкрыв глаза, я слышал, как по борту моего мизерабельного пальто проворно ходили упругие ноготки, слышал легкое, но близкое дыхание и также как два раза оборвалась нитка. Затем портфель снова защелкнулся и, подняв веки, я увидел строгие пристальные глаза:

— Петли целы. Попробуйте застегнуть. Хорошо. А теперь ответьте, зачем вы вчера следили за мной? Ну?

Я начал, несколько путаясь и смущаясь, «объяснять»: я рассказал о моей охоте за одиночествами, о попытках прорвать круги, в которые вчерчены все люди города.

Она слушала, изредка отводя глаза в сторону и постукивая острым ноготком о металлическое Д.

— Понимаю. Но где же вам удобнее, скажем, нападать на наши бедные одиночества? Где и когда они уязвимее и незащитнее? Ведь если это ваша специальность, как вы говорите, странный вы человек, то...

— Видите ли, тут надо остерегаться правил. Но все-таки несомненно: начала и концы дней, например, дают больше шансов, чем середина дня. Может быть, потому что в первом случае люди не успевают еще войти в день, во втором — усталое «мы» само распадается на «я».

Одним словом, надо искать где-то около зорь, у линии меж снами и явями. Где одиночества уловимее? Как сказать: чаще всего где-нибудь у городской периферии, ведь потребность быть с собой действует центробежно — по отношению к скучивающей центростремительности города. Или вот: на вокзалах. Люди, сидящие на узлах, с рукой на крышке чемодана, тоже подходящие объекты: они уже не здесь и еще не там. И не слишком считаются с глазами, окружившими их. И если слежка поведет вас сквозь железную вертушку — вслед отъединяющимся — на перрон, и тут вы увидите сцепленные сортировочные короба: на одних из них черным по желтому — «мягкие»; на других — черным по зеленому — «жесткие». И представьте себе: в жестких рассажены по скамьям, я бы сказал, мягкие одиночества, отепленные лиризмом, вчеренные либо в грусть, либо в радость; в мягких же — врозь друг от друга, за поднятыми стеклами, молчат одиночества жесткие. Это опять-таки не правило, а так, рабочая гипотеза.

Я посмотрел на свою примолкшую собеседницу. Лицо ее с полураскрытыми влажными губами было будто тронута проступями какой-то еще неотчетлившейся мечты. Глаза глядели куда-то далеко, мимо меня. Не упуская мига, я спросил:

— Вчера за захлопнувшейся дверью я остался вместе с дверными дощечками и долго пробовал угадать...

Глаза ее — точно нехотя — вернулись назад:

— Попробуйте еще раз.

— Право, не знаю: детский дом — вряд ли. Десятипальцевая...

— Вот-вот. Близко, но не то. Ищите еще.

Я беспомощно замотал головой.

— Впрочем, тут и любопытного-то ничего: просто службу в читальне. Каталогизирую по десятичной системе. Слыхали про такое? Скоро брошу.

Я улыбнулся:

— Как же. Знаю. Система, по которой все вещи и смыслы можно развешать на десяти крючках и каждой вещи выдать по номерку.

— А вы не смейтесь. Это вовсе не так глупо: с тремя-четырьмя цифрами отыскиваешь все, что хочешь. Очень удобно: у всего свой индекс. Назови индекс и получиай.

— Д-да. Ну а у любви тоже индекс?

— Позвольте: это будет по большой таблице 1, по дополнительной — 76. 1.76 — вот вам и... Но зачем вы это спросили?

Она вдруг густо покраснела, и длинные брови ее стянулись в одну линию. Я ждал. Тогда она резко встала. Поднялся и я.

— Нет, не провожайте. Там, у перекрестка, меня ждут. Прощайте.

Я покорно опустил на скамью и долго смотрел, как она шла не оборачиваясь среди покрытых осеннею ржавчиной деревьев. Когда я открыл глаза, то увидел: на скамье рядом со мной лежал завернутый в белую бумагу пакетик. Я осторожно развернул его: две хлебных ладошки, внутри ветчина: бутерброд. Что-то мучительно сладкое подступило мне к горлу. Я надвинул на глаза шляпу: еще увидят.

Х. Д-р Шротт

Когда люди покидают человека, на место их приходят (очень просто) не-люди. Я хочу сказать: когда человек выключен из фактов, он включается в фантазмы. Я говорил уже о Пурвапакшине. Иногда мне мало было одного вымысла, и я придумал себе в собеседники и

спутники доктора Шротта. Доктор Шротт где-то и когда-то жил, но я не знал его. Впервые я услышал о нем от одного чудака, которого избыток здоровья постоянно заставлял от чего-нибудь лечиться. Однажды он рассказал мне о докторе Шротте, придумавшем панацею: лечение голодом. Тогда мне это было ни к чему, но после того, как обстоятельства мои круто изменились и я перешел на гривенничный режим, доктор Шротт, забытый где-то у дна памяти, как надувная подушка, сложенная вшестеро и запрятанная на дно рюкзака, был отыскан, развернут и увеличен в объеме, в реализованности, так сказать, до отказа. После этого оставалось завинтить под вдувом винтик и пользоваться услугами фантазма. Впрочем, с реализацией доктора Шротта не приходилось слишком возиться: фанатику неедения (по формулам которого нужно в первую неделю лечения быть без пищи два дня, во вторую — четыре, в третью — шесть; затем по нисходящей — четыре, два и опять четыре, шесть и т. д.) — и не пристала чрезмерная реальность и телесность. После двух-трех попыток моей фантазии я наконец ощутил его и позволил ему быть: доктор Шротт несколько выше среднего роста, с седеющими нитями на голове, зачесанными на шишковатое голое темя. За стеклами оправленных в металл очков — два крепко ввинченных недвигающихся глаза. Желтые впадины щек корректно выбриты и втиснуты в тугой крахмал воротника; мерно дышащие ребра обтянуты черным, наглухо застегнутым рединготом; тонкие, будто провололочные, ноги туго зашнурованы в штиблеты с двойной подошвой; в длиннопалых руках Шротта неизменная темного дерева трость. Сначала мы с ним встречались чаще во сне; потом наши свиданья были перенесены и за пределы снов. При встрече, где бы и когда бы это ни было, почтенный д-р Шротт трогает костяшками пальцев мою ладонь и внимательно осматривает меня с ног до пят:

— Виски еще втянуло, ага. Очень хорошо. Утонченные шеи — прекрасно. Говорите, перебои сердца? Угу. Так. Пульс. Пятьдесят шесть. Вот-вот. Мы на пути к выздоровлению. Имею честь.

И, приподняв высокий цилиндр, доктор Шротт поворачивает ко мне узкую черную спину и, мерно переставляя свои длинные проволочные ноги, удаляется: до новых встреч.

Я вспоминаю его, спутника долгой череды дней, потому что нам настало время расстаться. Прости, милый, назидательный Шротт: я сегодня отвинчу вентиль, удерживающий тебя в бытии. Я выпущу из тебя реальность, как выпускают воздух из дорожной надувной подушки, потому что, понимаешь ли, близко моя станция.

Да, мои призраки мне были нужны до встречи с человеком. Они честно делали свое дело. И вчера, когда я, дойдя до Петровского парка, полный новых смыслов и дерзкой надежды, тщетно пробовал, примостившись под навесом сосновых игл, уснуть, но сон не откликнулся, — я позвал Пурвапакшина и доктора Шротта: проститься. И тотчас же, не подымая век, увидел: пришли; пришли и сели по бокам; и лист не прошуршал под их шагами, и воздух не качнулся от движенья двух. Все еще с закрытыми глазами, чтобы четче видеть, я обратился сначала к Шротту:

— Должен вас огорчить. Режим нарушен: сегодня я съел д в а бутерброда. Пульс прыгнул вверх: почти у нормы (он пожал плечами). И вот видите — две пуговицы: против простуды. Удивительнейшие пуговицы: из них так и течет тепло. И кто знает — может быть, сейчас и не сентябрь. Вы поджали губы и хмуритесь. Все равно я повернул вентиль и лишаю вас реальности. Услуги призраков мне больше не нужны. Видите вот эту руку; десять пальцев: я их пушу в работу, я переброшусь от мозга к мускулам и добуду себе пульс в семьдесят два удара, ру-

мянец на щеки и прямую спину. Мне это нужно, потому что... но вы не поймете. Не смею удерживать: да-да, прямо, не сворачивая, в ничто.

После этого я обернулся к Пурвапакшину, зябко кутавшему бороду и лицо по самые глаза в край просторного бурнуса.

— О, благородный риши, я человек, которому нужно добиться одного «да»: не от тебя, конечно, у тебя их нет. Скажешь ли ты и этому «да» — «нет»?

Он молчал. И только благоухающая тысячелетями ткань чуть шевелилась от ровного дыхания мудреца. Отслушав, Пурвапакшин величественно поднялся: листья не прошуршали под его шагами и воздух не шевельнулся от веяния его одежд, когда он уходил в тьму, вошел в нее и стал как она.

В эту ночь до проступей зари я успел передумать все мои мысли. И навстречу серо-синему, в росы и зябь одетому дню я, возвращаясь в город, нес твердое решение: все шаги в печь. И сверху крышкой. Самое веселое слово из всех, какие знаю, это «сначала».

XI. Мягкое и жесткое

Так мне и надо: сразу и напрочь. Размудрствовавший дурак. Второй день сижу и отупеваю. Может быть, карандаш поможет: попробую распутать факт вслед факту, строка к строке. Ошибка: я поторопился, прогнав призраки. Это началось уже на следующее утро, с возвратом в город. Я ждал на том же месте того же бульвара. Утренние часы прошли. Ее не было. Близился теплый полдень. Не покидая нашей скамьи, я (помню эту мелочь точно) расстегнул пальто и тут впервые заметил, что и в сознание мне крепко ею вшиты два слова: «ждут», «прощайте».

«Случайность», — сказал я себе и решил быть терпеливее. Следующий день — воскресенье. Нечего было и ждать. Проходя ранним утром по воскресным улицам мимо окон, заколоченных досками, покрытых жалюзиами и решетками, я подумал, что это напоминает тот идеальный город, который столько раз я старался себе представить, но все это уже не интересовало меня. Крохотное металлическое Д, жесткая загадка, таимая им, было мне насущнее и нужней всех проблем и мирозерцаний. Еще день: и он не дал встречи. Я решил действовать смелее. Пойти в «опытную читальню»: там скажут, что с ней. Больна или другое. Но о ком? Я мог назвать один инициал Д. И все же после колебаний я отыскал дверь, окруженную квадратиками, и взялся за ее ручку. Но тут дверные зеркальные грани внезапно показали мне меня: жалкий костяк в свисающем с остриев плеч мятом и продырявленном демисезоне; под провалами глаз ключья давно не стриженной бороды. Постояв минуту у порога, я тихо пошел назад: до завтра, подожду еще день. Чтобы побороть волнение, я решил доутомить себя до конца и, проделав длинную ломаную линию переулками, вышел на 1-ю Мещанскую. Ее прямой разбег показался мне достаточно истошающим: голову в плечи, руки в карманы — и шаги к шагам — прямо и прямо, вперед и вперед. Светящийся циферблат Виндавского вокзала остановил меня. Мысль, от цифр к цифрам, описала круг и еще треть круга: до встречи 16 часов. Терпение. И через секунду произошла встреча. На извозчике мимо меня проехали двое: мужчина и женщина. Женщина — она. Дрожки, описав подъездной круг, остановились у ступенек вокзала. Я, взглядываясь, подходил сзади: да, она. Двое, сдав вещи носильщику, торопливо поднялись по ступенькам. Я вслед. И дальше это длилось, вероятно, минут пять-восемь. Странно, что за это время, хотя фонари светили ярко, я не успел рассмотреть лица спутника.

Не знаю почему. Они прошли сквозь вокзальный зал и — скрылись на перроне. Автоматически я подошел к зеленому ящику, и ящик столь же автоматически проглотил щелью гривенник. С перронным билетом в руке я продолжал механически шагать вслед. Вдоль черного асфальта — сцепленные ящики. На ящиках: «Мягкий — жесткий» — «Жесткий — мягкий». Я видел их — они меня нет. Это был один из примечательнейших случаев одиночества: одиночество вдвоем. Они будто срослись глазами и вошли, плечо к плечу, в общий им, вчертивший их в себя, не переступаемый ни для кого третьего круг. Я и не пробовал переступить. Ударило медью о медь: раз (я); потом — раз и еще раз (они). Лязгнули буфера, и поезд обнажил рельсы. Платформа опустела. Я прошел мимо ряда унылых железных дыр для плевков и окурков. И через минуту снова шагал — в карманы руки, в плечи голова — вдоль долгого прямого разбега Мещанской.

ХII. Метафизика без бутерброда

Последнюю монету проглотил автомат. И так, мозг без завода: мысли представляется питаться самой собой. Вероятно, оттого — вместо силлогизмов чуть логизированная муть. Что ж, пожалуй, и лучше: мало ли что может быть там, за мутью, у дна. Скученность городских вещей и людей мучает меня. Тесная обступь их — неперееносна. Каждый дом заглядывает в тебя всеми своими окнами. И хотя слабость и перебои сердца мне мешают идти, я кой-как, с передышками — вдоль бесконечного ряда больничных фасадов Калужской, в огиб каменному квадрату Донского монастыря, мимо старых живодерен и дальше полевой дорогой — добрался до Андреевского оврага. Людей тут не видать, у овражного дна затишно и

покойно. Сверху всперенные облака. Слева над овражным краем синие дымки: должно быть, жгут мусор на свалках.

Мысль моя отдергивается от фактов, и от было, и от будет: так хорошо отдыхать на абстракциях, на отрыве от всяческого этого.

Вот сейчас пробую сконцентрироваться на проблеме боли. Наш крепкий крестьянский язык о больном человеке — если он весь из боли, трудно болен, — так и говорит, боль склоняя: боля, болю и т. д. Происходит отождествление «боля» с болью. Если идти от этого как от логического игрека, естественно приходишь к построению: боль есть бытие боля; следовательно, для него существует лишь боль и ничего боле. Обезболить от того или иного содержания сознание боли мыслимо, лишь отсекая, так сказать ампутируя, данное содержание (то есть боль в боле) вовне. Так дедуцируется необходимость в не; явь, бывшая в «я», объективируется в пространство и время. «Мне больно» превращается в «более меня». Но что отодвигает боль? Сама боль: элементарный рефлекс, свойственный и препарированной живо лягушке, и сознанию человека, отталкиваться от боли, отсекал или отсекался от нее. И зверь, выдергивающий лапой из себя занозу, и сознание, строящее пространство и время, чтобы можно было вышвырнуть свои боли прочь — опрошлить и опространствить, — лишь по-разному осуществляют единую волю. Таким образом, сознание, постепенно избавляясь от первоболезни, постепенно же заболевает внешним миром, выгнанной изнутри наружу болью. Но по мере того, как боли проектируются вовне, метафизический боль, отдающий свое единственное бытие — боль, исцеляясь, исцеляется, в сущности, и от самого себя: страх перед болью, создающий объективацию, и страх за свое бытие (самосохранение) затормаживают друг друга: остаток боли, неотампутиро-

ванной, неотмершей во внешнее, — и принято называть: душа. Вот, кстати, вспомнилось: однажды изобретатель оптимизма, строитель легенды о наилучшем из миров философ Лейбниц заболел. Услужливая мысль тотчас придумала ему хитро сконструированную из деревянных планок, винтов и зажимов машину для обезболения. Если боль, вторгаясь в мышление, мешала оптимисту писать о гармонии монад, он, при помощи слуги (как это сообщает секретарь его Экгарт), вдевал себя в специально прилаженные — из дерева и железа — охваты машины и велел завинчивать винты: планки, сдвигаясь, брали боли в зажим, и оптимист мог продолжать работу. Машина для зажима болей, в сущности, модель мира, придуманного Лейбницем; и стоит только ослабить винты, снять с «я» сложную сцепку охватывающих его вещей — и освобожденная, выпущенная из тисков боль снова разбухнет, разрастется, свеяв прочь и предустановленную гармонию, и веру, и все идущее вслед. И процесс, сначала действовавший центробежно, затем давший остановку («я»), поворачивает в противоположную сторону: боль, исцеленный объективацией боли, ощущающий предметы внешнего мира как чужое, не болеющий ими, начинает хотеть так называемой истины. Познание есть возврат вещей в их первоначальное бытие: боль. Понятно, для описываемого мною существа, боля, оно возможно лишь в чрезвычайно куцых размерах: ведь увеличивать свое бытие содержанием познанного — значит умножить его, болю, свое, значит приращивать отгнивший член назад, к зарубцевавшейся было ране. Скепсис в мире болей, вздумавших заняться познанием, должен опираться не на малость познавательных сил, а на огромность той боли, которая стоит между миром и познанием и делает последнее нестерпимым.

И все-таки — что если позвать? Все вещи — от звезд до пылинок — позвать назад: пусть болят во мне.

Но крохотные люди-боли трусливы: стоит, например, полюбить болю боля, стоит позвать чужое в свое — и уже страх, и уже рефлекс, отдергивающий лапу от жала. Не мне. Нет, не мне.

XIII. Пешка на линии D

Я боюсь возвращаться в город. Если меня сейчас толкнуть, зацепить локтем — свалюсь и не встану. Лучше уж здесь. Вот два дня всё в овражной яме. Лишь иногда, когда люди, пробираюсь на татарское кладбище, тут же, у оврага. Хорошо и тем, что не видно города: где-то там, за овражным краем. Вот только вокзальные гудки: не будь их, совсем бы отдохновенно.

Да, чуть не забыл: вчера навестил доктор Шротт. Спасибо чудаку. К вечеру было: присел я среди нищих, в жестяных лунах и звездах над крапивной зарослью, татарских могил — вздремнулось будто, — и тут вдруг он: такой же — глаза завинчены, длинные проволочные ноги. Подошел, шершавым ухом к сердцу, послушал-послушал:

— Гм, угу. Так. Вам бы надо, собственно, не на мусульманское.

Но я перебил:

— Скажите, Шротт, можно ранить в рану?

Он задумчиво пожевал губами. Постоял надо мной с минуту.

И черная узкая спина замаячила среди жестяных звезд и лун. Жаль. Я хотел ему еще сказать: про пешку. Попробовал крикнуть: голоса нет.

А с пешкой было так: как-то, не помню точно когда, я случайно попал на сеанс шахматной игры. Вот никак не припомню, когда. Постойте, при чем тут шахма-

ты? Ах, да: пешка, пешка на линии D. Так вот: молчание, как здесь, на татарском; сгрудившиеся люди у барьера, и все глаза в доску. Над доской двое. Внутри ее квадратиков деревяшки. И все молчат. Да, и за барьером, и у доски, и на доске. Я плохо разбираюсь в шахматных изощрениях, и, помню, на доске меня заинтересовала только одна крохотная, в черном блестящем платье, пешка. Она, будто оторвавшись от партии, вышагнула на две клетки за черту фронта и стояла одиноко и изолированно среди пустых клеток. Игра велась на королевском фланге, постепенно концентрируясь на F. Удар — противоудар. И вдруг в ответ на прыжок белого коня, прикрывшего обнажившееся для белых F3, черные, точно нарочно теряя темп, послали пешку, казалось забытую и обреченную на ее линии D, вперед: маленькая деревяшка смело шагнула с черного на белое, став под скрещение ударов. Теперь только косой ход черного ферзя защищал ее; но ферзь, будто нарочно, ступил из клетки в клетку, подставляя деревяшку на линии D под смерть. Я чувствовал, хотя это было глупо, как сердце мое зачастило, точно черная деревяшка была чем-то мне нужна или близка.

Снова размен ходов. И тут-то уж не я один, все за барьером, молча наседая друг на друга, встретились глазами на линии D: черный оторвыш, точно в смертной истоме, снова шагнул вперед. Это было последнее. Следующий шаг короновал бы пешку. Игрок, ведущий партию белых (странно — лица его я так и не разглядел), спокойно постучал ногтем о край доски, помедлил, потом руку к клеткам — и черный оторвыш дернулся в охвате цепких и тонких пальцев: борьба за линию D была кончена.

В зрачке

1

Любовь у людей пуганая и с зажмурью: ныряет в сумерки, шмыгает по темным углам, шушукает, прячется за занавески и тушит свет.

Я не ревную к солнцу. Пусть его заглядывает — лишь бы вместе со мной под отщелкивающиеся кнопки. Пусть подсматривает сквозь окна. Меня это не смущает.

Да, я всегда был того мнения, что для романа полдень подходит гораздо лучше, чем полночь. Луну, на которую потрачено столько восторженных междометий, это ночное солнце под синим мещанским абажуром, я попросту не терплю. И история об одном «да» и его последствиях — этому посвящен рассказ — началась при ярком солнце, у окна, раскрытого настежь в свет. Я не виноват, если конец подстерег ее меж днем и ночью, в тусклом брезге. Виновата она, не история, а та о н а, «да» которой я так долго и страстно ждал.

Впрочем, и до «да» произошли некоторые события, о которых необходимо упомянуть. Можно с уверенностью утверждать, что в любви глаза, ну, как бы это сказать, всегда забегают вперед. Это и понятно: они подвижнее и умеют делать свое, то есть смотреть и ч е р е з. Пока тела влюбленных, по сравнению с их глазами неповоротливые и огромные, прячутся друг от друга за тканью одежд, пока даже слова как-то ежатся и перемина-

ются на губах, боясь спрыгнуть в воздух, глаза — в обгон всему — уже отдаются друг другу.

О, как ясно вспоминается мне тот яркий, пролазуренный небом день, когда мы оба, став у окна, распахнувшегося в солнце, разом, точно по уговору, взглянули... разумеется, не в окно, а друг на друга. Тут-то и появился третий: это был крохотный человечек, уставившийся на меня из ее зрачка, мое умаленное подобие, успевшее уже туда пробраться. Я еще не смел коснуться края ее одежд, а он... Я улыбнулся и кивнул ему. Человечек вежливо ответил. Но глаза отдернулись, и мы не встречались с ним до самого «да».

Когда оно позвало меня, это крохотное, еле слышимое «да», я не стал переспрашивать; охватив кисти покорных рук, я увидел его: выставившись сквозь круглое зрачковое оконце, он близил и близил свое взволнованное лицо. На миг его задернуло ресницами. Потом он снова мелькнул и скрылся: лицо его, как я успел заметить, сияло радостью и гордым удовлетворением; он был похож на удачливого администратора, хлопчущего и суесящегося по чужим делам.

С тех пор при каждой новой встрече, прежде чем отыскать губами губы, я взглядывал под ресницы возлюбленной, отыскивая его, крохотного устроителя любви: он всегда был на своем месте, аккуратный и обязательный, и как ни крохотно было лицо человечка в зрачке, но я всегда с точностью угадывал его выражение — то мальчишески веселое, то чуть усталое, то покойно-созерцательное.

Как-то, во время одной из встреч, я рассказал моей подруге о человечке, пробравшемся к ней в зрачок, а также и мои мысли о нем. К моему удивлению, рассказ был принят холодно и даже чуть враждебно.

— Какой вздор, — и я увидел, как зрачки ее — инстинктивным движением — отодвинулись от меня. Я взял

ее голову в ладони и попробовал насильно разыскать человечка. Но она, смеясь, опускала веки.

— Нет, нет, — и мне показалось, что в смехе ее был и не смех.

Иногда привыкнешь к пустяку, выдумаешь ему смысл, офилософишь его — и глядь, пустяк подымает голову, вступает в спор с важным и реальным, нахально требуя прибавки бытия и досмысления. Я уже начал привыкать к пустяковому человечку из зрачка; мне было удобно, рассказывая то или это, видеть, что слышат и о н а, и о н. Притом в обиход наших встреч вошла постепенно своего рода игра (мало ли что не придумывают влюбленные), заключающаяся в том, что женщина прятала человечка, я же его отыскивал: при этом было много смеху и поцелуев. И вот однажды (мне до сих пор как-то странно и трудно вспоминать это)... однажды, близя губы к губам, я заглянул ей в глаза и увидел: человек, выглянувший из-под ресниц, кивнул мне — лицо его было печально и настороженно — и вдруг, круто повернув спину, дробно семеня, стал уходить внутрь зрачка.

— Ну, скорее целуй, — и человечка задернуло веками.

— Назад! — крикнул я и, не помня себя, стиснул ей пальцами плечи. В испуге женщина подняла глаза, и из глубины ее расширившегося зрачка мне еще раз мелькнула фигура уходящего крохотного м е н я.

На тревожные расспросы я промолчал, припрятав ответ. Я сидел, глядя в сторону, и знал: игра кончена.

2

Несколько дней я не показывался — ни ей, ни людям. Затем меня отыскало письмо: внутри узкого кремового конверта — с десяток вопросительных знаков: не

уехал ли я внезапно, не болен ли? «Может быть, и болен», — подумал я, перечитав косые паутинные строки, и решил пойти — тотчас же, ни минуты не медля. Но неподалеку от дома, где жила моя подруга, я присел на уличную скамью и стал дожидаться сумерек. Несомненно, это была трусость, совершенно нелепая трусость: я боялся — понимаете ли — боялся не увидеть того, что уже раз не увидел. Казалось бы: проще всего тогда же, на месте, обыскать зрочками зрочки. Наверное, это была обыкновенная галлюцинация — призрак зрочка — не более. Но в том-то и дело, что самый факт проверки казался мне признаком отдельного реального бытия человечка в зрочке, представлялся мне проявлением болезни, психического сдвига. Невозможность нелепого пустяка нужно было — как я думал тогда — опровергнуть чисто логически, не поддаваясь искушению эксперимента: ведь ряд реальных действий, предпринятых ради нереального, придадут ему некую долю реальности. Страх свой мне удалось, конечно, легко от себя скрыть: оказывалось, что сижу я на скамье, потому что хорошая погода, потому что я устал, потому что, наконец, человек из зрочка неплохая тема для рассказа и почему бы его вот тут, сейчас, на досуге, не обдумать, хотя бы так, в общих чертах; наконец придвинувшийся вечер впустил меня в дом. В темной передней я услышал «кто»: голос был ее, но чуть д р у г о й, точнее — для другого.

— Ну вот. Наконец-то!

Мы вошли в комнату. Рука ее, смутно белея сквозь сумерки, протянулась к выключателю.

— Не надо.

Я рванул ее к себе, и мы любили друг друга безглазой, наглухо замотанной в тьму любовью. И в этот вечер мы не зажигали огня. Условившись о новой встрече, я вышел с чувством человека, получившего отсрочку.

Нет нужды рассказывать это подробно: чем дальше, тем неинтереснее. В сущности, досказать эту главу может любой человек с гладким золотым кольцом на пальце: встречи наши, резко передвинувшись от полудня к полуночи, стали тягучи, слепы и сонливы, как ночь. Любовь наша постепенно превратилась в общегражданскую, двухспальную, со сложным инвентарем — от мягких туфель до ночного горшка включительно. Я шел на все: страх наткнуться на ее зрачки, увидеть, что они пусты, без меня, будил меня каждое утро, за час до рассвета. Я тихо вставал, одевался, стараясь не нарушить сна моей возлюбленной, и осторожно, на цыпочках, уходил. Вначале эти ранние исчезновения казались ей странными. Потом и это вошло в обиход. Благодарю вас, человек с кольцом на пальце, дальше я расскажу сам. И каждый раз, шагая в зябком городском предрассветье к себе, на другой конец города, я размышлял о человечке из зрачка. Постепенно — от размышления к размышлению — мысль о нем переставала пугать меня: если раньше я опасался его реального бытия, думал о нем с тревогой и подозрительностью, то теперь мне казалось грустным несуществование человечка. Самая призрачность и иллюзорность его.

«Сколько их, этих крохотных отражений, рассеиваем мы по чужим глазам, — размышлял я обычно, идя вдоль глухих, пустынных улиц, — и если бы собрать их, крохотные подобию, расселенные по чужим зрачкам, в целый народец моих модифицированных, умаленных „я“... Конечно, они существуют, пока я смотрю на них, но ведь и я существую, пока кто-то, не знаю кто, смотрит на меня. Закроет глаза и... что за чушь. Но если чушь, если я не чье-то видение, а сам по себе, тогда и тот, в зрачке, тоже сам по себе».

Тут сонные мысли обычно спутывались, и я разматывал их наново.

«Странно. Зачем ему было уходить? И куда? Ну, хорошо, ну, предположим, в зрачках у нее пусто. Что из этого? Зачем мне нужен какой-то крохотный лицеподобный блик? Есть — нет, не все ли равно? И как могло случиться, что какой-то зрачковый человечешко смеет лезть в мои дела, призрачить жизнь и разлучать человека с человеком?»

Ткнувшись в эту мысль, случалось, я уже готов был повернуть назад, разбудить спящую и добыть из-под ее век тайну: там он или не там.

Но возвращался я всегда не ранее вечера; мало того, если в комнате был свет, я отворачивал лицо и не отвечал на ласки. Я был, вероятно, угрюм и груб, пока темнота не завязывала нам глаз. Тогда я смело приникал лицом к ее лицу и спрашивал ее — снова и снова: любит ли? И ночной обиход вступал в свои права.

3

В одну из таких ночей я почувствовал — сквозь слои сна, — как невидимое что-то, уцепившись за одну из ресниц моего левого века, больно дергает ее книзу. Я раскрыл глаза: что-то мелькнуло кувырнувшимся пятнышком у левого моего глаза, затем, скатившись по щеке внутрь ушной раковины, пискливо крикнуло мне в самое ухо:

— Черт возьми! Как в пустую квартиру: ни отклика.

— Что это? — проговорил я тихо, не зная точно, явь ли это или смена сна сном.

— Не что, а кто — это во-первых. А во-вторых — пригните-ка ухо к подушке, чтобы я мог спрыгнуть наружу. Ближе. Еще. Так.

У края наволочки, белеющей сквозь серый воздух рассвета, сидел человечек из зрачка. Упершись ладонями в белые ворсины, он понурил голову и тяжело дышал, как путник, совершивший долгий и трудный переход. Лицо его было печально и сосредоточенно. В руках лежала черная, на серых застёжках, книга.

— Значит, ты не мнимость?! — вскрикнул я, изумленно оглядывая человечка.

— Дурацкий вопрос, — отрезал он, — и затем, не шумите: этак мы разбудим вот эту. Ближе ухо. Ну вот. Имею сообщение.

Он вытянул усталые ноги, уселся поудобнее и зашептал:

— Рассказывать о моем зрачковом новоселии не к чему. Мы оба все это хорошо знаем и помним. Мне нравилось мое новое помещение: полное стеклистых отсветов, с окном в круглой радужной раме, оно казалось мне уютным и веселым; выпуклые стекла аккуратно промывало слезой, по ночам опускались самодвижущиеся шторы — одним словом, квартира с удобствами. Правда, позади тянулся темный коридор, уводящий неизвестно куда, но я почти все время проводил у края окна, дожидаясь вашего прихода. Что там — за спиной, — меня не интересовало. Случилось, что одно из назначенных вами свиданий не состоялось: я шагал взад и вперед по коридору, стараясь не отходить далеко, чтобы в любой миг успеть вас встретить. Тем временем день за круглой прорезью зрачка гас. «Не придет», — подумал я. Мне стало немного скучно: не зная, чем себя развлечь, я решил дошагать до конца коридора. Но в зрачке, как я уже сказал, было сумеречно, и после нескольких же шагов я очутился в полной темноте. Протянутая вперед рука не находила упора. Я хотел уже повернуть назад, когда тихий, заглушенный звук, исходивший оттуда, из глубины узкого коридорного хода, привлек мое внимание. Я поста-

рался вслушаться: это было похоже на протяжное пение нескольких голосов, фальшиво, но упрямо тянувших какую-то мелодию. Мне казалось даже, что ухо мое различает отдельные слова: «сучок», «смерть» — дальше было невнятно.

Феномен показался мне любопытным, но я решил, что будет благоразумнее вернуться на старое место, пока веко, опустившись, не преградит мне путь назад тьмой.

Дело этим не кончилось. На другой же день, даже не отходя никуда со своего места, я снова услышал за спиной голоса, сочетавшиеся в какофоническом неистовом гимне: слова были все еще плохо различимы, но было совершенно ясно, что хор исключительно из мужских голосов. Это обстоятельство заставило меня погрузиться и задуматься. Нужно было обследовать ход, уводящий внутрь, до конца. Не скажу, чтобы мне очень хотелось пускаться в розыски, с риском наткнуться неизвестно на что и потерять путь назад, к окну и в мир. В течение двух-трех дней явление не повторялось. «Может быть, мне почудилось?» — думал я, стараясь себя успокоить. Но как-то среди бела дня, когда мы с женщиной присели каждый к своему окну, дожидаясь встречи, звуковой феномен возник снова, и на этот раз с неожиданной яркостью и силой: нестройный разброд слов с тягучей навязчивостью, повторяясь снова и снова, лез мне в уши, и смысл их был таков, что я твердо решил добраться до певцов. Любопытство и нетерпение овладели мной. Но мне не хотелось уходить, не предупредив: мы простились — помните? — может быть, несколько неожиданно для вас, — и я быстро зашагал внутрь зрачка. Было совершенно тихо. Свет, долго тянувшийся вслед за мной по узкому пещерному ходу, постепенно слабел и ник. Вскоре шаги мои зазвучали в абсолютной тьме. Я шел, ловя руками скользкие стены зрачкового хода, изредка останавливаясь, чтобы прислушаться. Наконец издалека смутно замерцал

мне желтый, мертвый свет: такой же унылой огненной мутью светят, вероятно, бродячие болотные огни. Усталость и тупое безразличие вдруг овладели мной. «Чего я ищу, чего мне нужно в этих катакомбах, — спрашивал я себя, — зачем мне менять солнце на желтую, гнилую муть?» И может быть, я еще повернул бы вспять, но в этот-то миг пение, о котором я стал было забывать, возобновилось: теперь я мог уже различать отдельные голоса, выклинивавшиеся из дикого гимна:

Чел-чел-чел, человек, человек,
Не спросясь у зрачка, ты не делай скачка.

Нечет.

Если ж впрыгнул в зрачок, знай: в зрачке есть сучок —
Шеей в петлю — и сгинь. Клином клин.

Чет.

Ловче век человек: берегись, не сорвись.
Жизни врозь — смертью сквозь. Дно дано дням одно.

Не-чет.

Человек — чело-чел-че-ч:

Был и нет. Свеян след. Чу!

Чет.

Нелепица тянула меня, как крючок рыбу. Навстречу шагам придвигалось круглое отверстие, из которого и исходил желтый свет. Ухватившись за края дыры, я просунул голову внутрь: снизу из пустоты выла дюжина глоток; желтое свечение заслепило мне глаза. Всмотриваясь, я наклонился над провалом, но в это время склизкие края отверстия стали раздвигаться, и, беспомощно ловя руками воздух, я грохнулся вниз. До дна пещеры было, очевидно, недалеко; я быстро поднялся на локтях и сел, озираясь вокруг. Глаза мои, постепенно приспособляясь к свету, стали различать окружающее: я сидел как бы внутри стеклистой, но непрозрачной, с пульсирующими стенками бутылки, как раз в центре ее выгнутого дна.

Подо мной расползлось светящееся желтое пятно, вокруг меня десяток полуспрятанных тенью человеческих контуров — пятками в свет, головами в стену — торжественно допевали припев:

Человек — чело-чел-че-ч:
Был и нет. Свеян след. Чу!
Чет.

Вопрос мой: «Где я?» — канул в вой. Ища выхода, я приподнялся было со вспучины, но первый же шаг потянул меня вниз, по наклону — и под общий хохот, радостный рев — я, вскинув пятками, уселся меж двух обитателей колодца.

— Тут становится слишком людно, — пробурчал сосед слева и отодвинулся в сторону. Но сидевший справа участливо повернул ко мне свое лицо: оно было, я бы сказал, приват-доцентовского типа, с эрудитским шишковатым лбом, размышляющими глазами, бородкой гвоздем и тщательно зачесанной лысой макушкой.

— Кто вы все? И где я?

— Мы... предшественники. Понимаете? Женский зрачок как и всякое помещение: сначала вселяют — потом выселяют: и все — сюда. Я вот, например, — Шестой, этот, слева от вас, — Второй. Вы — Двенадцатый. Правда, распределяемся мы не строго по номерам, а в порядке ассоциаций. Доходит, или еще популярнее? Впрочем... может быть, вы ушиблись?

— О стенку?

— Нет: о смысл-с.

С минуту мы помолчали.

— Да, кстати: не забудьте зарегистрировать свою забытость. Ах, эти женские зрачки, — затеребил он бородку, — зрачки, зовущие под сень ресниц. Подумать только: такой чудесный, одетый в блистанье радуг вход и этакое темное поганое дно. Когда-то и я так вот...

Я перебил:

— А кто тут регистрирует?

— Квагга.

— Никогда не слышал такого имени.

— Ну а о телегонии слышали?

— Нет.

— Гм... тогда, чего доброго, вы и о кобыле лорда Мортонна ничего не знаете.

— При чем тут?..

— Одно при другом: была кобыла, то есть, виноват, сначала был лорд Мортон, — у кобылы от Квагги родился полосатый жеребенок, а у Мортонна от Квагги и кобылы родилась теория телегонии: дело в том, что, с кем ни спаривали означенную кобылу, приплод ее всегда был в полоску, — так сказать, в память Квагги, бывшего ее первым. Отсюда сделаны выводы, что связь женской организации с ее первым вообще не прекратима и продолжает жить как бы внутри последующих связей, несмываемо и неистребимо. Первый обитатель зрачка, на дне которого мы с вами находимся, поскольку хронология за него, претендует на роль Квагги. Правда, я не раз ему объяснял, что теория эта давно уже опровергнута мистером Юартом, но чудак пробует диктаторствовать, утверждая, что он почва, а мы насосы и что все наши попытки повторить неповторяемое...

— Скажите, — переспросил я, — а эта телегония, или как вы сказали, действительно опровергнута раз навсегда, или?..

— Так и знал, — улыбнулся приват-доцент, — я давно замечаю: чем выше номер, тем выше и интерес к вопросу: в полоску любовь или так? Но давайте после. Слышите: Первый зовет вас.

— Забытый номер Двенадцать, сюда!

Я поднялся и, скользя ладонями по стене, пошел на звук. Переступая через протянутые поперек пути ноги, я

заметил: очертания зрачковцев были разной степени ясности и вычерченности: некоторые до того сливались с желтой мглой придонья, что я невольно натыкался на них, не замечая выцветших, как бы полустертых фигур. Вдруг две невидимых, но цепких руки охватили мои щиколотки.

— Прошу отвечать на вопросы.

Я наклонился, чтоб рассмотреть руки, окандалившие меня, но их нельзя было увидеть: номер Первый ясно выгусклился до конца и был под цвет воздуху. Невидимые пальцы освободили меня, отщелкнули переплет книги. Вот этой. Испещренные знаками листы ее подымались и падали, и снова подымались, пока не раскрылась пустая страница, помеченная моим номером.

И анкета потянулась десятками вопросов: начиналось с даты вселения, основания такового, сколько времени вы предполагали квартировать (против этого пункта стояло друг над другом: а) вечно, б) по гроб, в) до приискания лучшего,— отвечаемое просят подчеркнуть); кончалось, кажется, перечнем ласкательных и уменьшительных имен и вашим отношением к ревности. Вскоре моя страница была заполнена. Невидимый палец слегка отогнул ее: под ней забелели чистые листы.

— Ну вот, — сказал Квагга, закрывая книгу, — еще один новопреставленный; книга помаленьку наполняется. Все. Не удерживаю.

Я возвратился на старое место между Вторым и Шестым. Белесая борода Шестого сунулась было мне навстречу, но, наткнувшись на молчание, тотчас же спряталась в тень.

Я долго сидел, погруженный в размышления о незаполненных белых листах книги прописок. Внезапный шум вернул меня в действительность.

— Одиннадцатый, на середину, — прокричал голос Квагги.

— Одиннадцатый, Одиннадцатый, — послышалось со всех сторон.

— Что это? — обернулся я к соседу.

— Дежурный рассказ, — пояснил тот, — в порядке номеров: так что в следующий раз придется и вам...

Мне незачем было расспрашивать подробнее, так как вызванный номер уже взбирался на вспучину дна. Грузная фигура его мне сразу же показалась знакомой. Мой предшественник, усевшись на желтом пятне, спокойно огляделся по сторонам. Поймав губами свисающую тесемку своего пенсне, он задумчиво жевал ее, шевеля обрюзглými щеками:

— Н-да. Смешно вспомнить, но ведь было время, когда единственной моей целью, как и у каждого из вас, было: так или иначе, правдами-неправдами, пробраться в зрачок к нашей хозяйке. Ну вот мы и здесь. Что же дальше?

Он наматал тесьму пенсне на палец, сдернул стекла с глаз и, брезгливо щурясь, продолжал:

— Человеколовка. Да-с. Но к делу. Первая же встреча решила все. Помню: наша о н а была в тот день в черном глухом платье. И лицо ее казалось тоже как бы наглухо застегнутым, губы сурово сжаты, веки полуопущены. Причина меланхолии сидит сейчас слева от меня: это наш уважаемый Десятый. Рассказ его, выслушанный нами в прошлый раз, у всех на памяти: ведь забытые не забывают. Но тогда я еще не имел чести его знать. То есть, конечно, я и тогда уже догадывался, что в прячущихся под ресницами зрачках не все обстоит благополучно, — и действительно, когда мне удалось наконец заглянуть в глаза женщины, в них было столько о с т а в л е н н о с т и, что я, подыскивавший себе в то время подходящие зрачки, тотчас же решил занять пустое помещение.

Но как это было сделать? У каждого своя манера пролезать в душу. Моя — в накапливании мелких и по возможности дешевых услуг: «Вы читали то-то такого-

то?» — «Нет, но хотела бы...» Наутро посыльный вручает неразрезанную книжку. Глаза, в которые вам нужно обратиться, встречаются под переплетом вашу почтительную надпись и имя. Затерялся наконечник от шляпной булавки, игла для чистки примуса, запоминайте, крепко запоминайте всю эту дребедень, с тем чтобы при ближайшей же встрече, преданно ослабляясь, выковырять из жилетного кармана и иглу, и наконечник, и билет в оперу, и пирамидон в облатках, и мало ли там что. Ведь, в сущности, человек в человека проникает крохотными дозами, маленькими, еле зрмыми человечками, которые, накопившись в достаточном числе, в конце концов завладевают сознанием. И среди них всегда есть один — такой же до жалости крохотный, как и другие, — но уйди он, и с ним уйдет смысл, понимаете ли, распадется — сразу и непоправимо — вся эта атомистика: впрочем, вам, зрачковцам, растолковывать это не приходится.

Итак, я пустил в ход систему мелких услуг: всюду — среди безделушек, книг, картинок, лепившихся по стенам комнаты, в которой жила тогда наша хозяйка, стали появляться мои ходатаи; ее глазам некуда было уйти от крохотных человечков, пробравшихся во все углы, изо всех щелей подшептывающих мое имя. Рано или поздно, размышляя я, тот или другой протиснется к ней в зрачок. Но пока что работа шла туго: веки женщины, как если б в них было бог весть сколько весу, почти не поддавались, что для меня, человека из зрачка, создавало весьма трудную ситуацию.

Помнится, в ответ на энную мою услугу женщина, улыбнувшись куда-то в сторону, сказала:

— Вы, кажется, ухаживаете за мной. Бесполезно.

— Ничего, — отвечал я покорно, — на середине пути, ведущего к побережью Крыма, мне случилось как-то во время остановки поезда выглянуть в окно: я увидел унылый кирпичный домишко, торчавший меж желтых

пятен полей; на домишке доска, на доске: станция Терпение.

Глаза моей собеседницы приоткрылись.

— По-вашему, это середина пути? Забавно.

Не помню, что я сболтнул в ответ, но помню, что поезд, дойдя до станции Терпение, слишком долго не двигался дальше. Тогда я решил прибегнуть к вашей помощи, мои любезные предшественники. Я еще не знал, кто вы и сколько вас, но инстинктом я чувствовал, что зрочки ее, так сказать, обжиты, какие-то иксы мужского пола наклонялись над ними, отражения их... Ну, одним словом, я решил, сунув ложку в прошлое, по самое дно, замешать и возмутить его снова. Если женщина у же не любит одного и е щ е не начала любить другого, то е щ е, если в нем есть хоть капля здравого смысла, должно растолкать у же и не давать ему забвенья, пока оно не покажет всех подступов и подходов.

Ложкой моей я орудовал приблизительно так: «Тяких, как я, не любят. Знаю. Тот, которого вы любили, был непохож на меня. Не правда ли? Тот или те? Не скажете? Ну, конечно. Наверное, это был...» — и с тупым усердием рабочего, приставленного размешивать сусло, я продолжал вращать свои вопросы. Сначала мне отвечали молчанием, потом полусловами. Я видел: на поверхности ее сознания, подымаясь со дна, стали вспучиваться и лопаться пузыри, мгновенные радужности, казалось, навсегда схороненные в прошлом. Ободренный успехом, я продолжал свою работу мешальщика. О, я прекрасно знал, что нельзя разворошить стимулы эмоции, не разворошив и самое эмоцию. Отлюбленные образы, поднятые со дна, тотчас же опускались назад, в тьму, но оттрепетавшее было чувство, разбуженное вместе с ними, не хотело утишиться и продолжало держаться у поверхности. Глаза женщины все чаще и чаще как-то вскидывались навстречу вопросам. И я не раз уже сгибал колени,

готовясь к прыжку... Но то мое огромное подобие, в зрачке у которого я тогда находился, по неуклюжести и громадности своей упускало момент за моментом. Наконец наступил решительный день: я, или мы, застали ее у окна: плечи ее зябко ежились под теплой шалью.

— Что с вами?

— Так. Лихорадит. Не обращайтесь внимания.

Но человеку, придерживающемуся метода мелких услуг, не обращать внимания не разрешается. Я тотчас же повернул к выходу, а через четверть часа мне было приказано:

— Отвернитесь.

Уткнувшись в кружение минутной стрелки, я слышал, как прошелестел шелк и отщелкнулась кнопка: термометр водворялся на подобающее ему место.

— Ну что?

— 36,6.

Наступил момент, когда даже моя нелепая громадина не могла ошибиться в диагнозе. Мы придвинулись к женщине.

— Вы не умеете. Позвольте мне.

— Оставьте.

— Сначала встряхнуть. Вот так. А потом...

— Не смейте.

Глаза были близко друг к другу. Я изловчился — и прыгнул: зрачки женщины подернуло той особой туманной пленкой, которая является верхнейшим признаком... Ну, одним словом, я неверно рассчитал прыжок и повис на выгибе одной из ее ресниц, бившейся из стороны в сторону, как ветвь, застигнутая бурей. Но я знаю свое дело, и через несколько секунд, пролезая сквозь зрачок внутрь, запыхавшийся и взволнованный, я услышал позади — сначала звон поцелуя, потом звон оброненного на пол термометра. Снаружи меня тотчас же захлопнуло веками. Но я не любопытен. С чувством исполнен-

ного долга я уселся под круглым сводом, раздумывая о трудной и опасной профессии человечка из зрочка: будущее показало, что я был прав. Больше того: оно оказалось мрачнее самых мрачных моих мыслей.

Одиннадцатый замолчал и сидел, уныло свиснув с светящегося всхолмия. И забытые снова запели — сначала тихо, потом все громче и громче — свой странный гимн:

Чел-чел-чел, человек, человек,
Не спросясь у зрочка, ты не делай скачка.
Не-чет.

— Этакое наглое животное, — резюмировал я, встретив спрашивающий взгляд Шестого.

— Из нечетов. Они все такие.

Я с недоумением переспросил.

— Ну да. Разве вы не заметили: с одной стороны от вас я, Шестой, с другой — Второй, Четвертый. Мы, четные, держимся тут особняком, потому что, видите ли, все эти нечеты — как на подбор — нахалы и задиры. Так что нам, людям спокойным и культурно настроенным...

— Но чем же вы это объясняете?

— Чем? Как вам сказать: наверное, у сердца существует свой ритм, смена воле, своего рода диалектика любви, меняющей тезис на антитезис, нахалов на смиренников вроде нас с вами.

Он добродушно захихикал и подмигнул. Но мне не хотелось смеяться. Шестой тоже согнал со своего лица веселость.

— Видите ли, — заговорил он, придвигаясь ко мне, — не следует торопиться с осуждением: стиль оратору создает аудитория — вскоре вы в этом убедитесь на самом себе. Одиннадцатому нельзя отказать в некоторой наблюдательности. Скажем так: к уменьшительным именам прибегают для выражения увеличительных процес-

сов эмоции; значимость растет — знак умалется; ведь уменьшительными именами мы называем тех, кто для нас больше других, и недаром в старославянском языке слова мил и мал отождествлены. Да, я, как и Одиннадцатый, убежден, что любят не тех громадных человечков, которые вытряхивают нас из зрачков в зрачки, а именно нас, странствующих человечков, ютящихся всю жизнь по чужим глазам. Затем: если снять пошлотцу с теории мелких услуг, то и здесь Одиннадцатый прав: влюбить — значит завладеть так называемой ассоциативной массой влюбляемого; больше того — самая любовь, говоря схематично, не что иное, как частный случай двухсторонней ассоциации...

— Это что за?..

— А вот что: расклассифицировывая наши ассоциации и так и этак, психологи не заметили, что связь представлений либо односторонняя, либо двухсторонняя... Погодите-погодите, — заторопился он, заметив мой жест нетерпения, — минутку скуки, а дальше интересно — вот увидите. Влюбляющий, конечно, сочетает не идею и образ, не образ и понятие, а образ (человека) и эмоцию; он должен помнить, что процесс этот — или от эмоций — к образу, или от образа — к эмоции. И пока не произойдет двойного, так сказать, замыкания, пока... Что? неясно? А вы подумайте, не могу же я за вас думать. На примерах? Извольте. Случай первый: эмоция уже в наличии, но не направлена, не ассоциировалась с образом; вначале «душа ждала кого-нибудь», беспредметные волнения, разряд в пустоту, затем «нибудь» это самое отпадает, — в это-то время в вакантное «кто» попасть чрезвычайно легко и несложно. Второй случай — когда образу приходится дожидаться эмоции: тут срастание ассоциативных элементов происходит иной раз медленно и трудно. Романы юности чаще всего движутся по первому маршруту, вторая молодость — по второму. Но закон

ассоциаций приносит влюбленным чрезвычайно много хлопот: при бесперебойной любви необходимо, чтобы всякий раз, когда в комнату входит так называемый любимый человек, возникало бы — по ассоциации — и чувство любви к нему; равным образом всякое сексуальное волнение, казалось бы, должно немедленно же вызвать образ того же самого пресловутого «любимого человека». Но на самом деле чувство и образ связываются обычно как токи катодной цепи, в которую включен детектор, то есть односторонне. На этих односторонних поллюбвях строится, в сущности, большинство связей: первый тип отношений, когда ассоциативный ток идет только от образа к эмоции, но не обратно; максимум измен, но хорошая страстность. Почему? Господи, он ничего не понимает: ну, вместо детекторной связи возьмем протекание крови через сердце: стремясь в одну сторону, кровь всякий раз открывает сердечные клапаны, двигаясь в другую — закрывает их, тем самым преграждая путь себе самой. Так и здесь: каждая встреча страстна, мало — каждая мысль, входящая в сознание, в данном случае образ, влечет прилив страстного чувства — кровь, так сказать, сама открывает себе клапаны; но эмоция, возникнув в отсутствие носителя образа, легко направляется по другим путям; люди этого типа влюбления влюблены только при встречах, образ избранника всегда быстро находит дорогу к чувству, но чувство их не знает дороги к избраннику, кровь, устремляясь к любви, сама себе закрывает сердечные клапаны. Вы, кажется, зевнули. Нервное? Так. Второй тип влюбления дает, извольте ли видеть, малый процент измен, но зато и слабую страстность: приступ любовного голода вызывает в сознании — и при встречах, и вне встреч — всегда этот, и только этот образ, но образ, если он вступил первым в сознание, не ведет за собой эмоции: этого рода односторонняя ассоциированность очень удобна для отноше-

ний изо дня в день, семейственна и чуждается катастроф. Но только третий случай, двухсторонняя ассоциация, когда образ и эмоция неразлучны, дает то, что я, пожалуй, соглашусь назвать любовью. Нет, что ни говорите, Одиннадцатый знает, где зарыта собака, но не умеет ее откопать. А вот я...

— А зачем откапывать всякую падаль, — всплыл я.

С минутой Шестой сидел, не отвечая, с видом человека, тщательно ссучивающего разорванную нить мыслей.

— Потому что то, до чего дошел, но у чего остановился Одиннадцатый, и является основным, наиострейшим вопросом для тех, кто, как вот мы с вами, попал в эту черную зрачковую яму и... Ведь чего скрывать, мы все больны здесь какой-то странной хронической бесцветностью; время скользит по нас, как резинка по карандашным строкам, мы гибнем, как волны в безветрие; бесцветясь все больше и больше, я скоро перестану различать оттенки своих мыслей, расконтурюсь и провалюсь в ничто. Но досадно мне не это, а то, что вместе со мной погибнет столько наблюдений, научных фактов и формулировок. Ведь выберись я отсюда, и я показал бы всем этим Фрейдам, Адлерам и Майерам подлинную природу забвения. Что могли бы противопоставить эти разгениальничавшиеся собиратели обмолвок и описок человеку, вышедшему из черной ямы, самое имя которой: забвение. Только вряд ли: легче из смерти, чем отсюда. А забавно бы. Ведь я, знаете ли, еще с юных лет всеми мыслями в проблеме забвения. Встреча с проблемой была почти случайной. Перелистываю томик чьих-то стихов, и вдруг:

За лѐтом птиц, за стланью пыли
Диск солнца гас;
Если меня забыли,
То вот теперь, сейчас.

Задумавшись над горстью слов, я и не подозревал, что, войдя в мысль, не выйду из нее никогда. Представления, стал рассуждать я тогда, постоянно скитаются из сознания в бессознательное и обратно. Но иные из них так далеко заходят в бессознательное, что не умеют найти дороги назад к сознанию. И меня заинтересовал вопрос: как гибнет представление, — гаснет ли оно, как медленно оттлевающий уголь или как свечка, потушенная толчком дыхания; постепенно или сразу; после продолжительной и тяжелой или скоропостижно. Вначале я согласился с поэтом: процесс забвения представлялся мне в виде медленно подготовляющегося, но мгновенного обвала: было — нет. Помню, пользуясь мнемоническими рядами Эббингауза, я пробовал даже исчислить миг исчезновения, смыва, распада того или иного представления. Сразу же мое внимание привлек вопрос о забытых эмоциях. Ведь это, в самом деле, прелюбопытно: такая-то n раз встречается с таким-то, причем оба они всякий раз испытывают некую взволнованность; но на $n + 1$ встрече такая же, скажем, приходит к такому же, а взволнованность не приходит; такой-то, разумеется, всячески ее фальсифицирует и, даже оставшись один, тщательно обыскивает свою душу, стараясь разыскать потерянное. Но все напрасно: вспомнить образ ушедшей возможно, но вспомнить чувство, раз оно ушло, совершенно невозможно: ящерица, так сказать, убежала, оставив в руке хвост, ассоциация образа с эмоцией диссоциировалась. Исследуя процесс охлаждения, делающий милое постылым, я не мог не поддаться аналогиям: для меня сразу же стало очевидным, что существует что-то общее между процессом охлаждения страсти и, ну, скажем, остывания куска обыкновенной серы. Отнимая калории у серы, мы переводим кристаллы ее из одной системы в другую, то есть заставляем менять ее свою форму, принимать другой вид, образ; мало того, дознано: химическое тело, на-

пример фосфор, постепенно охлаждаемый, не только меняет кристаллическое оформление и цвет, из фиолетового превращается в красный, а из красного в черный, но и теряет — на известной ступени охлаждения — всякую вообще форму, декристаллизуется, делается аморфным. Вот уловить этот момент обесформления... Ведь если можно наблюдать секунду, когда сверкающий углерод, называемый нами бриллиантом, превращается в обыкновенный уголь, об который мы боимся запачкаться, то отчего нельзя наблюдать миг, когда «люблю» переходит в...

Но, оставаясь даже в области химических знаков, сделать это было не так легко: кристалл, прежде чем деформироваться, потерять грани и стать бесформенным, аморфным телом, проходит через стадию так называемой метастабильности, чего-то среднего между формой и бесформием. Аналогия эта показалась мне убедительной: отношения многих и многих людей именно метастабильны, где-то посредине между таянием льда и точкой кипения; любопытно, кстати, что метастабильность дает наивысший показатель вязкости. Аналогии вели дальше. Раскаленное тело, если предоставить его самому себе, естественно и непрерывно охлаждается; то же и с эмоцией. Лишь меняя объекты ее, лишь подбрасывая в чувство новые и новые поленья, можно не снизить раскала. Тут, помнится, мне показалось, что аналогии завели меня в тупик, из которого не сумеют вывести. Но наука, отвечая на вопрос, в каких именно случаях температурное охлаждение превращает кристалл в аморфное нечто, как бы ответила мне, в каких именно случаях процесс естественного эмоционального охлаждения превращает, так сказать, алмаз в уголь, дорогое в безразличное, оформленное в бесформенное. Оказывалось, что кристаллическое тело, претерпевающее охлаждение, стремится не обесформиться, отнюдь, а лишь п е -

ременить форму, но так как скорость охлаждения превышает скорость перекристаллизации, то последняя не успевает совершиться, частицы, охваченные на полпути — от формы к форме — холодом, останавливаются, и в результате — стылое и безвидное, или, переводя с химизмов на психизмы, постылое и забвенное. При таких условиях устойчивая и длительная связь объяснима только так: она есть ряд измен друг другу друг с другом. Что вы выпятили глаза? Именно так: ведь если б нашелся хотя один человек, абсолютно верный такому-то образу, вгравированному в него, как рисунок в медную доску, то любовь его могла б просуществовать, ну, день-два, и то вряд ли. Ведь реальный объект любви непрерывно меняется, и любить вас сегодня можно, лишь изменяя с вами вам вчерашнему. Знаете, будь я беллетристом, я попробовал бы написать фантастический рассказ: герой мой встречает девушку — ну, там, юное, прелестное создание, семнадцатая весна. Хорошо. Любовь. Взаимность. Потом дети. Год к году, год к году. Любят, как любили: крепко, хорошо, просто. Конечно, там у него — астма, у нее — морщинки вокруг глаз и блеклая кожа. Но все это родное, привычное, свое. И вдруг: открывается дверь, и входит она, но не та, или, точнее, не такая, какой была час или день тому, а та прежняя семнадцатилетняя подруга, та самая, которую клялись любить вечно и неизменно. Герой мой растерян и, пожалуй, ошарашен: пришелица же с недоумением оглядывает постаревшую, чужую жизнь. Ее дети, которых она не рожала. Обрюзглый полужнакомый человек, испуганно оглядывающийся на дверь в соседнюю комнату: не вошла бы та другая та же самая. «Вчера ты мне обещал», — говорит юное создание, но астматик смущенно трет лоб: «вчера» — это было лет двадцать тому, он пугается и не понимает, не зная, что делать с гостьей. В это время близящиеся к двери шаги другой, теперешней той же самой.

— Вам надо уйти, если она застанет...

— Кто?

— Вы. Торопитесь же...

Но уже поздно. Дверь открылась, и герой мой, ну, скажем... проснулся, что ли...

— Послушайте, Шестой, — нельзя же так: из психологии в химию, из химии — в беллетристику. Я не вижу, как вы отсюда вернетесь в свою кристаллизацию не то образов, не то фосфора и угля.

— А вот и вернусь. Слушайте: любят некоего А, но сегодняшнее А назавтра уже A_1 , а через неделю A_2 . Следовательно, чтобы угнаться за непрерывно перекристаллизовывающимся существом, нужно непрерывно же перестраивать образ, то есть перенаправлять эмоцию с представления на представление; с кочки на кочку — с кочки на кочку; с А-секундой изменять А-приму, с А... И если эта серия измен, обуславливаемая изменемостью любящих, идет в тех же скоростях, что и изменение в любимом, то все, так сказать, на своем месте, — и как гуляющий человек, пройдя сотню шагов, не знает, что тело его сто раз падало, но всякий раз вовремя подхватывалось мускулами, так и любовники, прожив друг с другом ряд недель и, может быть, годов, никогда не подозревают, что сколько встреч, столько и измен.

Он закончил с видом модного лектора, ожидающего аплодисментов. Но теоретизирование действует на меня как сонные капли. Шестой, помолчав минуту, снова завертел шарманку: разность скоростей, измена, не поспевающая за изменением, изменение, отстающее от измены... Глаза мои слиплись, и я провалился в сон. Даже и здесь меня преследовали кружащие рои каких-то химических значков и алгебраических символов: с тонким и злым жужжанием они совершали свой брачный полет.

Не знаю, сколько бы времени продолжался мой сон, если б меня не разбудили толчки и голоса:

- Двенадцатый, на середину.
- Послушаем новичка.
- Двенадцатый...

Нечего было делать. Подталкиваемый и понукаемый справа и слева, я взобрался на желтый светящийся холм. Десяток пар глаз, щурившихся на меня из темноты, готовились вобрать в себя, растаскать по мозгам тайну двоих. И я начал свой рассказ: вам он известен. Мимо. Когда я кончил, они запели свой странный гимн. Тупая тоска охватила меня за виски, и, закачавшись из стороны в сторону, пустой и мертвый, я пел вместе с другими:

Шеей в петлю — и сгинь. Клином клин.
Чет.

Наконец они мне дали вернуться на свое место. Я проворно вполз в тень. Мелкая дрожь расцепила мне зубы. Редко когда я чувствовал себя мерзее. Бородка справа сочувственно закивала мне, и Шестой, наклонясь к уху, шептал:

— Забудьте. Стоит ли. Отказались и ладно. Эк вас раздергало.

И сухие пальцы — коротким движением — сжали мне руку.

— Послушайте, — повернулся я к Шестому, — ну, пусть мы, я и вот эти, но что вам нужно от любви, зачем вы топчетесь тут вместе с нами по зрачковому дну? Ведь у вас библиотечная душа, с вас достаточно книжных закладок, — жили бы с ними да с формулами, носом в строки, вместо того чтобы соваться не в свое, лезть, куда вас не просят.

Доцент смущенно поник:

— Видите ли, со всяким случается... Говорят, даже Фалес, гуляя с лицом, поднятым к звездам, упал как-то в колодезь. Ну, вот и я. Я вовсе не хотел, но если тебе подставляют зрачки... В двух словах: я читал тогда психоло-

гию на Высших женских. Ну, там, семинарий, практикум, рефераты и всякое такое. Естественно, курсистски приходили ко мне, иногда и на дом, за темами, справками, источниками. Среди них и та, наша. Раз, другой. Я тогда еще не знал, что для женщин наука, как и все вообще, персонифицируется. Вопросы — ответы — и снова вопросы. Не скажу, чтобы она была особенно понятлива. Однажды, растолковывая ей логарифмы раздражения в формуле Вебера—Фехнера, я заметил, что она не слушает. «Повторите». Она молчала, не подымая глаз и чему-то улыбаясь. «Не понимаю, зачем вы сюда ходите», — вспылал я и, кажется, хлопнул по столу книгой. Тогда она подняла на меня глаза, и я увидел в них слезы. Не знаю, что в таких случаях делают, я придвинулся ближе и имел неосторожность заглянуть в ее влажные зрачки. Тут мне и...

Шестой махнул рукой и смолк.

И снова желтая муть колодца сомкнулась над нами. Я скользил глазами по стеклистым цилиндрически сомкнутым стенам и думал: неужели это мое последнее жилище, неужели настоящее отнято у меня навсегда и безвозвратно?

Тем временем пришел черед Первого. Поверх желтого пятна легло черное. Рядом с ним — вот эта книга (Квагта с ней не расставался).

— При помощи одного интимного признака, — начало черное пятно, — всех женщин легко расклассифицировать на четыре категории. К первой принадлежат те, которые, подарив свиданье, дают себя и раздеть и одеть. К этому типу я отнес бы многих кокоток высшего ранга и вообще женщин, знающих искусство превращения своих любовников в покорных рабов, на которых возлагается вся ответственность и вся лихорадочная работа по отстегиванию и застегиванию крючков и прыгающих в пальцах кнопок. Первая категория при этом как бы ни при чем, она закрывает глаза и только позво-

ляет. Вторая категория — это женщины, которых раздевают, но которые одеваются сами. Мужчина в это время сидит, глядя в окно или в стену, или раскуривает папиросу. Третья категория — пожалуй, самая опасная, — это те, которые сами показывают дорогу к крючкам и кнопкам, но заставляют после влюбленно служить им во всех крохотных и трогательных мелочах их туалета. Это, по большей части, злостные кокетки, любительницы скользких разговоров, опытные хищницы, одним словом, тип «поди сюда». Наконец, четвертая категория, раздевающаяся и одевающаяся самостоятельно, пока партнеры с большим или меньшим терпением ждут, — это так, рублевые проститутки, увядающие супруги и мало ли кто. Теперь спрошу: к какой из категорий причисляете вы, мои любезные преемники, нашу хозяйку?

Пятно сделало паузу. И тотчас же со всех сторон вперемой:

— Разумеется, к первой.

— Что вы! Ко второй.

— Врешь! К третьей.

И чей-то хриплый бас, перекрывая крики, рявкнул:

— К последнюющей.

Черное пятно задергалось от беззвучного смеха.

— Так и знал: мнения не могли не разойтись. Эта книга — вот она у меня в руках — знает много и о многих. Конечно, у нее еще достаточно белых листов и мы не все в сборе. Но рано или поздно настанет время, когда зрочки хозяйки утратят способность притягивать и заманивать в себя. И тогда, вписав последнего на эти вот страницы, я займусь составлением «Полной и систематической истории одной очаровательности». С приложением предметного и именованного указателей. Мои категории — это лишь схема, имеющая методологическое значение, как сказал бы наш Шестой. Двери — из категории в категорию — все да настезь, — нет ничего удивительного, что наша она прошла сквозь все.

Вы все знаете, со мной она начала быть женщиной. Это было лет... впрочем, единственное важно, что это б ы л о. Нас познакомили на каком-то литературном чае: «Приезжая, только что из провинции, прошу любить и жаловать». Немодный костюм, жестчивший девичью хрупкость, подтверждал. Я попробовал поймать глазами глаза, но нет, — взмахнув ресницами, они вырвались — и в сторону.

Затем мы все болтали ложечками в стаканах, и кто-то, путая листки, читал. Устроитель культурной скуки, отведя меня в сторону, просил проводить барышню-провинциалку: одна, знаете ли, ночь, еще заблудится. Помню: у ее пальто была оторвана вешалка.

Вышли. Ливень. Я крикнул извозчика, и сквозь косяк хлест дождя мы нырнули под кожаный капор пролетки. Она что-то сказала, но под нами уже затарахтели бульжники, и я не мог слышать слов. Поворот, еще поворот. Я осторожно сжал ей локоть: девушка вздрогнула и попробовала отодвинуться, но отодвигаться было некуда. Расскававшийся бульжник короткими, нервными ударами толкал нас друг к другу. Где-то тут, рядом, в темноте были ее губы: я захотел узнать где, наклонился — и в ту же секунду произошло нечто для меня неожиданное. Резко подавшись вперед, она рванула кожаный фартук пролетки и выпрыгнула на ходу. Помнится, я читал в чьих-то романах о подобного рода приеме, но там, в романах, его проделывали обычно мужчины, причем проливной дождь, кажется, не входил в композицию. Несколько мгновений я сидел рядом с пустотой, совершенно обескураженный и растерянный, столько же времени понадобилось, чтобы разбудить извозчика и остановить его клячу. Возница, видя, что я выпрыгиваю из пролетки, понял это по-своему и закричал о плате: еще несколько потерянных секунд. Наконец я бросился вдоль мокрой панели, стараясь в черноте ночи различить силуэт

беглянки. Фонари были потушены. У перекрестка, мне казалось, я настиг ее; она обернулась и, неожиданно блеснув огоньком меж зубов, позвала: «Пойдем спать». Это была уличная женщина. Я бросился дальше. Перекресток — разброд улиц: нигде. Почти отчаявшись, я направился наугад поперек улицы и вдруг почти наткнулся на мою беглянку: она стояла, вся иззябшая и исхлестанная дождем, очевидно запутавшись в переулочной сети и не зная, куда идти. Не стану передавать нашего разговора: много раз вам его пересказывал. Раскаянье мое было искренним: я целовал ей мокрые пальцы, умоляя простить, и грозил стать на колени прямо в лужу, если она не перестанет сердиться. Мы снова разыскали пролетку, и, как ни подталкивали меня бульжины, я просидел всю дорогу смирно, стараясь отводить плечо от плеча. Оба мы иззябли и стучали зубами. На прощанье я снова поцеловал холодные пальцы, и вдруг моя спутница молодо и весело засмеялась. Через день-два я явился с визитом, принес с собою кучу заверений и Доверовы порошки. Последние пригодились: бедняжка кашляла и жаловалась на озноб. Я не прибег к вашему способу, Одиннадцатый, в то время он был еще... преждевременен. Малейшая неосторожность легко могла разрушить налаживавшуюся дружбу. Я в то время представлял из себя нечто лучшее, чем вот это блеклое, серое пятно. Мы часто, сидя на вздрагивающих пружинах софы, беседовали до поздних сумерек. Неопытная девочка не знала ни города, ни мира, ни меня. Темы наших бесед будто ветром швыряло из стороны в сторону: то я терпеливо объяснял, как обращаться с керосинкой, то, сам путаясь и перевирая, излагал предпосылки Кантовой критики. Забившись в угол софы, поджав ноги, она жадно слушала — и про керосинку, и про Канта, — не сводя с меня глубоких и темных глаз. Да, было и еще одно, чего она не знала: себя. И вот в одной из бесед, затянувшихся

до поздних сумерек, я попробовал объяснить ей ее самое, попробовал отстегнуть застешки книге, которую сейчас вот, полуисписанную и затрепанную, вы все видите в моих руках. Да, в тот вечер мы говорили о ее будущем, о ждущих ее встречах, увлечениях, разочарованиях и снова встречах. Я настойчиво стучался в ее будущее. Она то смеялась, коротко и сухо, то делала поправки, то слушала молча и не перебивая. Случайно (погасла папироса, что ли) я чиркнул спичкой, и в желтом свете я увидел, что лицо у нее д р у г о е, старше и женственнее, как если б и оно привиделось мне из грядущего. Задув спичку, я бросился дальше в время: первая любовь, первые удары о жизнь, полынть разлук, повторные опыты с сердцем остались уже позади. Торопливой скороговоркой я приближался к годам, когда чувство захлестано и устало, когда страх увядания заставляет торопиться и комкать счастье, когда любопытство берет верх над страстью, когда... тут я снова чиркнул спичкой и с изумлением глядел глазами в глаза, пока мне не обожгло пальцы. Да, достопочтенные преемники, если бы ставить мой опыт правильно, дюжина фосфорных спичек показала бы мне все ее лица, расхвачанные вами. Но она, вырвав из моих рук коробку, отбросила ее прочь. Наши пальцы спутались и дрожали, как если б сверху хлестало холодным ливнем. Дальше, пожалуй, не стоит?

И человекоподобное мутное пятно стало медленно оползать книзу.

— Ну, как вам наш Квагга? — полюбопытствовал Шестой.

Я невежливо молчал.

— Э, да вы, кажется, ревнуете. Признаюсь, претензии этого Квагги, чванствование первенством, было время, раздражали даже меня. Но прошлого не свергнешь: оно царее царей. Приходится мириться, и притом, если вдуматься, то что такое ревность?..

Но я повернулся к лекции спиной и сделал вид, что сплю. Шестой, пробурчав что-то о некорректных людях, обиженно замолчал.

Сперва я притворился спящим, потом заснул вправду. Не знаю, сколько времени длилось забытие: внезапный свет, пробравшийся под мои веки, заставил меня раскрыть глаза. Вокруг меня было фосфорически синё. Я поднялся на локте, ища источник странного свечения. С огромным изумлением я увидел, что свет исходит из меня самого: тело мое было охвачено фосфорическим нимбом, короткие лучи которого терялись в нескольких футах. Самое тело мое стало легко и упруго, как это бывает иногда в снах. Вокруг все спали. Одним прыжком я вспрыгнул на вспучину желтого пятна, и два свечения, скрестив лучи, наполнили воздух переливами радуг. Еще усилие, и легкое мое тело, лунатически скользя, стало взбираться по отвесу стены к своду пещеры. Почти сомкнутая щель в нем разъялась, и, ухватившись за ее края руками, тело мое, тягучее и гибкое, легко проникло наружу. Передо мной протянулся низкий коридор, заманивший меня ко дну. Однажды я уже блуждал по его извилам, натываясь на тьму и стены. Но сейчас свет, сиявший вкруг меня, указывал дорогу. Надежда всколыхнулась во мне. Я шел, в своем фосфорическом обводе, назад, к выходу из зрачка. По стенам, обгоняя меня, скользили какие-то блики и контуры, но мне не было времени разглядывать их. Сердце билось у меня в горле, когда я наконец достиг до круглого зрачкового окна. Наконец-то. Я бросился сослепу вперед и больно ударился об опущенное веко. Проклятый кожаный ставень преграждал выход. Размахнувшись, я ударил в него кулаком, но веко даже не дрогнуло: женщина, очевидно, крепко спала. Взбешенный, я стал бить по заслону коленями и плечом, веко вздрогнуло, и тут свет, окружавший меня, начал блекнуть и гаснуть. Растерявшись, я бросился назад,

боясь, что останусь в полной тьме; лучи втягивались назад в мое тело, вместе с ним возвращалась в меня и тяжесть; свинцовеющими шагами, задыхаясь от бега, я достиг наконец отверстия в своде пещеры: оно покорно распялилось мне навстречу, и я спрыгнул вниз. Мысли металась, как песчинки в ветре: почему я вернулся, какая сила швырнула меня опять ко дну, из свободы в рабство; или, может быть, все это нелепый кошмар? Но почему же тогда... Я дополз до своего места и стал трясти за плечо Шестого; он вскочил и, протирая глаза, принял на себя град моих вопросов.

— Пойдите, пойдите, вы говорите, сон, — переспросил он, внимательно вглядываясь в последние никлые вспышки моего отгоравшего нимба, — гм... пожалуй, тут действительно происходит сон, и этот сон (только не удивляйтесь) — вы. Да-да, это случалось здесь и с другими: ее сны иногда будят нас и заставляют блуждать, как лунатиков, неведомо зачем и куда. Вы ей сейчас снитесь, понимаете. Погодите, тут у вас еще светится. Э, погасло — значит, доснились.

— Шестой, — зашептал я, хватая его за руку, — я не могу так дальше. Бежим.

Но сосед мой отрицательно покачал головой:

— Невозможно.

— Но почему же? Я только что был там, у входа в мир. Если б не веко...

— Невозможно, — повторил Шестой, — прежде всего, кто вам даст гарантии, что, выбравшись из ее глаза, вы найдете своего хозяина. Может быть, они уже расстались, пространство громадно, а вы... заблудитесь и погибнете. А во-вторых, тут и до вас находились смельчаки, пробовавшие бежать. Они...

— Что они?

— Представьте себе, вернулись.

— Вернулись?

— Да. Видите ли, отверстие в своде раскрывается лишь для снящихся и для тех, кто приходит оттуда, из мира. Но сны водят нас на корде, отделив от яви приспущенными веками, и швыряют отснившихся назад, к дну. Остается второй способ: выждав момент, когда щель в своде раскроется навстречу новому пришельцу, выпрыгнуть наружу, — и там дальше пещерными ходами (вы их знаете) — и свобода. Казалось бы, просто. Но тут есть одна деталь, сводящая все на нет.

— Не понимаю.

— Видите ли, в момент, когда выбираешься наружу, приходится встретиться — голова к голове, плечо к плечу — с тем новым, впрыгивающим на ваше место внутрь. И тут искушение взглянуть на преемника, хотя бы мельком, на миг, обычно бывает так сильно... ну, одним словом, теряешь миг, теряешь и свободу: отверстие смыкается, и беглец вместе с пришельцем падают вниз, к дну. Такова, по крайней мере, была судьба всех попыток. Тут, понимаете ли, психологическая западня, из которой никак.

Я молча слушал, и чем чаще повторялось слово «невозможно», тем больше крепло мое решение.

Несколько часов я провел, детально обдумывая план. Тем временем подошла очередь Второго. Молчаливый сосед слева выполз в желтый свет. Я впервые увидел его линиялый, сутуло-тусклый облик. Смущенно кашлянув, он начал, слегка заикаясь:

— Все произошло так. Однажды я получил письмо: длинный этакий конверт. Слабо пахнет вербеной. Вскрыл: паутинные этакие раскосые буквы. Читаю: что такое?..

— Тише, — прозвенел вдруг голос Квагги, — прекратить рассказ. Там, вверху... Слышите?

Рассказчик и голоса вокруг него сразу смолкли. Сначала как будто ничего. Затем — не то почудилось, не

то въявь — издалека над сводом — легкий и осторожный шаг. Оборвался. Опять. Смолкло.

— Слышите? — зашептал мне в ухо Шестой. — Объявился. Бродит.

— Кто?

— Тринадцатый.

И мы, сначала тихо, чтобы не спугнуть, потом все громче и громче, запели наш гимн забытых. Изредка — по знаку Квагги — мы прерывали пение и вслушивались. Шаги, казалось, были уж совсем близко и вдруг стали отдаляться.

— Громче, да громче же! — прикрикнул Квагга. — Заманивайте его, заманивайте. Не уйдешь, голубчик, не-е-т.

И наши хриплые голоса, стервенея, бились о склизкие стены тюрьмы.

Но тот, Тринадцатый, притаившись где-то там, в темных переходах, очевидно, колебался и путал шаги. Наконец все мы выбились из сил. Квагга разрешил отдых, и вскоре все вокруг меня погрузилось в сон.

Но я не дал усталости овладеть собой. Припав ухом к стене, я продолжал вслушиваться в тьму.

Сначала все было тихо, потом опять зазвучал — там, над сводом — близящийся шаг. Отверстие в своде стало медленно-медленно раздвигаться. Хватаясь за скользкие выступы стены, я попробовал взобраться наверх, но тотчас же сорвался и упал, ударившись о какой-то твердый предмет: это была Книга забвений. Стараясь бесшумно двигаться (вдруг проснется Квагга), я отстегнул ей застёжки и, пользуясь их петлями, стал быстро подтягивать свое тело, от выступа к выступу, пока рука моя не ухватила за расползающиеся края выходного отверстия. Навстречу мне свесилась чья-то голова, но я, зажмурясь, коротким усилием выбросил свое тело наружу и, не оглядываясь, бросился вперед. После своих дву-

кратных блужданий по зрачковому лабиринту я даже в темноте кое-как ориентировался. Вскоре навстречу мне из-под полуопущенного века забрезжил смутный свет. Выбравшись наружу, я выпрыгнул на подушку и зашагал, борясь с порывами встречного дыхания.

«А вдруг не он, не мой?» — подумал я, колеблясь между страхом и надеждой. И когда наконец в свете предутрия я стал различать мои гигантизированные черты, когда я увидел после стольких дней разлуки вас, хозяин, я поклялся не покидать вас более и никогда не шляться по чужим зрачкам. Впрочем, не как я, но как вы...

Человечек из зрачка замолчал и, сунув под мышку свой черный фолиант, поднялся. По окнам бродили розовые пятна зари. Где-то вдалеке застучало колесо. Ресницы женщины чуть вздрогнули. Человечек из зрачка опасливо оглянулся на них и снова повернул ко мне свое усталое личико: он ждал распоряжений. «Будь по-твоему», — улыбнулся я ему и пододвинул к человечку, сколько мог, свои глаза. Одним прыжком он взобрался под мои веки и шагнул в меня: но что-то, вероятно острый угол книги, торчавший у него из-под локтя, больно задело меня за край зрачка и отдалось острой болью в мозг. В глазах у меня почернело, я думал — на миг, но нет: заря из розовой стала черной; вокруг молчала черная ночь, как если б время, пригнувши лапы, отползло вспять. Соскользнув с кровати, я торопливо и тихо оделся. Открыл дверь: коридор; поворот; дверь; еще дверь, и, шаря по стенке, ступенька к ступеньке, — наружу. Улица. Я шагал прямо, не сворачивая, не зная куда и зачем. Понемногу воздух стал редеть, высвобождая контуры домов. Я оглянулся: меня догонял иссиня-алый второй рассвет.

Вдруг где-то вверху, на колокольной насести, заворошились, хлопая медью о медь, колокола. Я поднял глаза. С фронтона старенькой церкви, в малеванное в треуголие, вперялось в меня сквозь мглу гигантское око.

Меж лопаток колючими циркульными точечками зябь: «Крашенные кирпичи». Всего лишь. Выпутьывая шаги из ворсин тумана, я повторял: крашенные кирпичи — и только.

Навстречу из изнизанной светом мглы знакомая скамья: здесь я ждал — давно ли это было — в попутчицы тьму. Теперь доска скамьи была в брезге и розбрызге ранних росин.

Я присел на ее влажный край и вспомнил: здесь же, смутно еще вычерчиваясь, посетила меня новелла о человечке из зрачка. Теперь у меня было достаточно материала, чтобы попробовать закрепить тему. И я стал придумывать тут же, навстречу близящемуся дню, как рассказать людям все, ничего не рассказав. Прежде всего надо перечеркнуть правду, зачем она им? Потом распестрить боль до пределов фабулы, да-да; чуть тронуть бытом и поверх, как краску лаком, легкой пошлотцой — и без этого ведь никак; наконец, два-три философизма и... читатель, ты отворачиваешься, ты хочешь вытряхнуть строки из зрачков, нет-нет, не покидай меня на длинной и пустой скамье: ладонь в ладонь — вот так — крепче, еще крепче — я слишком долго был один. И я не скажу это никому другому, но тебе скажу: зачем, в конце концов, пугать детей тьмой, когда можно ею их утишить и ввести в сны?

Собиратель щелей

I

Сказка лежала, блестя непросохшими буквами, на письменном столе, рядом с чернильницей. Когда я, тронув кой-где пером, стал сворачивать рукопись, мне показалось, будто самые буквы ее норовят вон из строк: скорее в зрачки.

Но час был полуденный. Чтение же назначено к девяти. Солнце не любит фантазмов, а вот лампы, те иной раз и не прочь, внимательно наставив абажуры, прослушать сказку-другую.

Итак, буквам приходилось дожидаться сумерек.

Скудная авторская радость была наперед слажена и обеспечена: сказку ждала тихая, с грустными городскими цветами на окнах комната; в комнате дюжина благожелателей. И вдруг (кто бы мог ждать) встреча с человеком, перечеркнувшим фантазм.

Произошла встреча тотчас же после последней правки текста. Близился час обеда. Оставив рукопись на столе, я оделся и вышел на улицу. Но я не сделал и сотни шагов, как внимание мое было привлечено высокой, будто застывшей фигурой человека, прислонившегося к фонарному столбу: человек стоял против белого с золотым обводом циферблата, круглящегося с куска жести, привешенного над дверью часового магазина, и при-

стально всматривался в две намалеванные черные стрелки, ткнувшиеся в римские цифры диска. Сначала я было прошел мимо. Затем оглянулся: незнакомец, не меняя позы, все еще стоял, подняв чуть прищуренные глаза к нарисованным цифрам. Взглянул и я: на вывеске — двадцать семь второго.

И тщательно бритое лицо незнакомца, и его тщательно чищенное платье — заношены и блеклы: платье — в складках, лицо — в морщинах. Люди, сталкиваясь друг друга локтями с тротуарных лент, растыкав глаза по витринам, плакатам, афишным столбам, а то и с зрачками в носки своих сапог, не замечали созерцателя. Лишь я да мальчишка с лотком на ремне оценили феномен. Между тем созерцатель, отвернув полу пальто, вынул карманные часы и, медленно переводя глаза с крохотного диска, зажатого в руке, на намалеванный диск вывески, ставил свои часы по нарисованному времени. Мальчишка загоготал. Я, отвернувшись, продолжал путь. Навстречу, меж вывесочных квадратов, овалов и прямоугольников снова прокрутился белый циферблат. Не имею обыкновения смотреть на вывески, но сейчас взглянул: на диске две черных неподвижных стрелы; под остриями стрел — цифры: двадцать семь второго. Тут-то и вошло в меня какое-то недоброе смутное предчувствие. Я ускорил шаг, но теперь зрачки мои сами рылись среди кусков крашеной жести, ища диски и цифры. Новый диск отыскался у поворота в темный переулок: две его черных стрелы, повиснув над переулочной щелью, спрятались в черную тень многооконной каменной громады дома, но и сквозь тень обозначалось — двадцать семь второго. Я остановился, с поднятой к цифрам головой: мне казалось, стрелки должны двинуться, сойти с фатальных делений. Но на нарисованном циферблате ничто не шевелилось; мутно мерцал узкий золотой обод, а черные стрелы, будто отыскав нужное, притиснули острия к краям диска и стали — навсегда.

Вокруг шуршали шины, стучали подошвы. До плудюжины локтей ткнулось в меня. Тяжелый куль пнул в плечо; я оторвал глаза от диска: какой-то малец, с лотком на ремне, в рваном картузишке, осклабясь, вогнал в меня глаза. Оставалось идти дальше.

Вечерело, когда я вернулся к рукописи. Буквы на нумерованных страницах присмирели и черными скрюченными уродцами глядели со строк. Я сунул их в карман: стрелка часов подползала к девяти.

II

Все сели кругом. Молчание. Слово предоставлялось рукописи. Придвинувшись к лампе, я начал: «Собиратель щелей. Сказка. Это было в...» — в прихожей дернулся жестяным всхлипом звонок. Я оборвал. Хозяин прошел на цыпочках в переднюю. Через минуту лицо его, несколько смущенное, показалось в дверях: рядом с ним, в наглухо застегнутом длинном сюртуке, стоял, не глядя ни на кого, т о т, встреченный у уличного циферблата человек. Нежданный гость, все не подымая глаз, сделал общий учтивый поклон и молча уселся в углу, у порога. Хозяин зашептал мне: «Он не помешает. Это так — чудаки. Математик, философ».

Я опустил глаза к рукописи (настроение пропало) и начал снова: «Собиратель щелей. Сказка. Это было в стране, самое имя которой давно забыто. Вдали от мощенных камнями дорог и мшистых троп, за вязью ветвей, в чаще старого глухого леса жил в давным-давнее время дряхлый Отшельник...»

И дальше, после обычного сказочного приступа, рассказывалось о благодати Отшельника: как лечил он лесу сломанные ветром ветви и стебли, мятые — рван-

ные звериным топом — травы; как кормил-поил сирот-птенцов в покинутом сорокопутом гнезде; как научил повилику кружить не как попало, а вверх и вверх в небо, где у Бога рай; как наказывал малым, бедным разумом цветикам, перед смежением лепестков ко сну, Богу маливаться; как понуждал иссохшие травы свершать поутру росную жертву, вознося на остриях к Богу — кому по капле, кому по полукапле (малым былинкам — по водной пылинке): всякому по достатку его.

— И за малую влажь вашу, — проповедовал Отшельник, подымая триперстие, чтобы благословить и травы и росы, и мхи и корни, и птичьи стаи и мушьи рои, — напоит вас Господь щедрым дождем: будете чисты и безжадны. — И было по слову его.

Сам Господь улыбался с небес речам Старца.

Однажды глухой ночью, когда и гады, и птицы, и дубы, и травинки крепко спали, продолжала сказка, Господь, покинув небо, пришел к Старцу, под низкий навес шалаша:

— Проси: жизни ли райской, богатств ли и царств земных — все дастся тебе.

И отвечивал Старец:

— Просить ли мне о рае, Господи: не по милости, но по правому Суду Твоему отверзаются врата Раевы. Просить ли богатств и царств мира: разве не ношу в глазах моих весь мир Твой, от солнц до солнц. И пристало ли мне искать сует людских: разве не ушел я от путей и троп. Но об одном молю, Господи: даруй мне власть над всеми, большими и малыми, щел я м и, вщеленными в вещи. Да научу и их правде.

Улыбнулся Господь: будет по слову твоему.

Прошли чередой — утро, полдень, предвечерие. В предвечерии, когда солнце ушло, встал Старец среди глухой поляны лесной и воззвал к щелям. И щели, позванные тихим словом, повыдергивались и повытягну-

лись из всех вещей, где какая ни была, и все — малые и большие, широкие и узкие, извилистые и прямые — стали сползаться на поляну пред очи Старца.

Ползли: и длинная щель, точащая камень скал; и малые витые щелочки, выерзнувшие из стен, скрипучих половиц, рассеявшихся печей; и гигантские зеленотелые щелины с иссохшего и растрескавшегося лунного диска; и махонькие щелочки, выдернувшиеся из скрипичных дек. И когда сползли, стал их Старец учить:

— Худо быть Божьему миру не целу. Вы, щели, раскол выщелили в вещи. А отчего? Оттого, что тела свои щелиные растите, извивы свои холите и ширите. Длиннитесь, трещинкой малой возникнете, ан глядь, она уж и щелью виется. А там и в расселину расползлась. И гибнет от вас единство и братское слияние вещи с вещью. Расседается камень. Горы, точимые вами, рушатся. В полях отнимаете дождную влагу у слабого корня. Точите плод. Деревя душите. Смиритесь, сестры щели, умерщвляйте плоть свою. Ибо что она: пустоты извитие. Только.

И щели, разлегшись на росинах трав, внимали проповеданию. Обычно, отмолвив, Старец благословлял их все дрожащим триперстием и позволял ползти назад, по своим домам. Выгибая пустоты, тихо расползались щели и вщелялись снова, кому где зиять назначено: скальная трещина в скалу, печные щели в печи, лунный зигзаг в лунный диск. Так и повелось: каждый день, о повечерии, быть миру бесщельну: целу. И тот час был часом тишины и покоя великих: даже черепные швы, запрятанные под кожу людских голов, и те — выщелившись из кости, уползали к Старцу: головы переставали расти, и люди хоть час-другой могли отдохнуть от ростов мысли. И никто и нигде из вщеленных не посмел не внять зову: однажды приволоклось даже, увязая в лесостволе, и горное ущелье, но Старец на него только рукой замахал — ползи, незваное, ползи назад, Христос с тобою.

И ущелье, огорченное, уползло назад, в кряж. Но, говорят, в эту ночь в одной из горных теснин скалы, внезапно сомкнувшись, расплющили лепившуюся у их внутренних срывов деревушку.

Правда, часом спустя скалы снова чудесно раздались, но внутри были лишь развалины да трупы.

На минуту я оторвал глаза от строк: человек в углу слушал, охватив колено костистыми длиннопалыми руками.

— Старец отпускал щели, — продолжала сказка, — загодя, до зари. Но однажды, уча истово, не унял слов во благовремени. Прокричал петух. Прокричал еще раз. А Старец все учил. И лишь когда предзорье проступило алыми знаками над овидью земли, поднял Старец триперстие для благословения.

Но было уже поздно: разгоралась заря, там-здесь, тут-там по дорогам и тропам застучало колесом и ободом, конским топом и человечесьим шагом. Щели проворно уползали, вода пустыми изгибами изо всех сил, по дорогам, тропам и бездорожью. Но там, глядь, одну щель переедет тяжким ободом, там другую прищемит подошвой. И иные, не доползши до своих пределов, стали вщеляться кто куда и как попало: горная расщелина лезла в скрипичную деку, дековая щелина пряталась в черепную кость прохожему. Дальше всех было лунным зигзагам: поняв, что не доползти, толкались туда-сюда, зарождая панику. Иные же щели, окруженные колесным гулом и топотом шагов, сбивались в большие щелиные рои и тут же, на дорогах, вонзались в землю: внезапно разверзлись провалы; люди, кони, телеги с разбегу и расскоку срывались в ямы. Щелиные рои, испуганные грохотом и толчками сверху, вползали глубже и глубже, и земля смыкалась над людьми и их скарбом. Людская паника множила щелиные страхи; щелиный ужас множил беды людям. И был тот день ущербен и горестен для зем-

ли. Старцу, и сквозь листовые стены и ветвную вязь, внятны были стоны и грохоты, проклятия и мольбы, всколебавшие землю: подняв руку, с вытянутыми к небу пальцами, он воззвал: ей, Господи, слышишь ли? Вот рука, возьми меня и введи, как хотел, в Твой пресветлый рай: ибо отныне постыла мне земля.

Долго ждали пальцы, протянувшись в небо: не дождавшись, упали вниз и сжались в кулак. Оглянулся Отшельник и видит: теперь он лесу не друг — цветы, встречая его взгляд, брезгливо смыкают лепестковые веки, столетние дубы отворачиваются, злобно ворочаясь на толстых узловатых корнях. Глаз Старца отыскивал тропу, тропа отыскивала проселок, проселок повел на битую дорогу. И великий святой стал великим грешником, богохульцем и блудодеем.

Я сложил тетрадь и повел глазами по стенкам: во круг были рты, приоткрытые и растянутые улыбками в длинные узкие щели. Из щелей выдавливалось:

— Недурно.

— Очень мило.

— Только вот конец у вас — того... смят.

— Кстати, тут есть один штрих...

Высвободив взгляд из роя глаз, я глянул в угол, у двери, — человек в наглухо застегнутом сюртуке молчал.

Сцепленные костистые руки не выпускали колена; рот будто слипся.

Мне было чуть не по себе:

— Однако не пора ли нам?

Человек, молчавший в углу у двери, расцепив руки, поднялся во весь свой высокий рост и отчеканил сухим негромким голосом:

— Двадцать семь второго.

Затем, учтиво мне поклонившись, повернулся к двери и исчез за порогом.

— Так поздно? Не может быть.

Десятки пальцев зашарили в жилетных карманах: да, действительно.

— До свиданья.

— Прощайте.

Иные еще улыбались. Другие уже зевали.

III

— Мне налево. И вам?

— Нет.

Я вышел на прямую линию бульвара и тихо шагал меж длинного ряда теней, снятых лунным лучом с древесных крон и аккуратно уложенных им вдоль по песку аллеи. Бульвар был безлюден. Скамьи пусты. Но вдруг со скамьи слева прочернел чей-то длинный и тонкий силуэт; силуэт был будто знаком — нога за ногу, колено, схваченное руками, лицо затенено широкополым фетром, надвинутым на лоб. Да, это он.

Я замедлил шаги.

— Поджидаю вас здесь.

Не меня позы, он лишь нервным движением плеча указал на скамью. Я сел рядом. С минуту длилось молчание.

— Скажите, — начал он вдруг, внезапно распрямляясь и близя лицо к лицу, — среди щелей, сползавшихся к Старцу, была ли и та неистребимая щель, что всегда меж «я» и «я»? Вот — сейчас сидим рядом: от головы до головы аршин... а может быть, и миллионы миль? Не правда ли? Кстати, — незнакомец приподнял шляпу, — меня зовут — Лёвеникс, Gotfrid Lövenix, — ударил он по слогам, будто стараясь мне что-то напомнить.

Мы крепко пожали друг другу руки.

— Ну вот. К делу: подзаголовок «Собирателя щелей», — начал он, снова складываясь в привычную позу (нога на ногу, колено в ладони, острые углы плеч кверху), — «сказка», не так ли?

— Да.

— Гм. Я думаю: если бы в сонм снов явилась явь — они, сны, приняли бы ее как свою. По-вашему, «сказка», а по-моему — протокол. Научный факт. Правда, понятия ваши спуганы и даны не в точных словах. Но спутанность — не фантазм. Фантазм (я не поэт, мне трудно судить) легче делать из цифр, чем из туманов. Вам, должно быть, неинтересно?

— Напротив.

— Primo: ошибка в эмоции: э т о м у не улыбаются: улыбкой вы как щелью отрезали себя от темы о щелях. Вам мнится, будто темой играете вы, будто она в расщепе пера, — но на самом деле, стоит лишь вдуматься, не вы темой, а Тема играет и вами, и мной... и все вот э т о (он описал рукою круг, — прокружив за рукою глазами, я увидел сперва землю у ног, потом верхушки деревьев, потом россыпь звезд вверху, а там скаты кровель и снова землю у ног) — да, все это, я утверждаю, ущемлено пустой щелью. Да-да. «Тема о Щелях»: да знаете ли вы, что́ у ее дна? Вы вот боитесь покинуть пространство. Так принято — говорить о щелях в доске, в почве там и так далее. Но если б властью хотя бы фантазии, что ли (не этим ли жива поэзия), вы попробовали пересадить ваши щели из дюймов в секунды, из пространств во время, то вы увидали бы...

— Мне не совсем понятно, — пробормотал я.

— Совсем понять — тут и нельзя, — грубо оборвал Готфрид Лёвеникс, — может, и лучше — не до понять. Кстати, давно ли вы начали думать об этом?

— Не помню. Тема, собственно, так, случайно подвернулась под перо. Месяца два, может, три тому назад.

Лёвеникс улыбнулся.

— Ага. Ну, а я вот уж тринадцатый год не покидаю моего Щелиного Царства. У меня не от сказок пошло — нет. Тринадцать лет тому назад, во время первых моих опытов по психофизиологии зрительного процесса, я наткнулся на вопрос о прерывности нашего видения.

Как бы ввести вас в суть: например, вы в авто: взрывы бензина внутри моторного цилиндра — прерывисты, толчками бьют о поршень. Это внутри. Снаружи же — непрерывное плавное кружение колес. Есть, как бы сказать, известная видимость видения: человеку с обнаженным зрачком мнится, что фиксируемая им вещь непрерывно, во все доли секунды, — как бы связана с зрачком не рвущимся ни на миг лучом. Однако я усомнился в этом. Искровая вспышка электрической машины длится всего одну пятидесятитысячную секунды. Но удерживается в глазу в течение одной седьмой секунды. Таким образом, семь кратких мельков искр, отделенных друг от друга паузами почти в седьмую долю секунды, будут восприняты глазом как непрерывное, секунду длящееся горение искры. Но ведь подлинное-то ее горение, в данном случае, отняло лишь семь пятидесятитысячных секунды. То есть $49993/50000$ длительности опыта — была тьма, воспринятая как свет. Поняли? Растяните теперь: секунду в минуту, минуту в час, час в год, в век, взрастите искру в солнце — и окажется: можно убрать солнце с орбиты на девяносто девять сотых дня, и мы, живущие под солнцем, не заметим этого, понимаете, не заметим и, брошенные в тьму, будем радоваться мнимому солнцу и мнимому дню. Вам скучно?

— Нет.

— Мысль моя оперлась на опыты. Собственно, опыты были сделаны до меня: самый факт толчкообразности видения, прерывистости восприятия, скажем, кинофильмы, продергивающейся перед глазом, достаточ-

но известен. Но стать перед фактом — мало: надо уметь войти в факт. Меж мгновениями, когда лента, сняв с ретины одно изображение, продергивается, с тем чтобы дать другое, вклинен миг, когда у глаза все уже отнято и ничего еще не дано: в этот миг глаз перед пустотой, но он видит ее: видение мнится ему видением.

Я не спешил с обобщениями. Меж лучом киноаппарата и глазом, перпендикулярно к лучу, так называемый обтюпоратор: это равномерно вращающийся диск с узкой щелью у одного из своих краев; поворачиваясь к лучу то глухим сектором, то щелью, — обтюпоратор попеременно то рвет, то сращивает луч. При помощи особого дифференциального регулятора можно замедлять число оборотов диска, длинная этим паузу меж двумя мельками света. Я так и сделал: экспериментируя в лаборатории над группой молодежи, я изредка чуть удлинял световые паузы: но ни экспериментируемые, ни я сам не заметили в жизни серых фигур, сдвигавшихся на экране, ничего, что бы прервало, хотя бы на миг, их серое и плоское бытие.

Осмелев, я удлинил в двух-трех местах свои черные вставки; никто их не заметил: кроме меня.

Понятно: управляя обтюпоратором, я точно знал, где и когда их ждать. Мало того, экспериментируемые (несколько студентов и студенток физического семинария) вообще не знали, чего от них хотят. Но ведь и мы все, над которыми ежедневно экспериментируют с солнцем, в сущности, тоже не знаем: чего от нас хотят?

Ободряемый успехом, я расширил черные щели вдвое. Для большинства и это прошло незаметно, но два-три человека уже заговорили о каком-то черном мелькании, один сказал о «перебоях в образах», другой — о «черной подмеси к ровному свету аппарата». Но удивил меня только один, чрезвычайно скромного облика, блеклолицый и узкоплечий студент. «Правда, — согласился

он, — и я заметил перебой. Но разве этого не бывает вообще, в жизни?» Товарищи улынулись. Смуглившись, он замолчал. Дня через два случайная встреча с узкоплечим дала мне возможность расспросить его подробнее. Конфузаясь и путаясь, будто изловленный на какой-то недоброй тайне, он сказал, что еще в детстве дважды испытал чувство как бы полного выпадения мира из глаз. Правда, оба раза на ничтожную долю времени. Происходило это при ясном свете дня и непрерывности сознания, так что к разряду мгновенных обмороков это не относилось (студент оказался медиком). При расспросе моем — посещает ли его этот феномен и сейчас — студент отвечал: да, но не в полном своем проявлении: вещи лишь тускнеют, отодвигаются от глаза, дальше и дальше, обращаются в крохотные пятнышки и точки, а после, опять разбухая, делаются четче и ярче и возвращаются на прежние места. И только.

Разговор этот, не дававший права на определенные выводы, помню, все же до странности взволновал меня. Гипотезы громоздились на гипотезы: если меж систолой и диастолой сердца вклиняется пауза, думал я, то отчего бы не быть и солнечным паузам. И я начал мою, вот уже двенадцать лет делящуюся, ни на единый день, нет, миг, не прерываемую слезку за Солнцем; я усомнился — понимаете ли, усомнился в этом желтом диске, врезанном в лазурь. Теперь все знают: солнце в черных пятнах. Но многим ли открыто: само оно лишь черное пятно, черными лучами бьющее по планетам. Мне случалось и раньше замечать, иной раз среди яркого полдня, как бы момент ночи, вдруг выставившейся черным телом своим в день. Испытали ли вы хоть раз это жутко сладкое чувство? Лучи от солнца к земле, будто вдетые в колки струны, натягиваются все сильнее и сильнее, тончатся и ярчатся и вдруг оборвались: тьма. На миг. А там — все как было. Опять лучи, лазурь и земля.

Ночь ведь и днем никуда не уходит: разорванная на мириады теней, она таится здесь же, в дне: приподнимите с земли лист лопуха, и черный обрывок ночи тотчас же юрко метнется под корень. Всюду: под сводами, у стен, под листвою деревьев ждет разорванная на черные клочья ночь. И когда солнце устанет, отовсюду — из-под листвы, каменных нависей стен, склонов гор — осторожно выползают черные лоскутья и снова срастаются в тьму. И как можно, и в сиянии полдня, выследить и изловить глазом и ч тью вот эту чисто оптическую ночь, ждущую лишь знака, чтобы из тайной стать явной, так и иная ночь — Ночь, я бы сказал, онтологическая — не покидает души и вещи. Ни на миг. Но это уж философия: в те годы я еще боялся обобщений. Для мысли моей порог, отделивший лабораторию от мира, был еще слишком высок.

Я все возился с цифрами, с вгибами и выгибами оптических чечевиц, офтальмоскопом, цветосмешивающими дисками Геринга и скучной шарманкой фильм. И если бы не один случай... — рассказчик чуть слышно хрустнул пальцами, — да, если бы не он...

Лёвеникс вдруг насторожился: на крытой лунным бликом аллее бульвара внезапно возникли двое; они шли молча, устало и покорно ступая вслед своим черным теням, ползшим впереди них по песку аллеи.

— Ведомые теньями, — прошептал Лёвеникс и продолжал: — Тогда я... любил. Теперь не умею. Но тогда... четко помню тот прозрачный, безветренный осенний день, когда я, меж тронутых золотом и багрянцем лип, шел к назначенному месту у скрещения аллеи. Встреча была условлена в половине второго. Я торопился, боясь упустить хотя бы миг. Оставался один поворот. У поворота, шагах в десяти передо мной, сквозистая, но длинная и раскидистая, поперек всей аллеи, тень липы. С чрезвычайной ясностью помню и сейчас тот миг:

я был весь, насквозь и сплошь — любовь. До тени десять — пять — три шага: я наступил на нее, и вдруг произошло нечто чудовищное: тень, будто разбуженная ударом подошвы, качнулась, мгновенно густясь в черный ком, и поползла, разворачиваясь с невероятной быстротой — вверх, вперед, вправо, влево, вниз. Миг — и все кануло в тень: аллея, деревья, лазурь, солнце, мир, «я». Ничто. Потом — миг — и опять желтая лента песку; на песке малая и скудная тень, с боков — шпалеры деревьев, сверху лазурь. В лазури диск. Изникнув, все возникло вновь и было как до мига, но чего-то не было. Я ясно ощущал: что-то осталось там: в ничто.

Механически я сделал шаг вперед. Сделав шаг, подумал: куда? Вспомнил: не сразу и с усилием. И вдруг стало ясно, чего нет. В сердце было до странности пусто и легко. Я вспомнил «ее» всю, от вибрации голоса до дрожи ресниц, мысленно увидел ее, ждущую там, за поворотом аллеи, и не мог понять, зачем мне она: чужая; ненужная, как все. Да, черная щель, сомкнувшись, возвратила все; кроме одного: оторванное от сердца, брошенное в ночь, вместе с солнцами и землями, оно не нашло пути назад; солнце в лазури, как и до мига, земля на орбите, как и до мига, а этого — нет: щелью втянуло.

Странная слабость овладела мной: шумело в ушах; подкашивались ноги; я сел на ближайшую скамью. Машинально вынул часы: двадцать семь второго.

До условленного часа — три минуты. Преодолевая слабость, я поднялся и автоматически зашагал к воротам парка. Мое «я» стало будто нежилым: идя меж шеренг домов, я механически останавливался у пестроты витрин, всматриваясь в какие-то вещи, совершенно мне ненужные и неинтересные, складывал в слова аршинные буквы афиш и не понимал их. Простоял довольно долго у какого-то пропыленного и облезлого мелкобуквого объявления, читая, тотчас забывая прочитанное, с тем

чтобы опять начать чтение сначала. Случайно на глаза мне попался какой-то вывесочный циферблат; глянув на его будто застрявшие в цифрах стрелки, я хотел пройти мимо, но стрелки не отпускали глаз: сделал усилие, пробуя оторвать зрачки, и вдруг осознал: нарисованное время указывало — двадцать семь минут второго: мой час.

И с тех пор циферблаты стали мучить меня. Обычно, стараясь забыться, я прибежал к быстрой ходьбе по полным гула улицам. Попробовал и теперь, но нет; стоило мне выйти на панель — и отовсюду круглились циферблаты, десятки мертвых циферблатов; и почти на каждом — двадцать семь минут второго. Пробовал не смотреть, но черные стрелы, внутри синих — черных — золотых обводов, тянулись к глазу черными остриями, а проклятые диски, нежданно пробелев, ударяли о глаза все тем же цифросочетанием. И я прятался от улиц за стенами и дверью комнаты. Но и там, даже в снах, не было забвения: из ночи в ночь мне снилось мертвое безлюдье улиц. Зажаты ставни. Потушены огни. Пуста панель; и только я иду от перекрестка к перекрестку один, среди сотен, тысяч белых дисков, облепивших стены, и на каждом диске одни и те же цифры; и меж одних и тех же цифр под одним и тем же углом вправо скошенные стрелки; и у остриев их — всюду-всюду — двадцать семь второго — двадцать семь минут второго — второго двадцать семь.

Тогда я еще не понимал, да и не скоро понял, что водит рукою маляров, красящих вывески для часовых лавок.

По теории вероятности, если сочетать все возможные положения минутной и часовой стрелок, лишь один из семисот двадцати покрашенных ими циферблатов должен был указывать час двадцать семь. А однако, как вы, вероятно, заметили, в семи случаях из десяти...

— Да, — прервал я живо, — и мне бы хотелось знать, как вы объясняете это?

Но собеседник не отвечал, он сидел, еще глубже закрыв голову в плечи, видимо отдаваясь воспоминаниям.

Предутренный ветер качнул тенью деревьев и снова положил их на место, у наших ног. Лёвеникс вышел из забытья:

— Да, все это осталось там, позади. Вскоре порог моей низкой и тесной лаборатории, со всей ее жалкой утварью и книжными методами, тоже отошел назад. Я сдернул с себя потолок и стал приучать мысль покрываться одним лишь небом. Проблема ставилась так: у океана свои отливы, и у бытия — тоже. Чувство бытия может быть дано двояко: как е с м ь и е с т ь. «Я» знает себя как е с м ь. «Не-я» известно ему как некое е с т ь.

Скажите, не были ли вы, хоть раз за всю жизнь, в трех примкнутых друг к другу моментах? Первый: е с м ь и е с т ь. Второй: е с м ь. И только. Третий: е с т ь в е с м ь. Пуганно? Сейчас поясню: после того, как мир раз и еще раз был взят от меня бытийной щелью, нет-нет да расщепляющейся в бездну, глотающей землю и солнце, — я стал подозрителен к миру и как-то не верю ни в прочность протоптанных его планетами орбитных эллипсов, ни в негасимость его солнц. Правда, провалы в ночь редки и знающие о них редки, но щель, грозящая катаклизмом, никогда не сдвигает вплотную своих краев; каждый миг грозит она их раздвинуть, прозиять мироемлющей бездной; не я один разорван щелью надвое. Разве вы не расщеплены ею? Разве Гейне не писал — «через мою душу прошла великая мировая трещина»? Он был поэтом и не знал, что это больше, чем метафора. И если бы...

Лёвеникс вдруг оборвал на полуслове и резким движением протянул руку вперед:

— Взгляните.

Уйдя в слушание, я и не заметил: ночь отошла. Заря проступала узкою алою щелью меж земли и неба. Мед-

ленно-медленно ширилась. Звезды втягивали в себя свои лучи. И ночь, ища укрытий под сводами и нависями, уже разорвалась на черные лоскутья теней. Снова возникали вещи: сначала очертаниями, потом и красками.

— Мне пора.

Собеседник повернул ко мне лицо. Только теперь я мог рассмотреть его: лицо Готфрида Лёвеникса — чуть одутлое, с смело прорезанным ртом, было как-то заостренно и сквозисто, и только в раскале неподвижных, но обжигающих глаз таилась неистребимая жизнь. Мне вспомнилось, будто я видел уже это лицо и взгляд: где-то со старой гравюры в книге с чьей-то давно отлетевшей жизни.

— Но вы недосказали...

— Всего не доскажешь. Вот суть: если нет единой нити времени, если бытие не непрерывно, если «мир не цел», расколот щелями на разные, чужие друг другу куски, — то все эти книжные этики, построенные на принципе ответственности, связанности моего завтра с моим вчера, отпадают и замещаются одной, я бы сказал, щелиной этикой. Формулу? Вот: за все оставленное позади щели я, переступивший щель, не отвечаю. Я — здесь, поступок там: назади. Свершенное мной и я — в разных мирах; а из миров в миры — нет окон. О, это-то я давно постиг. Вы поняли?

— Да.

— Ведь та, что ждала тогда за поворотом аллея, помните, не дождалась. Я оборвал без слов. Письма отсылал нераспечатанными. Как-то случайно в газете попало в глаза — ее имя (ее звали София, да, С о ф и я): «...выбросилась в окно. Причина неизвест...» — но к чему это я вам?

Он вдруг резко отвернулся. Мне виден был лишь острый выступ плеча и черная тулья шляпы; поля ее чуть вздрагивали.

— Что с вами?

— Ничего. Так. Простите.

Он поднялся. Я тоже.

— Но вы не объяснили нарисованных циферблатов.

— Ах да. Об этом в другой раз.

Я задержал его руку в руке.

— Но когда же будет «другой раз»?

Он медлил ответом.

Тогда я вынул рукопись:

— Не мне — вам.

Он слабо улыбнулся: спасибо. И, назвав свой адрес, быстро зашагал по аллее бульвара. Я снова опустился на скамью. Начиналась дневная жизнь. Шагали, тревожа пыль, люди, стучали, выбивая искры из бульжинок, копыта и обода.

Пора было и мне. Но я медлил: какое-то странное недоверие и к солнцу, и к земле, и к себе самому связывало мне мускулы: казалось, вот — сделаю шаг, и все — от солнца до искр под копытами, от земли, подостланной под всю нашу суету, до крохотных пылинок, растрепанных подошвами, — все вдруг канет в ночь, и обещающего зарей дня не будет.

IV

Долго я не решался посетить Собирателя Щелей. Подзадоривали крашенные уличные циферблаты: жирно намалеванные стрелки будто толкали пойти за загадкой их цифр.

Комната Лёвеникса отыскалась где-то на шестом этаже у последней ступени витой черной лестницы: толком в чердак. Но, к моей досаде, она была пуста. Готфрид Лёвеникс выбыл. Куда?

После долгих расспросов в домовой конторе удалось получить только имя крохотного заштатного городка, куда выехал Лёвеникс. Я решил не терять следа и тотчас написал письмо, обозначив на конверте лишь имена — человека и городка. Дойдет ли?

Ответа долго не получалось: значит, не дошло. Но однажды, когда я перестал ждать, мне вручили серый квадратный конверт. В конверте:

«Милостивый Государь,

Надеюсь, Вы извинили мне некоторую неровность в обращении: я конченный чудака. Только теперь, перечитав и Вашу сказку, и Ваше письмо, вижу, что был неправ, вдруг зачуждавшись Вас: мы связаны, хотя бы общностью темы. Спешу прежде всего успокоить Вас относительно циферблатов. Тут нет никакой особой тайны: если морской отлив имеет свои в точных секундах выраженные сроки, то и отливу бытия, который, правда, не каждодневен, — должно иметь свои излюбленные часы, минуты и, может быть, секунды в дне. Сознания людей — грубы. Но бессознательное, в философе ли, в маляре ли, — всегда мудро. Рука маляра, который, конечно, действует бездумно, бессознательно, закрашивая вывесочный циферблат, — мудрее самого маляра: ему все равно, куда деть стрелки на диске, но бессознательному в нем не все равно; всюду и всегда пишет оно с в о й час, час бессознательности, отмены всех сознаний: час пустот. И люди, топчущиеся по панели, не знают, чем им грозят с жестяных листов стрелы дисков, повисших над их жизнью. И не узнают.

Все мои доселешние наблюдения лишь подтверждают эту гипотезу, и я думаю руководствоваться в предпринимаемом мною ряде опытов с ничто именно этим, известным Вам и мне, сочетанием часа и минуты.

Готовый к услугам Г. Лёвеникс».

Я отвечал немедля. В теплых словах я благодарил за письмо, гипотезу и просил, тоном ученика, если возможно, приоткрыть мне сущность метода, который Лёвеникс кладет в основу намечаемых им опытов. Второе письмо Собирателя Щелей, называя меня молодым другом, сообщало, что мысль его, Лёвеникса, пройдя сквозь формулы физики и максимы этики, вступила в новую фазу.

«Только теперь, — писал учитель, — оправданна для меня онтологическая канва Вашей сказки. Вам, поэтам, то, что дается, дается смутно, но с р а з у. Нам, философам, — ясно, но в постепенности. Перечитываю Декартовы *Meditationes*: его мысли о „промышлении миром“ — удивительны: „Промысел, — дедуцирует он, — не бережь бытия, а ддящееся в веках творение мира, который в каждую долю мига (беру Декарта *in extenso**) срывается в ничто, но создается вновь и вновь, из мига в миг, весь, от солнцдо песчинки, мощью творческой воли“. Но ясно, что меж двух Декартовых „вновь“ возможны и перерывы — мертвые точки: в их пунктир и уперлось мертвое дьяволово царство, меж-мирие, черная Страна Щелей.

Один из вас, поэтов, давно это было, вошел в провалы Царства мертвых. Дóлжно и метафизику сойти туда же.

Фактуру опытов опасаюсь доверить почтовому конверту. Если интересуетесь, приезжайте сами: покажу, что могу.

Но, во всяком случае, время медитаций прошло. Пора стать „ушельцем в щель“.

Особенность моего метода такова: людям неведомо даже то, о чем знают все уличные циферблаты. Поче-

* В развитии (*лат.*).

му? Потому что щель, расщепляя бытие, поглощает вместе с ним и их сознания, бытие отражающие. Выброшенные назад в бытие, бедняки и не подозревают, что за миг до того их не было, — и только отдельные, как бы утаенные вновь сросшейся щелью вещи и люди, не возвращенные вместе с ними назад, под солнце, возбуждают некоторый страх и недобрые предчувствия. О затерявшихся говорят: „умерли-погибли неизвестно где“. И не знают, что каждый миг грозит нам „неизвестно где“: всему и всем.

Но узнать в н у т р е н н е е бездны может лишь тот, кто не отдаст расщепившейся щели своего сознания; тот, кто, исчислив точно час и миг катаклизма, властью воления и веры — останется б ы т ь один среди небытия, войдет живым в самую смерть. Тут мало Дантовых терцин; нужны цифры и формулы; и то, что поэт мог делать лишь с образами и подобиями вещей, метафизику должно уметь сделать с самими вещами.

Числа меня не обманут. Вера — тоже. День опыта близок. Да поможет мне Бог. Г. Л.»

Письмо взволновало меня. Вестей в течение недели не приходило. Я собрал кой-какой ручной багаж, и утренний поезд мчал меня к разгадке.

V

Поезд должен был прибыть к полудню, но опоздал на час. Оставив багаж на вокзале, я пошел разыскивать квартиру Лёвеникса. На часах было без четверти два, когда я нажимал щеколду калитки, вправленной в высокую глухую стену; внутри стены двор; в глубине двора ма-

ленький, в три окна, домик. Ни души. Дверь полуоткрыта. Я вошел.

Сени; постучал: тихо. Нажал ручку — дверь подалась.

В первой комнате — только книги. Я позвал. Ответа не было. Недоумевая, я заглянул в открытую дверь соседней комнаты: стол, у стола кресло; в кресле — Лёвеникс; головой в стол, с руками, странно обвисшими до полу.

Окликнул. Молчит. Еще раз. Молчит. Тронул за плечо. Сильнее — голова, вдруг, как-то подвернувшись, беззвучно легла на левое ухо, — и я увидел мертвый, остеклившийся, с застывшим выражением ужаса в белом зрачке, глаз. Под отвалившейся вбок головой, прилипнув к щеке, лежала мелко исписанная тетрадь. Приподняв голову (она была еще чуть тепла), я выдернул тетрадь, спешно роюсь глазами в ее последних, еще не просохших строках. Сунул в карман и вышел, плотно прикрывая за собой одну, потом другую, потом — третью дверь. Ни во дворике, ни на улице — ни души. Через час я сидел в поезде.

Я не понял всех цифр и формул, вписанных в тетради Лёвеникса. Одно мне понятно: с моей сказкой покончено. Покоряюсь. Но цифры Лёвеникса хотят большего: им нужны все вымыслы, мои и не мои, писанные и не писанные. Они требуют отдать им все до последнего фантазма. Нет, вчера я бросил щелиное наследие — в огонь. Вымыслы и домыслы — сочлись. Фантазм — отмщен.

Боковая ветка

Рельсовые стыки отстукивали стаккато пути. Фуражка, свесясь козырьком с настенного крюка, раскачивалась из стороны в сторону, точно пробуя вытряхнуть из суконных висков мигрень. Квантин, отстегнув портфель, вынул газету. Но в чуть тлеющих под потолком угольных нитях было ровно столько света, чтобы мешать спать. Жухлые петиты листа неохотно осмыслились в слова. Квантин сложил газету и придвинулся лицом к стеклу: сутулые контуры сосен, закрываясь черными распялами ветвей от света, падали в ночь. Было как-то зябко: не то тянуло от окна, не то лихорадило. Квантин попробовал было голову поверх портфеля и ноги под пальто. Но короткая и скользкая ткань свесью рукавов — вниз, и под плечом вздрагивала жесткая доска. Лучше встать и добродрствовать. Недалеко уже. Паровоз сиплым и слабогрудым звуком взвыл и оборвал. «Как заблудившийся», — подумал Квантин и приподнялся на локте. Козырек на крюке по-прежнему, но чуть медленнее и раздумчивее, раскачивался с таким видом, как если б под ним были запрятаны глаза. «Если представить себе страну или мир, в котором под тульи шляп, под кожаные подкладки их, иногда — ну, пусть редко-редко — забредали бы так, по соседству, окраинные причерепные мысли, какие-ни-

будь пустячные мыслишки, отлучки которых из головы в шляпу совершенно незаметны для мышления, то... — мягкий толчок, точно не буферами о буфера, а подушечным пухом о пух, вдруг остановил поезд, — то (должно быть, семафор)... нет, лучше не вдоль т о, а по боковой. Если предположить, что самый наш мозг поверх другого мозга, как шляпа поверх головы, что тот в настоящую думающий, подкорковый, раскланивается моим мышлением, приветственно приподымает его при встрече с...» Но вперерез мысли точно тень опустившегося семафора и о слух ватным прикосновением:

— Прошу предъявить ваши сновидения.

Квантин приподнял голову. Под кондукторским кантом рыжая борода, сквозь бороду улыбка:

— Будьте любезны, приготовьте ваши сны-с.

Квантин, не понимая, — следуя ритму, не смыслу, — вынул из кармана билет:

— Это?

Щипчики, остро вщелкнувшись в картон, снова в ладонь; снизу голубой круг фонаря — и сквозь выщелкнутые дырочки, как сквозь крохотные оконца, реющие спутанные нити лучей — пестрые точки, линии и контуры; Квантин, сощураясь, пробует взглядеться, но и оконца уже прыгнули в ладонь, голубой фонарь отвернулся и сквозь бороду, вперемежку с улыбкой:

— Торопитесь. Легко прободрствовать. Пересадка.

Квантин хочет спросить — куда и при чем тут сны. Но спина кондуктора уже выскользнула из двери, и вдоль вагонов где-то из-за десяти стенок слышится его веселое: « Попрошу предъявить ваши сновидения ».

Делать нечего. Квантин поднялся и — к выходу. Ноги его как-то ватно легки и пусты, портфель под локтем мягок и упруг, как взбитая к ночи подушка. Ступеньки сводят шаги вниз. Под подошвами теплая земля. В стороне от остановившихся колес — новый состав. Квантин

идет сквозь темноту навстречу столбу искр над часто дышащим паровозом. Они бьют радужным костром вверх и опадают гаснущими осыпями к земле. В блеске их вычерчивались очертания трубы. Это старая распялая воронка, круглый лунный кратер, подпертый кривой ногой, напоминающей еще Стефенсоны времена, когда поезда только-только учились ходить, расталкивая поршнями пространство, сонно разлегшееся поперек рельс. И вагоны: под низко осевшими крышами, с топорщащимися суставчатыми ступеньками, каких давно уже не строят. «Боковая ветка, — подумал Квантин, — ржавая узкоколейщина, саркофаги на колесах, как бы не заехать в катастрофу». Но вдоль темного низкокрышья уже скользил голубой глаз фонаря. Свисток на высокой сверчковой ноте проиглился сквозь тьму. Наткнувшись на ступеньку, Квантин схватил подставившийся поручень и впрыгнул в вагон. Лязгнули тимпанным переплеском буфера, и поезд тронулся. Сначала окна вагонного кузова медленно терлись о воздух. Старый паровичок, шаркая паром, казалось, шел сквозь ночь, волоча мягкие ночные тuffли, то и дело спадающие с пят. Но постепенно колеса надбавляли скорости; рельсы сматывались с них, как нити с катушек, раскручиваемых быстрями вращением шпuleк. Кривые рессоры вагонных кузовов ахали на стыках, из всех щелей шуршал рассекаемый паровозной грудью воздух. Обгоняя ночь, окна скользили уже сквозь голубое предсветье, замахивающееся вслед бегу колес сшибом углов и выгибей быстро — до слиянности — мелькающих контуров. Ловя отпрыгивающую от пальцев стенку, Квантин дернул за кожаное ухо стекло, и оно, тонко звякнув, скользнуло вниз. Мягкий тропический влажный ветер ударил в лицо. Мимо поезда в пролазоренном воздухе неслись очертания непривычных глазу деревьев — их стволы, редкими семьями разбросанные по холмам, выгибали свои голые чешуйчатые тела

кверху, чтобы там, у вершины, распасться гигантскими зелеными лопастями. «Пальмы», — вместе с ветром скользнуло вдоль лба. Квантин хотел доосознать: как так, среди порослей приболотных ив, зябких берез, наиглившейся хвои — и вдруг??... но, казалось, скорость поезда на полумысль, на полуоборот колеса опережала логику. И после этот теплый, крылом о душу, ветер. Вместе с искрами из раскала трубы мимо глаз неслись пестрые стаи птиц, об уши бились их курлыканье и клекот; в раскрытое окно то рушился гул дальнего обвала, то всплеск струн, оторванный ветром от невидимой деки; благоухание неведомых трав, горькое и пряное, врывалось в ноздри; вброшенная ударом голубого воздуха, в вагон впорхнула бабочка и билась смятыми крылышками над подпотолочной сеткой. Квантин узнал узоры ее пыльцы: *ugania ripteus*, притропический вид, не перелетающий и двадцатой параллели. Страница энтомологического атласа, приподнявшись — своими пестрыми подобиями — в память, снова опала под переплетную крышку. И Квантин заметил: скорость поезда убывает. Разгоряченные бока вагона еще раскачивает инерцией, но скрип рессорных дуг ниже и реже; контуры в раме окна четче и медлительнее; под колесами, отдельно стуча стыками, прогудела пустота мостового пролета. Перещелк стрелок, длинный — оборвавшейся нитью — свисток, астматический выдох и вскрик паровоза, и ступеньки вагонов повисли над землей. Квантин отыскал свой сброшенный на пол портфель и, оглядываясь по сторонам, вышел на перрон. Под стеклянными стенами было пусто и беззвучно. «Неужели они везли меня одного», — еще раз разгляделся по сторонам недоуменный пассажир. Никого. Ни души. Ни полдуши. Только протянутая в воздухе плоская рука указывала путь. Квантин прошел, ощущая за собой вытянутый вслед огромный, под голубым лаком ноготь. Свет был слишком прозрачен для сумерек и слиш-

ком смутен для дня. Одиноким пассажир отыскал глазами циферблат: но цифры и стрелы, запрятанные под навес, казалось, были замотаны в траурный креп ночи, и глаз не мог различить часа. Стены смыкались в коридор. Приезжий, еще раз оглянувшись на пустоту, пошел, куда вели стены. Сначала ничего, кроме примкнутых друг к другу камней и бьющего о них шага, потом в дальнюю прорезь туннеля яснеющая проступь. «Скорей бы уж», — Квантин надбавил шаг и увидел: навстречу из-под каменной навеси — большой бумажный плакат. Оставалось поднять голову к буквам:

!ВСЕ НА ТЯЖЕЛУЮ ИНДУСТРИЮ
ТЯЖЕЛЫХ СНОВ!

Два черных палицеобразных восклицательных знака сторожили слова, став справа и слева от лозунга. «Лучше вернуться», — но молчание, сомкнувшееся за спиной, толкало дальше. Сердце все скорее и громче — шаги тише и замедленнее.

Внезапно туннель оборвался. Квантин стоял на ступеньках, выводящих на широкую площадь. Вместо каменной навеси над головой теперь голубело небо, а прямо против глаз над озабоченно шевелящимися группами людей, среди брошенных в воздух тросов и паутино-тонких сетей шевелились, меняя текучие контуры, какие-то причудливые дымчатые массы. Люди работали молча и сосредоточенно. Взбрасываемые вверх нити, лассообразно раскручиваясь, постепенно опутывали дымящиеся бока вплывших в площадь громад. Иные из них пробовали было вверх, но сотни рук тянули их вдоль земли, как загарпуненных китов, колышущихся мертвыми спинами среди вспененных волн. Квантин понял не сразу. Лишь когда один из изловленных контуров, случайно выскользнув из сети, всплыл поверх крыш и, подхваченный течением ветра, стал быстро уходить, шеве-

ля прозрачно-перистыми очертаниями, стало ясно: перед ним происходит ловля облаков, густыми стаями плывущих сквозь горы.

Квантин спустился со ступенек и, держась за краин площади, попытался выбраться из сплива туч. Промысел был в разгаре, все глаза и руки в работе, и никто не заметил фигуры приезжего, осторожно пробирающегося, с портфелем под мышкой, внутрь сети городских улиц.

Сперва Квантин шел, натываясь на выступы и углы домов, затем воздух постепенно размгился, цвета и очертания стали яснее и четче. Прямо перед ним протянулась широкая — под сомкнутыми ветвями деревьев — улица. Одета в тени и свет чуть притушенного солнца, она звала шаги дальше и дальше. Казалось, был день, но все окна — за замурью жалюзей и опавшими складками занавесок. На скамьях, поверх мягко подостланных теней, кое-где сидели люди. Изредка попадались неторопливые прохожие. Один из них, с лицом, спрятанным под широкие поля шляпы, прошел совсем близко, почти плечом о плечо. Он дышал длинными выдохами меж коротких вдохов — как дышат в глубоком сне. Квантин хотел повернуть вслед, но в это время внимание привлекло иное: человек, стоя у подножья телеграфного столба, подвязывал к ногам тяжелые металлические хватни. Одежда его для простого чинильщика проводов была несколько необычна. Элегантный фрак, белый жилет и лаковые ботинки, затиснутые в громоздкие полукружья железных привесей; рядом — вместо ящика с инструментами — нотная папка. Квантин, остановившись, продолжал наблюдать. Затянув последний ремень, человек во фраке вщелкнулся сначала одним, потом другим хватнем в столб и стал взбираться, медленно переставляя щиколотки, к проводам. Несколько людей, застывших на скамьях, приподняли головы. Два или три прохожих

приостановились. Манжета вспорхнула над параллелями телеграфных струн, и металлическое арпеджио прозвучало над улицей. Жалюзи, чуть приподняв зеленые веки, ждали. И музыкант, взмахнув повисшими в воздухе крылышками фрака, запел:

Леди и джентльмены, сницы и сны,
Солнце — лишь грош из рваной сумы,
Оно упало в закат, как в щель.
И снова о пальмах грезит ель.
Жизнь — стлань теней, лёг лет над Летой.
Уснуть-умереть: «За власть поэтов».

И глухой аккорд загудел в проводах, от столбов к столбам. Артист раскланялся с вновь смыкающимися жалюзиами и стал спускаться.

Улица снова замолкла и замерла. Чтобы нарушить беззвучье хотя бы стуком шагов, Квантин двинулся дальше.

Вдруг поперек панелей, из-за черной створы, ныряя в тень и выныривая в свет, — юркая черная, дробно семенящая фигура. Подбирая длинную, цепляющую за земь сутану, поворачивая остроносый профиль то вправо, то влево, фигура, точно втиснувшись меж двух домов, изникла из глаз. Но в гравюрном абрисе исчезнувшего лица, в лбе, вквдратенном в прямоугольный, с опадающими к плечам складками, убор, было что-то до странности знакомое, веющее тлелым запахом старых, исчервленных книг. И Квантин, убыстряя шаг, бросился вслед. Это был переулочек. Глухой, под двойным перекровом теней, он скользил прямо, потом вкось. Ныряя вслед за фигурой меж стен, Квантин успел поймать глазами сворачивающую за угол черную спину и острый выступ локтя, вздергивающего черный подол. Нагоняемая памятью и человеком, фигура зачастила еще бысрей. Но шаг нагонявшего был шире и сильнее. Подгибаясь на слабнущих складках, сутана метнулась от глухой стены к стене,

потом, как мышь, настигаемая когтями, остроносым оскалом навстречу: на злобно и вместе с тем испуганно вытянувшейся из-под воротника шее кровавилась узкая, в лезвие толщиной, от кадыка к затылку, щель. «Мор», — вскрикнул Квантин, и, точно споткнувшись об имя, стал. Томас Мор, не роняя ни мига, бросился к ступенькам, сбегаящим в какой-то подвал. Не слыша за собой шагов, он обернулся еще раз и оглядел чужестранца. Сухой палец его распрямился восклицательным знаком, и нити губ шевельнулись:

— Полезный гигиенический совет: не занашивать головы на плечах. Сначала — под мысль, потом — под топор. И в расчете. Разумею: голова с главой.

Прежде, чем Квантин успел раскрыть рот, створы подвала сжались. Подойдя ближе, он мог рассмотреть лишь повисшую над пустыми ступенями старую тяжелоутлую вывеску. Буквы ее, полусъеденные ржавчиной, говорили:

ОПТОВАЯ ПОСТАВКА УТОПИЙ. ФИРМА С... —

цифры были стерты о время до неразличимости.

«Да, если этот у них заведует экспортом утопического социализма, то...» — Квантин опустил уже ногу вслед за опадающей ступенькой, но внезапный шум заставил его насторожиться: прямо на него — по извилистому руслу переулка — двигался хор стеклистых, пузырьчато вздувающихся и звонко лопающихся звуков, какой-то нестройный, но весело булькающий и клекчущий оркестр. Еще минута, и сквозь поющее стекло ровный топ и притоп ног, затем метнувшееся из-за поворота древко знамени, а там и само шествие. Сперва Квантин ухватил взглядом качающийся на шестах лозунг: СЛАВА ВСЕМ НЕПРОБУДНЫМ, затем и тех, кто шли не менее шатким шагом за буквами лозунга. Оркестр двигался беспорядочной, как куча листьев в ветре, массой; из ртов

музыкантов торчали поднятые кверху стеклянные бутылки без дна; щеки их, раздутые дутьем и отеком, выбрасывали сквозь вливающуюся пьяную влагу звонкий марш лопающихся пузырей. Навстречу непустеющим стеклянным раструбом торчали пурпурные, вздутые эрекцией желания носы. Процессия, хватаясь сотнями ладоней за стены, шла, роняя тела, как длинная и скользкая многоножка, любящая узкие и сырые щели.

Несколько минут Квантин с брезгливым любопытством шел за процессией, думая, что она не случайно, вероятно, выбирает переулки поуже, где легче просить помощи у стен, но длинное мелкобуквое объявление, выставившееся нежданно с одного из камней, пододвинувшихся к самым глазам, задержало внимание, а с ним и шаг. Объявление тоном корректной, не слишком навязчивой рекламы напоминало о преимуществах так называемых тяжелых снов. Мозг приезжего, однажды уже наткнувшийся на эту тему, внимательно вбирал — строка за строкой — влипшее в камень мелкобуквое. «Основное преимущество тяжелой индустрии кошмаров, — зазывало мелкобуквое, — перед легкой — из золотых нитей, вонзаемых в канву мозговых фибрил, — продукцией и т. н. приятных сновидений в том, что, сбывая кошмары, мы можем гарантировать их с б ы в а е м о с т ь, можем вручить покупателю „сны в руку“. Легкий сон не выдерживает трения о действительность, сонная греза изнашивается быстрее носков, тяжелый сон, просто, но хорошо сработанный кошмар, легко ассимилируется с жизнью. Если не отягченный ничем сон исчезает, как капля в песке, то видение сна, несущее в себе некую жесткость и твердость, испаряясь под солнцем, оставляет на своде пресловутой платоновской пещеры свое жесткое зерно: осадок нарастает на осадок, постепенно нависая сверху мечевидными сталактитами».

«Но если говорить более современными терминами, — подставило мелкобуквье новый абзац, — то давящие сверху на мозг кошмары, вырабатываемые нашей фирмой, постепенно срастаются в своего рода моральный потолок, грозящий каждую минуту рухнуть на голову: некоторые из наших потребителей называют это, кажется, всемирной историей. Дело не в названиях, а в прочности, беспробудности и высокой депрессивности и вместе с тем общедоступности наших кошмаров, что может достигаться лишь широким массовым потреблением, рассчитанным на все эпохи и классы, на ночное и дневное сновидчество, при луне и при солнце, с закрытыми и открытыми глазами», — Квантин хотел читать дальше, но нижний край листа был оборван — вероятно, кем-нибудь из проходивших пьяниц. Оторвавшись от текста, он вслушался: гимн непробудных звучал издали и еле внятно. Боясь заблудиться, он пошел вслед за отголоском. Но навстречу — развилке двух тесных улиц. Вправо или влево? Квантин двинулся наугад и вскоре увидел, что ошибся. Улица, выгибая каменные ребра, уводила прочь от шумов и звучаний. Вместо щелистых жабр жалюзей — глухой затиск ставень. Казалось, забреди сюда случайная волна звука, и та будет скользить, пригибая свои извивы и пугливо отдергиваясь от ушных раковин. Квантин покорно прибавлял к шагу шаг. Ни перекрестка, ни встречи. В мускулы входила усталость, в виски терлась тяжелеющая кровь.

Вдруг из-за поворота негромкий, но внятный шум. Квантин стряхнул с мозга усталость, как пыль со шляпы, и жадно бросился навстречу. Дверь в одной из стен была распахнута на улицу. Возле ступенек — телега на остановленных ободах. Несколько человек, молча поднимающихся и опускающихся по ступенькам, грузили люлькообразное днище мягко вздувающимися один над другим тюками. Нетрудно было узнать с первого же взгляда:

это были подушки, четырехрогие, жирные, влипшие пуховыми животами друг в друга подушки. Квантин приблизился. Человек в зеленом фартуке, cedивший дым из своей трубки, изредка разжимал зубы для короткого приказания, и гора подушек быстро росла. Увидев постороннего, человек повернулся трубкой навстречу его взгляду:

— Да-с, с делом поставки снов спать не приходится. Работаем. Недреманно. Хорошо проснённая подушка — старое, обслуживающее миллионы изголовий орудие грезопроизводства. Достаточно легчайшего прикосновения к пуху, спрятанному под наволочкой... и вот — не угодно ли?

Человек, отерев ладонь о фартук, притиснул ее к одному из вздутий. И тотчас же — сквозь прощелки пальцев — легкий пестрый дымок, медленно склубливающийся в какие-то неясные и шаткие контуры. Свободная рука мастера нырнула под фартук, и перед Квантином вспучился прозрачный глаз лупы.

— Так будет виднее.

Вщуриваясь сквозь стекло, он ясно теперь видел: из подушки, выдавленные ладонью, высачивались образы людей, деревьев, свивающихся спиралей, тел и реющих одежд; казалось, пестрый воздух, качающийся над пальцами, сделался решетчато раскрытым в множество текущих друг сквозь друга миров.

Мастер отдернул лупу:

— Ну вот. Что такое перья, полнящие эти вот ду- тыши? Крыло, разорванное на многое множество крохотных крылатостей, взлет, раздерганный в пух. Заши- тые в подушку, эти крохотные крылатости бьются внут- ри ее, пытаясь освободиться и взлететь ввысь. Это им не удастся, они тщетно распирают подушку, пока чей-ни- будь мозг не подставит себя под атомизированный взлет, и тогда... Что же касается до склонности человеческого

мозга к общению с подушками, то она вполне естественна: они, я бы сказал, в родстве — подушка и мозг. Ведь в самом деле, что у вас под макушкой? Так — серо-белая, пористо-перистая мякоть, обернутая в три наволочки. (Ваши ученые называют их оболочками.) Да, я утверждаю, что в головах у каждого спящего всегда на одну подушку больше, чем он думает. Незачем прибедняться, да-с. Трогай.

Последнее слово, очевидно, относилось к телеге. Лениво шевеля спицами, она двинулась с места, укачивая на рессорах груди проснённых подушек. Квантин, прикоснувшись к полям шляпы, хотел вслед за ободами, но человек в зеленом фартуке удержал его:

— Пройдем на минуту. Не зацепитесь за порог. Вот. Теперь я покажу вам нашу последнюю модель *somnifera ultima*^{*}, замаскированный тип подушки.

Он дернул за шнур, одна из перегородок склада опустилась, и изнутри по склону хлынули черным потоком вспученные, прыгающие четырехугольями через четырехуголья портфеля.

Рука мастера выхватила один из напряженных концов портфеля:

— Вот, не угодно ли: усовершенствованное подмыслье. Впрочем, у вас уже есть — ага, узнаю нашу марку. Но вот. Чернокожаная наволочка, набитая цифрами, проектами, графиками, итогами и перспективами, — это, я вам скажу, большой шаг вперед по сравнению с обыкновенной дедовской постельной подушкой. Никаких матрацев, выключенного света и прочих прочестей. Вам незачем даже утруждать голову и прятать зрение под веки. Стоит лишь сунуть вот эту штуку под локоть, и вы, не меняя даже вертикального положения на горизон-

* Предельно наводящая сон (лат.).

тальное, с раскрытыми глазами, при ярком дне, погружаетесь в глубочайший сон: вам снится, что вы деятель, вершитель, общественник, измыслитель новых систем — и портфелевидная подушка, выпруживаясь из-под локтя, толкает из снов в сны. Вдуваются: печень — честолюбие, наконец, мозг — он распяливается вширь, последние мозговые извилины и морщины на всем выравниваются, он делается гладок и чист от мысли, как хорошо взбитая подушка. Вот-с. Правда, мы делаем пока лишь так, первые опыты с подлокотной подушкой. Не более. Но результаты таковы, что и сейчас нетрудно предсказать: в технике убаюкивания будущее принадлежит портфелю!

Выходя из склада, Квантин заметил, что голубой воздух улицы стал чуть синее и сумрачнее. Оглядевшись по сторонам, он двинулся дальше. Вскоре узкая улица влилась, как ручей в озеро, в круглую, в крутых берегах из домов площадь. Взгляд Квантина сразу же притянулся к середине площади, занятой всхолмьем газона: здесь, под прозрачными ветвями фонтана росли, густо кустясь, маки; их широко раскрытые, влажно-красные губы выдыхали пряный опийный аромат. Вкруг газона — тесно составленные скамьи; на скамьях плечом к плечу — сложенные фигуры; лица, упавшие в ладони, опадающие к плечу головы, свесь рук, рты, разжатые навстречу пурпурным ртам мака.

Квантин, утишая шаги, подошел ближе. Острый запах проникал сквозь ноздри в мозг. Притягиваемый алыми пятнами мака, он хотел сделать еще шаг, но чья-то рука тронула его за локоть. Человек в мажорантовой куртке, с расползшимися во весь глаз зрачками предупреждающе улыбнулся:

- Посторонним воспрещается. Отойдите.
- Я не понимаю...

— И понимание: строжайше воспрещено. Сновидения не лишены права видеть сны. Не так ли? Отойдите.

Но в это время легкий ветер качнул стебли маков, их выдохи задели о мозг, и Квантин не успел отшагнуть: маковая пыльца — под ударами воздуха, — оторвавшись сквозистым облачком от стеблей, заскользила над землей. Охваченное воздухом облачко быстро оплотнело и обрастало контуром; нижний край его коснулся земли — и Квантин с изумлением различил нагую тонкопалую ступню; над ступней выклубились колена и излучия бедер; какие-то неоформленные хлопья трепетались еще вкруг вычертившегося женского тела, но последним ударом воздуха их свеяло прочь, и фигура, ведомая ветром, безвольно заскользила вперед. Квантин, боясь выронить из глаз хотя бы единый блик, шел, та́я дыхание, позади. Женщина, не оборачивая лица, медленно, как туман вдоль скал, скользила мимо сомкнутых дверей. Квантин осторожно, стараясь быть неслышимым, учащал шаг. Они уже были близко друг к другу, его дыхание нагоняло ее плечо, как вдруг одна из дверей с шумом открылась. Резкий сквозняк ударил по телу видения, спутывая и комкая ее формы; на миг стало видимо запрокинувшееся — в муке исчезновения — лицо, распростертые руки и тающая грудь. Прежде чем Квантин успел броситься на помощь, пред ним не осталось ничего, кроме пустого воздуха.

Створа двери, убившей фантом, продолжала оставаться открытой, как бы приглашая войти. Квантин поднял голову — над дверью чернела четкая надпись:

ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ НОЧНЫХ ВИДЕНИЙ.

Он вшагнул внутрь. Ступени, ведущие извивами спирали вверх, были пусты; откуда-то из-за стен слышал-

ся ровный, изредка останавливаемый паузами голос. Очевидно, занятия начались. Ступеньки выводили на хоры. Здесь было пусто и полутемно. Квантин подошел к перилам и заглянул вниз. Высокая чинная кафедра. Над ней — круг неяркого света, напоминающий медленный разряд Круксовых трубок. Под спадом лучей голый, с вспузырившейся шишкой над теменем, затянутый в потную, разблескивающую рефлексю кожу череп. Свесясь с кафедры к нескольким десяткам внимательно наставленных лбов, череп методически раскачивался в такт словам:

— Итак, для нас выяснилось, для них выяснилось: наступает момент, когда царству снов надо перейти в наступление. До сих пор мы принуждены были ютиться меж двух зорь, меж расцепа нейронов, в темных щелях, в какой-то там «трети жизни». Эта треть, уступленная нам их солнцем, достаточно третирующая. Подушкам и головам давно пора обменяться местами. Если до сих пор, в течение стольких тысячелетий, мы позволяли их ртам храпеть на подушках, то теперь мы заставим их захрипеть под притиском подушками. Это, конечно, образ, не более. Но суть в том, что пора кончать. Пора. Миллионы наших ночей накопили достаточный запас снов, чтобы противопоставить их армии фактов, напасть на факты и обратить их в бегство. Боевая задача схематизируется так: загнать явь в «я» и отрезать «я» все «в», так сказать, отстричь солнцу его лучи наголо, предварительно, разумеется, усыпив его, как в свое время было сделано с Самсоном. О, людям и не грезится о том, чем им грозят сны!

То, что происходило до сих пор, было лишь глубокой разведкой, схваткой голов с изголовьями. Нам удавалось, ударив тьмой, опрокидывать и пластать противника, но лишь на короткие часы, не более. С каждой за-

рей мы попадали под миллионы раскрытых зрачков и принуждены были отступить назад, в ночь. Противник наш силен, — незачем скрывать это, — он знает технику творческих бессонниц, зорок, предприимчив и переимчив. Так разве не у нас усвоил он искусство — нападать на лежащего?

Но теперь ситуация резко меняется в нашу пользу. Еще Паскалю удалось точно отграничить мир действительности от мира снов. «Действительность, — утверждал он, — устойчива, сновидения же — шатки и изменчивы; и если б человеку снился всегда один и тот же сон, а пробуждался бы он всякий раз среди новых людей и нового окружения, то действительность показалась бы ему сном, а сон получил бы все признаки действительности». Яснее не скажешь... Но каждому — и им и нам — не менее ясно: действительность с Паскалевых времен много утратила в устойчивости и неизменности, и события последних лет качают ее, как волны палубу; утренние газеты чуть ли не каждый день дают пробуждениям новую действительность, в то время как сны... Разве не удалось нам уже сейчас унифицировать сны... разве не навяли мы человечеству сладчайший миллионномозгий сон братства, единый сон о единении? Знамена цвета маковых лепестков колышутся над толпами. Действительность защищается. Но выхлынувшее наверх подполье не боится раскала ее солнцем. Глаза спящих под щитами век. То, что вчера еще было утопией, сегодня стало наукой. Мы ломаем факты. Мы разобьем наголову всех их status quo: вы увидите убегающие статус-квовые спины. Если «я» восстанут против м ы: в ямы, в колодцы с кошмарами, мозгом о дно. Мы спрячем солнце под черные пятна, мы погрузим весь мир в бездвижный непробудный сон. Мы усыпим самую идею пробуждения, а если пробуждение будет противиться, мы выколем ему глаза.

Голая макушка говорившего свесилась с кафедры навстречу ближе сдвигающимся лбам:

— В этот час не слышно вступающей ночи, когда уши наших врагов затиснуты подушками, я могу снять печать с одной тайны. Слушайте: когда реальность будет наконец повержена, когда мы увидим ее слепой и бес- сильной, в путях неразрывных снов, тогда мы, выполняя свой издавна таимый план...

Голос лектора, не теряя четкости, звучал теперь точно из-под притиска сурдины. Квантин, пододвигаясь навстречу близящимся словам, подал туловище вперед, упираясь локтями в перила хор. Притягиваемый словами, он забыл о своем портфеле: высвободившись из-под отодвинутого локтя, набитая бумагами кожа, внезапно выскользнув из-под плеча, описала дугу в воздухе, задела о колпак лампы, ткнулась в выступ кафедры и, перекувырнувшись, с громким шлепом разлеглась на полу. Свет метнулся от стен к стенам. Протянутая рука оратора застыла в воздухе. Все лбы вскинулись кверху:

— Лазутчик. Шпион. Держите.

Квантин понял: каждая доля секунды на счету. Мускулы рванули его тело. Ударяясь пятками о спирально падающие ступени, он слышал бегущие наперерез голоса: «Закрывать все выходы» — «Обыскать хоры» — «Скорей». Квантин, перебросив ногу через поручень, рискуя сорваться в пролет, скользнул по спиральям вниз и, опережая близящийся топот, выпрыгнул на улицу. Не далее сотни шагов был перекресок. Квантин, сломав линию пути, нырнул под какие-то низкие ворота: двор; снова ворота; еще один многоугольник двора; улица. По счастью, проход оказался сквозным. Квантин замедлил шаги, и только дыхание его продолжало бег частыми вспрыгами вдохов. Осторожно разглядываясь по сторонам, он увидел, что город торопливо переодевается из голубого

воздуха в черную рабочую одежду ночи. Под фонарными дугами, сгорбившимися над улицей, кружили стеклито-прозрачные катушки, с них сквозисто-черными нитями сматывалась тьма. Черные нити-лучи постепенно заполняли все пространство, и смутно различимые, кружащиеся тела фонарей были похожи на испуганных каракатиц, выделяющих сепию. Это было на руку выскользнувшему из капкана «лазутчику». Слово это, внезапно вброшенное в слух, звучало теперь для Квантина как отщелк ключа, как пароль в явь, больше — как лозунг, осмысляющий все страхи, блуждания и опасности здесь, в паутине улиц города, экспортирующего сны. «Лазутчик», — беззвучно артикулировал он, чувствуя, как слоги смешиваются с улыбкой, первой улыбкой, выглянувшей на поверхность губ здесь, среди тесных стен фабрики кошмаров; девятизвучье пульсировало, припадая к ударам сердца. Да, лазутчик, он выследит все извивы их замыслов, он разорвет, хотя бы ценою гибели, все это черное миллионоузлие, он остановит эти проклятые катушки, сматывающие ночь. «Кто это сказал, кажется, какой-то немецкий гелертер: „О, если бы день знал, как глубока ночь“. И день узнает, промерим по самое дно, не извольте переворачиваться в гробу, герр. Не будь я шпионом дня!»

И ему представился вдруг — здесь, в бессветном городе ночи, — его дневной, залитый солнцем мир: колыхание полей, протягивающих вызолоченные лучи навстречу колосающемуся золотом солнцу; сизая пыль, пляшущая вокруг колесных спиц; яркие спады кровель и краски одежд, смешивающиеся на площадях, как на гигантских палитрах; румянец щек, красные ленты лозунгов над колыханием толп и после глаза, человеческие глаза, окольцованные радужью, весело щурящиеся из морщинок на солнце, а здесь... Квантин почувствовал сцеп судороги вокруг горла и сжал кулаки.

Темнота, будящая сов и летучих мышей, разворопила недвижье города снов. Улицы, еще так недавно мертвые, как дорожки кладбища, были полны теперь всевозрастающим оживлением. Жалюзи уползли вверх, обнажая черные дыры окон. Лишь кое-где за их открытыми рамами затлевал и ник мутный гнилушечий свет. Створы дверей, распахиваясь, как крылья ночных птиц, начинающих лёт, выбрасывали в улицы торопливые силуэты людей.

Очевидно, подходил час ночной страды, и заготовщики видений, кошмароделы и экспедиторы фантомов торопились на работу. Сутулящиеся молчаливые контуры их ныряли в щели ворот, вдавливались в землю по ныряющим в подвалы ступенькам. Одни из ворот были оставлены приоткрытыми. Никто не входил и не выходил из-за их створ. Квантин, оглянувшись, нет ли слежки, сунул голову внутрь: вдоль длинного двора тянулся ряд круглых колодезных ям; отверстия их были придавлены массивными конусовидными заслонами, издали они могли бы напомнить гигантизированные крышки чернильниц. Вокруг одного из колодцев, то припадая к земле, то распрямляясь, двигалось несколько фигур. Конус, под давлением их плеч медленно вращаясь, осторожно высвобождал зажатое горло колодца с кошмарами. Еще один поворот — и... за спиной Квантина послышались шаги. Он быстро перешел на другую сторону улицы и продолжал путь, стараясь выбирать самые затененные места. Окно, мимо которого он проходил, полуспрятанное в подвал, светило ярче других. Из-за его решетки слышалась негромкая, будто придавленная землей, музыка. Наклонившись, сквозь решетку окна можно было видеть цепкие спирали какого-то растения, ползущего с подоконника на панель, и мельканье смычкового асика, длинными стежками вшивающего в воздух мело-

дию. Он узнал ее с первых штрихов — это была та потертая и отысканная в нервюрах переулков песнь воздушных проводов:

УМЕРЕТЬ-УСНУТЬ: «ЗА ВЛАСТЬ ПОЭТОВ».

Квантин прислонился плечом к стене и слушал. Он не мог понять, что это: печаль или просто усталость. Вдруг — чье-то легкое касание к ладони опущенной руки. Отдернул руку. И снова — еле ощутимое. Квантин нагнул голову к окну: спиральная выгибь плюща, дотянувшись ворсинчатыми усиками до его ладони, униженно и робко напоминала: без слов — без слов — без слов.

Квантин взглянул вдоль улицы. В перспективе ее вычерчивалась гигантская арка. Он двинулся прямо на нее.

Перебежка цепи огней, вспыхивающих из-за арочной фермы, и приглушенные, но длинные свистки предсказывали: вокзал. Внимание Квантина стало упругим и стянутым. Наконец-то. Теперь он увидит товарные рампы для отправки сновидений. Погрузка кошмаров, транзит образов, обернутых в ночь, — вся техника экспорта фантомов раскроется перед ним.

Через минуту над головой его плыл легкий скелет арки, а под ногами стеклился зеркальными отливами слегка наклонный, падающий вперед пол: в нем отражались и скрещения ферм, и суета движущихся вокруг локтей и спин, и синие точки звезд. Боясь поскользнуться, Квантин осторожно переставлял ступни, тормозя влекущую вперед силу наклона. Внезапно протянутая вперед ладонь наткнулась... на воздух. Да, это был воздух, неясно очерченная пустота, которая, однако, противилась толчкам и не пускала вперед шаги.

— Осторожнее, — рука человека в серой блузе легла поверх его руки, — кой черт, этак вы разобьете нам все

цели жизни. Партия целей высшего качества. Этикет: этика. А вы тычете ногой, как в мешок с песком.

— Н-да, — подтвердил голос из-за спины, — товар на любителя. Цель — это не всякому по средствам.

И, подчиняясь жесткой и сильной руке, Квантин обошел тюк с прессованной пустотой. Глаза его, искавшие разгадки, наткнулись на буквы, лепившиеся над по-нурой низкой дверью:

БЮРО ОНЕВИДИМЛЕНИЯ.

Наученный событиями, он понял: сны, как тати пригчи, приходят невидимо, прокрадываются под лбы, стараясь разминуться с глазами, и лишь там, под черепным кровом, в безопасности, разлегшись на мозгу, сбрасывают с себя невидимость.

И действительно, под гигантскими дугами вокзальных ферм нельзя было рассмотреть ничего, кроме ряда наклоненных спин, топырящихся локтей и напряженных плеч, которые, упершись в воздух, проталкивали его сквозь воздух. Это было довольно странное зрелище, отвлекающее мысль от рампы вокзала к рампам театров, — но, когда Квантин опустил глаза вниз, ему трудно было удержаться от вскрика: зеркальная гладь пола швыряла в зрачки мириады самых причудливых контуров, взблесков, пересыпь искр; очевидно, бюро оневидимления, незрима товар, оставляло ему в виде некоей оптической тары способность отражаться. Квантин, отдернувший было глаза от пестрого потока окружений, принужден был, преодолевая испуг, все чаще и чаще взглядывать вниз. Стеклстый наклон, вначале еле заметной, пологой серебряной стланью торопивший шаги вниз, становился все круче и круче. Подошвы ног, точно лыжи по снежному скату, переходили из шага в бег, из бега в скользь. Не за что ухватиться: внизу — поток отражений, вокруг — воздух и сны. Блузы рабочих

мелькали все реже и реже. Быстрящееся рянье пестрот. Квантин и не заметил, как очутился за пределами станции. Ловя глазами пустое пространство, он увидел, наконец, впереди фигуру, фигура подымалась навстречу, изредка припадая на ладони и тяжело волоча свою левую ногу вверх по наклону. Квантин, налетев сверху, схватил хромого за плечо, едва не сшибив его с здоровой ноги.

— О, чтоб тебе увидеть солнце! — выругался тот, подымая испуганное, серой блузе под цвет лицо. — Правый присос отскочил в тартарары. А тут еще тебя принесло, чтоб тебе солнцем в глаза. Пусти.

Но Квантин, сшибленный ударом локтя, успел ухватиться за свисающую ногу рабочего; теперь он видел: под правой ступней сероблузого вспучивалась колообразная полая подошва, напоминающая резиновый наконечник стрелы, выбрасываемой пружинным пистолетом; налипая пустотой на поверхность наклона, ступня сейчас с трудом удерживала два сцепленных страхом тела.

— Пусти, — рабочий сделал усилие высвободиться, но пальцы Квантина ползли по свисающей ноге; ему удалось уже уцепиться за край серой блузы, когда сверху — прямо в межглазье — упал удар; пальцы Квантина разжались, роняя тело.

Теперь уже не было надежды. Он скользил вниз и вниз с нарастающей скоростью. Под ним — по зеркальному скату — неслись пестрые стаи отражений. Быстрота была такова, что он уже не различал их контуров: вихрь слепящих пятен рушился вместе с ним в пустоту. Он хотел вскрикнуть, но несущимся навстречу воздухом забивало рот. Лишь мгновеньями он видел свое разорванное лётном отражение в раскаленном серебре наклона. Какой-то невидимый тюк ткнулся о темя. Вниз и вниз. И вдруг впереди — плотиной поперек серебряного спа-

да — стена, неподвижная каменная толща, быстро близящаяся навстречу его несущемуся, как бессильная щепка в крутнях водопада, телу. В одно мгновение он представил себе свою мозжащуюся о камень голову и разбрызг мозга. Стена, раздвигаясь вширь и ввысь, беззвучно неслась навстречу сшибу. Лучше не видеть. Стиснуть веки и... Но что-то острое и светлое, как лезвие ножа, втиснутого под тугую покрывку, насильно расщепляло веки; уступая, он раздернул их — и тотчас же яркий дневной свет вхлынул в зрачки.

Прямо напротив, в метре от глаз — желтая вагонная стена. Сверху — подоткнутые железом полки. Квантин поднял голову с доски и, щурия глаза, огляделся по сторонам. Поезд стоял. В проходе — спина носильщика, придавленная тюком, за пыльным окном — знакомая стеклянная навесь Московского вокзала. Упершись ладонью в скамью, он все еще медлил включиться в день.

Пора. Он сбросил ноги со скамьи и протянул руку к портфелю. Что такое! Ладонь ткнулась о дерево — портфеля не было ни в изголовье, ни у стены. И тотчас же сквозь память: сумеречные хоры — синий свет — вытянутая рука лысоголоваго — и падающий вниз, к тем, четырехугольный черный портфель. И вслед — новым оборотом карусели — один за другим — откружившие образы ночи.

— Снесем?

Квантин, вздрогнув, поднял голову. Над фартуком и бляхой — веселое, в веснушках и капельках пота лицо.

— Портфель вот от вас сбежал. Ишь куда его застряло, — носильщик нагнулся, вытащил забившийся за ножки скамьи портфель и отер с него фартуком пыль, — потяжелей чего не найдется? Снесем-с.

— Спасибо, — пробормотал Квантин, — я сам. — Он продолжал сидеть с портфелем поверх колен. Спина носильщика скрылась за перекрытиями полок. Вагон пу-

стел. Снаружи, прыгая с обода на обод, вдоль неподвижного поезда странствовал нежный молотковый постук. Квантин опустил на портфель ладонь и осторожно притиснул: меж пальцами — воздух. И только. Он резко встал и направился к дверям. Со ступенек вагона медленно оползал неповоротливый, лениво ворочающий сбитыми углами, заузленный в веревки запоздалый тюк. «И все-таки, — подумалось Квантину, — единственно возможная техника подмены светлой карты черной, дня ночью — это стремительность, мгновенье, умеющее быть быстрее „мгновения ока“».

1927—1928

Штемпель:
Москва



*повесть
очерки*

Штемпель: Москва (13 тысяч в провинцию)

Письмо первое

Милый друг! Судьба запоздалых писем общеизвестна: вначале их ждут; потом перестают ждать. Знаю: мой конверт со штемпелем «Москва» уже тщетен и не нужен. Но иначе нельзя было: я сам жил внутри наглухо запечатанного конверта. Только-только выкарабкиваюсь. Два года отщелкнулись, как счетные костяшки: позади голый стержень. Это-то вы простите и поймете, милый друг, потому что вы... милый друг.

Но простите ли вы мне разочарование: ведь под моим штемпелем «Москва» ничего, кроме рассуждений о штемпелях с оттиском «Москва», вам не найти. Для меня эта тема — близкая и важная. Для вас, с расстояния в 700 верст, чужая и, может быть, скучная. Но я могу писать только о том, о чем могу: я так полно включился в свою проблему о штемпелях, так занят, может быть по-чудацки, исследованием того «особого отпечатка», еще Грибоевым примеченного, который отличает и метит всю окружающую сейчас меня жизнь, что придумывать другие, более забавные и волнующие вас темы никак не могу и не умею.

Каждое утро в 9^{3/4} я, застегнув себя в пальто, отправляюсь вдогонку за Москвой. Да-да: два года тому назад поезд, помню, запоздавший на 13 часов, до-

вез меня только до Брянского вокзала: до смысла Москвы отсюда еще большой конец.

Итак, каждое утро я шагаю из переулка в переулок, позволяя перекресткам ломать, как им угодно, мой путь, собирая в себя Москву. Рядом со мной, стоит повернуть голову на пол-оборота, в стеклах витрин шагает чуть сутулый, длинный, с лицом под черными полями шляпы человек. Вдвоем, изредка переглядываясь, мы ищем наши смыслы.

Даже странно: в первый день, когда, оттянув плечо чемоданом, я смотрел с Дорогомиловского моста на кучу домов под кучей огней, я не мог и предполагать, что когда-нибудь все это ляжет гигантской грудой поперек моего мышления как трудноразрешимая задача.

Конечно, и другие, кто как может и хочет, возьмется с теми или иными проблемами; под любой лобной костью живет какой-нибудь не устраивающий мышление, мучающий «я» вопрос. Но все же я завидую другим: каждый из них может запрятать свою проблему внутрь черновых тетрадей, защелкнуть на ключ в лаборатории, зажать в математических значках, точнее — может, хоть ненадолго, отлучиться от своей головоломки, выключиться из нее, дать роздых мысли. Но мне уйти из своей темы — никак: я живу внутри ее. Окна домов, мимо которых хожу, смотрят с определенным выражением; утром, чуть раскрыв глаза, вижу красные кирпичи соседнего дома: это уже Москва. А значит — и мысль: Москва. Проблема материализовалась, обступила меня тысячью каменных коробов, протянулась под подошвами тысячью кривых и ломаных улиц, — и я, смешной чудак, исследующий свое где, попал в него, как мышь в мышеловку.

Когда я прохожу сначала мимо блекло-желтого дома с оттиснувшимися на нем знаками ЦК РКП(б), а полчасом позднее мимо кривой колокольни церкви Девя-

ти Мучеников на Кочерыжках, что у Горбатого моста, я не могу не сделать отчаянной попытки найти общий знаменатель тому и этому. Шагаю мимо книжных витрин с меняющимися, что ни день, обложками: Москва. Мимо нищих, загородивших путь протянутыми ладонями: Москва. Мимо свежей типографской краски, оттиснувшейся поверх белых кип четким черным словом «Правда»: Москва.

Москва слишком затоптана, на ее асфальтах и булыжинах накопилось слишком много шагов: такие же вот, как и я, шагали, день ото дня, год к году, век к веку, от перекрестка к перекресткам, поперек площадей, мимо церквей и рынков, запертые в обвод стен, включенные в обвод мыслей: Москва. Поверх следов легли следы и еще следы; поверх мыслей — мысли и еще мысли. Слишком много свалено в эту кучу, обведенную длинной линией Камер-Колежского вала. Я, по крайней мере, все проверяю пусть расплывчатым, но неотвязным символом: Москва.

Белый особняк на Никитском, 76, утрюмо повернувшийся боком к шуму улицы, лучше Шенрока объясняет мне душу одного из постояльцев этого дома.

Еще и сейчас журнальные столбцы бьют по полумертвому слову «славянофильство», но тому, кто захотел бы в одно из воскресений от двух до четырех посетить ветхий хомяковский дом на Собачьей площадке, угловая комната дома, так называемая «говорильня», объяснит все окончательнее и резче: у ее сдвинутых на расстояние одной сажени глухих и незаконных стен — истертый кожаный диван на пять-шесть человек; в углу подставка для чубуков. И все. В этой глухой, тесной и темной комнате славянофилы, сев колени к коленям, и изговорили себя до конца.

Трамвай № 17, довозящий до Новодевичьего, гораздо лучше иных книг показывает имя: Владимир Со-

ловьев. Писано имя черной путаной вязью по белой крестовине, меж тремя разноверными иконками. Если всмотреться в выцветшие буквы одной из них, нижней, только и прочтешь: erit...

Но будет. Начни только ворошить эту кучу, потяни за нить, и за нею весь огромный спутанный клуб: Москва. Вы, вероятно, недоумеваете: как навязалось мне то, что я называю своей проблемой, как начались мои блуждания по смыслам Москвы?

Очень просто. Квадратура моей комнаты — 10 кв. арш. Маловато. Вы знаете мою давнишнюю привычку, обдумывая что-нибудь, возясь с замыслами, шагать из угла в угол. Тут углы слишком близки друг к другу. Пробовал: если стол вплотную к подоконнику, стул на кровать, — освобождается: три шага вдоль, полтора поперек. Не разгуляешься. И пришлось: чуть в голове расшагается мысль, и самому захочется того же, защелкнув свои три шага на ключ, бежать на улицу, вдоль ее кривых длинных линий.

Уберечь жизнь, запрятанную меж височных костей, от жизни, клубящейся вокруг тебя, думать вдоль улицы, не видя улицы, невозможно. Как ни концентрировал я свои образы, как ни оберегал мысли от толчков извне, это оказалось невысказанным. Улица навязчива: она протискивается и под опущенные веки, топчется грубо и назойливо на моих барабанных перепонках, прощупывается бульжником сквозь мои протертые подошвы. От улицы можно свернуть, бежать только в переулок, от переулочка — в тупик. И опять сначала. Город лязгами, шорохами, разорванными на буквы словами бьет по мозгу, назойливо лезет в голову, пока не набьет ее, по самое темя, ключьями и пестрядью своих мельканий.

Во мне, безусловно, есть какая-то пассивность. Вначале я сопротивлялся. Потом перестал: впустил город в себя. Когда я шел, отстукивая пунктир шагов поверх длинных линий улиц, то иногда чувствовал,

как пунктир этот стягивается в линию, слиянную с линией улиц. Иногда, остановившись на безлюдном перекрестке, я ясно слышал гулкое биение Москвы у себя меж висков. А то, бывало, странно: идешь, частя шаги, из переулка в переулок и в момент крутой остановки мысли, оглядевшись, вдруг видишь себя внутри каменного тупикового мешка с малыми, задернутыми занавесками окнами и с кривыми фонарями вдоль тротуаров. Да, не раз с известной радостью примечал я, как линии мысли совпадают с линиями, исчертившими город: поворот на поворот, излом на излом, выгиб на выгиб: с точностью геометрического наложения.

Понемногу я стал втягиваться в эту игру души с пространством: вечерами я любил размеренно шагать вдоль ряда фонарей, оглядываясь на ползущую позади меня тень. Дойдя до фонарного столба, я задерживал на миг шаги и знал, что тут наступит момент, когда тень вдруг, неслышно ступая, обгонит меня и, странно дергаясь, пойдет впереди под углом в 90° ко мне. А то, зевая по сторонам, я следил за правильным нарастанием слева и справа белых по синему цифр: 1—3—5—7... и 2—4—6—8... Ну, я слишком расписался. Так, пожалуй, и две марки не вытянут.

Развернул план Москвы. Сейчас думаю покорпеть над этим круглым, как штемпель, пестрым, расползшимся крашеными леторослями пятном: нет, ему не уползти от меня. Я таки возьму его в железный обвод.

Письмо второе

Вот странность: стоило сунуть раз в желтый ящик письмо, и теперь, куда ни пойдешь, всюду выпятившиеся чуть ли не с каждой стены жестяные коробки. Коробы

раскрыли черные узкие квадратные рты и ждут: еще. Что ж, еще так еще. Кстати, какие несчетные груды слов сливает Москва ежедневно внутрь этих коробов. В восемь утра и в пять перед вечером холщовые ящики со словами, наваленные один поверх другого, трясутся на почтовой телеге, затем Москва бьет по словам штемпелями и бросает их по радиусам врозь: всем — всем — всем. Так и с моей горстью. Пусть.

В первые мои московские дни я чувствовал себя внутри хаотичного кружения слов. Взбесившийся алфавит ползал вокруг меня по афишным столбам, по стенным плакатам, по крашеной жести, торчал из папок газетчиков, терся об уши концами и началами слов. Огромные черные — красные — синие буквы плясали вокруг глаз, дразнили их издали с висящих поперек улицы качаемых ветром холстов. Я шел сначала с притянутыми, затем с устало одергивающимися зрачками, среди сумятицы букв, стараясь глядеть мимо и сквозь: но они, нагло задирая веки, лезли под ресницы еще и еще непрерывным потоком бликов и клякс. К ночи, когда я, щелкнув штепселем, пробовал спрятать глаза под веки, буквенная раздробь, ворошась в глазах, не хотела заснуть и, выползая пестрыми каракулями на белую наволочку, долго еще дергалась у самых глаз, цепляясь за ресницы и не давая им смежиться.

Любопытно, что мои первые московские кошмары с их бесшумно рушащимися на меня домами, с напряженной до смертной истомы спешкой по спутанным улицам, неизменно приводящим снова и снова — все к одному и тому же кривому перекрестку, с тупой тоской глухих и мертвых переулков, то подводящих, близко-близко, к сиянию и гулу большой и людной площади, то вдруг круто поворачивающих назад в молчье и мертвь, — все эти кошмары, повторяю, в сущности, и были моими первыми сонными ощупями Москвы, первыми, пусть

нелепыми и бессознательными, попытками охвата, синтеза.

Примечательно, что выводы моей яви, по существу, не спорили с черной логикой кошмара. Вначале и самая солнечная, самая дневная явь, в «я» вошедшая, оставляла то чувство, какое бывает, когда сойдешь с быстро откружившейся карусели и видишь, как вокруг — деревья, тучи, кирпичи тротуара и люди продолжают плыть и кружить по какой-то кривой. Я часто доверял себя трамваям А, Б и особенно В, кружащему по длинному колеблющемуся радиусу (странное совпадение): мимо меня мчались вывески с убегающими на них буквами, мелькали люди, расшагавшиеся вдоль скользких тротуарных лент, дребезжащие обода телег и пролетов; на окраинных пустынных площадях, мимо разлетевшейся, звонко лязгающей по параллелям рельс буквы «В» проплывали линиялые от дождей, иногда вращающиеся, чаще устало-неподвижные цилиндры каруселей. Оглядываясь на них, я думал: в о т т у т.

Четко памятен мне ободранный афишный столб — где-то, кажется, на Хапиловке, что ли, — слова поверх слов: налипнув грязной и пестрой рванью, они обвисли с железа нелепыми пластами. Я уперся ладонями в полуистлевшие буквы, и карусель слов, ржаво скрипя, сделала пол-оборота. Иногда и я, намучившись до смерти, с обвисшими вялыми веками, шел, не глядя на людей, лишь чувствуя локти, цепляющие о мои локти. Все, что я видел тогда, — движущиеся то тупые, то острые, то под лаком, то под заплатами башмачные носы: шаркая по асфальту, спотыкаясь о выступы развороченных кирпичей, носы методически шли и стучали с таким безразличием и механичностью, что, если б от башмаков до глаз не было пять-шесть футов, а... и, вздернув голову кверху, я с удивлением видел не лица и не глаза, а пестрые скаты кровель, меж кровель голубоватый, цвета

стираного ситцу, воздух — весь в белых облачных пятнах. Однажды я зашел в пивнушу «Фазис», что на Неглинном (и ведь куда забрело слово!): человек, смахнувший гороховую шелуху со столика («Бутылочку?»), глянул мне под поля шляпы так, что я не сразу решился вернуться к зеркалу: а вдруг под полями вместо лица — пустое место.

А то прохожу Высоким мостом, что поперек гнилой Яузы, и вдруг ассоциация: я — узы. Раньше таких у меня не бывало. И знаете отчего? Ведь тут, в городе, ассоциации вообще странны и однообразны: ассоциация по сходству, особенно внутреннему, сутевому, редка и почти неосуществима. Тут в парикмахерских одинаково подстригают усы, магазины платья застегивают всех в приблизительно одинаковые фасоны, книжные витрины продают одинаковые обложки — под пометкой «Последняя новость!». От девяти до десяти утра $\frac{4}{5}$ всего количества глаз запрятаны под одинаковые, до последней опечатки, газетные листы; нет, в городе, тут, если мыслить по ассоциациям сходства, придется все спутать — знакомое с незнакомым, сегодняшнее со вчерашним, затосковать, пожалуй, и спятить.

Здешний человек, *homo urbanus**, существо, ассоциирующее по смежности: самая увязка и стройка города учит людей, в него включенных, строить и связывать речь и мысль так, и только так. Куда ни глянь — в ряд: семиэтажная громада, за ней избенка в три окна, тут же коленчатый причудливый особняк; десять шагов от колонн — и рынок; дальше — загаженный писсуар; еще дальше — белый взлет легкого колокольного шатра; кокошниками отороченные, поднятые в лазурь главки — и опять огромный, навалившийся на церковку, лоснящийся свежей краской огромный домина. Моск-

* Человек городской (*лат.*).

ва — это свалка никак, ни логически, ни перспективно, не связанных строительных ансамблей, домищ, домов и домиков, от подвала по самые кровли набитых никак не связанными учреждениями, квартирами, людьми, живущими врозь, вперебой, мимо друг друга, но разделенных лишь тонкими стенками, подчас фанерой, не доходящей даже до потолка. В Москве люди и то, что около людей, близки друг другу не потому, что близки, а потому, что рядом, тут, по соседству, то есть, говоря языком Джемсов и Бэнов, «по смежности». Тут, в московском круговороте, сходятся, иной раз сдружаются не потому, что сходны, а потому, что бульварные скамьи не одноместны, а сиденья пролеток парные. В восьмистах переулках этого города-путаницы есть Путинковский переулок (не от него ли пошло?), у начала его крохотная, под белой краской, церковь Рождества Богородицы в Путинках (искажение древнего — в паутинках или в путанках). Строена церквушка в три стройки; из трех «рядом» сделана: храм к храму, еще храм и к нему еще. После сотни лет раздумья к третьему храму неожиданно пристроена трапезная.

Ассоциация по смежности строила, еще в XVII веке, сельцо Измайловское (подмосковная); ею же слепо Колмоменское, как лепится птичье гнездовье, без плана, по строительному инстинкту: хоромы к хоромам, без логического связыванья, по принципу элементарной смежности. Древняя «перспектива», сделанная в XVIII веке тогдашним живописцем Зубовым, дающая утраченные звенья старой царской подмосковной, совершенно неожиданна для правильного архитектурного мышления: в воссоздании Измайловского, также и Коломенского, от которых сейчас только разрозненные куски, признак объединяющего сходства совершенно бесполезен и бессилён. И мне думается, что все эти давно изгнившие деревянные срубы, клетки, подклеты, угловатые четверики и восьмерики, громоздившиеся друг на друга, кое-как сцементированные либо просто сколоченные из бревен

и теса, хотя и не умели дать города во всем его массиве и масштабе, как это делало западное зодчество, но сущность города, который извне всегда беспорядочен, соединяет логически несоединимое на одной малой квадратуре, они выражали крепче и безоговорочнее. Все эти Смирные, Петушки, Потаповы, Постники — не имели нужного материала и должной техники, но имели правильное представление о «градостроительстве», умели правильно мыслить город.

Две самых коротких улицы в Москве — Ленивка и Петровские линии. Ленивка — всего три-четыре кое-как, враскос составленных дома — коротка потому, что ей лень быть длиннее. Петровские линии состоялись лишь в виде одной куцей прямой, оказались бессильными и короткими потому, что, несмотря на приказы Петра I о стройке «по линее», «линея» сразу же запуталась в клубке переулков, слепых тупичков, переходов и извилов и далее ста шагов не пошла. Московское переулочье быстро расправилось с «линеей». Оно же, несуразное, противоречивое, ведущее вправо с тем, чтобы тотчас же заставить свернуть влево, спутало и мои мысли в те первые недели московского новоселья, когда я, оттоптав две пары башмачных подметок, не мог все же дотоптаться до элементарнейшей мысли: если я не умею распутать московские узлы, то потому ли это, что они туго связаны, или потому, что пальцы у меня слабоваты? Надо было укрепить пальцы, сделать их хватче и цепче, за это я и принялся методически.

Письмо третье

Когда я ехал в Москву, в моем чемодане под туго затянутыми ремнями лежали: три смены белья, три «Критики» Канта, разрозненный том Соловьева, кой-какой

холостяцкий скарб да около полуфунта рекомендательных писем. Письма были обвязаны шпагатом: сдернув его, я превратился в «подателя сего» и стал бродить от звонка к звонку. На дверях рядом с дверными ручками я обыкновенно прочитывал билетик: такому-то два протяжных и один короткий; этакому-то три коротких, и все. Я звонил, как указывали билетики: и продолжительно, и коротко, с тщанием отсчитывая толчки пальца о кнопку, — и всегда получалось одно и то же: сначала вскрывали конверт и пробежали глазами по тексту, а потом и меня — вскрывали и пробежали. Были взгляды и продолжительные, и короткие, сперва обычно длиннее, потом короче; зрачки щупали меня так, этак, раз, и другой, и третий, раздумчиво шурились — сначала на меня, потом сквозь меня, потом и мимо.

И, слушая мягкий защелк американского замка, я считал, мой друг, шершавые ступеньки лестницы, ведущей книзу, и приискивал метафоры. Образ истертой звонковой кнопки мне быстро надоел. Однажды, проходя по рынку, я заметил нечто более пригодное: люди, теснящиеся меж лотков и рундуков рынка, хорошо знают, что такое сдоба, обыкновенная сдоба, выставленная мальчишкой-продавцом для щупа, то есть на предмет испытания недоверчивым покупателем добротности товара. Груда сдоб лежит, теплая и пухлая, под холстиной в корзине. Но поверх холста всегда одним-одна, выставленная под щупающие пальцы булка: проходящие, торопясь со своими портфелями, саками и мешками на службу и по хозяйству, хватают одинокую сдобу — то коротким и резким давком, то долго и раздумчиво мнут ее в ладонях, — и опять она зябнет поверх холстины, разлученная с себе подобными; золотистая корка на ней, отхрустев, давно уже осыпалась, теплое тело иззябло и все в грубых вдавливах и ямах — от щупа.

И помню, когда очередь дошла до письма с адресом «Зацепский вал, № 14», я почему-то заколебался. Взял шляпу. Положил. Развернул план: поперек длинной шеренги букв: З-а-ц-е-п-а — вдруг ударившее по зрачкам словцо: Щипок. Как будто знакомо. Перелистал: сначала Забелина — нет, не тут, потом Мартынова («Улицы и переулки Москвы»), наконец, Снегирева. Ага, вот оно что: оказывалось, прародителем Щипка был древний московский щупок, длинная жердь с железным крюком у конца, которым можно было перетрогать и перещупать всю кладь, подвозимую к московским заставам. Надо признать, что за два-три столетия москвичам удалось сильно усовершенствовать этот остроумный прибор, сделать его невидимым, в то же время усилив и утончив его действие.

История старой Москвы — это история ее остения.

К XVIII веку, когда все города и городки и у нас, и на Западе, давно уже повалив все стены, убрали их как ненужную ветошь, — Москва все еще прячет свое тучное круглое тело в обводе стен и валов.

Даже к началу XIX века, живя за заставами и сомкнутыми рогатками, — она недоверчиво, с прищуром всматривается сквозь приоткрытые створы ворот — во все, что из «Замосковья», провинции, и медленно-медленно поднимает свои крашенные шлагбаумы перед всеми «оттудными», что из-за стен.

Конечно, все это было: но все ли ушло в «б ы л о»?

Каждый день на шести вокзалах новые и новые поезда сгружают привозных людей: их привозят в зеленых вагонах, а в красных вагонах привозят тес, муку и длинные щелистые ящики с киевскими яйцами.

Яйца, одно за другим, проверяют на свет сквозь хрупкую скорлупу, пользуясь для этого особыми бумаж-

ными трубочками. Людей же... никто и никак не беспокоит, но они все-таки, вначале распрямленные, широко шагающие, громко — по провинциальной привычке — говорящие, как-то быстро блекнут, тихнут, делаются будто прощупанными и иссмотренными: шаг — от дня к дню — короче и тише; руки — плетями книзу; и привозной человек скоро научается ходить по теневой стороне улиц, нервно выдерживаясь из скрещения зрительных осей, прячась от шупа и зацепы.

До вас, мой добрый друг, Москве удалось дотянуться лишь письмами, разрозненными журнальными тетрадями, случайными книгами. Но разве московские штемпеля не всматриваются в вас круглыми, широко раскрытыми иссиня-черными глазами? А книги? Разве вы не чувствуете на себе их ощупывающих строк?

Московская литература сложна, ветвиста и пестра. Но я давно хочу, не дробя слов, одним емким образом (или формулой) охватить весь этот огромный и раздражающий меня бумажный ворох. Но образ что-то не отыскивается.

Пока.

Письмо четвертое

Нашел: Глядея. В заклятии против лихорадок помянуты старец Сисиний и тринадцать сестер-трясавиц. Так вот одна из них — Глядея.

У нас, как у нас. Не Геликоны и не Парнасы, а семью кочками из болот и грязей — древнее московское семихолмье; вместо песен цикад — укусы малярийных комаров; вместо девяти Аонид — тринадцать сестер-трясавиц.

Аониды учат мерно пульсирующему, в метр и ритм вдетому стиху; трясавицы знают, как пролихорадить и порвать строку, всегда у них трясущуюся, нервно роняющую буквы. Заклятия не берут трясавиц. Они живы. И близко: тут. Встречи с ними опасны. Но всего опаснее — с Глядеей. Глядея умеет одно: глядеть и учит только одному: глядеть. У людей глазницы не пусты, но глаза в них то пусты, то полны, то видят, то не видят, то рвут лучи, то позволяют им срастаться снова; то пускают веки в сон, то раскрывают их в явь. У Глядеи голые глаза: век нет — оторваны.

Для других зори затухают и вспыхивают, небо то в лазури, то в звездах, вещи то уходят во тьму, то возвращаются под удар солнечных лучей. Но для Глядеи нет ни роздыха, ни сна, ни ночи: непрерывно, бесперебойно, вечно видение Глядеи. Те, кто стыдятся, стыдись, потупляют веки: безвекой Глядее нечего потуплять.

И потому многие зовут ее бесстыдной. Это правда: трясавица не слишком стыдлива: смотрит ровным, немигающим взглядом — и в проступь лазури, и в дыры отхожих мест; и в стыдное, и в чистое; на гнус и на святость. Но Глядея чиста, потому что знает великую муку в и д е н и я: солнце хлещет ее по голым глазам лучами; блик к блику; образ к образу; без щелей, остановок; но Глядея не просит защиты от солнца и несет без ропота свой великий и тяжкий труд в и д е н и я. Если она, блуждая с обнаженными зрачками по ночным улицам города, не гнушается «Москвой кабацкой», то не потому, что в кабаках и ночных трактирах этой Москвы пьют и любят за деньги, а потому, что там не спят — умеют хранить Глядеев завет бессонниц.

Имажинистов слишком забыли: а ведь, в сущности, они первые умели выдержать взгляд Глядеи. Сейчас школа эта ютится в тесной «Гостинице», но в годы революции эти теоретики Глядеи сумели захватить почти все

книжные витрины и даже лотки Москвы. Видение имажинистов без веко: образами им залепило глаза, забило щели зрачков; их теория «свободного образа» дает свободу только образу, который может делать с беззащитным глазом все, что ему угодно.

Старая формула «Гомер дремлет» означала: образы, как и люди, то открывают, то смежают глаза; межа образами зрительные цезуры; солнце то протягивает наружу, то втягивает в себя свои лучи; краски то дремлют, то просыпаются; линии то бегут, то останавливаются.

Новая формула «образ свободен» говорила: долой зрительные паузы; прочь с жухнувшими красками; пусть солнце станет в зените — и глазу веки напрочь. Имажинистский принцип живет, в сущности, во всех московских школах, двигает образы в строфах и строках всех здешних поэтов и писателей.

Для объяснения московской поэзии мало той «одноглазой» и даже «двуглазой» зоркости, о которой писал И. Лежнев: необходима идея о зоркости безвекой.

В. Маяковский делает вид, что у него веки на месте, будто он сам, по своей привычке пресненского жителя, плят на все глаза, потому что так хочет; но в стихах-вывесках, в поэзии, назойливо повисшей над улицами, навязчиво бьющей прохожих по глазам, не желающей прятаться под переплет, чувствуется какая-то отместка: вот, мол, вам, — помучайтесь-ка, хоть малость, и вы. Я не могу не видеть — не позволю не видеть и вам.

С А. Толстым дело обстоит просто: отсылают к петербуржцу Чуковскому, которому со стороны виднее. «А. Толстой, — пишет Чуковский, — только видит, но не думает».

Акционер треста Д. Е. мистер Вильямс Хардайль смахивает миллионы людей с поверхности Европы, чтобы они не мешали ему ее осмотреть. Не знаю: есть ли что общего у Эренбурга с м-ром Хардайлем, но под гру-

дой его образов, на которые пошла почти вся старая Европа, с трудом отыскивается всего лишь два-три «потому» и не отыскивается ни одного «почему».

Романы Пильняка, которые и сам он иногда называет лишь «материалом», — склад, доверху набитый яркими декорациями, в которых роется — увы! — простой театральный рабочий. Напрасно Б. Пастернак ездит из Москвы в Марбург за Unsichtbar («в невидимое»), короче, за парой пристегивающихся (немецкой фабрикации) век, — для Москвы они мало пригодны.

Москва слишком пестра, слишком велика и слишком метко бьет своими образами, чтобы, живя в ней без век, можно было уберечь хотя одну извилину мозга, хотя бы крохотный уголок внутри черепа от образов, заполняющих стихийно мозг. Оттого внутри московских мышлений такая страшная теснота: все, как на театральном складе, завалено крашеными холстами, — и художнику негде повернуться; образ поверх образа, а сверху еще образ; понятиям места нет: они мыслятся как-то боком, кое-как протискиваясь среди солнечного груза. Бежать от своих глаз ведь некуда. Разве куда глаза глядят.

Глядея посещает не только поэтов: у нее есть постоянный пропуск в Кремль. Это она сообщила Н. Тихонову: «В Кремле никогда не спят». Безвекая трясавица бродит вдоль кремлевских стен, покрытых ночью, как образ вечного бдения; окликает бессонных часовых и глядит в никогда не гаснущие окна Кремлевского дворца.

У Глядеи «большие заслуги перед революцией». Если Макбет, убив короля, стал и «убийцею сна» (логически связано), то революция, лишь покончив со сном, может браться за королей. Восстание масс — это коллективное пробуждение; и если бывает глубокий сон, то может быть и столь глубокое пробуждение, такое полное и длительное включение в явь, такое

заострение нервных систем, когда жизнь превращается в сквозную и напряженную бессонницу.

Люди революции не спят; даже во сне растревоженный мозг их, опутанный в гудение телефонных проводов, в неутрачивающие вибрации нервных волокон, насыщенный и пронизанный бдением, не позволяет сомкнуться векам до конца, живет и мыслит так, как если бы их не было.

Лишь ликвидировав ночь, выключив нетрудовые черные вставки сна, примкнув дни к дням, сделав жизнь длящимся, как бы умноженным во много крат, Октябрем, революция могла успеть сделать то, что сделала. Заслуги Глядеи не должны быть умаляемы.

И если человек с моргающими глазами не понял людей с оторванными веками, тем хуже для него: пусть использует свои веки, чтобы потупить их.

Как-то, месяцев шесть тому назад, сюда, в Москву, приезжал ленинградский, нет, санкт-петербургский литератор; литератор привез с собой из города понятие в город образ в манускрипт. Когда он, окружив себя москвичами, зачитал свой манускрипт, то нам всем казалось (впрочем, «нам» тут не к месту, — я-то не москвич, а так, привозной человек), что по манускрипту заползали блеклые и бесконтурные пятна: никак глазом не взять. Когда чтение кончилось, начался спор: москвичи дружно утверждали, что автор ничего не видит; автор-петербуржец — что москвичи ничего не поняли. На том и разошлись.

Было поздно. Звонясь у парадного, на сороковой минуте я подумал, или нет, пожалуй, увидел: сначала одну строку из поэмы, достаточно известной, потом другую — из древнего московского «Синописа», достаточно вам, вероятно, неизвестного:

1. На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн.

И:

2. «...И сказал Василий Гречин князю: „Было мне видение: на месте сем созиждется град превелик и древлян... и будет имя ему — Москва“».

Письмо пятое

У Монро можно прочесть о Хан Лин Юане. По-китайски это значит «лес карандашей». Так, не помню когда, был назван крохотный поселок в десяток-другой бамбуковых кровель, в котором, волею правительства, были поселены лучшие писатели, поэты и ученые Средней империи.

Популярное в Москве чайное «китайское деревце» доставляется сюда — увы! — в виде искрошенном, внутри цибики и под бандеролями. Но «лес карандашей» у нас есть свой, московской посадки.

Сперва, лет сто тому назад, это было так, реденькое карандашное насажденье: лесок в десяток-другой лакированных, еще тупых у верхушек, карандашей. Но всходы выровнялись, окрепли. У плоских комлей стал чуть-чуть прорезаться и заостряться графит. Карандашики вытянуло в карандаши. Завелась своя, внутри обвода стен, московская литература.

Понемногу вошло в обычай: по воскресеньям ездить в Сокольники, а в досужные, перед сном грядущим, часы совершать культурную прогулку по «лесу карандашей». Но лес, разрастаясь, множа и крепя свои лакированные шестигранные и круглые красные и желтые стволы, стал захватывать все большее и большее бумажное пространство, все большие и большие отрезки времени. И сейчас неизвестно, чем больше гордится исконный москвич: Сокольничьим лесом или «лесом карандашей».

Московская литература — действительно карандашная литература, не от пера, а от ломкого графита. На Западе, да и в том же Петербурге пишут пером, тут — нет.

Перо гибко, но твердо, корректно, отчетливо, любит росчерк и завитушку, склонно к раздумью: то в чернильницу, то на строку. Карандаш пишет сплошь, без отрыва, нервен, неряшлив, любит черновики: нашуршит каракули на каракули, а там с разлету — хрясь, и сломался.

Некий брезгливый иностранец, посетив Москву еще в двадцатые годы прошлого века, потом жаловался: «В Москве я открыл пятую стихию: грязь». Московский глаз овладел четырьмя стихиями: он, выученик Глядеи, видит всю овидь, емлет все, от звезд до пылинок; мир в нем слоится, как земля, течет, как вода, сквозит, как воздух, и испепеляющ, как огонь. Но поверх четырех стихий «пятая» — по меткому слову иностранца, — осевшая серым, грязноватым карандашным налетом, мутной графитной пылью. Видят чисто — пишут грязно: глаз зацепист — пальцы с ростопырью.

У меня под крышечкой пенала почти вся карандашная Москва. Выдвигаю крышку. Содержимое на стол. Вот:

толстый сложноограненный, двухцветный карандаш: уравниен в правах с пером, но... и на оба цвета; может: одним концом — так; другим — этак;

ломкий, но острый графит: для сохранности он у меня под металлическим наконечником;

круглый, под скользким лаком, чернильный карандаш: уравниен в правах с пером, но...;

пачка еще не очиненной карандашной молодежи;

несколько куцых, вконец истершихся о бумагу карандашных огрызков.

Кажется, все. Ну, будет: ссыпаю мою литературу назад: под крышку. Всего вам доброго, мой далекий друг.

Письмо шестое

Лет сто тому назад в центре кривоуголого многоугольника Арбатской площади стоял большой деревянный театр. Под его круглый, повисший над белыми колоннадами купол ежевечерне собирались толпы московских театралов, чтобы поспорить о том, чья игра приятнее: м-ль Жорж или девицы Семеновой.

Театр давно уже сгорел, спорщиков давно на ресорных катафалках развезли по могильным ямам, там, где был помост, легли плоские камни мостовой, и по ним, будто доигрывая какую-то длинную и скучную массовую постановку, все бегут и бегут люди, — и только один странно замешкавшийся зритель все еще медлит покинуть свое бронзовое кресло в амфитеатре. Веки его опущены; если мысленно провести из-под них зрительные оси, они ткнутся об углы острых ног, упершихся в квадрат постамента. Зимой снег бережно ложится чистым, неисписанным листом на колени к зрителю. Но сейчас июльские жары — белая рукопись давно уже стаяла, — и на бронзовых коленных чашечках гиганта дерутся и чирикают воробьи.

Когда начинается летняя истома, даже я устаю кружить по московским бульварам и обжигать себе подошвы о размякший и раскалившийся асфальт. Сейчас шагать по Москве — это значит проталкивать себя сквозь отяжелевший, с порами, забитыми пылью, воздух, — переступать через мелом по тротуарам расчерченные «городки», внутри клеток которых с сосредоточенной серьезностью играют дети; идти мимо весов, ждущих граждан, как означено над весами, «уважающих свое здоровье», и мимо грязных лотков с гнилой шепталой.

Я не мешаю детям строить поперек панели их детские «городки» (пусть не мешают и мне), к шепталу чув-

ствую отвращение, здоровья своего «не уважаю», — а потому, пройдя лишь квартал-два, сажусь на скамью, что против бронзового человека, и, вытянув ноги, учусь у понурой бронзы не смотреть. Иногда, зажав покрепче веки, я подымаю лицо под прямой удар зенитных лучей (на Крым мне не хватает червонцев, объяснять же вернуться друзьям, почему не загорел, долго и скучно); а то, захватив с собой пачку книг со свежими датами, прячу глаза под их обложки. За этот месяц я успел перелистать тысячи страниц, и странное чувство овладевает мной, когда я стараюсь отыскать и отчетчить себе «во имя» всего этого свежего типографского вороха.

«Идеологии», скажем так, всех этих беллетристов-бытовиков, которые сейчас в 90%, — заблудились, почти по-пошехонски, в трех карандашах; темы их пляшут даже не от печки, а от станка, станок же знаком им по энциклопедии Граната.

Все эти претенциозные крашенные обложки делают свое дело так: берут пустоту и одевают ее, ну, хотя бы в кожаную куртку; после того как все пуговицы на пустоте застегнуты, не знают, что дальше. Даже наиболее талантливые, наиболее разгонистые карандаши и те в своих новеллах и романах неизбежно влюбляют чекиста в белогвардейку, белого офицера в революционерку и т. д. и т. д. до ряби в глазах. Повторяю: карандаши острые, глаза цепки; за бытом установлена строжайшая писательская слежка, быт пойман в блики и не столько зафиксирован, сколько арестован, насильно втиснут в строки.

Однако все это по фактуре настолько сложно, так ветвится и ускользает от точного анализа, что я продолжал бы свои читательские опыты и впредь, если бы не один чрезвычайно простой и вместе с тем четкий случай, который вчера круто оборвал мое чтение. Возможно, что надолго.

Дело было перед вечером. Я сидел за бронзовой спиной Гоголя на одной из первых скамей Пречистенского бульвара. Дочитав белый томик Аросева, я поднял глаза: прямо против меня на песке бульвара играла крохотная девочка. Рядом с девочкой, черная и разлапистая, лежала тень от дерева: ползая пухлыми коленками по земле, девочка — не карандашом, нет, куском тупого деревянного тычка пыталась обвести черную кляксу тени. Но к вечеру тень ползает быстро, и не успевала девочка обвести черту от одного ее края до другого, как тень выползала уже дальше, за обвод, тщательно вчерченный в песок. Нянька давно уже тянула ребенка за руку, говоря, что пора кончать. Но и девочка, и, признаюсь уж, я тоже, мы оба так увлеклись, она — ловлей теней, я — своим наблюдальческим, почти читательским занятием, что, когда наконец и ребенок и нянька ушли, я испытал даже некоторое чувство досады.

О, теперь я понимал эту белую книжечку, что лежала у меня меж ладоней: она, да и все они умеют лишь обводить уползающие тени. Только. Но тени в отрыве от вещей, б ы т в отрыве от б ы т и я — бессильны и мнимы. Ведь б ы т — и «я» б ы т и я; своим «я» он не богат. И если уж отрывать от вещи тень, от бытия быт, то незачем останавливаться на полпути; надо, взяв быт, оттяпать ему его тупое «т»: б ы — чистая сослагательность, сочетанность свободных фантазмов, которые так любит А. Грин, — вот первый выход из мира теней в мир прихотливой романтики; б ы т и е, в которое, как слог, как ингредиент, включен б ы т, — вот второй выход из «обитали теней»: он известен, пожалуй, лишь одному Андрею Белому.

Ну, простите за эту, может быть невразумительную алгебру. Пора дописывать. Мои 10,5 кв. арш. раскалились за день. Душно. Пойти бы куда-нибудь. Да некуда. И не к кому.

Письмо седьмое

Сейчас я очень занят: ищу Москву на библиотечных полках. Не обошлось без таинственного ящика учнейшего и добрейшего Петра Николаевича Миллера; ящик этот набит квадратными билетиками: какой билетик ни выдерни, на каждом одно и то же слово — «Москва». Третью неделю сижу в просторном верхнем зале Исторического музея и отряхаю пыль со старых книг о Москве. Спросите: что же я нашел под пылью? Пеплы.

Да, мы на сорока пеплах живем, сорок пеплов топчем.

Я еще не кончил работы, но уже могу утверждать: в кирпич и в камень Москву обрядила копеечная свечка. С упорством, отнюдь не копеечным, она жгла да жгла Москву из года в год, пока та от нее в камень не спряталась. История этих испепеляющих копеек, жалких оплывков, слизывающих с земли весь труд, нагромождаемый сотнями тысяч людей, может быть рассказана в сухих цифрах. Старые приказные акты, еще более древние летописи, позднейшие мемуары и, наконец, совсем новые протоколы Управы благочиния и полиции дают не полную, но достаточно определенную статистику. Вот малая горсть цифр: Всехсвятский пожар в 1389 году; еще до него — в 1354 году; в 1451 году Кремль и посад сожжены почти начисто татарами; череда пожаров: 1442—1475—1481—1486 годы; или к концу XVI века Москва горит: 1572—1591 годы; и, перевалив в XVII век, в 1626—1629—1648—1668 годах; дальше — в 1701—1709—1737—1748—1754 годы и т. д. и т. д. Отмечаю только «всемосковские», снимавшие с земли $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ — даже $\frac{1}{2}$ всех жилых и нежилых строений. Пожарам дают особые имена — Всехсвятский, Большой Троицкий, Малый Троицкий и пр. В течение столетий копеечная свеч-

ка, не унимаясь, делает свое дело: затлеывает пожар где-нибудь в часовенке, у постава иконы, затем ползет по переходам, стропилам, с клетки на клетку, швыряя головешками с кровель на кровли, перемахивает огненными языками через каменные стены Кремля, ползет вверх к шатрам башен и колоколен, роняя на землю колокола, среди разрастающегося гула толп и ударов набата. Затем — остывающий пепел и опять муравьиная спешная стройка на пять-шесть лет. Потому что через пять-шесть лет копеечная свечка опять возьмется за свое.

Свечка заставляет называть углы, урочища, улицы и площади по-своему, по-свечному: Погорелое Болото (место теперешнего Петровского монастыря), Пожар (старое название Красной площади), Пожарище (так иногда в XVII веке называют Китай-город), Огневой переулоч (теперь затерялся среди новых имен), Палиха и т. д.: изъясняется свеча, как видите, довольно однообразно.

Горит все: в 1571 году — опричный дворец, в 1848 году — рукопись «Мертвых душ». Прежние жители Москвы — профессиональные погорельцы: живут от пожара до пожара; строят в угождение не столько себе, сколько все той же копеечной свечке. И оттого самый характер стройки, мало, самый уклад жизни внутри этих домиков-одноденок, рассчитан не на то, чтобы в них можно было жить, а на то, чтобы они беспрепятственно и дотла могли сгореть, чтобы и они, и вещи в них каждый миг, не противясь, могли стать пеплами. Свою стройку, например, в XVI веке жители московского посада так и называют: либо скородомом, либо скородумом. Не стоит долго и трудно придумывать архитектурные формы, не стоит прочно крепить стены и глубоко врыть фундамент: все равно копеечной свечки не переспоришь. «Почти ежегодно, — пишет заезжий иностранец Иоганн Георг Корб (1698), — важнейшие празднества

сопровожаются у московитов пожарами, которые причиняют народу большие бедствия. Случаются они почти всегда ночью и иногда превращают в пепел несколько сот деревянных домов. На последний пожар, уничтоживший на этой стороне Неглинной 600 домов, прибежали было тушить огонь несколько немцев, но их побили, а после бросили в пламя» (с. 57). Впоследствии П. Шереметев, забавлявший гостей в своей подмосковной искусно сделанными и расставленными по саду «нарисованными пожарами», недаром слыл хранителем московских традиций. Даже когда Москва стала понемногу переодеваться из дерева в камень, Екатерина II пишет Вольтеру: «Ни в каком европейском государстве не производятся строения с такой поспешностью, как в России» (разумелась Москва; ч. II. М., 1803, стр. 26). Но иногда бывало так: на пепле строились скородомы; в скородомах скородумно, в чаянии новых бед и вечных новоселий, жили кучно и тревожно люди; но — по той или иной причине — копеечная свечка медлила: пожара ждали, а он не случался. Домики, строенные наскоро в расчете на пять-шесть лет, садились, давали трещины и, покривившись набок, с нетерпением ждали пожара, а он все медлил; и жизнь оказывалась выбитой из колеи, недоуменной и растерянной.

Но так было.

Теперь на месте кривых, под низко нахлобученными тесовыми кровлями изб, — пятью-шестью этажами распрямившись, каменные короба; на месте тесного деревянного гнездовья — широкие, подпертые колоннами потолки и своды. Это — снаружи, но внутри все та же тесная, клетушечная, деревянная Москва; внутри — та же оторопь жизни, то же «скородумье» и потребность новоселий. Старая деревянная Москва жива, только она запряталась под наружную каменную облицовку, под минимальную монументальность и нерушимость. Даже если при-

глядеться к строениям конца XVII, особенно XVIII века, то видишь: камни сомкнуты приемами деревянной стройки: по зодческому замыслу, они — дерево, лишь притворившееся камнем, древняя резь, запрятанная под каменную орнаментацию. А внутри, за широкими квадратами окон, за массивом кирпичных стен, все та же прежняя — от пожара до пожара, от революции до революции, от катастрофы до катастрофы — жизнь.

Всякому человеку, дому, делу, идее, раз они начали жить, хочется и нужно изжить себя до конца, но копеечная свечка не согласна: ей жаждется нового и нового, она спешит строить Москву поверх Москвы. И потому изжить себя до конца здесь никогда, никому и ничему, ни идее, ни человеку, не удавалось. До конца догорала лишь копеечная свечка.

Но все умершее недожитком, до своего срока, и в самой смерти еще как-то ворошится. Отсюда основной парадокс Москвы: ни мертвое здесь до конца не мертво, ни живое здесь полно не живо; потому что как и жить ему среди мириадом смертей, среди чрезвычайно беспокойных покойников, которые хоть и непробудны, но всё как-то ворочаются под своими дерновыми одеялами. Москва — это старая сказка о живой и мертвой воде, рассказанная спутавшим все сказочником: мертвой водой окропило живых, живой — мертвых, и никак им не разобраться — кто жив, кто мертв и кому кого хоронить.

Существует предрассудок: Москва консервативна. Вздор. Разве не поет сейчас древняя, под прозеленью, бронза гимн будущему: «Интернационал»? Да, были вещи, потом были пеплы, да и те стали стылыми. Сейчас почти все, что осталось от недавней, почти вчерашней жизни, — это старые псы, которые по дворам все еще лают, как их прежде учили, на бедно одетых людей: только они одни не могут учесть происшедшего.

Письмо восьмое

Да, мой друг! бурав и магнитная стрелка свидетельствуют: Москва на пустоте. Дома, под домами почва, под почвой подпочва, а под подпочвой — гигантский «земляной пузырь»: круглая пустота, которой хватило бы на три Москвы.

Неделю тому назад меня гнало косым дождем по ломаной линии переулков от Никитской к Тверской. Шел и думал: вот тут, в особняке за акациями, мыслил и умирал Станкевич, а вот тут, на перекрестке, пирожники продавали традиционные в то время «дутики с нетом».

И вдруг я ясно ощутил его: налипший на подошвы, огромный вспучившийся пузырь, круглая пустота, нагло выпятившаяся под нами. Чуть шагнуть не туда, подумать не так — и... Нет. Вздор. Я огляделся: дождь хлестал по осклизлым стенам. В лужах, под рябью от дробных капель, шевелилась опрокинутая крышами вниз Москва. Прохожий с лицом под резиновым капюшоном быстро прошел мимо, толкнув меня вспучившимся из-под макинтоша портфелем.

Я круто повернул домой. И там, с зажатыми глазами, с головой, упершейся в ладони, я еще раз возвратился в мою сказочную Страну нетов.

Помните, мы не раз с вами спорили о том, существует ли эта страна несуществующего. Ведь всякое сегодня чуть-чуть вульгарно; все есть и самодовольно вспучены и вздуты. Мыльный пузырь если и усумнится в Платоновых доказательствах пузырярева бессмертия, то вряд ли его можно будет убедить в том, что все радужно расписанное на его поверхности не лопнет вместе с ним.

Однако мыльный пузырь не прав: если на него дунуть, умрут отражения, но вещи, отразившиеся на стеклом выгибе пузыря, останутся быть, как были.

Мало того, глаз, любовавшийся игрой отражений, после того как они исчезнут, принужден будет искать вещи не на пузырях, а в них.

Я хочу напомнить: лезвие Лахезис не отрезает, а лишь перерезает нить; для поэта, например, имя, название вещи — это и есть вещь, тот реальный материал, каждый звук и призвук в котором для него вещь; самые же «вещи», то, что названо для него так, — блики на пузырях; и только когда вещи-блики исчезнут, выпадут из жизни, имена вещей начинают тосковать о своих вещах — и совершают паломничество в Страну нетов. Да, для того, чтобы начать быть в строках и строфах, надо перестать быть во времени и пространстве: имена говорят лишь о тех, которых нет.

Страна нетов уже давно зовет меня. Я не противился ее обаянию, пробовал уходить от нетов к естям, но сейчас не могу: старые пеплы греют меня. А я иззяб.

Вчера попался в руки «Арбат» Белого; очерк говорит о совсем недавнем, о только-только отсутствовавшем; но когда я, полный еще образов «Арбата», вышел на настоящий Арбат, я сразу же увидел, что отыскать хотя бы бледную проступь отсутствовавшего почти невозможно. Я был раздосадован. В конце концов, у них, у естей, их камень не тверже воска: каких-нибудь тридцать лет, и все перелеплено заново.

Слова, те крепче. Вот, например, вспомнилось: на Маросейке и сейчас есть зажатая меж высоких домов церковка Николая Чудотворца. Церковка очень давней стройки: когда-то, когда вместо кирпича домов вокруг нее росли клены, называлась Никола в Кленниках; но клены срубили (1504) и стали строить по соседству оружейные мастерские для изготовления и проковки клинков, тогда церковь стала называться Никола в Клиниках; и наконец, когда на месте разрушенных оружейных построили блинное заведение, Никола, чуть шевельнув

буквами, стал называть себя Никола в Блинниках. Так имя, крепко сцепив буквы, сквозь пять веков пронесит свой корень, не отдавая ритма (кленники — клинники — блинники) и меняя звук лишь у краезвучья.

Как я люблю эти окраинные шатровые колоколенки, какую-нибудь деревянную церквушку, вроде той, что в Соломенной Сторожке, или трогательную архитектуру Похвалы Богородице, что в Башмачках: все они поодаль, отступя от жизни, уже не существующие, но все еще протягивающие свои резные шатры к пустотам неба. Они умеют все-таки как-то прочнее не существовать, чем все окружающие и теснящие их «существовать».

Мой любимец — это крутоверхий Крутицкий теремок. До него довольно трудно добраться. У Камер-Коллежского вала, среди путаницы Больших и Малых Каменщиков и нескольких Крутицких переулков, на взгорье, в узком тупичке, хрупкий, весь в блеклых узорах изразцов, под старой растрескавшейся поливой, — легко повис над двойной аркой ворот теремок. Слева, на крутой стене, — белые дуги балясин, подпирающих перекрытия переходов, соединявших встарь Крутицкий теремок с пятиглавой церковью Успения.

Я никогда не устану бродить меж плит и крестов Донского, Даниловского и Лазаревского кладбищ, вчитываясь в плесенью затянутые старые слова. На десятках десятин Кускова (подмосковная) меня больше всего волнует старый мраморный постамент (на дорожке, что слева от дома), подписанный: *Venus**. Поверх постамента нет никакой *Venus* — статуя давно, вероятно, разбита, — осталась неотколотой лишь одна мраморная ее ступня с нежным очерком пальцев. Это все, что е с т ь: но я, помню, долго стоял, созерцая то, чего н е т.

* Венера (*лат.*).

Территория Страны нетов день ото дня расширяется: робкие звоны колоколен, изредка вмешивающиеся в лязги и гулы города, напоминают нам о самом несущест в у ю щ е м в стране несуществований: я говорю о Боге. Проходя мимо церквей, я вижу иногда человека, который, оглянувшись по сторонам, робко приподымает картуз и позволяет руке дернуться от лба к плечам и груди: так здороваются с бедными родственниками.

На Тверской, в № 29, где сейчас живет Долидзе, прежде жил Карамзин. Он выдумал «Бедную Лизу», а трамвай № 28 возит желающих к товарной станции Лизино, от которой в нескольких стах шагах и Лизин пруд: здесь она — помните? — погибла.

Я сел в трамвай № 28 и вскоре стоял у черной, зловонной лужи, круглым пятном вдавившейся в свои косые берега. Это и есть Лизин пруд. Пять-шесть деревянных домиков, повернувшись к пруду задом, пакостят прямо в него, заваливая его нечистотами. Я повернул круто спину и пошел: нет-нет, скорей назад, в Страну нетов.

Письмо девятое

Милый друг! Хотел написать вчера — и не мог, да и сейчас никак не собрать слов. Я знал — Москва зацеписта, но чтобы она и меня поймала на крюк, этого, признаться, я не предвидел.

Произошло все вчера, как-то сразу — между двумя и тремя пополудни. Я не раз уж, проходя мимо Ипатьевского переулка, сворачивал в него, чтобы полюбоваться на старую, XVII века, церковь Грузинской Божьей Матери, что в Микитниках: стройный, высокий шатер с чутко настороженными, в каменном окаймлении «слухами»;

приземистое, в сказочной какой-то резьбе крылечко; смелый очерк четверика и причудливая каменная орнаментация стен. Но когда к церкви ни подойти — всегда на замке. И ступени пусты — никого. Я давно уже хотел проникнуть внутрь, так как знал, что там хранятся работы последнего московского изографа Симона Ушакова: акафист Богородице на двенадцати тяблах и икона Богоматери у Древа (1659 и 1668).

Узнав о часе, когда привратник показывает церковь, я спешил к трем в Ипатьевский переулок. Но когда я дошел до Тверской, путь оказался прегражденным. Я и забыл (газеты читаю редко), что в этот день и в этот именно час была назначена одна из политических демонстраций, столь частых у нас в Москве.

Непрерывный поток людей, плечо к плечу, под звуки оркестров, играющих вперебой, перерезал мне дорогу. Приходилось ждать.

Признаться, я был раздосадован. С московскими шествиями я встречался, конечно, не впервые и знал: это надолго. Вынул часы; минутная стрелка ползла с деления на деление: еще опоздаю. Но делать было нечего. Время шло, а толпы прибывали. Я взглянул сначала поверх голов (толпы я не люблю, и топот сотен и тысяч ног меня начал даже раздражать), но и над головами толп была своеобразная яркая и вместе с тем единая жизнь. Сотни и тысячи букв, построившись на полотнищах, шли золотыми шеренгами прямо на меня. Помните, я как-то писал вам о взбесившемся алфавите, о хаосе букв, расплзающихся по московским стенам и афишным цилиндрам. Здесь нечто совершенно иное: это был какой-то чрезвычайно правильный, ритмический п р и б о й букв, торжественная процессия типографских знаков, которые, как бы поняв силу, скрытую в них, шли и шли над толпой, как армия над армией.

Я снизил взгляд и только тогда увидел лица: были и старики, и подростки, но странно — возрасты как будто разные, а из глаз и у тех и у этих общий на всех — молодой, нет, мало, — юный мир. В ушах у меня стучало, я не разбирал слов, почти и не читал золотых по красному лозунгов, но главное я понял. Да, понял.

Тем временем ряды редели, последний оркестр о шести трубах и одном барабане прокричал что-то на своем медном языке — и проход был свободен.

Машинально я пошел туда, куда шел. Но когда старик сторож, звякая ключами, открыл мне церковь Богоматери и навстречу из полутьмы прочертились золотые и охряные лики, я вдруг увидел, что мне уже не нужно этого. Сунув в чьи-то жесткие пальцы монету, я быстро спустился по ступенькам. Тяжелый висячий замок сухо щелкнул за моей спиной.

Да, с этим кончено.

Письмо десятое

Сперва к крестам прибивали гвоздями людей: говорят, среди людей попадались иной раз и боги. Затем, озолотив кровь на крестовинах, кресты подняли на купола. Чтобы увидеть их там, надо было подымать голову. Сначала подымали, потом перестали: некогда. Всем было ясно: металлические плюсы не умели ничего сложить, не знали, как соединить розные жизни в единую жизнь. Любовь как была неорганизованной и кустарной, так и осталась.

И вскоре люди, хоть под манишками у некоторых и прятался крестик, научились жить хоть и по соседству с крестом, но мимо него.

И только когда человека клали под дерн, а имя его — внутри черной рамки, на газетный столбец, имя еще раз встречалось с крестом. Но его уже и не называли крестом — это знают старые наборщики, — просто мертвым знаком. «Мертвый знак» ютился в свои последние предреволюционные годы в одной из квадратных клеточек шрифт-кассы и, как бы стыдясь самого себя, прятал свои черные крохотные крестовины внутрь ладошками сведенных круглых скобок. Так: (†). Затем скобки сомкнулись, и клеточка, что у средней планки шрифт-кассы, опустела: «мертвый знак» умер.

Над Москвой и сейчас еще нависло странное воздушное кладбище: 2000 мертвых знаков, угрюмо скрестивших свои крестовины над городом, живущим или мимо или прочь от них.

В Китай-городе есть ряд чрезвычайно странных храмов: например, Никола Большой Крест или та же Грузинской Божьей Матери; храмы эти строены в два яруса: сверху, в виде огромной каменной шапки, с о б с т в е н н о х р а м, снизу — обыкновенный торговый подвал. Строителю нужен был крепкий и безопасный склад для его товаров, и, чтобы защитить свое добро «от дурна» (как отмечено в актах конца XVII в.), он прикрывал его сверху церковью. Презумпция: богобоязненный вор у богобоязненного строителя подвала-храма не украдет. Таким образом, то, небесное, с удобством было использовано для э т о г о, земного.

Тут мы с вами, мой друг, у очень любопытной проблемы: сознание классифицирует вещи, предстоящие ему, н а т е и э т и, на выключенные из органов чувств и на включенные в восприятие; э т и вещи имманентны жизни, т е — трансценденты; э т и — понятная, хорошо обжитая близь; т е — туманная, недоступная даль.

Если классифицировать самые сознания, то окажется, что они сознают, в зависимости от своего т и п а, как бы в противоположные стороны. Одни сознания

стремятся переставлять вещи из тех в эти; другие — из этих в те. Если носителей сознания, то есть людей того или иного интеллектуального типа, я назову: ищущих претворить то в это — товэтовцами, волящих же превратить это в то — это в товэтовцами, то с номенклатурой будет покончено.

Теперь о Москве: она всегда радела об этом, в ее московские стены включенном, строила только это, лишь сверху, от дурна кое-как прикрыв тем, писала и пишет всегда «про это». Самый московский из московских писателей, живя в Замоскворечье, гордился тем, что он открыл новую страну — Замоскворечье (А. Островский, т. I).

Все москвичи — природные товэтовцы. Толстовцы, придуманные в доме № 21 по Хамовническому переулку, тоже не это в товэтовцы.

Стилосы и перья всех Плутархов обычно облюбовывали это в товэтовцев, героев, имевших силу обменять доступное «это» на недоступное «то».

Но если бы кто-нибудь захотел написать биографию наиболее последовательного товэтовца, ему пришлось бы начать с посещения Семеновского кладбища: там, в третьем отделе пятого разряда, у главной аллеи кладбища может быть отыскана могила: черный горбатый камень, по камню четкими буквами:

При здоровой пище
Делайте движение на чистом воздухе.
Во время отдыха, то есть ночи,
Имейте спальню с открытым окном.
Перестаньте лечиться.
Бросьтесь в объятия природы
И
Будьте здоровы.

Я уважаю все цельное: у черного горбатого камня я снял шляпу.

Письмо одиннадцатое

Недаром духовник царя, старый московский поп Сильвестр, в своем «Домострое» учил, что «жить должно запасливо». Москва свято выполняет этот завет: внутри ее каменной скорлупы все, что ей нужно; ее *orbi** только для *urbi***; даже такие общие схемы, как схемы идеализма и материализма, в московской скорлупе обмосковились, и з т е х стали э т и м и.

Писалось — сказать к примеру — о «школе московского идеализма», но меня сейчас интересует не дом на Моховой, а древний Кремль и посад; не последние, тронутые германизмом философские схемы, а примитивные, времен Калиты и преподобного Сергия, Иоанна IV и Василия «блаженненького», идеализмы и материализмы.

Первоначально в эллипсическом обводе общей Кремлевско-Китайгородской стены все тесное пространство этой перво-Москвы было поделено восточной стеной Кремля как бы на два полуторода: Кремль и посад. В Кремле строились церкви и казармы; в Китай-городе (посаде) — лавки и склады. В Кремле встречались солдаты со священниками; в Китай-городе — купцы с покупателями.

Я утверждаю: идея о бессмертии практически наиболее необходима солдату. Легко отдать эту жизнь можно лишь в обмен на ту. Правда, усложняющемуся и утонченному сознанию идея борьбы за свое, переживающее погибших, дело может заместить идею личного бессмертия. Но для ландскнехта —

* Миру (*лат.*).

** Городу (*лат.*).

человека профессионально продающего жизнь, или для московского стрелца, который должен был умирать за чужое дело, этого недостаточно.

Поэтому рядом с казармой, стена к стене, строится церковь; поэтому русский дореволюционный солдат получает: 75 коп. плюс гарантированное бессмертие.

Недаром империализм, организованная солдатчина, не может без идеалистической идеологии. Так и возник (даю лишь беглую схему) особый кремлевский идеализм.

Но рядом с ним, через стену, из века в век креп тоже особый китайгородский материализм: если солдат был крепок верой в свою неуничтожимость, верой в бессмертие, которое, возникнув как идея, ведет за собой и всю идеалистическую триаду (бессмертие души — свобода воли — Бог), то купец ничего и никак не может без веры в вещь, в те чисто материальные предпосылки, которыми и определяется, сколько он, купец, «стоит». По свидетельству иностранцев — Олеария, Герберштейна и Корба, собственники шестисот—семисот китайгородских лавчонок были прирожденными купцами и маклаками, то есть вещниками, и так знали и умели подать и продать ту или иную вещь, что даже опытнейшим иностранным торговцам трудно было состязаться с ними. Огромные толстостенные склады Китай-города строились не для хранения «феноменов мозга», «призраков», «инобытия духа» (так определяют материю идеалисты), а для самой настоящей матери, на вещи раздробленной. Никто не запирает «феномены мозга» на тяжелые висячие замки с двойным защелком.

Для меня ясно: прилавки китайгородских лавчонок были первыми кафедрами специфического китайгородского материализма.

Письмо двенадцатое (открытка)

Это письмо — последнее. Я только растревожил слова, и теперь они мучают меня. Уже около месяца тому я заметил, что т е м е тесно в почтовых конвертах: она растет под пером, как Москва, вширь, расходящимися ленторослями.

Пришлось прибегнуть к толстым тетрадям: две из них уже битком. Работа берет почти все время и, главное, в с ю в о л ю.

Итак — кончим. Не сердитесь: ведь я всегда был т а к о й.

Письмо тринадцатое

Друг! Ну и удивили же вы меня. Работаю. Внезапно письмо: в а ш почерк, в а ш а подпись, но все остальное до странности н е в а ш е. Вы спокойно уведомляете, что всем моим двенадцати письмам, переписанным вами на машинке, дан н о в ы й а д р е с: затем следует дом и номер одной из московских редакций. Я возмущился до крайности: вы, и вдруг т а к о е.

Надо было спешить. Не медля ни минуты, я отправился в редакцию, чтобы скорее отнять свои письма. Вероятно, я сильно волновался, по крайней мере когда проходил по бульвару, сердце так расстучалось (оно у меня с хворью), что я принужден был присесть на одну из скамей.

Мимо спокойным шагом шли спокойные люди. Детишки деловито рылись в осеннем, почти мерзлом

песке. Возбуждение упало. Мысли переменили галс. Я им доверился.

Вначале мысли сказали: что у тебя, в сущности, отняли? Так, клочки. Настоящее - то там, в тетрадах.

И после, ведь и у них, у редактирующих чужие мысли людей, тоже свой специфический щуп: своего, московского, они в твоих раздерганных строчках все равно не найдут, а до твоих привозных мыслей привозного человека им дела мало: пройдут мимо, как и другие.

А потом мысли добавили: а ведь тебе уж тридцать семь, почти старость. Что ж, можно, если охота, и дальше жить, как жил: молча, со стиснутыми зубами. Можно. Только помни: скоро и стиснуть-то будет нечего.

Потом мысли ушли, я остался один на холодном осеннем бульваре. Вечерело. Я долго сидел так.

И опять о н и: пора, давно пора стать хоть немного москвичом. Тут у всех — слова настезь. Ну и ты. Или — боишься глаз Глядеи?

Я поднялся и медленно пошел: не за письмами, нет, прочь от них, домой.

Сейчас вот пишу вам.

Practica: раз вы затеяли эту авантюру с вашими (или моими — уж не разберусь) письмами, то и кончайте сами. Прошу об одном: снимите даты и имя.

Что ж, может быть, все и к лучшему: слова, если уж оторвались от пера, пусть и идут безродными оторвышами куда хотят — у них своя судьба. И если из Москвы в Москву им надо было попасть, лишь проделав тысячеверстную петлю, то и это не без смысла: и я, и они — мы привозные, провинциальные.

Вот еще вспомнилось: как-то московский старожил проф. Юркевич прогуливался с доцентом философии Соловьевым по московскому переулочью. Старик

профессор, постучав назидательно суковатую тростью о тумбу, сказал:

— Юный друг, не верьте Канту, будто палка есть вещь в себе; нет, палка — вещь для других.

Что ж, может быть, он и прав. И не потащить ли мне завтра же моего Канта на Сухаревку? Как вы думаете: купят?

* * *

Адресат помещаемых выше писем, живя вдалеке от Москвы, просил меня взять на себя труд устроить их в печати.

Сообщая моему корреспонденту адрес редакции, принявшей «Штемпель: Москва» в свой портфель, я, в свою очередь, просил дать хотя бы краткие сведения об авторе писем, о его домосковском «где».

В ответ адресатом дослано лишь тринадцатое, очевидно в заключающее переписку письмо, без всяких комментариев и разъяснений.

Таким образом, вопрос о том, с кем он сам, человек, придумавший довольно странную классификацию людей на товэтовцев и этовтовцев, — с первыми или с последними, — остается, для меня по крайней мере, без ответа.

С. Кржижановский

2000

(К вопросу о переименовании улиц)

I

Новейший план города Москвы похож на рукопись, слова которой разбежались, кто куда, по хаотически перепутавшимся линейкам улиц. Если их все собрать и сосчитать: 2000.

Путешественник Миклухо-Маклай утверждает, что примитивный словарь примитивного языка содержит не более 800—900 имен. Путешественник-чужестранец, который пожелал бы изучить Москву в названиях улиц, переулков и площадей, вскоре бы убедился, что улицы и площади Москвы говорят на двух разных друг другу языках, которые и должны быть отмечены в двух отдельных глоссариях: язык ветхий и новый, от Калиты и от Ленина.

Отправившись бродить по городу, любознательный чужестранец тотчас бы наткнулся на странные сочетания: так, он увидел бы, что прямо на «Советскую площадь» сходят ветхие ступеньки церкви имени святителей Космы и Доминана; не отойдя и сотни шагов от «площади Революции», он очутился бы внутри квадрата «Моисеевской площади», издревле так названной; если бы он захотел посетить воспетый Карамзиным «Симонов монастырь» стройки XIII века, то пусть не ищет входа через главные ворота (они часто бывают закрыты), а войдет через боковые, что с «Ленинской слободки».

И дальше начнется еще страннее: если любопытствующий обозреватель, выбравшись с трудом из сутолоки Смоленского рынка в тихий «Карманицкий переулочок», захочет проверить, правильно ли он прочел белые буквы поверх синего глянца дощечки, прибитой на углу, — и спросит у шустрых мальчат, толкущихся с папиросными лотками и коробками «ирисов» у обочин торгова, «где он», — те ответят: «Карманный переулочок, дяденька. Береги карманы. Г-ы». Когда чужестранец, запутавшись в двух языках, в пель-меле XIX и XX веков, спросит у постового милиционера дорогу, тот вежливо, протянув руку к излому улицы, покрытой сплошь белым по синему — «ул. Кропоткина, ул. Кропоткина, ул. Кропоткина...», — скажет: «Прямо по Пречистенке».

Пречистенка выбросит его на площадь с собором и мраморным постаментом, опростанным от того, что на нем б ы л о, но с доской, обещающей то, что на постаменте будет; а площадь втиснет туриста опять в путаную паутину переулков, и когда тот, несколько недоумевая, дойдет не то по Никитской, не то по имени Герцена улице до несомненно уже Никитских ворот, — то сколько бы он ни искал этих «ворот», они нигде не сыщутся. И прежде чем он, человек чужой в Москве, ищущий лишь осмотреть ее и только, — не научится «осматривать» не только камни, но и слова, поверх камня писанные, он не поймет того единого смысла, который скрыт под двуязычием сложного плана сложного города Москвы.

Слово как материал оказывается гораздо сопротивляемое и крепче, чем кирпич или камень. Легче разломать по кирпичу «Никитские — Арбатские — Покровские ворота», что давно уже и сделано, чем расцепить буквы старому наименованию: в о р о т а. Ни отцы, ни деды наши уже не видали «вяза», что рос некогда у церкви Иоанна Предтечи, но к имени ее и сейчас добавляет-

ся «под вязом». Болото по правую сторону Москворецкого моста, называвшееся еще при татарщине татарским словом «Балчѣх» (что значит «топь, грязь»), уже столетие как высушено, а позднее и застлано бульжником и асфальтом, — а в слове только и изменилось, что одна буква: Балчуг.

Улица «Тишина» (Пресненская часть, недавно упраздненная) и «Тишинские переулки» и сейчас еще, под лязг трамваев и грохот грузовиков, вспоминают о прежней, лишь в именах их не нарушенной тишине.

Речка Неглинная (или Неглинка), уж сто лет тому загнанная под землю в трубы, оставила на поверхности как бы словесное свое русло: Самотека — изгиб с Самотечного бульвара — Трубная улица (от «труб», в которые спрятана река) — Неглинный проезд — Охотный ряд (по Неглинке подвозили дичину) — Неглинная улица (по параллели мшистый берег и сейчас мшится в слове «Моховая») — и, наконец, у впадения в Москву-реку, Лебяжий переулок и Ленивка (здесь был пруд, удерживавший стремительность течения, с черными лебедями, как рассказывает предание, плававшими по его поверхности, и так называемый Ленивый канал, служивший тоже целям замедления и отвода бега воды).

Шесть веков прошло с тех пор, как татарские «арбы» отгиснули своими колеями первый «арбат», с которого (подъезжать к городу, по военным обстоятельствам, им приходилось Крымским бродом, параллельно Крымскому мосту, огибая непроезжие овраги, название одного из которых «Сивцев вражек» до сих пор живо) им открывался *ġabad* (рабат), что означало «вид на город». Такое двойственное наложение имени поверх имени придает названию «Арбат» какую-то особую структурную крепость и убедительность, при всей внешней непонятности слова.

II

Как при постройке наипростейших сооружений требуется точный учет «сопротивления материалов», из которых приходится строить, так и при нанесении новой сетки названий на план города Москвы необходимо, по возможности точно, расчислить длительность и силу сопротивления старых традиционных звуко сочетаний, которые приходится перерабатывать в новые. Для этого необходимо совершенно беспристрастно изучить свойство и особенности стихии названий и, ведя как бы систематическую осаду старых имен именами новыми, уметь выбрать — для удара — наиболее уязвимые и слабые места у противника.

Прежде всего, старые названия московских улиц, при всей их консервативности и застылости, не сохраняют абсолютной неподвижности и меняются как бы с а м о т е к о м, правда, медленно и постепенно, буква за буквой. Толчки в этом процессе, звуковая мутация, довольно редки. И это свойство имен, конечно, может быть использовано.

Прежде всего, название, не меняя ни полубуквы в своем составе, может стремительно течь от смысла к смыслу: так, наименование «Красная площадь», оставаясь извне неизменным на протяжении почти четырех веков, — мыслится в разные эпохи по-разному. В начале (XVI в.), в период опустошительных пожаров, делавших ее к р а с н о й от пламени, она мыслится как некий нетухнувший пожар*; потом в эпоху постепенного застраивания Красной площади лучшими архитектурными созданиями века (кон. XVI и нач. XVII в.), она пред-

* В начале XVI в. Красная площадь так и называется: «Пожар». — *Примеч. автора.*

ставлятся наиболее «красной», то есть красивой, из всех площадей тогдашней Москвы; революция приносит этому имени третий и наиболее глубокий смысл.

То же происходит с исконно московским названием «Красная площадь» (отпадает лишь первый член ряда).

Новое имя, попадая в артикуляцию, всегда естественно и довольно быстро приспосабливается к просторечию и скороговорке: так, трактир XVIII века «Малороссиянка», вместе с прилегающей к нему местностью, меняет свое имя на более удобное для произношения: сначала «Малороссейка», потом «Маросейка». Название улицы в приходе церкви Иокима и Анны скороговорит себя в «Якиманку». Важную роль в изменении названий московских улиц играют законы так называемой народной этимологии — ищущей о с м ы с л е н и я невнятных народному уху слов, — так нынче уничтоженный мост через речку Чечеру (впадающую в Неглинку) из Елоховского превратился в Ехаловский или попросту Ехалов мост. Название улицы, заканчиваемой им, почему-то не подверглось в свое время изменению.

Нынешний Мерзляковский переулок получил свое имя лишь после многовековой борьбы основных его звуков с множеством звуковых наростов. Первоначальное название свое переулок несет от царствования Иоанна IV, когда он именуется в честь князя Черкасского, приобретшего довольно печальную известность (до исторических народных песен включительно) под именем «Мамстрюка Темрюковича» или просто «Мамстрюковича»; затем так называемый «Мамстрюк переулок» к 1744 году известен как «Маструковка», к 1776 году эволюционирует в «Мастрюковскую улицу», затем происходят изменения, объяснимые, частью, стремлением слова ассимилироваться со случайно сходными с ним фа-

миллиями домовладельцев или вообще жителей улицы: «Мастрюковская» последовательно превращается в «Местрикову улицу» (1802) — «Мерлюковский переулок» (1817) и, наконец, в 1821 году в «Мерзляковский».

Вдоль Драчевки (улицы) протянулся участок земли, отведенной некогда под монастырек, самое имя которого ползузатерлось в истории. В XVI веке пожар превратил монастырек в руины: опростанное огнем место стало пустопорожним и заросло «драчием», что по-тогдашнему означало «сорную траву». Позднее на руинах строится Никола в Драчах. Еще спустя время по соседству с Николой возводятся оружейные мастерские, для изготовления так называемых «грачей», то есть бомб (народная метафора: медленный лёт тогдашних снарядов связан, в народном мышлении, с лётom птиц, грачей). Происходит длительная борьба созвучий: в драчах — в грачах. Как-то, проходя мимо ветхого Николы, совершенно заслоненного приросшими к нему кирпичами новой церкви, я остановил старуху, сходявшую с паперти, вопросом: что за церковь?

— Никола в Драчах, — отвечала богомолка.

Я завернул во дворик, чтобы посмотреть архитектуру старого Николы, запрятанного за нового Николу. На вопрос мой, повторенный церковному сторожу, последовало:

— Никола в Грачах.

Итак, двухсотлетняя война Г против Д еще длится.

Стоит чуть тронуть 2000 имен, чтобы понять: имена московских улиц изменяются, но так называемая фонема* в них почти неизменна и крепко защищает свои определяющие звучание имени фонетические элементы.

* Фонема — основные звуковые элементы слова. — *Примеч. автора.*

III

Революция принесла с собою слишком много новых имен и слов; мало того, она освободила и много подспудных, давно известных, но запретных наименований, чтобы атака их, направленная против отряда в 2000 старых, традицией закреплённых имен не возымела успеха. Историк города принужден будет отметить, что новым революционным названиям прежде всего удалось захватить площади. Старые названия отступили в переулки. В данном случае проявлялась единая революционная стратегия: имена действовали как люди. Первыми вошли в словесный обиход москвичи площади: Советская (вместо Скобелевской), Революции, Свердловская и т. д. Затем уже специальная Комиссия по переименованию улиц Москвы стала осторожно выбивать и теснить ветхие названия, вводя новые слова небольшими группами в десять—пятнадцать имен. В этой упорной медлительной борьбе революции против традиции Комиссии приходилось учитывать всю ту сложную систему мелочей, которые определяют ценность старой и внедрение новой буквы.

Прежде всего пришлось бороться с традицией традиций же, противопоставляя, скажем, имени губернатора Чернышева имя философа Станкевича, дом которого в старом Чернышевском переулке имел за собой для кондовых москвичей определенную историческую традицию. Требовалось внимательное изучение родословной имен: так, имя Миусской площади и производные названия, на первый взгляд отзывавшиеся какой-то татарщиной, при исследовании оказываются сращением имени и прозвища «Митька Ус», одного из соратников Степана Разина, казнённого в Москве вместе с атаманом, — вряд ли нуждаются в замене новым слово-

образованием. Постепенно же исчезающие из памяти города названия «Каинова гора» (урочище, что за старым Мытным двором в Китай-городе) не символизирует собой никакого «богоборчества», а просто напоминает о правительственном сыщике XVIII века, известном под кличкой Ваньки Каина: реставрировать это название тоже, конечно, не входит в планы Комиссии.

В работе по переименованию улиц неизбежны, как и во всякой работе, ошибки: так, попытка заменить белые по синему полю, привычные глазу таблички с обозначениями улиц новыми белыми буквами, писанными по красному полю, оказалась неудачной. Пришлось вернуться к старой форме. В слишком большом небрежении находится вкратце изложенный выше закон фонемы. Прежние административные попытки переименования, делавшиеся, например, в XVII веке, замещали, скажем, привычные уху тогдашних горожан названия «Трехсвятские ворота» названием «Всехсвятские ворота», — что вело к быстрой усвояемости новых имен. С другой стороны, Комиссия останавливается, иной раз, в деле переименования на полушаге: так, превратив Большую Никитскую в улицу Герцена, она оставляет за соседствующей с улицей площадью имя «Никитской». Тут нужно: или — или.

Правда, успеху переименования в значительнейшей мере содействует изменение в составе самого населения города. Приезжие и пришлые, составляющие сейчас большинство, не имеют прочных привычек к именам и легко усваивают новые и новые пригоршни названий, которые, понемногу прорастая меж старых, глушащих их, 2000 вековых имен, дают свежие революционные всходы.

Суть политики наименований, конечно, не в учете филологических тонкостей, а в правильности и неизменности общей тенденции: еще в 1658 году была

сделана попытка переименовать традиционное «Чертолье» (от слова «черторой» — овраг) в «Пречистенку». Но старое имя не сдавалось до тех пор, пока не были засыпаны овраги (чертолье), тянувшиеся вдоль переименованной улицы и упрямо напоминавшие о старом.

И наше старое московское, больше — всероссийское чертолье, расползшееся своими пустотами и ямами во все концы, — еще не совсем засыпано и сравнено. Лишь навсегда изменив вещи, можно менять их имена.

1925

Коллекция секунд

1

Бабочек ловят в сачок; вынув из сачка, кропят эфиром; затем — на булавку и, распластав, под стекло.

Секунды ловят в фотографическую камеру; из камеры в ванночку с закрепителем; затем, распластав на картоне, кнопками под стекло витрины.

Что ни год, секунда делается все увертливее и неувловимее. Современные лаборатории психотехники работают над измерением так называемой *д л и т е л ь н о с т и н а с т о я щ е г о*: оказывается, что «настоящее», этот атом времени, не делимый в сознаниях, попав в инструментуру психотехники, членится и меняет свою величину, то плющась, то растягиваясь, как гармоника, в пределах от дробных долей секунды до отрезка времени в три-четыре секунды. Чем стремительнее течет, меняя восприятие на восприятие, поток данного сознания, тем короче его «настоящее».

Можно утверждать: жители городского центра — существа с чрезвычайно коротким *н а с т о я щ и м*.

Замечено: вырождается искусство портрета, медлительная техника которого может охватить лишь замедленное же течение замедленных психик. Мало того: прежняя фотографическая техника, применявшая *в ы д е р ж к у*, не берет или плохо берет лицо современного

горожанина, в течение одной секунды успевающего дать два-три выражения. Наши предки «выходили» и на дагерротипах, мы — зачастую не выходим и на чувствительнейшей пленке.

Наша жизнь кружит роями секунд, вся из мельков и бликов, и пока художник, разложив свои кисти, ищет по тюбикам с красками свою модель, модели уже нет: или ее сменили, или изменилась она сама.

Прохожие большого города, спешащие с портфелями под локтем мимо раскрывающихся и закрывающихся дверей, это люди, бегущие вдогонку за улепетывающими секундами. Даже усовершенствованному аппарату не всегда удастся изловить ловца секунд: он идет нервно, зигзагами, то круто останавливаясь, то переходя почти в бег. Только сквозящие в обгон друг другу изображения кинофильмы поспевают за стремительным и острым темпом лязгающей и грохочущей машины города.

Сейчас на моих девять семнадцать. Мы, я и товарищ фотограф, отправляемся на охоту за секундами. С солнцем благоприятно. Камера заряжена. В нашем распоряжении четыре своих и пятый стеклянный, под черным металлическим веком глаз: моргнет — и снимок; оттуда — по радиусу к беспокойному, расхлопотавшемуся и расшумевшемуся центру столицы.

Задание: зайти со своим аппаратом в тыл уличным аппаратам, защелкивающим в себя раздерганную на миги уличную суетоку; точнее — ловля ловцов секунд.

Пока мой спутник ищет, в три глаза, нужное, и моя пара зрачков не бездействует: я наблюдаю его, работника-профессионала, умеющего ловко и чисто, выхватив из пестрой кучи города тот или иной кадр, обездвигить момент в клише для журнала. Он вскидывает аппарат почти как маузер, быстро берет на прицел и бьет контур и

свет чуть не в лёт. Вспоминаю: съемка экскурсии КИМа: пять-шесть работающих на прессу фотографов бегут раскидистыми петлями, опутывающими линию, по которой шагает группа экскурсантов: аппараты наизготовку; аппаратчики, с соблюдением интервала, так, чтобы разминуться объективами, сухо щелкают то стоя, то с колена по движущейся цели. Отмечаю в блокноте: «...глаза журналов NB». Но пока что с этой темой надо подождать. Передо мной протянулась аллея Новинского бульвара: вдоль нее, чередой, пестро раскрашенные квадратные холсты изготовителей «моментальных фотографий», уличных «пушкарей»: за работу.

2

Каждую весну, раньше чем серое станет зеленым и почки на деревьях бульвара успеют развернуться, «пушкари» подвешивают на крюках и веревках — к голым сучьям — свои холостяные «фоны»: развернувшись своими пестрыми рулонами, они расцветают плоскими, но яркими пальмами и кипарисами, розами и кактусами — обещающая Москве совершенно для нее неосуществимую пышную южную весну.

Тут же, у экзотической фауны, плоскими квадратами штопающей чахлый бульвар, стоят меж луж и щебня трехногие черные ящики, дожидаящиеся съемок.

Сам «пушкарь» помещается тут же поблизости на стуле или на крае ближайшей скамейки: около него корзина с бутылками и бутылочками, полотенце, намотанное на ветку дерева, и самодельная витрина, под стеклом которой — веером — образчики работы. Почитывая газету, он взглядывает, изредка, то на череду прохожих, то на свой холст, раздуваемый ветром, как парус.

В фотографическом ателье фоны всегда без красок: черное и белое. Но бульварная практика требует распестривания фона: как цветам необходимо пестрить свои лепестки, чтобы привлечь к себе мимолетающего жука, так и уличной камере приходится останавливать чистый и спешный шаг идущих мимо людей кричащими красками, а также необычностью декораций, выставленных под их глаза.

Холсты уличных фотографов — это, в сущности, последняя романтика, уцелевшая среди конструктивирующего и деловитого «сегодня». Только здесь еще можно найти какие-то фантастические замки, полуразвалившиеся башни, заросшие мохом и плющом колоннады и пассажи мраморных лестниц. Только здесь еще можно увидеть аляповатые разводы каких-то несуществующих растений, синие тычки гор и круглые пятна заросших прудов с непременно белыми лебедями, качающимися меж тростника.

Романтика этих пейзажей, нелепых вставышей в прозаическую кирпично-асфальтную панораму города, прежде всего притягивает к себе любопытство уличных мальчуганов: простаивают подолгу, раскрыв рты, глазами в пестроту.

Но изредка меж фоном и объективом становится кто-нибудь и повзрослее. Тотчас же «пушкарь» ныряет головой под черное сукно, и аппарат, разминая свои застоявшиеся деревянные ноги, приходит в движение, как паук, почуявший внутри своей сети добычу. Щелкнуть затвором недолго, но прежде чем поймать миг, сложное пятиное существо, ворошащееся под сукном, долго примеривается и изготавливается. Число зрителей немедленно увеличивается, и позирующий прохожий чувствует себя окруженным глазами. Но торопить ловца с секунд нельзя: топором — только блох ловят, мгновенные же, прежде чем его изловить, надо выследить.

Если наблюдать череду лиц, обменивающих свои полтинники на снимки уличных фотографов, то скоро убеждаешься, что наиболее частыми покупателями «моментальных фотографий» оказываются: удостоверенцы и провинциалы.

Первым нужна работа уличной камеры не для них самих, а для их удостоверений и дел: эти обычно подходят быстро, не глядя ни на фон, ни на обступившее кольцо зевак; дождавшись, когда аппарат щелкнет, они начинают торопиться с изготовлением снимка; когда он получен, оригинал, почти и не взглянув на свое плоское изображение, рассеянно сует его в портфель: скорей — под штемпель. И все.

Провинциал, собиратель столичных сувениров, застенчивый, но любопытный, долго шурится на разрисованный квадрат, прежде чем решится довериться тому или иному фону. В этом смысле провинциал разборчив и имеет к фонам свои определенные требования: позируя в Москве, он хочет, чтоб вместе с ним позировала и Москва: «Я и столица».

Именно на провинциала и работают кисти маляров, изготавливающих десятки аляповатых, кривых и приплюснутых «Кремлей», до которых падок, как выяснено практикой, провинциал. Идя вокруг стен настоящего Кремля, бросившего в небо зубцы и шпили своих башен, то здесь, то там натыкаешься на плоский холщовый Кремль, включенный в квадраты уличных фотографов. Мало того, раз или два мне довелось наблюдать, как, приладив свой Кремль-фон на фоне подлинного Кремля, фотограф ставил аппарат так, чтобы настоящий Кремль как-нибудь случайно не включился в кадр.

Впрочем, все приезжие идут на эту приманку: южане, например, проходя мимо родной хаты, изображенной на холсте, не могут не поддаться тяге воспоми-

наний, останавливаются, подходят ближе, еще ближе... а потом аппарат щелк — пожалуйста полтинник.

Иногда холсты бывают двусторонними: с лица дворец, на обороте — хижина. Выбериай.

Однажды, поместившись — дело было на Смоленском бульваре — против такого на обе стороны расписанного холста, я наблюдал сцену: к холсту, выставившемуся бело-красным фантастического стиля дворцом, подошла обтерханная куртка. Долго стояла, уткнувшись всеми своими пуговицами в пышные разводы дворца. Потом кожаные плечи круто повернулись; хозяин рыночного ателье, боясь упустить секунду, ловко и быстро перевернул холст: на смену дворцу квадратный домик в круте тополей. Через минуту аппарат делал свое дело.

3

Я люблю — иной раз — постоять перед витриной с фотографиями: любопытно наблюдать и сравнивать эти коллекции секунд, выключившихся из жизни, остановившихся, как стрелки на испорченных часах. Но механизм часов можно изучить, лишь остановив их ход: именно здесь, под пыльными стеклами какой-нибудь окраинной витрины фотографа — материал быта. У меня повелась даже привычка: при ознакомлении с новым для меня городом — начинать с фотографических витрин. Именно здесь, и только здесь, дана остеология быта, костяки, стереотипы и повторы бытового уклада, житейское клише, переданное при посредстве... клише.

Самый быт в своей сути строится на замещении человека его изображением, подлинности — видимостью. Московские фотографические витрины стали заполняться лишь параллельно заполнению и оп-

лотневанию послереволюционного быта: до того за их битым стеклом были лишь голые доски.

Сейчас это уже поздно доказывать, но мои наблюдения убедили меня в том, что после того, как на смену отщелкавшим свое куркам защелкали фотографические затворы, — первые выставки изображений давали очень большой процент снимков в профиль. О причинах можно лишь гадать. Например: голодно-костистому — глаза да скулы — лицу *en face* невыгоден и почти невозможен: только его и видно, что «в профиль». Но понемногу налипающие узкими лицами на плоскости планок люди получают возможность поворачивать свои — от года к году — круглящиеся «*en faces*»-ы навстречу объективу: теперь их уже видно. Плоская тень, ничего кроме профиля не имеющая, начинает оплотнеть и нагуливать себе «фас». На бульварах рядом с первыми робко развернувшимися холстами ставят механические в е с ы: люди заинтересовываются своим весом, над скулами у них вырастают щеки, теперь уже поворачивающиеся сначала на три четверти, осмелев — круглым подсолнухом — прямо навстречу свету и глазу: стеклянному, живому — все равно.

Пока быт наш в своих новообразованиях еще не сладился и стеклянные витрины столичных фотографий глядят как-то врозь. Ателье на Петровке — показывает одно; «Художественные фотографии» на Хапиловке и в Дорогомилловской — другое. В одних витринах — дамы с шлейфами, обмотанными вокруг щиколоток; в других — рабочие в косоворотках; в третьих — актеры, рядящиеся в любое. Пестро. Часто под одним стеклом и лбы писателей и общественников — и голые спины балерин. Впрочем, смотрите сами. Вот.

Так или иначе, собранное множество фотографических камер ждет своей сортировки и правильно при-

мененного к нему индуктивного метода. И было бы ошибкой с моей стороны форсировать выводы, погрешить тем, что формальной логикой называется «поспешность индукции» (Дж. Милль).

Но одно и сейчас можно утверждать, не рискуя ошибиться: нельзя коллекциям секунд, зафиксировавшим в себе элементы старого и нового быта, отдавать только... секунды. Материал этот требует длительного и пристального рассмотрения.

1925

МОСКОВСКИЕ ВЫВЕСКИ

1

Москва широка, а тротуары ее узки, оттого Москве и тесно: локти цепляют о локти; портфели тычутся в кули и корзины. Но заполненные тротуары обычно молчаливы. Шумит и грохочет бульжная мостовая, а на пешеходных обочинах тесно, но тихо: слова защелкнуты внутрь портфелей, сложены вчетверо в газетном киоске, запрятаны под картузы и шапки. Но если поднять глаза на 30 градусов вверх, слова тотчас отыщутся.

На писанных красками по железу вывесках вывешено будничное мышление, слова каждого дня, обыденное речие, то самое, что запрятано под двойную крышку, черепа и шапки вниз, в людях, молча спешащих по своим делам:

«ВСЁ ДЛЯ РЕБЕНКА» (там, внизу, для многих тоже);

«УХОД ЗА ДОМОМ»;

«ПАРИКМАХЕРСКАЯ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ХОРОШЕЙ РАБОТЫ» (взгляд на 30 градусов книзу тотчас отыщет и самих любителей, их от дня к дню все больше и больше).

Пивные: «ВСТРЕЧА СОБЕСЕДНИКОВ» — «АВАНС» — «DEUX AMIS»* — «СТУДИЯ» (Смоленский рынок) — «ФАЗИС» — «ПЛАНЕТА».

* «Двое друзей» (*фр.*).

Дальше мысли ходить незачем. Над спешащими людьми крулятся нарисованные циферблаты со стрелками, зажившими минуту, и внизу зафиксированная в мозгу минута гонит прохожего вдоль тротуарных лент. Роясь глазами в своеобразном лексиконе, обвисшем своими железными страницами над движением улиц, вам не удастся увернуться от пристального, остановившегося взгляда гигантских нарисованных зрачков, запрятанных под синие стеклянные овалы вывески оптического магазина. И если, высвободив себя из толчков, отойти на мостовую, чтобы длительнее и внимательнее изучить глаза, оторванные от человека и поднятые в воздух, то вскоре убедишься, что выражение их общегородское, такое, которое может быть отыскано под полями любой шляпы.

2

Революция слишком участила темп Москвы, чтобы слова и изображения на вывесочных плоскостях могли угнаться за тем, что происходит на огромной горизонтальной площади города с охватом в 35 верст. Вывеска, самая техника изготовления которой, высокая цена материалов и работы, создающих ее, трудность, сопряженная с необходимостью переписать ее (тут имеет значение и состояние погоды), снять для капитальной переработки или замены новой металлической рамой (учитывается и тяжесть), — естественно, отстает от быстрого течения времени и делается в расчете, конечно, не на историю, а на быт, такой же медлительный, малоподвижный и прочный по материалу, как и она.

Историю обслуживает обычно плакат: нервный, с тонкой бумажной кожей, легко множющийся, меня-

ющий от дня к дню цвета, шрифты и величину. Период революционного лозунга, стремящегося как бы плакатироваться, умеющего доводить величину своих букв и яркость окраски почти до величины и яркости вывесочных текстов, безусловно, оказал влияние и на новую, нэповского периода, вывеску Москвы. Плакат научил рядом с громоздкими, на тяжелых рамах, часто литыми из металла словами, и по сию пору хранящими внутри себя старые «яти» и *ѣ*, — подвешивать в воздух легкие, полуплакатного типа буквы, поднимать их, если нужно, на высоту крыш и поперек всей уличной щели оттиснутыми на огромных полотняных лентах. Только недавно появились своего рода «коммерческие афиши», зазывающие в магазины с цилиндрических вертушек, рядом с афишами театра. Даже революция, отдавая свои чисто технические слова и словосочетания железу вывесочных листов, лишь пополняет в том огромном, открытом всегда и для всех музее, каким является сплетение московских улиц, коллекцию анахронизмов. Таковы:

«СОВЕТСКАЯ ВОДОГРЕЙНЯ № 1» (Хитров рынок) или «ПРОДАЖА ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН» — обычная в двадцать первом — двадцать втором годах надпись, еще и по сию пору сохранившаяся, правда лишь в немногих местах.

По учению Эйнштейна, массе может быть придана скорость, возрастающая за счет самой массы до полного уничтожения таковой. Ускорение, приданное революцией быту, уничтожило самый быт. Слова перестали висеть на неподвижных вывесочных поверхностях над улицами, а задвигались вдоль улиц. Люди, молча шагавшие вдоль тротуаров, вдруг заговорили и вышли за тротуарную черту; вывески, говорившие за людей, вдруг замолчали и отошли за черту, во вчера.

Проезжая в середине семнадцатого года через один захолустный южный городок, я видел, как к аккуратным

золотым буквам «КАФЕ МАКС» прикаракулилось сползающими вниз, мелом писанными буквами странное «ИМАЛИСТ» («МАКС — ИМАЛИСТ»).

«Ималист» стал сползать трусливыми мелкобуквенными каракулями с деревянных досочек на куски спрятанной в подворотне и внутри подъездов жести, ютился чернильными разводами на крохотных и диктовых листиках, создавая особый стиль нелегальной вывески, одновременно и зазывающей, и прячущей свой товар. Еще в двадцать первом году, идя вдоль длинного изгиба Долгого переулка, можно было видеть записочки, предлагающие «окрашивать вещи в черный цвет». Имен под записками не было. Адреса часто путаны и смутны. Когда, после периода военного коммунизма, на смену старой экономической практике пришла новая — и товары, и вещи, и сама жизнь стали возвращаться под свои вывески, — то между вывесками и вещами сразу же обнаружился некий разлад: под надписью «ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ» стояли, носками врозь, сапоги и туфли; в Николо-Щиповских переулках под огромными, накрепко вросшими в стену буквами «ДОМ ДЕШЕВЫХ КВАРТИР» был устроен арестный дом.

Новый быт, возникая малыми проступями, от дня к дню креп и начинал и здесь, на вывесочном поле, свою упорную борьбу со старым бытом. Старый быт упрямо вылезал из вырытых для него могильных ям и никак не хотел лечь под лопату. На синих прямоугольниках внутри унылого, как крик болотной птицы, созвучия «КУБУ» завелось «Б», робкая вначале монограмма б ы т а. Сквозь грязные еще, штопаные фанерой стекла парикмахерских уже выставились белые квадратики: «ХОЛЯ НОГТЕЙ» и «ГОФРА ВОЛОС», а на одной из витрин, по Кузнецкому переулку, мягкими, опрятно-белыми знаками возникло:

«КАФЕ (У ю т)».

Мягкие гнутости скобок пробовали незаметно и ласково сомкнуться.

За окнами магазинов продавались абажуры для ламп, презервативы «Изида», волосяные матрацы и кабинеты из мореного дуба. Но прорываемый то тут, то там фронт нового быта выравнивался опять и продолжал борьбу. Повсюду, и на вывесочных поверхностях — тоже. По обе стороны воротной арки, вводящей в ветхий Златоустинский монастырь, вгнездились раньше торговавшие образками и свечами две маленьких часовеньки. Сейчас влево от ворот еще старая надпись «ЧАСОВНЯ»; вправо — новая: «МОЛОКО И ЯЙЦА». В двадцать первом — двадцать втором годах на короткой улочке, обозначенной табличками: «Ленивка» — «Ленивка», — оппозиционно выставились две вывески: «КООПЕРАТИВ „МУРАВЕЙНИК“» и тут же (на углу Лебяжьего) — «КОНДИТЕРСКАЯ „ТРУД“». Историю нищего, «голового» года, когда не только людям, но даже и буквам было трудно и тесно, можно прочесть и сейчас на окраинной, у конца Бутырской улицы подвешенной, вывеске: когда-то тут, очевидно, продавали прессованное сено; потом зеленым прессованным кубам пришлось потесниться и дать место дешевым некрашеным гробам; то же и на вывеске: справа — оттиснутая к краю, стеснившая буквы «ПРОДАЖА СЕНА»; слева — примостившиеся пятью черными знаками «ГРОБЫ».

На втором году нэпа по витринным стеклам, множась с каждым часом, запоблзали гигантские нарочито красные раки; ползли они с чрезвычайно услужливым изгибом чешуи, с клешнями, зловецке торчащими из-под рукавов элегантных лакейных фраков. Борьба вчера с завтра, назад с вперед, гнили и нови сложилась и обострялась. Над городом то здесь, то там возникали одетые в новые знаки новые имена. Новая вывеска, как уже отмечалось выше, как-то легче и лаконичнее старой. Самая возможность заменить слова их на-

чальными буквами значительно сокращает носящую буквы поверхность. Слова, сделанные монограммически, например, ГДУВВ — НОГТИ — ЦИТ и т. д., будучи лишь сочленениями звуков, легко и расчлняемы, например, знаками звезды или серпа, скрещенного с молотом, на две (или более) буквенные группы: это значительно расширяет возможность графической композиции вывесочных слов.

Легко заметить, что новый быт предпочитает вертикали горизонталям: слепленные из алых лампочек буквы «МОССЕЛЬПРОМ», протянутые вдоль ребер дома, недавно достроенного у стыка Калашного с Малым Кисловским переулком, наиболее полно и четко выражают эту тенденцию.

Быт, старый ли, новый ли, всегда есть огромная сложность, напутанность узлов на узлы, и мне потребовалось бы слишком много места хотя бы даже на то, чтобы дать простое перечисление тех или иных знаков быта, так или иначе отметившихся на железных вывесочных листах.

Так, в окраинных пивных и чайных так называемая фрамуга, то есть расчлененная деревянными рамками на ряд квадратов верхняя полоса окна, обыкновенно используется для вывесочной надписи: внутри каждого квадрата уместается по букве; таким образом, число стеклянных квадратов определяет длину слова. В четырехклетье можно вписать: **ПИВО**; в трехклетье: **ЧАЙ**.

Но стекла, как известно, в пивных лавках наименее долговечны. Понемногу стекольщикам приходится восстанавливать то тот, то этот квадрат внутри клеток фрамуги. Но звать маляра, вывесочного живописца, ради одной битой буквы не стоит, и внимательному глазу, если только систематически посещать окраины, открывается своеобразный процесс постепенного обезбуквления слов, вписанных в фрамуги: «ЧАЙ» вдруг превращается в «АЙ»; «ПИВО» в «ПВО» а там и в «ВО».

В случайных на первый взгляд сочетаниях тех или иных крашенных железных листов при долгом их наблюдении замечается особливая закономерность, какой-то смутно проявленный закон повтора: так, за описанным выше сочетанием образов сена и гроба — кóрма и смерти — незачем идти в дальний конец Бутырской: гораздо ближе, на Красной Пресне, может быть отыскан «повтор» — узкая красная дверь меж двух примкнутых друг к другу вывесок.

От порога налево:

«ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГРОБОВ»,

направо:

«СТОЛОВАЯ „ВЕНЕРА“».

Рассеянным лучше не ходить.

Для меня есть что-то притягивающее в нарисованных над меховыми магазинами и витринами портняжных мастерских лицах и фигурах специфически вывесочных людей: тела их как-то беспомощно вдеты внутрь мехов и клешей; им нельзя пошевелиться, не нарушив симметрии аккуратно проглаженных складок; зрительным осям их четко обведенных глаз никогда не дано пересечься: параллелями они уходят в бесконечность; и не оттого ли их мелово-белые лица всегда недоуменны и чуть испуганны.

Еще в довоенное время мне пришлось быть свидетелем курьезного факта: в крайнюю фотографию вошел смущенный малорослый солдатик и вынул из-за обшлага шинели пачку снятых с него карточек.

— Как так? У меня на погонах 132. А вот тут, — солдат ткнул пальцем в фотографию, — вышло 133. Непорядок.

Из путанных и смущенных объяснений я уяснил лишь одно: дешевая крайняя фотография, снимавшаяся массами, в дни воскресных отпусков, солдат, имела на

них всех одно готовое туловище-клише, к которому защелки аппарата приставляли лишь головы. Так получалось дешевле. Придирчивых заказчиков, мнительно всматривающихся в почти невидимые и смутные цифры поверх погон, вероятно, было немного. Несомненно, фотографу удалось открыть основной принцип быта: все индивидуальное, различающее «я» от «я», в практике и догме быта лишь приставляется и примысливается к готовым, общим на всех, стылым формам: либо под обруч, либо на колодку. И вывески — в огромном их большинстве, — усвоившие э т о т пафос быта, умеют гораздо вернее кистями своих маляров, чем искусство кистями художников, взять в крепкий и верный обвод о с н о в н о е быта. Холсты, повешенные вдоль никогда не закрывающихся уличных коридоров, довольствуются б ы т о м.

3

Чисто практическое задание вывески, выставившейся своими знаками и буквами, — так или иначе в з я т ь улицу, вогнуть в дверь, над которой она повешена, возможно больше платежеспособных прохожих.

Вывеска ищет максимума глаз в минимум времени. Для этого ей нужно предельно растянуть радиус своего зрительного воздействия и выиграть время, то есть возможно скорее включиться в сознания, как бы пройти в мозг прохожих раньше, чем прохожие пройдут.

Поэтому в целях захвата пространства буквы поверх жести гигантизируются и одеваются в чрезвычай-но яркие, подчас слепящие цвета. Фоны под буквы подостланы почти всегда по закону контраста: черные под золотым, синие под белым, белые под красным.

Так как глаза движутся вдоль улиц, то буквы и изображения вывески выгоднее ставить по перпендикулярам к движению: так они действуют на расстояние гораздо больше, чем те, которые привешены параллельно движению (исключение — вывески на вагонах трамвая: потому что они и сами движутся). Но громоздкая и неподвижная по своему существу (как и быт) вывеска боится отрыва от стен, и только относительно легкие и малые жестяные циферблаты часовщиков да синие овалы, привешенные над витринами оптиков, создают особую традицию вывесок-запруд, перегораживающих дорогу линиям зрения, протягивающимся из зрачков прохожих вдоль линии улиц.

Ища своего максимума глаз, вывеска в стране, где семьдесят процентов населения неграмотно, не может ограничиться одними буквами: рядом со словами на ней почти всегда даны и изображения. Но на относительно малой поверхности вывески, которая стремится гигантизировать свои знаки, а сама и справа и слева окружена жестяными прямоугольниками, — и изображению и буквам всегда тесно: они стремятся как бы войти друг в друга и дать то, что принято называть идеограмма. Думаю, что иные иероглифические знаки египтян, которые были одновременно и словами и изображениями, и сейчас были бы уместны на любой московской вывеске. Мне довелось видеть (сейчас уничтожено) одну окраинную вывеску, кратко дающую лишь девять букв фамилии владельца: «ГРИГОРЬЕВ». Но на букву «Г», как на колодку, поставленную пяткой кверху, был натянут черный, тесно облежавший букву сапог. Комментариев не требовалось.

Маленькая вывеска слесарной мастерской в Долгоруковском переулке, использовав то обстоятельство, что щипцы, если им развести концы, превращаются в X, а обыкновенный молоток, поставленный стоймя, если

ему менять форму наударника, делается схож то с Т, то с Г, — сумела разом дать и свое название, и изображение своей инструментуры.

От года к году движение, несущее людей мимо вывесочных знаков, все более и более ускоряет свои темпы. Глаза, провозимые прежде мимо них на медлительном «извозце», сейчас быстро мчатся в автомобилях и трамваях. Длинные и сложные слова, как бы четко и ярко ни давала их вывеска, могут попросту не успеть попасть в восприятие. Это приводит к лаконизации вывесочных текстов и к замещению буквы изображением. Золотой сапог, данный глазу, выигрывает около $\frac{1}{3}$ секунды у слова «сапог». При теперешних механических скоростях улицы это имеет огромное значение.

Но если знакам вывески и удалось так или иначе задеть глаз, мало того, войти в восприятие человека, то для того, чтобы превратить этого человека, увозимого дальше кружением колес, в покупателя, знаками необходимо захватить не только восприятие, но и память, которая бы после заставила вернуться именно к этой двери под этой вывеской. Первый же поворот улицы или перекрестка отрывает глаза от зрительного воздействия одних вывесок и дает железные вороха других. Лишь мнемонически верно сработанная вывеска умеет выдержать борьбу с конкурирующими вывесками; все же мнемонически неверно рассчитанные зрительные воздействия зазывающих букв и знаков, как бы крикливы и пестры они ни были, даже протиснувшись в зрачки прохожему, обычно тут же из них вываливаются.

Начну с элементарного: у мелкого окраинного торговца, пишущего от руки — углем — огромными каракулями по дикту: «пРодаЖаугЛя», — может быть, и есть полубессознательный расчет на двойную ассоциацию (материал — форма). А если и нет, то, во всяком случае, ассоциация работает на него, пишущего «уголь» углем же, вдвойне.

Или помощь совпадений — вывеска на Никитском бульваре:

**«МАСТЕРСКАЯ ОБУВИ
Н. ОБУВАЛОВА».**

Менее четкий случай: «БРАТЯ КУЗИНЫ». Ударение во втором слове, при случайном смещении его на второй слог, дает мнемонически выгодное сращение слов по контрасту. Но вывеска не рассчитывает, конечно, на случай и курьез совпадений, а стремится с а м а создавать их. Но вопрос о том, что я называют стилистикой вывески, я предполагаю разработать в другой статье. Помяну лишь вскользь о приемах особой л и р и к и п о ж е л е з у, к которой толкает, очевидно, желание так или иначе войти в память прохожему.

На Арбате:

**«ПАРИКМАХЕРСКАЯ.
В ожидании Вас посетить Нас»;**

В замоскворецком переулке:

**«ПОЧИНКА ЧАСОВ:
Мастерам не доверяю,
делаю все сам».**

Давняя традиция, заставляющая и сейчас писать вывески над пивными и трактирами в два цвета — зеленый и желтый (иногда с соединяющими их цветовыми полутонами), — закреплена, по всей вероятности, ассоциативно: желто-зеленые буквы зовут к желтому пиву в зеленых бутылках. Признаки связываются, так что представление о вывеске вызывает представление о питье, *quod erat demonstrandum**. Приемы.

* Что и требовалось доказать (*лат.*).

Приемы мнемонического внедрения конкурирующих друг с другом и поперебой зазывающих изображений и слов неперечислимы. Выделяю один из наиболее практикуемых приемов — прием изобразительной гиперболы. Вывеска, изображающая с в о й предмет, если и дает его в соединении с другими, тесно с ним связанными (сочиненными или соподчиненными вещами), то всегда на условии выделения и разрастания с в о е г о предмета-части за счет других частей. Продавец сандалий, пользуясь простыми ассоциациями, увеличивает на своей вывеске сандалию до размера лодки; продавцы товара, закупоренного в бутылках, имеют определенную тенденцию пририсовывать к бутылкам, в рост к ним, человечков-гномов, отчего размеры стеклянных вместилищ — силою фантазии — сказочно и заманчиво гиперболизируются.

4

Одна из мелких арбатских вывесок начинается словом: «ЗАПОМНИТЕ...». Вывеска, поскольку она хочет закрепиться в памяти, необходимо должна быть в ы р а з и т е л ь н а. Выразительность же достигается — наиболее просто и легко — введением элементов художества. И действительно: достаточно беглого ознакомления с непрерывными шеренгами уличных вывесок, чтобы убедиться, что им не чужда известная х у д о ж е с т в е н н а я т р а д и ц и я. Применение чрезвычайно выразительных и четких шрифтов, точность контраста меж буквой и фоном (или вывесочным полем), уверенная и изящная композиция, умение рассекать поверхность, скажем, нарисованного циферблата черными линиями стрелок, своеобразное искусство вывесочного орнамента, пере-

ходящее, например, в орнаментальном сочетании семи золотых и серебряных самоваров, ритмически расположенных вдоль железной ленты, протянутой над входом в мастерскую Сушкина (Смоленская ул.), — в подлинное мастерство, — все это свидетельствует, что московские вывески являются продуктом чрезвычайно сложной техники, постепенно, от десятилетия к десятилетию, объединявшей маляра и художника, ремесло и искусство.

Настоящая статья ставит лишь основные проблемы (если не бояться этого, может быть, слишком серьезного для темы термина) художественного построения вывески.

Вот они: а) проблема пространства, б) вывесочного орнамента, в) nature-morte'a, г) жанра и пейзажа, д) проблема парикмахерского портрета и е) вывесочной символики.

А) Пространство большинства вывесок двумерно, бесперспективно. Для иных из них, как, например, для железного квадрата, изобразившего часовой циферблат в наклоне так, что цифры его, уменьшаясь по двум направлениям — и от глаза, и к глазу, — дают подобие двойной перспективы (Арбат), пространство является не более как композиционным приемом.

Но поскольку вывеска переступает из двухмерности в трехмерность, она не уводит свои буквы и знаки от глаза, а ведет их навстречу глазу. Если холст картины как бы продавливает свое пространство внутрь, то вывесочная жесть вывешивается своим пространством наружу, стремясь как бы вклинить его в пространство улицы. Буквы на вывесках никогда не бывают вдавленными, но почти всегда выпуклятся наружу, золотыми и черными обводами, в улицу. Кренделя, проступающие сначала горельефами из черного фона над витринами булочных, затем, как бы протолкнувшись наружу, повисают золотыми восьмерками на железных стержнях, вы-

перших наружу из вывески. И если огромные буквы, окончательно оторвавшись от жести, покатыя на колесах или заколышутся на людей-вывесок (так называемые сэндвичи), окончательно включившись в втягивающее их уличное пространство, это никого не может удивить. Потому что перспектива надвитринных картин вывернута наизнанку: не вовнутрь, а вовне.

Б) Малая площадь вывески, зажатой обыкновенно меж других конкурирующих с ней уличных текстов и изображений, понуждает к предельной экономии и точному расчету своих зрительных воздействий. И несмотря на это, вывеска часто позволяет себе ритмическое повторение своих знаков и изображений, то есть так называемый орнамент. Сушкинские самовары (см. выше), ряд тождественных белых циферблатов, протянувшихся по вертикали вдоль входа в часовой магазин, что у верхнего конца Петровки, и множество других вывесок могут подтвердить это. Чисто коммерческая разгадка в ы г о д н о с т и орнамента для вывески заключается в том, что орнамент, ритмически повторив какой-нибудь предмет, включенный в него (как мотив), дает ощущение почти неисчерпаемого количества этого предмета. Таким образом, чисто художественный повтор, создающий представление бесконечной череды, множасьего вдоль бега орнамента того или иного изображения, точно совпадает с потребностью торговца создать впечатление неисчерпаемого запаса тех предметов, которые показаны с вывески.

Преследуя это задание, маляр и торговец придумывают особую разновидность вывесочного орнамента, которую можно назвать растущим орнаментом или градуированным повтором: так, у скобяных лавок часто висят изображения кастрюль, одинаковых по форме, но различных по величине, которые, будучи вдеты одна в другую, ручками врозь, образуют своеобразную живо-

писную прогрессию; то же самое кисть живописца вывесок проделывает и с традиционными циферблатами, белые круги которых, все укорачивая и укорачивая свой радиус, протягиваются, громоздясь друг на друга, по вертикали кверху.

В данном случае помимо эффекта множества достигнут и эффект многообразия фабрикатов, показываемых с вывески.

Пристальное изучение московских вывесок показывает, что прием построения орнамента вдоль узких и длинных вывесочных полей является одним из наиболее старых и технически закреплённых приемов вывесочного мастерства.

В) Nature-morte'ы, висящие над зелеными и мясными лавками Москвы, писанные по стеклу витрин пивных, взятые в золотые обводы вывесочных медальонов у входа в булочные, если проходить мимо них после дождя, смывшего пыль и грязь с вывесочной жести, кажутся как-то особенно яркие и сильны своим колоритом и зачастую пусть наивным, но убедительным расчленением художественного целого. Ярко-алая морковь и тонкохвостый редис смело сочетаются с зеленью из листьев, взятых в тоне яри медянки. Ватно-белая пена поверх стеклистых контуров пивной кружки кружит фантастическими спиральями, почти как дым, поверх черного фона nature-morte'a. Многие из этих изображений обладают чрезвычайной выразительностью: так, nature-morte, сделанный братьями Терпиловыми у входа в столовую, что в Водопьяновом переулке, может выдержать сравнение с иными работами, писанными не по железу, а по холсту.

Если А. Шопенгауэр, говоря о nature-morte'ах голландской школы, приходит к выводу, что изображение съестного должно быть сделано так, чтобы, вызывая эстетическое созерцание, никак и никогда не действовало

на а п п е т и т созерцателя, то надо признать, что создатели вывесочного московского nature-morte'a, очевидно, круто расходятся с немецким метафизиком в своих взглядах на искусство: лучшие их достижения в этом роде творчества умеют затронуть и созерцание, и аппетит.

Г) Среди города, наглухо одетого в камень и асфальт, редкими и слабыми прорывами в природу, точнее — в большое городское представление о природе, являются квадраты вывесочных пейзажей: здесь, в окружении города с его однообразными, пыльными и мутными тонами природа, зажатая внутрь крохотных квадратов, кричит синькой, охрой и малахитом; неестественно напряженная, почти замученная кирпичами и бульжинами, она испуганно прячется в толстый аляповатый обвод кисти. Примечательно, что пейзаж (какие-нибудь тычки гор и кипарисов вокруг лиловых озер-луж) наиболее любим у ступенек, ведущих в «кавказские погребки» и подвалы: тут несомненны элементы ностальгии.

Жанр, обычно уютящийся у тех же погребков, реже на вывесках перевозчиков вещей, еще реже у входа в сапожные мастерские и прачечные, очевидно, превышает технические возможности живописца вывесок и глядится с их поверхностей всегда как-то робко и неуверенно.

Д) Парикмахерские портреты, еще недавно бывшие довольно частым явлением среди вывесок городского центра, сейчас оттеснены к окраинам и понемногу выводятся даже и там.

Обычно мнение, будто портреты элегантных мужчин с лицами под подбородом или бобриком, тщательно выписанными бровями и усами, как бы определяющими овал и выражение самого лица, — оторваны от так называемой натуры, то есть не являются портретами в точном смысле этого слова.

Но это не так: маляр, работающий у витрины парикмахерской, всегда почти имеет перед глазами восковые куклы, выставленные в окне: своеобразная восково-мертвая физиономия моделей естественно передается его кисти, боящейся живой мимики, но достаточно смело перемалевывающей восковые бюсты, упрощая и укрощая их по-своему, на поверхность вывесочных медальонов.

Но история восковой куклы такова: сначала делается парик, затем подыскивается подходящая по величине и округлости восковая болвашка с мертвыми глазами внутри мертвого овала. То же происходит и с портретом — на нем лицо дано так, что ясно видимо и ощущимо: не волосы вырастают из лица, но л и ц о в ы р а с т а е т из волос.

Е) В отличие от *nature-morte*'а и портрета, стремящихся наивно-точно передать свою н а т у р у, некоторые вывески Москвы обнаруживают определенную тенденцию преодоления и переработки признаков той модели, которая дана «изображением». Так, рядом с натуралистическим тщанием выписанной грудой булок, бубликов и сдоб можно увидеть и явно стилизованные, упрощенно и абстрактно данные изображения кренделя, обычно символизирующего собою булочное торговое дело. Подобрал коллекцию таких ставших традиционными золотых кренделей, можно заметить, что попадают среди них и кренделя с некоторыми чисто натуралистическими признаками, но основной, завоевавший себе всеобщее признание к р е н д е л ь - т и п дан всегда в чисто символистической трактовке.

Шкуры, распластанные на вывесках скорняков, первоначально, может быть, и были натуралистически точными живописными воспроизведениями звериных шкур. Но сейчас они упростились в какие-то чисто условные формы, почти геральдические щиты (*blason*),

поделенные по вертикали на две контрастно окрашенные половины. Здесь мы имеем дело с завершенным процессом символизации реального изображения. Конечно, необходим был достаточно длительный период времени, чтоб процесс этот мог пройти все свои стадии.

5

В настоящее время много примечательных старых вывесок Москвы уже закрашено либо просто уничтожено. Революция, давшая нам новую для нас технику плаката, отодвинула старое московское мастерство вывесочных живописцев почти в прошлое. Утрачена старая лапидарность и ясность вывесочного текста: такие работы современных вывесочных артелей и мастеров, как вывеска клуба Всероссийского Союза поэтов или чисто плакатная конструкция вывески ЦИТа, ведут нас от железного стиля к бумажному стилю; мало того, подменяют принцип ясности принципом затрудненной формы.

Можно предполагать, что современность вряд ли вернется к старому лапидарно-монументальному, почти громоздкому, статическому стилю вывесок. Самое здание вывески в городе постепенно о государственная торговля, по существу, меняется: не зазывать, а лишь обозначать, указывать. И только. Скромные синие-белые квадраты китайских прачечных и жестяные прямоугольники множества артелей с их черными, никак не выпячивающимися и не кричащими буквами: «Труд», «Кооператив», «Объединение работников», «Свой труд», — все это достаточно далеко и чуждо прежним частнокапиталистическим приемам рекламного огушения и конкуренции. Старая, уходящая в прошлое мос-

ковская вывеска, вернее и четче других вещей из сложного инвентаря улицы хранящая отживающие бытовые и художественные традиции города, имеет достаточно прав на чисто историческое ее изучение и закрепление в памяти нового поколения.

Если сейчас не защелкнуть в камере фотографических аппаратов постепенно отгесняемую к окраинам, исчезающую под слоями новой, свежей краски, во многом ценную и примечательную старую московскую вывеску с ее своеобразным отмирающим стилем, — то скоро будет поздно.

Старые кладбища Москвы, как, например, Лазаревское или Донское, уже взяты под защиту общества охраны старины и объявлены музейными; кладбища прежних, предреволюционных вывесок, хранящие в своих знаках и буквах отжитой и схороненный быт, ждут, когда и их возьмут под свою защиту те, кто знают: лишь познав ту или иную вещь, можно навсегда ее преодолеть.

Комментарии

Как отмечают мемуаристы, С. Д. Кржижановский был чрезвычайно аккуратен во всем, что касалось его профессиональной деятельности. Глубочайшая депрессия, «обессловившая» писателя в последние десять лет его жизни, не сказалась на близком к идеальному прижизненном состоянии его архива. Достаточно сказать, что единственной связанной с архивом существенной проблемой, вставшей перед комиссией Союза писателей по творческому наследию Кржижановского, которую возглавил прозаик и переводчик Е. Л. Ланн (не считая, разумеется, главной — и нерешенной: публикации), стала перепечатка тех сочинений, что сохранились лишь в рукописях; деньги на это были получены от Литфонда. Основная часть архива, хранящаяся в РГАЛИ, позволяет поэтому — при составлении первых трех томов собрания сочинений, включающих все завершённые новеллы, повести и очерки, — в значительной мере руководствоваться авторской волей.

Кржижановский составил шесть книг новелл: «Сказки для вундеркиндов», «Чужая тема», «Чем люди мертвы», «Неукушенный локоть», «Мал мала меньше», «Сборник рассказов 1920—1940-х гг.». В данном Собрании сочинений все эти книги печатаются в *авторском варианте* (за двумя исключениями, о которых — чуть позже) и в той последовательности, которую «пунктиром» обозначил сам писатель — как это видится при исследовании архива.

Достоверно известно о времени возникновения трех книг. «Сказки для вундеркиндов» написаны в 1919—1922 гг. В 1927 г. к ним добавлены еще пять новелл. Цикл «Мал мала меньше» сложился между 1937-м и 1940 г. «Неукушенный локоть» — видимо, первоначальное заглавие книги «Рассказы о Западе», принятой в 1940 г. к печати издательством «Советский писатель» (см. об этом во вступительном очерке). Остальные можно датировать лишь с известными оговорками. «Чужая тема» составлена, вероятно, между попыткой издать в «Никитинских Субботниках» книгу «Собиратель щелей» и датой последней из вошедших в «Чужую тему» новелл, т. е. между 1928-м и 1931 г. (если, конечно, верить авторским датировкам — о чем см. во введении в комментарий к «Чужой теме»). Замысел «Чем люди мертвы» относится к середине 1932 г. (см. вступительный очерк), осуществлен — годом позже. Меньше всего можно сказать про «Сборник рассказов». Возможно, он сложен автором после войны. В пользу такого предположения свидетельствует вторая дата в заглавии: в сороковых годах Кржижановский прозы уже не писал, но если появилась хотя бы туманная возможность издать книгу, вполне мог, как не раз делал, так сказать, «освежить» датировку давно написанного...

Ни одна из пяти крупных вещей в эти книги включена не была. Две из них — «Клуб убийц букв» (1926) и «Возвращение Мюнхгаузена» (1927—1928) — писатель пробовал выпустить отдельными изданиями, остальные, насколько известно, даже не пытался. Первая из повестей — «Странствующее „Странно“» — написана вскоре после «Сказок для вундеркиндов», за ними и следует в издании. Остальные помещены между второй и третьей книгами новелл — так, чтобы более или менее «сбалансировать» объемы всех трех томов. Таким образом, хронология, к которой сам писатель, хоть и датировал все свои произведения, относился, мягко говоря, без педантизма, явно и сознательно нарушена мною лишь однажды: документально-историческая повесть в письмах «Штемпель: Москва» и примыкающие к ней очерки 1925 г. з а в е р ш а ю т первый том: в любом ином месте они нарушали бы композиционную логику, которой я стремился следовать.

Сохранилось также несколько составленных в разные годы «автобиблиографий» Кржижановского. Судя по ним, практически все новеллы, имевшиеся в распоряжении писателя, включены им в рукописи книг. Ни ему самому, ни автору этих строк не удалось разыскать новеллу «Лес карандашей», написанную в 1919 г. и тогда же напечатанную в киевском еженедельнике «Неделя литературы, искусства и театра»: из трех вышедших номеров в государственных книгохранилищах России и Украины хранится лишь один. Отзвук этой новеллы есть в повести «Штемпель: Москва» («Письмо четвертое»). Упомянутая во всех «автобиблиографиях» и в воспоминаниях жены писателя А. Г. Бовшек (1887—1971) «большая вещь» — «Красный снег» (1930) — также до нас не дошла, но по иной причине: вероятнее всего, что во второй половине тридцатых годов, в разгар репрессий, она была либо уничтожена, либо «чересчур надежно» спрятана, и после смерти Кржижановского, когда опасность уже миновала, разыскать ее оказалось невозможно. Еще два сочинения в «автобиблиографиях» не упомянуты вовсе; при обработке архива оба сочтены незавершенными, — на мой взгляд, без достаточных оснований. Первая из этих новелл — «Сквозь кальку». Она не датирована, однако написана, судя по некоторым признакам, около 1927 г. Ничего, что позволяло бы считать ее неоконченной, в машинописи нет; можно предположить, что автор намеревался еще поработать над нею, потому не поместил ни в книги, ни в «автобиблиографию». Но это — лишь гипотеза, не более того. Потому я счел возможным включить «Сквозь кальку» в «Сборник рассказов», рядом с созданной примерно тогда же притчей «Когда рак свистнет» (сравнение с другими книгами показывает, что эта — именно «сборник», т. е. наименее — из всех шести — композиционно продуманная и выстроенная, в ней есть вещи первоклассные, вроде «Тринадцатой категории рассудка» или «Рисунка пером», но есть и «случайные», такие как очерк о летней Одессе «Хорошее море» — который я поэтому счел резонным «по жанровому родству» перенести и поместить среди очерков, заключающих третий том — или зарисовка «Мечтатели»; думается, сюда вошло то, что не попало в другие рукописи, «не вписалось» в их композицию, во всяком случае, иного — более определенного и логичного

«составительского принципа» не прослеживается... Машинопись второй новеллы — «Путешествие клетки» — обрывается буквально на полуслове. Машинопись прижизненная, с обстоятельной авторской правкой, стало быть, перепечатывалась вещь законченная, пусть и не вполне автора удовлетворяющая. Когда затерялись последние страницы и сколько их было — можно только гадать. Поэтому уцелевшие вынужденно помещены в последний том Собрания — вместе с другими незавершенными вещами. И, таким образом, «художественная часть» прозы этого писателя представлена в издании полностью.

Произведения Кржижановского, пользуясь высказыванием Дж. Барта о Х. Л. Борхесе, можно назвать «постскриптумом ко всему корпусу литературы». Добавлю — и философии. Кроме того, они органически плотно насыщены отзвуками современных автору новейших открытий и достижений биологии, психологии, медицины, физики, археологии и других наук (что естественно, если вспомнить о его замечательной и разносторонней образованности и общении с крупнейшими учеными), разнообразными историческими сведениями и реминисценциями (в «московских» очерках — еще и топонимикой и топографией города), а также автобиографическими мотивами, темами, деталями.

У этой «упоминательной клавиатуры» (Мандельштам), которой писатель пользуется с непринужденной точностью, — несколько регистров, включенных одновременно, «полифонически», в сюжет, фабулу, характеристики персонажей; иногда — штрих, лаконично передающий атмосферу и время действия, в других случаях — ассоциативный импульс, побуждающий обнаружить за авантюрно-приключенческим *содержанием* мировоззренческую *содержательность*, и т. д.

Эта и другие особенности творческой манеры Кржижановского определили подход к комментированию его художественной прозы (т. е. первых трех томов), которое стало своего рода продолжением вступительного очерка. Речь — не только о «реалиях», именах, терминах и «редких» словах, но нередко и о характере самой прозы, о системе внутренних связей — как в пределах одного произведения, так и между сочинениями, созданными в разные годы, а то и десятилетия.

Ахматова говорила, что не всегда возможно понять — что поэт имеет в виду, но непременно должно ощущаться, что он нечто в виду имеет. Это вполне приложимо к Кржижановскому: он никогда не соблазняется эффектным пассажем, уводящим, пусть ненадолго, в сторону от решения «художественной задачи»; у него нет «случайностей, он всякий раз *нечто в виду имеет*. Обозначить *все* его ассоциации, намеки, скрытые цитаты и реминисценции, «боковые ветки» тем и переключки с историей литературы, культуры, искусства, с актуальными для современников книгами — вряд ли реально, во всяком случае для автора этих строк. В частности, отсутствие пояснений к некоторым цитатам вовсе не означает, что они не замечены, «пропущены» при комментировании, просто комментатору не удалось их опознать (задача осложняется и тем, что некоторые из них — «иноязычные» — даются автором в собственном переводе с языка оригинала). Моя цель куда скромнее: показать на оптимальном, как мне представляется, числе примеров, что это свойственно всему, что написал Кржижановский, оставляя просвещенному читателю возможность собственных разысканий и дополнений.

В комментариях к трем первым томам, соответственно поделенным на части, но представляющим собой единый «справочный» текст, предпринята попытка, во-первых, проследить, хотя бы отчасти, происхождение тем, сюжетов, фабульных поворотов, размышлений персонажей прозы Кржижановского.

Во-вторых, поскольку писатель крайне редко использовал тот или иной акцентированный — дабы привлечь и сконцентрировать читательское внимание — мотив «однократно», большинство своих *тем* варьировал в различных ракурсах, — выявить и определить существеннейшие символы и знаки творчества Кржижановского, его излюбленные образы, их путь — и трансформации — от строк записной книжки или письма до страниц новеллы или повести — и далее, от одной вещи к другой, чтобы, повторю, читатель мог уловить во внешнем, лексическом, сходстве содержательное, внутреннее разнообразие и движение мысли писателя — и уже без моего вмешательства длить эти ряды. Эти, условно говоря, «самоповторы», как заме-

чательно показано Ходасевичем в книге «О Пушкине» (1937), тем характернее, чем глубже и оригинальнее мыслит художник. Даже незначительное изменение ракурса и «освещения» однажды увиденного или воображенного (что в искусстве — одно и то же) многое меняет: это уже — иные мысль, метафора, образ, другая «художественная задача». На протяжении четверти века — от первой публикации до заключительных строк цикла очерков «Москва в первый год войны» — Кржижановский словно бы писал *одну книгу*, при сочинении каждого из произведений мысленно — или подсознательно — *имел в виду* некое *целое*, с которым возникающая из-под пера вещь должна так или иначе связываться и соотноситься в читательском восприятии. Осуществить этот всеохватный замысел писателю не довелось, но контуры его проступают, на мой взгляд, достаточно внятно. Поэтому я счел необходимым отметить такого рода «переключки»: не только масштабные — сюжетные, мировоззренческие, фабульные, но и менее броские — по убывающей — вплоть до деталей, цитат и лексических оборотов.

В-третьих, хотелось показать специфику его работы со словом и некоторые особенности писательской техники (разговор об этом, опять-таки, начат во вступительном очерке).

Ссылки на так или иначе связанные между собою произведения даются при комментировании каждого из них.

Переводы иностранных слов и выражений помещены, как правило, в постраничных сносках (исключения делаются в тех случаях, когда сам перевод требует комментария); пояснения к производным от таких слов «русифицированным» неологизмам вынесены в комментарии.

Примерно четыре пятых публикуемых текстов сверены по сохранившимся машинописям с авторской правкой. В остальных случаях пришлось удовлетвориться сличением того, что хранится в РГАЛИ, с машинописями, полученными мною от друзей и знакомых С. Кржижановского и А. Бовшек.

Стихи Кржижановского цитируются по оригиналам, хранящимся в РГАЛИ (ф. 2280, оп. 1, ед. хр. 71); письма — по копии переписки, полученной от родственников А. Бовшек и сверенной с оригиналами, также хранящимися в РГАЛИ (ф. 2280, оп. 1, ед. хр. 77–78).

Внимательный читатель, знакомый с четырьмя книгами Кржижановского, вышедшими в 1989—1994 гг., может обнаружить расхождения имеющихся в них примечаний с нынешними комментариями. Это касается некоторых фактов и дат, а также связанных с ними изложения истории тех или иных произведений, трактовок их фрагментов. Причина проста: за последние годы многое удалось уточнить по «источникам» и документам, ранее автору этих строк неизвестным.

В заключение хочу с благодарностью упомянуть не доживших до этого издания Н. Е. Семпер, режиссера Камерного театра Н. С. Сухоцкую, историка литературы С. А. Макашина, поэта Л. А. Озерова. Беседы с ними, сведения и консультации, от них полученные, в изучении творчества и биографии Кржижановского, в подготовке к публикации его сочинений были бесценны.

Глубоко признателен И. Б. Делекторской, Е. П. Крюковой, Н. И. Немухиной, О. И. Немухиной, Катрин Перель, Т. М. Фадеевой, М. В. Безродному, В. В. Васильеву, В. В. Веберу, Е. В. Витковскому, В. П. Нечаеву, В. В. Петрову, И. С. Смирнову, В. Н. Топорову за помощь в работе над комментариями.

Принятые сокращения:

ВБ — С. Кржижановский. Воспоминания о будущем: Избранное из неизданного. М.: Московский рабочий, 1989.

ВМ — С. Кржижановский. Возвращение Мюнхгаузена: Повести. Новеллы. Воспоминания о Кржижановском. Л.: Художественная литература, 1990 (1991).

СВ-1 — С. Кржижановский. Сказки для вундеркиндов: Повести. Рассказы. М.: Советский писатель, 1991.

СВ-2 — С. Кржижановский. Сказки для вундеркиндов. М.: Гудьял-Пресс, 2000.

СКН — С. Кржижановский. Страны, которых нет: Статьи о литературе и театре. Записные тетради. М.: Радикс, 1994 (Записки Мандельштамовского общества. Т. 6).

7 дней МКТ — (газ.) 7 дней Московского Камерного театра.

Словарь — Литературная энциклопедия. Словарь литературных терминов. М.; Л.: Л. Д. Френкель, 1925. Т. 1—2.

ЗТ — Записные тетради. Машинописная копия с правой рукой А. Бовшек (архив мой. — В. Л.).

А. Арго — А. М. Арго. Альбатрос (ВМ, с. 529—536).

А. Бовшек — А. Г. Бовшек. Глазами друга. Материалы к биографии Сигизмунда Доминиковича Кржижановского (ВМ, с. 463—528).

Н. Семпер — Н. Е. Семпер. Человек из небытия. Воспоминания о С. Д. Кржижановском. 1942—1949 (ВМ, с. 547—567).

Сказки для вундеркиндов

Первоначальный вариант этой книги был завершен в начале 1924 г., перед самым отъездом Кржижановского из Киева в Москву. В нее вошли двадцать четыре новеллы. Публикация одной из них — «Якоби и „Якобы“» (под псевдонимом «Frater Tertius» — «Третий Брат») в 1919 г. стала его писательским дебютом. С чтением этих сочинений (под тем же псевдонимом) он впервые выступил в мае 1922 г. перед московскими слушателями (в Вольфиле, куда его, как и в редакцию журнала «Зори», привел С. Мстиславский, — см. вступительный очерк). В 1924 г. автор отдал рукопись в кооперативное издательство «Денница», которое подготовило ее к печати, но вскоре разорилось и прекратило существование. В 1927 г., чрезвычайно творчески продуктивном для Кржижановского, написаны еще пять «сказок», которые, пожалуй, стилистически ближе не к составившим первоначально книгу произведениям 1918—1922 гг., а к созданному десять лет спустя циклу «Мал мала меньше» (равно как в этом цикле есть несколько вещей — «Игроки», «Гусь», «Орфей в аду», — вполне представимых в составе «Сказок для вундеркиндов»). Таким образом, окончательно определились состав и композиция книги. Сведений о том, предлагалась ли рукопись в редакции 1927 г. какому-либо издательству, обнаружить не удалось.

В 1965 г. Александр Аникст предложил четыре «сказки» («Чуть-чуть», «Жизнеописание одной мысли», «Мухослон»,

«Некто») редакции журнала «Новый мир», но получил отказ, мотивированный, кстати говоря, «кафкианством» автора.

СБЕЖАВШИЕ ПАЛЬЦЫ. Впервые: Экран. 1922. № 29. Под псевдонимом «Frater Tertius». Печатается по СВ-1.

Новеллу можно охарактеризовать как первый опыт «музыкальной гофманианы»; в ней — вызывавшая пристальное внимание писателя тема разлада: пальцев — и руки, звука — и голоса, персонажа — и автора, тени — и вещи, букв — и бумаги. «Потерянная и возвращенная музыка» — как бы камертон всей книги (замечу, что Кржижановский получил домашнее музыкальное образование; в молодости у него обнаружился хороший голос, он брал уроки пения и едва не стал профессиональным певцом, затем преподавал в Киевской консерватории, дружил с композиторами, сотрудничал с музыкальными театрами); «музыкальная» тема прослеживается во всем его творчестве — вплоть до серии очерков «Москва в первый год войны» (1948, «Обиженное ля-бемоль»). Всего у него — около десяти «музыкальных» новелл, в то время как поиски, например, «живописных» дадут разве что полстранички текста (миниатюра «Тюбики» в цикле «Мал мала меньше» (1937)), и это тем более любопытно, что сам он относил себя к писателям «глазатым» (Ремизов) (см. «Штемпель: Москва» — «Письмо четвертое» и комментарий).

Не менее характерно для Кржижановского и выказанное здесь отношение к утвердившейся в русской критике последней трети прошлого века — усилиями революционных демократов, а затем и «народников» (и унаследованной от них критику советской) — мысли о необходимости познания художником обыденной, «низкой» жизни, хождения в нее, что только и может сделать искусство по-настоящему полнокровным.

ЧУТЬ-ЧУТИ. Впервые: Горизонт. 1991. № 9. Печатается по СВ-1.

Единственное произведение, в котором слышен отзвук «основной» профессии Кржижановского — занятий криминалистикой и работы в суде в 1914—1918 гг.; начало «свиптианы», мотивы которой впоследствии возникают в повести «Странствующее „Странно“», в сценарии «Новый Гулливер», в «ново-

найденных главах» из «Путешествий Гулливера» (1933) и других вещах, а также в неосуществленном замысле новеллы «Под пломбой»: «Крохотное существо (фантастическое) попадает в душло зуба — для него — кратер. Запломбирывают. Под пломбой» (ЗТ).

с. 83 ...над фальшивыми духовными... — т. е. завещаниями.

...вымеряю угол наклона, разгон и округлость букв... — описание графологического анализа, которым Кржижановскому довелось профессионально, «экспертно», заниматься; впоследствии это мастерство пригодилось ему в литературной работе (например, в программе читанного им в консерватории курса: «Черновики (анализ зачеркнутого)»).

КВАДРАТ ПЕГАСА. Впервые: ВБ. Печатается по этому изданию.

Есть основания полагать, что в новелле — автобиографические мотивы: неудавшийся первый брак писателя. То же — в несколько иной интерпретации — в новелле «Поэтому». Хотя с «автобиографизмом» у Кржижановского надо быть крайне осторожным, памятуя его собственные слова: «Изображать свои интимности из личной жизни в литературном произведении — вырезывать „Катя“ и „Миша“ на кавказских обрывах и т. п.» (ЗТ). Тем не менее художник творит из того материала, который у него есть. И его собственная жизнь включена в этот «материал», будучи более или менее «трансформированной» — соответственно *темам*. Не обращать внимания на эти мотивы, — на мой взгляд, значит обеднять прочтение. Однако и здесь, и далее, всякий раз при их упоминании, следует иметь в виду и процитированную реплику писателя, и не-буквальность художественных «реалий» (в равной мере сказанное относится и к преломлению в сочинениях Кржижановского современной ему действительности, ее событий, происшествий, характерных примет, политических лозунгов, деталей быта и прочего; он «никогда не писал с натуры, но всегда помнил о ней» (С. Липкин), потому следует помнить, что все это — прежде всего «материал», который у художника «под рукой» и используется естественно и часто бессознательно; сделав однажды эту оговорку,

хочу надеяться, что в дальнейшем читатель, обнаруживая в комментариях такого рода параллели, ассоциации, реминисценции, намеки, сумеет ввести необходимую «поправку» в свое к ним отношение).

с. 93 ...в рефлекторе Гринвичской обсерватории... — Гринвичская обсерватория, через которую условно проведен «нулевой» (Гринвичский) меридиан, основана в 1675 г. в предместье Лондона, где и пребывала во времена Кржижановского; в 1950-х гг. переведена на 70 км к юго-востоку.

— Посмотрите, Надя... — Автор дает героине «знаковое» имя (см. во вступительном очерке — об ономастике Кржижановского), она — Надежда героя-поэта, лишь однажды, позже, названная полным именем, т. е. будучи уже *несостоявшейся*.

Все это произошло в городе Здесевске... — Название города, очевидно, связано с теорией Кржижановского про «товэтовцев» и «этовтовцев» (см. вступительный очерк): становясь обывателем этого города, герой превращается из «этовтовца» в «товэтовца» (иначе говоря: всякое «там» переводит в «здесь»).

с. 97 ...маленькие серые злыдни. — Эти персонажи активно действуют и в «Странствующем „Странно“», а также фигурируют в переписке Кржижановского с А. Бовшек: «Мысли у меня сейчас об одном: как бы московские злыдни не пролезли за мною в вагон; из ковра я сегодня вытряхнул всю пыль, а вот из головы...» (16 июня 1926 г., из Москвы в Одессу, накануне отъезда в Коктебель к Волошину).

с. 100 ...сын-гимназист Саша подзубривал... — Перечисляются «исключения», писавшиеся через «ять»; эти исключения суть заглавия главок этой новеллы (см. вступительный очерк); добавлю, что разделена она — по числу исключений — на семь частей, и возникающий таким образом — едва ли осознанно — мотив «семиричности» человеческой жизни вводится затем — уже обдуманно — в новеллу «Фу Ги».

ИСТОРИЯ ПРОРОКА. Впервые: Гостиница для путешественников в прекрасном. 1924. № 2 (4); повторно: Новый круг. 1992. № 2. Печатается по авторизованной машинописи.

с. 103 **Осел Буридана** (Буриданов осел). — В приписываемом французскому философу-схоласту Жану Буридану (ок. 1300 — ок. 1358) примере, которого, впрочем, в его сочинениях не обнаружено, осел, находясь между двумя охапками сена, равно от него удаленными и одинаковыми по качеству, колеблясь в выборе, в конце концов должен был умереть от голода; с помощью этого примера иллюстрировалось отсутствие свободы воли у человека.

Ослица Валаама — см.: Числа, 22: 21—33.

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716) — немецкий философ, ученый, общественный деятель.

с. 105 ...существами с мышлениями ракообразного хода... — Ср.: «Ответь, философ, почему человек рождается головой вперед, а мыслит ею, по большей части, в обратном направлении?» (С. Кржижановский. Черновые записи Пруткова-внука // Литературная газета. 1935, № 57. С. 4).

хирософ — то же, что хиромант: предсказатель судьбы по линиям руки.

Aut — Aut — дважды употребляемый Кржижановским в теоретических работах латинский вариант заглавия написанной по-датски книги предшественника экзистенциализма С. Кьеркегора «Enten — eller» (1843) (в русском переводе «Или — или»).

ЯКОБИ И «ЯКОБЫ». Впервые: Зори. 1919. № 1. Под псевдонимом «Frater Tertius». Повторно: Гостиница для путешественников в прекрасном. 1924. № 1 (3). Под тем же псевдонимом, с примечанием: «Диалог печатается в сокращенном виде. Написан в 1919 г. (в рукописи и в «автобиблиографиях» указан 1918 г., и лишь в одном случае — 1920. — В. П.). Впервые читан в Вольфиле (на самом деле в Киеве. — В. П.). Первая публикация — с одним разночтением и ссылками на обнаруженный в Киеве авторский текст — была повторена в журнале «Новый

круг» (1992, № 2). Текст печатается по авторизованной машинописи, подготовленной автором для неосуществленного издания «Сказок для вундеркиндов». Разночтения с первой публикацией отмечены постраничными сносками.

Эта философская фантазия получила неожиданное продолжение, о котором уже упомянуто во вступительном очерке, — на мой взгляд, есть смысл продолжить начатую там цитату о труде Ганса Файгингера: «...В 1921 понадобился выход дополнительного труда „Die Philosophie Als Ob entstand“ („Как возникла Философия Якобы“), — а сейчас передо мной проспект Лейпцигского издательства Феликса Мейнера, спешно выпускающего Volksausgabe захватившей внимание книги Файгингера („популярное издание, — заявляет проспект, — необходимо“). Все это говорит о чрезвычайной популярности „якобы“, несколько неожиданно для меня переселившегося из фантома в логику. Философия „якобы“ оперирует с понятием фикции или мнимости; она представляет из себя как бы положительный скепсис: понятие „фикции“, служившее до сих пор лишь для разрушения миропониманий, взято Файгингером как положительный элемент созидания: весь мир, — учит он, — лишь сложная система мнимостей...» (7 дней МКТ. 1924. № 9).

История книги Файгингера (Hans Vaihinger, 1852—1933), видного неокантианца, некоторые труды которого, несомненно, были знакомы Кржижановскому, заслуживает внимания — особенно в ее странной связи с первой публикацией Кржижановского. Книга была написана в 1877 г., впервые издана в 1911 г., но тогда она не дала широкого резонанса, хотя, конечно, была замечена философами и в Германии, и, особенно, в России, в неофитском увлечении жадно поглощавшей немецкие философские новинки. То, что она прошла тогда мимо Кржижановского, легко объяснимо: он был погружен в чтение — на языках оригиналов — философской классики, от древнейшей до Канта, Фихте, Шеллинга. Куда удивительней, что знакомства с нею — в разговоре с Кржижановским — не выказал Ф. Степун, ведь именно в редактировавшемся им журнале «Логос» была опубликована рецензия на труд Файгингера (1911—1912, № 2—3; кстати, в том же номере напечатаны статья и шесть (!) рецензий самого Степуна). А шумную извест-

ность этому труду, действительно, принесли «обвальные» переиздания 1920 г., одно из которых, очевидно, попало в руки Кржижановского. Потому и решил он еще раз напечатать свой диалог, будучи готов к полемике с новыми оппонентами (прежний, Степун, был уже в Германии). Кроме того, вероятно, именно книга Файгингера (и ее дополнение) подтолкнула его к работе над «Философемой о театре» (1923), где *движение* театра прослеживается от «бытия» (мистерия) через «быт» (драма) в «мир чистой сослагательности» («бы»). Отзвук ее можно обнаружить и в «Клубе убийц букв» (1926; фрагмент о «Гамлете»).

«Недостаточность» авторских комментариев к новелле объясняется, на мой взгляд, тем, что они — не столько «справочный аппарат», сколько часть — «элемент» — текста, придающий фантазии форму и видимость классического философского диалога, известного с античных времен (см. комментарий к новеллам «Чужая тема» и «Разговор двух разговоров»).

Первая из напечатанных вещей Кржижановского — едва ли не самое сложное для комментирования из его сочинений. Начало писательства, по собственному его выражению, стало следствием «выбора между Кантом и Шекспиром». В «Якоби и „Якобы“» этот выбор уже сделан, но еще не окончательно, «как бы», «якобы»; не случайны «проговорки» вроде: «отец мой — Кант» и т. п. Сама форма — *диалог* — более «философская», чем «художественно-литературная», а персонажи — «философ» и «слово», их полемика и есть та самая альтернатива, которая остроактуальна для автора. Предельная насыщенность текста философскими «реалиями» и ассоциациями тоже ставит его в некое «промежуточное» положение — *между* философией и литературой, скажу иначе: философское сочинение стремится стать литературным. Поэтому я обратился за помощью к тем, кто значительно шире и глубже, чем я, осведомлен в вопросах, побудивших Кржижановского к сочинению этого диалога (который автор иронически именовал «сказкой»), а отчасти и ставших его «материалом». Глубоко признателен В. В. Васильеву, В. В. Петрову и В. Н. Топорову. Их отклики позволяют довольно подробно (хотя — по общему мнению — не полностью) откомментировать новеллу. Отмечу, что присланные пояснения примерно в полтора раза больше комментируемого текста, в них

то и дело возникает то, что можно назвать «ветвящимся комментарием», когда само пояснение оборачивается экскурсом в историю философии, лингвистику, обзором теорий и отдельных положений, с которыми написанный Кржижановским диалог, можно сказать, «вступает в диалог»... Как ни жаль, поневоле пришлось делать весьма существенные сокращения. Но и в нынешнем своем виде комментарий, думается, дает некоторое представление о том, с какими проблемами встретится тот, кто вознамерится готовить «академическое» издание произведений этого писателя.

с. 107 *O veritas, veritas...* — В первом эпитафии Кржижановский несколько видоизменил текст оригинала: «*O Veritas, Veritas, quam intimae etiam tum medullae animi mei suspirabant*» — «О, истина, истина, сокровеннейшие глубины души моей уже тогда тосковали (о тебе)» (Блаженный Августин. Исповедь. VI кн.).

Кант (О формах чувственности). — Речь идет о третьем разделе диссертации Канта (1770), заглавие которого принято переводить на русский несколько иначе: «О принципах формы чувственного мира».

Frauenkirche — мюнхенский собор Богородицы, изображение которого является своего рода символом города.

«Критика чистого разума» — труд И. Канта (1781).

амфиболия — двусмысленность.

с. 108 *Marienplatz* — центральная площадь Мюнхена, близ которой находилась Баварская Академия наук, где президентом в 1807—1823 гг. был Якоби.

Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775—1854) — немецкий философ; это имя называется первым в длинном ряду «философских» имен, разумеется, не случайно: «пространство» шеллингианской «философии творчества» двуполюсно, где один центр-полюс — природа-бытие, объективное, а другой — Я, предельно субъективное; с первым связано безусловное, со вторым — условное, кажимость; и в таком контексте «якобы», слово, выражающее кажимость, отсутствие уверенности в подлинности, как раз и есть то, что Шеллинг называл «са-

мообъективацией субъективного», знаменитое als ob немецкой философии.

Сольгер (Solger) Карл Вильгельм Фердинанд (1780—1819) — немецкий эстетик, ученик Шеллинга.

Упанисады — свод древнейших индийских философских и теософских трактатов.

с. 109 ... среди амфиболий — паралогизмов и антиномий... — Паралогизм — ошибочное умозаключение; антиномия — противоречие между рядом положений, каждое из которых имеет законную силу.

Зови меня «Αλφειτάριον» во вкусе Гельдерлина... — В творчестве Гельдерлина чрезвычайно сильно влияние древнегреческой мифологии, мистики, эстетики, оно сказывается даже в форме его произведений: он словно бы «примерял» «античную» форму к немецкой словесности; в данном случае автор, по первому впечатлению, имеет в виду излюбленное Гельдерлином употребление греческих слов — когда можно было бы использовать и немецкий «эквивалент», но, конечно, не только: именно упоминание поэта (т. е. того, для кого язык — основная и естественная «среда обитания»), в творчестве которого интуитивно соединяются древнегреческие представления о *слове* и современные Гельдерлину — немецкие — идеи и теории о *языке*, служит своего рода «вступлением» и камертоном ко всему диалогу, в котором обнаруживаются отзвуки сказанного на эту тему на протяжении примерно двух тысячелетий.

с. 110 ... не я твой сон... а ты мой сон... — Ср. у Чжуан-цзы: «Однажды я, Чжуан Чжоу, увидел себя во сне бабочкой — счастливой бабочкой, которая порхала среди цветов в свое удовольствие и вовсе не знала, что она — Чжуан Чжоу. Внезапно я проснулся и увидел, что я — Чжуан Чжоу. И я не знал, то ли я Чжуан Чжоу, которому приснилось, что он — бабочка, то ли бабочка, которой приснилось, что она — Чжуан Чжоу. А ведь между Чжуан Чжоу и бабочкой, несомненно, есть различие. Вот что такое перемещение вещей!» (Чжуан-цзы. Ле-цзы. Серия «Философское наследие». Т. 133. М., 1995. С. 73; такого

рода ассоциации при чтении Кржижановского, можно сказать, закономерны, они им иницируются: за полемикой почтенного философа и «служебной частицы» временами слышится иной диалог — во времени и пространстве: древнегреческих, китайских, индийских, немецких философов...

...ветхий стих Пиндара... — Пиндар (522 — ок. 442 до н. э.) — древнегреческий лирик: автор цитирует, вероятно в собственном переводе, Восьмую Пифийскую Песнь (в переводе М. Гаспарова: «Сон тени — человек...»).

...какая-то старая полуразвалившаяся башня... — Здесь словесно разыгрывается название лебенихтской ратуши, в здании которой Кант одно время жил (Leben — буквально «жить»; nichts — «ничто» (нем.)).

с. 111 Декарт Рене (1596—1650) — французский философ, математик, физик, физиолог; «Discours de la methode» («Рассуждение о методе, чтобы хорошо направлять свой разум и отыскивать истину в науках») — труд Декарта, вышедший (анонимно) в 1637 г.

Спиноза был несчастлив в любви... — Спиноза Барух (Бенедикт, 1632—1677) — нидерландский философ. После 6-классного еврейского училища в Амстердаме Спиноза учился в латинской частной школе иезуита Франца ван ден Энде и безответно влюбился в его дочь; пассаж о переходе его от любви к философии построен на игре слов: Ende — «конец»; Un-Endlich — «бесконечно» (нем.); эта ссылка «Якобы» на Спинозу не случайна: в ней намек на вышедшую в 1785 г. книгу Якоби «Об учении Спинозы в письмах к Мозесу Мендельсону».

Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814) — немецкий философ.

Зикинген Франц фон (1481—1523) — германский полководец времен Реформации, вождь рыцарей-наемников, командующий армией Максимилиана I, потом Карла V; сравнение с ним Фихте, вероятно, навеяно популярной в конце XIX — начале XX в. одноименной драмой Ф. Лас-саля, где этот образ был романтизирован, даже *революционизирован*, что и дало Кржижановскому повод сравнить с ним Фихте, «революционно» вступившего в полемику с такими «столпами» философии, как Кант или Гегель.

- с. 112 «Опыт критики всякого возможного откровения» — «Опыт критики всяческого откровения» — работа Фихте, напечатанная анонимно в 1792 г.; сохранилось письмо Канта, из которого следует, что Фихте просил его помочь с опубликованием книги, задержанной строгой цензурой (деканом теологического факультета в университете Галле); Кант решительно отказывает, ибо не согласен с некоторыми тезисами.
- ... ты, сочинитель «откровения вещей»... — Якоби считал, что реальное существование вещей дано человеку непосредственно, эту непосредственную достоверность он именует «верой», «откровением», «чувством», а также «разумом», противопоставляя его «рассудку»; его собеседник иронизирует над основными положениями именно той работы, с упоминания которой начинается новелла.
- ... носитель ее был пророчески назван: Платон... то есть Широкий... — Согласно традиции, Аристотел, сын Аристора, получил имя Платон «то ли за его широкую грудь и мощное сложение, то ли за широкий лоб» (см.: А. Ф. Лосев. Платон. Аристотель. М., 1993. С. 9).
- ... как в Алмазной Грамоте Трисмегистоса... — Трисмегистос («Трижды величайший» — *греч.*) — эпитет бога Гермеса; Гермес Трисмегист (Трисмегистос) считался в средние века родоначальником астрологии; ему приписывались некоторые книги, в частности так называемое «Астральное Зерцало»; однако в так называемом «герметическом корпусе» (см. перечень трактатов корпуса: Н. В. Шабуров. Откровение Гермеса Трисмегиста // Знание за пределами науки: Мистицизм, герметизм, астрология, алхимия, магия в интеллектуальных традициях I—XIV вв. М., 1996. С. 30) нет «Алмазной грамоты», но существует знаменитый буддийский философско-религиозный текст «Алмазная сутра» (написана на санскрите ок. 300 н. э.); основная мысль — материальный мир иллюзорен, эмпирическое познание имеет своим объектом только представления-понятия, а не истинно существующее, всякий описываемый объект с «абсолютной»

точки зрения нереален: истинно сущее трансцендентно эмпирическому познанию и не может быть как-либо обозначено; это, при всех различиях философских систем, созвучно взглядам скептиков (а именно Пиррона), которые подчеркивали относительность человеческих представлений о явлениях внешнего мира, их субъективность (см. комментарий к с. 115); на мой взгляд, нельзя исключать, что такого рода «обмолвка» (как увидим, не единственная) не случайна, сознательна — «Астральное Зерцало» упоминается в работе Кржижановского «Поэтика заглавий»; с литературой своего времени о Гермесе Трисмегисте он, несомненно, был знаком, здесь же существенно не только *содержательное совпадение* фрагмента диалога с «Алмазной сутрой», но и *буддийско-древнегреческое созвучие*.

...эллины в смутных теориях... — Имеются в виду древнегреческие дискуссии о происхождении языка (Парменид, Гераклит, Платон, Аристотель как главные фигуры этой дискуссии; напр., у Платона (Кратил, 383a) — некоторые имена даны «от природы», а некоторые установлены людьми «по соглашению»; у Аристотеля (Об истолковании, 2, 16a28) — имена «имеют значение в силу соглашения, ведь от природы нет никакого имени»; основным в этих дискуссиях был вопрос о соотношении природы и закона-установления и их роли в соединении звука и смысла в единый комплекс слова; спор отчетливо выявил две позиции: одна — язык произошел «от природы», т. е. естественно, спонтанно, другая — язык произошел по закону-установлению, т. е. некоему согласованному решению, и, таким образом, он оказывается порождением культуры, ее выбора, получившего силу закона; «смутными» эти теории представляются лишь потому, что ни одна из них ничего не объясняет в силу несамодостаточности; природа располагает возможностями, культура — волей; и вся история сложения языка, слова предполагает теснейшее взаимодействие этих двух начал, реализовавшее себя в бесконечно повторяющихся опытах; в сущности, это относится не только к

языку, но и к возникновению жизни, культуры, любви, богообщения, — они невозможны без *встречи* обоих начал, самораскрытия их друг другу, преодолевающего хаос случайностей; Кржижановский, несомненно, находился в пространстве подобных идей и его «диалог» (по мнению В. Н. Топорова) — «блестящая иллюстрация общего на самом частном... примере».

Демокрит из Абдер (ок. 470 — ок. 380 до н. э.) — древнегреческий философ.

с. 113 ...индусские *rishi*... — Точнее: индийские — Риши (Рши) — в индийской мифологии: семь мудрецов, провидцев, которым боги открыли ведийские гимны; в «Ригведе» семь главных Риши упоминаются наравне с богами; кроме этих, легендарных и полуполулегендарных (которым, в частности, приписывается составление отдельных частей «Ригведы»), известны и реальные Риши — основатели философских систем, аскеты, грамматики и др.; упоминая их, Кржижановский пользуется немецкой транскрипцией (что позволяет предположить его знакомство с некоторыми положениями индийской философии именно по немецким источникам).

...придумавшие пятый элемент (эфир), как бы пятую букву бытия... — Эфир как пятый элемент (помимо земли, воды, воздуха, огня) ввел Аристотель; греческое слово означает и «первоэлемент» («стихия») и «буква»; о подобных «неточностях» уже говорилось (см. комментарий к 112), их сходство наводит на мысль, что это — именно *прием*, благодаря которому за диалогом, происходящим для читателя *здесь и сейчас*, слышатся отзвуки, если угодно, глобального *диалога* философов во времени и пространстве, поверх всех различий выявляется то общее, что есть в философиях разных времен и народов; в таком ракурсе новелла Кржижановского может быть понята и как своеобразная реакция на характерный для конца прошлого — начала нынешнего века пылкий (и даже «модный») интерес Запада к Востоку, поиск параллелей и переключек, усилие к интеллектуальному и эстетическому сближению, к постижению *единых законов мышления в едином мире*.

...чистое вечное и неделимое слово *Sphota*... —

Поэтическая метафора Кржижановского раскрывает самую суть этого понятия: древнеиндийское *sphota*, отглагольное имя от *sphut-/sphot-* («раскалывать», «взрываться»), обозначает тот взрыв-расщепление, в результате которого происходит соединение звука и смысла, обнаружение-открытие глубинного смысла; по мнению В. Н. Топорова, определение «спхоты» Кржижановским предвосхищает понимание этого термина, предложенное учеными значительно позже, уже после смерти писателя; но всего удивительнее само употребление Кржижановским этого термина: в то время, когда он писал свой диалог, *sphota* была слабо известна и среди индологов; фрагмент позволяет понять место и роль «Якоби и „Якобы“» в композиции всей книги: начавшись с темы разлада (звука и его источника, звука и смысла — «Сбежавшие пальцы»), варьируя затем поэтический мотив-метафору взрыва-слияния, изображая катастрофичность *бытия без Бога и поэзии* («Катастрофа», «Бог умер»), она завершается «Страной нетов», иронически рисующей «мир кажимостей», о котором в этом диалоге так страстно спорят Философ и Слово...

Го ббс Томас (1588—1679) — английский философ.

...религия Слова слов... — «В начале было Слово» (Иоанн, 1:1) — «*In principio erat Verbum*» (лат.): в русском и латинском переводах евангельское «Слово Божие» это перевод слова «логос», которое в греческом имеет гораздо более широкий круг значений, одновременно означая и «слово», и «разум», «ум».

...все категории Аристотеля... — В учении Аристотеля определяются следующие категории: сущность, отношение, место, время, качество, количество, действие, страдание, обладание, положение.

с. 114 ...«нетовые цветики», шитые по пустому полю... — намек на чрезвычайно популярную в России начала века книгу «Цветочки св. Франциска Ассизского» и скрыто полемизирующую с ней («Засыхают цветочки Франциска Ассизского», — замечено М. Безродным) книгу В. Розанова «Опавшие листья».

...проклятое на соборах *Flatus vocis*... — Буквально: «дуновение слова»; вероятно, имеются в виду богословские споры о сущности Святого Духа (ср.: Иоанн Дамаскин, «Точное изложение православной веры»: «Слово Божие не голосом произносится и не изливается в воздух», I, 7); любопытно, что смысл фразы может прояснить глава из сочинения, высоко ценимого и часто упоминаемого и цитируемого Кржижановским — «Новые опыты о человеческом разумении» Лейбница, третья книга которого «О словах» рассматривает роль языка в познании, критикуя схоластическое злоупотребление словами (кстати, эта работа написана по-французски — не отсюда ли слово «пот», как в дальнейшем именуется «Якобы»?): «...в готтентотском символе веры для обозначения Святого Духа взяли слово, означающее у них легкий приятный ветерок» (III, гл. I, 5; латинское *flatus* — именно «дуновение»); готтентоты — народ Южной Африки, в 1652 г. туда пришли голландцы, основав Капскую колонию, готтентоты приняли христианство, они — протестанты (загадочно, правда, откуда Лейбниц знал такие подробности о готтентотах уже в 1704 г.).

экзорцизм — от *нем.* Exorzismus — заклинание, изгнание (духов, бесов).

...говоря стилем второй Академии... — Вторая Академия (или Средняя) — древнегреческая школа, возникшая в III в. до н. э., т. е. через сто с лишним лет после Первой, созданной Платоном, ее учение — скептицизм.

просиллогизм — силлогизм, заключение которого служит посылкой для следующего силлогизма; видимо, это — отсылка к «Критике чистого разума»: «...ряд умозаключений... может быть продолжен в бесконечные дали или на стороне условий (*per prosyllogismos*), или на стороне обусловленного (*per episylogismos*)» (И. Кант. Критика чистого разума. М., 1994. С. 235).

Сумма всех сомнений в бытии (что вполне согласна с критерием Декарта)... — Имеется в виду философская «формула» Декарта «*Cogito ergo sum*», т. е. «Мыслю, следовательно, существую».

...по слову Дамаскина — Дамаскин Иоанн (ок. 675—749) — православный ученый-богослов и религиозный писатель; очевидно, перефразируется высказывание (либо цитируется один из ранних переводов): «Философия — это искусство из искусств и наука из наук» (Диалектика, или Философские главы, гл. 3).

Дидро Дени (1713—1784) — французский писатель и философ, один из издателей «Энциклопедии» (Эту же фразу: «Метафизики — птицы, питающиеся туманом» — Кржижановский еще за десять с лишним лет до написания новеллы взял эпиграфом к стихотворению «Перелет»).

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — немецкий философ.

с. 115 Ваша причудливая каста метафизиков — это духовенство пятизвучия... — Порфирий (234—301 или 305) во «Введении к Категориям Аристотеля» (традиционный титул: «Введение, или О Пяти звучаниях») ввел в логический обиход учение о «пяти звучаниях», логических терминах: род, вид, отличие, собственное, акцидентальное.

Надо покинуть «sum» и по шатающемуся мостику «ergo» перейти к «cogito»... — См. комментарий к с. 114. Любопытно, что подобный «мостик» перекидывает блаженный Августин (из которого, напомню, взят первый эпиграф): «Мы существуем и знаем, что существуем, и любим это наше бытие и знание... Без всяких фантазий и без всякой обманчивой игры призраков для меня в высшей степени несомненно, что я существую, что я это знаю и люблю. Я не боюсь никаких возражений относительно этих истин со стороны Академиков, которые могли бы сказать: „А что, если ты обманываешься?“ Если я обманываюсь, то потому уже существую» (Творения блаженного Августина. М., 1994. Т. 2. С. 216—217).

Секст Эмпирик в пересказе четвертой тропы Пиррона... — Секст Эмпирик (ок. 200 — 250) — греческий философ и врач; имеется в виду его работа «Пирроновы положения» (вариант перевода заглавия —

«Пирроновы основоположения»); смысл этого четвертого тропа из «Первой книги Пирроновых положений» в том, что надо воздерживаться от суждений о вещах, так как эти суждения зависят от состояния, в котором пребывает «судящий», а надежного критерия того, какое состояние истинное, найти невозможно; Пиррон из Элиды (ок. 365—275 до н. э.) — древнегреческий философ, основатель античного скептицизма; согласно Пиррону, счастье — невозмутимость (Атараксия) и отсутствие страданий (Апатия); стоит отметить, что, читая значительно более поздние вещи Кржижановского и не зная о существовании этой новеллы, Горький «угадал» его интерес к Пиррону (см. вступительный очерк).

Картезий — латинское именование Декарта.

с. 116 Вопрос, некогда заданный страдающему Logos'у... — В христианстве Logos — обретшее плоть Слово Бога; Сын Божий, который пришел на землю как исторический Христос. «Quid est veritas?» (Иоанн, 18: 37—38) — вопрос Понтия Пилата к Иисусу: «Что есть истина?».

...ответу буква в букву... — Из букв вопроса, заданного Пилатом, составляется ответ: «Vir qui adest, est» («Она — муж, который перед тобой»); здесь содержится и отсылка к «Критике чистого разума» Канта: «Что есть истина? Вот знаменитый старый вопрос, которым предполагали поставить в тупик логиков и привести их либо к жалким рассуждениям, или к признанию своего неведения, а следовательно, и тщетности всего искусства логики» (И. Кант. Критика чистого разума. М., 1994. С. 74); кроме того, у Андрея Белого, к творчеству которого Кржижановский относился с пристальнейшим интересом, есть цикл «Философическая грусть», где он иронизирует над неокантианцами.

Бемэ (Бёме) Якоб (1575—1624) — немецкий философ; основная его работа: «Аврора, или Утренняя заря в восхождении» (1612, первая публикация на русском языке — М., 1914); ср. каламбурный афоризм «в духе Пруткова»: «Наши философы в каком-нибудь Беме — ни бе, ни ме» (ЗТ).

- ...Это очень похоже на теорию Фихте о становлении «я»... Наукоучение его... — Сознание, по Фихте, не дано, а задано, порождает себя: индивид от природы есть нечто непостоянное, его чувственные склонности, побуждения, настроения всегда меняются, от этих внешних определений он освобождается в акте самопознания — этим актом индивид порождает свой дух, свою свободу; самоопределение — требование, задача, к решению которой субъекту суждено вечно стремиться. «Наукоучение» — главное сочинение Фихте (1794).
- с. 117 Но Фихте... значит: «сосна»... — Fichte — ель (нем.)
- с. 118 ...недосказанным словам грезится Nöh + ель... — ассоциативная (вернее — ассонансная) игра слов: Гегель — «высшая» ель (Fichte).
- Кампанелла Томмазо (1568—1639) — итальянский философ, один из представителей раннего утопического коммунизма; его философская утопия «Город Солнца» натолкнула Кржижановского на создание одной из первых в мировой литературе антиутопий («Клуб убийц букв» (1926), главка четвертая).
- Мне нужно — «я» мира... — противопоставляется субъективное «я» Фихте и мировое «я» Гегеля.
- с. 119 «Миндаль отцветет»... — «...и зацветет миндаль, и отяжелет кузнечик, и рассыплется каперс» (Екклесиаст, 12: 5).
- ...мы знаем лишь вторичный смысл слова... — Этот смысл («утверждать») придал слову κατηγορεῖν Аристотель; отсюда — категории, высказывание, логический предикат; персонаж Кржижановского хочет сказать, что философствование, «категоризирование» — вторично.
- ...двенадцатью нашими категориями мы обвиняем жизнь в феноменальности... — ссылка на «Критику чистого разума» Канта; ср. также новеллу «Тринадцатая категория рассудка» (1927).
- Я не усумнился, Господи! Ты видишь. — Евангельская ассоциация: Петр трижды отрекся от Христа (Слова Божия), прежде чем пропел петух (Матфей, 26: 69—75; Иоанн, 18: 17—27); напомню, что первый «петушиный крик» раздался перед самым явлением «Якобы» и началом диалога.

с. 120 биль-боке — игра с чашечкой, в которую надо поймавать бросаемый шарик.

Шлегель Август Вильгельм (1767—1845) — немецкий историк литературы, критик, поэт, переводчик, основоположник немецкого санскритоведения; издавал научный журнал «Indische Bibliothek» (1820—1830), учредил издательство, печатавшее тексты на санскрите и выпускавшее «Бхагаватгиту» (1823) и «Рамаяну» (1829).

...вечно кружить по *circulus vitiosus*'ам... (по порочным кругам, орбитам — *лат.*). — Эту метафору Кржижановский реализует в новелле «Четки».

У Гераклита Темного и у Симона Силлографа — Гераклит Темный из Эфеса (ок. 520 — 460 до н. э.) — древнегреческий философ; Тимон Силлограф (ок. 320 — 230 до н. э.) — древнегреческий философ, представитель скептического и скоптического направлений; существительное среднего рода τὸ ἰνδαλμα — явление, призрак, множественное число — οἱ ἰνδαλμοί... — имеет то же значение; у Гераклита слов с основой ἰνδαλμ нет; ученик Пиррона (!) Тимон из Флиунта написал элегию «ἰνδαλμοί...» («Образы»).

с. 121 ...приемлю «Якобы», но *sub reservatione* *Jakoba*. — Давая в собственных примечаниях ссылку на так называемую «клятву Иакова», Кржижановский еще более усложняет словесную игру, этот финальный аккорд диалога: дословный перевод латинского выражения «с оговоркой Иакова» (с намеком на сделку Иакова с Лаваном; Бытие, 30: 25—43), в то же время «на слух» оно читается как «с оговоркой Якоби».

Примечания автора. — В первой публикации примечания даны без подписи и без указания на принадлежность их автору.

КАТАСТРОФА. Впервые: Неделя литературы, искусства и театра. 1919. № 2. (Вышло, насколько известно, всего три номера еженедельника, ни один из них разыскать пока не удалось; публикация указывается по «автобиблиографии» Кржижановского 1946 г.) В 1922 г. была сделана вторая — окончательная —

редакция, опубликованная 68 лет спустя (Человек. 1990. № 6).
Печатается по СВ-1.

с. 123 ...мысль старого Мудреца... — Речь, разумеется, о Канте. «Уже в юности у него наметился отход от умозрительного понимания мира и переход к практическому восприятию его. Предстоял выбор между Кантом и Шекспиром, и Кржижановский решительно и бесповоротно встал на сторону Шекспира... В дальнейшем он не отказывается от постановки философских вопросов, не отказывается от п о н я т и й, но учится искусству видеть их» (А. Бовшек). «Катастрофа» — одна из новелл, отразивших этот процесс, причем довольно раннюю его стадию. Примерно тогда же, чуть раньше, написано стихотворение «Мирозерцание под пулями», пронизанное ощущением происшедшей катастрофы и надвигающейся посткатастрофной эпохи, в которой писателю предстоит жить (см. вступительный очерк): «Пять ненавидящих ошупали глазами Холодный контур лба. Зрачки нашли зрачки. „Тот против нас, кто не идет за нами“. Пять ружей вскинуты и взведены курки. Мир не погиб: померк лишь отсвет мира... Все те же фонари. Залп. Ругань. Стук шагов. Над Мыслью — гимн семиорбитной лиры. Над трупом — пять дымящихся стволов».

с. 124 ...в котором и хранится, в единственном экземпляре, смысл вещи... — Давая развернутое толкование кантовского понятия «вещь в себе», писатель тонко, едва уловимо *одушевляет вещи*, которые в наступившей катастрофе ведут себя «как люди»: паника, гибель, эмиграция etc.

Будьте всегда сострадательны к познаваемому, вундеркинды... — первое авторское пояснение к главию книги.

Прегель — река в Восточной Пруссии, при впадении которой в Балтийское море стоит «город Канта» — Кенигсберг (ныне Калининград).

Theorie des Himmels — «Всеобщая естественная история и теория неба» Канта (1755).

- с. 125 **Маршрут: звездное небо над нами** — моральный закон в нас. — См. комментарий к с. 139, а также «Жизнеописание одной мысли», где эта мысль Канта, если можно так выразиться, — «главная героиня».
- Платон** (428 или 427 — 348 или 347 до н. э.) — древнегреческий философ, создатель первой классической системы объективного идеализма.
- Беркли Джордж** (1685—1753) — английский философ, представитель субъективного идеализма.
- с. 126 ...они создали даже особое литературное направление... — Имеется в виду романтизм.
- Улепетывающие кирпичи, цепляя за черепичные кровли...** — Это «хроникерское» описание будет затем, в «Книжной закладке» (1927), развернуто во вставную новеллу о бунте Эйфелевой башни (кстати, тоже гибнущей в озере).
- с. 127 **Повилика...** пробовала вывинтиться из обезумевшего мира. — Вместе с указанной «около-световой» скоростью — ироническая ссылка на теорию относительности.
- с. 130 Это случилось 12 февраля 1804 года в 4 час. пополудни. — Дата смерти Канта.
- с. 131 **Время медленно подымало тяжкие веки глазу...** — намек на повесть Гоголя «Вий».

ПРОИГРАННЫЙ ИГРОК. — Впервые: Гостиница для путешественников в прекрасном. 1923—1924. № 3—4. Печатается по СВ-1.

«Шахматная тема» весьма часто возникает в творчестве Кржижановского, она играет существенную роль в «Автобиографии трупа» (1925), «Возвращении Мюнхгаузена» (1927—1928) и других его произведениях. Одна из последних работ писателя — написанная «по модели» шахматной партии театроведческая статья «Драматургия шахматной доски» (1946). По свидетельствам современников, Кржижановский был довольно сильным, остро и оригинально мыслящим шахматистом, стремившимся не только — и не столько — к выигрышу, сколько к созданию цельной — красивой и необычной —

партии. Он весьма пристально следил за шахматными событиями своего времени, подчас откликаясь на них иронически, как, например, на розыгрыш первенства мира между Алехиным и Капабланкой: «В течение двух месяцев в 3 пополудни два дурковатых парня (один с наружностью приказчика из модного магазина, другой с лицом мясника) садились к шахматной доске — и весь так называемый культурный мир таил дыхание, следя за их игрой, считая схватку деревяшек чрезвычайно важным, в центр культуры включенным делом» (ЗТ), а то находил соответствия и проводил параллели неожиданно-убедительные — подобно сравнению театра «Globe» и Второго Московского международного турнира 1935 г. Характерно, что после смерти писателя А. Ю. Наркевич (1910—1969), более известный именно как шахматный деятель, в литературно-критической заметке писал: «Скончавшийся в 1950 г. С. Д. Кржижановский был интересным и остроумным исследователем. Увы, в журналах двадцатилетней давности покоятся его яркие и талантливые статьи о Б. Шоу, Шекспире, Чехове и др., на каждой из которых сказалось незаурядное дарование их автора. Стоит пожелать скорейшего издания избранных статей С. Д. Кржижановского» (Новый мир. 1957. № 6. С. 278).

Кроме того, следует отметить, что «кафкианская» тема «превращения» (подсказанная в данном случае мотивом шахматных «превращений» пешки, достигшей последней горизонтали), как и некоторые другие мотивы гениального австрийца, возникает у Кржижановского задолго до того, как он мог узнать — и узнал — о Кафке и прочитал его сочинения (есть свидетельство, что это произошло в 1939 г.). Вообще переключки прозы и судеб этих двух писателей заслуживают специального исследования. Здесь же только добавлю, что Александр Аникст, много лет безуспешно пытавшийся опубликовать новеллы и повести Кржижановского, на вопрос автора этих строк — почему же, на его взгляд, этого так и не удалось сделать, — ответил: «Просто нам, видимо, оказался ни к чему „приоритет на Кафку“...»

- с. 133 ...мистер Пемброк... — пример ономастики Кржижановского: pembroke — раскладной стол (шахматный столик — *англ.*).

с. 138 И тронуту — пойдено — перевод сформулированного по-французски (pièce touchée — pièce jouée) основного правила поведения партнеров по шахматной партии.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ОДНОЙ МЫСЛИ. Впервые: ВБ. Печатается по этому изданию.

Эта «вторая кантианская» притча наглядно демонстрирует формирование творческого метода Кржижановского и одновременно обнаруживает некоторые композиционные приемы построения его книги новелл. Она как бы «рифмуется» с первой — «Катастрофой», короткий абзац которой здесь становится темой (сюжетом). Именно эти переключки, близкие и дальние («Катастрофа» — «Жизнеописание одной мысли» — «Страница истории» — «Бог умер»; «Квадрат Пегаса» — «Поэтому» — «Проданные слезы»; «Итанесиэс» — «Прикованный Прометеем»; «Якоби и „Якобы“» — «Грайн» — «Четки» и другие, менее явные), связывают отдельные произведения в единую книгу с тщательно продуманной сложной композицией.

«Значительная часть рассказов Кржижановского носит проблемный характер. Это персонифицированные процессы мышления, осуществляемые действующими персонажами» (А. Бовшек). Сравним с высказыванием самого Кржижановского, хоть и о другом писателе, но — очевидно — автобиографическим: «Эдгар По говорил о психологических приключениях, о необычайных авантюрах мысли». Первый рецензент первого посмертного издания Кржижановского А. Лацис назвал его излюбленный жанр «приключениями мысли» (А. Лацис. Приключения мысли // Книжное обозрение. 1989. № 48, 1 декабря).

с. 139 «Звездное небо надо мною — моральный закон во мне». — «Две вещи наполняют душу всегда новым и более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительней мы размышляем о них, — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне...» — знаменитая «формула Канта», впервые выведенная в работе «Основы метафизики нравственности» (1785) и затем ставшая одной из «опорных» в «Критике практического разума» (1788).

- с. 140 ...среди огромного, на диво сдуманного и слаженного *миросозерцания*. — Характерное для Кржижановского «предметное» отношение к «миросозерцанию» как организованному «пространству мысли» (ограниченному глубиной и шириной мышления), можно сказать, ее «жилплощади», существующей по вполне определенным «метафизическим законам»; ср.: «Уложите ваши мысли и будьте готовы в любую минуту переехать в новое миросозерцание» (ЗТ); или: «Было и у меня миросозерцание, но я отдал его одному из моих комических персонажей» (там же); в новелле «Чужая тема» (1929—1930) речь идет, в частности, о множественности «пространственных моделей» миросозерцания.
- с. 141 ...изловив Мысль в расщеп пера... — Ср.: «В сущности, писатели это профессиональные дрессировщики слов...» (см. вступительный очерк).
- Философ не позволял себе засиживаться позже этого часа — ни на секунду... — Неукоснительное следование Канта раз и навсегда заведенному распорядку дня, можно сказать, вошло в поговорку, — например, чуть ли не все писавшие о нем авторы упоминали, что по его ежедневным выходам на прогулку жители окрестных домов «проверяли часы» (правда, А. Гулыга заметил, что в XVIII в. башенный и стенные циферблаты делили час не на минуты, а на четверти, так что тогдашние представления о «пунктуальности» философа едва ли совпали бы с нынешними).
- с. 143 Штумп *думал*; и с Мыслью стало твориться что-то неладное... — Фамилия приват-доцента произведена от нем. Stump — колпак («ученый колпак») и Stumpf — тупой; ср.: «Самое омерзительное на свете: мысль гения, доживающая свои дни в голове бездарности» (ЗТ).
- с. 144 ...приказал Мысли стать эпиграфом... — Ср. «Искусство эпиграфа (Пушкин)» (1936), где, в частности, высказана мысль о создании «Словаря эпиграфов» (которого, как известно, не существует по сию пору); любопытна возникающая здесь переключка с «Якоби и „Якобы“», где *действие* начинается именно с поиска цитаты... у Канта.

- с. 146 Решили похоронить с ним рядом одну из его мыслей... — В 1904 г. семнадцатилетний гимназист Кржижановский внимательно следил — по немецким газетам и журналам — за торжествами, связанными со столетием со дня смерти Канта; примерно к этому времени относится его посвященное Канту стихотворение из цикла «Философы»; шестью или семью годами позже, во время одной из своих «студенческих» поездок за границу, он, будучи в Германии, отправился в Кенигсберг — посетил университет, где преподавал Кант, и побывал на могиле философа.

ГРАЙИ. Впервые: ВБ. Печатается по этому изданию.

- с. 147 Грай и (граи) — в греческой мифологии дети морских божеств Форкия и Кето, внучки земли Геи и моря Понта. Это три сестры — Энио, Пемфредо и Дино, — седые от рождения, у них на троих один глаз и один зуб, которыми они обменивались поочередно. Персей овладел зубом и глазом, поэтому грайи вынуждены были указать ему путь к нимфам, владелицам крылатых сандалий, сумки и шапки-невидимки, необходимых Персею для схватки с Медузой Горгоной. Кржижановский контаминирует этот миф с мифом о Пегасе — крылатом коне вдохновения.
- с. 151 ...прогон любой фразы сквозь все 24 метра и 1 идеологию... — Пародируется «практика» расплодившихся на рубеже 1910—1920-х гг. поэтических студий, «союзов поэтов» и т. п. (иронические пассажи по тому же поводу есть в «Возвращении Мюнхгаузена» (1927—1928)).
- ...парнассские строки были рассортированы... — намек на бурный всплеск стиховедения, в частности работы Брюсова, Белого, Шенгели и др.
- с. 152 фибриллы — нитевидные белковые структуры в клетках, тканях.
- с. 155 ...странная форма деревьев, свешивающихся комлями откуда-то сверху... — Точно описан эффект «прозрения»: перевернутость мира, который лишь впоследствии — усилием мозга — принимает,

так сказать, нормальное положение (писатель серьезно интересовался психологией, физиологией, биологией — ходил на лекции в Московский университет, читал много специальной литературы, не только отечественной, поэтому, часто используя в прозе чисто научные идеи, он неизменно и твердо *знает, о чем пишет*, во всяком случае — на уровне современной ему науки); вообще «тема глаз», зрения — еще одна из постоянных в творчестве Кржижановского (ср., например: «Автобиография трупа» (1925), «В зрачке», «Штемпель: Москва» («Письмо четвертое»), «Фрагменты о Шекспире» (1939, глава «Реализм и гипербола») и др.); в «Сказках для вундеркиндов» она еще раз возникает — в ином ракурсе — в притче «Четки».

- с. 156 ...глядел не под ноги, а куда-то вверх... — Ср. в «Возвращении Мюнхгаузена» (1927—1928; глава V) «европейские рассказы о столице Союза Республик», изображавшие ее как «город наоборот».
- с. 157 Алмазная Грамота Трисмегистоса. — См. комментарий к с. 112.
- с. 159 ретина — то же, что сетчатка.
помолог — специалист по плодоводству (помология — производное от Помоны, римской богини плодородия).
- с. 160 ...юные грайеглазые уверенно шагают по тучам и звездам... — Ср. «Штемпель: Москва» («Письмо восьмое») — фрагмент о демонстрации.

СПИНОЗА И ПАУК. Впервые: СВ-1. Печатается по этому изданию.

- с. 161 Картезий — см. комментарий к с. 115.
Колерус Йоханнес (1647—1707) — лютеранский пастор в Гааге; в 1706 г. написал биографию Спинозы.
- с. 162 Гэреборд Адриан (ум. 1661) — нидерландский философ-картезианец.
- Клаубергус Иоганн (1622—1665) — немецкий философ-картезианец.

ЧЕТКИ. Впервые: Человек. 1990. № 6. Печатается по СВ-1. Мотив «двойного зрения» (*реального и метафизического*), впервые отчетливо обозначенный в этой новелле, впослед-

ствии также становится одним из устойчиво повторяющихся (ср., например, «Клуб убийц букв» (1926), «Книжную закладку» (1927), «Чужую тему», «Швы», «Воспоминания о будущем» (1929)), в нем для писателя концентрируется мысль о единстве и противоположности быта и бытия. Вообще практически все *темы* Кржижановского берут начало из его первой книги. Поэтому необходимо добавить несколько слов к сказанному в комментариях к «Якоби и „Якобы“» и к «Жизнеописанию одной мысли» о композиции «Сказок для вундеркиндов». Эта и следующая новеллы — центр книги (не случайно, если подсчитать общий ее объем, окажется, что эти вещи — ровно посредине). Как уже сказано, «перекликаюсь» с «Якоби и „Якобы“» и «Гриями», эта новелла затем «отзывается» и в «Пнях», и в последнем произведении книги — «Стране нетов». В пронизанном «эхом» пространстве книги основные ее мотивы возникают неоднократно, причем отклик всегда заметно отличается от оклика, потому расстояние между «родственными» новеллами может быть малым, как в случае с «Катастрофой» и «Жизнеописанием одной мысли», но не бывает слишком большим для «эха»; оно ровно таково, чтобы оправдать упомянутое «искажение» и в то же время не дать читающему книгу последовательно, подряд, совершенно отвлечься от прежних новелл.

- с. 164 Я всегда предпочитал.. — отчасти «автобиографическое» (и, разумеется, неполное, ограниченное лишь «философской» ипостасью) объяснение урбанизма; позже город становится уже не только фоном действия новелл и повестей и средой обитания их героев (*homo urbanis*), но и полноправным «персонажем» прозы Кржижановского. Интересно сравнить всегда графически резкие, динамичные, насыщенные конкретно-точными деталями описания города — и нечастые обобщенно-условные загородные пейзажи, где глазу словно не за что зацепиться, как здесь: «зелень — синь, небо — земля — и все...»
- с. 166 Клара Рид... это ее Ia#! — Фрагмент восходит к эпизоду из «Историй барона Мюнхгаузена» — рассказу барона о том, как, в бытность его в России, знаменитая

певица Габриэль (Катарина Габриэли, 1730—1796) подарила ему одну из самых красивых своих трелей, которую он заспиртовал и так, «в стекле», хранил. Из этого, кстати, следует, что Кржижановский задолго до того, как в 1925 г. взялся за сценарий, а в 1927 г. — за повесть о Мюнхгаузене, чрезвычайно основательно проштудировал все, что имело отношение к сему герою-рассказчику, причем — в оригинале, по-немецки: упоминаемый эпизод не вошел ни в английское издание «Приключений барона Мюнхгаузена» Э. Распэ, ни в немецкое — А. Бюргера, он был напечатан единственный раз — в самой первой (1781) публикации «Историй Мюнхгаузена» в журнале «Путеводитель для веселых людей» (под псевдонимом «M-g-s-n»).

- с. 169 ...сказал Сократ: «Философствовать значит — умирать»... — См. Федон, 64а: «Те, кто подлинно преданы философии, заняты, по сути вещей, только одним — умиранием и смертью».
- с. 170 На дороге — щит черепахи... — Имеется в виду апория Зенона Элейского (ок. 490 — 430 до н. э.) про тщетную погоню Ахилла за черепахой.
- с. 171 элеаты (или элейцы) — древнегреческая философская школа IV—V вв., возникшая в Элее (Южная Италия); главные ее представители — Ксенофан, Зенон (элеат) и Мелисс с о. Самос.
- ...глаза умерших метафизиков... — В тетрадах Кржижановского есть стихотворение «Перелет» (середина 1910-х) с эпиграфом: «Метафизики — птицы, питающиеся туманом. Д. Дидро». Вот первый катрен: «Туман крылами рассекая, К потусторонним берегам Метафизическая стая, Покинув „здесь“, взлетает к „там“...»
- с. 172 перцепировать (от *лат.* *perceptio*) — понимать, познавать.

ПОЭТОМУ. Впервые: СВ-1. Печатается по этому изданию.

В этой «сказке», как и в «Квадрате Пегаса», возможно, есть штрихи автобиографического «сюжета» — разрыва Кржижановского с первой женой.

Вместе с предыдущей новелла занимает одно из центральных мест в книге, где философия и лирика существуют как бы параллельно, но неразрывно — как интеллектуальное и чувственное отношение к жизни.

- с. 176 ...Будто бусины по четочной нити... — Вскользь возникнув и став затем самостоятельной темой, образ четок так же вскользь уходит из «Сказок...».
- с. 180 «По Э. Том V» — В 30-х гг. Кржижановским была написана статья «Б. Шоу и книжная полка», в которой, анализируя сочинения драматурга, он определял его «круг чтения», литературные пристрастия, авторов, повлиявших на творчество — и помогающих глубже понять его; подобный опыт продуктивен и по отношению к самому Кржижановскому; в частности, написанное через семнадцать лет после «Поэтому» эссе об Эдгаре По может служить своего рода комментарием к его новеллистической манере (см. вступительный очерк).
- с. 181 «...поэтому возвр...». — Пять лет спустя это «случайно» возникшее сокращение станет неологизмом — ненавистными «возврами», преследующими героя «Книжной закладки» (1927) в его отношениях с издателями (как преследовало оно всю жизнь и автора): «В углышках всех моих рукописей они проставили № и „Возвр“. Целая коллекция „Возвр“».
- с. 184 На зыбких клавишах звучат шаги Весны... — восьмистишие Кржижановского из тетради стихов 1911—1913 гг.
- с. 185 ...поступают как Ахав... — 3 Кн. Царств, 16—22. Но поэтам... надо бы помнить о бороздах плуга... — Кржижановский пародирует «новую критику» (т. е. не слишком хорошо забытую старую — берущую начало в революционно-демократических соотношениях искусства и действительности), разглагольствующую об «истинных ценностях» пролетарского и крестьянского труда и о том, что художник в неоплатном долгу у «кормящего» его народа; кроме того, напрашивается ассоциация с небезызвестной остротой Л. Толстого — про то, что писание стихов подобно хождению за плугом впрысдаку.

Фу Ги. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

«Востоком он не занимался» (Н. Семпер). Новелла свидетельствует об обратном — о серьезном интересе к Востоку, основательные занятия которым относятся к середине 1910-х гг. Во второй тетради, в цикле стихов о философах, есть стихотворение «Нирвана» с эпиграфом: «„Жить в мире, но не быть миром“ — таково правило, которому учили наши старые rischi. — Joga-Sutra». Вот начало этого стихотворения: «Сорок дней не вкушал ни питья он, ни пищи, Над бессонностью мысли свой дух наклоня...» Замечательное знание философии Востока обнаруживается и в «Якоби и „Якобы“».

с. 194 ...родился великий Фу Ги. — Содержание новеллы дает основания предположить, что в своем герое автор «контаминирует» двух персонажей: мифического императора Фу Си, жившего, как принято считать, в III тысячелетии до н. э. (ему приписывается авторство книги «И цзин») и Кун Фу-цзы, т. е. Конфуция (551(2)—479 до н. э.), которому приписывается редактирование всех канонов, в том числе — «И цзин».

кэ ш — наличные (деньги).

кандарин — китайская монета.

Когда отошло первое семилетие жизни... — Ср. у Волошина, пережившего сильное увлечение Востоком, «Автобиографию», рассчитанную в 1925 г., т. е. на сорок девятом году жизни, «на китайский манер» по семилетиям (М. Волошин. Путник по вселенным. М., 1990, с. 158—163); вполне возможно, что Кржижановский, как раз тогда с Волошиным познакомившийся, об этом *совпадении* знал.

«На что вещам тени?» — См. комментарии к «Путешествию тени» и к с. 266.

с. 195 ...с печатью Высшей Академии Империи... — Академия Хань Линь Юань (см. комментарий к с. 528).

Пять Священных Книг — так называемое «Пятикнижие» (или «Пятиканоние» — «У цзин» (буквально: Пять основ) — пять главных книг конфуцианского канона:

1. Книга перемен (И цзин); 2. Книга песен (Ши цзин); 3. Книга историй (Шу цзин); 4. Книга установлений (Ли цзин); 5. Весны и осени (Чунь Цю) — летописи царства Лу.
Пэй Хо — нынешняя транскрипция: Байхэ — «Белая река».

ПУТЕШЕСТВИЕ ТЕНИ. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

Интерес писателя к взаимоотношениям «тени» и «вещи» и к существованию тени без вещи (по аналогии — звука без голоса и т. п.), по собственному его свидетельству, — очень раннего, еще «гимназического» происхождения. В его творчестве это становится художественным преломлением философской антиномии: «я» — «не-я». Стоит вспомнить, что первыми литературными программами, предложенными Кржижановским Бовшек в 1920 г., были «Андрей Белый и Саша Черный» и сказка Шамиссо «Чудесные приключения Петера Шлемиля». В структуре «Сказок для вундеркиндов» эта миниатюра перекликается с заключительной новеллой «Страна нетов» (хотя написана она пятью годами позже).

СТАРИК И МОРЕ. Впервые: СВ-2. Печатается по авторизованной машинописи.

В полном соответствии с изложенными Кржижановским позже в «Поэтике заглавий» (1925) принципами («мастерством озаглавливания»), это заглавие предвосхитило название знаменитой — «нобелевской» — повести Хемингуэя. Еще любопытней, на мой взгляд, смысловая переключка этих двух сочинений: у американского писателя поединок героя с рыбой становится *вопросом* жизни и смерти. Отмечу и ассоциацию с пушкинской «Сказкой о рыбаке и рыбке»: появляющийся из моря (конечно, «волшебный») червяк — то, на что «ловится» *золотая рыбка желаний*, то, что остается, когда желания уже угасли. В «Записных тетрадах» есть заглавие «Вопросительные знаки» — родственной новелле замысел, к которому, в свою очередь, видимо, относится запись: «Жизнь — растрепанный вопросник. Каждое восприятие — вопрос». Вопросительный знак ассоциировался у писателя со старостью: «В сущности, что такое вопросительный знак? Состарившийся восклицательный» (А. Арго).

ИТАНЕСИЭС. Впервые: ВБ. Печатается по этому изданию.

Эта миниатюра может служить примером того, как фокусируется в одну идею и в предельно ограниченном художественном пространстве воплощается широчайшая образованность Кржижановского. Вот лишь некоторые источники сюжета «Итанесиэс» (к слову, немецкой исследовательницей Е. Эгерт высказаны интересные догадки о происхождении этого заглавия — из «полиязычности» автора). Во-первых, греческий миф о «гипербореях» — народе, особенно любимом Аполлоном и щедро художественно одаренном. Во-вторых, существуют изображения Будды с оттянутыми, резко увеличенными ушами — дань тем временам, когда ухо служило знаком особой близости к духовному, божественному началу (да и в европейской традиции музыка — самое «духовное» из искусств, стало быть, из чувств — слух); кстати, герои «Махабхараты» в конце поэмы поднимаются в горы, в «страну предков», где вечные снега, и замерзают там. Наконец, здесь — отзвук теории о пра-расах немецкого антропософа Р. Штейнера, увлечение которым Кржижановский пережил в 1910-х гг.

с. 203 **Азбуковник** — Азбуковники — анонимные рукописные справочники энциклопедического и учебного характера, распространенные в России в XIII—XVII вв.; предназначались для начального обучения грамоте, арифметике, истории и т. д., а также для наставлений воспитательного характера.

ПНИ. Впервые: ВБ. Печатается по этому изданию.

На первый взгляд непритязательная и не лишенная забавности история по неторопливом размышлении оказывается не чем иным, как своеобразным художественным преломлением изучавшихся Кржижановским философских работ, в частности Р. Авенариуса и Д. Беркли, в которых отвергается объективная реальность, существующая вне и независимо от сознания. По Беркли, для вещи «быть» всегда означает «быть в восприятии». Кроме того, Кржижановский одним из первых затрагивает здесь ставшую впоследствии тревожнейшей для XX в. «экологическую» проблему (хлебниковское «леса лысы» отзываются его строкой: «Земля лысеет. Леса обривают. Земля бреется топором.») (ЗТ), при этом революция воспринимается

как экологический сдвиг истории, чреватый катастрофой. Возможна также еще одна, чисто литературная ассоциация, которая после упомянутой (см. комментарий к новелле «Старик и море») переключки с Хемингуэем не выглядит искусственной: лесной сторож, «блюдуший» пни, родствен фонарщику из «Маленького принца» Сент-Экзюпери, поминутно зажигающему-гасящему никчемный фонарь, потому что «таков уговор», который забыли отменить.

с. 206 Окно зажмурило диктовым веком... — От нем. Dikt — фанера.

«НЕКТО». Впервые: ВБ. Печатается по этому изданию.

О конфликте прагматично-математического («точного» или «машинного») и гуманитарного мировоззрений и порожденного им «кризиса гуманизма» годом позже написано эссе «Человек против машины» (1923) (см. вступительный очерк). Тема разрушительного противоречия культуры и цивилизации тревожит писателя на всем протяжении творчества — до последнего цикла «Мал мала меньше» (1937, новелла «Игроки»).

с. 210 Еще в пригостишкины дни моей жизни... — Можно сказать, что Кржижановский — писатель без «детства», страниц о детстве, о детских переживаниях у него почти нет (за единственным исключением — «Проданные слезы»), в вещах с автобиографическими мотивами (и даже в такой *истории жизни*, как «Воспоминания о будущем») он если изредка и пишет о детстве своих героев, то вскользь и кратко, словно торопится миновать эту пору жизни, причем ограничивается гимназическими годами (например, «Квадрат Пегаса»), т. е. временем, когда определяется гуманитарный либо научно-технический образ мысли и жизни.

с. 211 ...представить себе наглядно $\frac{2}{3}$ работника. — Развитие этой темы ср. в «Автобиографии трупа» (1925): «...я наткнулся на строку: „В северной полосе страны на одну квадратную версту пространства — 0,6 человека“. И глаз точно занозило строкой...» И далее — там же — *реализацию* этой «абстракции».

с. 217 — Сколько штыков? — Ср. цитированный во вступительном очерке фрагмент эссе «Человек против машины» (1923).

...ночует то в № 1001, то в № 666.. — Первый номер «зеркален» — напоминание о «теме двойничества»; второй — апокалипсическое «число Зверя», ибо происходящее — «апокалипсис нашего времени» (Розанов).

...на приеме у человека, от серого карандашного росчерка которого... — серая потерявшая пара... — В этом вторичном подчеркивании превалирующего *серого* тона в облике персонажа сказывается «опасение» автора, что останется незамеченной подразумеваемая им ассоциация: «Некто в сером» в драме Л. Андреева «Жизнь человека» (1908) — персонаж, символизирующий власть Рока; безымянный серый человек появится также в «экспозиции» новеллы «Квадратурин» (1926).

МУХОСЛОН. Печатается по авторизованной машинописи; в оригинале впервые. В переводе новелла вошла в немецкое издание прозы Кржижановского (Sigismund Krzyzanowski. *Lebenslauf eines Gedankens*. Kiepenheuer. Leipzig, 1991).

В основе — излюбленный Кржижановским прием «реализации метафоры»: поговорки «сделать из мухи слона». Он пояснял: «Фантастический сюжет — метод: вначале берут в долг у реальности, просят у нее позволения на фантазм, отклонение от действительности, а в дальнейшем погашают долг перед кредитором-природою сугубо реалистическим следованием фактов и точнейшей логикой выводов» (ЗТ). Вторично в книге (после «Чуть-чутей») возникает «гулливерско-лилипутский» мотив. В разработке его автор, естественно, следует за Свифтом, который, «как истинный художник, позволяет себе только по одному разу нарушить меру — уменьшить или увеличить тела людей, в окружении которых живет его герой. В дальнейшем он... нигде не отступает от реалистической манеры письма» («Страны, которых нет», 1937).

«СТРАНИЦА ИСТОРИИ». Впервые: СВ-2. Печатается по авторизованной машинописи.

с. 221 ...работы о сервитутном праве. — Сервитутное право (или сервитут) — первоначально разработанное еще в классическом римском праве вещное право поль-

зования в каком-либо отношении чужим имуществом (например, право проезда или прохода через чужой земельный участок); может заключаться и в ограничении права пользоваться своим имуществом.

В конце марта 1917 года... — Довольно редкая у Кржижановского точная датировка происходящего указывает на то, что перед нами — еще одна «реализация метафоры»: Февральская революция перевернула «страницу истории».

с. 223 Лацарус Мориц (1824—1903) — немецкий философ.

ПРОДАННЫЕ СЛЕЗЫ. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

Сказка написана для «взрослой Неты», как писатель звал свою жену Анну Бовшек (к реальной А. Бовшек она, впрочем, отношения не имеет). Единственная, условно говоря, «детская» вещь у Кржижановского (см. комментарий к «Некто»). Можно сказать, что ее сюжет — гиперболизированный мотив Достоевского о цене «слезы ребенка» (замечено И. Делекторской). О глазах «взрослой Неты» пять лет спустя написана новелла «В зрачке».

с. 229 ...над... листами «слезосбора»... — Ср.: в новелле «Желтый уголь» (1939) — «абсорбаторы», собирающие желчь, аккумуляторы энергии злобы.

ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

Эта и три следующие новеллы, как и «Путешествие тени», дописаны и добавлены к составу «Сказок» в 1927 г.; во второй половине двадцатых годов среди наиболее зрелых произведений Кржижановского они выглядят неожиданными — и сюжетами, и манерой письма: только тема, ничего более (как в цикле «Мал мала меньше» или в «Записных тетрадах»). Сгруппировав их вместе, писатель как бы дает читателю «передышку» — перед четырьмя последними, важными для него (и для замысла всей книги) новеллами.

с. 234 арзис (арсис) — слабая часть стихотворной стопы, противоположная сильной, ударной, — тезису; Кржижа-

новский ошибочно применяет термин, — вероятно, следуя за Гегелем, который именовал арсисом сильную часть стопы.

ГОЛОВА С ПОКЛОНОМ. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

В первой «Записной тетради» этот сюжет выглядит следующим образом: «Сказка: морозный день. Шел человек, а в голове шла мысль. Навстречу — лицо. Человек снял шапку и долго не надевал — пока заметили. Мысль простудилась, зазябла и потеряла голос. Какая это была мысль?»

ЖАН-МАРИ-ФИЛИБЕР-БЛЕЗ-ЛУИ ДЕ КУ. Впервые: СВ-2. Печатается по авторизованной машинописи.

В «Записных тетрадях» есть несколько набросков условно-романтических *тем*, из которых реализована только эта, связанная с записью: «Дуэль: это искусство вежливо убивать» — и с неослабным интересом к именам литературных персонажей (в данном случае имя и становится «сюжетом» новеллы). Кроме того, сохранилось начало (несколько глав) «рыцарского романа» «Белая мышь», где есть и «аристократические» имена, и готовность героя любой спор разрешать поединком. Однако в завершенных вещах дуэль, с которой здесь все начинается, возникает под пером Кржижановского один-единственный раз. Сумевший однажды изложить историю литературы XIX в. в двухчасовой лекции на тему «Дуэль в русской литературе» (см.: А. Арго), писатель считал, что — от Пушкина до Чехова и Куприна — все фабульные и психологические аспекты дуэли литературой исчерпаны.

с. 236 Вы наступили мне на тень. — См. комментарий к «Путешествию тени».

ПОЛСПАСИБА. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

Сказка связана с начавшейся в середине 1920-х гг. работой Кржижановского над литературоведческой темой «Фольклор как источник сюжетов». Работа эта не получила самостоятельного завершения, однако некоторые ее положения были использованы в других статьях (в частности, о драматургии

Островского), а изученный в ходе ее материал — в новеллах (например, «Когда рак свистнет» (1927)). В докладе «Пьеса и ее заглавие», ссылаясь на Льва Толстого, Кржижановский говорил: «Он (Толстой. — В. П.) находит, что в каждой почти, — не скрою, что у него написано „почти“, — русской поговорке скрывается сюжет, и удивляется, как этого люди не видят». В данном случае, кроме поговорки цитируемой, автор подразумевает и другую: «Спасибом сыт не будешь».

ПРИКОВАННЫЙ ПРОМЕТЕЕМ. Впервые: ВБ. Печатается по этому изданию.

Речь идет о трагедии «Прометей прикованный». Дата ее написания не установлена. В первой трети XX в. некоторые специалисты высказывали сомнения в принадлежности ее Эсхилу. Новелла — своего рода отклик на бурные научные споры (не единственный у Кржижановского: ср., например, «Кунц и Шиллер» и «Рисунок пером» (1934)).

с. 242 стилос — заостренный бронзовый стержень для нанесения текста на покрытую воском дощечку, второй конец его делался плоским, чтобы стирать написанное.

...в полустадии от восточных ворот... — Стадия — древнегреческая мера длины, равная 600 футам (182,88 м).

...третьего года LXXIX Олимпиады... — Олимпиада — древнегреческая единица времени: четыре года между двумя последовательными Олимпийскими играми; эра греческого времяисчисления начинается первой Олимпиадой (776 до н. э.); нетрудно подсчитать, что действие новеллы происходит в 467 до н. э., когда «старик Эсхилу» (525—456 до н. э.) было 58 лет.

антистрофа — композиционная форма в хорах и песнях античной трагедии, где ритм первой строфы повторяется и во второй, именуемой антистрофой.

Близились весенние Дионисии. — Первоначально эти аттические праздники в честь бога Диониса отмечались в ноябре—декабре и назывались: Сельские («осенние»); позже к ним добавились Городские, или Великие («весенние») — 5 дней в феврале—марте.

КУНЦ И ШИЛЛЕР. Впервые: СВ-1. Печатается по этому изданию.

Написанная «под диктовку темы» в духе немецких романтиков, новелла перекликается и с пушкинским «Каменным гостем». В мистифицирующей авторской сноске, отрециваясь от «авторства», писатель пародирует, так сказать, «уцененный романтизм», ставший расхожим популярным чтением в пору символизма. Из этой фантазии родился позже (1936) замысел статьи «История ненаписанной литературы» — увы, неосуществленный.

с. 247 В немецком городке (название забыл)... Памятник Фридриху Шиллеру... посреди Marktplatz'a... — «Название» в данном случае несущественно: памятники Шиллеру, расположенные примерно так же, как изображенный в новелле, есть едва ли не в каждом немецком городе и городке.

...в юбилейные Шиллеровские дни, весной 1905 года... — широко отмечавшееся в Германии столетие со дня смерти Иоганна Фридриха Шиллера (1759—1805).

с. 248 ...впоследствии затерянная, ни разу не опубликованная пьеса. — «Свернутая тетрадка» на «острых коленях» памятника, — судя по всему, последняя драма Шиллера «Demetrius» («Димитрий» — сюжет из русской истории начала XVII в., привлекая, как известно, и Пушкина), работу над которой оборвала смерть поэта; сохранился подробный план драмы, и на протяжении всего XIX в. бытовала версия о существовании ее завершеного, хотя бы вчерне, варианта и делались попытки его разыскать, пока наконец исследователи не пришли к выводу, что имеющаяся в их распоряжении рукопись-фрагмент — все, что было написано; отзвук этой полемики, вероятно, и послужил Кржижановскому поводом к новелле.

с. 249 «Песнь о колоколе» — баллада Шиллера из цикла 1797 г., опубликованная позже остальных, в 1799 г.

...декламировал из «Телля». — «Вильгельм Телль» — последняя завершенная драма Шиллера (1804).

с. 254 Башмак... отчаянно взмахнув тесемками, кинулся в лужу. — Это комическое самоубийство

башмака — одно из первых у Кржижановского проявлений «человеческого» поведения вещей, точнее сказать — поступков, совершаемых *за* людей: прием, которым он впоследствии пользуется довольно часто.

БОГ УМЕР. Впервые: Человек. 1990. № 6. Печатается по СВ-1.

с. 255 ...было предсказано одним осмеянным философом: умер Бог. — Имеется в виду Фридрих Ницше (1844—1900); новелла — реализация этой философско-поэтической метафоры, осуществленная в точном соответствии с «теорией фантазма» (или «экспериментального реализма»), изложенной впоследствии и в «Возвращении Мюнхгаузена» (1927—1928), и в «Странах, которых нет» (1937), и в эссе об Эдгаре По (1939) (см. вступительный очерк).

Был херувим, именем Азанил. — Или Азазель (у Булгакова в «Мастере и Маргарите» Азazelло) — в апокрифической «Книге Еноха» (II в. до н. э.) падший ангел, со-вратитель человечества, совершивший, по выражению С. Аверинцева, «акт враждебного Богу цивилизаторства»; здесь — принесший людям *весть*, что Бога больше нет, т. е. возвестивший эру безбожия.

с. 257 Лампочка горела, а звезда потухла. — Если в первый день творения были созданы небо и звезды, то и крушение мира «по смерти Бога» начинается со звезд и неба.

с. 258 Закрыв глаза и понял: поэзии нет. — Ср. пушкинское: «Но лишь божественный глагол До слуха чуткого коснется...»; «смерть Бога» есть и гибель поэзии.

с. 262 ...омочив... перо в баночку с FCN... — FCN — яд мгновенного нервно-паралитического действия (фенольный цианид).

СТРАНА НЕТОВ. Впервые: ВБ. Печатается по этому изданию.

К теме этой новеллы Кржижановский возвращается три года спустя («Штемпель: Москва» — «Письмо восьмое», где «страной нетов» писатель называет литературу). Затем пореволюционная Москва предстает «страной нетов» в «Возвращении

Мюнхгаузена» (1927—1928). См. также комментарий к «Путешествию тени». В рассказчике этой новеллы есть нечто и от Гулливера, и от Мюнхгаузена. А сама тема «пришельца» из «наоборотного» мира, отчасти переключаясь с Уэллсом (кстати, Кржижановским был переведен «Освобожденный мир» Уэллса), предвосхищает «моду» на фантастику последней трети XX в., заодно изящно пародируя «формально-логический» подход к философии, иронизируя над претензиями этих «нетов» (порождение антиномии «я — не-я») на «истинность» (тут хорошо бы вспомнить первый эпиграф к первой опубликованной вещи Кржижановского).

Однако, если вдуматься в то, что эта новелла — последняя, завершающая тщательно продуманную постройку книги, станут более отчетливы ее переключки не только с «Четками» или «Якоби и „Якобы“», весьма очевидные (напр., и содержание «рассказа», и интонация «рассказчика» подчас таковы, что словно «Якобы» повествует про «страну нетов»), но с доброй половиной (если не более того) «сказок». «Страна нетов» *как бы* «подводит черту» под мучительным для Кржижановского спором-выбором между философией и искусством — и в то же время показывает, что и сама эта полемика может стать предметом и материалом искусства.

с. 265 ...к великому Народу естей... — Подобного типа неологизмы характерны для работы Кржижановского со словом: «империя чуть-чутей», «народ еле-елей» («Чуть-чути»), «нитонисетины», «итоисетины» («Книжная закладка»), «авоси», «небоси», «какнибуди» («Когда рак свистнет»), «абецеды» и «абевеги» («Странствующее „Странно“»), «запас пустей» (письмо к А. Бовшек) и т. п.

Один расфилософствовавшийся нет... — Имеется в виду Кант.

с. 266 ...отбрасываются ли тени вещами.. — Ср.: «Фрагменты о Шекспире» (1939, глава «Шекспир и пятиклассник»): «Раньше казалось... вещи отбрасывают тени, а теперь получилось: тени отбрасывают вещи, а может быть, вещей и вовсе нет, а есть лишь „вещи в себе“».

...когда нет влечется к нете, *не зная, что неты нету* — игра слов, таящая «признание», адресованное Нете — Анне Бовшек; родство этих «интимных»

имен возникает, по созвучию, в «литературе», откуда переходит в «жизнь»: потом Кржижановский часто — не только в прозе, но и в письмах — называет себя «нетом»: тут и «мужской род» от Неты, и «наоборотность» по отношению к окружающим, и литературная «не-жизнь» (ср.: «Всю мою трудную жизнь я был литературным небытием...»).

- с. 267 ...закончившему первый том «Этики»... — «Этика» — трактат Спинозы.
«Мысль, следовательно, существую» — См. комментарий к с. 114.
- с. 268 ...делят обычно свое все на «я» и «не я». — Имеется в виду философия Канта.
- с. 269 ...внешний мир — это просто скверная привычка так называемой нервной системы. — Подразумевается теория Беркли.
...возникнув в бытии вследствие какого-то непостижимого просмотра или ошибки... — «Случайность» возникновения жизни на Земле, вероятность совпадения множества необходимых для этого условий — одна из популярнейших тем как философии, так и естественных наук начала века.
...искусно упражняясь в удивительном *умении не знать*... — Намек на известную богословскую формулу: «Верую, потому что абсурдно».
- с. 270 ...в специфически нетовом учреждении, *театре*. — Ср. последнюю главу «Философемы о театре» (1923).
- с. 274 «Все люди смертны...» — Ср. прямую полемику с этим эталоном формальной логики: «Моя художественная логика: Все люди смертны. Кай — смертен. Следовательно, Кай, хоть немножко, да человек» (ЗТ).
- с. 275 ...легенду о корабле «Argo»... не сказка ли о крушении ergo... — «Argo» — в греческом мифе корабль, на котором Ясон и его спутники («аргонавты») отправились в страну Эю (Колхиду) за золотым руном. Характерное для Кржижановского отношение к слову — и его «превращениям» вследствие потери, приобретения, замены, перемещения одной буквы; ср.: «Некто» и «Ник-

то» («Некто») или: «Слово „страсть“ заболело: блуждающее „а“ перетиснулось через „р“, а в пустоту впучилось круглое мертвое „о“ — и: „старость“» (ЗТ).

- с. 276 ...здесь все было залито не покидающим зенита светом. — Ср.: о мистерии в «Философеме о театре» (1923).

Странствующее «Странно»

СТРАНСТВУЮЩЕЕ «СТРАННО». Впервые: СВ-1. Печатается по этому изданию.

«Сочетание биологии с математикой, смесь из микроорганизмов и бесконечно-малых — вот моя логическая стихия» (ЗТ). Запись сделана через несколько лет после завершения «Странствующего „Странно“» — и выглядит формулой, выведенной из собственного сочинения.

Это — первая крупная вещь, написанная Кржижановским, предельная насыщенность, плотность письма которого делает тридцатистраничную новеллу «повестью», а повествование в семьдесят—сто страниц — «романом». Это, если угодно, три путешествия «Нового Гулливера» — в пространстве, во времени и в существе («внутри») человеческой жизни (вставные новеллы в каждом из «путешествий» подчеркивают сходство повести с книгою Свифта, да и метод «гиперболизации», хотя в данном случае вернее сказать — «литотизации», преуменьшения, применяемый Кржижановским, в точности соответствует его же анализу метода Свифта — см. вступительный очерк и статью «Страны, которых нет»). Одновременно замкнутость («круг») каждого из путешествий наводит на ассоциацию с Данте, с нисхождением — по кругам — в «ад», который, по Евангелию, есть в душе каждого (см. об этом далее).

- с. 280—281 ...передвинуло меня в пространстве всего лишь на семьдесят футов — т.е. примерно на 20 м (точно — 21,336 м).
- с. 281 ...превратиться в чужестранца и переехать из Санкт-Петербурга в Ленинград. — Во «вступлении» к повести — два *предварения*: к путеше-

ствию в пространстве (первый абзац — о гипотетическом путешествии самого Пространства) и во времени, которым является первое семилетие революции, путь от Октябрьского переворота к переименованию Петербурга в Ленинград.

...моя эзотерическая библиотека давно уже выменена на муку и картофель... — Ср. о расставании с книгами в «Штемпель: Москва» («Письмо тринадцатое»): «Не потащить ли мне завтра же моего Канта на Сухаревку?» и в первой главе «Клуба убийц букв» (1926) — единственный для героя способ добыть деньги для поездки на похороны матери.

с. 283 ...тело слона стянуть в комок меньше мушьего тела. — Ср. противоположное «превращение» в новелле «Мухослон».

с. 288 ...кверху по кирпичному русту полз плющ. — Руст — кладка с выступающей лицевой гранью; ср. подъем героя от подоконника к подоконнику с помощью плюща — с первым путешествием Мюнхгаузена на Луну — благодаря необыкновенно быстро растущим «турецким бобам».

с. 290 ...я медленно, шаг за шагом... продвигался к внутреннему краю подоконника. — Отсюда и далее (до конца первой части) мотив свифтовского «Второго путешествия Гулливера» пародийно переплетается с книгой Ксавье де Местра «Путешествие вокруг моей комнаты» 1794; первый русский перевод — 1802); ср. также в «Странах которых нет» (1937, глава «Реализм и гипербола») — фрагмент о «литературном микроскопе».

нервюра — выпуклое ребро свода; образует каркас.

с. 291 альвеола — пузырьковидное образование в легких, через стенки которого происходит газообмен.

с. 292 матрикула — зачетная книжка.

с. 294 лектики — носилки.

...вздымаясь шумными антиклиналями... — Антиклиналь — складка слоев горной породы, обращенная выпуклостью вверх; в ядре — более древние, крылья сложены более молодыми породами; в существе метафоры, таким образом, — смысловая ассоциация с утрированно «древним» профессором и его молодой женой.

с. 300 ...трактат Канта о лиссабонском землетрясении... — одна из самых ранних работ философа, написанная под сильнейшим впечатлением разрушительного кактаклизма в португальской столице в 1755 г. ...размышления Аруэ Вольтера на ту же тему. — Вольтер (1694—1778) — псевдоним Франсуа Мари Аруэ; имеется в виду «Поэма о гибели Лиссабона» (1756, русский перевод — 1763), в которой оспаривается учение Лейбница о предустановленной гармонии; по словам самого Вольтера, это землетрясение разрушило в нем веру в Божественный промысел.

с. 301 Аристотель (384—322 до н. э.) — древнегреческий философ и ученый-энциклопедист; герой повести интерпретирует полемический по отношению к «Государству» Платона фрагмент «этических» размышлений Аристотеля об идеальном обществе и оптимальном устройстве государства.

Как Данте, заблудившийся в лесной чаще. — Имеются в виду первые стихи «Божественной комедии»: «Свой путь земной пройдя до середины, Я очутился в сумрачном лесу». Эта ассоциация с Дантовым «Адом» впоследствии повторяется, усиливается, развивается.

Если бы я мог, я бы бросил позади себя... — Мысль о возможной эмиграции — на удивление — почти не встречается ни в прозе, ни в письмах Кржижановского, хотя, насколько мне известно, такой вариант — до отъезда из Киева в Москву — им рассматривался; здесь — редчайшее, вскользь, ее появление...

...лес, который, подобно Бинэмскому, сам двигался на меня. — По-русски более принято: «Бирнамский»; имеется в виду эпизод из «Макбета»; на эту тему позже будет написана новелла «Утренняя прогулка леса» (цикл «Мал мала меньше» (1937—1940)).

с. 302 ...половой щетке, выметавшей меня в обгон мыслям вон из чужой квартиры. — Ср.: «Сор, который я выметаю каждый день через порог комнаты, соринки, застрявшие на пороге... нет, каждая соринка в миллиарды раз живее и значительнее небытия во всем его величии» (ЗТ).

- ...присутствую на очередном заседании обычных домашних Злыдней. — См. фрагмент письма к А. Бовшек об этих существах (вступительный очерк).
- с. 305 педометр (в обиходе — шагомер) — прибор, измеряющий пройденное пешеходом расстояние.
- с. 307 ...я разжал руку и полетел вниз... — Этот Злыдень, толкающий героя в спирт, «родственник» андерсеновского «чертика», сталкивающего в огонь «Стойкого оловянного солдатика»; ассоциация в дальнейшем поддержана еще одной — уже прямой — ссылкой на Андерсена.
- с. 311 ...не видя иного способа, я стал пить. — О действии алкоголя Кржижановский, имевший эту, если можно так сказать, нараставшую с годами «слабость», размышлял неоднократно и в различных аспектах, анализировал и даже *выстраивал свои отношения* с алкоголем; например, так: «Опьянение дает глиссандо мироощущений до мирнеощущения включительно» (ЗГ; о том же — в одном из писем к А. К. Буцкому); ср. также новеллу «Дымчатый бокал» (1939).
- ...как в сказке Андерсена... — Имеется в виду «Оле-Лукойе».
- с. 314 ...чтобы создать мне славу новоявленного Калиостро. — Калиостро Алессандро (Джузеппо Бальзамо, 1743—1795) — итальянский авантюрист, алхимик и «чародей».
- с. 315 ...с той же быстротой, с какой шпага Мюнхгаузена... стучала о верстовые столбы. — Ссылка на эпизод «Приключений» барона как бы поясняет фрагменты «мюнхгаузенианы» (например, повествование Короля Червей) в этой «свифтиане».
- ...любовь моя день ото дня становилась все тревожнее и печальнее. — Ср. первую часть главы с новеллой «В зрачке».
- с. 319 Этим несчастным плохо пришлось во время недавней революции: в них не было... *иммунитета времени*. — Мотив, получивший продолжение в повести «Воспоминания о будущем» (1929).
- Шарко Жан Мартен (1823—1893) — врач, один из основоположников невропатологии и психотерапии, создатель клинической школы; на первом этапе своей деятельно-

- сти занимался исследованиями некоторых тяжелых болезней, а также связанных с ними изменений крови.
- с. 321 ...отрок Якоби, случайно ударившись мыслью о восемь книжных значков... — эпизод биографии философа Ф. Якоби (см. новеллу «Якоби и „Якобы“» (Комментарии автора).
- с. 328 ...«железной тишины», на которую впоследствии... покушалось перо одного из ваших писателей. — Имеется в виду популярная в начале двадцатых годов книга Николая Николаевича Ляшко «Железная тишина» (1922).
- с. 329 ...две магии — черная и белая, сочетающиеся, как белые и черные клетки шахматной доски. — О «теме шахмат» у Кржижановского см. комментарии к новелле «Проигранный игрок».
- ...я... был больше похож на шахматную деревяшку, заблудившуюся в черно-белой путанице, чем на шахматиста. — Как уже упоминалось, «шахматные» темы и мотивы регулярно возникают и в прозе Кржижановского («Проигранный игрок», «Автобиография трупа» (1925), «Моя партия с королем великанов» (1933)), и в статьях («Крепь» (1923), «Драматургия шахматной доски» (1946)), и в его письмах к А. Бовшек: «Читаю — правда, с перебоями — Ленина, Плеханова, Каутского, Бернштейна et set., стараясь решить мучающее меня „или — или“, и не знаю, право, кто я: шахматист, *слишком* задумавшийся над очередным ходом, или портач, *уже* проигравший игру. Впрочем, может быть, все, даже победители, умеют лишь проигрывать время на выигрыш своей игры» (14 июля 1925 г., из Москвы в Одессу).
- с. 332 Я не гожусь в Лепорелло... — намек на эпизод из пьесы Мольера «Дон Жуан, или Каменный Гость».
- ...проник сквозь полуоткрытые губы и провал искрошившейся пломбы... — Ср. замысел новеллы «Под пломбой» (ЗТ, комментарий к «Чуть-чуть»).
- ...достиг кортиевой спирали... — Кортиева спираль, или «кортиев орган», — расположенная в улитке уха часть звуковоспринимающего аппарата, преобразующая звуковые колебания в нервные раздражения (название — по имени итальянского гистолога А. Корти).

- ...чтобы превратить ее в модель Дантова ада. — Второе упоминание Данте усиливает ассоциацию с первой частью «Божественной комедии» (причем «в круге втором» у героя — «римский вожатый»).
- с. 333 ...о «гипотетическом человечке», измышленном Лейбницем в одном из его писем к Косту... — Пьер Кост (1668—1747), французский литератор, переведший ряд произведений английских философов; переписывался с Лейбницем.
- Скорбная тень флорентийца... — т. е. Данте; далее — намек на один из фрагментов «Ада»; третье и последнее упоминание Данте в этой новелле совпадает с вступлением героя «в круг третий».
- с. 334 Прежде всего надо было проникнуть к врагу в кровь. — Отсюда и далее прослеживается интерес Кржижановского к исследовательской деятельности А. А. Богданова (Малиновского, 1873—1928), известного революционера, ученого и автора научно-фантастических романов, с 1918 г. занявшегося серьезным изучением процессов, происходящих в крови; в 1926 г. он создал и возглавил Институт переливания крови; два года спустя погиб, проделывая на себе опыт, от заражения крови; таким образом, вся революционная атрибутика и символика фрагмента (агитация среди «пролетариев крови», закупорка вен как «строительство баррикад» и т. п.) неожиданно становится *предвиденьем судьбы* одного из тех, кто «пустил кровь» стране и от крови (буквально) погиб.
- с. 335 ...я сыграл... свой Totentanz... (Пляска смерти — нем.) — в дохристианской традиции у германских племен — погребальный обряд: яростные пляски и песни вокруг смертного одра и на месте погребения (противопоставленные празднику плодородия); несмотря на строгий церковный запрет, обычай сохранился до XVIII в. (а кое-где и позднее) и послужил темой для многих художников (например, знаменитая гравюра Ганса Гольбейна Младшего) и музыкантов.
- с. 336 ...внутри этих вросососных мешков... — Вросососный — всасывающий злобу (от *нидерл.* wrok — злоба), иначе говоря, нейтрализующий избыток адреналина в крови.

Венартпроф — т. е. Венозно-артериальный профсоюз.
Менений Агриппа (? — 493 до н. э.) — римский патриций, с 503 г. консул; при первом восстании плебеев (494) был послан сенатом на Священную гору, чтобы уговорить народ вернуться в Рим, что он и сделал, рассказав басню о членах тела, сравнивая их с народом, и желудке — одном для всего организма.

Чужая тема

Рано столкнувшись с «проблемой печатания», то есть эмпирически удостоверившись в том, что чуть ли не любое его сочинение встречает на пути к публикации серьезные, чаще всего — непреодолимые, препятствия, Кржижановский вполне рационально «разделил» эти два занятия — писательство и попытки издания. Отсюда — специфические трудности, возникающие при работе с его архивом. Написанное он группировал в «книги» по чисто творческим соображениям; композиция при этом определяется системой внутренних связей, тем, насколько отчетливо позволяет она обозначить движение, «додумывание до мускула» тех или иных художественных идей, никакие «конъюнктурные» соображения в расчет не принимаются. Хронологическая последовательность произведений не играет роли, датировка разве что выявляет некоторые «сквозные» мотивы, к которым писатель обращается снова и снова, на протяжении двух десятилетий. По-другому обстоит дело, когда появляется — или мерещится — возможность выпустить книгу. В таком случае делается попытка выстроить некое, условно говоря, «идейное равновесие», т. е. «защитить» рукопись от цензуры, полемика с которой в ту пору еще казалась возможной. Этому служила, в частности, и авторская датировка тех или иных вещей, к которой исследователю надо относиться с известной осторожностью. Кржижановский датировал все свои сочинения. Однако нередко впоследствии менял дату. Иногда это бывало связано с поздней правкой, даже незначительной; чаще диктовалось «тактическими» задачами: выдать новую вещь — во избежание нежелательно-прямых ассоциаций и аллюзий — за

написанную давно, в другой ситуации, либо, напротив, прежнее за новое, только что завершённое (это касается и журнальных публикаций). Такую особенность писательского архива в России трудно, если вообще возможно, доходчиво объяснить тому, кто в России не жил либо недостаточно подробно знаком с ее историей, в чем мне довелось убедиться, рассказывая о Кржижановском во Франции или Австрии, где понятие «личный архив» никак не связано, например, с «согледатайством», с тем, что твои бумаги легко могут стать «уликами» против тебя и твоих близких. С «мистифицирующими» датами мне пришлось сталкиваться и при работе с другими архивами, в частности — Георгия Шенгели. При этом расчет на память, которая сохранит все хронологические «сдвиги», как правило, не оправдывается: срабатывают защитные механизмы психики, уязвимой для всякого рода «двойной бухгалтерии», восстановить «истину» — без документальной опоры — оказывается нереальным (о том же мне говорил А. Синаевский: в своей опасной «игре в прятки» с «органами» он нередко путал следы ложными датами, а после, когда стало возможным их восстановить, не смог — по памяти — этого сделать, в конце концов махнул рукой, оставил как есть, благо — и даты к той поре уже стали частью произведений, их «художественными элементами», ничуть не менее «фантастическими», чем остальные). Поэтому уверенно можно говорить только о датировке «Сказок для вундеркиндов», а также почти всех повестей. В остальных случаях указывается авторская дата — за неимением иных свидетельств, однако всякий раз, когда есть к тому какие-либо основания, высказаны сомнения в ее точности и пояснены поводы к ним.

Рукопись «Чужой темы» — первая, сложившаяся уже в Москве, около 1930 г. Ни одному издательству она не предлагалась. Однако в 1928 г. была сделана неудавшаяся попытка выпустить — в издательстве «Никитинские Субботники» — книгу под названием «Собиратель щелей» (см. вступительный очерк). В архиве Е. Никитиной сохранилось «Содержание» этой книги: кроме заглавной вещи, это «Швы», «Квадратури», «Комната радости», «Безработное эхо», «Товарищ Брук», «Мост через Стикс», «Автобиография трупа», «Книжная закладка». Как видим, толь-

ко две новеллы, «Собиратель щелей» и «Швы», включены в «Чужую тему». И в то же время, если верить «автобиблиографии» Кржижановского, четырех «срединных» новелл («Комната радости» — «Мост через Стикс») в рукописи двадцать восьмого года быть не могло: они датированы 1931—1933 гг. В данном случае, однако, более убедительным представляется документ, сохраненный Никитиной, у которой не было никаких оснований затуманивать реальную ситуацию.

Сопоставление «Чужой темы» со «Сказками для вундеркиндов» позволяет увидеть как последовательность творческих установок писателя, так и изменения его манеры, происшедшие в середине двадцатых годов, в частности, увеличение, так сказать, удельного веса «приключенческого» и «авантюрного» элементов в фабулах его «экспериментов в уме».

ЧУЖАЯ ТЕМА. Впервые: ВБ. Печатается по этому изданию.

Новелла — «парная» к написанной двумя годами ранее «Книжной закладке», их центральные персонажи — своего рода двойники — «философский» и «писательский», — оба наделены несомненными автобиографическими чертами и даже внешним сходством с автором. Причем писатель — «безыменен», его *имя* — книги, если их нет — нет *имени*, оно не может закрепиться в сознании читателя, публики. Иначе с философом (с «мыслью как таковой»): Сократ не написал ни слова, но *имя* его осталось в «Диалогах», написанных (записанных) учениками, прежде всего — Платоном. Легко заметить, что и «Чужая тема» представляет собою череду эпизодов, напоминающих классические философские «диалоги».

- с. 348 ...миросозерцание, которое я мог бы уступить вам и в рассрочку... — См. комментарий к с. 140.
- с. 349 «Я знаю мир, где люди ходят...» — Ср.: «Мы похожи на людей, которые ходят ночью по солнечной стороне, думая, что там теплее» (ЗТ).
- с. 350 ...тот длинный стол и синий круг абажура у его края... — По некоторым признакам и по описываемой атмосфере, «прообраз» этих чтений — «Никитинские Субботники» (см. вступительный очерк).

- «Тринадцатая трясавица» — вариант легенды, излагаемой также и в повести «Штемпель: Москва» (см. комментарий к с. 523).
- с. 352 Савл Влоб — характерный пример ономастики Кржижановского: имя персонажа — имя апостола Павла до обращения в христианство; таким образом сразу дается понять, что этот философ не обращен в «новую веру» и не в состоянии к ней приспособиться, сталкивается с нею «в лоб».
- с. 353 Кресла изучателей судеб и кораблекрушений стали рядом. — Поскольку речь идет о «судьбах русской интеллигенции», возникновение по ассоциации, «по смежности», *темы* кораблекрушений едва ли случайно: для автора и его современников еще не стала «историей» высылка *на пароходе* из Советской России *потерпевших крушение* в столкновении с новой властью выдающихся представителей русской интеллигенции (среди которых были и знакомые Кржижановского), метафора реализовалась самой жизнью — их судьба была буквально поставлена под угрозу *кораблекрушения*.
- с. 354 ...соблюсти конвенансы... — т. е. приличия, общественные условности (от *фр.* *convenance*).
- с. 355 ...как возникает в критике его критика... — Последующий монолог — по аналогии с темой доклада «Актер как разновидность человека» (см. вступительный очерк) — можно назвать: «Критик как разновидность нечеловека».
- ...я говорю о Геннекене... — Геннекен Эмиль (1858—1888) — автор сыгравшей значительную роль в истории европейской критики книги «*La critique scientifique*» (в русском переводе: «Опыт построения научной критики» (1892).
- Если разрешить какому-нибудь персонажу, так сказать, безбилетно в жизнь... — Мотив «билета» в жизнь (и в литературу) периодически встречается в «Записных тетрадах», причем в двух вариантах: «вокзальном» («У меня перронный билет в литературу...») и «театральном» («...по Шекспиру: если „весь мир театр“, то для *присутствия* в нем нужен „билет“ в бытие»); нако-

нец, еще одна — оттуда же — «реплика», легко представляемая в исполнении Савла Влоба: «Оптимистическая поправка к Достоевскому. Ив<ан> Карамазов грозит вернуть свой „билет“ в бытие. В одном он, безусловно, неправ: это не билет, а *контрамарка*. И незачем устраивать философический скандал».

с. 356 ...в критики идут отрицающие бытие своего автора... — Этот пассаж о литературном, «внутрикнижном» атеизме перекликается с размышлением героя «Швов» об атеизме «городском».

...не автор измышляет персонажей, а они, персонажи, измышляют авторов. — Мысль об «обратной связи» творца и творения, о «зависимости» автора от своих персонажей близка идеям, высказанным Н. Евреиновым в его фундаментальной работе «Театр для себя» (ч. 1—3, 1915—1917), а также, по всей вероятности, знакомой Кржижановскому имевшей сенсационный успех пьесе Л. Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора» (1921); добавлю, что интерес Кржижановского к еврейновской идее «театрализации жизни», так сказать, недискуссионен: в «диалоге» с нею написано в 1924 г. эссе «Театрализация мысли» (7 дней МКТ. 1924. № 9).

Фейербах Людвиг (1804—1872) — немецкий философ-материалист и атеист.

с. 357 Если б пресловутый студент Данилов, замышляя убийство... — 12 января 1866 г., в то время как в «Русском вестнике» печатались первые главы «Преступления и наказания», в Москве студентом А. Даниловым были убиты и ограблены отставной капитан — ростовщик Попов и его служанка; первые главы романа были написаны и сданы в редакцию раньше, чем Данилов задумал свое преступление: окончание появилось практически одновременно с процессом над ним и приговором (9 лет каторги), почти совпавшим с приговором Раскольникову.

Тургеневские Рудин, Лежнев, Базаров, Пигасов... — персонажи романов «Рудин» и «Отцы и дети».

...Тургенева критиковали... Пигасовы, Достоевского — Фердыщенко, а о Грибоедове ча-

ще всех вспоминают... Молчалины. — За фразой проступает характерный для Кржижановского «второй план», где происходит «игра заглавиями»: Фердыщенко — персонаж романа «Идиот», Молчалин — комедии «Горе от ума».

- с. 358 Вам разве не приходило в голову, что солнце светит в кредит? — Ср.: «...солнце светит в дал»: все полученное лучами и бликами подлежит возврату: мазками и штрихами. Черпая свет зрачками, мы делаем солнце своим кредитором: рано или поздно оно потребует уплаты» («Философема о театре», 1923).
- с. 361 — Но где же ваша «Книга дефиниций»? — В мусорной яме... — Иначе говоря: в могиле; есть и гроб: «Сон: как хоронят мои рукописи в мусорном ящике» (ЗТ); со второй половины двадцатых годов этот мотив все настойчивее преследует писателя (например, в «Автобиографии трупа» (1925)).
- с. 364 Стюарт Милль — Джон Стюарт Милль (1806—1878) — английский философ, логик, экономист.
- с. 366 Соединяя жизни, незачем соединять руки... Иначе — двуспальная могила. — См. комментарий к с. 431.
- По части кражи собак... — Ср. набросок в ЗТ: «Крадет собак, а потом читает газеты: „Пропала болонка, возвратившему“ и т. д.».
- с. 370 Тот, кто, явившись в жизнь, топчется меж «не быть» и «быть»... — Ср. «раздвоение» этого монолога Гамлета в «Клубе убийц букв» (1926, глава вторая).
- с. 371 ...привела к решению: разлучиться с литературой. — Во второй половине двадцатых годов подобное стремление было среди писателей весьма распространенным, об этом писали Ю. Олеша («Книга прощания»), Мандельштам («Четвертая проза»; см. также воспоминания о поэте); у Кржижановского — не без иронии: «Я бы хотел выйти из художественности (и совести), но не знаю, где дверь» (ЗТ).
- ...записи, опубликованные одним знаменитым французским скульптором... — Имеется в виду Огюст Роден (1840—1917).

Альтенберг Петер (псевдоним Рихарда Энглендера, 1859—1919) — австрийский писатель-импрессионист, мастер малых форм, афоризмов, стихов в прозе, беглых зарисовок в одну или несколько строк, передачи мимолетных впечатлений; один из тех, чье творчество оказало влияние на Кржижановского.

с. 375 В самом вашем наименовании, сцепленном из *sum* и *pathos*... — Дальнейшее «концептуально-подробное» толкование *сим-патии* как *со-чувствия, со-страдания* становится сюжетным центром новеллы, где общение героя-рассказчика и Савла Влоба суть со-мыслие и «со-темье».

...лезть в «жертвы вечерние»... — Вскользь брошенная цитата из 140-го псалма точно соответствует психологической ситуации «отказа от литературы», от писания вообще, в которой происходит диалог, ведь следующие за ней слова этого псалма Давида: «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих».

с. 376 Секира у корня — горе косцам... — См.: Матфей, 3: 10.

...к притче о разумных девах... — Точнее: «о мудрых и неразумных» — Матфей, 25: 13.

с. 377 ...втащить Нагорную проповедь в кротовые ходы катакомб... — намек на возникновение (в ответ на тотальное преследование религии и ее деятелей большевиками) так называемой «катакомбной» Церкви.

с. 378 ...следовательно, рабочему классу, для того, чтобы вызвать сочувствие симпов, надо быть побежденным — намек на проявившуюся в двадцатых годах и впоследствии идеологически закрепленную тенденцию придавать «народническому» противопоставлению «интеллигенции» и «народа» смысл *политический*.

с. 381 ...Влоб навсегда выключен из встреч... — Ср. тему самоубийства в «Автобиографии трупа» (1925) и «Клубе убийц букв» (1926); и коль скоро речь о философе (и «диалогах»), можно говорить о «наследовании» скончившему с собой Сократу.

- с. 382 «перьев мышья беготня» — перифраз пушкинской строчки: «Жизни мышья беготня» («Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», 1830).
- с. 383 Сутулый контур двигался как-то странно, напоминая труп... — Ср. «Тринадцатую категорию рассудка» (1927).

РАЗГОВОР ДВУХ РАЗГОВОРОВ. Впервые: СВ-1. Печатается по этому изданию.

Единственный у Кржижановского — после «Сказок для вундеркиндов» («Якоби и „Якобы“») — чистый *диалог идей*, про и contra писателя, где даже «экспозиция», пейзаж, этот *портрет пространства*, — не более чем параллель-аналогия к *пространству мысли*, спора. Сравнивая новеллу с предыдущей, можно увидеть продолжение некоторых тем и аспектов начатого там диалога. Но есть между этими сочинениями и существенное различие: Кржижановский извлек урок из первого своего опыта, написанного столь сложно и «густо», что это потребовало авторского комментария, который для большинства читателей все равно оказался недостаточным; теперь он делает текст значительно более «прозрачным», не требующим — для восприятия — специальной подготовки, однако чем более читатель интеллектуально развит, тем больше смысловых «слоев» ему открывается.

Во «Фрагментах о Шекспире» (1939) дан любопытный анализ «драматургии» заглавия новеллы: «Если мышление человека, обнажаемое сценическим путем условной формы (добавлю — и условной формой литературного произведения. — В. П.), монолога, диалогично, т. е. является как бы разговором человека с самим собой, то вполне реальный сценический диалог всегда четырехголосен, представляет собой разговор двух разговоров».

«Как-то он прочел Всеволоду Вишневскому рассказ „Разговор двух разговоров“. Вишневский со свойственным ему темпераментом набросился на него: надо идти в издательства. Надо стучать по столу кулаком. Он даже показал, как надо стучать. Кржижановский молчал» (А. Бовшек).

- с. 385 Двое лежали шагах в десяти друг от друга. — Вместе с «контрастным» (подчеркивающим непримиримость!) описанием противников — прелюдия к предстоящему поединку (к словесной «дуэли на десяти шагах»), перекликающемуся с диалогами в «Чужой теме».
- ... поскольку вы под цвет вашему письменному столу... — Эта «писательская» встреча, надо полагать, происходит в Коктебеле, где еще при жизни Максимилиана Волошина и по его инициативе — был создан первый в СССР Дом творчества писателей.
- с. 386 ...на столе тебя дожидается беременный портфель... — Ср.: «Беременный портфель, отщелкивающий металлический пуп» (ЗТ).
- ...когда и дерева-то эти срублены, и жизнь насаждается заново... — Ср. с миниатюрой «Пни».
- ...фреска, пюи-де-шаванновская, кажется... — Пюви де Шаванн Пьер (1824—1898) — французский художник, мастер монументально-декоративной живописи.
- с. 387 творчество... тварчество — типичный для Кржижановского «паронимический» неологизм (см., например, в «Книжной закладке» (1927) — «вторчество», «авторы-вторы» и т. п.).
- Вы хотите шутку Клеопатры... — Судя по всему, речь идет о шутке, придуманной Таировым для постановки в 1934 г. в Камерном театре (премьера состоялась 14 декабря) спектакля «Египетские ночи» (с Алисой Коонен — Клеопатрой), в котором были объединены фрагменты неоконченной повести Пушкина, «Антония и Клеопатры» Шекспира и «Цезаря и Клеопатры» Б. Шоу; есть основания думать, что идея такого монтажа принадлежала Кржижановскому; впоследствии элементы этих трех произведений и переключки с ними он использовал в собственной трагикомедии «Тот третий» (1937).
- ...организованное коллективное мышление... — т. е. не-мышление: Кржижановский отлично знал, что «коллективным» бывает только «бессознательное», к 1931 г. об этом у него уже не раз написано (например, в четвертой главе «Клуба убийц букв» (1926)).

- ...головы должны быть организованы в первую голову... — Ср.: «Когда над культурой кружат вражеские разведчики, огни в головах должны быть потушены» (ЗТ).
- с. 388 ...дойти до нищеты философии... — ссылка на трактат К. Маркса «Нищета философии. Ответ на Философию нищеты Прудона» (1847).
- Так мысль, ведя за собою массы... — О том, что происходит, когда «идея овладевает массами», — в новелле «Неукушенный локоть» (1927).
- ...в поэме Броунинга... — Ныне принятая транскрипция: Браунинг Роберт (1812—1889) — английский поэт.
- с. 389 Очень удобно: каждый получает возможность бездумно думать. — Ср. четвертую главу «Клуба убийц букв» (1926).
- ...идеология для меня не система мыслей, освобождающая от мышления... — Именно на рубеже тридцатых годов актуализировались «интеллигентские» сомнения в своей оценке происходящего (дескать, не могут же все, кроме меня, «идти не в ногу» и т. п.), подогреваемые ораторствованиями о ничтожестве интеллигенции как таковой, о необходимости ей быть «службой народа»; отклик Кржижановского: «Пусть интеллигенция шелуха, скорлупа, внутри которой зерно: *intellectus*» (ЗТ).
- с. 390 ...до психического атомизма. — Атомизм (или атомистика) — учение о том, что все совершающееся основывается на перемещении, соединении и разъединении самостоятельных элементов (атомов), из которых состоят все вещи.
- ...немецкие ихи... — от нем. *ich* — «я».
- солипсус — или солипсизм — крайняя форма субъективного идеализма, признающая несомненной реальностью только сознающего субъекта и объявляющая все остальное существующим единственно в его сознании.
- ...слоны трутся — комаров давят. — Писатель охотно повторяет свои излюбленные поговорки: эта, например, встречается и в «Странствующем „Странно“».

...я не делаю из себя, из, так сказать, мужи слона... — Ср. «Мухослон» и вступление к «Странствующему „Странно“».

с. 391 ..пошлость суждений асерторических.. — т. е. таких, в которых лишь утверждается какой-то факт. а подектизмы — безусловно правильные суждения.

...шестьдесят четыре модуса силлогизма. — Силлогизм — одно из основных понятий логики: выведение заключения от общего к частному; модус — вид (характер) силлогизма; по ассоциации философская полемика уподобляется шахматной партии, разыгрываемой на шестидесяти четырех белых (pro) и черных (contra) клетках.

с. 392 индетерминизм — философское учение, отрицающее объективность причинной связи природных и социальных явлений, проповедующее абсолютную свободу воли.

...мертвый Лазарь, который «быв четырехдневен и смердех»... — См.: Иоанн, 12: 2—17.

детерминизм — учение о первоначальной определяемости всех происходящих в мире процессов, включая процессы человеческой жизни.

конstellация — взаимное расположение небесных светил; здесь — мыслей.

«Слова, слова, слова». — «Гамлет». Акт 2, сцена 2. Реплика «шекспировского персонажа», брошенная в как бы чисто философском диалоге, «переключает» его в другой, в литературный регистр, в ней — отзвук не раз уже упоминавшегося «выбора между Кантом и Шекспиром».

с. 393 горечавка (горчанка, горчай, она же — сокольница) — растение *Gentiana*, шесть видов, по-русски называемые: стародубка, змеевник, лихоманник, зверобой-лазоревый, зверобой-крестовый, морские колокольчики (они же — куриная слепота).

с. 394 ...нечто вроде брегелевского побоища копилки с печными горшками... — Вероятно, имеется в виду гравюра Питера ван дер Хейдена «Битва копилки с денежными сундуками», выполненная в 1558 и

1579 г. для издания «Дом на четырех ветрах» по не дошедшей до нас картине Питера Брейгеля Старшего (1525—1569) и хранящаяся в Кабинете эстампов Королевской библиотеки Альберта Первого (Брюссель); судя по тексту, автор контаминирует ее с другой картиной Брейгеля — «Битва между Масленицей и Постом» (Вена, Музей истории искусств).

с. 395 Зомберт (Зомбарт) Вернер (1863—1941) — немецкий экономист.

ШВЫ. Впервые: ВБ. Печатается по этому изданию.

Одна из четырех «опорных» новелл, в которой начинает проступать композиция всей книги, система ее внутренних связей, три *темы-измерения*, в которых она существует. «Щели», раскалывающие мир («Собиратель щелей»), и «швы», пытающиеся «сшить» его; мировоззренческий раскол, столкновение «прагматики» и «метафизики» (или «материализма» с «эмпириокритицизмом»; тут стоит упомянуть, что Кржижановским написана статья для энциклопедии о Рихарде Авенариусе) — тема двух первых новелл; наконец, восприятие этого мира — «взгляд в него» и «сон о нем» («В зрачке» и «Боковая ветка»). При этом в каждой из новелл есть скрытые, а подчас и явные цитаты из других. Например, герой «Швов» начинает повествование с фразы одного из персонажей «В зрачке».

К замыслу новеллы относится строка из «Записных тетрадей»: «Мысль, просачивающаяся сквозь черепные швы».

с. 397 ...когда шаги заведут меня на окраинное кладбище... — Начиная со статьи «Эпитафия» (Словарь), эти прогулки по кладбищам — один из постоянных мотивов его сочинений (ср. «Штемпель: Москва» — «Письмо первое», «Письмо восьмое», «Письмо девятое»; «Книжная закладка» (1927), «Автобиография трупа» (1925), «Тринадцатая категория рассудка», «Москва в первый год войны» (1948) — очерк «Могильщики» и т. д.).

Смотрю, как над ними растет крапива... — Ср. концовку «Эпитафии себе»: «...Пусть надо мной растет, иг-

лясь, крапива // И жалит всех, как мыслью жалил я: // Да будет мне, как и была, тяжка земля» (ЗТ).

- с. 398 И недаром любящие ищут ночного часа... — Ср.: «Любовь всегда чужда миру явлений: явления множественны, изменчивы и зримы, любовь ищет сделать из многого одно, принимает изменчивость за измену и ищет ночи, желая незримого совершения» («Философема о театре», 1923); характерная для Кржижановского «антитеза»: герой новеллы «В зрачке» это оспаривает; едва ли существенный, но любопытный штрих-переключка: Кржижановский, который был дружен и в двадцатых годах регулярно общался с Георгием Шенгели, знал его стихи, в том числе «гекзаметрическое» четверостишие: «Солнце ночное, любовь, — твоя взбегает квадрата» (1922).

монада — термин, существующий в метафизике со времен Пифагора, который обозначил им единичность как один из принципов бытия; по Лейбницу, монады — обладающие самодвижением самостоятельные духовные существа, из которых состоит мир.

- с. 400 Терпение — тебе дадут твою долю земли... — Ср.: «Моя жизнь — сорокалетнее («Швы» написаны как раз в сорок лет. — В. П.) странствование в пустыне. Земля обетованная мне будет предложена с заступов могильщиков» (ЗТ).

Иверская — церковь иконы Иверской Богоматери на Красной площади, снесена в конце двадцатых — начале тридцатых годов, заново отстроена в 1996—1997 гг., к 850-летию Москвы.

- с. 401 Веданты (завершение вед) — первоначальное название упанишад, завершающих веды; затем — философские системы брахманов, трактующие о «совершенстве (смысле) вед» и всесторонне рассматривающие отношение индивидуальной души к мировой.

Санкхьи (санкхья, санкхья) — одна из шести классических (ортодоксальных) систем индийской философии, суть которой — мистический и пессимистически-дуалистический реализм, исходящий из принципов *пракрити*

(активная материя) и *пуруша* (дух); пракрити деятельна, созидательна, пуруша — покоящееся и созерцательное начало; активная первоматерия «вырабатывает» душу, не способную ни к каким действиям, душа же, следуя строгому порядку, вновь выделяет из себя мир, в котором незаметны действия какого-либо божества, и создает возможность снова включить себя в этот мир; вся сознательная жизнь — страдание, кажущаяся радость сопровождается болью, освобождение от всего этого происходит благодаря тому, что человек познает абсолютное отличие духа от материи, в которой только и рождается страдание; если дух благодаря этому познанию достигает бытия-для-себя, то чувствительное нежное тело, обуславливавшее до тех пор цикл существования, снова трансформируется в первоматерию, жизнь прекращается; в сущности, вокруг этого понятия и построены фабула и сюжет новеллы; Кржижановский говорил, что в своем обращении от философии к литературе он «подает апелляцию на понятия суду образов» (ЗТ), — именно это и происходит в «Швах».

анти т е т и к а — ряд противоречащих друг другу утверждений, ни одному из которых нельзя отдать предпочтение.

В а й с ь я — в современной транскрипции: Вьяса — буквально, в переводе с санскрита — «Собиратель», легендарная личность; ему приписывается составление «Махабхараты»; кстати, о знакомстве с этим памятником индийской литературы (вероятно, в переводе на один из европейских языков) еще в Киеве, на рубеже 1910—1920 гг., косвенно свидетельствует новелла «Итанесиэс».

П а т а н д ж а л и — индийский философ и грамматик II в. до н. э.; считается основателем философской школы Йога и автором трактата «Йога-сутра».

индусские риши — см. комментарий к с. 113.

с. 402 ... во дни царя Асоки... — Асока — знаменитый властитель индийской династии Маурья (III в. до н. э.); в истории мировой культуры занимает особое место благодаря своему отношению к буддизму, который он распространил в своих владениях, т. е. в большей части Индостана.

с. 403 ...сколько раз я пытался ладить что-то из алфавита — рухнет и вот опять. — Неоднократно обращаясь к теме «бунтующего алфавита» — фрагмент об «алексии» в статье «Читатель» (Словарь), «буквенная раздробь» («Штемпель: Москва» — «Письмо второе»), новелла «Бумага теряет терпение» (1939) и т. п., — Кржижановский словно бы предчувствовал собственную судьбу: в последний год жизни, после мозгового спазма, повлекшего за собой алексию, он «забыл алфавит» и упрямо с этим недугом боролся — купил разрезную детскую «Азбуку» и «пытался ладить что-то из алфавита».

...тех, которые не подходят, «подлежат возврату». — Ср. фрагмент о «возвр.»'ах в «Книжной закладке» (1927).

Сколько нас, перечеркнутых... — Ср.: «Рассказы для зачеркнутых» (там же).

с. 404 ...теперь и вовсе не ищут: темы даны... — Ср.: «Литературная казарма» (ЗТ).

...впрочем, можно и самому — на крюк... — Ср. «Автобиография трупа» (1925).

панталык — толк, смысл, порядок.

с. 405 ...у высоких глухих белых стен с полужаштукатуренными... именами... — Эти стены тянутся на квартал от угла Знаменки вдоль Пречистенского (Гоголевского) бульвара, за ними вскоре после Октября разместился Революционно-Военный Совет (знаменитый РВС), а затем находились и находятся командные учреждения Наркомата (Министерства) обороны.

Марат Жан-Поль (1743—1793) — деятель Французской революции.

Робеспьер Максимилиан (1758—1794) — деятель Французской революции, один из лидеров якобинцев.

Гракхт — замеченное героем новеллы и тут же включенное в мысль искажение фамилии, каких в «наглядной агитации» и «монументальном искусстве» пореволюционной (и вообще «советской») Москвы было бесчисленно, в данном случае — характерно; по необразованности либо небрежности «оформителя» это добавленное, сросшее-

ся с фамилией «Т», — видимо, инициал-подсказка, т. е. Грахх *Тибериий* (162—133 до н. э.), старший из братьев — римских народных трибунов, пытавшихся провести демократические реформы и погибших в столкновении с консервативно настроенным сенатом.

все флегмий — от «флегмы», начиная с Гиппократова служившей обозначением «холодной жидкости в теле», переносно — хладнокровия, уравновешенности, в противоположность «горячему» току крови (в том же значении Кржижановский употребляет слово «лимфа», см. — «Странствующее „Странно“»).

с. 406 О людях, которых столица судит в своих судах... — Еще один случай «предвиденья» своего будущего: в самом начале тридцатых, оставшись без работы, Кржижановский едва не был выселен из Москвы как «нетрудовой элемент»; выручили коллеги-писатели, прежде всего — Е. Никитина, Е. Ланн, С. Мстиславский: они буквально в несколько дней собрали у И. Новикова-Прибоя, В. Инбер, Вс. Вишневского, Е. Зозули и других «рекомендации», по которым Кржижановский был тут же принят в Московский Горком писателей (т. е. в одну из тех организаций, которые до создания Союза писателей заменяли этот «творческий профсоюз»).

с. 407 ...я — в минус-Москве. — См. об этом работу В. Н. Топорова «„Минус“-пространство Сигизмунда Кржижановского» (глава «„Московское“ пространство Кржижановского»; в кн.: В. Н. Топоров. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М., 1995, с. 180—198).

...тень отброшена вещью... Следовательно: вещь отброшена тенью. — Это «пограничное» восприятие было предметом неоднократных размышлений писателя (см. хотя бы «Страну нетов»); себя он иной раз чувствовал «нарушителем границы»: «Перебежчик: от познающих к познаваемым (вещам)» (ЗТ).

с. 417 Доктор Шротт. — «Живу я вовсе не так плохо: д-р Шротт хоть и бродит за мной по пятам, но мне ловко удастся уворачиваться от встреч с ним — нос к носу...»

(Из письма к А. Бовшек от 17 июля 1925 г.). «Гонорар не поступал, приходилось познакомиться с доктором Шроттом. Это имя стало синонимом голодовки. В Германии была санатория доктора с такой фамилией. В ней лечили... голодом» (А. Бовшек). Из этих двух цитат явствует автобиографический мотив новеллы: попытки «времени» и «среды» *вылечить* Кржижановского, — вероятно, *от призвания*.

с. 421 Виндавский вокзал — ныне Рижский.

В ЗРАЧКЕ. Впервые: Литературная учеба. 1988. № 3. Печатается по ВБ.

«Собираюсь писать рассказ, в котором изображу Ваши глаза! **Убедительнейшие глаза!**» (Из письма к А. Бовшек от 25 июля 1925 г., Москва).

Год спустя: «...Ваше... письмо пришло все-таки вовремя — за несколько минут до начала моего чтения, — я успокоился и легко овладел текстом „В зрачке“. Рассказ произвел впечатление более сильное, чем можно было ожидать. По окончании я увидел себя окруженным глазами с пристальностью и хорошим долгим молчанием. Затем Волошин, вообще скупой на баллы, заявил, что это «великолепно и безжалостно» (Из письма к А. Бовшек от 18 июля 1926 г., Коктебель).

В композиции книги новелла связывает «Швы» (начало лирической темы: главы VIII—XIII) и «Собирателя щелей» (фрагмент о «несостоявшемся свидании», о всегдашней «щели» между двумя, всякий миг грозящей разрывом).

с. 431 Любовь наша постепенно превратилась в общегражданскую, двуспальную... — «Я не раз убеждала С. Д. переехать ко мне в мою довольно большую удобную комнату с моим личным телефоном. Он всякий раз ссылался на то, что хочет иметь свой угол, что жизнь в одной квартире, с неизбежными мелкими заботами, безобразным бытом, разрушает очарование дружеских отношений, убивает поэзию чувства» (А. Бовшек). И еще: «...Бытие, насколько оно не растворилось в быту, и есть любовь» («Философема о театре», 1923).

- с. 436 ...такой чудесный, одетый в блистанье радуг вход и этакое темное поганое дно. — Дальнейшее происходит именно «на дне» (женщины-жизни, — эта метафора тоже есть в прозе Кржижановского), и рассказы-монологи «бывших», их интонационный диапазон — от пафоса до цинизма, — наводят на ассоциацию с горьковской пьесой; конечно, параллель эта — изначально — бессознательна, просто в каждый отрезок времени есть произведения, входящие, если угодно, в *общее знание*, присутствующие в мыслях и разговорах намеками, реминисценциями, цитатами (как «Горе от ума» в первой трети прошлого века или «Мастер и Маргарита» в 60—70-х гг. нынешнего), и пьеса входила в число этих вещей; пожалуй, было «неосмотрительно» со стороны Е. Ланна посылать эту новеллу, среди прочих, Горькому (см. вступительный очерк).
- с. 437 телегония — сходство с отдаленными потомками; автор имеет в виду и весьма точно излагает теорию «наследственной памяти», которую современная генетика считает псевдонаукой; в своей борьбе с генетикой телегонию поддерживал Лысенко, ссылавшийся на неподтвержденные опыты Мичурина.
- ...лорд Мортон, — у кобылы от Квагги родился полосатый жеребенок... — Об этом — со слов Мортонна — писал Дарвин; квагга — полосатая степная зебра, некогда распространенная в Южной Африке, полностью истреблена, видимо, в 1870-х гг.; сведений об «опровергателе» этой теории Юарте обнаружить не удалось.
- с. 439 ...ведь забытые не забывают. — Ср. начало «Швов»: «Всем дано забыть. Одному не дано — забытому».
- с. 444 «душа ждала кого-нибудь» — см.: «Евгений Онегин», гл. 3, VII. Свойственный Кржижановскому расчет на читательскую *подготовленность* и «хорошую реакцию»: в цитате пропущено отточие после «ждала», тем самым акцент *смещается* от конца к началу стиха, и «персонаж-рассказчик» не сомневается, что слушателям памятен

следующий стих: «И дождалась... *Открылись очи*» (курсив мой. — В. П.), — и это двуступенчатое вполне могло бы стать эпиграфом к новелле.

- с. 446 Фрейд Зигмунд (1856—1939) — австрийский психиатр, психолог, основатель психоанализа. Это и следующие за ним упоминания психологов, врачей, физиологов, философов и научные термины в рассказе «Шестого» дают представление о занятиях героини новеллы и ее «интеллектуальном облике»; если в повествовании «Первого» («Квагги») героиня — только что приехавшая в столицу провинциальная барышня, вероятно — начинающая сочинительница с «рекомендациями» (знакомство происходит в литературном кружке или салоне, где люди «случайные» бывали нечасто, да и хозяева просят будущего «Кваггу» о ней позаботиться), то здесь она — студентка психологического факультета университета, где Кржижановский в двадцатых годах регулярно бывал на лекциях, в частности у Л. Выготского, с которым, по свидетельству С. Макашина, был знаком и некоторыми чертами которого наделил своего персонажа.

Адлер Альфред (1870—1937) — австрийский врач-психиатр и психолог, ученик Фрейда, основатель *индивидуальной психологии*.

Майер (Mayer) Юлиус Роберт (1814—1878) — немецкий естествоиспытатель и врач.

За летом птиц, за стланью пыли... — Цитата не опознана.

- с. 447 ...пользуясь мнемоническими рядами Эббингауза... — Эббингауз Герман (1850—1909) — немецкий психолог, представитель ассоционизма; положил начало экспериментальным исследованиям высшей нервной деятельности; основное сочинение — «О памяти (1885)»; вывел забывание как функцию времени («кривая Эббингауза»).

- с. 451 Фалес (ок. 625—547 до н. э.) — древнегреческий философ, родоначальник античной философии, основатель милетской школы.

- с. 452 ...логарифмы раздражения в формуле Вебера—Фехнера... — Вебер Эрнст Генрих (1795—1878) — немецкий анатом и физиолог, один из основоположников экспериментальной психологии; Фехнер Густав Теодор (1801—1887) — немецкий физик, психолог, философ и писатель-сатирик (псевдоним — Мизес), основатель психофизики, основные положения которой вместе с исследованиями Вебера физиологии органов чувств легли в основу закона Вебера—Фехнера о зависимости между ощущениями и раздражителями.
- с. 455 Доверовы порошки — сложный порошок — смесь опия и ипекакуаны; употреблялся главным образом при катарах дыхательных путей.
- с. 459 И тут искушение взглянуть на преемника... — Кржижановский не раз и охотно пользуется этим приемом, который можно назвать «зеркальной ассоциацией», где меняются местами «право» и «лево» (все знаки — на противоположные); так и здесь — миф об Орфее, отправившемся, чтобы вернуть любовь, в ад (в преисподнюю, «за дно жизни») и — оглядкой — эту почти уже возвращенную любовь потерявшем навсегда, оборачивается мифом о попытке героя «вернуться в любовь», о том, как — из-за лишнего «мгновенья ока», «оглядки» — он упускает решающий миг, срывается обратно в «ад» (причем «адский мотив» иронически-ненавязчиво подчеркнут «нумерацией»: двенадцать персонажей новеллы, эти «знаки зодиака» любовной жизни героини, «откружив», пребывают в своем аду, «за дном зрачка», а за Двенадцатым следует Тринадцатый — «чертова дюжина», но не только: Тринадцатый — еще и «разница» между *лунным*, т. е. «ночным», или «зодиакальным», и солнечным, т. е. «дневным», «календарным», годами (см. комментарий к с. 523).
- с. 461 ...вперялось в меня сквозь мглу гигантское око. — Ср. начало новеллы «Четки», композиционно как бы противоположной «В зрачке»: там восприятие персонажа-рассказчика движется от общего, вернее — обобщающего («гигантского ока» Природы-Бога), к частному («глазам метафизиков»).

СОБИРАТЕЛЬ ЩЕЛЕЙ. Впервые: СВ-1. Печатается по этому изданию.

Этот «художественный отклик» на философские споры о природе времени и его дискретности и на актуальные исследования психологами человеческих восприятий и памяти — первая новелла, завершенная Кржижановским после переезда в Москву. И одна из наиболее часто читавшихся им публично, в частности, на «Никитинских Субботниках» и в Коктебеле у Волошина. «С Волошиным мы простились наилучшим образом: я получил приглашение приезжать, когда захочу, и акварель (в виде напутственного подарка) с надписью: „Дорогому Сигизмунду Доминиковичу, собирателю изысканнейших щелей нашего растрескавшегося космоса“» (Из письма к А. Бовшек от 21 июля 1925 г.). Об этой акварели упоминается и в мемуарах Бовшек, но разыскать ее не удалось.

В композиции книги новелла связана со «Швами», т. е. движением от рефлексии микрокосма — к «центробежным», макрокосмическим взгляду и мысли. А размышления о природе времени несколько лет спустя становятся и *темой* и сюжетом повести «Воспоминания о будущем».

- с. 463 ...сказку ждала тихая, с грустными городскими цветами на окнах комната... — Как и в «Чужой теме», описывается чтение, подобное тем, что происходили на «Никитинских Субботниках», — и тому, после которого завязываются «сюжеты» и «Чужой темы», и рассказа одного из персонажей «В зрачке» («Квагги»).
- с. 471 ...не вы темой, Тема играет и вами, и мной... — Ср.: «...не автор измышляет персонажей, но они, персонажи, измышляют автора» («Чужая тема»); см. также комментарий к с. 356.
- с. 473 ...я удлинил в двух-трех местах свои черные вставки... — В исследованиях дискретности восприятия и способности психики связывать последовательно движущиеся «кадры» в единое впечатление значительную роль сыграло развитие кинематографа и совершенствование техники воспроизведения отснятого и смонтированного киноматериала; описываемый эксперимент взят из реальной практики; впоследствии та-

ким же образом определялись оптимальные частоты, при которых: а) «вклейка» никак не влияет на «эффект непрерывности» действия; б) она воспринимается «бессознательно» и закрепляется весьма прочно, — известны чрезвычайно действенные опыты «скрытой рекламы» такого рода, в подавляющем большинстве стран законодательно запрещенной, ныне это свойство восприятия используется, в частности, для «обучения без усилия» (так называемый «двадцать пятый кадр» на видеокассетах); в) «посторонний кадр» не осознается, однако начинает мешать зрителю, выявлять прерывистость «основного» изображения.

- с. 474 ...меж систолой и диастолой сердца... — Систола — сокращение предсердий и желудочков сердца, диастола — их расслабление; вместе составляют цикл сердечной деятельности.
- с. 475 ...цветосмешивающими дисками Геринга... — Геринг Эвальд (1834—1918) — немецкий физиолог, автор одной из теорий цветового зрения.
- с. 478 «Я» знает себя как *есмь*. «Не-я» известно ему как некое *есть*. — Ср.: «Страна нетов».
- Разве Гейне не писал — «через мою душу прошла великая мировая трещина»? — Более известный перевод: «Мир расколот пополам, и трещина проходит через сердце поэта».
- с. 482 Перечитываю Декартовы *Meditationes...* — «Метафизические размышления» Р. Декарта (1641).

БОКОВАЯ ВЕТКА. Впервые: ВВ. Печатается по этому изданию.

Заключительная новелла придает завершенность композиции книги, связывая между собой всех ее основных персонажей, так или иначе очутившихся на *боковой ветке*: мышления, любви, бытия.

- с. 485 **К в а н т и н** — Имя героя новеллы произведено от *нем.* *Quant* (*лат.* *quantus*; минимум, на который может изменяться дискретная по своей природе физическая величина — действие, энергия, количество движения и т. п.;

квант-частица — минимальный носитель свойств какого-либо физического поля), это — «квант» *дискретной* жизни (одна из миллионов жизней), носитель свойств — мировоззрения, культуры, этики — того мира, из которого он попал в «антимир» (ср. о «товзтовцах» и «этовтовцах»: «Штемпель: Москва» — «Письмо десятое», а также вступительный очерк).

- ...попробовал было голову поверх портфеля... — На этом примере любопытно проследить подступ Кржижановского к *теме*, едва уловимое «вхождение» в нее: банально-бытовая попытка использовать портфель в качестве дорожной подушки вскоре оборачивается сильной «сквозной» метафорой новеллы.
- с. 486 ...пустячные мыслишки, отлучки которых из головы в шляпу... — Такого рода «отлучка» («пустячной мыслишки» — заведомо безответного вопроса «Зачем жить?») в то же время стала *темой* новеллы «Серый фетр» (1927).
- с. 487 ...напоминающий еще Стефенсоны времена... — Стефенсон Джордж (1781—1848) — английский изобретатель, положивший начало паровому железнодорожному транспорту, строил паровозы с 1814 г., построил первую железную дорогу общественного пользования (открыта в 1925 г.).
- с. 489 !Все на тяжелую индустрию тяжелых снов! — Не только пародируются входящие в обиход лозунги типа: «Все на борьбу за тяжелую индустрию!» — и то привлекшее внимание писателя обращение со словом, которое Оруэлл впоследствии назовет «новоязом», но в удвоении эпитета выявляется стгущающаяся, «тяжелеющая» атмосфера...
- с. 492 Мор Томас (1478—1535) — английский гуманист, государственный деятель, писатель, один из основоположников утопического социализма, автор изображающей идеальное государство будущего книги «Утопия» (1516); будучи католиком, отказался присягнуть королю как главе англиканской церкви, за что обвинен в государственной измене и обезглавлен; призрачное явление этого «отца утопии» герою, едва прибывшему в «государство

снов», напоминает о прологе к «Гамлету», этом «камертоне» трагедии (сопоставления с шекспировскими сюжетами и ситуациями в разговоре о творчестве Кржижановского всегда корректны, ибо, по собственному признанию писателя, Шекспир постоянно «присутствует» в его отношениях с миром и искусством).

Слава всем непробудным — еще один пародийно-синонимический лозунг, по ассоциации с заполонившим пореволюционные города: «Слава павшим!»

с. 493 ...просто, но хорошо сработанный кошмар легко ассимилируется с жизнью. — К этой и другим подобного рода фразам новеллы можно добавить разве что: «Без комментариев», — однако стоит на них помедлить, чтобы оценить намерение автора опубликовать подобную прозу в условиях ужесточающейся цензуры и понять, что, скорей всего, именно ее *неизданность* в значительной мере помогла ему уцелеть.

...пресловутой платоновской пещеры... — В «Государстве» Платона человеческое существование сравнивается с пребыванием в пещере; закованный, повернутый спиной ко входу в пещеру человек видит только тени вещей и принимает их за единственные реальности; если его освободить и вывести из пещеры на свет, в «мир действительности», он будет считать свой мир теней действительным, а настоящий мир — иллюзорным, и только постепенно, шаг за шагом, привыкнет к истине; эта философская метафора (наряду с кантовской антитезой: «я» — «не-я» и Декартовым «Мыслю, следовательно, существую») — из наиболее часто варьируемых в прозе Кржижановского (см., например: «Страна нетов» и «Грайи»); в стихотворении из цикла «Философы» есть своего рода «строка-отклик» на это платоновское сравнение: «Тюремщик вечности — Платон».

с. 494 ...некоторые из наших потребителей называют это (т. е. давящие на мозг кошмары. — В. П.), кажется, всемирной историей. — Иначе говоря: историей, закономерно ведущей к «мировой революции».

с. 499 ...медленный разряд Круксовых трубок. — Крукс Уильям (1832—1919) — английский физик и хи-

мик; исследовал электрические разряды в газах — катодные лучи (в трубках Крукса).

...меж расцепа нейронов... — Нейрон — нервная клетка со всеми отходящими от нее отростками.

...теперь мы заставим их захрипеть под притиском подушками. — Ср. новеллу «Соната Death's door» (1939).

...остричь солнцу его лучи... как в свое время было сделано с Самсоном... — Источником силы библейского героя Самсона были его длинные волосы; филистимляне, узнав эту тайну от возлюбленной Самсона, филистимлянки Далилы, ночью остригли его, а затем ослепили, заковали в цепи и заставили вращать мельничные жернова; представители так называемой солярно-метеорологической школы видели в Самсоне олицетворение солнца, а его волосы символизировали солнечные лучи, «срезаемые» ночной тьмой.

с. 500 Паскаль Блез (1623—1662) — французский математик, физик, философ, писатель; цитируется его книга «Мысли».

То, что вчера еще было утопией, сегодня стало наукой. — Вот об этом: о «сне братства», о «научном социализме» и *попытках реализации утопических метафор*, уводящих на боковую ветку истории, «предупреждал» Квантина призрак Томаса Мора.

с. 502 гелертер — ученый (*нем.* Gelehrter).

Очерки

ШТЕМПЕЛЬ: МОСКВА. Впервые: Россия. 1925. № 5. Самое крупное из прижизненно опубликованных произведений писателя. Печатается по ВВ.

Документально-философская повесть в письмах и следующие за нею три очерка, вероятно, являются лишь фрагментами куда более обширного замысла книги о Москве двадцатых годов. Осуществить замысел не удалось, но собранный Кржижановским материал вошел в его новеллы и повести, сделав его одним из самых «московских» писателей XX века. Кроме того,

когда в начале тридцатых годов подвернулась возможность немного заработать, писатель за считанные недели составил путеводитель по Москве для иностранных туристов; судя по «автобиблиографии», путеводитель был издан, однако разыскать его не удалось: путеводители тех лет вообще оказались ныне раритетами — в ходе репрессий и переименования улиц и переулков, носивших имена репрессированных, эти издания изымались из библиотек и уничтожались.

В структуре замысла книги о Москве этой повести, по всей видимости, отводилась роль своеобразного «введения». Композиционная логика книги может быть реконструирована примерно так: сначала — «открытие Москвы», т. е. впечатления и мысли «провинциала», приехавшего осваивать и «завоевывать» столицу (ср. с первыми страницами написанной в том же году и принятой к печатанию редактором «России» И. Лежневым — вослед повести, — но неопубликованной «Автобиографии трупа»; подробности — в комментариях к новелле), затем — отдельные очерки-исследования уже обозначенных тем и проблем, наконец — обобщающая «философема о городе».

«Перед приездом в Москву он не проделал нужной подготовки (по книгам. — В. П.) и решил брать город немедленно: приступом, с бою» (А. Бовшек). Читая «Штемпель: Москва», видишь, что Кржижановский необыкновенно быстро наверстал упущенное, глубоко и по множеству источников изучив историю города.

Подзаголовок «13 писем в провинцию» не совсем точен. Вернее было бы сказать: 12 ¹/₂, — предпоследнее, «Двенадцатое», не «письмо», а «открытка». В связи с этим следует обратить внимание на «содержательность формы» у Кржижановского: *как* написано обусловлено тем, *что* написано (см. комментарий к «Письму четвертому»).

Публикация в «России» год спустя помогла знакомству Кржижановского с Александром Грином (он упоминается в «Письме шестом»). В августе 1926 г. он писал к жене из Коктебеля: «Позавчера произошла неожиданная и потому вдвойне радостная встреча: Грин — я... Узнав, что я намарал „Штемпель: Москва“, оживился и пригласил к себе... Знакомство это, — Вы знаете почему, — для меня очень ценно и нужно». Однако нет никаких сведений о продолжении этого знакомства.

Письмо первое

- с. 511 ...«особого отпечатка», еще Грибоедовым
примеченного... — Имеются в виду слова Фамусова:
«На всех московских есть особый отпечаток».
- с. 512 Брянский вокзал — ныне Киевский.
...мимо блекло-желтого дома с оттиснувшимися
на нем знаками ЦК РКП (б)... — Воздвижен-
ка, 5; ныне — Музей архитектуры.
- с. 512—513 ...церкви Девяти Мучеников на Коче-
рыжках, что у Горбатого моста... — Б. Девя-
тинский пер., 15, документально известна с 1696 г.
...обведенную длинной линией Камер-Коллеж-
ского вала — т. е. *четвертого кольца* (Китай-город,
Бульварное, Садовое), обозначавшего границу «старой»
Москвы, на нем располагались все «заставы» — въезды в
столицу; память об этом сохранилась в некоторых уце-
левших по сию пору в обиходе названиях.
- Белый особняк на Никитском, 7б... — дом, в котором
жил и умер Гоголь; по нынешней нумерации — Никит-
ский (бывш. Суворовский) бульвар, 7.
- Шенрок Владимир Иванович (1853—1910) — русский лите-
ратуровед; главная его заслуга — исследования литера-
турного наследия и биографии Гоголя, результатом ко-
торых стало издание «Материалов для биографии
Н. В. Гоголя» (1892—1898. Т. 1—4).
- ...ветхий хомяковский дом на Собачьей пло-
щадке... — Находился на месте одного из нынешних
Новоарбатских домов (близ Театрального училища
им. Щукина); в середине XIX в. здесь, у поэта и религиоз-
ного философа А. С. Хомякова (1804—1860), собирались
его друзья и единомышленники — славянофилы.
С 1920 г. — Музей русской культуры и быта (одним из со-
здателей которого и директором в описываемое время
был друг М. Булгакова художник Б. Шапошников); дом
был снесен в начале 1960-х гг. — при строительстве про-
спекта Новый Арбат.
- с. 514 ...только и прочтешь: erit... — На могиле Влади-
мира Соловьева в Новодевичьем монастыре вскоре по-
сле похорон неведомой рукой были поставлены две ико-

ны: икона Воскресения из Старого Иерусалима с греческой надписью «Христос воскрес из мертвых» и икона Острабрамской Божьей Матери с латинской надписью «In memoria aeterna erit iustus» («В вечной памяти пребудет праведный»); обе впоследствии утрачены.

Квадратура моей комнаты — 10 кв. арш. — Ср. новеллу «Квадратури» (1926).

Письмо второе

с. 516 Взбесившийся алфавит... — устойчивый «пророческий» мотив прозы Кржижановского; годом раньше в статье «Заглавие» (Словарь) он описал симптомы «алексии», поразившей его почти четверть века спустя во время последней болезни; ср. также эпизод «прощания с алфавитом» в «Возвращении Мюнхгаузена» (1927—1928) и новеллу «Бумага теряет терпение» (1939).

с. 517 Хапиловка — часть района Лефортово; здесь было несколько Хапиловских улиц, какую из них имеет в виду автор — неизвестно.

с. 518 ...прохожу Высоким мостом, что поперек гнилой Яузы... — Высокоузский мост на Садовом кольце близ Земляного вала; любопытно, что употребленный применительно к Яузе эпитет «аукается» со стихотворением друга Кржижановского Г. Шенгели «Я не знаю, почему» (1931): «Вечный смрад прогневших Москв, Разлагающихся Яуз...».

...и вдруг ассоциация: я — узы. — Ассоциация оказалась устойчивой; Н. Семпер вспоминает сказанное Кржижановским почти двадцать лет спустя: «Как-то я стоял на мосту через Яузу, смотрел на реку и повторял: Яуза, Яуза, Я... уза, я... узок, я — узок...» (Н. Семпер); здесь видно характерное для Кржижановского сочетание поэтического и научного (этимологического и структурного) подхода к языку: кроме звуковой ассоциации — скрытая ссылка на строки хорошо знакомой ему книги И. Забелина «История города Москвы»: «...имя Яуза могло обозначать также и узину пути (кроме предположенного ранее происхождения этого имени от «узилица». — В. П.), причем первая буква составляла только пристав-

ку, давшую известный, но нам пока неведомый смысл (курсив мой. — В. П.) слову Уза... Что же касается приставки Я, то ее присутствие встречается явственно во многих словах, каковы: язык, ярем, якорь, ягода, ястреб... Имя Яузы очень древнее имя и родственное вообще нашему древнему топографическому языку, в котором и понятие о тесном речном пути точно так же выразилось в словах Теснь, Тосна, Тесна и, наконец, Цна» (М., 1990. С. 19).

с. 518—519 Москва — это свалка никак, ни логически, ни перспективно, не связанных строительных ансамблей... — Постепенное постижение, понимание Москвы — элемент «фабулы» повести: по мере ее искаживания (синоним «исследования») автор-герой приходит к выводу, в следующем абзаце сформулированному (см. последний комментарий к письму) и в дальнейшем обоснованному и проиллюстрированному.

с. 519 ...говоря языком Джемсов и Бэнов, «по смежности». — Джемс (Джеймс — James) Уильям (1842—1910) — американский философ и психолог, один из основателей прагматизма; Бэн (Бен — Ben) Александр (1818—1903) — английский философ, представитель ассоционизма.

...церковь Рождества Богородицы в Путинках... — Находится в начале Б. Дмитровки (ул. Чехова), близ Пушкинской площади. Здесь — обмолвка автора, только еще изучающего Москву; он описывает находящуюся чуть дальше от площади церковь Успения Пресвятой Богородицы в Путинках.

...живописцем Зубовым... — Вероятно, имеется в виду начинавший в одной из московских иконописных мастерских гравер Алексей Федорович Зубов (1682 — после 1750).

с. 520 Смирный — сведений обнаружить не удалось.

Петушок — сведений обнаружить не удалось.

Потапов Петр — архитектор конца XVII в., построивший, в частности, церковь Успения на Покровке (не сохранилась).

Постник (Посник) Яковлев — русский зодчий середины XVI в., один из создателей Покровского собора (Храма Василия Блаженного).

...умели правильно *мыслить город*... — Современные исследователи (М. Кудрявцев, Г. Мокеев и др.) убедительно показали, что «градостроительная модель» Москвы была изначально глубоко осмысленной и содержала указание на преимущество с неким, прежде бывшим сакральным, центром; к первой трети XVI в. она уже обрела ту завершенную целостность, в согласии с которой и работали зодчие двух следующих столетий.

Письмо третье

с. 520 ...три «Критики» Канта, разрозненный том Соловьева... — т. е. «Критика чистого разума», «Критика практического разума», «Критика способности суждения» и том из десятитомного Собрания сочинений философа В. С. Соловьева, вышедшего в 1911—1914 гг.

...да около полуфунта рекомендательных писем... — «При отъезде из Киева друзья Сигизмунда Доминиковича снабдили его несколькими письмами к москвичам» (А. Бовшек); в частности, к Н. Бердяеву и А. Северцову; почти все письма оказались «практически» бесполезными, но последнее привело к доброму знакомству и общению не только с выдающимся биологом, но и с «его кругом»: В. Вернадским, А. Ферсманом и др., — сыгравшим заметную роль в творчестве Кржижановского (см. вступительный очерк).

с. 522 Забелин Иван Егорович (1820—1908) — историк, археолог; имеется в виду его «История города Москвы» (М., 1902. Ч. 1).

Мартинов Алексей Александрович (1818—1903) — историк, археолог, архитектор; речь идет о его книге «Названия московских улиц и переулков» (2-е изд., 1881) — см. комментарий к очерку «2000».

Снегирев Иван Михайлович (1793—1868) — историк, этнограф, фольклорист; очевидно, Кржижановский «перелистал» его книгу «Москва» (М., 1865—1873. Т. 1—2), либо: «Москва. Подробное историческое и археологическое описание города» (М., 1865).

Письмо четвертое

с. 523 В заклятии против лихорадок.. — Этот заговор встречается во многих сборниках и трудах фольклористов (например, «Сказания русского народа, собранные И. Сахаровым», «Поэтические воззрения славян на природу» А. Афанасьева и т. д.), причем везде фигурируют 12, а не 13 трясавиц, и Глядея — одна из них; 12 — число символическое, в основе которого с древнейших времен лежало представление о двенадцати знаках зодиака, в зависимости от которых пребывает все живое; есть основания полагать, что «тринадцатая трясавица» (о ней, Глядее, идет также речь — правда, вскользь — и в новелле «Чужая тема») появилась у Кржижановского из знакомства с имеющим византийское происхождение сказанием о двенадцати трясавицах: византийский источник повествует о погоне св. Сисиния за ведьмой (средневековой «паркой») Гилло (или Гилу), похищающей из жизни детей (отзвук этой легенды — злая фея в «Спящей красавице» Перро); будучи поймана, Гилло вынуждена дать «защитную» (от себя) молитву мертвым — $12\frac{1}{2}$ своих имен-прозвищ, которые «защищающийся» должен перечислить; «полуимя», вероятно, означало «лишние» дни, которые получались в результате времяисчисления по зодиаку, т. е. разницу между «лунным» и «солнечным» годами; это сказание не только прочно наложилось в памяти писателя на другое — о старце и его незамужних дочерях (источник которого обнаружить не удалось), но и повлияло, скорее всего — подсознательно, на построение повести «Штемпель: Москва» (ибо Глядея — «писательская» трясавица; более того — можно сказать, «писательски-московская»: см. далее фрагмент о встрече московских писателей с «санкт-петербургским литератором» и комментарий к нему): $12\frac{1}{2}$ глав (12 плюс открытка).

Г е л и к о н — гора в Греции, место пребывания муз, которых по этому называли также Геликонидами; на Геликоне от удара копыта Пегаса возник источник Иппокрена, в котором купались музы.

Парнас — двуглавая гора — с вершинами Титорея и Ликорея — в Греции, в древности посвященная Аполлону и музам; на южном склоне был Дельфийский оракул и Кастальский источник.

...вместо девяти Аонид... — Аониды — музы.

с. 524 «Москва кабацкая» — цикл стихов С. Есенина (1924). **имажинисты** — литературное направление, в полемике с футуристической декларацией «слова как такового» провозгласившее примат «образа как такового»; в группу входили В. Шершеневич, А. Мариенгоф, С. Есенин, А. Куסיков, Р. Ивнев, И. Грузинов и др.

...школа эта ютится в тесной «Гостинице»... — «Гостиница для путешествующих в прекрасном» — журнал имажинистов, вышедший в 1923—1924 гг.; всего вышло четыре номера. Кржижановский, в одном из писем назвавший себя «последним имажинистом в прозе», познакомился с имажинистами вскоре после того, как начал работать в Камерном театре, где его коллегой оказался А. Мариенгоф, вероятно, при содействии которого в № 3 и № 4 журнала были опубликованы три новеллы из «Сказок для вундеркиндов» (кстати, в № 3 по соседству с его новеллой напечатаны три стихотворения Есенина из «Москвы кабацкой»).

с. 525 И. Лежнев (Исай Григорьевич Альтшулер, 1891—1955) — литературовед, публицист; в 1922—1926 гг. редактор журнала «Россия», где печатались Булгаков, Ходасевич, Кузмин, Андрей Белый, Шкловский и др.; затем был выслан за границу, вернулся в 1930 г.

...но в стихах-вывесках, в поэзии, назойливо повисшей над улицами... — См. вступительную часть комментария к очерку «Московские вывески».

Акционер треста Д. Е... — «Трест Д. Е.» (1923) — роман И. Эренбурга.

с. 526 Пильняк (Вогау) Борис Андреевич (1894—1938) — писатель.

Напрасно Б. Пастернак ездит из Москвы в Марбург... — В 1912 г., будучи студентом Московского университета, двадцатидвухлетний Пастернак предпринял

поездку в Марбург, как он сам говорил, для углубления философских знаний в Марбургском университете.

- ...это она сообщила Н. Тихонову: «В Кремле никогда не спят». — «Но люди в Кремле никогда не спят» — строка из «Баллады о синем пакете».
- с. 527 ...санкт-петербургский литератор... — Ср. разделение А. Ремизовым всех писателей на «глазатых» и «ушатых»; говоря о «городе понятий» (Санкт-Петербурге) и «городе образов» (Москве), Кржижановский как бы «персонифицирует» свою фразу из «Записных тетрадей» о «предании понятий суду образов» — при этом он явно на стороне «города образов», чувствуя себя уже и *москвичом*, и *московским писателем*.
- с. 527 ...из древнего московского «Синописа»... — «Синопис» — сборник летописных и других сказаний о русской старине, доведенных до конца XV в.
- с. 528 «...И сказал Василий Гречин князю...» — Очевидно, автор по памяти — неточно — цитирует сказание, приведенное И. Забелиным в «Истории города Москвы»: «И сказал ему Василий гречин (sic! — т. е. просто «грек». — В. П.): Великий княже! *на сем месте созиждется град превелик и распространится царствие трехугольное* и в нем умножатся различных орд люди...» (М., 1990, с. 28).

Письмо пятое

- с. 528 Монро — сведений обнаружить не удалось.
- ...о Хан Лин Юане. По-китайски это значит «лес карандашей». — Хань Линь Юань (точный перевод: «лес кисточек»), название академии, куда входили самые значительные писатели Китая, в частности Ли Бо; новелла Кржижановского «Лес карандашей» (1918) была опубликована в Киеве в 1919 г. (Неделя литературы, искусства и театра. № 3); ни публикация, ни рукопись не найдены; не удалось обнаружить также киносценарий «Лин Юань», про который в одной из «автобиблиографий» писателя сказано, что он «принят» и находится «в портфеле» киностудии «Межрабфильмрус».

Срединная империя — точнее, «Срединное государство» (т. е. центр мира) — принятое в старом Китае самоназвание страны.

...чайное «китайское деревцо»... — выращенный особым способом карликовый чайный куст, служивший декоративным украшением популярных в Москве 1920-х гг. китайских ресторанов и чайных магазинов.

цибик (цыбик) — ящик для чая.

с. 529 Некий брезгливый иностранец... жаловался... — Кржижановский приводит высказывание Наполеона о Польше.

Письмо шестое

с. 530 Лет сто тому назад... — Больше ста: речь о построенном в 1807 г. архитектором К. Росси на Арбатской площади близ начала Пречистенского (Гоголевского) бульвара Арбатском театре, сгоревшем в пожаре 1812 г.

м-ль Жорж (Маргарита Жозефина Веймер, 1787—1867) — французская актриса, в 1808—1812 гг. гастролировала в Москве и Петербурге, поначалу с большим успехом, затем — в состязании с Семеновой в исполнении одних и тех же ролей — публика предпочла русскую исполнительницу.

Семенова Екатерина Семеновна (1786—1849) — актриса.

...и только один странно замешкавшийся зритель... — Памятник Гоголю работы Н. Андреева, в 1952 г. перенесен во двор дома № 7 по Никитскому (Суворовскому) бульвару.

с. 531 ...влюбляют чекиста в белогвардейку, белого офицера в революционерку... — Это действительно «бродячий сюжет» первого десятилетия советской литературы; ср., в частности, рассказ Б. Лавренева «Сорок первый».

с. 532 Аросев Александр Яковлевич (1890—1938) — партийный и государственный деятель, писатель; был репрессирован; упоминаемая книга — видимо, «Недавние дни» (1924); замечу попутно, что Аросев возглавлял ВОКС, где во второй половине 1930-х гг. служила Н. Е. Семпер.

...играла крохотная девочка... — Ср. с фрагментом о девочке в «Книжной закладке» (1927), а также «Девочка и дилижанс» (там же).

...*быт* в отрыве от *бытия*... — В 1923 г. в «Философеме о театре» Кржижановский писал: «Беру слово „Бытие“ и отрываю ему два конечные знака: быт. Оторвав и этому тупое „т“, оставляю: бы. Делаю то же со смыслами, что и с буквами: как от слова к слову все меньше звучания и знаков, так и от смысла к смыслу: все меньше сугей, убывает и мелет бытие».

...*бы* — чистая сослагательность... — Ср.: «Тремя мирами — от бытия через быт в мир чистой сослагательности все-предполагающего и ничего не полагающего „бы“ — идет процесс феноменологизации сугей...» («Философема о театре»); см. также новеллу «Якоби и „Якобы“» и комментарий к ней.

Письмо седьмое

с. 533 Миллер Петр Николаевич (1867—1943) — историк Москвы; с 1918 г. секретарь Комиссии по изучению старой Москвы, с 1939 г. ученый секретарь Комиссии истории Москвы; Кржижановский был с ним знаком (кстати, Миллер тоже не был коренным москвичом), знал его работу «Кулишки» (1914); основные работы Миллера написаны позже, но обращает на себя внимание близость некоторых из них (в частности, «Московский мусор» (1928)) очеркам Кржижановского.

...в кирпич и в камень Москву обрядила копейная свечка. — Статистические данные о московских пожарах, вероятно, почерпнуты из первого тома «Москвы» И. М. Снегирева; ср. также у И. Е. Забелина: «...участь русского художнического развития в течение всей нашей древней истории была очень бедственна, постоянно встречая неодолимые препоны в нашем же древнем коснении, которое целые века заставляло нас обитать в деревянных городах, молиться в деревянных храмах, благо дремучие и непроходимые леса доставляли дешевые средства для скорейшего устройства жилищ

и укрепления городов. С деревом погибало все, и богатое, и бедное в обстановке быта. Целые столетия над Русскою землею из конца в конец ходил неустанно Божий *бато́г*, Божий бич с страшным именем пожара» (История города Москвы. М., 1902. С. 86).

- с. 534 Корб Иоганн Георг — секретарь посольства императора Леопольда I ко двору Петра I (29 апреля 1698 — 23 июля 1699); первое издание его «Дневника» в Вене было уничтожено по требованию русского правительства; в русском переводе — под заглавием «Дневник путешествия в Московию» — книга Корба вышла в 1866—1867 гг.
- с. 535 Шереметев Петр Борисович (1713—1788) — граф, знаменитый своими чудачествами, любовью к искусству, богатством и роскошным образом жизни.
- с. 536 ...дерево, лишь притворившееся камнем... — Несколько таких деревянных «под камень» домов сохранилось в Москве по сей день, например: Денежный пер. (ул. Веснина), 11, и Сытинский пер., 5, стр. 1.

Письмо восьмое

- с. 537 ...вот тут, в особняке за акациями.. — ул. Станкевича (Чернышев пер.), 6; в этом доме Кржижановский много раз бывал, хорошо знал его обитателей; в начале XVIII в. дом принадлежал родителям А. Сумарокова; в двадцатых годах прошлого столетия здесь после женитьбы некоторое время жил Баратынский, у которого бывали Пушкин и живший наискосок Вяземский; впоследствии дом купил А. Станкевич, брат философа Н. В. Станкевича (1813—1840), а затем он перешел к наследникам Станкевичей — выдающемуся микробиологу Г. Габричевскому и его сыну, историку и философу искусства, Александру; здесь часто бывал и свойственник Габричевских, биолог А. Северцов (у него Кржижановский бывал и в квартире, располагавшейся на территории Московского университета, по соседству с Зоологическим музеем); в 1926 г. Габричевские поселили у себя своего друга, архитектора И. Жолтовского, который так и остался в отведенных ему комнатах до конца сво-

их дней (именно ему посвящена мемориальная доска — справа на фасаде).

...толкнув меня вспучившимся из-под макинтоша портфелем... — Этот «портфель» впоследствии то и дело возникает в прозе Кржижановского, становится метафорой-символом человека при службе, при власти; портфель занимает руки и заменяет мысли (я бы сказал, что этот «человек с портфелем» сродни чеховскому «человеку в футляре»).

...возвратился в мою сказочную Страну нетов... — См. одноименную новеллу в «Сказках для вундеркиндов». И далее: ...для того, чтобы начать быть в строках и строфах... — Страна нетов «отождествляется» с литературой (поэтому далее: «Страна нетов уже давно зовет меня»).

с. 538 Лахезис — одна из трех мойр (в греч. мифологии — богини судьбы), «дающая жребий», т. е. определяющая судьбу еще до рождения человека; «лезвие Лахезис» — явная оговорка: «перерезает нить» не Лахезис, а Атропос (ср. притчу «Три сестры» в цикле «Мал мала меньше» (1937—1940)).

...«Арбат» Белого... — Очерк печатался в том же журнале, где опубликована повесть Кржижановского (Россия. 1924. № 1); интерес Кржижановского к Белому неизменен с начала двадцатых годов, и есть основания думать, что интерес этот был взаимным (см. вступительный очерк).

...церковка Николай Чудотворца... — Находится на Маросейке, 5.

Никола в Кленниках. — См. предыдущее примечание; полное название: храм св. Николая Чудотворца, что в Кленниках на Маросейке.

с. 539 ...в Соломенной Сторожке... — Очевидно, имеется в виду церковь 675 пешей Тульской дружины в Москве в Петровско-Разумовском у Соломенной Сторожки, построенная по проекту Ф. Шехтеля (не сохранилась).

Похвалы Богородице, что в Башмачках.. (в Башмакове) — церковь на углу Всехсвятского пер. и набережной Москвы-реки; разобрана в 1932 г.

Крутицкий теремок — декоративный надвратный теремок-светелка (XVII в.) в бывшем Крутицком монастыре-

подворье в районе Крутицкой набережной; уникальный архитектурный памятник русского барокко.

Я никогда не устану бродить меж плит и крестов... — Ср. статью «Эпитафия» (Словарь).

с. 540 Долидзе Виктор Исидорович (1890—1930) — композитор, автор знаменитой комической оперы «Кето и Котэ»; музыкальное образование получил в Киеве, где Кржижановский с ним и познакомился; упоминаемый дом снесен в 1930-х гг. при расширении Тверской.

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — писатель, историк, автор повести «Бедная Лиза».

Лизин пруд — пруд близ Симонова монастыря; его переименование после появления карамзинской «Бедной Лизы» (1792) любопытно и тем, что прежде он назывался «созвучно» — Лисий; вскоре после написания повести Кржижановского, во второй половине 1920-х гг., пруд был засыпан, ныне на его месте — один из административных корпусов завода «Динамо».

Письмо девятое

с. 540 ...Москва зацеписта, но чтобы она и меня поймала на крюк... — Ср. в «Автобиографии трупа» (1925): этот же самый «крюк», на который Москва «ловит» приехавшего завоевывать ее персонажа, оборачивается реальным орудием его самоубийства.

...церковь Грузинской Божьей Матери, что в Микитниках... — она же: Церковь Св. Троицы, что в Никитниках, — в Грузинском пер., близ Варварских ворот (Зарядье).

с. 541 Симон Ушаков (1626—1686) — знаменитый московский иконописец.

Письмо десятое

с. 543 Никола Большой Крест — церковь Св. Николая Чудотворца, что у Большого Креста, находилась на Ильинке, близ Ильинских ворот; снесена в 1930-х гг. вместе с Китай-городом.

...сознание классифицирует вещи, предстоящие ему, на те и эти... — См. вступительный очерк, а так-

же письмо литературоведа И. Г. Ямпольского (СВ-1. С. 10—11); одна из «сквозных» *тем-идей*, неоднократно интерпретируемая писателем в новеллах, повестях, статьях, от «Якоби и „Якобы“» до «Стран, которых нет» (1937).

с. 544 ... в доме № 21 по Хамовническому переулку... — дом Л. Толстого (кстати, в нескольких минутах ходьбы от него, на Девичьем Поле — Земледельческий пер., 3 — жила А. Бовшек).

Семеновское кладбище — оно же Немецкое. Ср. статью «Эпитафия» (Словарь).

Письмо одиннадцатое

с. 545 Сильвестр — священник Московского Благовещенского собора, политический и литературный деятель XVI в.; важнейший его труд — редакция «Домостроя» (и авторство 64-й главы оно).

Калита — Иван I Данилович Калита (?—1340), князь московский (с 1315 г.), великий князь владимирский (с 1328 г.); сыграл большую роль в объединении русских земель вокруг Москвы; таким образом, Кржижановский очерчивает временные границы своего размышления: XIV—XVI вв.

преподобный Сергей — Сергей Радонежский (ум. 1392).
Иоанн IV Грозный (1530—1584) — русский царь.

Василий «блажененький» — знаменитый в Москве времен Ивана Грозного юродивый, по имени которого возникло обиходное название Храма Покрова на Красной площади — Храм Василия Блаженного.

с. 546 Ол е а р и й Адам (ок. 1599—1671) — известный путешественник и ученый, автор одной из самых знаменитых в XVII—XIX вв. книг — «Путешествия» (1647, русское изд. — 1669—1670).

Герберштейн Сигизмунд (1486—1566) — германский дипломат, дважды бывал в России, автор мемуарной книги «Записки о московитских делах» (1549), именуемой здесь «Записками».

Корб — см. комментарий к с. 534.

Письмо двенадцатое (*открытка*)

...теме тесно в почтовых конвертах... — намек на дальнейшие очерки, уже заказанные Кржижановскому, и вообще на замысел книги о Москве.

Письмо тринадцатое

с. 548 ...а ведь тебе уже тридцать семь, почти старость. — Намек, разумеется, на «конечный» пушкинский возраст (*знаковый* для русского поэта, каковым Кржижановский все же себя считал); в ходе работы над «московской темой» автор почувствовал себя *историком*, углубленным в тот же род занятий, к которому обратился в зрелости — «к старости» — Пушкин (отсюда же — упоминание Карамзина в «Письме восьмом»).

с. 549 Юркевич Памфил Данилович (1827—1874) — философ и педагог.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — поэт, философ; был слушателем Юркевича в Московском университете, высоко ценил его, дважды писал о нем.

Адресат помещаемых выше писем... — В духе классической традиции Кржижановский «самоустраивается» от авторства повести, определяя себе скромную роль публикатора чужих писем.

2000 (К ВОПРОСУ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ УЛИЦ).

Впервые: Огонек. 1925. № 24. 7 июня, под заглавием «Две тысячи», с фотографиями С. Тулеса (с незначительными разночтениями). Печатается по авторизованной машинописи.

Кстати, на одной из фотографий видно, что тогдашние «переименователи» улиц куда более заботились о горожанах и приезжих, чем их нынешние последователи: помещая на стене табличку с новым названием улицы, они на некоторое время оставляли рядом с ней и старую, помогая таким образом привыкнуть к переименованию.

Задуманный во время первого сотрудничества с журналом «30 дней» (второе — тоже недолгое — относится к концу тридцатых годов), очерк удалось напечатать в «Огоньке»; но и

ему манера Кржижановского «не подошла», и для его редакторов — и «многотиражных» читателей — культура писателя оказалась *оскорбительной* (как и было сказано ему в одной из редакций); эта публикация осталась единственной.

Кржижановский хорошо знал книгу А. Мартынова «Названия московских улиц и переулков» (М., 1878); именно на нее опираясь, он высказывает свои соображения о связи топонимики с историей города и языка; некоторые городские «переименования» — на протяжении столетий — он прослеживает в «Штемпель: Москва», обдумывает их и поясняет — как нечто вполне естественное в долгой жизни города. Поэтому охватившее новую власть стремление «переназвать» (то бишь — на свой лад — «преодолеть») все и вся его не смущает; надо только, по его мнению, сделать это стремление осмысленным, так сказать, ввести в русло исторически-логичных и последовательных топонимических изменений. И действительно, попытки такого рода были предприняты (например, переименование Софийки в Пушечную улицу), однако развития они не получили.

с. 550 глоссарий — собрание глосс, толкований непонятных мест сочинения.

Моисеевская площадь. — Так (по стоявшему здесь Моисеевскому монастырю) именовалась узкая площадь (дальняя от Кремля часть Манежной) между Охотным рядом и Моховой улицей.

с. 551 ...в тихий «Карманицкий переулок»... — первый параллельный Арбату переулок (в сторону Кудринской (Восстания) площади), куда выходит двор дома, где жил Кржижановский; по Карманицкому переулку (д. 8) был однажды ошибочно указан адрес сотрудника Московского Камерного театра С. Д. Кржижановского (Вся Москва. 1926).

пель-мель (*фр.* pele-mele) — смесь.

...площадь с собором и мраморным постаментом... — храм Христа Спасителя и рядом с ним постамент снесенного после революции памятника Александру III.

...с доской, обещающей то, что на постаменте будет... — На постаменте намеревались возвести Мо-

нумент Революции («обещающий» текст был сочинен Демьяном Бедным).

...церкви Иоанна Предтечи ... «под вязом» — так иногда московские старожилы называли церковь Иоанна Богослова (с престолом Иоанна Предтечи) под Вязом, Новая площадь, 12; закрыта в 1920 г., впоследствии в ней расположился один из отделов Музея истории Москвы (бывш. Музей истории и реконструкции Москвы).

с. 552 Улица «Тишина»... — Тишинская, «Тишинка».

...свойство и особенности стихии названий... — См. комментарий к «Московским вывескам».

с. 553 ...меняются как бы *самотеком*, правда медленно и постепенно, буква за буквой. — Ср. «Штемпель: Москва» («Письмо восьмое»).

Никола в Драчах (в Грачах) — церковь XVII в. в районе Трубной площади; разобрана между 1928-м и 1937 г.

...так называемая *фонема*... — В языкознании термин «фонема» обозначает единицу звукового строя языка, служащую для различения значимых единиц.

с. 556 ...философа Станкевича, дом которого... — См. комментарий к с. 537.

КОЛЛЕКЦИЯ СЕКУНД. Печатается впервые по авторизованной машинописи.

Из согласованного предварительно с журналом «30 дней» очерка была напечатана только вторая главка (1925, № 5, под заглавием «Я и Москва»), и разбитая тремя подзаголовками: «Африканские пальмы и белые лотосы у стен Кремля», «Карточка для удостоверения», «Я и Кремль». И опять-таки — с редакционным предупреждением: «Наблюдения С. Кржижановского „Я и Москва“, изучающего новый московский быт, коснулись в этом номере т<ак> называемых „пушкарей“ — уличных фотографов. Даже в этой, казалось бы, значительной бытовой подробности отмечена борьба умирающей мещанской романтики с побеждающей деловитостью сегодняшнего дня». Грубое искажение авторского замысла стало причиной разрыва с редакцией, для которой автор оказался чересчур «философичен». Этот автобиографический эпизод позже нашел отражение в новелле «Книжная закладка» (1927).

- с. 559 Современные лаборатории психотехники... — Кржижановский основательно интересовался (еще с «киевских времен») проблемами психологии, психиатрии, психоанализа и неплохо в них ориентировался (ср. «Автобиографию трупа» (1925)). В частности, из этого его увлечения происходит четвертая («антиутопическая») глава повести «Клуб убийц букв» (1926).
- с. 560 ...спешащие с портфелями под локтем... — См. комментарий к с. 537; ср. также: «Воспоминания о будущем» (1929; глава VIII), «Боковая ветка», «Книжная закладка», «Серый фетр», «Тринадцатая категория рассудка» (все три — 1927).
- КИМ — Коммунистический Интернационал молодежи.
- с. 563 ...удостоверенцы и провинциалы... — Ср. с пишущейся в то же время «Автобиографией трупа» (1925; «...Ночь вторая»).
- ...скорей под штемпель... — Ср. с «Автобиографией трупа» (1925; «...Ночь вторая»).
- ...Кремль-фон на фоне подлинного Кремля... — типичное для Кржижановского удвоение (двоение) образа, подобно «рассказу в рассказе», — «видение в видении», что делает большинство фабул его очерков, новелл, повестей как бы «матрешками».
- с. 564 остеология — часть анатомии, наука о скелете.
- с. 565 Сейчас это уже поздно доказывать... — Весь абзац резко противоречит редакционным пассажам о «новом революционном быте» — речь здесь, разумеется, о самом расцвете нэпа.

МОСКОВСКИЕ ВЫВЕСКИ. Впервые: 30 дней. 1925.

№ 3. Под заглавием «Столичные вывески», с фотографиями С. Красинского. По редакционному недосмотру, в «Содержании» в качестве автора указан В. Кржижановский, перед очерком — С. Кржижановский, после него — Г. Кржижановский (автоматическая ассоциация с революционером-академиком, автором плана ГОЭЛРО, на свой лад не менее фантастичного, чем новеллы однофамильца); впрочем, этот «троящийся» облик — вполне в духе автора очерка. Печатается по ВБ.

Редакция сочла необходимым снабдить публикацию кратким предисловием: «Новый революционный быт города крепнет с каждым днем. Городские вывески являются прочно зафиксированным отражением одной из его наиболее выразительных сторон. Очерк С. Кржижановского составляет отдельные страницы начатого им исследования, посвященного „вопросу о вывеске“. Как видно из предлагаемого очерка, новый быт и на вывесочном поле повел упорную борьбу со старым вывесочным содержанием, вместе с тем утверждает и новые изобразительные формы».

Знакомство с журнальной подшивкой убеждает в исключительности именно этого случая: подобные «предварения» к публикациям редакцией «30 дней» не практиковались. Очевидно также, что в предисловии написано, мягко говоря, не совсем о том, о чем размышляет автор очерка, которого занимают проблемы городского дизайна, эстетики и психологии рекламы, шире — «постоянные и переменные величины» в облике города. Редакционные пояснения — не что иное, как «оправдания», попытка придать очерку «идеологическую» окраску «злобы дня».

Очерк — один из первых подступов Кржижановского к «московской теме», и подступ, если угодно, чисто «московский» — *зрительный* (см. комментарий к с. 527). «Он... шагал по Москве, проделывая по пятнадцать—двадцать километров из конца в конец. Москва ему нравилась, нравился и процесс ее освоения. Он с радостным увлечением рассказывал о ее достопримечательностях и курьезах. Возникла мысль дать несколько очерков. Газета (журнал «30 дней». — *В. П.*) по его просьбе прикомандировала к нему фотографа. В результате появились: „2000“ (улиц), „Московские вывески“, „Уличные фотографы“ (имеется в виду «Коллекция секунд». — *В. П.*), а несколько позже большая статья с философским обобщением наблюдений: „Штемпель: Москва“. Напечатанная в журнале, она принесла автору не только солидный гонорар, но и хорошее знакомство с редактором Лежневым» (А. Бовшек).

Очерк — вместе с «2000» и некоторыми фрагментами повести «Штемпель: Москва» — дает возможность увидеть типичное для творчества Кржижановского превращение «локальной» поначалу *темы* в «глобальную». В 1923 г. — при со-

действию сотрудничавшего в издательстве «Энциклопедия» С. Мстиславского — ему было заказано более десяти статей для «Словаря литературных терминов», и в том числе статья «Заглавие». Обдумывание собранного материала привело его к мысли о более широкой трактовке понятия «заглавия» — как знаковой системы, охватывающей все, подлежащее, так сказать, «озаглавлению», где литература — обширная, существенная, но лишь одна из областей применения общих принципов. В поле зрения писателя, таким образом, попали вывеска, реклама (и вообще — городской дизайн; замечу, что и в очерке, и в повести можно обнаружить скрытую полемику с «авангардными» теоретическими представлениями об облике современного города — и с практикой авангардистов), названия улиц и т. д. В результате из скромной словарной статьи «произошли» и «московские» очерки, и книга «Поэтика заглавий» (1925), и прочитанный в 1939 г. доклад «Пьеса и ее заглавие»; между первой и последней работами — пятнадцать лет.

- с. 568 Революция слишком участила темп Москвы... — Ср.: «Революция — убыстрение фактов, за которыми не поспевает мысль» (ЗТ), а также главу «От „Повести без заглавия“ к заглавию без повести» («Поэтика заглавий», 1925).
- с. 569 По учению Эйнштейна... — Кржижановский был участником своего рода семинара В. Вернадского (в доме Габричевских (см. комментарий к с. 537), посвященного теории относительности.
- ...на крохотных и диктовых листиках... — См. комментарий к с. 206.
- с. 571 Сейчас влево от ворот еще старая надпись... — Этот фрагмент в публикации проиллюстрирован фотографией Златоустинского монастыря.
- Историю нищего, «голого» года... — намек на роман Б. Пильняка «Голой год» (1920).
- с. 574 ...фотографу удалось открыть основной принцип быта... — Кржижановский выводит из этого тему отдельного очерка («Коллекция секунд», т. е. не

подвижность быта, коллекционирующая самое скоротечное и неуловимое, что только может быть).

- с. 576 Лишь мнемонически верно сработанная вывеска... — Ср. статью «Заглавие» (Словарь) и «Поэтику заглавий» (1925) — о мнемонически верно сработанном заглавии; видимо, именно теоретическая работа Кржижановского над «проблемой заглавия» названа в редакционном предисловии «исследованием, посвященным „вопросу о вывеске“»; очерк, таким образом, становится как бы частью «Поэтики заглавий» — применительно к «городу-книге» (где вывески — «заглавия» эпизодов и глав).
- с. 577 ...вопрос о том, что я называю стилистической вывески... — Статья на эту тему не была написана.
- с. 581 Шопенгауэр Артур (1788—1860) — немецкий философ, теоретик искусства.
- с. 584 ...ведут нас от железного стиля к бумажному стилю... — Подобно тому, как в эссе «Человек против машины» (1923) происходящие в языке изменения для писателя суть признаки «кризиса гуманизма» (см. вступительный очерк), в изменении характера вывесок («заглавий») обнаруживаются приметы надвигающейся тотальной бюрократизации жизни, «бумажной революции», о чем позже будет сказано писателем еще не раз («Автобиография трупа» (1925), «Бумага теряет терпение» (1939), «Книжная закладка» (1927; тема «зачеркнутых» и др.).
- с. 585 ...лишь познав ту или иную вещь... — скрытая цитата из Гераклита: «Назвать — значит познать, познать — значит преодолеть».

В. Перельмутер

Содержание

Вадим Перельмутер. После катастрофы	5
-------------------------------------------	---

Сказки для вундеркиндов

Сбежавшие пальцы	73
Чуть-чутьи	83
Квадрат Пегаса	93
История пророка	103
Якоби и «Якобы»	107
Катастрофа	123
Проигранный игрок	133
Жизнеописание одной мысли	139
Грайн	147
Спиноза и паук	161
Четки	164
Поэтому	176
Фу Ги	194
Путешествие тени	198
Старик и море	200
Итанесиэс	203
Пни	206
«Некто»	210
Мухослон	218
«Страница истории»	221
Проданные слезы	224
Ветряная мельница	233
Голова с поклоном	235
Жан-Мари-Филибер-Блез-Луи де Ку	236
Полспасиба	240
Прикованный Прометеем	242
Кунц и Шиллер	247
Бог умер	255
Страна нетов	265

Странствующее «Странно»

Странствующее «Странно»	279
-------------------------------	-----

Чужая тема

Чужая тема	347
Разговор двух разговоров	385
Швы	397
В зрачке	427
Собиратель щелей	463
Боковая ветка	485

Очерки

Штемпель: Москва (13 писем в провинцию)	511
2000 (К вопросу о переименовании улиц)	550
Коллекция секунд	559
Московские вывески	567
Комментарии	586

Кржижановский, Сигизмунд
К81 Чужая тема. Собрание сочинений. Т. 1/Сост., предисл. и комм. В. Перельмутера.— СПб.: «Симпозиум», 2001.— 687 с.
ISBN 5-89091-132-5 (т. I)
ISBN 5-89091-131-7

Эта книга открывает первое собрание сочинений Сигизмунда Кржижановского (1887—1950) — писателя, театрального деятеля, литературного критика, чья уникальная философская проза, практически не публиковавшаяся при жизни автора, в последнее десятилетие становится наконец доступна читателям, переводится на основные европейские языки и постепенно занимает свое заслуженное место литературе XX века.

Том под заглавием «Чужая тема» включает всю дошедшую до нас художественную прозу С. Д. Кржижановского, созданную в 1918—1925 гг., в том числе два авторских сборника новелл — «Сказки для вундеркиндов» и «Чужая тема», — впервые публикуемые полностью и в композиционном соответствии с замыслом писателя.

Сигизмунд Кржижановский

ЧУЖАЯ ТЕМА

Собрание сочинений

Том I

Ответственный редактор *Е. Д. Светозарова*

Технический редактор *Е. И. Каплунова*

Художник *А. Л. Бондаренко*

Верстка *С. И. Широкой*

Корректоры *О. Э. Карнеева, Д. Е. Шнитникова*

Издательство «Симпозиум»

190000, Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 5

Тел./факс +7 (812) 314-46-13, 314-84-49

e-mail: symposium@online.ru

ЛР № 066158 от 02.11.98 г.

Подписано в печать 08.06.01. Формат 84×100/32.

Гарнитура Гарамонд. Печать высокая. Усл. печ. л. 36,12.

Тираж 10 000 экз. (1-й завод — 5000 экз.) Заказ № 952.

Отпечатано с диапозитивов
в ФГУП «Печатный двор» Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

Сигизмунд Кржижановский

Сигизмунд Доминикович Кржижановский (1887-1950) – выдающийся русский писатель и мыслитель XX века.

Возвращенная из временного небытия на заре перестройки его “странная” интеллектуальная проза сразу покорила читателей в России и за рубежом. Литературоведы ставят его имя в один ряд с Т. А. Гофманом, Н. В. Гоголем, Э. По, Г. Майринком, Ф. Кафкой и Х. Л. Борхесом.

Издание полного собрания сочинений Сигизмунда Кржижановского в России предпринимается впервые. В собрание включены все прозаические произведения, статьи о литературе и театре, эссеистика, записные книжки писателя, значительная часть которых прежде не собиралась и не публиковалась. Издание снабжено подробным комментарием.

В первый том собрания вошли произведения, написанные Кржижановским в начале 20-х годов. Раннее творчество писателя поражает своей зрелостью и необыкновенной новизной метода.



9 785890 911322



symposium

